

СЕРИЯ «ЭПОХИ И СУДЬБЫ»

**Василий
ШУЛЬГИН**

**ПОСЛЕДНИЙ
ОЧЕВИДЕЦ**

*Мемуары
Очерки
Сны*



Москва
«ОЛМА-ПРЕСС»
2002

УДК 82.02
ББК 84
Ш 95

Исключительное право публикации книги В. В. Шульгина «Последний очевидец. Мемуары. Очерки. Сны» принадлежит издательству «ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир». Выпуск произведения или его части без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.

Разработка оформления серии *Александра Гладышева*

Шульгин В. В.

Ш 95 Последний очевидец: Мемуары. Очерки. Сны / Сост., вступ. ст., послесл. Н. Н. Лисового. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2002. — 588 с.: ил. (Эпохи и судьбы).

ISBN 5-94850-028-4

Автор книги В. В. Шульгин — замечательный писатель и публицист, крупный политический деятель предреволюционной России, лидер правых в Государственной Думе, участник Февральской революции, принявший отречение из рук Николая II. Затем — организатор и идеолог Белого движения. С 1920 г. — в эмиграции. Арестован в 1944 г. и осужден на 25 лет, освобожден в 1956 г. Присутствовал в качестве гостя на XXII съезде КПСС.

В настоящее издание включены: написанная в тюрьме книга «Годы» (о работе Государственной Думы), а также позднейшие воспоминания о Гражданской войне и Белой эмиграции, о Деникине, Врангеле, Кутепове. Умно, жестко, ярко свидетельствует Шульгин об актуальных и сегодня трагических противоречиях русской жизни — о всесии подлых и гибели лучших, о революции и еврейском вопросе, о глупости патриотов и измене демократов, о вырождении нации и конце Империи.

УДК 82.02
ББК 84

ISBN 5-94850-028-4

© Издательство «ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир», 2002

ПОСЛЕДНИЙ ОЧЕВИДЕЦ

Исполняется сто двадцать пять лет со дня рождения одного из самых интересных русских политиков ушедшего двадцатого столетия — Василия Витальевича Шульгина. Он родился в Киеве на Новый год, или, как тогда говорили, в Васильев день, 1 (13) января 1878 года. А умер во Владимире на девяносто девятом году жизни, в праздник Сретения Господня, 15 февраля 1976 года. Если вспомнить еще, что умер и родился в воскресенье, вся мистика дней и чисел налицо.

Василий Витальевич верил в мистику, и действительность давала ему для этого богатейший материал. Уже сама его долгая жизнь была чудом — после бесчисленных войн и революций, парламентов и тюрем.

Депутат Государственной Думы (1907—1917), он с самого начала обратил на себя внимание всей России двумя речами — о «бомбе» и о «суде Линча». В первой он бросил вызов «неприкасаемым» тогда революционерам: обращаясь к депутатам от левых и имея в виду развязанный в 1905—1907 годах «революционный террор», спросил насмешливо, не прихватил ли, мол, с собой кто-нибудь из демократов в российский парламент «бомбу в кармане». Его удалили тогда из зала заседаний как хулигана — но это, кажется, и все, чем «отомстила» ему левая фракция.

Во второй речи, о смертной казни, он доказывал необходимость сохранения ее в России — во избежание народных судов Линча. Линчеванием молодой депутат с Волыни угрожал активу и авангарду русской революции — евреям.

...Евреи и революционеры наказали его примерным долголетием и всесветной славой черносотенца и антисемита.

*Жилец иной эпохи,
Иду своей межой.
Мне нынешние плохи,
И я им всем чужой.*

Так написал о себе В. В. Шульгин еще в двадцатые годы в стихотворном послании своему другу, поэту Игорю Северянину. Уже тогда, три четверти века назад, современники были «плохи» для него, а он — «чужой» для современников.

Шульгин прожил трудную жизнь, много видел и пережил, о многом успел рассказать в своих книгах. Почти восемь лет, в 1968—1976 годах, мне довелось знать Василия Витальевича, сохранившего острый ум, свежее восприятие событий, трезвую оценку настоящего и дерзновенную веру в будущее. Встречи с ним для всех, кто его знал, говорил с ним, бывал у него, были встречами с живой старой Россией, навсегда ушедшей за черту 1917 года, за огненные рубежи Гражданской войны. Лидер националистов в Государственной Думе, соратник Столыпина, один из вождей Февраля, а потом Белого движения, идеолог эмиграции, ее монархического, врангелевского крыла — он был тогда для нас живым эхом истории, живым пророчеством будущего.

Он был сын от романтического брака: пожилой профессор Киевского университета (он назывался тогда «имени Святого Владимира»), основатель и издатель газеты «Киевлянин» Виталий Яковлевич Шульгин, женился на своей ученице (об этом рассказывает С. Ю. Витте в своих «Воспоминаниях»). Отец умер, когда Васе был год от рождения. Но ему повезло с отчимом. Им стал профессор университета, экономист, впоследствии член Государственного Совета Д. И. Пихно.

...По окончании университета Шульгин собирался, по его словам, заниматься «немножко хозяйством (в имении), немножко писательством, немножко земской работой». Но случилось так, что в 1907 году, 29 лет от роду, он был избран от Волынской губернии депутатом в Государственную Думу. Судьбе было угодно сделать из него профессионального политика.

Десять лет жизни Шульгина были связаны с недолгой историей русского парламента: II Дума (1907), III Дума (1907—1912), IV Дума (1912—1917). Все эти годы его характеризовали в печати как «правого», «черносотенца», «монархиста», «националиста». Что касается конкретной партийной принадлежности, Шульгин причислял себя к фракции (и позднее партии) националистов. Впрочем, всегда подчеркивал разницу между национализмом как течением и националистами как партией.

«Столыпин поддерживал национализм. Это течение, которое можно разделять или нет, но это не партия. К какой партии принадлежал Столыпин? К националистам? Нет, если бы он принадлежал — он принадлежал бы к октябристам. Должен был, — как

правительство Его Императорского Величества. Тем, кто считал себя верноподданными, только и можно было стоять на точке зрения «17 октября», пока он не был отменен. Сказать, что Столыпин был партийным, было трудно. Нужно, вернее, сказать, что октябристы и националисты поддерживали Столыпина. Можно сказать, что националисты оказались самыми преданными». (Имеются в виду последний для Столыпина правительственный кризис 1911 года и травля премьера, в которой смыкались и правые, и левые.)

Аналогично оценивал Шульгин отношение к партии крупнейшего тогда публициста М. О. Меньшикова — главного автора и идеолога газеты «Новое время».

«Меньшиков не был националист. Мы с ним не считались, и он был совершенно свободен от нас. Только Северный полюс мы «открывали» вместе (об этом ниже. — *Н. Л.*). Меньшиков был один. Нельзя считать «Новое время» органом националистов. Он (М. О. Меньшиков) был совершенно обеспечен материально, ни от кого не зависел. Слишком имел большую славу, чтобы считаться с какими-то Балашовыми, Шульгиными и т. д. (П. А. Балашов — организатор и лидер фракции и партии националистов. — *Н. Л.*). Наоборот, мы всячески заискивали в нем.» (Шульгин не заметил, как последняя фраза о Меньшикове резко противоречит первой: «Мы с ним не считались».)

О редакторе «Нового времени», знаменитом А. С. Суворине, старик рассказывал:

«К Суворину мы ходили однажды ночью. (Суворин, как и Столыпин, работал и принимал глубоко за полночь. Не Сталин ввел эту моду.) Чтобы он укротил своих корреспондентов, которые очень замалчивали наши речи... Мы с ним считались, но не он с нами. У нас (националистов) не было, кроме «Киевлянина», никакого органа. До такой степени, что, когда Столыпина убили, выражением нашей скорби стала моя статья в «Киевлянине» — «Сильный и добрый». Вообще мы имели большое влияние в Государственной Думе, но поддержка страны у нас была слабая».

Грустная картина... Столыпин, Меньшиков, Шульгин... И все порознь, и никакого органа, и «слабая поддержка страны»... Все, как сейчас, как будто столетия не прошло. Сейчас нет, правда, у России даже и в одиночном варианте ни Столыпина, ни Меньшикова, ни Шульгина...

Два слова о Северном полюсе. Речь шла об экспедиции Г. Я. Седова. Националисты рассматривали это как общегосударственное, патриотическое дело. Пытались участвовать в его организации и финансировании.

Шульгин хотел даже идти с Седовым на полюс. Он рассказывал: «Но я смотрю: он рассчитывает все — спирт, керосин, продукты — только в один конец... Я говорю: Георгий Яковлевич! А обратно?»

Седов отвечает:

— Обратно не пойдём.

Ну, тут мне пришлось уклониться. У меня была семья, дети...»

Даже если Василий Витальевич в чем-то преувеличивал, пересказывая этот эпизод, то не слишком. Таким и был Седов.

Но из затеи националистов ничего не вышло. Экспедиция отправилась к полюсу, снаряженная очень плохо. И Седов погиб... Обратно он действительно не пошел. А государство не нашло ни средств, ни желания, чтобы хотя бы организовать поиск...

С 1913 года Шульгин — редактор «Киевлянина», в 1915-м — один из создателей «Прогрессивного блока», в 1917-м — член Временного Комитета Государственной Думы, пытавшегося встать во главе Февральской революции. Он и А. И. Гучков едут 2 марта в Псков принимать отречение Николая II...

А потом, в ноябре семнадцатого, он — один из организаторов Белой Добровольческой армии (вступил в нее 29-м по списку), создатель подпольной организации «Азбука», один из идеологов Белого Дела...

Крымский крах Врангеля подведет печальный итог этих трех лет (1917—1920). Шульгин окажется в эмиграции.

И будет вспоминать. Всю оставшуюся жизнь вспоминать...

Будут мелькать Константинополь (член Русского совета при Врангеле), Варна, София (до 1922 года)... Германия, Чехия, Франция...

С 1929 года — в Югославии.

...1944 год. В Югославию вступила Красная Армия. Шульгин арестован на улице в Сремских-Карловцах (шел с бидоном за молоком), отвезен на мотоцикле в Венгрию («холод был в коляске и стук ужасный»), а оттуда — на самолете в Москву. Все думали — в Кремль, к Сталину. Оказалось — на Лубянку.

«На Лубянке, у первого столика, отобрали кольца из желтого металла. Выдали квитанцию. Потом спрашивают:

— Вы член партии?

— Нет.

— Беспартийный?

— Нет, я монархист.

— Таких у нас нет.

И записали «беспартийным».

«Двадцать пять лет от ОСО я обрел», — стихами скажет потом Шульгин. В 1969 году мы с ним шутили: «Василий Витальевич! А ведь сейчас вас уже все равно выпустили бы».

...Но выпустили раньше, в 1956-м — по хрущевской амнистии. Старик до конца дней был благодарен Никите Сергеевичу.

Дали квартиру, персональную пенсию, разрешили писать мемуары, пригласили сняться в фильме «Перед судом истории».

В 1961 году — гостевой билет на заседания XXII съезда КПСС.

Но советского гражданства он так и не принял. Остался с зеленым удостоверением, где стояло большими буквами по диагонали: БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.

За границей он тоже жил без гражданства. Остался гражданином Российской Империи...

Что больше всего поражало в личности Шульгина — его неистребимый романтизм.

...Когда-то, в 1896 году, ему, восемнадцатилетнему студенту, восьмилетняя девочка-цыганка сказала:

«Слушай, Вася, что я тебе скажу. Тебя много любили и много будут любить. Но так, как я тебя люблю, тебя любить никто не будет».

Шульгина любили многие. Первая его жена, Екатерина Григорьевна Градовская (он женился сразу после университета), «была интересная молодая дама, очень светская, умная, веселая, в обществе просто блестящая». Она родила ему трех сыновей. Старший, Василид, по-домашнему Василек, погиб зимой 1918-го, обороняя Киев от петлюровцев (тот самый эпизод, что описан Булгаковым в «Белой гвардии»). Второй, Ляля (его звали Вениамин), был порубан шашкой на Перекопе и умер несколько лет спустя в Виннице, в сумасшедшем доме. На его поиски приезжал Шульгин в СССР в 1925-м (см. книгу «Три столицы»). Младший сын Дима, участник НТС, жил после войны в Америке. В начале семидесятых Василий Витальевич получил от него письмо (по оказии, письма к нему не доходили) с сообщением, что внук Василия Витальевича, сын Дмитрия, женился на индианке. «Как внук Черчилля», — смеялся Шульгин.

...Потом они расстались. Гражданская война принесла Шульгину новую любовь, трагическую. «Даруся», Дар Божий, она умерла

от испанки, в одиннадцать дней, 11 ноября 1918 года. Василий Витальевич никогда не диктовал о ней. Говорил: «О ней нужно писать книгу или не писать ничего».

Но время врачует. В самом конце крымской эпопеи Врангеля произошла встреча, которой Шульгин не придавал сначала особого значения. Девушка-радистка, которую арестовали по недоразумению контрразведчики, даже хотели расстрелять. Василий Витальевич вступился, заставил разобраться. Девушка оказалась дочерью генерала Сидельникова. Ее звали Мария Дмитриевна.

Вот и все. Просто выручил человека.

...Она нашла его после, в Константинополе. Он сказал:

— Мне сорок три года, я вдвое старше вас. У меня взрослые дети. Я устал от утрат, от жизни...

Мария ответила просто, как в кино:

— Давайте попробуем.

И они прожили вместе почти полвека. В Константинополе («в одном доме, чудное место, которое принадлежало прежде Русскому посольству; там раньше когда-то был гарем»), в дальнейших скитаниях. И наконец, в Сербии, в Сремских-Карловцах, откуда его с бидоном увезли на Лубянку...

Когда его выпустят и поместят в дом престарелых в Гороховце, она добьется разрешения и приедет к нему из Венгрии.

Десять лет они прожили в старом тихом Владимире в однокомнатной квартире на улице Фейгина (дом 1, квартира 1). В 1968 году Мария Дмитриевна, Марийка, как называл ее старик, умерла от рака. Ему оставалось жить без нее еще почти восемь лет.

Она не забывала его и после смерти. Приходила — во сне и наяву — в трудную минуту, советовала нужные лекарства, предупреждала о неприятностях.

Одна из записей, 3 сентября 1971 года: «М. Д. была (во сне) так оживлена и весела, как никогда еще со времени ее смерти. Причина этого осталась мне неизвестной». В мире наших умерших своя логика. Видимо, ей было открыто в тот день нечто такое, что еще не положено было знать ему, живому.

Двадцатый век, подчеркивал он не раз, — век национализма и фашизма. В одну из долгих бесед, в начале семидесятых, когда В. В. Шульгин гостил у меня в Красногорске, мы попытались, перечитывая главы из старых его книг, сформулировать, как он говорил, «аксиомы националистической этики», которым он старался следовать в жизни. И которые, думаю, поучительны для всех.

Национализм есть способ смотреть на мир глазами своей нации, оценивать ситуации и поступки с точки зрения интересов своей нации, жить и мыслить в традициях и понятиях своего нацио-

нального космоса. Поэтому первая аксиома Шульгина (в книге 1929 года он называл ее «аксиомой националистического мира») звучит так:

«Каждая нация, раса, народ имеет право на место под солнцем. Хороша она или плоха, но тем фактом, что она существует, она имеет ярлык на продолжение бытия. Народ **народился** на свет Божий, он существует, он хочет существовать и дальше. И хочет быть таким, как он есть. Русский народ, разумеется, не составляет исключения. Поэтому, ввиду выше указанной политической аксиомы, он имеет право существовать и далее. И притом в качестве **именно русского**, а не какого-либо другого народа».

Вторая — «аксиома вождя». Для каждого народа существует свой оптимальный образ существования. Поэтому, строго говоря, сколько в мире наций — столько и типов национализма. Но для анализа удобнее свести разговор к различию двух основных типов. «Еврейская солидарность, — писал Шульгин в книге «Что нам в них не нравится», — существует вне зависимости от того, нарочитая ли она (по приказу тайного правительства) или бессознательная. Муравьи и пчелы тоже солидарны до удивительности, но они бессознательно солидарны. Кто-то, конечно, муравьями и пчелами управляет, но этот «кто-то» не персонифицируется в какой-нибудь пчеле или синедрионе пчел. Наоборот, другие животные слепо повинуются видимым вожакам и безоговорочно выполняют их приказы. Среди людей можно тоже себе представить эти два типа солидарности. Солидарность бессознательную, или непосредственную, и солидарность — «через фокус». В первом случае люди стремятся к одной цели без видимого приказа — это, скажем, случай пчелиный или еврейский; во втором случае люди делают общее дело только по приказу своего видимого вожака или владыки — это, скажем, случай бычий или русский».

«Мы, русские, носим в себе какое-то внутреннее противоречие. Мы (особенно остро это чувствуется со времени революции) не лишены патриотизма; мы любим Россию и русскость. Но мы не любим друг друга: по отношению к ближнему своему мы носим в душе некое отталкивание».

Отсюда вывод:

«Для русских наивыгоднейшая форма общежития есть *вожачество*. К такому вожачеству (в форме монархии, диктатуры или иной) русские, *понявшие свою истинную природу*, будут стремиться. Важно для русских не то, будет ли парламент, Земский собор, вече или еще что-нибудь в этом роде. Важно, чтобы у нации был духовно-политический центр. И важно, чтобы был вожак, который ослаблял бы неистовое взаимоотноение русского народа, направлял его усилия к одной цели, складывал бы русские энергии, а не вычитал

их одну из другой, как это неизменно делается, когда воцаряется хаос, именуемый некоторыми «русской общественностью», а другими — «российской демократией».

Исторически Россия так и жила. Великие князья... цари... императоры... Но «времена меняются. В былое время было достаточно быть Царем, чтобы вбирать в себя все лучшие токи нации. Сейчас государь, который хотел бы выполнить царево служение былых времен, должен быть **персонально** на высоте своего положения. Если же этого нет, то рядом с ним становится вождь, который, по существу, исполняет царские функции».

Здесь уместно, может быть, сказать о том, что, всегда оставаясь принципиально монархистом, Шульгин очень критически относился к самой правившей династии.

«Николай II не был великим человеком... Он был в обращении прост, вежлив, благодарен людям, которые хорошо к нему относились. Но... он не был рожден для власти... этого воспитать нельзя...»

Не разделяя крайностей правых, которые на деле смыкались с левыми в нападках на царя, Шульгин тем не менее вполне логично проэволюционировал в своем монархизме до последнего царского поезда в Пскове, где принял 2 марта 1917 года отречение из рук Николая Александровича...

Подлинными героями, Вождями с большой буквы, навсегда остались для Шульгина лишь два человека, два Петра — Столыпин и Врангель. Столыпина он неоднократно, имея в виду «функции Вождя», называл «предтечей Муссолини».

Были, впрочем, у Василия Витальевича и вполне пессимистические оценки прошлого:

— Сверху надо было человека... сильного и доброго... Даже не очень умного... Вот такого, как был Александр III... И чтобы все чувствовали такой добродушный кулак...

— Парадокс столыпинских реформ в том, что для осуществления реформ нужна была железная воля, а ее не было...

— Ничего нельзя было спасти... Нужен был опыт Ленина, чтобы что-то понять (то есть Россия должна была пройти через этот «опыт». — *Н. Л.*).

...Киев, июль 1918 года. Получено сообщение об убийстве царской семьи. В Князе-Владимирском соборе служили панихиду.

— Я не пошел, — вспоминал Шульгин, — мне было стыдно.

Прошло пятьдесят пять лет. Владимир, июль 1973-го... Василий Витальевич дает телеграмму на имя Андропова, тогда шефа КГБ,

с просьбой разрешить отслужить 4 (17) июля панихиду «по убиенному Государю Императору».

Старик жалел потом, что поддался ребяческому порыву. Ответа он, конечно, не получил. Просто пришли к нему, на улицу Фейгина, двое в штатском и сказали:

— Вы же верующий человек, у вас дома иконы. Кто вам мешает молиться? Зачем беспокоить по пустякам Юрия Владимировича?

И еще о «монархизме».

В эмиграции в двадцатые годы монархисты делились, в грубом приближении, на два больших лагеря. Одни — за Великого князя Николая Николаевича, дядю Царя. Другие — за Великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата Царя, провозгласившего себя в 1923 году в Кобурге «императором Российским». Шульгин скептически относился к обоим претендентам. Формально придерживаясь — как и Врангель, и шедший за ним РОВС — ориентации «николаевцев», фактически он был, как сам говорил, чистым «вранжелистом», то есть лучшей кандидатурой не только в национальные вожди, но при случае и на престол считал самого Врангеля и весьма критически оценивал великого князя:

— Я говорил о нем с Врангелем. Петр Николаевич сказал: «Я думаю, если бы он стал Царем, это был бы Николай Третий. Многим кажется, что у него воля, но у него не воля, а просто грубость».

И наоборот, о Врангеле, даже в шестидесятые и в семидесятые годы, Василий Витальевич говорил:

— Если был человек, действительно достойный управлять Россией, то после Столыпина это был только Врангель... Это был настоящий варяг!

Скажем прямо: воспоминания Шульгина о Врангеле (читатель прочтет их в этой книге) во многом развенчивают этот созданный когда-то мемуаристом для себя самого политический миф о «настоящем варяге». И «искусственный героизм» барона, и отсутствие у него реальной конструктивной программы... Вопреки очевидности Шульгин до старости демонстрирует верность романтическим идеалам своей давней политической философии.

Зато с неизменным сарказмом он вспоминает об «императоре Кирилле» и поддерживавшей Кирилла партии младороссов. Младороссы, ориентировавшиеся на эмигрантскую монархическую молодежь, называли себя «второй советской партией», или, по полному титулу, «советской националистической монархической фашистской партией». Они пытались скопировать одновременно структуру самых различных партий и организаций. У них был

(с 1923 года) свой «император», был «председатель партии» — великий князь Дмитрий Павлович (участник убийства Распутина), был, по принципу фюрерства, «глава» — А. Л. Казем-Бек, и был, по примеру ВКП(б), «генсек» — К. Елита-Вильчковский... Их газета в Париже называлась, как у нас теперь чай, — «Бодрость».

Глава младороссов Александр Львович Казем-Бек, человек яркий, умный, энергичный, вернулся после 1945 года на Родину (в отличие от Шульгина добровольно). Впоследствии жил в Москве, работал в Московской Патриархии, в отделе внешних церковных сношений.

Когда снимался в начале шестидесятых фильм «Перед судом истории» и не знали, чем его кончить, Василий Витальевич предложил устроить ему встречу с бывшим вождем младороссов.

— Я скажу: «Казем-Бек! Вы же гениальный человек! Вы придумали когда-то лозунг «Царь и Советы» — и Сталин тотчас осуществил ваш лозунг».

После этих слов авторы фильма почему-то сразу отказались от идеи встречи с Казем-Беком...

Но вернемся к аксиомам. Третья из них гласит: последовательно патриотической позицией определяется отношение к лицам других национальностей.

В силу все той же первой аксиомы («народ хочет оставаться именно таким, каков он есть, каким его создал Бог») необходима защитная реакция национального организма на попытку внедрения в его генетический и ценностный код чуждых посторонних систем, с данным организмом не совместимых, способных лишь паразитировать на нем и разрушать его. С этой точки зрения пресловутая черта оседлости в царской России представляла собой отнюдь не репрессивную, «юдофобскую» санкцию, но способ ограждения коренных народов империи от этого нежелательного и объективно (независимо от намерения) разрушительного внедрения. Мера, если угодно, предотвращения и пресечения именно антисемитизма.

Василий Витальевич различал три типа антисемитизма: (1) биологический или расовый, (2) политический или, как иногда он говорил, культурный, (3) религиозный или мистический.

«Антисемитом я стал на последнем курсе университета, — вспоминал Шульгин в своей книге «Что нам в них не нравится». — Мой антисемитизм был чисто политического происхождения. Еврейство завладело политической Россией. Мозг нации оказался в еврейских руках и привыкал мыслить по еврейской указке».

Именно ощущение опасности для «мозга нации», для национальной культуры и самосознания (так называемое «еврейское за-

силъе») лежит, по мнению Василия Витальевича, в основе политического или культурного антисемитизма.

Вопрос даже глубже, не в одном «засилье». Вопрос в различии двух мироощущений, двух жизнепониманий, когда, как сказано выше, одна традиция может внедриться в другую лишь путем ее разрушения.

«Я вполне себе представляю еврея, который совершенно проникся русской культурой: подобно Айхенвальду бредит русской литературой, подобно Левитану влюблен в русский пейзаж, подобно Антокольскому заморожен русской историей. И все же этот еврей, вся душа которого наполнена русской культурой, *будет разрушать действительно русскую силу*, эту культуру создавшую и создающую. Будет разрушать, ибо эта сила ему стоит поперек дороги, той дороги, которая в его самых сокровенных мыслях русская, а на самом деле еврейская».

Это тоже из книги 1929 года, а много лет спустя, летом 1971 года, мы перечитывали с Василием Витальевичем статью знаменитого художника Н. К. Рериха «Талисман», напечатанную ровно за полвека до того в парижской эмигрантской газете «Последние новости». Возник интересный разговор. Рерих писал в статье о том, что до революции, в царской России, «мы не знали, что такое антисемитизм». В Академии художеств, в Школе поощрения молодых художников было множество евреев (шли перечисления наиболее известных: Анисфельд, Бакст, Бенуа, Левитан...), и не возникало никаких проблем. Потому что была культура, было творчество. И кончал автор выводом: «антисемитизм начинается там, где кончается культура».

Шульгин слушал недоверчиво, морщился. Потом ехидно сказал:

— Ну, конечно... Там, где кончается черта оседлости... Пока, при царе, была, антисемитизма в России действительно не замечалось...

И продолжал думать вслух:

— Культура всегда — избирательность, предпочтение, вкус... А значит, нужны принципы отбора... умение отличить русское от нерусского, немца от еврея... Рерих должен был бы сказать наоборот: культура начинается с антисемитизма.

Улыбнулся собственному афоризму и уже снова серьезно:

— А может быть, он и прав... В каком смысле? Пока существует культура, есть Пушкин, Гете, Бетховен, — есть и какие-то критерии... А в эпоху вырождения и гибели культуры — падает вкус, появляются люди, способные путать Баха и Оффенбаха. Тогда возникают и подмены... сначала почти незамеченные... И вытеснение подлинного поддельным... А отсюда — копящееся раздражение,

противление, взрыв... Это то, что я назвал в своей книге: «зрелая карма».

Что касается непосредственно линии его политического поведения, Василий Витальевич писал о ней в своей книге так:

«В русско-японскую войну еврейство поставило ставку на поражение и революцию. И я был антисемитом.

Во время мировой войны русское еврейство, которое фактически руководило печатью, стало на патриотические рельсы и выбросило лозунг «война до победного конца». Этим самым оно отрицало революцию. И я стал «филосемитом». И это потому, что в 1915 году, так же как в 1905, я хотел, чтобы Россия победила, а революция была разгромлена.

Вот мои дореволюционные «зигзаги» по еврейскому вопросу: когда евреи были против России, я был против них. Когда они, на мой взгляд, стали работать за «Россию», я пошел на примирение с ними».

В гражданскую войну произошел новый «зигзаг». Шульгин пишет: «Как бы там ни было, факт налицо: в Белом движении участвовали только единичные евреи. А в Красном стане евреи изобиловали и количественно, что уже важно: но, сверх того, занимали «командные высоты», что еще важнее. Этого было достаточно для моего личного «зигзага». По времени он обозначился в начале 1919 года».

И опять обострение носило взаимный характер.

«В Киев летом 1919 года приезжал Бронштейн-Троцкий. Он выступил публично, сказав речь. Призыв Троцкого означал избие-ние русской интеллигенции.

И избие-ние произошло. Особенно при этом пострадал суд, которому, должно быть, мстили за дело Бейлиса. Безумцы! Ведь это киевский суд в конечном итоге оправдал Бейлиса. Разумные евреи должны были поставить памятник сему суду где-нибудь под Стеной Плача в Иерусалиме. А они вместо этого поставили киевский суд просто «к стенке».

Четвертая аксиома Шульгина (в 1971 году он назвал ее «аксиома совести») была им сформулирована так:

«Необходимо ввести борьбу в известные рамки. Следует пуще евреев бояться собственной совести. Эту последнюю ценность не следует предавать ни в коем случае, ибо это значило бы приносить Бога в жертву земным интересам. И между двумя голосами, голосом Божественным, который говорит через совесть, и голосом человеческим, которым грохочет государство или народ, в случае конфликта между ними, нельзя отдавать предпочтение голосу человеческому. Я хочу сказать: то, что кажется тебе подлым, не совершай и во имя родины».

Пятая аксиома: беспощадность к себе. Шульгин не раз возвращался к этой мысли:

— Обрати внимание на себя. «Познай самого себя», — говорил Сократ. Начиная с себя...

— Надо бить качеством. Конструктивный нееврей — объективный антисемит. Будьте на высоте: никогда не лгите и будьте ярки. Если каждый выжмет из себя все, что может, — еврейского вопроса не будет. Льва Толстого не заключают никакие евреи... Но это трудно. Трудно быть всегда на высоте самого себя, как говорил Шляпин...

— До тех пор, пока мы сами не скажем: мы слабы, но давайте встанем, — надо признать свою слабость, как признавал Столыпин. Положение печальное, но нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти с честью. Надежда есть... Но только надо быть беспощадным к самим себе. Как говорил Ницше: «Будьте жестоки». Надо уметь говорить себе жестокие вещи. Надо быть жестоким. К себе. К своему сыну. Керенский не хотел лить крови — и обратил все в «керенщину». Столыпин лил кровь — и удержал Россию.

С того времени как мы с Василием Витальевичем обсуждали названные аксиомы, прошло еще тридцать лет. В последние годы читатель много успел прочитать и узнать, что еще не могло войти в круг наших тогдашних рассуждений. В первую очередь я имею в виду статьи И. А. Ильина о русском национализме из переизданного недавно сборника «Наши задачи». Статьи написаны в 1950 году — через двадцать лет после книги «Что нам в них не нравится» и за двадцать лет до наших «аксиом».

Ильин, к примеру, пишет: «Национализм есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил дары Духа Святого и творчески претворил их по-своему». Это довольно близко соответствует первой шульгинской «аксиоме».

Далее, по Ильину: из инстинкта национального самосохранения «должно родиться национальное единение, во всей его инстинктивной «пчелиности» и «муравьиности». В том-то и дело, и читатель уже знает, что не обязательно. Хуже того, как показал Шульгин (аксиома вторая), русский национальный инстинкт не может выражаться в «пчелиности». «Русский» и «пчелиный» — два разных типа национализма.

Видит Ильин также и «опасности и соблазны» национализма. «В первом случае национальное чувство прилепляется к неглавному в жизни и культуре своего народа (например, военная мощь, воля к расширению, которую Ильин не совсем правильно называет империализмом. — *Н. Л.*); во втором случае оно превращает утверждение своей культуры в отрицание чужой (шовинизм и мания величия)».

Но Ильин думал, что русский национализм свободен или, во всяком случае, может быть освобожден правильным религиозным воспитанием от этих недостатков. Шульгин 1971 года уверен, что никакой национализм принципиально от них не свободен.

...Однажды Василию Витальевичу снился сон. Снилось, будто в одном помещении, за «круглым столом» собрались националисты всех наций, всех мастей: «Союз русского народа», еврей-сионисты, литовские «лесные братья», немецкие реваншисты... Словом, «интернационал националов». Они отлично поладили и нашли общий язык.

По идее так и должно было бы быть. Ведь все в равной мере — националисты.

Увы, сладок был сон, но горько пробуждение. «Я вдруг ясно увидел, что подобный интернационал невозможен». Попробуйте литовцу прочесть из Тютчева: «Над русской Вильной стародавней», а чеченцу — из Пушкина: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов». Приоритет национальных интересов «распирает» народы в разные стороны. Каждый, образно говоря, «торчит» другому поперек горла.

Значит, в дополнение к положительным, так сказать, аксиомам, такими же практически аксиомами являются и «парадоксы национального опыта».

Парадокс первый. Национализм есть самое жизненное, естественное и благородное начало в истории и практической политике. И одновременно подлинный «благородный» национализм никогда на практике недостижим и в принципе невозможен — именно потому, что неосуществим «интернационал националов», гармония границ, юрисдикций, национальных интересов.

Парадокс второй. Невозможно провести отделительную черту, где и когда национализм вырождается в шовинизм, «чудовище с зелеными глазами» — агрессивное ограничительство по отношению к другим народам. Похоже, в большинстве реальных исторических случаев они слиты между собой неразличимо и неразлучно.

Третий парадокс. В связи с этим возникает у позднего Шульгина новый тезис. Подобно тому как человек (по Ницше) есть нечто, что нужно преодолеть, так и национализм (по Шульгину) есть нечто, что должно быть преодолено. Это не значит, что национализм реальный когда-либо в обозримом будущем будет преодолен. Но таково внутреннее его задание и движущая сила: за самоопределением всякой нации грядет самопреодоление всякого национализма. Мыслительный скальпель Шульгина проникает здесь, кажется, глубже, чем у И. Ильина. К тому же Василий Витальевич знает и указывает (фактически, а не в теории) и самые пути преодоления.

Я говорю это не к тому, чтобы сталкивать лбами двух великих пророков национализма. Хочу лишь отметить, что, говоря о национализме Ильина и Шульгина, всегда необходимо поверять поэтический восторг одного аналитическим скепсисом другого.

Но мы говорили и о путях преодоления. История знает их два, противоположных, — масонство и Империя. Здесь и там — апелляция от нации к человечеству. Но...

Масонство растворяет национализм в вязком демократическом студне вне- и наднациональных образований: Лига Наций, ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Европарламент, восьмой член семерки...

Империя, напротив, гармонизирует, организует и преобразует торчащие в разные стороны кристаллы национализмов в единое религиозно-осмысленное и санкционированное целое.

Там — увеличение «степеней свободы» до полной бесформенности и бескостности — для последующего подчинения обезличенного, безнационального человечества «мировому правительству».

Здесь, в Империи, — священное преемство власти, традиций и авторитета, духовная иерархия живого многонационального исторического организма.

Сам Шульгин, скажем прямо, был вполне чужд тютчевско-лентьевской имперской магии. В последние годы он считал даже возможным признать, что идея «мирового правительства» имеет «большое будущее». Критически относился к восторженно им когда-то воспринятому столыпинскому лозунгу Великой России...

Что делать, шли годы... А мысли, как сказал бы Розанов, — мысли могут быть разными...

Весьма критически Василий Витальевич относился к дореволюционной правой печати.

«Я с ними имел дело... Они совсем не заботились об увеличении тиража. Зачем это? Тратить бумагу? Сознательно печатали скучнейшие газеты...»

Выделялись, по его словам, из этого серого потока немногие:

— «Курская быль» марковская... «Земщина» иногда печатала интересные вещи... «Знамя» — может быть, и талантливое, скорее крикливое... но такое... крайне-крайне-крайнее... (Имеются в виду газета «Земщина», которую издавал «Союз русского народа», возглавлявшийся Н. Е. Марковым 2-м, «Русское знамя», которую издавал А. И. Дубровин — глава другого, конкурирующего, «Союза русского народа».)

Позже из эмигрантских газет Шульгин выделял «Возрождение», в котором одно время сотрудничал, и милюковские «Последние новости».

— «Последние новости» были интереснее, живее. Евреи умеют делать газеты. Хотя Гукасов (издатель «Возрождения») платил хорошие гонорары, но... у «них» там (то есть в «Последних новостях». — *Н. Л.*) писал этот... Саша Черный... и всякие такие забавные...

Или из другого разговора:

— Правые? Националисты? Ох, не говорите мне о них. Вот, например, какое-нибудь заседание в клубе националистов на Литейном длится, — я там, кстати, жил одно время, там было очень удобно, — длится до часу. Кончается заседание. Мороз дикий... Какой-нибудь корреспондент левых газет, студент, бегаёт на морозе. В переднюю его не пускают... Просит сказать: «Что же там у вас было?» И говоришь, из сострадания. На другой день появляется несколько строк где-нибудь в «Речи» (еврейско-кадетская газета). В «Новом времени» — ничего... Вот и получается, что (евреи) добросовестней. Они, конечно, могут клеветать на своих политических противников, но свое дело они ведут честно.

«Старику снились сны». Почти по Хемингуэю... Но старику в самом деле почти каждую ночь снились удивительные сны. Не оставляла Марийка... Приходила первая жена, Екатерина Григорьевна... Вдруг приснится зачем-то лжецаревна Анастасия — самозванка XX века, появившийся в двадцатых в Европе призрак расстрелянной дочери царя: прикажет писать ей письма «на реку Пост» (французское *Poste res (tante)* — до востребования).

Старик не гнал своих ночных гостей, как не отказывал никому из дневных. Аккуратно досмотрев сон, он тотчас вставал и записывал его, помечая дату, — более чем полувековой писательский инстинкт...

«Давно.

Ленин приснился посреди огромного поля... Такого серого поля, как луна за тучами... Это часто бывает в снах. Без теней...

Я ему говорю: «Как вам не стыдно... ведь столько кулаков... Что вы сделали с кулаками? Это же цвет крестьянства... А вы их в Сибирь загнали... И они идут...»

Он спросил: «В каком направлении?»

Я показал рукой. И он побежал, как сумасшедший... Их возвращать...»

Другой сон, и тоже еще из 50-х. Им Шульгин закончил свою рукопись «Опыт Ленина», написанную по «заказу» Владимирского КГБ:

«Я представил какой-то театр, совершенно пустой (в смысле публики), а на сцене расположился суд. Слева от суда — прокурор, справа — место защитника, но защитника нет. Тут явь кончается, начинается сон...

Будто бы входит Ленин. Я его спрашиваю: «У вас есть защитник?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Так нельзя, судить без защитника. Хотите, я вас буду защищать?» А он говорит: «Защищайте!»

В воздухе висят весы... Весы правосудия. Говорит прокурор: — Ленин учредил ЧК «по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией». Сколько крови пролила эта так называемая ЧК...

И чаша обвинения начинает наполняться кровью.

— Затем убили царя, царицу, всю семью, династию... Всех убили, кто не успел сбежать за границу...

И крови в чаше обвинения прибавляется так, что она начинает течь через край. И чаша тихо опускается вниз...

Прокурор кончил. Председатель говорит:

— Слово защитнику.

Моя речь состояла всего из двух слов: «Брест. Нэп».

И чаша обвинения с ее кровью стала подниматься вверх, перетягиваемая чашей добрых дел.

— Смотрите, прокурор, смотрите, судьи! Чаши добра и зла уравновесились. Они стоят на одном уровне.

Ленин виновен? — Виновен. Ленин не виновен? — Не виновен. Он оправдан?

Не оправдан. Но и не обвинен. Он пойдет на суд Божий, и только Бог, Который светит добрым и злым, вынесет ему Свой приговор».

Аналогичное рассуждение Шульгин применял к Сталину.

— С точки зрения национальной это наш позор. Почему во главе России стал грузин? С точки зрения войны — Сталин был нужен, потому что, когда появился там фюрер, ему нужен был противовес... Такой же фюрер, «двоюродный брат»... Тот палач и другой палач... Во время войны я мысленно желал победы Сталину.

И чаши снова уравновесились.

Сны, декабрь 1968.

«Не помню числа.

Марийка несла куда-то большую тарелку с горкой чего-то белого. Это был творог, ею самой приготовленный. При жизни она иногда, когда была еще здорова, бедняжка, любила с этим возиться.

Во сне я увидел, что полная тарелка для нее слишком тяжела и она творог уронит. Я успел подскочить и выхватить у нее тарелку, и ничего не рассыпалось. И она была этому рада.

Этот с виду пустяковый сон имеет свой смысл. Сейчас Дом творчества в Голицыне дает нам слишком много творога. Этот сон предупредительный. Не объедаться творогом, это мне вредно».

«Другой сон.

Французский король объявил войну! Я этому ужаснулся. Живем мы в постоянном страхе, но все-таки живем. А если объявлена война? Хотя сейчас зима, но под снегом есть они, отрадные зеленые поля и луга, и весной они обнажатся, и мы их увидим. Но если объявлена война, то не будет ни ярины, ни озимых, ничего не будет.

Будет ровная стекловидная поверхность, сколько видит глаз. Она будет черная, и в ней будет отражаться Черное Солнце.

Вот что значит: французский или иной король объявил войну.

Но Марийка обрадовалась этому известию. Бедняжка! Она так настрадалась? Нет, не потому.

Она думает о своем французском короле, о котором она написала сказку «Портрет неизвестного короля». Такой портрет существует? Не знаю. Но это не важно. Важно то, что сказка прекрасна. «Неизвестный» король добрее и лучше, чем все когда-либо бывшие монархи. И уж, конечно, не он превратит Землю в стекловидную поверхность, где отражается Черное Солнце. При нем будет и озимь, и яровые.

Изумрудные...

Аминь, аминь, аминь».

«Еще один сон.

Мне поручили составить письмо-меморандум для одной державы. Я это сделал. И тогда ко мне пришел один наглец из какой-то «разведки». Сначала хотел письмо выкрасть, а потом отнять силой. Хотя я не боксер, но, вырвав у него письмо, которое он захватил, засунул его в карман и решил колотить его в подбородок обоими кулаками, пока он не упадет. В это время появилась Марийка, очень встревоженная. Закричала:

— Это твое письмо? Ты писал?

— Я. Я написал. Но поскольку оно написано для одной державы, оно уже ей принадлежит!

Проснулся. О какой державе я имел речь? О Советской державе. Написано оно для Советов, но не по-советски, а по-моему. Другими словами, это меморандум о том, как надо выйти из теперешнего безысходного на вид положения.

Впрочем, это даже не мои взгляды. Это безумные мечтания нео-Поприщина. В этом их сила.

Был Брест, был Нэп.

Нео-Поприщин требует нео-Брест и нео-Нэп.

Положение еще труднее, чем при Ленине. Но нео-Брест и нео-Нэп легче, чем просто Брест и просто Нэп.

Поприщин думает:

«Тогда мы отдавали свое, кровное. Теперь отдадим нами сами-ми награбленное».

Последний чемодан снов, в буквальном смысле чемодан, наполненный зелеными ученическими тетрадками с записями снов: Василий Витальевич плохо видел, и очки не помогали, так что писать ему приходилось огромными буквами, и целой тетрадки могло не хватить порой для записи очередного видения, — так вот, этот последний чемодан Шульгин привез ко мне в Красногорск в июле 1973 года, сразу после телеграммы Андропову, — на всякий случай, от греха и от «Анны Сергеевны», курировавшего его капитана КГБ, подальше.

«Сон на 26. 8. 72.

Где-то... может быть, в Белграде...

Как будто в подворотне, но скорей всего у витрины, я увидел Никиту Сергеевичу Хрущева, скончавшегося в прошлом году. Я его видел во сне и раньше, но те сны были невразумительны. А сегодняшний сон ясен. Не по смыслу, а потому, что он запечатлелся в моей памяти точно.

Встретившись у витрины, мы пошли с ним рядом. Он спросил:

— Скоро выборы. Вы будете выбираться?

— Нет. Зачем? Я вот просидел все пять лет, а не сказал ни слова.

— А что же вы будете делать?

— Буду писать.

— Пишите. Но помните одно. Если вы хотите, чтобы вас напечатали, то все дело в сионистах. Хвалите их, хвалите в каждой строчке — и все напечатают».

Он умер в воскресенье, на Сретенье, 15 февраля 1976 года. На девяносто девятом году... Чуть-чуть не дожив, как хотел, до ста лет... И до своей странной мечты: мирного объединения Германии.

Последний наш разговор состоялся 25 января 1976 года — за три недели до его смерти.

Мы сидели на кухне далеко за полночь, грелись газом. Говорили о книге Н. Н. Яковлева «1 августа 1914 года», что-то зачитывали.

Василий Витальевич, как всегда, внимательно слушал. Качал головой. Многие факты были как будто и для него новостью.

Потом он обхватил рукой целиком всю голову (он часто так делал, голова зябла, обычно он носил белый ночной колпак) и сказал:

— Чем больше я о ней думаю (то есть о революции), тем меньше понимаю...

Это были — для меня — последние его слова.

И еще одна, посмертная встреча. Года через три после смерти он приснился моей сестре С. Н. Безбоковой и сказал:

— Передайте Николаю Николаевичу (пишущему настоящие строки), что у этой книги конца нет...

Что он хотел сказать?..

Н. Н. Лисовой

ГОДЫ

Воспоминания
члена Государственной Думы

Les cimes

*Une cime, une seule... Mille précipices...
Une heure heureuse — et tant d'ennuis...
Années perdues, un jour propice —
Voilà mes rêves dans la Nuit*

*Pays des morts est triste et morne,
Et pas un souffle de Levant!
Mais dans ce ciel qui n'est pas orné,
Une âme existe! Elle t'attend.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. G. G. G.' with a long, sweeping flourish extending to the right.

Вершины

*Одна вершина... Тысяча бездн...
Счастливый час — и сколько тоски...
Потерянные годы — и удачный день...
Вот мои сны в ночи.*

*Край мертвых сумрачен и печален,
И ни дуновенья с востока!
Но в этом непроглядном небе
Есть одна душа! Она ждет.*

Si jenesse savait, si vieillesse pensait!
(Если бы юность знала, если бы старость могла!)

ОТ АВТОРА

В Югославии, на Дунае, был и есть городок, где живет семь тысяч сербов, хорватов и некоторое число швабов, то есть немцев. Легенда говорит, что в незапамятные времена некий колдун увел стайку детей из такого же маленького городка, находившегося неведомо где, в Германии. Колдун вошел в мрачное подземелье и шел, и шел неведомо сколько, может быть, годы. И вынырнул на поверхность земли вместе с подросшими детьми в солнечной, цветущей стране, где уже с IV века янтарный виноград отражался в водах Дуная.

Городок назывался Сремски-Карловци и славился своим вином, известным под именем венгерского. «Nullum vinum nisi ungaricum!» («Только венгерское достойно называться вином!»)

Поэт польского Возрождения Ян Кохановский писал: «Сиротеет мой погреб, когда в нем нет славного карловацкого вина».

Поэтому карловчане — великие патриоты своей маленькой родины. Я не стал сыном этого маленького уголка Вселенной, но душевно полюбил его. Впервые судьба занесла меня в Сремски-Карловци в двадцатые годы, потому что в этом городе, после ухода из Крыма, была штаб-квартира П. Н. Врангеля. Но в 1928 году барон Врангель умер, и примерно тогда же я отошел от политической жизни. В тридцатые годы мы вновь приехали с женой в этот городок, где я и пробыл до 1945 года.

В октябре 1944 года пришли советские войска, освободив Сремски-Карловци от гитлеровцев и хорватских усташей. Три месяца мы прожили в постоянном общении с советскими воинами — офицерами и солдатами.

Они смотрели на нас, эмигрантов, как на музейную редкость, и, как с экспонатами, обращались соответственно, то есть осторожно. Некоторые наслаждались у нас семейным уютом, восклицая: «Четыре года без отпуска! Без семьи!»

Вообще говоря, нас не обижали. Говорили: «Нас не опасайтесь, мы вас не тронем...»

— А дальше как будет?..

Они не договаривали. Понимайте, дескать, сами... Некоторые русские все-таки бежали с немцами. Большинство осталось. Я понимал — будет трудно, но я остался. Я с ужасом вспоминал жизнь при гитлеровцах. Вспоминал, что обязательным было приветствие «Heil Hitler!», застревавшее у меня в горле.

В это время мы жили примерно так. Мария Дмитриевна, моя жена, стучала на машинке ночи напролет, уносясь к счастливым временам детства и юности. Я писал «Приключения князя Воронцовского», исторический роман XVI века. Кроме того, я занимался хозяйственными делами, то есть раздобывал правдами и неправдами то, без чего нельзя было жить. Между прочим, каждое утро был поход за молоком.

При свете утренней Венеры я пробирался на окраину городка. Три километра надо было пройти, чтобы достать один литр «млека». Но я любил эти ранние сумерки. Я шел через «Патриаршійскую Башту», где было еще темно. И это хорошо. При свете было бы видно, как обезображен войной еще недавно роскошный сад. После парка начинались овраги, речки с зыбкими досками вместо мосточков, потом улочки и переулки. В полусвете домики казались уютными. Получив драгоценное молоко, я шел домой.

В семь часов утра 24 декабря 1944 года, то есть в сочельник, боец, служивший в комендатуре, остановил меня на улице, в нескольких шагах от нашего «стана» (квартиры).

Он сказал:

— Вы Шульгин?

Я ответил:

— Да.

— Комендант вас просит.

— Хорошо. Только занесу молоко домой, — и я показал на «кантицу» — посуду, в которой там носят молоко.

Боец возразил:

— Да не стоит. Ведь на пять минут.

Я согласился и пошел с ним.

Из комендатуры я самолетом был препровожден во внутреннюю тюрьму МГБ в Москве. «Кантица», но уже без молока, сопровождала меня.

Так пять минут превратились для меня в двадцать пять лет. Это свершилось по приговору Особого совещания. В это время мне было шестьдесят семь лет. Следовательно, я должен был выйти на свободу в возрасте девяноста двух лет. При самом большом оптимизме это было сомнительно.

Но судьба судила иначе. Двадцать пять лет тюремного заключения она превратила в двенадцать, сказав:

— Довольно с него!

Довольно так довольно. Меня выпустили на свободу, и ко мне из-за границы приехала жена, которую я не видел со времени выхода из дома с «кантицей» за молоком.

Этот барьер был взят. За долгую мою жизнь барьеров было много. Сейчас я беру барьер, быть может, последний, и он не из легких. Этот барьер — книга «Годы», которую я закончил и надеюсь увидеть напечатанной. Она будет четвертой моей книгой, изданной в Советском Союзе. Первые книги «Дни» и «1920 год» вышли в 1927 году в издательстве «Прибой». Затем, после тридцатичетырехлетнего перерыва, в 1961 году, вышли мои «Письма к русским эмигрантам». И наконец, сейчас — «Годы». Еще одно мое общение с читателем, вернее — со зрителем, было в 1965 году в картине «Перед судом истории».

В книге «Дни» я говорил главным образом о событиях Февральской революции. В книге «1920 год» — о гражданской войне. В книге «Годы» я говорю о десятилетнем периоде, когда я был членом Государственной Думы.

Передо мною проходит как бы кинематографическая лента длиной во много тысяч километров. На ней запечатлены люди: умные и глупые, жестокие и добрые, талантливые и бездарные, благородные и коварные, убийцы и спасители, гордые и покорные, властители и рабы, труженики и бездельники, герои и предатели, консерваторы и либералы, верующие и атеисты, индивидуалисты и коммунисты.

Были и люди, соединявшие в себе самые противоположные качества, например, ярость и кротость. Словом, «все промелькнули перед нами».

Но при всем разнообразии отдельных людей и человеческих типов некоторые черты встречаются у всех народов, национальностей и рас. Например, все люди, за редким исключением, испытывают патриотические чувства. В этом их сила и слабость. Сила, потому что на почве патриотизма создаются мощные коллективы и часто рождается ослепительное вдохновение, мужество, благородство и красота самопожертвования. Слабость же патриотизма в том, что он очень легко переходит в шовинизм. Шовинизм — это чудовище с зелеными глазами. Шовинисты превращают мир в сумасшедший дом. Кончается это свирепыми войнами.

* * *

Теперь немного о преодолении, как я сказал, быть может, последнего барьера в моей жизни, то есть о создании этой книги.

Железные решетки в окнах. За окнами «намордники», чтобы заключенные не могли увидеть синего неба. Нужно сломить их дух

до конца, лишитъ всякой надежды. «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate». («Оставь надежду всяк сюда входящий».)

Двойные замки на дверях. Для верности ключ от одного замка у дежурного, от другого — у старшего надзирателя. Крепкие стены, которые ничем не пробить. Словом — «гроб живых». Там называли башню над Босфором в XVI веке.

И все же за этой гробовой доской была жизнь, и очень живая, и свет немеркнувший, неугасимый. Здесь, записанные на бумаге или врезанные в серое вещество мозга, зарождались мысли и целые произведения. Они уносили нас из этого «гроба живых» почти что в рай.

В то время, то есть в сороковые годы, в тюрьме строгого режима заключенным писать не разрешалось. И все же иногда были чудом попадавшие огрызки карандашей и клочки бумаги. Вот на таких клочках я и записывал свои отрывочные мысли и факты, ибо, несмотря на все, где-то подспудно таилась надежда, что когда-нибудь, если и не я сам, то мои мысли и чувства, выйдут на свободу сквозь толщу тюремных стен на свет, к людям.

Эта надежда не обманула меня. Моим сокамерником был Иван Алексеевич Корнеев, много лет посвятивший трудам по истории музыки.

Тюрьма — великолепное место для наблюдения человеческой природы. В тюрьме проводишь с людьми много лет, и притом круглосуточно. На свободе видишь человека урывками.

Кроме того, тюрьма крайне обостряет страсти разного вида и одновременно выявляет положительные качества — ум, волю, справедливость и социабельность. И, как повсюду в жизни, несмотря на замки и решетки, в тюрьме происходят некоторые явления совершенно неожиданные.

Таким неожиданным явлением и была моя встреча с Иваном Алексеевичем Корнеевым. Казалось, что могло нас объединять? Он — советский гражданин, я — эмигрант. Жизнь нас поставила по разную сторону баррикад. И все же неумолимое стремление человека к созиданию, творчеству, присущее ему и мне, сблизило нас. В ход пошли огрызки карандашей и клочки бумаги. Томительное и тягучее однообразие тюремной жизни было заполнено. Сумерки камеры пробил луч света. Но организм человеческий все же требует пищи телесной. Я говорил:

— Иван Алексеевич, голова кружится от голода, я больше не работоспособен.

Тогда Корнеев вытаскивал припрятанную корку хлеба со словами:

— Ешьте, Василий Витальевич, вашу мысль надо подкрепить, надо дописать...

Наша совместная творческая работа длилась почти два года. Но счастье редко бывает долговечным. Меня неожиданно перевели в другую камеру.

В другую камеру — это значит в другую страну, потому что никакой связи между разлученными не остается. Даже больше, чем в другую страну, в другой мир... Я думал, что Иван Алексеевич ушел на тот свет, а он думал обо мне, что я умер.

При нашей разлуке клочки бумаг и то, что я рассказывал Корнееву без записи, — все это осталось с ним.

Только много лет спустя я узнал, что произошло с нашей работой. Корнеев тяжело заболел и был отправлен в тюремную больницу. Его товарищи по камере собрали все клочки наших записей и, засунув их в наволочку, переправили к нему. Но дальше было еще труднее.

Зная, что из тюрьмы вынести ничего нельзя, Иван Алексеевич за два года до окончания срока, после которого он направлялся на вечную ссылку, предпринял нечто почти невозможное. Он наизусть заучил все, что было нами записано, а приехав в ссылку, восстановил текст по памяти.

Я же, оставшись в тюрьме, получил разрешение писать. Тетрадка за тетрадкой были исписаны, а главное, вручены мне при выходе на свободу.

Так мои воспоминания, восстановленные Иваном Алексеевичем в далеком Казахстане, и записи в тюрьме легли в основу этой книги. Но для этого должны были пройти годы. Наконец мы встретились живые и вновь взялись за перо.

И. А. Корнеев не был в Государственной Думе. Мои же воспоминания представлялись лишь некими световыми пятнами. Пятна были яркие, но мало связаны друг с другом. Память сохраняет многое, принимая во внимание, что у людей в мозгу пятнадцать миллиардов работающих клеточек. Но ручаться за точность памяти никто не может. Все надо проверить и подтвердить документальными данными.

Эту титаническую работу и проделал Иван Алексеевич, просмотрев бесконечные тома стенографических отчетов Государственной Думы за десять лет (1907—1917) и неисчислимое количество других материалов.

Естественно, что, когда работа была кончена, Иван Алексеевич сказал: «Ты им доволен ли, взыскательный художник?» Я спрашиваю вас, Василий Витальевич, о нашем совместном труде?»

Он сказал это как будто бы шутливо. В действительности же это был серьезный вопрос. Трудная работа требовала строгой оценки, точнее сказать, самооценки. Я ответил в том же тоне, полушутливым по виду, но суровом по существу:

- Нет. Не доволен!
- Можно спросить, почему?
- Можно. Извольте терпеливо выслушать.
- Готов.

— Я незадачливый политик. Погибло все, за что я боролся, что любил. Если же в этой книге иногда я говорю все же в шутливом тоне, это в силу правила: «Смейся, паяц! Смейся, паяц, над разбитой любовью, смейся, паяц, над позором своим...» Надеюсь, вам ясно, почему я не могу быть доволен нашим творением?

Иван Алексеевич возразил:

— Опера «Паяцы» прекрасное произведение. В ней правда и высокие чувства. Если нам удалось достичь того же, почему бы быть недовольным?

— Это верно, но есть и другая причина.

— Какая?

— Моя личная трагедия — «занимательность». Один критик написал об одном грешном авторе: «Бранишься, читая, а оторваться не можешь — ни одной неинтересной страницы!»

— Так ведь это похвала!

— Согласен, если дело идет о беллетристике. Но когда это касается мемуаров, где должно быть суровое и правдивое изображение действительной жизни, занимательность противопоказывается.

— Почему?

— Оставим это, Иван Алексеевич. Я хочу сказать вам вот о чем. Порою личное врывается в мои описания. А личное не имеет права гражданства в произведении, трактующем об общественной, государственной и даже мировой жизни. Поэтому я вам очень благодарен, Иван Алексеевич, что вы старались подвести под сетку личных переживаний солидный фундамент. Кроме того, я хочу сказать, что некоторые документы, вами найденные, стали мне знакомы только в процессе нашей совместной работы. Некогда Генрих Шлиман после шестилетнего упорного труда открыл и открыл Трою на малоазиатском берегу. И тогда то, что считалось «гомерической» выдумкой, оказалось правдой. Так вы откопали из архивов знаменательные письма, «пыль веков от древних хартий отряхнув».

*Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих Царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют...*

«Да ведают потомки...» И молиться надо не только за царские «грехи, за темные деянья», но и за всех погибших в поисках правды для земли Русской. Молиться надо и за нас, сугубо грешных, бессильных, безвольных и безнадежных путаников. Не оправданием, а лишь смягчением нашей вины может быть то обстоятельство, что мы запутались в паутине, сотканной из трагических противоречий нашего века. Поэтому да судит нас Высший Судья, ибо сказано: «Мне отмщение, и Аз воздам».

19 мая 1966 г.

В. В. Шульгин

Часть I. ВЫБОРЫ

1. Конь

Может ли конь оказывать влияние на политику?

Ставя этот вопрос, я исключаю того коня, на котором скачет Георгий Победоносец. Этот святой был изображен на гербе Москвы. Что его конь сопряжен с историей России, это самоочевидно. Но я ищу связи менее мистической. Полумистической является легенда, рассказанная Пушкиным в знаменитой балладе «Песнь о вещем Олеге». «Полцарства за коня!» — воскликнул один английский король. Менее известен конь Каравулик, который благодаря быстроте своего бега спас беглеца от гнева гнавшегося за ним разъяренного его отца, турецкого султана Баязида I Молниеносного.

Знаменит Буцефал — конь Александра Македонского. И вообще много можно найти коней, вошедших в историю.

Естественно, я хотел бы сделать историческим моего коня Ваську. Я когда-нибудь напишу его правдивое жизнеописание. Но сейчас я спешу и ограничусь заявлением: мой конь Васька несомненно сыграл некоторую роль на выборах во вторую Государственную Думу. Больше ничего не скажу.

Рассказать как было — выйдет длинно, а вкратце — будет неинтересно. А потому надо мне перейти к изложению, более подходящему важности предмета.

2. Гнет

Волынь, почтившая меня в конце концов своим избранием в Государственную Думу, имеет богатое историческое прошлое. А город Острог был некогда духовным центром этого края.

Остатки Острожского замка красноречиво говорят о том, как было раньше. Он принадлежал князьям Рюриковичам, сначала известным под именем князей Пинских. По переселении в Острог они стали называться Острожскими. От Владимира Киевского до

Константина Острожского они были русские, то есть в течение шестисот лет. Януш, приняв католичество, стал поляком, и на нем род Острожских пресекся по мужской линии. Но осталась княжна Алоиза, тоже католичка. Однако православный собор стоял в стенах ее замка. К нему вел мост. Однажды на Пасхе святили яйца и куличи. Они заняли не только весь двор вокруг храма, но и мост. Алоиза захотела выехать из замка, а другой дороги, как через мост, не было. И четверка помчалась по яйцам и куличам. Народ забросал ее писканками. Одна, особенно круто сваренная, выбила глаз княжне Алоизе.

В наше время глаз уже не выбивали и вообще картина была не та, что красноречиво описана в романе Генрика Сенкевича «Огнем и мечом». Вместо пушечных ядер мы действовали безобидными костяными шариками, которые бросали в избирательные урны. В этом можно усматривать некоторый прогресс.

Были даже попытки в преддумское время стовориться. Для этого в городе Остроге созвали некое собрание. Польские помещики явились породистые, изящно одетые, уверенные в себе. Русские перед ними показались мне какими-то мерюхрюдками. Они робко жались к стенам, жался и я, должно быть.

Председателем избрали Могильницкого. Седой и красивый, он заговорил хорошим русским языком, с легким акцентом, придававшим его речи некоторую вычурность, которая мне, однако, нравилась. Он был одним из умеренных поляков, большой поклонник Императора Николая I, которого он видел в детстве.

И все же он начал свою речь так:

«После сорокалетнего невыносимого гнета...»

Что он говорил дальше, не помню. Помню, однако, что я отжался от стены и заговорил, невольно подражая Могильницкому, примерно нижеследующее:

— Здесь было сказано: «сорокалетний невыносимый гнет». Чей гнет? Русской власти. Кого она угнетает? Польских помещиков. Однако это сорокалетнее угнетение не очень на угнетаемых отражается. Когда проезжаешь мимо красивых и уютных усадеб, получаешь впечатление, что польские помещики живут недурно. Кроме того, слова, здесь сказанные, о невыносимом гнете — это речь свободных людей. А гнет унижает, пригибает. Угнетаемые молчат.

Поэтому если мы желаем до чего-нибудь договориться, то нельзя начинать нашу беседу о невыносимом сорокалетнем гнете. Этот «невыносимый» гнет еще можно как-нибудь снести, принимая во внимание, что на нас сегодня надвигается. Из этой черной тучи скоро грянет гром, и новый гнет раздавит нас новыми методами угнетения, то есть отнимет от нас все наше достояние и развеет пепел сожженных наших жилищ.

Меня выслушали, но выводов не сделали. Классовые интересы нас не соединили. Победила национальная рознь.

3. Варшава и Киев

Я говорил о том, что во время выборов в первую Думу были попытки сблизиться польским и русским помещикам на почве классовых интересов. Эти попытки продолжались и во время недолгого существования первой Думы. Но слабая возможность сближения стала окончательно невозможной после того, как поляки совершили нижеследующее.

Поощренные относительным успехом своим в первой Думе, где польское коло насчитывало около сорока депутатов, польские помещики замыслили провести во вторую Государственную Думу гораздо больше своих представителей. После роспуска первой Государственной Думы в Варшаве собрался съезд. На него явились представители от всех губерний, где имеются поляки, то есть от всей Западной России, Литвы и Царства Польского. На съезде было постановлено: попытаться довести число депутатов поляков во второй Государственной Думе до максимального предела, с таким расчетом, чтобы польское коло составило сто человек. Для этой цели везде, где поляки будут выбирать совместно с русскими, последних в Думу не пропускать.

Свое решение, неизвестно для чего, поляки распечатали в газетах. Это было, как говорится, «немножко множко» и вызвало отпор.

Спящие русские помещики проснулись. Инициативу взяли подолжане. Они созвали в Киеве съезд русских землевладельцев Юго-Западного края, то есть губерний: Киевской, Подольской и Волынской. Это было в октябре 1906 года. Приглашались все, но приехало не так много, человек полтора, если память мне не изменяет. Чтобы дать понятие о продолжающейся спячке, можно сказать следующее.

В Юго-Западном крае примерно сорок уездов. Значит, грубо говоря, три-четыре человека приехали от уезда. А сколько в каждом уезде было помещиков, которые могли явиться?

Не знаю, но много. В нашем Острожском уезде было более пятидесяти человек, которые по спискам имели право участвовать в избирательном собрании уезда. Из них в Киев приехали двое: Сенкевич и я.

Двое! Значит, из пятидесяти проснулось только четыре процента. К этому нелишне прибавить, что с Ефимом Арсеньевичем Сенкевичем я познакомился на этом съезде, хотя от моего имени

Курганы до его имения Лисичье всего пятнадцать верст, то есть час езды в хорошую погоду. Остальных помещиков, участников съезда, я тоже не знал никого. Это показывает, в каком разобщении мы жили.

Съезд избрал председателем егермейстера Двора Его Величества, брацлавского уездного предводителя дворянства Петра Николаевича Балашова. Бывший гвардейский гусар, рано вышедший в отставку в чине поручика, он принадлежал к петербургской аристократии и по отцу и по матери. Предок его был сподвижник Петра Великого. Мать, Екатерина Андреевна, — урожденная графиня Шувалова. Ее сестра, статс-дама Елизавета Андреевна, была замужем за наместником Кавказа и главнокомандующим Кавказским военным округом генерал-адъютантом графом Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым. Его роскошная резиденция в Тифлисе сохранилась доныне.

Балашовы были очень богаты, имели несколько имений в разных губерниях. Петр Николаевич жил в Подольской губернии, где был влиятелен. Он женился на княжне Марии Григорьевне Кантакузен, в гербе которой были две императорские короны. Кантакузены принадлежали к высокой международной знати. Они вели свой род, с одной стороны, от германского императора Карла Великого, который, как известно из учебников истории, короновался в Ахене в 800 году; а с другой — от Византийского императора Иоанна VI Кантакузена, умершего в 1383 году.

Итак, съезд избрал председателем Балашова. Но избрал и почетного председателя. Кого же? Какого-нибудь великого князя? Нет, сына деревенского мельника, моего отчима, профессора Киевского университета Дмитрия Ивановича Пихно. Почему? Потому, что он был, кроме того, редактором газеты «Киевлянин». Все эти помещики, не знавшие друг друга, хорошо знали «Киевлянина». Эта газета выражала их чувства и формировала сознание. «Киевлянин» был и программа, и утешение в трудные дни 1905 года, только что пережитые.

Съезд постановил:

«Принять вызов поляков и употребить все усилия, чтобы во вторую Государственную думу поляки не явились единственными представителями Юго-Западного края.

Поручить всем явившимся на съезд организовать выборы в своих уездах».

Так как от Острожского уезда явились двое — Сенкевич и я, то нас двоих и уполномочили работать в сем уезде по крайнему своему разумению. Это поручение мы приняли всерьез.

Я не имел никакого влечения к политике, хотя и вырос в политической семье. Меня притягивала история Волыни. Это вырази-

лось в том, что я начал писать исторический роман из жизни XVI века под заглавием «Приключения князя Воронежского». Я пишу его с 1903 года, то есть свыше шестидесяти лет. Не дописал и уже не допишу, естественно. Да и те тома, что были написаны, и даже два тома, что были напечатаны, находятся «в безвестном отсутствии». Что ж, приключения так приключения!

4. Два генерала

Мы, русские помещики Острожского уезда Волынской губернии, начисто провалились на выборах в первую Государственную Думу по этому уезду. Мы были совершенно не организованы. Поляки же явились все как один, в числе пятидесяти пяти, если не ошибаюсь, и с некоторой торжественностью закидали черными шарами наших кандидатов. Меж тем они не были так плохи. Их называли «два генерала» и про них повторяли песенку, тогда модную:

*Мы два генерала,
судьба нас связала,
на остров послала...*

Генерал Ивков был настоящий генерал, то есть военный в отставке. Старик тихонько жил в своем имении, где построил обсерваторию. Днем отдыхал, ночью рассматривал звезды в телескоп. Он был один из тех, кто предчувствовал случившееся в наши дни, то есть что человечество, и Россия в частности, предпримут «кампанию» в космос. Земными делами он мало интересовался, передав все управляющему.

Другой генерал имел высокие чины, но носил узкие погоны.

Его звали Георгий Ермолаевич Рейн. Все думали, что он из немцев. На самом деле он был чистокровный русак. Его настоящая фамилия была не Рейн, а Реин. И внешность этому соответствовала. Доктор медицины, он с 1874 года как профессор-акушер читал лекции в Петербургской военно-медицинской академии. В течение двадцати лет, с 1880 по 1900 год, занимал кафедру Киевского университета по гинекологии и акушерству, а затем снова перешел в Петербург, где был близок к высшим сферам. Как известный хирург, он оперировал сестру Императрицы Александры Федоровны, Великую княгиню Елизавету Федоровну. Человек большой энергии и работоспособности, он построил в Петербурге образцовую клинику. Целью его жизни было создать в России министерство народного здравия, которого не было. Это ему удалось. 1 сентября 1916 года он был назначен главноуправляющим государственным здравоохранением, но не пробыл на этом посту и полугода. За не-

сколько дней до падения империи, 22 февраля 1917 года, Главное управление народного здоровья по причине чрезвычайных обстоятельств военного времени и наступившей разрухи было аннулировано.

Конечно, такого кандидата, как генерал Рейн, поляки не имели. Тем не менее его провалили. Два генерала знали, что их провалят. Но они исполняли свой гражданский долг и провал не считали унижением.

Так было в Острожском уезде в 1906 году.

5. План кампании

Возвращаясь из Киева на Волынь, еще в поезде, мы с Сенкевичем определили, что, начиная план кампании, прежде всего необходимо иметь карту. Карта у меня была, и очень подробная. Масштаб три версты в дюйме. Карта эта занимала стену в моем кабинете в Курганах. Еще важнее были «списки избирателей». Они были напечатаны, мы их достали, равно как текст закона. Когда мы изучили эти материалы, план кампании стал нам ясен.

Выборы в Государственную Думу не были по «четырёххвостке», как этого требовали кадеты и партии их левее. Из четырех хвостов («всеобщая, тайная, равная, прямая подача голосов») сохранился один — «тайная». Выборы не были всеобщие. Кроме умалишенных и преступников лишены были избирательного права женщины. Впрочем, женщины могли передоверить свой голос мужьям и ближайшим родственникам. Не участвовали в выборах лица, находящиеся на действительной военной службе.

Выборы в Государственную Думу были не равными, а цензовыми. Избиратели должны были иметь имущество. И в зависимости от величины ценза были их избирательные права.

Не были эти выборы и прямыми, потому что они были многостепенными, что тоже будет рассказано на примере Острожского уезда.

* * *

Членов Государственной Думы выбирали выборщики, присланные в губернское собрание из уездных собраний. Таких собраний в каждом уезде было два. Одно состояло из выборных от «волостей».

Русская деревня с незапамятных времен имела свое самоуправление, называвшееся волостным. Волостной сход составляли все хозяева данной волости. Хозяином почитался каждый, кто владел

наделом, то есть участком земли, полученным в 1861 году при освобождении крестьян. Надел переходил по наследству. Волость как старинная форма самоуправления, хорошо знакомая крестьянам, и была положена в основу крестьянских выборов в Государственную Думу. Волостные сходы выбирали делегатов в уездное избирательное собрание. Это последнее выбирало делегатов в губернское, в данном случае в Житомир, где уже выбирались члены Государственной Думы от губернии.

Второе уездное собрание составляли землевладельцы, чьи выборные права основывались на личной собственности. Всякий, кто имел хоть какой-нибудь клочок личной земли, мог участвовать в этом уездном избирательном собрании, но далеко не на одинаковых правах. Закон различал полноценовиков от более мелких собственников. В законе слова «помещик» не было. Но обычно, житейски, в то время помещиками называли лиц, имевших полный ценз. Величина ценза определялась законом для каждого уезда. В Острожском уезде ценз был определен в двести десятин. Так как у меня по купчей считалось триста десятин, то я был полноценовик и имел те же права, как и помещик Герман, самый крупный в нашем уезде. У него было около десяти тысяч десятин. Те же лица, которые не имели полного ценза, то есть двухсот десятин, не имели и голоса в собрании ценовиков. Но они могли «складывать» свою землю. Эта сложенная земля давала неполноценовикам столько голосов, сколько выходило, если общее число десятин сложенной земли разделить на двести. Так было в Острожском уезде.

Все это показалось нам поначалу чрезвычайно сложным. Но, изучив списки избирателей, мы поняли, что победа над польскими помещиками таится именно в этой сложности.

Делегаты от сложенной земли назывались «уполномоченными» от землевладельцев, не имевших ценза. Сколько же их явилось в Острожское избирательное собрание на выборах в первую Думу? Всего семь уполномоченных. А сколько их могло явиться, если бы они полностью использовали свои возможности?

В списках избирателей указывалось, сколько каждый имеет земли. Проведя утомительную арифметику по сложению этих клочков, мы узнали, что у всех «мелких» (для простоты так их называли) в совокупности имеется свыше шестнадцати тысяч десятин. Разделив сию цифру на двести, мы сделали потрясающее открытие: если мелкие используют всю свою землю, то их уполномоченные явятся в Острожское губернское избирательное собрание в числе восьмидесяти человек. Восемьдесят! Это означало, что в этом случае не ценовики будут хозяевами выборов, а уполномоченные.

Действительно, если бы даже все цензовики действовали сообща, русские и поляки, то, по нашим расчетам, у них восьмидесяти голосов все же не было бы. Но так как часть русских помещиков будет с нами, то нам не надобно восьмидесяти уполномоченных (цифра эта теоретическая), а достаточно и меньшего числа, чтобы забаллотировать поляков. На выборах в первую Думу их было пятьдесят пять человек, и это их максимальная возможность.

* * *

Но как из семи перводумских уполномоченных сделать, скажем, сорок втородумских? Сорок с нас было бы «довольно, достаточно», как сказал Богдан Хмельницкий однажды.

«Сделаю я то, что и не думал. Выбью из-под ляшской неволи весь русский народ! Довольно с нас будет, достаточно!»

Но как это сделать, чтобы выбить из-под «ляшской неволи» Острожский уезд?

Мы стали еще внимательнее изучать избирательные списки. Мелкие оказались очень пестрыми по размеру своих владений. Два-три полупомещика, около ста десятин каждый. Много средних и туча мелких. Как подойти к этим людям?

При дальнейшем разглядывании выделились три группы. Во-первых, деревенские священники. Исторически в нашем крае каждая церковь была наделяема землей. Это началось с давних времен. Русские, а иногда и польские паны наделяли церкви, построенные в их владениях, участками земли, с которых батюшки и жили. Закон о выборах в Государственную Думу определил, что церковные земли дают право духовенству быть избирателями в уездном собрании наравне с личными собственниками. В Острожском уезде было свыше ста приходов. Размер земельного обеспечения церковей был разный, но в среднем можно считать сорок десятин на приход. Итого, если бы батюшки использовали полностью свои права, они могли бы прислать двадцать уполномоченных.

Вторая группа мелких были чехи. Императрица Екатерина II в предположении, что живой пример положительно подействует на русских крестьян, пригласила крестьян, немцев и чехов, которым было тесно у себя, переселяться в Россию. Эта царица думала, что русские крестьяне начнут подражать колонистам, убедившись, что культурное земледелие дает больше, чем первобытное. Колонисты наделялись мелкими участками, близкими к крестьянским.

Мысль Екатерины II была плодотворной. К началу XX века у нас на Волыни оказалось достаточно колонистов — немцев и че-

хов. Они благоденствовали. Считалось, что колонист, имеющий шесть десятин, живет как маленький помещик. Но часть этих колонистов, начав с малого, становилась богатыми помещиками, покупая землю.

Самым ярким примером этому был Фальцфейн в Херсонской губернии. Он был очень богат и основал в херсонских степях колоссальный заповедник, где жили самые разнообразные звери и птицы, в том числе страусы.

На Волыни тоже бывали разбогатевшие колонисты. Я знал милейшего Арндта. Его дед был рядовой колонист, но Иван Юлианович имел уже тысячу десятин... Он жил богато, но деловито, без ненужной роскоши и тунеядства. Его роскошью были дочери, здоровые на загляденье барышни, получавшие образование, но не отрывавшиеся для наук от деревни и домашнего хозяйства, как наши русские барышни. Последних воспитывали, очевидно, в предположении, что они всегда будут иметь горничных и кухарок, что не оправдалось.

В Острожском уезде возобладали не немцы, а чехи. Из них только один разбогател настолько, что перешел в цензовики. Остальные были в разряде мелких, то есть могли попасть в уездное избирательное собрание через уполномоченных.

Третью группу составляли крестьяне, владевшие личной, то есть купленной, землей помимо наделов. Эти имели двойные выборные права: в волостных собраниях по наделам и как личные землевладельцы. Состав их был чрезвычайно пестрый. Я знал одного, едва грамотного старика. Он нажил шестьсот десятин хорошей земли и четверем своим сыновым дал университетское образование. Этот, разумеется, был цензовик.

Были и другие цензовики из крестьян. Но сейчас я говорю о крестьянах — личных собственниках, но мелких. Среди них преобладали мелкие собственники, начиная с одной десятины. Но по количеству земли сообща они составляли группу весьма значительную.

Но как до них добраться?

6. Батюшки

Обмозговав положение, мы поняли, что создавать какой-то собственный агитационный аппарат немыслимо. У нас нет ни людей, ни денег, ни времени. В этом отношении я имел уже некоторый опыт. Конь Васька потому явился одним из участников в выборах во вторую Думу, что я на нем летом 1906 года поехал немало по Острожскому уезду. Я, как Чичиков, гонялся за мертвыми душами, которых надо было воскресить или пробудить для обществен-

ной жизни. Мой опыт показал: душа — это минимум день. Этих душ несколько сот. До выборов осталось четыре месяца. И каких месяцев! Грязных и снежных. Дождь и вьюга. Ясно, что тут чичиковские методы неприложимы.

Печать? Но эти люди газет не читают. Печатные прокламации? И не прочтут и не поймут. Что же остается?

Остаются батюшки! Их не меньше ста лиц в нашем уезде. Они есть в каждом селе, и все в совокупности они знают чуть ли не поименно всю толщу народа. Кроме того, они сами по закону являются участниками в выборах. Батюшки — это ключ к положению.

Наш батюшка, то есть священник прихода, к которому мы относились, был отец Петр. Человек весьма достойный. Однажды он сказал мне, что духовенство местное очень хорошо ко мне относится, но есть нечто, что батюшек смущает.

— Что именно?

— Зачем вы ездите польской четверкой?

— А если я вам скажу, что я езжу не польской четверкой, а архиерейской?..

— Как это?

— Разве вы не знаете, что митрополит Киевский и Галицкий спокон веков ездил и ездит именно такой четверкой?

Тут ничего нельзя было возразить, потому что это было правдой. Но дело не в этом, а в том, что если достойный человек и иерей отец Петр выказал себя не только русским националистом, но и шовинистом, то, значит, батюшки поддержат всякую акцию против польских помещиков.

Так оно и оказалось. Мы создали некий предвыборный комитет, в который вошел и острожский протоиерей Ястржемский. Надо сказать, что духовенство было самым дисциплинированным сословием в России. Мнение протоиерея, высшего священника в уезде, было если не все, то очень много. Можно было надеяться, что батюшки исполнят то, о чем комитет их попросит. А что комитет хотел просить у священников? Ничего противного их сану. Никакой агитации. Главный противник наш обозначился на выборах в первую Думу. Это был абсентеизм избирателей. И вот здесь могли помочь батюшки.

Я написал и послал свыше ста открыток одинакового содержания:

«В Вашем приходе, уважаемый отец такой-то, проживают такие-то лица. Им надлежит прибыть на выборы в Государственную Думу туда-то тогда-то. Предвыборный комитет просит Вас напомнить им об этом их долге в ближайший к выборам праздничный день, после службы».

Эти невинные открытки и решили дело по существу. Но, кроме того, мы предприняли еще кое-какие меры, чтобы облегчить избирателям явку. Не всем было с руки ехать в Острог, да еще

в январе месяце. Острожский уезд сравнительно небольшой, но все же туда и обратно многим пришлось бы проехать на лошадах десятки и десятки верст.

Мы разбили уезд на три части, с тем чтобы выборы уполномоченных совершились в трех местечках... Этого комитет добился у властей предержавших. Кроме того, я лично совершил поход на чехов. Были округа, где чехи, так сказать, сгустились. Туда я отправился на своей «польской» четверке. Мороз был двадцать градусов по Реомюру, то есть двадцать пять градусов по Цельсию. С ветром. Передние кони порой отворачивали голову от острой струи. Впрочем, вьюги не было. Все мы, кони и люди, согрелись у местного батюшки, жившего среди чехов. Я не знал его раньше, но он принял меня чрезвычайно сердечно. Я изложил ему цель:

— Мне надо бы поговорить с чехами, то есть с руководителями. Есть же у них руководители?

— Есть. И мы вам это устроим. Но пройдет некоторое время. Отдохните пока.

Часа через три в школе собрались человек пятнадцать, о которых батюшка сказал, что это руководители чехов в Острожском уезде и за пределами его, вообще на Волыни. Я сказал им:

— Будут выборы в Государственную Думу. Вышло так, что мы, русские, не могли поладить с поляками. Будет на выборах между нами борьба. Я приехал спросить вас открыто, с кем пойдут чехи: с поляками или с нами?

Они попросили дать им время поговорить между собой. После перерыва собрание возобновилось, и один из них сказал:

— Чехи пойдут с русскими. Россия нас приютила по-братски. Дала нам хлеб и достаток. Мы благодарны русскому народу и на выборах пойдём с вами.

В этот день у меня было еще два собрания в других местах. Моя «польская» четверка поработала, но все же я ее не загнал. Кучера тоже не заморозил. У меня же была хорошая шуба, енотовая, и с таким воротником, что если его поднять, то человека вовсе и не видно, едет в санях башенка какая-то. А секрет сбережения лошадей таков. Как бы ни гнать, а подъезжая к остановке — версту шагом. Разгоряченные кони остынут на ходу, а это очень важно для их конского здоровья. А зимою — возить с собой попоны. Мой кучер Андрей был золотой, потому что любил лошадей и знал, как за ними ухаживать.

* * *

Перехожу к выборам.

Не успели оглянуться, как настал решающий день: выборы уполномоченных от мелких землевладельцев. Как сказано выше,

они происходили в трех местах. В одно из них я просил поехать Сенкевича, чтобы помочь людям, ничего во всех этих выборах не понимающим. В два других места вызвались ехать братья Лашинские. Они были наши дальние родственники. Один служил в имении сестры управляющим, другой перешел от нас на такое же место к астроному, генералу Ивкову. Этот сидел себе в своей лаборатории, не принимая никакого участия в наших трудах. Про него можно было сказать словами Лермонтова:

Он занят небом, не землей.

Такую же позицию, кто астрономическую, кто ироническую, как, например, главный остряк уезда барон Меллер-Закомельский, кто просто: «Моя хата с краю, ничего не знаю», заняли и некоторые другие полноцензовики. На них нельзя было рассчитывать. Все дело было в уполномоченных. Что даст наша тактика и стратегия?

Когда утром этого решительного дня я посмотрел на градусник, то подумал: «Чего можно ожидать, если мороз тридцать градусов? Кто поедет? Мороз в тридцать градусов по Реомюру, по Цельсию около сорока, для Волыни вещь исключительная».

Но вечером приехали Сенкевич и Лашинские и привезли радостные вести.

Мороз не испугал. Явились! Приехали тучами. Но выборы едва не сорвались на том, что трудно было предвидеть.

Во всех трех избирательных пунктах уезда было одно и то же. Огромное численное превосходство наиболее мелких избирателей, назовем их для простоты однодесятинниками. Они быстро сообразили, что в их руках сила, и решили выбирать уполномоченных только из своей среды, то есть от бедноты. Тогда более зажиточные сказали:

— Если так, то чего же нам ждать, мерзнуть тут? Едем домой. Они и без нас сами себя выберут.

И вот тут и спасли положение наши агитаторы. Они пошли к однодесятинникам и сказали им:

— Вас-то много, да земли у вас мало.

— Ну так что?

— А то, что перед самыми выборами будут считать землю. Сколько у вас ее есть всего. Будут считать только землю тех, кто вот тут в собрании присутствует. А землю тех, что вот уже коней закладывает, чтобы домой уехать, тех землю считать не будут. Они уедут и землю свою увезут с собой. Посчитают только вашу землю бедняцкую. И вы выберете уполномоченных, кого хотите, но сколько? Мало, потому что вас много, а земли у вас мало. И эти наши упол-

номоченные в Остроге, на уездном собрании, не смогут осилить панов, и никто из вас не пройдет в Думу.

Одnodесятинники поняли. И послали сказать зажиточным:
— Не уезжайте, не увозите землю. Как-нибудь сговоримся.

* * *

— И сговорились?

— Сговорились.

— И что же?

— А то, что не поверите! Избрано в трех пунктах шестьдесят уполномоченных! Шестьдесят!!! А в первую Думу было семь. Кто мог думать?

* * *

Действительно, это была победа, в которую и верить было трудно. Если бы приехали все, кто в списках, до последнего, то уполномоченных было бы восемьдесят человек. Шестьдесят — это семьдесят восемь процентов от высшей теоретической возможности.

Сейчас, когда в выборах участвует до девяносто девяти и девяти десятых процента, этим никого не удивишь. Но тогда было иначе. Незадолго перед этим на городских выборах в Брюсселе, столице Бельгии, число явившихся к урнам достигало семидесяти пяти процентов возможного. Этот результат был отмечен повсеместно как результат высокой гражданственности.

Но то Брюссель, а то Волынь. Совершенно неподготовленное население. Мороз в тридцать градусов, и притом ни денег, ни людей для агитации.

* * *

— Это дело батюшек, — сказал я.

— Это ваши открытки! — ответили мне.

— Батюшек и ваше! Вы блестяще помирили бедных и богатых. Слава миротворцам!

Так мы хвалили друг друга на радостях. Затем я сказал:

— Будем торжествовать, но не слишком. У нас шестьдесят уполномоченных. У нас, кроме того, двадцать цензовиков русских, что вероятно, пойдут за нами. У поляков предельное число пятьдесят пять голосов. Восемьдесят бьют пятьдесят пять наголову, если...

— Если не поссорятся!..

7. Помещики

Наступил день уездных выборов. Было много опасений, что из шестидесяти уполномоченных многие не приедут. Но приехали все. Прибыли и двадцать русских цензовиков, хотя их могло бы быть около шестидесяти, если бы явились все, кто был в списках. Но как один прибыли все пятьдесят пять поляков.

Они гордились не без основания:

— Мы заставили приехать даже тех, кто был в Париже, Ницце и Монте-Карло.

А русские, как всегда: часть герои, остальные обломовы.

Один был такой помещик-подолянин, впоследствии член третьей Думы и мой друг. С ним случился такой казус. Во время каких-то выборов в Подольской губернии он с женой был на Цейлоне. Муж стрелял тигров, она любовалась ловлей жемчуга. Они получили телеграмму от друзей: «Присутствие на выборах необходимо».

Он оставил жену ловить жемчуг, а сам поехал. В то время самолетов еще не было. Надо было переплыть океаны и моря и мчаться курьерскими поездами. Он приехал в день выборов, не сказал ни слова, так как был очень молчалив от природы, бросил шар в урну и на следующий день отправился обратно на Цейлон, снова переплыл моря и океаны и дострелил недостреленного тигра.

У нас в Острожском уезде таких «цейлонских» героев не было, но Георгий Ермолаевич Рейн приехал из Петербурга, бросив академию и клинику. А астроном, генерал Ивков, хотя и остался в своей обсерватории, но передал свой голос управляющему Лашинскому, что законом разрешалось.

Барон Меллер-Закомельский приехал острить, как всегда. Год тому назад он послал телеграмму другому барону, Штакельбергу, который был волынским губернатором, такого содержания: «Если Ваше Превосходительство не потрудитесь прекратить анархию во вверенной Вам Волынской губернии, то я объявляю себя диктатором Острожского уезда и наведу здесь порядок собственными силами».

Послав эту телеграмму, он основательно закусил в обществе собственного сына в городе Ровно. Возвращаясь домой в имение Витково, он решил испробовать свои диктаторские способности на юном собутыльнике, так как мальчишка стал дерзить отцу. В десяти километрах от дома он выбросил сынка в снег, а кучеру сказал:

— Гони!

Это мне рассказал мой кучер Андрей, который до того был кучером у Меллер-Закомельского.

* * *

Я хочу сказать несколько слов о мальчишке, подававшем надежды. Он их оправдал. Товарищ его по университету, сын известного профессора, вздумал на последнем курсе жениться. Пригласив шафером молодого барона, он поручил ему отвезти невесту в церковь. Блестящий шафер исполнил просьбу и отвез невесту в церковь, но только в другую, где и обвенчался с нею сам. Потом молодожены инсценировали бегство, хотя их никто не преследовал. Но это нужно было для романтики. Они бежали в «дремучий лес», где были хорошие дубы, мимо которых я нередко проезжал. В некотором отдалении от дороги стояла белая хатка лесника. Там молодые супруги провели медовый месяц довольно спокойно, потому что лес принадлежал барону Меллер-Закомельскому-отцу.

По окончании медовой луны юная баронесса переехала в Витково, стала хорошей наездницей и лихо скакала вместе с мужем. Потом...

Потом пришла война. «Герой» в кавычках превратился в героя без кавычек. Он поступил добровольцем в армию, получил два Георгия и был убит.

* * *

А старый барон — это было, конечно, до потери сына — делал свое дело, то есть острял.

Выборы во вторую Государственную Думу он начал тем, что, приехав в Острог, пошел в конюшню «Европейской» гостиницы, проще сказать, к Шрайеру. Все мы там останавливались. Барон интересовался лошадьми. Увидев мою «польскую» четверку золотистых коней, которую я подобрал на ярмарках, а кучер сильно раскормил, несмотря на гоньбу, Закомельский, заметив Андрея, сказал ему: — Чем ты их кормишь? Наверное, «Киевлянином»?

После этого он вошел в гостиницу. Там его жена бранила Рухцю Шрайер, еврейку чрезвычайно умную. Она держала в руках не только своего малоэнергичного мужа, но и самого Зусьмана, главного лесопромышленника уезда, а через него оказывала влияние на всю округу. Баронесса бранила Рухцю за то, что она отдала «перший» (первый) номер» не ей, баронессе, а Рейну. Все номера в гостинице были дрянь, но «перший» был чуточку побольше. Однако Рухця поступила так потому, что она знала все, что было и будет и что выберут сегодня отнюдь не барона. На эту ссору пришел сам барон и сказал что-то жене по-французски. Рухця не знала по-французски, но все же как-то поняла, что барон сказал своей жене. И рассказывала впоследствии:

— Он ей сказал: почему ты так кричишь? Не потому ли, что ты баронесса? Но ты баронесса только потому, что я барон.

Затем последовал завтрак. Мы, несколько человек, завтракали в этом самом «першем номере», у Рейна. Кушали яичницу. Закомельский острил. И, говоря об Ивкове, сказал:

— Он не только астроном, но и приличный человек. Но избирать его нельзя: у него в голове яичница!

На завтрак был приглашен и Лашинский, управляющий Ивкова. Ему было неловко это слушать. Он сказал:

— Вы так говорите, барон, а генерал очень вас любит!

Барон несколько смутился. Но сейчас же нашелся:

— Любит? Любит меня? Так ведь я тоже... я ужасно люблю... яичницу!

* * *

Словом, каждый делал то, что ему свойственно. А положение все же было не такое простое. Предстояло выбрать пять человек от Острожского уезда.

8. Острог

Итак, пятеро поедут в Житомир и там вместе с другими выберут членов Государственной Думы. Каждый из этих пяти, быть может, будет депутатом.

Пять! Но дело в том, что избиратели, которых было семьдесят девять, состоят из четырех групп, совершенно разных, хотя численно почти равных. Уполномоченные от мелких представляли такую любопытную картину: двадцать батюшек, девятнадцать чехов, двадцать один крестьянин-хлебороб. Затем было девятнадцать русских полноценовиков.

Все четыре группы собирались для разговоров отдельно, но все пришли к тому мнению, что батюшки, чехи, хлеборобы и помещики должны получить каждые по одному. Итого четыре. Но что делать с пятым? Великодушно было бы отдать пятого меньшинству, то есть полякам. Но великодушного настроения в отношении поляков не было. Великодушие проявилось в другом направлении.

После долгих совещаний между уполномоченными к нам, полноценовикам, пришли делегаты от крестьян и сказали так:

— Нас больше других, нас двадцать один. Некоторые думали, что пятого надо отдать нам. Но, поразмыслив, все мы на том стали, что так будет неправильно. Пятое место надо отдать русским

помещикам, чтобы, значит, помещиков избирать двух, а от остальных по одному. Почему мы на это решились? Потому, что хорошо понимаем, что все вы сделали, что без вас ничего бы не было, а поляки избрали бы одних поляков, вот почему.

* * *

Этот барьер казался мне самым трудным. Четыре дружины могли перессориться из-за пятого места. Когда теперь на старости лет я наблюдаю международную грызню государств, мне иногда кажется, что некоторым вождям и правителям еще далеко до того духа уступчивости и миролюбия, который обнаружили волынцы в конце января месяца 1907 года в городе Остроге.

* * *

Теперь остались только персональные вопросы. Кто будут эти несчастные счастливцы, которых пошлют в Житомир?

Четыре группы предоставили друг другу в этом отношении полную свободу, то есть без права отвода. Поэтому нам, цензурникам, оставалось только наметить двух кандидатов от помещиков. И тут произошло то, чего я опасался.

* * *

Мне было двадцать девять лет. Я до сих пор, то есть до Государственной Думы, мало занимался общественными делами и ничем другим тоже не выдвинулся. Кроме того, было и такое соображение. По закону достаточно было иметь двадцать пять лет, чтобы быть избранным в Государственную Думу. Но был и другой закон, неписанный, по которому на важные общественные должности обыкновенно выдвигают людей постарше. Я думал, что эти два обстоятельства достаточно гарантируют меня от тяжелых неприятностей. Таковыми я считал избрание меня в Думу. У меня не было ровно никакого желания закабалить себя в политику. Я хотел жить в деревне. Немножко хозяйничать, немножко писать роман «Приключения Воронежского». Не прочь был что-нибудь делать и по земству. Меня назначили попечителем по пожарно-страховым делам. Мне нравилось скакать на Ваське всюду, где произошел пожар, и там на месте составлять протокол. Это ускоряло получение страховой премии, что было важно для погорельцев. О более широкой и «высокой» деятельности я не мечтал и тушить всероссийский пожар не собирался. Я не был рожден «для распрей и для битв». Но судьба распорядилась мною иначе. Возня с выборами в Острожском уезде выдвинула меня против воли.

— Было в первую Думу семь уполномоченных. Сейчас шестьдесят! Кто это сделал? Шульгин и Сенкевич. Их послать! — таков был глас помещичьего народа.

Я не хотел, я просил пощадить. Но меня заставили следующими соображениями:

— Не хотите в Думу? До Думы еще далеко. Проведите выборы в Житомире. Там тоже будет всего.

Сенкевич был счастливее. Ему удалось отбиться. Кроме того, Г. Е. Рейн, академик-профессор, крайне энергичный, работоспособный и со связями в столице, был кандидатура блестящая. И притом он явственно хотел пройти в российский парламент. Это его устраивало. Таким путем ему легче будет создать министерство народного здравия, что было целью его жизни.

В заседаниях, предшествовавших выборам, он неизменно выбирался председателем, а я секретарем. Было ясно: этим двум надо ехать в Житомир.

Однако поляки тоже не дремали. Они составили план сорвать выборы. Я это понял слишком поздно, и они выборы сорвали. Сделали они это довольно любопытно. В имени Оженино Еловицкие сидели очень давно, столетия. Они вели свой род от князей Святополк-Четвертинских и некогда жили в Четвертне. Тогда они были русские, православные, но потом ополячились. Во всяком случае, это была коренная волынская аристократия. Молодой Витольд Грацианович Еловицкий окончил со мной юридический факультет в Киеве. Он работал и у моего отчима по кафедре политической экономии. Еловицкий был чуть ли не единственный поляк, который однажды летом приехал с визитом к своему профессору. И именно он сорвал выборы хитрым образом.

Председательствовал в уездном собрании в Остроге за отсутствием предводителя дворянства мировой посредник. Этой должности не было в Восточной России, там они назывались земскими начальниками. Илья Павлович Ивашкевич был милейший человек. Между прочим, он любил, объезжая уезд, заезжать к нам в Курганы. И каждый раз рассказывал один и тот же случай. Он, Илья Павлович, когда-то почему-то ехал вместе в карете с высокопреосвященнейшим Платоном, митрополитом Киевским и Галицким. Когда ехали через какое-то местечко мимо католического костела, зазвонили в колокола, что не могло быть не чем иным, как приветствием высокой духовной особы. При отношениях между католиками и православными это было необычно. Митрополит остановил карету и, войдя в костел, благословил ксендза, выслушав краткое богослужение. Затем поехал дальше.

Но этот случай произвел на Илью Павловича неизгладимое впечатление. И каждый раз, когда он это рассказывал, глаза его увлажнились и голова тряслась как-то преждевременно. Он не был дряхлый старик. По натуре своей он мог бы быть именно «мирный посредник», а не председательствовать в собрании, где люди сошлись под знаком национальной борьбы. На этом собрании присутствовало семьдесят четыре помещика. Польские помещики смотрели на мировых посредников свысока и презрительно, русские — без презрения, но тоже свысока. Он был чиновник, а они как-никак были сами себе господа. Илья Павлович несколько растерялся, у него не было привычки председательствовать в такого рода собраниях. На это Витольд Грацианович и рассчитывал.

* * *

Собрание открылось чтением закона о выборах в Государственную Думу. Когда законы были прочитаны, Еловицкий попросил слова и потребовал некоторых «разъяснений» от председателя. Илья Павлович, давая разъяснения закона, запутался. После задавали новые вопросы — он запутался еще больше. Мне стало ясно, что Еловицкий устраивает все это, чтобы иметь повод для кассации выборов. Он недаром стал адвокатом. Я попросил слова и дал разъяснения закона, чтобы помочь Илье Павловичу. Но я был рассержен на поляков и в особенности на Еловицкого за то, что он занимается провокацией. И тут у меня вырвалось несколько слов, которых не следовало говорить.

Дело было в том, что закон категорически запрещал всякую агитацию в день выборов. Все такое должно было кончаться накануне. А мои слова, которых, впрочем, не помню, в самом избирательном собрании, очевидно, можно было изобразить как агитацию. Как только я начал в этом стиле, поляки закричали:

— Слушайте, слушайте!

Я понял и замолчал. Но слово не воробей: вылетит — не поймашь. Дело было сделано.

После этого поляки перестали просить разъяснений закона. И выборы прошли гладко.

Поставили пять ящиков с нашими именами. И мы получили точно: семьдесят девять белых шаров и пятьдесят пять черных. Теперь оставалось ехать в Житомир. Выборы членов Государственной Думы были назначены на 6 февраля.

Но Витольд Грацианович оказался ловчее меня. Его предки занимались выборным искусством уже целые столетия в сеймах

и сеймиках. Словом, Еловицкий подал кассационную жалобу в том смысле, что выборы совершились с нарушением закона. И губернатор кассировал выборы и назначил новые. Срок для новых выборов был указан очень краткий. Обычным казенным путем, то есть через публикацию, было невозможно довести до сведения выборщиков, что им надо ехать в Острог вторично. И этот срок и не мог быть более долгим, так как в таком случае острожане не попали бы в Житомир к 6 февраля.

На этом и был основан хитрый расчет Витольда Грациановича. Но он упустил из виду одно обстоятельство. Во время сеймов и сеймиков не было телеграфа. А в 1906 году телеграф действовал, и неплохо. Каждый телеграфный пункт обслуживался, между прочим, мальчишками из села. Эти юные вестники пешком во всякую погоду днем и ночью доставляли телеграммы во всякое село или имение. Они назывались «нарочные» и получали плату десять копеек с версты, которую платил отправитель телеграммы, означив в адресе: туда-то нарочным, тому-то. Получатель, если хотел, давал мальчику на чай, деньги тогда были дорогие. Мальчик, доставивший двадцать пять телеграмм на среднее расстояние в десять верст, мог за двадцать пять рублей купить себе хорошую лошадку. Это не принял в расчет Витольд Еловицкий. Я послал около восьмидесяти телеграмм, что мне стоило около двухсот рублей. От этого я не разорился, а мальчишки побежали марафонским бегом во все концы уезда. Результаты?

Все уполномоченные, числом шестьдесят, явились как один. Телеграмма! Шуточное ли дело! Для некоторых из них это была первая телеграмма в их жизни, а может быть, и последняя.

Явились и девятнадцать помещиков. Выборы состоялись снова, и пятьдесят пять поляков были вновь положены на обе лопатки.

Это была победа вроде тех, что одерживал Богдан Хмельницкий, но мы не призывали на помощь татар. Как! А чехи? Да, за татар у нас были чехи. Но ведь они — братья-славяне.

9. Житомир

Итак, Острог был взят после второго штурма. Мы победили! Теперь пять человек должны ехать в Житомир и там избирать членов Государственной Думы от Волынской губернии. Два русских помещика (Г. Е. Рейн и В. В. Шульгин), один русский крестьянин, один русский священник, один чех из колонистов. Все поехали порознь, потому что проживали в разных местах. День выборов был назначен на 6 февраля.

Смотря на снежные поля, мелькавшие за стеклами вагона, я никак не мог себе представить, что нас ждет.

* * *

Жизнь в уютных домиках была дешева.

Но на главной улице были магазины, из которых некоторые стали гордостью города. Житомирские перчатки славились на весь край. Нарядные польки продавали и отменные духи. Они улыбались, как балерины, и серьги в их ушах вздрагивали горделиво.

Ждал нас отменный кофе в кавярных (кофейнях). Паненки очаровательно говорили «проше пана» и «бардзо дзенькую», но не без некоторой самомнительности. Они себе цену знали.

* * *

На главной улице стояли две гостиницы, одна против другой. Более шикарную, не помню, как ее название, заняли поляки. Как и барышни в кавярных, они себе цену знали.

Более скромная гостиница была «Рим». Это название явно указывало, что хозяева ее были поляки. Почему? Потому, что поляки римско-католического вероисповедания. Однако ее заняли мы, русские. Должно быть, мы тоже знали себе цену. Только эта цена была ниже польской. Это явление очень интересное, оно пронизывает всю историю русско-польских отношений. Польские паны всегда смотрели на русских сверху вниз, а последние на первых — снизу вверх. Так было всегда и неизменно кончалось тем же: восстанием низов против верхов.

Острожское восстание кончилось нашей победой. Но как будет в Житомире?

* * *

Однако ни польские паны, ни русские помещики не могли решить дела по существу. Соотношение сил, то есть число выборщиков разных групп, было таково, что ни одна группа в одиночку не имела большинства. Следовательно, необходим был сговор. Самой многочисленной группой были крестьяне. Это были выборщики от волостей, то есть от хозяев, имевших надель, и выборщики от крестьян, имевших собственную землю. По национальности они были русские, или, как тогда говорили, малороссияне, по нынешней терминологии украинцы.

Второй по численности была группа польских помещиков, третьей — русских помещиков. Четвертая группа — горожан, ко-

торые почти все были евреи. Пятая — священников, русских по национальности. Наконец, шестая группа — чехи и немцы, колонисты.

Группировки по национальному признаку могли быть такие.

Русские, то есть помещики, батюшки и крестьяне, к которым присоединились чехи и немцы-колонисты.

Поляки, к которым примкнули евреи-горожане.

По классовому признаку мог быть блок всех помещиков без различия национальности, то есть союз русских и поляков. Если бы к этому союзу примкнули евреи-горожане, то такой блок имел бы большинство.

Это могло бы быть серьезным искушением. Революция собиралась сделать имущих нищими. Естественно, что ограбляемые могли соединиться вместе в борьбе против грабителей. Грабителями явились бы мужики, которым сулили помещичью землю. Но тогда на Волыни еще так не было.

Идея национального единства, поддержанная Церковью, одержала верх.

Таким образом, ограбляемые решили объединиться с теми, кто при известных условиях мог стать грабителем. Мог, но пока что таковым не был. Кроме природной мягкости волынского хлебороба здесь сказала умиряющая рука духовенства.

* * *

Итак, русские помещики овладели Римом. Богдан Хмельницкий, подымая восстание, в универсале 1648 года объявил *urbi et orbi* (буквально — городу и земле, то есть всем, всем, всем): «Наши славные предки при царе Одоацере (Одоакре — по латыни *Odoacer*) владели Римом!»

Одоацер действительно захватил Рим в 476 году, низложив последнего западноримского императора Ромула Августула перед падением Западной Римской империи. Но был ли он нашим предком? Он перед тем совершил такие деяния в Норике, считающемся колыбелью славянства, что пусть он лучше нашим предком не будет. Хмельницкий, однако, не запятнал себя сознательной ложью. Быть может, он знал надпись на каменной плите, существующей и доселе в подземелье одного монастыря в городе Зальцбурге. В этой надписи Одоацер назван *Rex Ruthenorum*, то есть царем русов. Сделал же это славный гетман в 1648 году, потому что стремился поднять «самооценку» русских, ибо она и тогда была слишком низка.

Но это так, между прочим. Я сказал, что русские овладели Римом в 1907 году. Это значит, что они захватили гостиницу «Рим»

в Житомире. В этом «Риме» на совещаниях, а также во время совместных обедов и ужинов выяснилось, что настроение русских помещиков твердое: с поляками и евреями блокироваться не желаем, надо соединиться с крестьянами.

Итак, мы жили в «Риме». Но где поместились эти самые крестьяне? Их приютила Церковь. Архиепископ Антоний через двух своих помощников: архимандрита Виталия и иеромонаха Илиодора чрезвычайно искусно выполнил христианский долг уловления душ. Выборщики были простые люди, совершенно растерявшиеся, когда на них пала такая трудная задача — избрать из своей темной среды таких людей, чтобы помогли править народом... кому? Самому царю! Так им представлялась их будущая должность. Они были чрезвычайно рады, когда на вокзале их встретили ласковые монахи. Батюшки не только приютили их в своем подворье, дав им и кров, и пропитание, и притом даром. Архимандрит Виталий и иеромонах Илиодор стали поучать их уму-разуму, то есть как им поступать сейчас на выборах и потом в Государственной Думе.

Они уже знали, что им будут платить за их службу десять рублей в день. Десять рублей! Это кружило голову беднякам. Ибо те, что кончили школу, знали: если Дума проживет, даст Бог, все пять лет, как ей полагается, то каждый из них получит 18 250 рублей. И станет серый хлебобороб не то что каким-нибудь чехом или немцем, а самым настоящим помещиком. Но монахи им, должно быть, объяснили: чтобы стать помещиком через пять лет, надо сейчас поладить с теми, кто уже помещики, с теми, кто живет в гостинице «Рим», с теми, кто будет 6 февраля выбирать в Государственную Думу. Без их помощи ни один хлебобороб помещиком не станет.

Так должны были говорить монахи, но они так не говорили.

Когда я увидел архимандрита Виталия, я это понял.

Он сидел в углу большой комнаты в подворье, но не в красном углу, то есть под образами, а в другом, напротив. И произошел конфуз. Я перекрестился не на образа, а на архимандрита, но вышел из положения тем, что подошел к нему под благословение. После этого он пригласил меня сесть на скамью около себя. И, внимательно посмотрев на меня, сказал негромко и очень просто:

— О вас хорошо говорит народ.

Я и обрадовался, и смутился, но ответил:

— Этому я обязан не себе самому, а моему отчиму. Он иногда помогал людям.

— А вы сами?

Он чуть-чуть улыбнулся, смягчая этим строгость вопроса, перешедшего в допрос. Я тоже улыбнулся, и мне было легко ему ответить:

— Вот сейчас хочу помочь.

— Чем?

— С поляками и евреями мы, русские помещики, — я от их лица говорю — не пойдём.

— Похвально. Вам было бы выгодно, вы имели бы большинство.

— Не всегда выгода выгодна. Мы хотим идти с русским народом, которого мы часть. Но я предвижу затруднения.

— Какие?

— Затруднения могут возникнуть при дележе мест.

— Именно?

— Всех мест тринадцать. Надо установить, сколько кому достанется.

— Как же вы о сем мыслите?

— Начну с легкого. Духовенству — одно место, чехам и немцам вместе — тоже, то есть одно место.

— Не возражаю. Остается одиннадцать.

— Остается одиннадцать. Мы думали так: помещикам четыре места, крестьянам семь. Итого одиннадцать.

Я остановился, ожидая ответа. Но ответ последовал не сразу.

Архимандрит, вероятно, думал о двух предметах. Удастся ли уговорить крестьян и можно ли верить помещикам? Не впадут ли они во искушение? Ведь поляки и евреи, вероятно, предложат им более выгодные условия.

А я не то что рассматривал, я силился ощутить истинную внутреннюю сущность архимандрита Виталия.

Худое лицо, впавшие глаза. Он строго постился и спал на голых досках, быть может, на этой деревянной скамье, где я сидел.

Редкая бородка, не стриженная, а потому, что не растёт волос. Я не думал тогда, что так же изображают Христа. От этого человека исходило нечто трудно рассказываемое. Он говорил негромко, ставил трезвые вопросы и следил за моей несложной арифметикой, таившей, однако, весьма сложные переживания. Я был равнодействующая стоящих за мной людей. Правильно ли я их учитывал? А архимандрит Виталий как будто бы «что-то» знал, чего я не знал, а может быть, никто не знал. И это единственно важное «что-то» было настоящей сущностью этого человека. А внешность его и слова, которые он негромко произносил, были то неважное, что соединяло его с миром. Так тихо горящая лампадка есть то, что самое важное в келии. А остальное, стены, пол и потолок, скамьи и стол с куском хлеба, на нем лежащим, только неизбежная дань суетному миру.

Простые люди чувствовали благостное «что-то» этого аскета. И шли за ним.

Когда мистические мгновения размышлений, меня посетившие, кончились, архимандрит сказал:

— Мы вам поможем...

Он выразился не точно, потому что «лампадка» стыдлива. Но я понял. Монах хотел сказать:

— Господь вам поможет... — Не только мне. Лампада, излучая свет всем, молится «за всех и за вся».

* * *

В каком-то большом зале мы встретились: крестьяне и помещики. Ну и батюшки, и чехо-немцы тоже.

Крестьяне были не лубочные, не подставные, не «пейзане» из пасторали. Чистокровные хлебобобы, черная Волынь. Одни в домотканых свитках с самодельными пуговицами и застежками. Другие в кожах шерстью внутрь. Лица знакомые, незлобные, приветливые.

А Прокопий и другие летописцы VI века повествуют, что они в VI веке нападали на Царьград. Тогда, надо думать, добродушием они не отличались.

Прошло четырнадцать веков, сердца смягчились. Однако люди, в самомнении своем считавшие себя культурными, делали все возможное, чтобы вернуть мирных земледельцев к звериной жизни.

* * *

Серо-коричневое пятно свиток и кожных заняло две трети комнаты. Они разглядывали нас выжидательно. Мы, сюртучники в белых крахмальных воротничках при галстукке, рассматривали «сермяжную Русь», старались угадать, чем она сегодня дышит.

До 1905 года мы ее знали, ощущали. Но эти два года последние всколыхнули всю страну. Общее настроение обозначившегося движения было революционным. Его лозунгом было насилие. Поддалась ли ему мирная Волынь?

* * *

Не помню, как началось. Из массы выделились главари. Они говорили тем языком, как выражаются наши волынцы, прошедшие через солдатскую службу. Смесь общерусского языка с местным.

Нет! Эти люди не хотели насилия. Они хотели сговора с русскими помещиками. А с польскими не хотели и с евреями — тоже.

Это значило, что в чувствах все были едины. И потому разговоры перешли на дележку мест. И тут согласие наскочило на подводный камень.

С батюшками и чехо-немцами быстро покончили. Тем и другим дать по одному месту в Государственной думе.

А затем дело стало. Помещики хотели получить себе четыре места, а крестьянам дать семь. А последние предлагали помещикам три места, а себе требовали восемь.

На этом они уперлись. Пробовали обе стороны привести какие-нибудь доводы. Но какие могут быть доводы, когда люди просто торгуются? Хлеборобы говорили, что они никому не хотят «кривды», но три места помещикам достаточно. А помещики утверждали, что правильно дать им четыре места в Государственной Думе.

И то и другое было одинаково справедливо и несправедливо, то есть убедительно доказать ничего нельзя было. Поэтому разошлись с кислыми лицами, решив, однако, на следующий день собраться снова.

* * *

Ужиная, «римляне», то есть русские помещики, проживавшие в гостинице «Рим», обсуждали положение. Стало известно, что кто-то из поляков предлагает соединиться всем помещикам вместе и с помощью евреев получить большинство. Выслушали и постановили: блок с поляками и евреями отвергнуть, но и в отношении крестьян держаться твердо. Требовать четыре места. В случае отказа уехать, то есть не участвовать в выборах. И о таком нашем общем решении объявить крестьянам поручили мне: «Наш пострел везде поспел!»

* * *

Собрались вторично. Снова пробовали убедить упрямцев. Нет, не поддаются. Тогда я встал и с некоторой дрожью в голосе сказал:

— Нам предлагали поляки и евреи с ними соединиться, и тогда у нас будет большинство и мы выберем кого хотим и сколько хотим. Но мы им отказали. Мы русские и против русского народа не пойдём. Но выходит так, что идти вместе с родным народом нам нельзя. Очень уж вы упрямые, братья-хлеборобы! Куда же мы пойдём? Никуда. Объявляю вам, что мы, русские помещики, в выборах участвовать не будем и разъедемся по домам. Прощайте!

И мы вышли из зала. Но ехать на ночь глядя не хотелось. Куда же идти? Разумеется, все в тот же «Рим» — ужинать.

Во время ужина, с горя очевидно, некоторые подвыпили, и как-то все мы подружились. Настроение поднялось, потому что мы по-

чувствовали себя в некотором роде героями — «лягу за царя, за Русь!». И очень много курили, в комнате был туман. Вдруг ко мне наклонился официант, подававший ужин, и сказал тихонько:

- Вас там требуют.
- Где?
- На крыльце.
- Кто?
- Мужики какие-то.
- Именно меня?
- Так точно. Именно вас.

Я выскользнул незаметно из объятия табачного дыма и вышел на крыльцо. Их было несколько человек. Это были наши упрямы. Во главе с Гаркавым, с Георгием на груди. Я его уже хорошо знал. Он главным образом говорил вчера и сегодня. И теперь он обратился ко мне:

— Мы пришли к вам, хотя вы от нас ушли. Пришли вам сказать. Нам три русских помещика нужны.

— Зачем?

— Мы люди темные. Не знаем мы, как нам там быть, в той Государственной Думе. Вы нам расскажете. Вот почему нам нужно трех русских помещиков. Мы их все равно хочь из-под земли достанем! Мы хотим вас и еще двоих, кого вы назначите.

Я ответил:

— Мы хотим четырех, как вы знаете. Но то, что вы мне сказали, я передам точно другим, сейчас же.

Они поклонились и ушли.

* * *

При этом разговоре присутствовал еще один помещик, который, случайно или нет, пошел за мной. Это облегчило мое положение. Войдя в облака дыма, я сказал:

— Прошу внимания!

Дым не разошелся, но говор стих. Я рассказал, что произошло, скрыв только, что они требовали, чтобы я «назначил» двоих. Но это разболтал слышавший разговор на крыльце. Я кончил и прибавил:

— Полагаю, что это не отменяет нашего решения не идти на выборы.

Но мое заявление не имело резонанса. И кто-то сказал:

— А я думаю, что отменяет. Надо идти на выборы, но голосовать за четырех наших кандидатов. Если хлебобобы одумаются, то они выберут четырех. Заупрямятся — выберут трех. В конце концов лучше получить трех, чем ни одного!

Это мнение восторжествовало.

— Если так, — сказал кто-то, — то нам надо немедленно выбрать, кого мы желаем послать в Думу. Записками мы выберем сейчас четырех, и они будут завтра баллотироваться.

Так и сделали.

* * *

Наутро в зале было выстроено четырнадцать ящиков с фамилиями кандидатов. Хлеборобы чинно подходили и клали шары. Думали, что они запутаются. Нет! Они положили белые батюшке, отцу Дамиану Герштанскому, чеху Ивану Федоровичу Дрбоглаву, восьми крестьянам, в том числе Михаилу Федосеевичу Гаркавому, и трем помещикам: Георгию Ермолаевичу Рейну, Григорию Николаевичу Беляеву и мне. Четвертого помещика закидали черными.

Поляки и евреи, насколько помню, своих кандидатов не выставляли, но всем нашим положили черные.

* * *

И кончилось. Крышка гроба захлопнулась. Я был заживо погребен навсегда. Там я лежал — политик, политику ненавидящий.

* * *

В соборе архиепископ Антоний отслужил торжественный молебен. Райские звуки струил хор, но мне молебен казался панихидой. 6 (19) февраля 1907 года я похоронил свою свободу.

Часть II. ТРАГЕДИЯ ЭВОЛЮЦИИ

1. День первый

День 20 февраля 1907 года был сумрачный, из тех, которые хорошо описывал Достоевский. Блистательный Санкт-Петербург предстал передо мною на этот раз в сереньком виде. Я трусил на «ваньке» по Шпалерной, по которой шпалерами стояли люди. Впрочем, эти люди не имели казенного вида. Наоборот, это была толпа скорее интеллигентская. Она густо окаймляла тротуары улицы и в противоположность хмурому небу была оживленной.

Впереди и сзади меня тянулись такие же «ваньки» с такими же, как я, депутатами. Ничего торжественного. Однако знакомых петербуржцам депутатов приветствовали возгласами и рукомаханием. Меня, естественно, никто не приветствовал. Сугубого провинциала, кто мог меня тут знать? Полиция стояла кое-где, бесстрастная. Никто на нее не обращал внимания.

И вот Таврический дворец. Растянутое покоем здание с колоннами посередине и шапкой купола над ними. Несколько ступенек — и величественный швейцар стал снимать с меня пальто.

Я потом узнал, что этот швейцар был солдат в отставке, с которого скульптор Паоло Трубецкой лепил памятник Александру III. Швейцар был примерно на голову выше меня и могучего телосложения.

Затем я попал в водоворот депутатов в так называемом Круглом зале, увидел величественные колонны Екатерининского зала и наконец вошел в святая святых — зал заседаний пленума Государственной Думы. Он напомнил мне университетскую аудиторию, только в грандиозном масштабе. Над амфитеатром с трех сторон белоколонные хоры. С четвертой — кафедра ораторов и над нею кафедра председателя из тяжелого резного дуба, за которой находился портрет Императора во весь рост, работы И. Е. Репина. Все это импонировало. Сказать по правде, таких залов я еще не видел.

Что касается членов Государственной Думы, то, кроме тех, с которыми я успел познакомиться в предшествующие дни, я никого не знал.

После молебна началось заседание. Я занял место справа в группе депутатов, которая уже сорганизовалась под именем «правые и умеренные». Разница между теми и другими была в том, что правые проявляли темперамент и прямолинейность, умеренные же, естественно, были умереннее в выражениях.

Левее нас были так называемые «октябристы», то есть люди, вполне воспринявшие манифест 17 октября 1905 года, так называемую «конституцию». Впрочем, это слово не признавалось ни правыми, ни кадетами. Правыми — потому что они дорожили самодержавием государя, а кадетами — потому что под конституцией они подразумевали парламентаризм английского типа, то есть правительство, избираемое парламентом. Более же левые, социалисты разных оттенков, не признавали ни самодержавия, ни конституции. Они хотели революции.

После суеты и сутолоки наступила тишина. На кафедру председателя взошел в золотошитом мундире с голубой лентой через плечо действительный тайный советник И. Я. Голубев. Ему было повелено особым указом Императора открыть Государственную Думу второго созыва.

Первый созыв был распущен до срока манифестом царя от 9 июля 1906 года, объявлявшим, что, поскольку «выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в не принадлежащую им область», Государственная Дума закрывается. Первая Государственная Дума просуществовала с 27 апреля по 8 июля 1906 года, то есть семьдесят три дня.

Что ожидало вторую Государственную Думу? Никто не мог сказать этого тогда, но предчувствия были плохие. Большинство уже определилось: кадеты, в то время очень яростные, и социалисты. В числе их было тридцать семь человек эсеров, по существу, бомбометателей.

Какое же общее впечатление производил этот вторично собравшийся русский парламент на беспристрастного зрителя?

Трудно сказать, потому что вряд ли такого беспристрастного можно было разыскать тогда в Петербурге.

Мне известна такая общая характеристика второй Думы, сделанная самим ее председателем Ф. А. Головиным, конечно, далекая от беспристрастности, но любопытная.

«Левое крыло Думы, — говорил он, — невольно поражало зрителя множеством молодых для ответственного дела народного представительства лиц, и при этом неинтеллигентных. На фоне этой некультурной левой молодежи редкими пятнами выделялись серьез-

ные умные лица некоторых образованных народных социалистов, эсеров, двух—трех трудовиков и стольких же социал-демократов. Но, повторяю, общая масса левых отличалась тупым самомнением опьяневшей от недавнего неожиданного успеха необразованной и озлобленной молодежи. Все же вера в непогрешимость проповедуемых ими идей и несомненная бескорыстность и готовность к самопожертвованию ради торжества их принципов возбуждали симпатию к ним объективного и беспристрастного наблюдателя.

Не такое чувство возникало при взгляде на правое крыло Думы. Здесь прежде всего бросались в глаза лукавые физиономии епископов и священников, злобные лица крайних реакционеров из крупных землевладельцев-дворян, бывших земских начальников и иных чиновников, мечтавших о губернаторстве или вице-губернаторстве. Они ненавидели Думу, грозившую их материальному благосостоянию и их привилегированному положению в обществе, и с первых же дней старались уронить ее достоинство, добиться ее роспуска, мешали ее работе и не скрывали даже своей радости при ее неудачах.

На это крыло, шумевшее, гоготавшее, кривлявшееся, было противно смотреть, как на уродливое явление: народные представители, не признающие и глумящиеся над народным представительством!

Сжатый этими двумя буйными и сильными крыльями, имеющий большинство в Думе лишь от присоединения к центру то левого, то правого крыла, сам по себе бессильный центр, стремящийся к законодательной работе на строго конституционных основах с товарищами налево, желающими использовать думскую трибуну лишь для пропаганды своих крайних учений, с господами направо, провоцирующими Думу на путь пустых деклараций и скандалов, этот центр вызывал в зрителе и сожаление, и уважение перед его стойкостью, выдержанностью и политической воспитанностью».

Как понимал Головин эту «политическую воспитанность», мы сейчас увидим.

Депутаты заняли свои места где кто хотел. Определенных мест еще не было. И Голубев, стоя на кафедре, сказал:

— Господа! Государственный секретарь прочтет именной высочайший указ от 14 текущего февраля.

После чего государственный секретарь прочел:

«Именной высочайший указ, данный Правительствующему Сенату 1907 года февраля 14 дня.

Во исполнение воли нашей о времени созыва избранной Государственной Думы, все милостивейше повелеваем действительно-му тайному советнику Голубеву открыть заседание Государственной Думы 20 сего февраля».

Затем Голубев сказал:

— Государь Император повелел мне приветствовать от высочайшего имени членов Государственной Думы и пожелать им с Божией помощью начать труды для блага дорогой России.

Портрет императора, висевший над кафедрой, где стоял Голубев, как бы подтверждал это приветствие.

После этих слов произошло нечто неожиданное для всех, кроме ста человек, участвовавших в заговоре. Крупенский, депутат от Бессарабии, встал и громким голосом закричал: «Да здравствует Государь Император! Ура!»

Вместе с Крупенским встали примерно сто человек, то есть правые, умеренные националисты и октябристы, и поддержали Крупенского криками «ура». Остальные депутаты, примерно четыреста человек, остались сидеть, желая этим выразить неуважение к короне. Но из этих четырехсот вскочил один. Он был высокий, рыжий, еще не старый, но согбенный, с большой бородой. Он встал, но на него зашикали соседи: «Садитесь, садитесь!» Рыжий человек сел, но вскочил опять, очевидно, возмущившись. И опять сел, и опять встал. Как потом оказалось, это был профессор университета, впоследствии академик, Петр Бернгардович Струве.

История его примечательна. Как убежденный сторонник марксизма, он был автором манифеста I съезда партии социал-демократов в 1898 году и участником Лондонского конгресса II Интернационала. Виднейший представитель «легального марксизма», он перешел в 1900 году в либералам. Почему?

Струве был честнейшим человеком, и его отход от Маркса может быть объяснен только умственным и душевным перерождением. В то время он уже был в числе руководителей партии кадетов. Как человек широкообразованный, он, конечно, знал, что на приветствие монарха конституционалисты встают и отвечают приветствием же. Но кадеты 1907 года находились в яростной оппозиции и потому своим поведением в день открытия Государственной Думы скомпрометировали свою конституционность.

Их лидер, член ЦК партии, председатель второй Думы Ф. А. Головин, в своем лукаво-откровенном описании этой сцены говорит:

«Мы, кадеты, сидели без предварительного сговора... Что касается меня лично, то я не видел необходимости вставать, так как Голубев передавал не подлинные слова Государя, а сам приветствовал членов Думы, хотя и от высочайшего имени. В то же время я хорошо знал, что социалисты, конечно, не встанут и тогда особенно резко будет подчеркнуто их отношение к монаршему приветствию. Я считал, что не следовало отделять себя от левых партий без особой нужды... Нельзя же было требовать, чтобы социалисты, в про-

грамме которых борьба с монархизмом, участвовали в демонстрациях монархических чувств».

Так Головин продемонстрировал свою «политическую воспитанность».

В этот день определилось, что настоящими конституционалистами были только октябристы, бывшие менее образованными, но более чуткими.

«...Конечно, ты уже знаешь, — писал Государь 1 марта 1907 года своей матери, Марии Федоровне, в Лондон, — как открылась Дума и какую колоссальную глупость и неприличие сделала вся левая, не встав, когда кричали «ура» правые!..»

Но как же случилось, что сто человек, приветствовавших монарха, сговорились и свой замысел удержали в тайне? Не могу припомнить, кто был инициатором этого дела. Надо думать, что это был Павел Николаевич Крупенский. Трудно указать более подвижного и темпераментного человека. По своему давнишнему происхождению Крупенские были турки. Бессарабия примерно сто лет тому назад была присоединена к России. За это время род Крупенских, весьма многочисленный, не только обрусел, но и выказал себя ярким приверженцем нового отечества. Этот факт весьма интересен и даже знаменателен. Окраины, населенные так называемыми инородцами, иногда больше ценили Россию, нежели природные русские. В частности, Бессарабия послала во вторую Государственную Думу П. Н. Крупенского, В. М. Пуришкевича, П. А. Крушевана, П. В. Синадино и других убежденных сторонников монархии и величия России.

Но я помню многолюдное собрание в доме, кажется, Якунчикова. Наивный провинциал, я был поражен красотой этой квартиры, в особенности штофными обоями, которых я до той поры не видел. Собрание было кем-то созвано для того, чтобы найти кандидата в председатели в противовес Головину, которого выдвигали кадеты и за которого, кроме нас, готовы были голосовать все остальные. Словом, в доме Якунчикова собралась оппозиция Государственной Думы второго созыва. Очень легко и быстро мы объединились вокруг Николая Алексеевича Хомякова. Его многие знали и ценили. Он был представителем Смоленской губернии. Сын известного славянофила, писателя и поэта, крестник Гоголя. Николай Алексеевич олицетворял собою традицию обаятельного русского барства. В нем было достоинство, полное отсутствие подхалимства в отношениях с высшими и ласковость к низшим. Он имел навыки председательствования, как земский работник. Что он, как и другие видные славянофилы, происходил от татар, — значения не имело. Он очаровательно слегка картавил, и это передалось и его детям. Кажется, единогласно он был выбран в Госу-

дарственную Думу как наш представитель. И под его председательством и решился вопрос, что на ожидаемое приветствие государя необходимо ответить приветствием же. Это решение имело свои последствия.

А левая печать, в том числе и кадетская, сорвала свою злость на почтенном Струве. Передав сцену, происшедшую в Государственной Думе, когда Петр Бернгардович то вставал, то садился, борзописцы прозвали его «ванька-встанька».

Между тем избрание председателем Думы Ф. А. Головина было предопределено. Окончательно это было решено накануне, 19 февраля 1907 года, на квартире одного из основателей и видных деятелей кадетской партии князя П. Д. Долгорукова. Здесь в этот день собралось около двухсот пятидесяти членов думской фракции кадетов с целью наметить кандидатов в президиум второй Думы. Когда на заседание явился Головин, встреченный дружными аплодисментами, ему сообщили, что единогласное постановление фракции ввести его в председатели Думы уже состоялось.

Социал-демократическая фракция на предварительном совещании 18 февраля двадцатью пятью голосами против тринадцати решила явиться на квартиру князя с информационной целью. Ее представители, среди которых преобладали меньшевики, заявили, что будут голосовать за Головина. За его кандидатуру высказались также депутаты фракции трудовиков и эсеров, польского коло и национальных групп: литовской и мусульманской.

Таким образом, избрание не только Головина, но и его товарища по управе М. В. Челнокова в секретари Думы было обеспечено заранее.

Поэтому никого не удивило, когда председателем Государственной Думы был избран получивший триста пятьдесят шесть белых избирательных шаров против ста четырех черных Федор Александрович Головин, а Николай Алексеевич Хомяков, получивший девяносто один голос записками как кандидат, от баллотировки шарами отказался. Так закончился первый день заседания.

* * *

«...Головин — председатель, — писал Царь в упомянутом выше письме к Марии Федоровне, — представился мне на другой день открытия. Общее впечатление мое, что он nullite complete — полное ничтожество!»

Я говорил, что предчувствия о будущем второй Думы были у нас плохие. Но тогда мы не могли знать, что предчувствия эти были вполне обоснованны, что дни второй Думы были по воле монарха уже сочтены.

Вот что писал Николай II Марии Федоровне 29 марта 1907 года: «...Все было бы хорошо, если бы то, что творится в Думе, оставалось в ее стенах. Дело в том, что всякое слово, сказанное там, появляется на другой день во всех газетах, которые народ с жадностью читает. Во многих местах уже настроение делается менее спокойным, опять заговорили о земле и ждут, что скажет Дума по этому вопросу... Нужно дать ей договориться до глупости или до гадости и тогда — хлопнуть...»

2. Praesagium¹

Во втором и третьем заседаниях происходили выборы президента и секретарей. А четвертое заседание 2 марта 1907 года началось с обычных официальных слов председателя:

«Объявляю заседание открытым. Журнал прошлого заседания находится у секретаря Думы...»

Человек, который прочел бы только стенографический отчет заседания, куда занесены эти слова Ф. А. Головина, не имел бы никакого понятия о том, что произошло между третьим и четвертым заседаниями.

Впрочем, это не единственный случай, когда официальные отчеты, будучи совершенно точными, совершенно не отражают действительной жизни. Какой-нибудь Шерлок Холмс, однако, задумался бы над нижеследующим.

Стенографический отчет о четвертом заседании начинается со слов:

«Заседание открыто в Круглом зале Таврического дворца в 11 часов 35 минут».

Почему в Круглом зале, когда общие заседания Государственной Думы происходили всегда в другом зале, специально для этого предназначенном? Вот почему.

Величественного зала, напоминавшего грандиозную аудиторию, нечто вроде римских амфитеатров, уже не существовало. Все места, предназначенные для народных представителей, были засыпаны обломками штукатурки и белой известковой пылью. Обломки лепных украшений потолка достигали крупных размеров. Некоторые из них весили от одного до трех пудов.

Члены Государственной Думы Пуришкевич, Крушеван, митрополит Платон, Крупенский я и другие были бы убиты, если бы несчастье произошло во время заседания. Особенно пострадала правая сторона. Пылью был засыпан весь амфитеатр.

¹ Зловещее предзнаменование (лат.).

Что же произошло? Произошло то, что рухнул потолок над правой стороной зала. Левая удержалась. И потому удержавшийся потолок повис в воздухе над амфитеатром в косом положении. Угрожающе трепетали балки, доски, деревянная сетка, употребляемая под штукатурку.

В стенографическом отчете, конечно, это не описано.

Телефонный звонок в номере «Европейской» гостиницы разбудил в семь часов утра этого дня только что избранного председателя Думы Ф. А. Головина. Заведующий охраной Таврического дворца барон Остен-Сакен известил его о происшедшей катастрофе. Пока Головин одевался, чтобы ехать в Таврический дворец, его вызвал к телефону председатель Совета Министров П. А. Столыпин, сообщивший, что он уже в Думе и ожидает скорейшего приезда председателя, чтобы выяснить, где можно провести заседание, назначенное на одиннадцать часов утра.

Головин нашел Столыпина в министерском павильоне Таврического дворца. Вместе с ним, а также с некоторыми членами бюро Думы, секретарем М. В. Челноковым и перепуганным заведующим зданием архитектором Бруни он отправился в пострадавший зал заседаний.

«Картина была потрясающая, — рассказывает Головин. — Вся штукатурка, толстая и тяжелая, рухнула с высоты восемнадцати аршин (двенадцати метров), поломав и исковеркав по дороге люстры. Она легла двумя громадными пластами на левую и правую стороны полукружья с пюпитрами членов Думы. Если бы эта катастрофа случилась несколькими часами позже, то убитых и изувеченных членов Думы была бы масса. Судя по тому, чьи пюпитры были разбиты, можно предположить, что уцелели бы те члены Думы, которые сидели в центре, а более всего пострадали бы депутаты, занимавшие места на флангах».

Головин предвидел, что эта катастрофа, при враждебном отношении значительной части членов Думы к правительству, вызовет столь «повышенное настроение», что было бы в высшей степени неблагоприятно при таких условиях выслушивать декларацию правительства. Однако Столыпин не понимал или не хотел понять настроение членов Думы.

Вся Россия и Европа ждали декларации правительства, и откладывать этот важный акт из-за какой-то обвалившейся штукатурки — значило, по мнению Столыпина, придавать серьезное значение ничего не значащей печальной случайности.

Когда Головин со Столыпиным после осмотра зала, где рухнула штукатурка, вышли в кулуары, вокруг них образовалось кольцо из депутатов, достаточно ясно выражавших чувство негодования по случаю происшедшего. Горячие головы видели в обвале покушение

на жизнь народных представителей, более уравновешенные — преступную небрежность.

Увидев такое настроение членов Думы, Столыпин поспешил уйти, еще раз, однако, настойчиво прося председателя непременно устроить заседание в Круглом зале и заслушать правительственную декларацию.

Заседание в Круглом зале состоялось, но Столыпину не удалось на нем выступить. Оно продолжалось всего сорок минут и ограничилось лишь рассмотрением вопросов о подыскании помещения для заседаний Думы и о принятии мер к выяснению причины катастрофы. Столы и стулья были собраны со всего дворца и поставлены в Круглом зале. На стульях сидели депутаты, пришедшие раньше. Опоздавшие стояли. Была и кафедра для ораторов. Это был обыкновенный стул. С этого стула я сказал свою первую речь в Государственной Думе. Речь мало-значительную, но ей предшествовали выступления более красочные.

Григорий Алексеевич Алексинский, в ту пору депутат от петербургских рабочих, принадлежащий к большевистскому крылу социал-демократической фракции, произвел известное впечатление. Он был маленький, почти горбатый, с умными глазами и насмешливым выражением лица. В нем светилась нескрываемая радость по поводу происшедшего.

Стоявший около меня М. М. Никончук, крестьянин от Волынской губернии из села Кожуховки Овручского уезда, «хлебопашец с домашним образованием», увидев Алексинского, прошептал:

— Откуда оно такое взялось?

А «такое» заговорило высоким, пронзительным голоском, однообразно тыкая огрызком карандаша, как будто «оно» хотело вписать слова в мозги слушателей:

— Граждане депутаты!

Это обращение было введено Алексинским для того, чтобы не говорить: «Господа члены Государственной Думы!»

— Я нисколько не удивился известию о том, что обвалился потолок над теми местами, где должны были заседать народные представители. Я уверен, что потолки крепче в министерствах, в департаменте полиции и в других учреждениях. (*Шум, аплодисменты.*)

Этим Алексинский слишком прозрачно намекал на то, что провал потолка устроен нарочно правительством для убиения народных представителей. Но если бы это было так, то обвал потолка произведен был очень неудачно. Были бы убиты как раз защитники правительства, а враги его остались бы целыми и невредимыми.

Поэтому прав был Крупенский, который, взобравшись на стул, стал говорить о недопустимости грязных намеков. Крупенского ошкаркали слева, но заглушить его не могли. Он рокотал басом, с такой быстротой, что стенографистки с величайшим трудом за ним поспевали.

Между другими взгромоздился на кафедру, то есть на стул, и я. Это напомнило мне студенческие годы. Но, в общем, я сказал бледную речь в следующих выражениях:

— Мне кажется, господа, мы здесь не суд присяжных, не суд какой бы то ни было другой, даже не суд студенческий. Поэтому я предлагал бы оставить всякие суждения о совершившемся факте. Несомненно, виновные найдутся, и эти виновные будут наказаны в законном порядке. В настоящее время, так как мы находимся в таких условиях, что не можем исполнять нашу законодательную работу, я думаю, было бы самое благоразумное с нашей стороны разойтись теперь до той минуты, когда мы найдем более подходящие условия для нашей работы.

Жалкие слова и мои, и всех остальных, и даже проницательное выступление Алексинского. Алексинского в особенности, хотя Головин и считал его одним из лучших ораторов среди депутатов.

Вся Дума насторожилась, когда неприятным, визгливым голосом этот маленький, бледный человечек с резкими движениями своих длинных рук начал свою речь обычными для него словами: «Граждане депутаты!»

Этот человек с умными глазами и насмешливым ртом не предвидел своей судьбы.

Страстный революционер, несколько раз сидевший в тюрьме, участник Лондонского съезда РСДРП, знавший В. И. Ленина, который написал ему даже проект его выступления на двадцать втором заседании Думы 5 апреля 1907 года по аграрному вопросу, Алексинский избежал ареста при разгроме социал-демократической фракции лишь потому, что был в это время за границей. Там в 1909 году он принимал участие в партийной школе, организованной группой «Вперед» на острове Капри.

Уже тогда начался его отход от большевиков. Сблизившись с А. А. Богдановым, он вместе с ним настаивал на бойкоте Государственной Думы.

С начала первой мировой войны Алексинский окончательно порывает с недавним прошлым. Он входит в группу крайне правых меньшевиков-оборонцев, редактируя их орган — газету «Единство», ратовавшую за продолжение войны до победного конца. Тогда он, по-видимому, перестал обличать царскую власть, тыкая в воздух карандашом.

* * *

В 1921 году по тихим улицам Истанбула гуляли двое: размышляющая барышня и не совсем обыкновенный поручик. Последний больно переживал крушение фронта в 1917 году. Он говорил:

— А были все-таки люди. На фронте не хотели сражаться. Там шли непрерывные митинги. Артиллерия разложилась меньше, чем пехота. Вдруг нам, молодым офицерам, приказали собрать наших солдат и идти выручать одного человека, который говорил на буйном митинге в расположении пехотного полка.

Мы пошли. Он говорил, стоя на автомобиле. Это был маленький, тщедушный человек, как будто бы даже горбатый. Он кричал пронзительным голосом: «Граждане, товарищи! Что вы делаете! Позор! Вы трусы, изменники! Вы губите все, все, что сделали ваши товарищи, погибшие за Россию. Вы губите свободу! Да, свободу, потому что немцы своими сапожищами раздавят нашу свободу. Опомнитесь!!»

А мы, услышав эти слова, стали кругом машины, заслоняя ее собой на случай, если разъяренная толпа бросится убивать его. Да, такого храброго человека я не видел до той поры.

— Кто же он был? — спросила барышня.

Поручик ответил:

— Григорий Алексинский, бывший член Государственной Думы.

* * *

А остальные? Все мы ничего не понимали, что-то лепетали, над чем-то копошились... А рок уже распластал над всеми нами свои зловещие крылья. Этот маленький обвал потолка был ведь только предзнаменованием величайшего крушения. Царская корона упала на Государственную Думу, пробила купол Таврического дворца, похоронила народное представительство, а заодно и тысячелетнюю империю. Все это случилось в то роковое 2 марта 1917 года, ровно через десять лет после памятного заседания в Круглом зале 2 марта 1907 года, последовавшего за крушением потолка.

3. «Не запугаете!»

Почему провалился потолок, я до сих пор не знаю. Ни думская комиссия, ни судебные власти виновников не нашли. Головин считал, что причина обвала — гвозди, которыми прикреплялась основа штукатурки еще во времена Екатерины II, а также электрический мотор, поставленный на чердаке дворца для его освещения.

Своими постоянными мелкими толчками мотор раскачал в конце концов эти злосчастные гвозди.

Надо сказать, что правительство после этого обвала обнаружило большую энергию. Уже 6 марта, то есть через четыре дня, Государственная Дума заседала в помещении Дворянского собрания, где нынче находится Ленинградская (Петербургская. — *Ред.*) филармония на улице Бродского (Михайловской. — *Ред.*). Зала эта была великолепна и вполне достаточная по своим размерам.

* * *

6 марта согласно принятому на парламентском жаргоне выражению было «большим днем». В Государственной Думе выступал председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин.

Этот человек уже раньше и по сравнительно незначительному случаю обратил на себя внимание. Будучи с 1903 года саратовским губернатором, он выказал отвагу и находчивость в подавлении так называемого Саратовского бунта.

Получив известие, что на площади города собралась огромная толпа, он сейчас же, не дожидаясь эскорта, поехал на место происшествия. Подъехав к толпе, он вышел из экипажа и прямо пошел к разъяренному народу. Когда поняли, что приехал губернатор, к нему бросились люди с криками и угрозами, а один дюжий парень пошел на него с дубиной. И Россия никогда бы не узнала, что такое Столыпин, если бы губернатор, заметив опасность, не пошел прямо навстречу парню. Когда они встретились вплотную, Столыпин скинул с плеч николаевскую шинель и бросил ее парню с приказанием:

— Подержи!

Буян опешил и послушно подхватил шинель, уронив дубину. А губернатор с такой же решительностью обратился к толпе с увещеваниями и приказанием разойтись. И все разошлись.

Есть люди, таящие в себе еще малоизученную силу повелевать. Быть может, это гипноз своего рода, быть может, что-либо другое, но это не единственный случай.

Нечто совсем похожее произошло с Императором Николаем I. Как рассказывали, во времена Чумного бунта в Москве он поскакал к толпе и, осадив коня, крикнул:

— На колени!

И стали на колени.

Эти случаи сами по себе не обозначают ничего больше, как только властность, присущую некоторым людям. Но когда по велеанию судьбы некто из породы таких людей становится властителем, наличие такого совпадения обычно обеспечивает толковое управление.

Я хочу сказать, что бывший саратовский губернатор, став в июле 1906 года во главе правительства Российской империи, должен был показать себя именно с этой стороны, и он сделал это 6 марта 1907 года в зале Дворянского собрания.

Произошло это так.

Ф. А. Головин, председатель Государственной Думы, сказал с оттенком некоторой торжественности в голосе:

— Слово принадлежит председателю Совета Министров.

Столыпин взошел на кафедру. Он был высок ростом, на полголовы выше меня, и было нечто величественное в его осанке.

Несколько позже, в левых газетах, нашлись борзописцы, которые, сравнивая Столыпина с Борисом Годуновым, писали: «Брюнет, лицом недурен, и сел на царский трон»,

Столыпин действительно был брюнет, но про него нельзя было сказать, что он «лицом недурен», Был ли он красив? Пожалуй. По-французски про него можно было сказать «un bel homme». Это непереводаемо. Я бы сказал, что Столыпин был именно таков, каким должен быть премьер-министр: внушительен, одет безукоризненно, но без всякого щегольства. Голос его не был колокольным басом Родзянки, но говорил он достаточно громко, без напряжения. Особенность его манеры говорить состояла в следующем. Он был прямая противоположность тому, что французы называют *causeur*¹. Столыпин вовсе не беседовал с аудиторией. Его речь плыла как-то поверх слушателей. Казалось, что она, проникая через стены, звучит где-то на большом просторе. Он говорил для России. Это очень подходило к человеку, который если не «сел на царский трон», то при известных обстоятельствах был бы достоин его занять. Словом, в его манере и облике сквозил всероссийский диктатор. Однако диктатор такой породы, которому не свойственны были грубые выпады.

Впрочем, на этот раз его речь была, собственно, не речь, а искусное чтение декларации правительства. Основная мысль этого документа состояла в следующем.

Есть периоды, когда государство живет более или менее мирною жизнью. И тогда внедрение новых законов, вызванных новыми потребностями, в толщу прежнего векового законодательства проходит довольно безболезненно.

Но есть периоды другого характера, когда в силу тех или иных причин общественная мысль приходит в брожение. В это время новые законы могут идти вразрез со старыми и требуется большое напряжение, чтобы, стремительно двигаясь вперед, не превратить об-

¹ Собеседник, умеющий хорошо, интересно говорить

ществленную жизнь в некий хаос, анархию. Именно такой период, по мнению Столыпина, переживался Россией.

Чтобы справиться с этой трудной задачей, правительству необходимо было одной рукой сдерживать анархические начала, грозящие смыть все исторические устои государства, другою — в спешном порядке строить леса, необходимые для возведения новых зданий, продиктованных назревшими нуждами.

Другими словами, Столыпин выдвинул как программу действий правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и борьбу с косностью — с другой. Отпор революции, покровительство эволюции — таков был его лозунг.

Не углубляясь на этот раз в комплекс мероприятий по борьбе с революцией, то есть пока что не угрожая никому, Столыпин занялся изложением реформ, предлагаемых правительством в направлении эволюционном.

* * *

На эту спокойную речь левые ответили открытыми угрозами. Головин, сильно утомленный, как будто бы задремал в своем председательском кресле. Но он был разбужен из своего полусна криками справа. Особенно явственно кричал академик Г. Е. Рейн, депутат из Волыни, обращаясь к председателю:

— Да остановите же вы их! Недопустимо, чтобы они угрожали вооруженным восстанием.

Головин встал, привел в движение председательский звонок и сказал спокойно:

— Прошу вас не угрожать вооруженным восстанием.

Последовали еще речи слева. Особенно страстно декламировал И. Г. Церетели в том же угрожающем тоне. Наконец Столыпин вторично потребовал слова. И сказал примерно так:

«Правительство предложило Думе целый ряд реформ. Реформы эти направлены прежде всего на то, чтобы повысить материальное благосостояние народа, и затем, чтобы дать ему относительную свободу, ибо достаток есть «кованая свобода». Но некоторым членам Думы угодно было ответить угрозами. На это я скажу в полном сознании своей ответственности:

— Не запугаете!»

Эти слова облетели всю Россию. Потерявшие почву под ногами, изверившиеся во власти люди ощутили, что Россия вновь обрела сильное правительство. Армия, чиновники, полиция и все граждане, не желавшие революции, приободрились и стали на свои места. Это сделали два слова:

«Не запугаете!»

* * *

Такова была моя первая встреча со Столыпиным, сыгравшим огромную роль в моей жизни. Со страстью, свойственной молодости, я отстаивал с кафедры Государственной Думы его программу, потому что считал предначертанный им путь действий единственно правильным для спасения России и ее дальнейшего эволюционного развития. Несомненно, Столыпин был наиболее выдающимся государственным деятелем Российской империи в последний ее период. Это признавали и враги его.

Вскоре я сблизился с Петром Аркадьевичем и кроме уважения стал питать к нему более теплые чувства.

* * *

Прошло четыре с половиной года после 6 марта. Столыпин продолжал вести государственный корабль так, как находил нужным. Его не могли запугать ни левые, ни правые. И потому они убили его. Это произошло 1 сентября 1911 года в Киеве.

4. Небольшое отступление

Каждое повествование имеет право на отступление. Воспользуюсь этим правом.

— Мы поднимаемся?

— Нет, мы опускаемся! Мы падаем!

Такие возгласы раздавались над океаном, грозным как смерть. Буря бушевала уже четвертые сутки. Гибель была близка. Вдруг раздался крик:

— Земля!

Да, земля и с нею спасение. Но как она еще далека, эта спасительная земля.

— Рубите канаты!

Экипаж воздушного шара перебрался на сеть, облегающую аэростат. Освобожденный от тяжести корзины, шар взмыл вверх. Аэронавты выиграли полчаса, но успеет ли ветер за это время донести шар до берега? Нет. Земля близка, однако ярость океана ближе. Он бушует тут, внизу.

— За борт все!

И они швырнули в чудовищные валы все, что было у них на себе, в карманах. Много медных и несколько золотых монет. И этого оказалось достаточно. Шар поднялся на несколько мгновений, волочась над пеной волн. Он бросил людей на камни неведомого острова.

Эту сцену, начало знаменитого романа Жюль Верна «Таинст-

венный остров», я вспомнил, когда раздумывал о судьбе предлагаемой читателю книги.

Все на свете должно быть «во благовремении». Координата времени! Роковое Т властвует над всем существующим. Исключением, быть может, является тело, несущееся со скоростью света, то есть трехсот тысяч километров в секунду.

Впрочем, это есть истина только для сверхчеловеческих, то есть математиков, потерявших ощущение времени и пространства. А для нас, простых смертных, утверждение, что «времени нет», сомнительно. Поэтому постулат Эйнштейна должен кроме колдовства над математическими формулами быть обставлен еще иными доказательствами, общепонятными.

Я простой смертный. К тому же я не несусь со скоростью света. Надо мной Т, то есть время, сохраняет полную свою силу. Если бы я писал свои воспоминания в каюте ракеты, мчащейся со скоростью трехсот миллионов метров в секунду, то я не считался бы с тем, что нынче у нас 1966 год. Писал бы все, что вздумается.

Но это не так. Я передвигаюсь со скоростью только двадцать девять километров в секунду, так как это космическая скорость Земли, моей родины.

Но кто знает, что «день грядущий мне готовит»? Древняя мудрость гласит: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» («Времена меняются, и мы меняемся с ними»).

Время указывается орбитой Земли. В неизвестной, но определенной точке ее станет не только возможным, но и обязательным сказать ныне несказуемое. «Он в книгах вырек непререкаемое новым днем» — так сказал об одном грешном человеке¹ поэт Игорь Северянин.

* * *

Возвращаюсь к воздушному шару Жюль Верна. Шесть живых существ, пять людей и одна верная собака, спасая свою жизнь, выбросили за борт все, что они имели. Я спасаю не свою жизнь, которой, по-видимому, сейчас ничто не грозит. Я хочу сберечь шесть частей некоей книги и выбрасываю несколько глав. Почему? Дело в том, что одна из причин этого действия, быть может, невразумительна для людей, не принадлежащих к цеху писателей.

О бюрократия! Не мы ее выдумали, но она нас переживет. Число печатных листов становится чем-то вроде основных законов, кои не изменяемы, как скрижали Моисея. Напрасно твердить, что в двадцать листов не может вместиться описание десяти лет, предшествовавших революции и подготовивших ее. Такую революцию, с которой приходится считаться всему миру и по сей день.

¹ О В. В. Шульгине. Сонет Игоря Северянина «Он нечто фантастическое. В нем...»

Главная же причина в том, что всякая нарождающаяся жизнь требует известного срока для своего вызревания. Для ребенка — это девять месяцев. Для существ иного порядка — другой закон. Например, Мысли требуют для своего воплощения иных сроков. Здесь счет идет на годы, столетия и даже тысячелетия.

Китайский коммунизм, по словам Плеханова, возник девятьсот лет тому назад, насажденный богдыханом. Просуществовав некоторое время, он сменился ярко выраженным индивидуализмом. В наши дни в Китае коммунизм возвращается вспять.

Коммунизм на основе марксизма со времени октябрьского переворота есть Мысль, которая находится в действии. Ломиться в эту дверь, плотно закрытую, — нецелесообразно.

Латинское юридическое изречение гласит: «Если тот, кто обязан и может говорить, молчит, то это означает, что он соглашается. Но если он не может говорить, то его молчание не есть знак согласия».

Применим эту формулу ко мне. Рассмотрим случай с Шульгиным.

Шульгин обязан был и мог говорить в Государственной Думе. И он говорил. Шульгин в 1966 году не обязан говорить, но он говорит. Однако это не значит, что он со всем соглашается.

* * *

Аэронавты Жюль Верна, желая достичь спасительной земли, выбросили за борт последний балласт. Так же поступаю и я. За борт «крамольные», монархические речи Шульгина, Столыпина и других ораторов! Эти речи были сказаны во имя короны и мирной эволюции, во имя «великой России», против надвигающейся революции, жаждавшей «великих потрясений». Но революция победила. И нет смысла повторять сейчас то, что было сказано полвека тому назад. Всему свое время.

5. Бомба

3 апреля 1907 года Дума обсуждала срочность запроса правительству о событиях, имевших место 31 марта в Риге, в тюрьме. Согласно сведениям, полученным автором запроса, восемьдесят заключенных сделали попытку бежать из тюрьмы. В стычке с тюремной охраной были убиты семь человек, ранены семнадцать, из коих двое умерли. Пятьдесят шесть человек были преданы военно-полевому суду за попытку к бегству, им угрожала смертная казнь. К этому основному запросу, срочность которого можно было отста-

ивать, были присоединены обвинения властей в истязаниях заключенных в той же тюрьме, но имевших место давно, почему срочность в отношении этих деяний применять не следовало. На этой почве произошла перепалка между солидным юристом, профессором-кадетом, его превосходительством Владимиром Дмитриевичем Кузьминым-Караваемым и более левыми, которая не выяснилась, а запутала, что же именно произошло в Риге. Левые с азартом нападали на правительство и твердили об ужасах и истязаниях, но самый текст запроса, в котором должно было быть рассказано, в чем именно эти ужасы и истязания состояли, так и не был оглашен. Равным образом не было установлено, был ли кто-либо из заключенных предан военно-полевому суду. На телеграмму, обращенную к прибалтийскому генерал-губернатору барону А. Н. Меллер-Закомельскому, последний ответил, что никто не предан военно-полевому суду и спасать от него пока некого. Но депутат от Риги, меньшевик Иван Петрович Озол, отметив, что в телеграмме генерал-губернатора стоит слово «пока», утверждал, что «дело разбирается и военно-полевой суд, который не заседает сегодня, может заседать в какой-нибудь ближайший день».

Если бы Озол знал то, что впоследствии узнал я, то он не занимался бы гаданием о будущем военно-полевом суде, а рассказал бы о том, что уже было. Что же я узнал, к сожалению, с некоторым запозданием?

В одном закрытом собрании вдруг, не попросив слова, вскочил с места офицер в черкеске, с капитанскими погонами:

— Меня выгонят со службы. А раньше я был нужен и даже необходим. Кто в 1906 году спас Россию, подавив восстание в разных местах? Восстание кого? Людей? Нет, зверей. Я был на Кавказе. Что они там выделывали, нельзя рассказать. Туда послали генерала Толмачева. Был при нем. Укрощая зверей, конечно, мы сами озверели. Но что было делать? Толмачев пустил в ход все средства. Для революционеров у него было одно слово: смерть!

Однажды привели к нему в штаб четвертых. Они сидели на полу в соседней комнате. Адъютант докладывает Толмачеву, что привели четверых. А он как закричит:

«Как это так привели? Ведь я же приказал раз и навсегда. Арестованные, которых ведут, всегда делают попытки к бегству. Поняли?!»

Я ответил: «Понял, ваше превосходительство!» Вышел в соседнюю комнату и застрелил четверых, сидевших там на полу. Что я, зверь? Зверь! Но такие звери спасли Россию, а теперь меня гонят со службы. Напрасно! Если опять будут зверские времена, мы пригодимся.

После этих слов он выбежал в соседнюю комнату.. Там, по счастью, не было сидевших на полу.

Озол мог бы сказать:

— На Кавказе был генерал Толмачев, а в Риге генерал-губернатор барон Меллер-Закомельский. Разница между ними только в том, что у Толмачева бегут арестованные, а у Закомельского — заключенные.

* * *

Итак, слушая речи, обвинявшие власть в зверствах, я накалялся и наконец попросил слова. И сказал следующее:

«Господа, здесь говорились очень тяжелые, страшные вещи. Говорили о том, чтобы спасти от смерти и т. д. Я, господа, не буду долго и прошу вас только чистосердечно ответить на один вопрос. Кто здесь говорит о смерти, о жалости, о милосердии и т. п.? Я, господа, прошу вас ответить: можете ли вы мне откровенно и положила руку на сердце сказать: «А нет ли, господа, у кого-нибудь из вас бомбы в кармане?»»

Поднялся труднопередаваемый шум. Стенограмма говорит:

«Крики: «Вон, вон отсюда!», стук пюпитрами, голоса: «Пошлак, вон отсюда!», «Господин председатель, удалите его отсюда!»»

А председательствующий Н. Н. Познанский звонил как в набат, словно я зажег мировой пожар. Вместе с тем он кричал над моей головой укоризны в том смысле, что я оскорбил членов Государственной Думы. Я не понимал тогда и не понимаю и теперь, в чем было оскорбление. Со мною случилось, как в сказке Андерсена «Новое платье короля». Мальчик вдруг закричал толпе взрослых лицемеров, восторгавшихся только что сшитым платьем короля: «А король-то голый!» Оскорбление было в блеснувшей как молния правде. Ведь я обращался к членам партии эсеров, открыто проповедовавшей террор. Внимая им, их товарищи по партии бросали бомбы.

Если бы члены Государственной Думы, принадлежавшие к партии террористов, став депутатами, переменили свои убеждения, то они должны были бы об этом заявить. Но они не только этого не делали, а, наоборот, на наше предложение осудить террор отвечали отказом. И в такой форме, что депутат от Киева, магистр богословия и ректор Киевской духовной академии епископ Чигиринский Платон сказал им дрожащим голосом, воздевая руки к небу:

— Вы ведете себя так, как будто с этой кафедры благословляете ваших единомышленников на новые убийства.

Если так, если они не отреклись от террора, то разве я не должен был спросить их, как честных людей, нет ли у них бомбы в кар-

мане? Они вполне могли швырнуть бомбу в любого из нас: в епископа Платона, Пуришкевича, Шульгина. Могли уничтожить все правительство со Столыпиным во главе. Им не удалось убить его на Аптекарском острове, устроив там взрыв год тому назад. Дом, где жил премьер, был разрушен, дочь его Наташа тяжело ранена, сорок человек убито, но Петр Аркадьевич уцелел и теперь являлся в Государственную Думу, говорил с кафедры, и были точно известны дни его выступлений. Чего же лучше? И особенно благоприятно было для убийц то, что охрана была бессильна против членов Думы. Ведь они были неприкосновенны и их нельзя было обыскать.

Чего же они так обиделись? Думаю, за то, что я их разгадал. Они не хотели совершать акты террора в Государственной Думе, потому что им это было слишком невыгодно. Первая бомба, брошенная в Думе, похоронила бы это учреждение. Дума была бы распущена и больше не созвана. И они утратили бы кафедру, с которой можно было с великим успехом делать революцию.

* * *

Как бы там ни было, скандал вышел знатный, несчастные барышни-стенографистки, единственные существа, не принимавшие участия во всем этом неприличии, все записали добросовестно. А кончилось это тем, что председательствующий по наущению тридцати граждан депутатов поставил на голосование Думы их предложение удалить провинившегося Шульгина из зала до конца заседания.

Но перед голосованием председательствующий дал слово подсудимому согласно наказу, чтобы он объяснил свои поступки. В это время ко мне подошел один из октябристов и сказал:

— Мы хотим голосовать против вашего исключения, но надо не то чтобы извиниться, а сказать что-нибудь смягчающее.

И я его послушался по младости лет, — он был старше меня. Но почтение к старшим не всегда благотворно. Мне самому вовсе не хотелось смягчаться, и потому мои объяснения были несуразны:

— Здесь выражение, мною употребленное, вызвало целую бурю. Я должен сказать, что по существу от своей мысли я не отказываюсь, но выражение действительно было неловкое в том смысле, что я не говорил о здесь присутствующих социал-революционерах, я говорил о всех членах этой партии и относительно их...

Тут поднялся шум и голоса слева

— Неправда, — прервали меня.

— Так вот, я говорил не о присутствующих здесь членах. Может быть, я высказался так, но я не хотел сказать этого, потому что действительно было бы странно подозревать их в этом смысле, но го-

ворил вообще о партии, и что касается партии, то никакой представитель этой партии на мой вопрос ответить не может.

Октябристы голосовали за меня, но это было неважно. Важно было идти до конца напролом, а я этого не сделал.

Вспоминая об этой истории, я нахожу, что я держал себя очень глупо. Приехав домой, в гостиницу, где мы жили вместе с моим отчимом Дмитрием Ивановичем Пихно, на днях, 25 марта 1907 года, назначенным членом Государственного Совета, я рассказал ему, как меня выбросили. Он улыбнулся, но я увидел в его лице некоторую тревогу.

Он сказал:

— Это хорошо. Но больше не надо.

Сейчас же я думаю, что это было не хорошо, то есть глупым было мое беспомощное объяснение. Я не нашелся, не нашел искусного выхода из положения. А выход был. Мне надо было примерно сказать так:

— В объяснение моих слов, которыми были оскорблены некоторые члены Государственной Думы, я могу открыть, какова была причина, толкнувшая меня на это выступление. Как вам известно, мы, правые, стремились выудить в Государственной Думе осуждение террора. Но это нам не удалось. Почему-то большинство Думы уклонялось от такого заявления. Это и было причиной моего сегодняшнего выступления. Я хотел рассердить вас, господа члены Государственной Думы, принадлежащие к партии террористов. В гневе иногда говорится то, что скрывается в спокойном состоянии духа. Мне кажется, что это мне удалось. Я сказал: «Нет ли у вас бомбы в кармане?» Каждому понятно, что этот вопрос нельзя понимать буквально. Этими словами я хотел выразить, что вы, господа депутаты, теоретически допускающие террор как средство борьбы, можете не только проповедовать убийства, но и сами показать пример, как это делается. Мои слова разгневали и тех, к кому они были обращены, и тех, к кому они адресованы не были. Но почему? Видимо, мой расчет был правилен. На поверку что же оказалось? Как только я позволил себе высказать нечто совершенно логичное, то есть что террористы могут совершить террористические акты, вы, господа, а вместе с вами ваши друзья, возмутились. Из этого неумолимо следует, что террористы, находящиеся в Государственной Думе, не только не намерены совершать террористические акты, но самая мысль, что они на это способны, является для них, то есть для вас, оскорбительной. Из этого вашего поведения нельзя сделать другого вывода, как тот, что вы, депутаты, теоретически принадлежащие к партии террористов, на самом деле, внутри себя, террор осуждаете. Поэтому я и употребил выражение «положа руку на сердце». Я знал, что в сердцах ваших иное, чем на

устах. Я выявил это, приведя вас в состояние аффекта. Этим путем я добился цели, именно: вы террор всенародно осудили! Этого только мы и хотели.

На радостях я хочу избавить вас от все же неприятного акта — выбрасывания меня из этого зала, где мы совместно трудимся «на страх врагам, на славу нам». Вы сегодня показали, что вы только с виду жестокие, а на самом деле добрые люди и славные ребята. Чтобы исполнить долг благодарности, я избавляю вас от необходимости быть моими экзекуторами. И делаю это совершенно простым и безобидным путем. Я ухожу. Спокойной ночи, дорогие друзья!

Но так не было. Они голосовали, и хотя я ушел без сопротивления, все же выходило так, что они меня выгнали.

На следующий день была газетная буря. Инцидент обсуждали и так и этак; одни меня ругали, другие защищали, третьи — выпустили газеты с заголовками: «Бомба Шульгина!»

Этим раструбили мое имя «во всей Руси великой», наряду с другими скандалистами. Санкт-Петербург был несколько шокирован, но мои избиратели меня оценили.

* * *

Пока шла процедура голосования, я стоял около кафедры. Я все же был несколько смущен и потому не смотрел в зал, то есть на людей, меня выгонявших. Я рассматривал обручальное кольцо на пальце. Это было замечено в ложе печати, и в одной из газет я прочел: «Во время голосования, подчеркивая свое презрение к представителям народа, Шульгин рассматривал свои холеные ногти».

Пушкин сказал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»...

Но это ко мне не относится. Ногти у меня совсем не холеные, а обыкновенные. О чем... сожалею.

6. Лукавый Лукашевич

В первый раз в своей жизни я видел Государя в 1907 году, в мае месяце. Это было во время второй Государственной Думы.

Вторая Государственная Дума, как известно, была Дума «народного гнева», антимонархическая, словом — революционная. Она так живо вспоминается мне теперь! Это было тогда, когда 1907 год выдвинул на кресла Таврического дворца представителей «демократической России».

Нас было сравнительно немного — членов Государственной Думы умеренных воззрений. Сто человек удостоились высочай-

шего приема, причем мы были приняты небольшими группами в три раза.

Это был чудный весенний день, и все было так внове. И специальный поезд, поданный для членов Государственной Думы из Царского Села, и придворные экипажи, и лакеи, более важные, чем самые могущественные вельможи, и товарищи по Думе, во фраках, разряженные, как на бал, и вообще вся эта атмосфера, которую испытывают, так сказать, монархисты по крови, да еще провинциальные, когда они приближаются к тому, кому после Бога одному повинуются...

* * *

Прием был в одном из флигелей дворца. В небольшом зале мы стояли полукругом. Поставили нас какие-то придворные чины, в том числе штаб-офицер для поручений при управлении гофмаршальской части Министерства императорского Двора князь Михаил Сергеевич Путятин, который, помню, сказал мне: «Вы из Острожского уезда? Значит, мы земляки». Он хотел сказать этим, что они ведут свой род от князей Острожских.

Прием был назначен в два часа. Ровно в два, соблюдая французскую поговорку: «L'exactitude est la politesse des rois» («Точность — это вежливость королей»), кто-то вошел в зал, сказал: «Государь Император...»

Полуовальный кружок затих, и в зал вошел офицер средних лет, в котором нельзя было не узнать Государя, так как он был в форме стрелков — в малиновой шелковой рубашке. За ним следовала дама высокого роста — вся в белом, в большой белой шляпе, державшая за руку прелестного мальчика, совершенно такого, каким мы знали его по последним портретам, — в белой рубашонке и большой белой папахе.

Государыню узнать было труднее. Она непохожа была на свои портреты.

Государь начал обход. Не помню, кто там был в начале... Рядом со мной стоял профессор Г. Е. Рейн, а потом — В. М. Пуришкевич. Я следил за Государем, как он переходил от одного к другому, но говорил он тихо, и ответы были такие же тихие, — их не было слышно. Но я ясно слышал разговор с Пуришкевичем. Нервно дергаясь, как было ему свойственно, Пуришкевич накалялся.

Государь подвинулся к нему так, как он имел, видимо, привычку это делать, так сказать, скользя вбок по паркету.

Кто-то назвал Владимира Митрофановича. Впрочем, Государь его, наверное, знал в лицо, ибо обладал, как говорили, удивительной памятью на лица.

Нас всех живейшим образом интересовало, скоро ли распустят Государственную Думу, ибо Думу «народного гнева» мы ненавидели так же страстно, как она ненавидела правительство. Этим настроением Пуришкевич был проникнут более чем кто-либо другой.

— Ваше Величество, мы все ждем не дождемся, — сказал он, — когда окончится это позорище! Это заседавшее в Таврическом дворце собрание изменников и предателей, которые революционизируют страну... Мы страстно ожидаем приказа Вашего Императорского Величества о роспуске Государственной Думы...

Пуришкевич весь задержался, делая величайшие усилия, чтобы не пустить в ход жестикуляцию, что ему удалось, но браслетка, которую он всегда носил на руке, все же зазвенела.

На лице Государя появилась как бы четверть улыбки. Последовала маленькая пауза, после которой Государь ответил весьма отчетливо, негромким, но уверенным, низким голосом, которого трудно было ожидать от общей его внешности:

— Благодарю вас за вашу всегдашнюю преданность престолу и родине, но этот вопрос предоставьте мне...

Государь перешел к следующему — профессору Г. Е. Рейну и говорил с ним некоторое время. Георгий Ермолаевич отвечал браво, весело и как-то приятно. После этого Государь подошел ко мне.

Наследник в это время стал рассматривать фуражку Г. Е. Рейна, которую он держал в опущенной руке, как раз на высоте глаз ребенка. Он, видимо, сравнивал ее со своей белой папахой. Рейн наклонился, что-то объясняя ему. Государыня просветлела и улыбнулась, как улыбаются матери.

Государь обратился ко мне.

Я в первый раз в жизни увидел его взгляд. Взгляд был хороший и спокойный. Но большая нервность чувствовалась в его манере подергивать плечом, очевидно, ему свойственной. И было в нем что-то женственное и застенчивое.

Государь подал мне руку и спросил:

— Кажется, от Волынской губернии — все правые?

— Так точно, Ваше Императорское Величество.

— Как это вам удалось?

При этих словах он почти весело улыбнулся. Я ответил:

— Нас, Ваше Величество, спаяли национальные чувства. У нас русское землевладение, и духовенство, и крестьянство шли вместе как русские. На окраинах, Ваше Величество, национальные чувства сильнее, чем в центре...

Государю эта мысль, видимо, понравилась. И он ответил тоном, как будто бы мы запросто разговаривали, что меня поразило:

— Но ведь оно и понятно. Ведь у нас много национальностей... кипят. Тут и поляки и евреи. Оттого русские национальные чувства

на западе России — сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на восток...

Как известно, впоследствии эти же слова высказал в своей знаменитой телеграмме Киевскому клубу русских националистов и П. А. Столыпин:

«Твердо верю, что загоревшийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию...»

Государь спросил еще что-то, личное, и, очень милостиво простившись со мною, пошел дальше. Государыня сказала мне несколько слов.

Меня поразила сцена с одним из наших священников. Он при приближении государя стал на колени и страшно растроганным басом говорил какие-то нескладные слова.

Государь, видимо, сконфуженный, поднял его и, приняв от него благословение, поцеловал ему руку.

Был среди представлявшихся членов Думы старый земский деятель Полтавской губернии, председатель золотоношской земской управы, лейтенант в отставке Степан Владимирович Лукашевич. Человек свыше пятидесяти лет, очень симпатичный, но очень хитрый. Нам всем, как я уже говорил, хотелось узнать, когда распустят Государственную Думу. Но пример Пуришкевича показал, что Государь не разрешает об этом говорить. Лукашевич же сумел так повернуть дело, что мы все поняли.

Государь спросил Лукашевича, где он служил. Он ответил:

— На Флоте Вашего Императорского Величества. Потом вышел в отставку и долго был председателем земской управы. А теперь вот выбрали в Государственную Думу. И очень мне неудобно, потому что сижу в Петербурге и дела земские запускаю. Если это долго продолжится, я должен подать в отставку из земства. Так вот и не знаю...

И он остановился, смотря Государю прямо в глаза с самым невинным видом...

Государь улыбнулся и перешел к следующему, но, по-видимому, ему понравилась эта своеобразная хитрость. Он еще раз повернулся к Лукашевичу и, улыбаясь, сказал ему:

— Погодите подавать в отставку...

В эту минуту мы все поняли, что дни Государственной Думы сочтены. И обрадовались этому до чрезвычайности. Ни у кого из нас не было сомнений, что Думу «народного гнева» надо разогнать.

Обойдя всех, Государь вышел на середину полукруга и сказал короткую речь. Ясно помню ее конец:

— Благодарю вас за то, что вы мужественно отстаиваете те условия, при которых Россия росла и крепла...

Государь говорил негромко, но очень явственно и четко. Голос у него был низкий, довольно густой, а выговор чуть-чуть с налетом иностранных языков.

Этот гвардейский акцент — единственное, что показалось мне, провинциалу, чужим. А остальное было близкое, но не величественное, а, наоборот, симпатичное своей застенчивостью.

Странно, что и государыня производила то же впечатление застенчивости. В ней чувствовалось, что за долгие годы она все же не привыкла к этим «приемам». И неуверенность ее была бóльшая, чем робость ее собеседников.

Но кто был совершенно в себе уверен и в ком одном было больше «величественности», чем в его обоих царственных родителях, — это был маленький мальчик — цесаревич. В белой рубашечке, с белой папашой в руках, ребенок был необычайно красив.

После речи Государя мы усердно кричали «ура». Он простился с нами общим поклоном — «одной головой» — и вышел из маленького зала, который в этот день был весь пронизан светом.

Хороший был день! Веселый, теплый. Все вышли радостные...

Несмотря на застенчивость Государя, мы все почувствовали, что он в хорошем настроении. Уверен в себе — значит, и в судьбе России.

Под мягкий рокот колес придворных экипажей по удивительным аллеям Царского Села мы, радостно возбужденные, говорили о том, что Государственной Думе скоро конец. И действительно, недели через две, а именно 2 июня, она была распущена, и «гнев народа» не выразился абсолютно ни в чем. В этот день один из полков несколько раз под музыку прошел по Невскому в полном порядке, и 3 июня совершало свое победоносное вступление над Россией.

Я целый день ходил по городу, чтобы определить, как я сказал своим друзьям, есть ли у нас самодержавие.

И вечером, обедая у «Донона», чокнулся с Крупенским, сказав ему:

— Дорогой друг, самодержавие есть...

7. «Ныне отпускаеши»

Кроме всего прочего, во второй Государственной Думе я сделал своеобразную карьеру. Ее нельзя назвать ни политической, ни публицистической, хотя она связана и с политикой, и с газетами.

В Государственной Думе была так называемая ложа печати, находившаяся слева от кафедры ораторов. В этой ложе сидели корреспонденты всяческих газет — левых, правых, центральных. Они

преимущественно были евреи, почему в насмешку эту ложу печати называли «чертой оседлости».

Это было зло, но не лишено остроумия. Надо же было как-нибудь отвечать на злостные клички, которыми «черта оседлости» награждала «народных избранников». Впрочем, именно они, злоязычные словоблуды, обеспечили мне мою «головокружительную» карьеру.

* * *

Когда в первый раз я, взобравшись на трибуну, обратил на себя неблагоприятное внимание «черты оседлости», меня описали примерно так:

— Выступает какой-то Шульгин. Испитое лицо, хриплый голос, тусклые глазенки, плохо сшитый сюртук. Он напоминает приказную строку старого строя.

Прочтя эти строки, мой отчим сказал, улыбнувшись:

— Ты не пьешь, откуда же испитое лицо? Голос не хриплый, но слабый. А вот плохо сшитый сюртук — это уже лишнее. Зачем оскорблять Вильчковского? Он лучший портной в Киеве.

И я был утешен. Но все же в данной мне характеристике было и нечто от истины. Не испит я был, а истомлен. Голос от природы у меня плох, но здесь он и еще подался. А что касается сюртука, то хотя Вильчковский был хороший портной, но я-то был провинциал и не умел носить его по-столичному.

Однако я быстро прогрессировал. Примерно через месяц, в течение которого меня называли то погромщиком, то психопатом и всякими другими лестными именами, «черта оседлости» писала: «Снова на кафедре Шульгин. Хитро поблескивая глазами херувима, эта очковая змея говорит отменные гадости Государственной Думе».

Ясно, что от тусклых глазенок до глаз херувима и от приказной строки до очковой змеи — дистанция огромнейших размеров. А о сюртуке уже ничего не говорили.

Через три месяца ложа печати писала: «Говорит всем известный альфонсообразный Шульгин».

«Всемирно известный!..» Давно ли о нем ронялось презрительно: «какой-то» Шульгин?!

«Альфонсообразный», конечно, выражение оскорбительное. «Альфонс» — это мужчина, живущий на средства женщины, которая ему не жена. Тратить деньги богатой, но законной и любимой жены допускалось в лучшем обществе. Но мне не пришлось этой льготой воспользоваться. Моя жена, Катя, происходила из старинной дворянской семьи, давно обедневшей. Тем милее она мне бы-

да, что я мог предоставить ей все свои средства, кроме содержания, которое платила мне одна очень важная Дама, я хочу сказать — Дума.

При таком положении вещей не стоило вызывать на дуэль кого-нибудь из ложи печати. Наоборот, «альфонсообразный» — это прежде всего подчеркнуто элегантный мужчина. Ложа печати в этом случае дала мне великодушный реванш за «плохо сшитый сюртук».

* * *

К этому надо прибавить то, что я узнал позже, а именно — как называли меня между собой наши стенографистки, невольные свидетельницы моего «восхождения». Они не называли меня ни приказной строкой, ни очковой змеей, ни альфонсообразным. Они говорили про меня ласково: «пушок». Это существительное может иметь два значения. «Пушок» есть уменьшительное от слова «пух». Тут вспоминается стихотворение, применимое к оратору, говорящему с кафедры:

*Твоя речь ласкает слух,
Твое легкое прикосновенье,
Как от цветов летящий пух...*

Этот вариант уже прекрасен. Но другой еще лучше. «Пушок» может означать вещичку, которой пудрят щечки. Заслужить такое отношение — это поистине головокружительная карьера.

* * *

И что же, голова моя закружилась? Да. Она закружилась от счастья! Закружилась тогда, когда:

*Вконец распущенная Дама
Средь оглушительного гама,
Что не стерпел городской,
Была отпущена домой.*

Тогда и я вернулся под свой мирный кров, и мне казалось, что кончилась моя головокружительная карьера. Опустившись на зеленый ковер лугов, с которых сбежал уже весенний разлив, я шептал, умиляясь:

«Ныне отпускаеши...»

8. Хомяков

После роспуска второй Государственной Думы я надеялся, что с этим учреждением у меня навсегда покончено. Я ненавижу политику, а тяжелая страда в течение ста двух дней не смягчила мое отращение к парламенту. Но *homo proponit, deus disponit* (человек предполагает, Бог располагает). В силу тысячи причин, которых излагать не буду, мне снова пришлось участвовать в выборах. Я говорю: «участвовать», а не говорю: «делать выборы».

На следующий день после роспуска второй Государственной Думы был декретирован закон 3 июня 1907 года, изменивший избирательную систему. Поэтому мне не пришлось громоздить Пелион на Оссу, как при выборах во вторую Думу. Выборы были спокойные и скучные. Тринадцать человек от Волынской губернии распределились так: пять крестьян-хлеборобов, три священника, три помещика, один врач и один учитель. Все — правые.

* * *

И вот я опять в Таврическом дворце, но психическая атмосфера в нем совершенно иная. Стенограмма лучше, чем какие-либо мои замечания, обрисует совершившуюся перемену:

«По совершении в Екатерининском зале Таврического дворца Высокопреосвященным Антонием, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, в сослужении членов Государственной Думы, преосвященного Евлогия, епископа Холмского и Люблинского, и преосвященного Митрофана, епископа Гомельского, молебствия и по троекратном, согласно требованию членов Государственной Думы, исполнении народного гимна, вызвавшего единодушные возгласы «ура», заседание началось в двенадцать часов одиннадцать минут пополудни по вступлении на председательское место действительного тайного советника статс-секретаря Ивана Яковлевича Голубева, назначенного по Высочайшему указу для открытия заседаний Государственной Думы.

Действительный тайный советник Голубев: «Господа члены Государственной Думы собрались в установленном законом числе для действительности заседаний. Господин государственный секретарь огласил именной высочайший указ, данный 28 октября нынешнего года».

Государственный секретарь (читает): «Именной высочайший указ, данный Правительствующему Сенату 28 октября 1907 года. Во исполнение воли нашей о времени созыва вновь избранной Государственной Думы, всемилостивейше повелеваем действитель-

ному тайному советнику Голубеву открыть заседания Государственной Думы 1 наступающего ноября».

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою начертано: «Николай».

Действительный тайный советник Голубев: «Государь Император (все члены Государственной Думы встают), удостоив меня высокого поручения, повелел мне при открытии заседаний Государственной Думы третьего созыва передать от монаршего имени, что Его Императорское Величество всемилостивейше приветствует избранных ныне членов Государственной Думы».

П. Н. Крупенский (с места): «Да здравствует Государь Император! Ура!»

Члены Государственной Думы: «Да здравствует Государь Император! Ура! Ура! Ура!»

Действительный тайный советник Голубев: «Государь Император повелел мне при открытии заседаний Государственной Думы третьего созыва передать от монаршего имени, что Его Императорское Величество всемилостивейше приветствует избранных ныне членов Государственной Думы и призывает благословение Всевышнего на предстоящие труды Государственной Думы для утверждения в дорогом отечестве порядка и спокойствия, для развития просвещения и благосостояния населения, для укрепления обновленного государственного строя и для упрочения величия нераздельного государства Российского...»

Члены Думы вторично приветствуют государя императора. Голубев и государственный секретарь барон Юлий Александрович Икскуль фон Гильдебрандт оглашают соответствующие статьи законов, после чего члены Думы стоя выслушивают следующий текст торжественного обещания:

«Мы, нижепоименованные, обещаем перед всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности членов Государственной Думы по крайнему нашему разумению и силам, храня верность Его Императорскому Величеству государю императору и самодержцу Всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверение чего своеручно подписуемся»

Затем происходит процедура подписания листов торжественного обещания. Голубев предупреждает, что только подписавшие обещание могут принять участие в избрании председателя Государственной Думы.

Избрание происходит в таком порядке. Сначала записками намечается кандидат в председатели, после чего производится баллотировка.

Николай Алексеевич Хомяков получил триста семьдесят один избирательный шар и девять неизбирательных. Во время подачи за-

писок всего одну записку получил Федор Александрович Головин, бывший председатель второй Государственной Думы. Эта единственная записка, конечно, была подана каким-нибудь особым недоброжелателем, так сказать, для конфуза. Но она же свидетельствует об огромной перемене настроений в Таврическом дворце. Во второй Государственной Думе Ф. А. Головин был избран в председатели большинством в триста пятьдесят шесть голосов против ста двух.

Вновь избранный председатель Н. А. Хомяков обратился к членам Думы со следующей речью:

— Поклон мой Государственной Думе. Вам угодно было, господа, возложить на меня обязанности председателя Государственной Думы. Я не должен отказаться от этой великой чести, несмотря на то, что чувствую свое бессилие и недостаточные знания, недостаточный опыт. Я выхожу на это дело с неверием в себя, но я должен принять ваш приговор, ибо я взошел сюда, на эту кафедру, с другой верой, верой в светлую будущность великой, единой, неразделенной России...»

(Крики: «Браво, браво!...» Рукоплескания.)

— «...с верой, с непоколебимой верой в ее Думу, с верой в вас, господа.

Я верю, нет, я знаю наверное, вы все пришли сюда, чтобы исполнить свой долг перед государством. Вы пришли сюда, чтобы умиротворить Россию, покончив вражду и злобу партийные. Вы пришли сюда, чтобы уврачевать язвы исстрадавшейся родины, осуществив на деле державную волю царя, зовущего к себе избранных от народа людей, чтобы выполнить тяжелую, ответственную, государственную работу на почве законодательного государственного строительства. Бог вам в помощь, господа!»

(Крики: «Браво, браво...» Рукоплескания.)

— Следующего заседания еще не назначаю. О нем будет объявлено особыми повестками. Заседания не может быть до представления Его Императорскому Величеству избранного вами председателя Государственной Думы. Объявляю заседание закрытым.

Так была открыта третья Дума, которой суждено было просуществовать до 9 июня 1912 года, то есть весь положенный пятилетний срок. Николай Алексеевич Хомяков занимал пост председателя Думы лишь до 6 марта 1910 года, когда на третьей сессии его сменил А. И. Гучков.

9. Князь Волконский

Президиум Государственной Думы состоял из председателя, двух товарищей его, секретаря Государственной Думы и пяти товарищей секретаря. Все эти лица избирались.

При избрании президиума хотели соблюсти некоторые конвенансы, то есть распределить места в президиуме между фракциями. Октябристы получили председателя и одного товарища председателя. Другого предоставили нам, то есть фракции «правые и умеренные». Она просуществовала недолго. Умеренные не выдержали грубости неумеренных, отделились и основали 25 октября 1909 года новую фракцию «русские националисты», числом около ста человек.

Я остался с правыми, хотя чувствовал себя умеренным. Мне казалось, что мое место именно у правых. Кому же, как не нам, то есть умеренным, смягчать неистовство неумеренных? Однако через некоторое время я тоже бежал в стан «русских националистов», более для меня подходящих. 31 января 1910 года возникла единая партия «Всероссийский национальный союз», избравшая своим председателем П. Н. Балашова. Но и там я не удержался навсегда. Уже в четвертой Государственной Думе в начале 1915 года при моем участии образовалась фракция «прогрессивные русские националисты». Еще позже, это было уже в эмиграции, я увидел изнанку всякого национализма. Мир вошел в полосу, когда национализм перестал быть силой конструктивной. Между другими учителями особенно вышколил меня в этом отношении Адольф Гитлер.

* * *

Итак, нам дали одного товарища председателя. Но надо было нам внутри своей фракции его найти. Инициативная группа, состоявшая из Крупенского, Потоцкого и меня, быстро сошлась на князе Волконском Владимире Михайловиче. Но мы наткнулись на решительный с его стороны отказ.

Это было вечером, после ужина, в столовой Государственной Думы. Крупенский, не потерявший надежды уломать Волконского, пригласил его, Александра Александровича Потоцкого и меня ехать к нему, Крупенскому, пить черный кофе.

* * *

У Павла Николаевича была уютная квартира. В гостиной было много ковров и, кажется, валялась на полу шкура белого медведя. Кроме всего прочего, стоял мольберт с неоконченной картиной.

Я спросил:

— Ты художник?

— Я сапожник, но что же мне делать, сегодня Дума, завтра Дума, каждый день Дума, с ума сойдешь, детей у меня нет, напивать-

ся не могу, что же мне делать? Выть?! Никогда в руках карандаша не держал. Вдруг купил краски, кисти, палитру, муштабель, мольберт. Вот смотри!

Все это он проговорил рокочущим басом, со скоростью, приводившей в отчаяние стенографисток в Государственной Думе. Я посмотрел, куда он указал. На стене висела картина. Пейзаж. Я взглянул на мольберт. Недоконченная копия была превосходна. Он продолжал.

— У нас была дочь, умерла, с тех пор моя жена, ты ее увидишь, бедняжка, она...

В комнату вошла дама. Еще молодая. Смуглая, очень смуглая, черноглазая, черноволосая, румынка или турчанка, должно быть. В трауре. Томные глаза были красивы, но печальны безнадежной печалью матери, потерявшей ребенка...

«То слезы бедных матерей! Им не забыть своих детей... Как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей...»

Крупенский сказал, представляя нас:

— *Cherie! Mes amis...* (Дорогая! Мои друзья...)

Она улыбнулась нам, отчего глаза стали еще грустней, и прошла из двери в дверь как тень.

Крупенский объяснил:

— Она не слышит и вообще она не в себе, а я хожу в Думу, Думу, Думу и рисую, рисую, рисую, чтобы не выть!

* * *

Кофе подавался много раз. Было пять часов утра. Потоцкий, исчерпав все доводы, дремал в кресле. Крупенский продолжал сверлить Волконского. Князь стоял на своем.

— Ну, какой я председатель? Образование? Гвардейский офицер. В военных училищах Маркса не преподают.

— И слава Богу!

— Но я не знаю и наших законов. Даже положение о Государственной Думе и то прочел кое-как. Какой же я председатель?

— Председателю Думы нужно вот что: во-первых, голос, он у вас есть, во-вторых, чтобы он не спал, как Головин, внимание нужно, в-третьих, чтобы независимый был, не кланялся ни правительству, ни революции, и чтобы справедливый был...

— Справедливый?

— Справедливый, — если левые скандалят — выбросить, правые — тоже вон!

— И вы думаете, что я это могу? Почему? Ведь вы меня не знаете.

— Знаю, видно птицу по полету!

Капля долбит камень. К шести утра Волконский сказал:

— Хорошо! Наказ этот проклятый я выучу. И тогда...

— Что?

— Вы за меня краснеть не будете.

И он сдержал слово. Он взялся за председательский звонок, как за привычный штурвал. Но откуда взялась эта привычка?

Я тогда думал, что весь смысл аристократии в наследственной способности к власти. Когда знать начинает заниматься не своим делом, когда «графья и князья» становятся писателями и поэтами, они теряют прирожденную властность, то есть становятся к власти неспособными. Им надо уходить с командных постов добровольно и заблаговременно. Если они этого не сделают, их столкнут выходцы из низов. Они будут править, пока тоже не вырождаются. Столыпин не выродился... Этот аристократ не писал ни стихов, ни романов, он занимался своим прямым делом, он властвовал. Но его убили.

Волконский для власти, в смысле правительственной власти, не был рожден, что выяснилось, когда он был назначен товарищем министра внутренних дел. Но у него сохранилось достаточно властности, чтобы держать Государственную Думу в порядке.

Бывало, Дума разбушуеться так, что никто с ней сладить не может. Тогда справа и слева начинали кричать:

— Волконского!

Он выходил на трибуну, его встречали рукоплесканиями. Выбросив слева и справа несколько скандалистов, он добивался успокоения страстей. С каждым днем его ценили все больше. Однажды, когда начался какой-то очередной скандал, он исключил на одно заседание кого-то из левых. Потом Пуришкевича. Тот, собрав свои бумаги, весело пошел к дверям. Но на пороге остановился и с вызывающим видом сказал:

— Спокойной ночи!

И Волконский — немедленно:

— За неуместный возглас предлагаю исключить члена Государственной Думы Пуришкевича на пять заседаний. Несогласных прошу встать. Принято!

Пуришкевич не успел закрыть дверь, как получил эту добавку.

* * *

Согласно решению нашей фракции Волконский баллотировался 5 ноября 1907 года. Баллотировке предшествовали долгие препирательства по порядку голосования. Наконец князь Владимир Михайлович Волконский был избран товарищем председателя большинством в двести шестьдесят два голоса против ста сорока.

10. «Флот погубит Россию»

Это предсказание было произнесено за несколько лет до русско-японской войны, а значит, задолго до Цусимы: миг ясновидения, сверкнувший как молния! Но я понял это много-много позднее, когда роковое предсказание уже исполнилось. Однако автор его был человеком холодного ума. Свое предчувствие он облек в ткань логики. Он говорил:

«Каким образом мы, держава, отсталая в смысле промышленности, каким образом думаем мы тягаться с теми, кто так далеко идет впереди нас? Еще многие и многие годы нам не удастся построить ни одного боевого судна, которое могло бы идти вровень с кораблями Англии и других держав.

А потом зачем нам эти огромные суда, предназначенные для океана? Ведь до Атлантического нам добраться в высшей степени трудно. Даже и в мирное время. Между нами и океаном лежат всякие там Скагерраки, Каттегаты, Большой Зунд, Малый Зунд, Большой Бельт, Малый Бельт, то есть узкие проливы, которые легко минировать даже в мирное время. Но если нам и удастся благополучно пройти их, то перед нами Ла-Манш, Па-де-Кале. Хорошо, если во время войны Англия будет хотя бы нейтральна по отношению к нам, а если нет, то и в тех проливах нашему грозному флоту не дадут пройти. Поэтому я предвижу великие бедствия, если мы будем продолжать настаивать на стройке морских гигантов».

Все это он произносил, ходя взад и вперед по столовой, где мы с ним вдвоем пили вечерний или, лучше сказать, ночной чай. А вся эта тирада была вызвана только телеграммой ПТА, то есть Петербургского телеграфного агентства.

Она сообщала, что правительство решило дать девяносто миллионов рублей на постройку новых военных кораблей. Я был тогда еще очень молод и мало понимал в делах политики, особенно такой высокой политики, которая видела далеко вперед. Но все же, слушая то, что говорил мне Дмитрий Иванович, мой отчим, запомнил.

И вот все это свершилось. 27 января 1904 года разразилась война с Японией, и военные корабли 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского были посланы вокруг света для того, чтобы нанести за много тысяч километров решительный удар по японскому флоту.

Тихоокеанская эскадра благополучно прошла Каттегаты и прочие проливы. Швеция, Норвегия и Дания хранили строгий нейтралитет. Но Англия желала победы Японии, а не России. В отношении нас ее нейтралитет был неблагоприятен. По этой ли причине или по другой, но в районе Доггер-Банка в Северном море произошел так называемый гульский инцидент.

Чтобы это понять, надо знать нижеследующее. Когда какая-нибудь эскадра, находящаяся в состоянии войны, движется в море, она, в особенности в ночное время, обязана не допускать к себе ближе известного расстояния никакое судно, военное или невоенное. Почему? Потому, что с любого судна может быть послана мина, которая потопит броненосец.

* * *

В ночь на 9 октября 1904 года при сильном тумане к русской эскадре приблизилось несколько судов, разглядеть которые было трудно. Они не отвечали на сигналы и предупреждения о грозящей опасности. Нужно сказать также, что во время похода 2-й Тихоокеанской эскадры командующим вице-адмиралом З. П. Рожественским были получены агентурные сведения о подготовке японцами нападения в районе датских проливов. Поэтому русская эскадра, приняв приблизившиеся к ней суда за японские миноносцы, открыла по ним огонь. Потом оказалось, что это были рыбацьи суда. Один бот был потоплен, пять повреждены. При этом два рыбака были убиты и шесть ранено. Несколько снарядов попало в русский крейсер «Аврора».

В Англии раздался грозный вопль негодования. Правительство Соединенного королевства, стремясь задержать переброску эскадры на Дальний Восток, мобилизовало резервистов флота, направило в море отряды крейсеров и потребовало предания суду командующего и командиров кораблей эскадры.

После англо-русского соглашения 12 ноября между русским министром иностранных дел В. Н. Ламздорфом и английским послом Ч. Гардингом дело было передано на расследование международной следственной комиссии адмиралов под председательством австро-венгерского адмирала Шпауна. От России членом комиссии был адмирал Ф. В. Дубасов, от Англии — Л. Бомон, от Франции — Фурнье и от США — адмирал К. Г. Дейвис. Комиссия, заседавшая в Париже с 16 декабря 1904 года по 12 февраля 1905 года, признала невиновность командного состава русской эскадры. Россия уплатила шестьдесят пять фунтов стерлингов в возмещение убытков. Таким образом гульский инцидент был ликвидирован.

* * *

Однако не только Англия, а весь мир возмутился этим происшествием, создавшим крайне неблагоприятную атмосферу в отношении русских эскадр, которым поручена была почти неисполнимая задача. А ведь предстояло еще снабдить эту эскадру углем в от-

крытом океане. Пришлось заплатить очень крупную сумму для того, чтобы некий углепромышленник Гинсбург согласился на эту операцию. Надо сказать, что он выполнил ее блестяще, сохранив в полном секрете координаты, где была произведена погрузка угля.

* * *

В то время как эти обреченные на гибель суда 2-й Тихоокеанской эскадры шли вокруг Азии, мне случилось быть в Петербурге. Я побывал там у одной дамы, Марии Всеволодовны Крестовской, которая дрожала за судьбу своего сына, мичмана Картавцева, находившегося, кажется, на «Авроре».

Он писал ей со стоянки у острова Цейлон дипломатической почтой, то есть секретной. Сведения, которые он сообщал своей матери, если бы были разглашены, могли бы принести большой вред, но она все же прочла мне письмо. В нем были такие строки:

«Мама, приготовься ко всему. Команда, конечно, не знает правды. Ее от матросов тщательно скрывают. Но мы, офицеры, все знаем: мы идем на гибель!»

Тут следовали некоторые пояснения. Мне кажется, что говорилось о ракушках, которые облепили корпуса судов и тормозят ход. Затем Картавцев продолжал:

«Ход в бою очень важное условие. Мы придем в Японию, потеряв несколько узлов в скорости. Но этого мало. Наши орудия не так дальнобойны, как японские. Мы не будем добрасывать до их судов, они же будут в нас попадать».

Как известно, все это сбылось.

15 мая 1905 года у острова Цусима в Корейском проливе произошел полный разгром русского флота из-за грубых ошибок сдавшегося в плен японцам командующего эскадрой вице-адмирала З. П. Рожественского и главным образом из-за превосходства японских кораблей в дальности боя и скорости хода.

Картавцев, проплавав несколько часов, был выловлен японцами и таким образом спасен.

Но почему же все-таки роковое предсказание гласило: «Флот погубит Россию»? Потому, что Цусима — это было начало конца. Цусима роковым образом отразилась на престиже царя, ее никогда не могли забыть.

Великий князь Александр Михайлович, сам моряк, хорошо знавший морские дела, писал в своих мемуарах, изданных за границей, примерно нижеследующее:

«На его, то есть государя, месте я отрекся бы от престола в день Цусимы. Инициатива посылки эскадры под командой вице-адмирала Рожественского принадлежала царю. Обладая, вообще говоря,

слабым характером, царь в данном случае проявил настойчивость. Великий князь Александр Михайлович присутствовал на решающем заседании, после которого и был послан Рожественский. Все присутствующие, кроме вице-адмирала, высказались против плана обойти Азию и дать бой в японских водах. Только он, Рожественский, заявил, что поддерживает эту мысль. Поэтому ему и пришлось вести русские суда на бой, заранее проигранный».

Это писал великий князь, находясь в эмиграции, для опубликования. Но о роли государя в решении посылать Рожественского знал весь Петербург. Как это ни грустно мне сказать, но царя считали прямым виновником Цусимы. В решении отречься от престола, которое принял государь, запросив всех главнокомандующих фронтами, числом пять, быть может, главным стимулом послужило воспоминание о Цусиме.

Таким образом, пророчество «Флот погубит Россию» оказалось подлинной вспышкой ясновидения, на одно мгновение сверкнувший как молния.

* * *

В Думе по вопросу о морском флоте мне пришлось говорить 23 мая 1908 года на первой сессии третьего созыва, в связи с обсуждением доклада бюджетной комиссии по смете расходов Морского министерства на 1908 год. Докладчик комиссии, земский деятель октябрист Александр Иванович Звегинцев, рассказал членам Думы о необходимости серьезных реформ в Морском министерстве с целью искоренения зла, царившего там и приведшего Россию к Цусиме. После его доклада начались прения. От русской национальной фракции выступали князь И. В. Барятинский, П. Н. Крупенский и князь А. П. Урусов, от кадетов — А. Ф. Бабянский, от прогрессистов — Н. Н. Львов 1-й и А. Ф. Федоров 1-й. Все они, хотя и с разных позиций, критиковали Морское министерство, предлагая различные меры к увеличению мощи и боеспособности русского флота.

Резким диссонансом в этом хоре речей прозвучало выступление депутата от Кубанской и Терской областей и от Черноморской губернии, врача, бывшего на театре военных действий в Маньчжурии, социал-демократа, примыкавшего к большевикам, Ивана Петровича Покровского. Он не требовал ассигнований для увеличения и улучшения флота, он говорил совсем о другом:

— Три года, истекшие после Цусимы, мы видели борьбу между старым порядком России и новой Россией... Думское большинство, монополизировавшее в свое ведение дела внешней государственной обороны, через свою комиссию представило в Государст-

венную Думу огромный доклад, который начинается и весь проникнут критикой Морского ведомства и всего нашего военно-морского дела. Критика сама по себе хорошая вещь, но есть критика и критика: есть критика, которая, разрушая старое, расчищает и указывает новые пути, а есть критика, которая, стараясь сохранить старое, признает мелкие недочеты в нем и указывает средства для устранения этих недочетов. К такой вот именно критике особенно склонны господствующие классы в моменты неустойчивости: перед всякой революцией господствующие классы готовы всегда поступиться формами для того, чтобы сохранить сущность старого порядка..

...Ведь у нас перед японской кампанией все с внешней стороны было хорошо, и мы восхищались, как известно, собою. Все блистало позолотой на русском великане. Но пришел пигмей-японец, ткнул железным кулаком, и все распалось в прах, потому что под золотом была глина. Так не к созданию ли такой мощи приглашает страну думское большинство?

...Но народ не захочет снова пережить позор, на который толкнули его силой помимо его воли. Позор цусимского и мукденского поражений, к которому привел нас старый порядок, порядок крепостнического насилия по отношению к русскому народу, порядок расточения народных денег на политические авантюры, этот позор пробудил русский народ от векового сна, поднял его к общему порыву, к строительству нового порядка, который один только может спасти Россию от гибели, государство от банкротства и народ от нищеты и разорения...

Но у богатыря русского народа, сиднем сидевшего целые столетия, слишком долго были связаны руки и ноги, у него хватило силы только на бурный порыв, но не хватило силы на долгую, упорную борьбу, у старого порядка, рыхлого, отжившего свой век, к сожалению, была железная опора — это и были так называемые средства внешней обороны, которые он обратил внутрь страны, и юная Россия была задущена. (*Шум справа.*) Старый порядок воскрес, старая ворона села на крышу и каркает над кровавым полем. (*Шиканье справа. Рукоплескания слева. Звонок председателя.*)

Пахнуло старым временем, прилетели старые птицы и запели старые песни: народ приглашают снова нести свои гроши и копейки в бездонный казенный мешок, приглашают ковать себе кандалы и строить миллиардный флот. (*Голоса справа: «Довольно!»*)

...Думское большинство смеет приглашать страну затратить миллиарды на постройку флота для забавы правительства и по-детски лепечущей русской буржуазии. Нет, этого не будет!

Непосредственно после этого выступления Покровского подходила моя очередь говорить. Я помнил пророчество моего отчима,

мне хотелось поскорее изложить свои соображения о реформе нашего флота. Поэтому я не стал полемизировать с Покровским, но все же должен был ответить ему, хотя бы несколькими словами:

— Господа члены Государственной Думы, — сказал я, — прежде чем приступить к моей речи, я должен сказать несколько слов депутату Покровскому.

Я, в сущности, не понимаю, почему депутат Покровский так ополчился на Морское ведомство. Когда вооруженный пролетариат поведет свои полчища, ему придется иметь дело с сухопутной армией, поэтому Морского ведомства, казалось бы, не так-то и нужно касаться слева. (*Шум слева. Голос справа: «Социалисты, не шумите!»*)

Затем, господа, позвольте вам сказать, что, не будучи военным человеком, ужасно трудно говорить о военных делах.

То же чувство недоумения я испытываю сейчас, когда мне приходится говорить о морских делах, в которых я, конечно, очень многого не понимаю, и даже до такой степени, что минутами мне кажется, что вот вы, господа члены Государственной думы, море, бурное море, а вот это адмиральский мостик, который шатается под моими ногами, и у меня такое ощущение, что я боюсь, как бы мне не свалиться в эту стихию моего невежества...

...Среди моряков в настоящую минуту есть три течения: одни — так называемые линейщики, другие говорят о так называемом крейсерном автономном флоте и, наконец, — подводники. Между этими тремя течениями идет бесконечная борьба...

...Потом начинается технический спор о перископах и компасах. Говорят о различных новейших изобретениях, как например, о сгорании спирта в минах Уайтхеда, — изобретении русского офицера Назарова и примененном японцами; говорят о минах с аккумуляторами, говорят о стрельбе веерами, — это принцип адмирала Макарова.

...Нужно смотреть в корень дела, а корень дела состоит в том, что существует Россия, но существует, не имея плана обороны России...

В настоящее время обороны не существует, и вы живете без плана обороны государства. Вот я и считаю, что когда такой план обороны государства будет выработан, только в ту минуту можно будет решить вопрос — какой же флот нужен для обороны России.

Если вы позволите, то я скажу, что хотя я решительно не могу определить, какой флот мне бы лично хотелось, чтобы был в России, все-таки я всецело был бы на стороне минного подводного оборонительного флота. Ведь, как это ни грустно, нужно признать, что в техническом отношении мы отстаем убийственно. Ведь сплошь и рядом порядочный плуг и тот трудно иметь у нас в России.

Вот, господа, все, что я имею честь вам доложить, и так как здесь обыкновенно кончали свои речи воспоминанием об Андреевском флаге, то позвольте и мне сказать, что, конечно, красивая картина: после того, как у нас все было разбито и уничтожено, представить себе, что опять на наших морях ходят эти гордые броненосцы; но мне кажется, что можно нарисовать себе и более заманчивую картину: взять Андреевский флаг, скромно и тихо свернуть и взять с собой на подводные лодки, а затем, когда они сделают свое дело, тогда уже всплыть на поверхность воды, когда неприятельской эскадры не будет, и тогда развернуть Андреевский флаг во всей его красоте.

* * *

Поздно вечером, поздние приемы были в обычае, мы были приглашены к Петру Аркадьевичу Столыпину. Мы — это, насколько помню, А. И. Гучков, П. Н. Балашов, я и еще, может быть, кое-кто. И тут Петр Аркадьевич высказал нам совершенно откровенно свои взгляды на так называемую «морскую программу». Он говорил, что сторонники большой программы, то есть надводного броненосного флота, убедили государя в том, что только этим путем может идти российское военное судостроение. Столыпин утверждал, что это дело конченное в том смысле, что если Дума отвергнет начисто предложение правительства, то ее распустят, и распустят на очень невыгодном инциденте. Обвинив в том, что она отказала правительству в ассигновании на оборону государства.

— Зная это, — продолжал Петр Аркадьевич, — я сделал все, что мог. Большая программа в ее первоначальном виде обозначала ассигнования в три миллиарда рублей. Мне удалось сбить этот совершенно невыносимый бюджетный расход до миллиарда с половиной. Это компромисс. Я, — говорил Столыпин, — всецело стою на стороне так называемого малого флота, малых крейсеров и в особенности подводных лодок. Но я сделать ничего не могу. Думу распустят, и я уйду в отставку. Вот почему я должен держаться этого компромисса, и прошу вас хорошенько об этом поразмыслить.

* * *

Это заявление главы правительства, конечно, произвело на некоторых из нас весьма тягостное впечатление. Мы должны были идти на компромисс только потому, что те моряки, которые, по нашему мнению, заблуждались, представили дело Госу-

дарю Императору так, что он с ними согласился. Это подтверждается его собственными словами в письме к матери, Марии Федоровне, от 27 марта 1908 года: «...На днях идиот граф Д. А. Олсуфьев (октябрист, член Государственного Совета от саратовского губернского земства) сказал в Государственном Совете, что Государственная Дума оказалась патриотичной тем, что она хочет отказать в деньгах на флот. Я нахожу, что это гораздо хуже и опаснее, чем то, что говорят и пишут революционеры. Не правда ли?..»

Мы долго думали и в конце концов решили следующее. Пусть наша фракция русских националистов голосует за эти полтора миллиарда. Мы же, несколько человек, то есть П. Н. Балашов, А. А. Потоцкий, я и еще кто-то, мы демонстративно уклонимся от голосования. Что значит демонстративно? Если люди просто воздерживаются, то это может пройти, на внешний взгляд, даже незаметно, так как сначала встают одни, потом встают другие, и те, кто воздерживается, если они в малом числе, как бы в этом тонут. Демонстративно — это значит выйти за барьер, то есть, покинув свое кресло, мы вышли в проход, который отделяет кресла членов Государственной Думы от так называемых правительственных скамей. Так, можно сказать, бесславно для нас по крайней мере, кончилась эта страница о флоте.

11. Смертная казнь

28 января 1909 года был для меня тяжелый день. В Думу за подписью сто трех лиц был внесен законопроект об отмене смертной казни. Текст его состоял из нескольких строчек. Этим клочком бумаги сто три думали отменить извечную и беспощадную борьбу Добра и Зла в этом мире. В составе ста трех были люди разные. Для многих из них попытка покончить со смертной казнью была только жестом, красивым, по их мнению. Оказалось, что это был жест неуклюжий. Попытка не удалась.

Если бы в 1909 году, 28 января, люди, в том числе и я, знали то, что они знают сейчас, то сто три законодателя не внесли бы в Государственную Думу детского законопроекта и согласились бы с мнением депутата-октябриста Николая Ивановича Антонова, что отмена смертной казни есть проблема чрезвычайно сложная. Законопроект был наивен и коварно лицемерен. Я это видел, или, лучше сказать, чувствовал. Но люди того времени были запуганы ходячими мнениями. Мне, «молокососу» тридцати лет, было чрезвычайно трудно резать борозду через застарелую целину.

И это тем более, что даже самый выход в «поле» был загроможден всякими рогатками формального стиля. Их нагромодили сами авторы законопроекта, требуя для него срочности. Они не подумали о том, что средство самозащиты против убийцы, которое человечество применяло с незапамятных времен и, во всяком случае, со времен Моисея, то есть более трех тысяч лет тому назад, отменять легкомысленно. Отменить смертную казнь в тогдашних условиях, да еще в спешке, на галопе, было просто невозможно. Естественно, что большинство Думы желали отправить законопроект в судебную комиссию. Ее члены, главным образом юристы, подвергли бы его основательному обсуждению, после которого тяжелая проблема смертной казни снова предстала бы перед пленумом Государственной Думы.

Теперь это для меня ясно, но тогда я требовал срочности и немедленного рассмотрения законопроекта пленумом Думы. Почему? Потому, что как слева, так и справа одинаково назрела потребность не отмахиваться от трагического вопроса о смертной казни, а сказать свое решительное мнение по существу.

Прения по срочности, согласно Наказу, должны были проходить особым порядком. Допускались только две речи по вопросу о срочности. Если признавалась срочность, то к обсуждению законопроекта Государственная Дума приступала немедленно.

Наказ, очевидно, предполагал, что из двух речей одна будет за срочность, другая — против. Однако в данном случае произошли бесконечные препирательства депутатов между собою и с председателем Думы Н. А. Хомяковым.

Во время этой анархии были сказаны и речи по существу, хотя это и было нарушением Наказа. Председателю не удалось втиснуть страсти в рамки законности. Впрочем, в конце концов это вышло хорошо. Член Государственной Думы второго и третьего созывов от Сувалкской губернии, литовец, трудовик Андрей Андреевич Булат сгруппировал основные аргументы, которые с давних пор были высказаны в мировом масштабе противниками смертной казни. Присяжный поверенный, защитник во многих громких политических процессах Булат служил секретарем при прокуроре окружного суда в Ревеле. Он организовал также почтово-телеграфную и железнодорожную забастовку, сидел в тюрьме и был выпущен под залог в десять тысяч рублей. В своем выступлении на этом заседании Булат, между прочим, сказал (избегая длиннот, привожу наиболее характерные места его речи):

— Господа члены Государственной Думы!.. Для нас, глубоко убежденных противников смертной казни, говорить против нее —

значит ломиться в открытую дверь... Я вам скажу, господа, только такую вещь, что со времени манифеста 17 октября, до которого смертных казней в России было сравнительно очень и очень немного, со времени этого манифеста в течение трех лет, по 17 октября 1908 года, было казнено в России две тысячи восемьсот тридцать пять человек. Было лишено жизни две тысячи восемьсот тридцать пять человек — но не разбойниками, не в запальчивости и раздражении, не политическими террористами, а были лишены жизни государством, которое будто бы стоит на защите права, на защите нравственности, которое будто бы является проводником человечности, которое является проводником культуры. Россия — государство, которое стремится к культуре, и Россия после манифеста, обещавшего нам свободное развитие этого стремления, допустила государственных убийств двух тысяч восьмисот тридцати пяти человек в течение трех лет. Приговоров было свыше пяти тысяч.

Смертная казнь никого не устрашает, наоборот, она вызывает в элементах, склонных к преступности, стремление к известного рода героизму, к ухарству, стремление играть своей жизнью и вызывает как раз увеличение числа тех преступлений, против которых желают будто бы бороться смертною казнью.

Вы, господа, может быть, сошлетесь на религию. К сожалению, в русской прессе в настоящее время нашлись такие омерзительные листки, которые позволяют себе указывать, что смертная казнь чуть ли не Евангелием освящена. Было время, когда эти листки раскладывались нам по всем скамьям Государственной Думы и в них указывалось, что смертная казнь уже издревле, от Ветхого Завета, практикуется как возмездие и т. д. Но, господа, не нужно быть специалистом, не нужно быть получившим духовное образование, нужно знать очень немногое: «Возлюби ближнего как самого себя». На этом, господа, зиждется весь Новый Завет, и это достаточно ясно говорит о том, допустима ли смертная казнь с нравственно-религиозной стороны или нет... Неужели среди членов Государственной Думы есть такие лица, которым нужно, чтобы кто-нибудь другой им объяснил, нужно или не нужно вешать?

Всякое наказание... всегда может быть потом тем или другим образом компенсировано. Присужденный к нему, если будет доказана ошибка, всегда может быть, так или иначе, вознагражден. Единственное исключение — смертная казнь. Она невознаграждена, она неисправима. Я думаю, никто из вас не скажет, что не бывает судебных ошибок. Я уверен... вам придется признать, что после того, как смертная казнь была приведена в исполнение, не раз оказывалось, что казнен невинный.

Скажите, пожалуйста, как вы возвратите приговор, чем и как вы вернете жизнь тому, кто казнен невинно? А вы люди, вы это по-

мните, и, если у вас есть хотя малейшая искра нравственного сознания... вы должны сказать, что раз суды не могут быть совершенны, ибо они человеческие, то смертная казнь не может быть допускаема, дабы ни один невинный не был казнен.

Речь Булата, несомненно, имела свою ценность. Главный аргумент против смертной казни — ее невозвратимость — он изложил ярко, и я думаю, что в этом он был искренен. Лицемерие его проявилось, когда он стал призывать нас следовать Евангелию и исполнять заповедь: «Возлюби ближнего своего...»

Кто были ближние Булата? Вероятно, это были организаторы почтово-телеграфных и железнодорожных забастовок, то есть те люди из народа, которых он защищал и в судах, и в Государственной Думе. Что же касается хотя бы нас, депутатов, сидевших вблизи от него, то его ненависть к нам была совершенно очевидна.

* * *

В конце концов выяснилось, что поданы две записки, и обе за срочность, хотя и по противоположным мотивам. Подали эти записки представитель социал-демократической фракции, помощник присяжного поверенного мингрелец Евгений Петрович Гегечкори и Шульгин-второй.

Гегечкори хотел немедленного обсуждения законопроекта для того, чтобы немедленно смертную казнь отменить. Шульгин также хотел немедленного обсуждения, но не для того, чтобы немедленно отменить смертную казнь, а для того, чтобы немедленно установить: отменять смертную казнь нельзя.

* * *

«В пределах жребия земного» 28 января 1909 года жребий Государственной Думы повелел мне говорить речь о смертной казни. Я говорил ее, несомненно, в нарушение Наказа, потому что моя речь была только формальна по срочности, а на самом деле по существу. Это было ясно всем — и членам Думы, и ее председателю. Почему же Н. А. Хомяков не остановил меня? Потому, что под напором буйных страстей он разрешил говорить Булату также по существу.

Я привожу эту речь по стенограмме, отступая от нее только там, где что-нибудь напутано, избегая повторений или мест, сейчас не представляющих интереса, и, наоборот, вставляя кое-где необходимые пояснения:

— Господа члены Государственной Думы, фракция правых желала бы отвергнуть настоящий законопроект без передачи его в комиссию, и вот почему. Мы знаем, да это знает и каждый, что вопрос

о смертной казни имеет свою колоссальную литературу и огромную законодательную и судебную практику. Следовательно, обсуждать его здесь не представляет ничего чудовищного, ничего невозможного, как раз наоборот, это было бы прямой задачей Государственной Думы. Но, господа, все это было бы так, если бы то предложение, которое здесь внесено, не заключало в себе, если мне так позволено будет выразиться, известной серьезности и даже, я очень прошу извинения, неясности и, сугубо прошу извинения, известного издевательства над Государственной Думой. И для того чтобы не говорить неприятных вещей, будучи бездоказательным, позвольте вам кое-что напомнить.

Все мы отлично помним царствование покойного Императора Александра III и первые годы царствования Его Величества, нынешнего нашего всемилостивейшего Государя. Мы отлично помним, что в это время о смертной казни мы забыли, и даже с трудом кто из нас может припомнить случаи смертной казни в то время.

Правда, вот в моей памяти сохранилась казнь кавказских разбойников из того типа, о которых так остроумно было сказано, что в понедельник немножко резал, во вторник много резал и в воскресенье туда-сюда резал, этих казнили, но в очень ограниченном числе. Далее, в моей памяти сохранилась еще казнь предводителя цыганской шайки, эта шайка зарезала сорок человек при ограблении волостных правлений. Об этом говорили газеты две недели. Больше никаких воспоминаний из этой эпохи, по крайней мере у меня, не сохранилось.

Я уже говорил, в то время Россия забыла о том, что такое смертная казнь, и это вполне понятно, ведь в русском народе есть инстинктивное отвращение к смертной казни и к жестокостям правосудия вообще. И это идет вовсе не со времен Елизаветы Петровны, это явление, идущее из самой седой древности, отмечено нашими учеными, оно составляет нашу национальную гордость и наше национальное утешение, и оно крепко поддерживает нашу веру, когда мы говорим, что хозяином в этой огромной империи должен быть русский народ, потому что мы верим в то, что только он будет владыкой кротким и милостивым. *(Рукоплескания справа. С. Н. Максудов, с места: «А кто русский народ?»)*

— Русский народ... *(Председатель: «Пожалуйста, без переговоров, и если вас спрашивают с мест, прошу вас не отвечать».)*

Садретдин Назмутдинович Максудов по происхождению чистокровный татарин, образованный человек, окончивший в 1906 году в Париже юридический факультет. Он, вероятно, хотел сказать, что в составе русского народа достаточно инородцев, в том числе и татар. Председатель правильно не позволил нам препираться по этой совершенно посторонней теме, и я продолжаю:

— Не буду долго останавливаться на этом вопросе, я только вам напомню, что в темные времена средневековья, когда на Западе руками святейшей инквизиции десятками тысяч сжигались на кострах разные ведьмы и колдуны, в России руками Православной Церкви, той Церкви, о которой только невежды могут говорить с пренебрежением, знаете вы, как наказывали наших колдунов? Их заставляли бить поклоны перед иконами или лежать крестом в церкви. Вот, господа, пример прошлых времен.

Теперь вспомните интеллигентное общество дореволюционной эпохи, я отлично это помню. Среди своих родных и знакомых я знал русских женщин, которые буквально занемогали, физически делались больными, когда они читали описания смертной казни.

Теперь я вас попрошу перенестись в несколько иную эпоху. Действие происходит в 1908 году в Киеве. Суд разбирает дело об убийстве семьи Островских.

Кто были Островские? Это была бедная еврейская семья, которую вырезали целиком из-за жалких нескольких рублей грабители, видимо, предполагавшие, что у них где-то были запрятаны капиталы.

Это убийство произвело страшное впечатление в Киеве. Целых две недели город был как бы под влиянием какой-то черной тучи, которая повисла над ним. Толпы людей долго еще стояли перед этим домом и, угрюмые, расстроенные, с суеверным ужасом смотрели на эти стены. И вот наконец наступил день суда. Приговор суда был суров: четверо были приговорены к смертной казни, и две женщины, которые были виновны только в недонесении, приговорены к пятнадцати и двадцати годам каторги; а там, на улице, перед судом стояла толпа, которая кричала: «Дайте убийц народу! Не защищайте эту дрянь!» Только большими усилиями полиции удалось спасти убийц от самосуда.

А вот другой пример: Вильна, 1907 год, декабрь. Разбирается дело об убийстве мирового судьи Русецкого неким Авдошкой. Авдошка был взят в услужение мировым судьей Русецким и убил последнего и его жену на почве ограбления. Так как Русецкий был поляк, то весь зал был наполнен представителями польского общества, в том числе и высшего польского общества. И вот, когда прокурор потребовал смертной казни для убийц, зал разразился аплодисментами, которые перешли туда, дальше, на улицу, в толпу, стоявшую вокруг здания суда. (*Кадет А. И. Шингарев с места: «Одичание!»*) Толпа кричала: «Если вы не казните, мы разорвем его собственными руками!» (*Кадет П. Н. Милюков с места: «Дикари!..» Шум.*)

Мы (обращаясь влево) вас не перебивали. Вот, господа, какая разница между этими двумя моментами — между той эпохой и нынешней.

Под «той эпохой» я подразумевал время, про которое Булат нам сказал: «До манифеста 17 октября 1905 года смертных казней в России было сравнительно очень и очень немного...»

Далее я продолжал:

— Что между ними стоит, господа? Какое событие? Где тот порог, который так странно разделил психологию того же самого народа? Ведь это не жестокий еврейский народ, который кричал: «Распни Его!» Это ведь русская и польская, обыкновенно добродушная толпа.

Господа! Это событие мы, правые, называем так: мы называем его бунтом организованного и сплоченного еврейства против неорганизованной и несплоченной России. (*Рукоплескания справа.*) А вы (*обращаясь влево*) называете его «освободительным движением». (*Рукоплескания справа. Возглас слева: «А организованные погромы?»*) Погромы именно и показали, что это была неорганизованная и несплоченная Россия (*шум*), потому что если бы она была организованной и сплоченной, то настоящие виновники не ускользнули бы. Получилось только то, что ни в чем неповинные еврейчики разграблены, а настоящие виновники или за границей, или благополучно здравствуют здесь. (*Пуришкевич с места: «И Милюков болтался бы на виселице!»*)

Председатель (*обращаясь к члену Государственной Думы Шульгину*). Прошу вас, не обостряйте вопроса.

В. В. Шульгин (*продолжает*). Вот я и полагаю, господа, что в данную минуту было бы большим заблуждением думать, что те бесконечные казни, которые мы видим, дело рук правительства. Если бы правительство перестало казнить, мы бы вступили в эпоху таких самосудов, пред которыми побледнело бы линчевание негров в Америке. (*Возгласы справа: «Верно!»*)

Русский народ похож на пружину: пока его не растягивают, он кажется вялым и добродушным. Но горе тем, которые его растянут, как на дыбе: при своем обратном движении эта пружина сметет с лица земли все то, что ей сопротивляется. И вот мое мнение по этому поводу такое, что пока еврейская революция и поднятые ею со дна темные элементы не смирятся и не принесут повинную голову, русский народ будет казнить. Только после этого он перестанет казнить; он пожалеет их, как жалеет несчастных арестантов в серых халатах, которых мы видим на улице, он будет их миловать.

Теперь, господа, перейдем к истории этого законопроекта. Он имеет свою историю. Он был внесен в первую Думу, и 19 июня 1906 года Государственная Дума единогласно вотировала отмену смертной казни. Я не знаю в истории акта большего лицемерия, чем этот. Мы знаем, что конвент вотировал смерть французского короля. Это было ужасно, но это было, по крайней мере, не лицемерно.

А то собрание, которое было забрызгано кровью, то собрание, которое начало с того, что потребовало полной амнистии всем борцам за свободу, то есть убийцам, то собрание, которое кричало: «Мало тысяч убитых революцией...» (М. С. Аджемов с места: «Вранье»), то собрание вотировало отмену смертной казни. Тут говорят «вранье». Это не вранье...

(Председатель: «Будьте добры спорить о том, что вранье и что не вранье, во время перерыва». Шум, голоса справа: «Не мешайте, не перебивайте!» Председатель: «Покорнейше прошу не прерывать оратора. Вопрос слишком острый, чтобы его еще обострять».)

* * *

Здесь я прерываю стенограмму моей речи, поскольку она мало-вразумительна. А эпизод, о котором я упомянул там, разыгрался не в третьей, а в первой Государственной Думе примерно так.

На кафедру взошел трудовик, депутат от Екатеринославской губернии, матрос Черноморского флота, служивший ранее рабочим на котельном заводе, Лев Федорович Бабенко. Он говорил: «...Вам известны результаты в Севастополе. Я должен вам сказать: пусть уйдут наши министры. Из их ответов...»

Тут Бабенко запнулся, и председатель Сергей Андреевич Муромцев прервал его: «Вы читаете ваше особое мнение? Если вас затрудняет чтение, то читаемое вами мы приложим к журналу».

Бабенко продолжал: «...Пусть уйдут, иначе ваших министров может постигнуть та же участь, которая постигла офицеров на броненосце «Князе Потемкине-Таврическом».

Рассказав об этом происшествии в первой Думе, я спросил депутатов:

— Вы знаете, кому это говорилось, господа? Это говорилось главному военному прокурору генерал-лейтенанту Владимиру Петровичу Павлову, который был убит после этого.

Далее привожу свою речь:

— Этот законопроект перешел во вторую Думу, но там он не разобрался, потому что не дошла до него очередь, но мы — и господа члены второй Думы, здесь присутствующие, конечно, это помнят — мы имели великолепную репетицию по поводу военно-полевых судов, и тогда мы присутствовали при замечательном явлении. Как вам известно, во второй Думе была партия, которая совершенно открыто называла себя социал-революционерами, их было тридцать четыре человека. И вот эти господа, товарищи которых в то же самое время постановляли смертные приговоры и приводили их в исполнение, эти господа как ни в чем не бывало расписались против смертной казни. (Голоса справа: «Браво!»)

И когда в конце концов ваш покорнейший слуга, доведенный почти до исступления, принужден был спросить их, нет ли у них бомбы в кармане, то был немедленно же после этого изгнан. (Е. П. Гегечкори с места: «Вышвырнут из зала».) Вышвырнут из зала, так как этот вопрос показался крайне не деликатным по отношению к некоторым членам. (Голоса справа: «Браво!» Смех и шумные рукоплескания в центре и справа.)

Не менее речисты были и социал-демократы, те самые социал-демократы, которые в то время уже готовили военный бунт, военный бунт, за который многие из них в настоящее время, в том числе и известный Церетели, находятся на каторге. Все эти Алексинские, Озолы и К^о готовили в это время военный бунт, который, если бы он удался, стоил бы, конечно, России рек крови. Эти самые господа точно так же крайне красноречиво доказывали, почти так же красноречиво, как сейчас член Думы Булат, что смертная казнь прямо что-то немыслимое и невозможное.

И кадеты тоже очень хорошо говорили... Те самые кадеты, которых мы ни просьбами, ни мольбами, ни угрозами не могли принудить осудить террор. Они и тогда так же скользко себя держали, объясняя свое поведение так: «Мы сами полагаем, что не следовало бы убивать, но если вы убиваете, то мы не ставим этого в вину», — вот была та плоскость, основа соглашения между кадетами и более левыми. (Рукоплескания справа. Граф В. А. Бобринский-второй с места: «Совершенно верно, правильно, лакеи революции».)

Наконец, господа, вопрос этот, но уже хромя на одну ногу, добрал в третью Думу... Сейчас хотят сделать политическую демонстрацию. Я должен сказать, что в числе ста трех подписей, несомненно, есть такие подписи, которые ничем не скомпрометированы, и я вполне допускаю, что эти люди, действительно искренно, суть противники смертной казни.

Но большинство оппозиции? Я не думаю, чтобы это было так, потому что еще недавно оппозиция устами оратора, который говорил тогда от имени всей оппозиции, заявила нам здесь, что кинжал есть высший судья...

Мы, господа, называем себя верными слугами русского Императора, и наши руки должны быть так же чисты, как алмазы в его венце! (Рукоплескания справа.)

После всего вышесказанного я полагаю, что законопроект, нами рассматриваемый, есть не более как политическая демонстрация, а потому нечего с ним так долго возиться и сдавать в какие-то комиссии, а просто, по-моему, предоставить одним сделать политическую демонстрацию, а тем, которые хотят возразить, — сделать контрдemonстрацию, после чего этот законопроект тут же, в общем собрании, отклонить на том основании, что так как оппозиция ус-

тами своего оратора заявила, что «кинжал есть высший судья», то Государственная Дума надеется, что в будущем оппозиция свою тактику изменит, ибо только тогда можно будет говорить серьезно об отмене смертной казни, когда подстрекательства к политическим убийствам прекратятся. (*Голоса справа: «Браво!»*)

...Но здесь есть, конечно, другая опасность: как только мы откроем прения, то польется такой фонтан, который, быть может, отнимет у нас все заседания вплоть до конца этой сессии. Поэтому нужно придумать какой-нибудь исход, и исход есть. Прекратить прения, с соблюдением гарантий свободы слова, указанных в статье девяносто второй Наказа.

Я хочу добавить. Вопрос о срочности отмены смертной казни несколько смягчен в настоящее время. Это имеет связь с постановлением екатеринославского суда, присудившего к смертной казни несколько десятков человек за организацию железнодорожных и некоторых других забастовок.

А если вы заглянете в книжечку «Наши депутаты» на страницу четыреста пятнадцатую, то вы под изображением члена Думы Булата А. А. найдете: «Во время октябрьского движения сидел в тюрьме. Выпущен под залог в десять тысяч рублей». Но это неважно. А важно вот что: «Организатор почтово-телеграфной и железнодорожной забастовки».

Вы понимаете, что при таком положении действительно член Думы Булат спешит отменить смертную казнь, ибо она, может быть, немножко опасна.

(*Председатель: «Член Государственной Думы Шульгин, я усматриваю в ваших словах желание оскорбить...»*)

Голоса справа: «Ничего подобного».

Председатель: «Мое мнение сказано, и я, разумеется, его не беру назад».

Н. Е. Марков-второй, с места: «Напрасно».

Председатель: «А вас покорнейше прошу быть спокойными».

Голоса справа: «Мы спокойны, а вы беспокоитесь». Шум, звонок председателя.)

Конец моей речи был посвящен неинтересным подробностям о Наказе. Таким образом, эффектного конца не получилось, тем не менее правые и центр наградили меня шумными одобрениями и возгласами: «Молодец!»

Предоставив говорить Булату и Шульгину по существу, председатель не имел достаточных оснований останавливать выступивших после меня кадета В. А. Маклакова и социал-демократа Е. П. Гегечкори.

Н. А. Хомяков стремился, как мог, ввести прения в законное русло. Он был очень обаятельный человек и изящный председа-

тель, но слишком слаб, чтобы совладать с буйными страстями, разыгравшимися в этот день. Чтобы передать картину этого беспорядка, у меня не хватает таланта. Только стенограмма дает о нем некоторое понятие, почему я привожу ее полностью.

Прошу читателей иметь терпение прочесть всю эту толчею на месте, потому что она дает ключ к пониманию очень важных вопросов. Государственная Дума, какова бы она ни была, есть элемент политической свободы. В ней предельно обеспечена свобода слова. Это было лицо русского парламента, но была и изнанка. Пятистотголовое собрание может полезно работать только в том случае, если участники его прошли школу самодисциплины. Но этот предмет изучается в течение столетий, чему пример английский парламент.

В Лондоне еще сравнительно недавно, то есть в конце XIX века, произошла знаменитая обструкция Чарлза Стюарта Парнелла. Группа ирландцев умышленно скандалила, тормозя деятельность парламента намеренно длинными речами, шумом и другими подобными приемами, стремясь к определенной цели — добиться утверждения законопроекта о гомруле, то есть автономии Ирландии в рамках Британской империи. Скандалистов приходилось выносить из зала заседаний на руках, причем по одному, соблюдая парламентскую неприкосновенность. Эта возня отнимала столько времени и нервов, что парализованный парламент не мог работать.

Наша же недисциплинированность привела к более тяжким результатам, а именно — конфликту Государственной Думы с короной во время войны. В этом несогласии погибли и династия, и парламент...

Так вот образчик трагикомедии, разыгравшейся в Думе после того, как я сошел с кафедры, про которую Репетиллов сказал бы: «Шумим, братец, шумим...»

Председатель: «Поступило два заявления — одно о передаче настоящего законопроекта... (*Шум справа. Голоса: «Перерыв».*) Если угодно шуметь, то я сделаю перерыв. (*Марков-второй с места: «Самое лучшее».*) Прошу не шуметь. Поступило два заявления: одно — о передаче настоящего дела в комиссию по судебным реформам по § 56 Наказа, а другое — по § 92 — о прекращении прений по настоящему вопросу. (*Булат с места: «Желаю возразить против второго заявления».*) Виноват, позвольте мне доложить. Поступило еще заявление, о предоставлении слова по порядку голосования, и другое — заявление члена Государственной Думы Булата по личному вопросу. По личному вопросу предоставляется слово по окончании прений по делу. Прения по настоящему делу окончены, ибо вслед за тем мы приступаем к голосованию. Слово принадлежит члену Государственной Думы Булату по личному вопросу».

Булат: «Член Государственной Думы Шульгин, во-первых, заявил о том, что тот законопроект об отмене смертной казни, который я подписал, неискренний. Он указывал также, что и первая и вторая Государственная Дума поступали неискренне, он охарактеризовал... *(Шум справа. Звонок председателя.)*... еще более неприличными словами... *(Голоса справа: «Пошел вон!»)*

Председатель: «Будьте добры не шуметь». *(Голоса справа: «Это не по личному вопросу».)*

Булат: «Мне объясняют, что такое личный вопрос. Я повторяю, что я первый подписал тот законопроект об отмене смертной казни, который господин Шульгин — я его не назову членом Государственной Думы, депутатом — назвал неискренним. *(Шум справа. Голоса: «Что это такое? Ведь это оскорбление!»)* Для того чтобы господин Шульгин позволил себе говорить о моей искренности или неискренности, нужно иметь доказательства, иначе это есть не более как голословная, заведомая неправда (я употребляю приличное выражение). Это раз, но депутату Шульгину, собственно говоря, можно все простить... *(Шум. Голоса справа: «А тебе нельзя?!»)* У него так мало соображения... *(Смех. Шум справа. Пуришкевич, с места: «Ослиная голова!»)*... что разобраться в том, что искренно, что не искренно, ему трудно. Он взял документик, где он прочел...» *(Шум справа. Пуришкевич, с места: «Идиот!»)*

Оратор, обращаясь к председателю: «Я бы просил вас, господин председатель, все-таки оградить меня от таких восклицаний».

Председатель: «Позвольте просить вас не восклицать, а уж если восклицать, то настолько громко, чтобы председатель мог слышать. *(Пуришкевич кричит с места: «Я ему сказал, что он идиот!» Смех справа. Голос слева: «Вон!»)* Член Государственной Думы Пуришкевич, мало того что позволяет себе выходки, недопустимые в каком-либо порядочном собрании, он сверх того подтверждает их вновь. Я предлагаю на нынешнее заседание исключить его из собрания».

(Шум. Голоса справа: «Это несправедливо!» Пуришкевич, с места: «Я прошу объяснения. Вместо меня даст объяснение член Государственной Думы Шульгин».)

Председатель: «Член Государственной Думы Пуришкевич имеет право высказаться по этому вопросу. *(Пуришкевич, с места «Вместо меня будет говорить Шульгин».* Голоса справа: «Он имеет право».)

Председатель: «Слово принадлежит члену Государственной Думы Шульгину». *(Шум.)*

Шульгин-второй: «Я не могу вполне оправдать то замечание, которое было сделано моим товарищем, но я должен сказать, что оно тоже было вызвано словами члена Государственной Думы Бу-

дата, который позволил себе, во-первых, сказать, что он не назовет меня членом Государственной Думы, — это раз, а во-вторых, позволил себе сказать, что я совершенно лишен соображения, — это два. Я на такие выходы не имею обыкновения отвечать, но Владимир Митрофанович Пуришкевич, имея темперамент более пылкий, сказал за меня то, что должен был сказать я».

(Рукоплекания справа. Голоса: «Браво!» Профессор всеобщей истории, правый А. С. Вязигин с места: «Прошу слова о нарушении Наказа».)

Председатель: «Слово принадлежит члену Государственной Думы Вязигину о нарушении Наказа».

Вязигин: «На основании § 106 Наказа объяснения по личному вопросу даются не в очередь, но отлагаются до окончания суждений по делу. В этом же заседании суждения по делу не были еще окончены. *(Голоса слева: «Были».)* Нет, не были, а члену Государственной Думы Булату было предоставлено слово». *(Рукоплекания справа.)*

Председатель: «Прения по данному вопросу совершенно были закончены. Слово принадлежит члену Государственной Думы Крупенскому по вопросу о нарушении Наказа».

Крупенский: «В Наказе сказано: «Если с трибуны производятся беспорядки речами, которые нарушают порядок, председатель их останавливает». В данном случае председатель не слышал обвинений, которые бросались депутату Шульгину, вследствие этого он не остановил оратора и вызвал этот беспорядок. Вследствие этого я просил бы председателя раньше просмотреть стенограмму того, что говорил господин Булат, а затем предложить собранию об исключении депутата Пуришкевича». *(Рукоплекания справа.)*

Председатель: «Итак, прения закончены... *(Булат, с места: «Я не окончил прений по личному вопросу».)* Прения были закончены, ввиду чего нам предстояло перейти к баллотировке, и поэтому было предоставлено мною слово по личному вопросу. И так как я предоставил члену Государственной Думы Булату слово, то, объяснив то, что я имел сказать, предлагаю Государственной Думе предварительно выслушать объяснения депутата Булата до конца, а затем поставлю на голосование предложенный вопрос. *(Возгласы слева: «А Пуришкевич?!»)* Будьте добры, позвольте мне председательствовать не по вашему приказанию».

Булат: «Господин Шульгин говорил, что в Екатеринославле за организацию железнодорожной забастовки приговаривали людей к повешению и их вешали. Потом он же сказал, что по имеющимся в его руках документам я, Булат, есть организатор железнодорожной и почтово-телеграфной забастовок. Если бы это было так, то, конечно, я был бы приговорен, по крайней мере, к смертной

казни и здесь бы не заседал. (*Шум.*) Очевидно, что господин Шульгин недостаточно соображает, у него так мало сообразительности. (*Шум. Возгласы справа: «Опять!»*)

Председатель: «Господа члены Государственной Думы, угодно вам будет занять места? (*Шум.*) Член государственной Думы Булат. Прошу вас не пользоваться этой кафедрой для перебранки, раз дело идет таким порядком, разумеется, никакой председатель не решит, кто виноват; когда бранятся, оба виноваты. (*Рукоплескания в центре и справа.*) Я ставлю это на вид говорившим. Простите меня, господа, невоздержанность недопустима, и разобрать, где переходит граница допустимого и недопустимого, до такой степени невозможно, что я, по крайней мере, не могу этого сделать. Я вас покорнейше прошу ограждать достоинство собрания, которое вы обязаны уважать. (*Бурные рукоплескания на всех скамьях.*) Нынче, с одной стороны, говорят оратору: «Ты забастовщик». На это отвечают: «Ты безмозглый», «Ты идиот». (*Булат: «Я этого не говорил.»*)

Председатель: «Кто же, господа, разберется, что допустимо? Все от вас зависит. Председатель ничего сделать не может. Исключать наскоро каждого и каждый день — это позор, это ужасное положение, в которое вынужден становиться председатель. Легко сказать собранию: «Предлагаю исключить члена Думы такого-то», но это тягостно и ужасно. Избавьте от этого вашего председателя, если вы имеете к нему хоть какое-нибудь сожаление. (*Рукоплескания в центре и справа.*) Предупреждаю вас (*обращаясь к Булату*) и прошу держаться в рамках личного объяснения и не обострять вопроса».

Булат: «Я, господа, буду всецело следовать указаниям председателя, что такое выражение, как сказать о ком-нибудь, что он проявил недостаточную сообразительность, недопустимо с трибуны, и я его больше произносить не буду, но должен оговориться, что из этого замечания, которое сейчас было сделано, вышло, как будто бы я употребил выражение «безмозглый» и «идиот», этого я не говорил. А теперь по личному вопросу. Итак, депутат Шульгин, зная факты, сказал, что за организацию железнодорожных забастовок людей приговаривали к смертной казни; вероятно, он также знает, что люди, которые подлежат такому приговору, не могли заседать уже во второй Думе, на этих скамьях, и тем не менее он все-таки позволил себе утверждать, что я есть организатор почтово-телеграфных и железнодорожных забастовок... (*Справа показывают книжку «Наши депутаты.»*) Я вам не такие вещи в «Русском знамени» укажу, так неужели из-за этого позволяется с этой высокой трибуны обвинять кого-либо и говорить, что «ты виновен в том, что там написано»? Я не могу, конечно, говорить о несообразительности депутата Шульгина, раз

это запрещено, но вы сами, господа, сообразите, как назвать такое непонимание депутатом Шульгиным своих слов и своих мыслей?»

Председатель: «Итак, приступаем к голосованию. Ввиду того, что вопрос о перебранках достаточно выяснился, позвольте мне снять с очереди сделанное мною предложение об удалении из сегодняшнего заседания члена Думы Пуришкевича. (*Возгласы: «Браво!» Рукоплескания в центре и справа.*) Слово принадлежит члену Государственной Думы Маклакову по порядку голосования».

Маклаков: «Господа! Так как прения кончены, то я имею право говорить только в пределах того конкретного предложения, которое сделал я о разделении вопроса на две части и о внесении к нему одной поправки. Вот поэтому, и только поэтому, я должен оставить без ответа речь депутата Шульгина, должен, к сожалению, оставить без ответа те удивительные обвинения, которые мы от него выслушали. (*Шум справа.*)

Председатель (*звонит*): «Прошу говорить по порядку голосования». (*Голос справа: «Просим по порядку голосования, а не о Шульгине. Шульгин ни при чем».*)

Маклаков: «Но пусть знает депутат Шульгин... (*Граф Бобринский, с места: «Нет, по порядку! Это нельзя! Это злоупотребление».*) Хорошо, я буду говорить только к порядку голосования, если вы своим шумом мешаете мне ответить Шульгину.

(*Голос справа: «Нельзя!» Шум. Шульгин-второй с места: «Я прошу вас». Голоса: «Нет, нельзя просить!»*)

Далее В. А. Маклаков говорит по порядку голосования, иногда, украдкой от председателя, выражая свое негодование против речи Шульгина. Так же поступает и П. Н. Милюков, говоря по мотивам голосования. Особую настойчивость проявляет Е. П. Гегечкори в спорах с председателем, который семь раз прерывает его замечанием: «Покорнейше прошу вас говорить только по порядку голосования».

Тем не менее Гегечкори удается несколько раз уязвить Шульгина, что вполне понятно. Шульгин как-то ухитрился, в нарушение Наказа, при помощи жребия, полностью сказать свою речь о смертной казни по существу. Поэтому естественна настойчивость его политических противников, которые стремились возражать ему также по существу.

Наконец после бесконечных «хождений по мукам» вопрос о передаче законопроекта о смертной казни ставится на голосование, и большинством (сто семьдесят голосов против ста тридцати трех) Дума передает его в комиссию по судебным реформам.

Тут В. М. Пуришкевич своим звонким тенорком воскликнул с места: «Похороны по первому разряду!»

Пуришкевич угадал. Действительно, Государственная Дума третьего созыва, насколько я помню, к вопросу о смертной казни не возвращалась. Тем более не могло этого быть в четвертой Думе: началась война. А во время войны смертную казнь вводят обычно и там, где ее нет в мирное время.

Однако нет правил без исключения. В 1917 году Временным правительством смертная казнь была отменена при продолжающейся войне. Тогда я уже не говорил речей против отмены смертной казни.

12. Царь, волынцы и другие «верноподанные»

Судьбе было угодно, чтобы на следующий день после моей речи о смертной казни состоялся высочайший прием в Царском Селе.

В Петербург прибыла депутация от волынских крестьян в числе двенадцати человек, по одному представителю от каждого уезда. Во главе их Высокопреосвященный Антоний, архиепископ Волынский, и архимандрит Виталий, монах из Почаевской лавры.

К прибывшей депутации, естественно, присоединились члены Государственной Думы от Волынской губернии, которых было тринадцать человек. В числе последних были крестьяне, помещики, священники и интеллигенты. Таким образом, вся депутация состояла из двадцати семи волынцев — тринадцати членов Думы и двенадцати крестьян во главе с двумя архипастырями.

Вот что знаменательно: все они, то есть служители Церкви, неграмотные хлеборобы, грамотные горожане и помещики, представители высшего сословия, носили на груди значки, устанавливавшие их национальность, а также политические и социальные взгляды.

Они преподнесли Государю петицию, подписанную миллионами волынцев. О чем же просил, вернее сказать, умолял, миллион верноподданных своего Царя? Петиция была направлена против Государственной Думы. Церковь, мужики и высшее сословие «единым духом и едиными устами» высказали царю, что они возлагают все свои надежды только на монарха, коему, по словам основных законов, «повиноваться Сам Бог повелевает». По этой причине эти граждане, болеющие за судьбу России, просили царя сохранить самодержавную власть, ему от века принадлежащую, не уступая своих прав Государственной Думе, если таковая захочет на царское достоинство покушаться.

Собрать миллион подписей от одной губернии — нелегкое дело. Надо было созывать сходы по селам и деревням, растолковывать хлеборобам, в чем дело. Надо думать, что эта работа началась

еще при второй Государственной Думе, а может быть, и при первой. А это значит, что текст петиции был составлен под влиянием тогдашних настроений. Поэтому с такой настойчивостью и определенностью верноподданные просили Царя не уступать Государственной Думе.

Обе Государственные Думы, первого и второго созывов, и по составу своему, и по деятельности своей были Думы крамольные, явно посягавшие на историческое достоинство русских Царей. Но этого никак нельзя было сказать о третьей Государственной Думе. Последняя в своем большинстве состояла из людей верноподданных — монархистов. В отношении нее язык петиции был неуместен. Таким образом, это обращение волынцев к царю несколько запоздало. И Государь был поставлен этим актом в довольно затруднительное положение. Если бы он не хотел Государственной Думы вообще, то ему совершенно было не нужно созывать Думу третьего созыва. Он вызвал к жизни народное представительство в 1905 году манифестом 17 октября, но, убедившись, что Россия не созрела для представительных учреждений, мог бы покончить с этим начинанием в том же порядке, как оно было создано, то есть вернуться к прежнему самодержавному строю. Но Император этого не сделал. Он признал правильной столыпинскую идею, что монарх и Государственная Дума должны править Россией совместно. Из этого затруднительного положения Государь вышел при обстоятельствах, изложенных ниже.

Было условлено, что при представлении Царю будет сказана одна только речь, а именно архиепископом Волынским, Высокопреосвященнейшим Антонием. Этот архиерей имел удивительно представительную внешность. Некоторые говорили, что он похож на бога Саваофа, как его представляют себе в простоте души своей народные богомазы. В величественной лиловой мантии он стоял перед царем, опираясь обеими руками на свой пастырский посох. Он говорил об отношениях монарха и Государственной Думы умно и в желательном направлении, то есть чтобы самодержавная власть сохранилась в царских руках, но говорил умеренно.

В миру архиепископ Антоний принадлежал к знатной фамилии Краповицких, которая владела большим имением во Владимирской губернии, примерно между Владимиром и Муромом. Сейчас, то есть в 1965 году, в его усадьбе и обширных помещениях находится лесоводческий институт или училище.

Приняв в 1885 году монашеский сан, он с течением времени достиг высокого положения, став в 1902 году епископом Волынским. 6 мая 1906 года его посвятили в сан архиепископа, а незадолго до начала войны, 14 мая 1914 года назначили архиепископом Харьковским и Ахтырским.

После Февральской революции, 1 мая 1917 года, пятидесяти-четырёхлетний архиепископ был уволен на покой, в Валаамский монастырь, но 19 августа того же года постановлением Собора был снова восстановлен на Харьковской кафедре и выставлен правым черным духовенством кандидатом в патриархи. При баллотировке 31 октября 1917 года он получил сто пятьдесят голосов против ста шестидесяти двух, поданных за Тихона. После избрания по жребию патриархом Тихона архиепископ Антоний был возведен 28 ноября 1917 года в сан митрополита и во время гетмана П. П. Скоропадского с 19 мая 1918 года стал митрополитом всея Украины.

После падения Скоропадского митрополит Антоний эмигрировал и нашел приют в стране, тогда еще не называвшейся Югославией, а носившей имя Королевства сербов, хорватов и словенцев. Патриарх сербский Дмитрий имел свою резиденцию в городке Сремски-Карловци, где у патриархии были обширные и прекрасные помещения. Здесь и поселился митрополит Антоний.

В 1921 году в Сремских-Карловцах состоялось общее собрание представителей Русской Заграничной Церкви, объявившее себя Собором. Этот так называемый Карловацкий Собор, занимавшийся больше политикой, нежели церковными делами, создал «Заграничный Синод Русской Церкви», митрополита же Антония назначил заместителем патриарха Тихона без ведома последнего. Произошел раскол Русской Православной Церкви. Московская Патриархия решительно отмежевалась от политического курса эмигрировавших иерархов, заявив, что «митрополит Антоний не имеет никакого права говорить от имени Русской Православной Церкви и всего русского народа, так как не имеет на это полномочий».

В своем предсмертном завещании патриарх Тихон писал: «Не благо принес Церкви и народу так называемый Карловацкий Собор, осуждение коего мы снова подтверждаем и считаем нужным твердо определенно заявить, что всякая в этом роде попытка впредь вызовет с нашей стороны крайние меры».

После кончины 7 апреля 1925 года Патриарха Тихона Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергей объявил действия Карловацкого Собора незаконными. Разумеется, это несколько не повлияло на отколовшихся священнослужителей, продолжавших «благословлять» русских людей «на борьбу с коммунизмом».

Таким образом, имя митрополита Антония связано с одной из трагических страниц в истории Православной Церкви. Будучи убежденным монархистом, он не смог примириться с революцией, однако в последние годы жизни от политики отстранился. На ста-

рости лет он очень смягчился душой и готовился отойти в пределы, где праведные упокоятся. Скончался митрополит Антоний в 1936 году в патриарших покоях города Сремски-Карловци, где приютил его сербский Патриарх Дмитрий.

В прошлом я был глубоко связан с Антонием, в то время еще архиепископом Волынским. Именно он три раза посылал меня в Государственную Думу. Я долго носил три крестика, символизовавшие архипастырское благословение, но утерял их в превратностях жизни.

Продолжаю рассказ о высочайшем приеме в Царском Селе.

По другую сторону представлявшихся стоял архимандрит Виталий в черном монашеском одеянии, с лицом аскета, каким он и был. Этот архимандрит говорил бы резче, но он решил воздержаться, предоставив владыке говорить Царю. Однако неожиданно для всех выступил один из крестьян. Он, как и другие представители уездов, держал в руках огромный том, заключавший в себе подписи. Положив эту книгу, он стал говорить громким голосом, который совершенно не оправдывался обстоятельствами, так как он стоял в нескольких шагах от Государя. Его фамилия была Бугай, и он ее совершенно оправдал. Слово «бугай» имеет два значения. Первое — значит «бык», второе — птица выпь. Этот неожиданный оратор действительно ревел как бык и вопил выпью. В грубых словах он поносил Государственную Думу вообще.

Невозмутимо выслушав эту неприличную речь, Государь ответил совершенно неожиданным вопросом, который поразил всех, а больше всего меня, потому что Царь спросил:

— Кто из вас Шульгин?

Это упало на меня как гром. По какому-то внутреннему рефлексу, хотя и был во фраке, я сделал большой шаг вперед по-солдатски и сказал:

— Я, Ваше Императорское Величество!

Слова, которые произнес после этого Государь, были, в сущности, ответом Бугаю. Царь сказал:

— Только что, за завтраком, мы прочли с Императрицей вашу вчерашнюю речь в Государственной Думе. Вы говорили как истинно русский человек.

На это я пробормотал:

— Мнение Вашего Императорского Величества для меня превыше всего.

Но боюсь, что вышло так, как будто мнение Императрицы для меня не играет никакой роли.

Однако, думаю, Царь не воспринял моих слов в таком смысле. Во всяком случае, на этом, как мне кажется, прием закончился. Царь сделал поклон и удалился.

* * *

Общий и главный смысл этого происшествия был в том, что Государь показал ясно: есть Дума и Дума. Третья Дума в данном случае в моем лице высказалась в высшей степени уважительно к монархии. Император это отметил и уточнил, что именно такое отношение есть истинно национальный путь России, то есть путь, декларировавшийся «Союзом русского народа»,

Основателем этого «Союза» и его органа, газеты «Русское знамя», был петербургский врач Александр Иванович Дубровин. «Союз» представлял собою крайне правое русское течение, враждебное всем другим национальностям и в особенности евреям. Если бы он остался в пределах благоразумия, то должен был защищать исключительно русские интересы. Однако известно, что наступление есть лучшая оборона. Дубровин перешел в наступление. И были сказаны некоторые слова и совершены некоторые действия агрессивного характера. Попадая в массы, эти лозунги вызывали погромные настроения. И «Союз русского народа» стали справедливо обвинять, что он совершает погромы.

Но «Волынский союз русского народа» был создан не доктором Дубровиным, а архимандритом Виталием — редактором-издателем «Почаевского листка» и «Волынских епархиальных ведомостей». Этот монах не перешел роковой грани и не позволил массам, за ним следовавшим, из защитников святого дела перейти в черный стан агрессоров. Внешним выражением этого течения, энергичного, но не насильнического, было нижеследующее.

Толпы, подняв над собой хоругви, иконы и портреты Государя, проходили через города и местечки, в большинстве своем населенные евреями и поляками, с громовым криком: «Русь идет!!!»

Насколько я знаю, на Волыни о еврейских погромах слышно не было. Быть может, были отдельные хулиганские выступления, вырвавшиеся из-под умиряющей руки архимандрита Виталия.

* * *

Здесь уместно еще раз упомянуть об архиепископе Антонии, впоследствии митрополите. Он был видным деятелем правого крыла и тоже, помня о своем сане, не переходил известных границ.

В апреле 1903 года произошел страшный кишиневский погром. Он отличался своей кровавой жестокостью. После этого погрома архиепископ Антоний произнес речь с крестом в руках с церковного амвона. Он сказал примерно так:

— Люди, совершившие кровавую расправу над евреями в Кишиневе, не смеют называть себя христианами. Они поддались бе-

совскому наваждению. Христиане не смеют забывать, что Господь наш Иисус Христос по плоти был евреем, так же как и святые его апостолы. Мать Иисуса Христа была еврейка. Она имела родственников среди своего родного народа. Потомки их, быть может, и сейчас живут в еврейской среде. Ужасно подумать, что среди убитых в Кишиневе, быть может, есть люди, в жилах которых струи-дась кровь, близкая крови Богоматери, Пресвятой Марии.

Несомненно, что взгляды владыки Антония оказывали влияние на подчиненных ему архимандрита Виталия и иеромонаха Илиодора. Последний был колоритной фигурой того времени.

Родом этот монах был донской казак. И казацкий размах и удаль всегда в нем чувствовались. Илиодор был неистов по природе своей. Однако и он не вышел из-под подчинения властной руки владыки Антония.

Илиодор обладал исключительным ораторским талантом митингового характера. Он мог увлечь любую толпу за собой.

Архиепископ Антоний как-то сказал мне:

— Илиодора бабы испортили своим неистовым обожанием. Благодаря им он так возомнил о себе, что если толпа меньше десяти тысяч человек, то он и говорить не хочет.

Илиодор был демагог, каких редко можно встретить. Я его по-нял однажды. Это было в 1907 году в Петербурге, в так называемом Русском собрании. Это была первая организация, состоявшая из столичной интеллигенции, далеко не всегда русской. Видную роль там играл Пуришкевич, по крови не совсем русский, и присяжный поверенный Павел Федорович Булацель, бессарабский румын, женатый на немке из Риги. Председатель, насколько я помню, тоже носил нерусскую фамилию.

В тот вечер был не пленум, а заседание совета, сравнительно немногочисленное. Были приглашены и волынские депутаты — крестьяне и некрестьяне, которых привез в Петербург Илиодор и их наставлял. За длинным столом, накрытым зеленым сукном с золотой бахромой, на двух противоположных узких концах сидели председатель и иеромонах Илиодор.

Речь шла о современном положении. Сильно критиковали слабость власти. Илиодор слушал язвительные замечания по адресу правительства и что надо было бы сделать и вдруг, не попросив слова у председателя, заговорил:

— Слушаю я, слушаю вас и вижу. Не то вы предлагаете, что надо. Предки наши говорили: «По грехам нашим послал нам Господь царя Грозного». А я говорю: «По грехам нашим дал нам Бог Царя слабого!»

И вот что надо сделать — как подниму я всю черную Волынь мою и как приведу ее сюда, в город сей — столицу, в Санкт-Петер-

бург ваш именитый, и как наведем мы здесь порядок, тогда будет, как надо.

Несмотря на оппозиционное настроение Русского собрания, выступление Илиодора смутило столичных интеллигентов. Однако все молчали. Когда Илиодор кончил свою речь, недосказанное договорили угрожающе поднятые его руки. Широкие рукава монашеской рясы повисли в воздухе, как крылья какой-то черной птицы.

Эта птица должна была подняться с полей Волыни. А я был за деяния Волыни ответствен не менее чем этот монах-демагог. И потому я поборол свою робость. И я сказал при настороженной тишине, наступившей после звучной речи Илиодора:

— Право, не знаю, отец Илиодор, как мне и быть. С одной стороны, я должен находиться вместе с Волынью. Вы окрестили ее «черной». Два месяца тому назад я с этими крестьянами, хлеборобами волынскими, что и вправду черные, потому что трудятся над нашей черною землею и потому еще, что враги наши называют нас черной сотней, хотя нас миллионы, два месяца тому назад я вместе с ними выиграл выборы в Государственную Думу. Против кого? Против врагов русского народа. И вы, отец Илиодор, немало этой победе способствовали. И потому должен быть я с вами в вашем походе на Санкт-Петербург. Это так.

Но есть и другое лицо у этого дела. Поход на Санкт-Петербург! Что это? Это война, объявленная царской столице, из которой Царь правит Россией. И потому, дорогой отец Илиодор, очень я опасаюсь, как бы Царь-батюшка в вашем желании навести порядок в его столице не усмотрел вместо порядка самый настоящий беспорядок, или, говоря иначе, бунт и мятеж против властей поддерживающих и его царевой самодержавной власти, «которой повиноваться Сам Бог повелевает», как сказано в основных законах наших. И боюсь я, высокочтимый отец Илиодор, что Его Императорскому Величеству будет благоугодно приказать Российской армии, коей Государь Император состоит верховным главнокомандующим, приказать, чтобы соответствующими мерами государственный мятеж, во главе которого будете вы, иеромонах Илиодор, был подавлен.

Вы сказали, быть может, впав во искушение собственным красноречием, слова, звучащие, как Царь-колокол. Но, как вам известно, Царь-колокол никогда не звонил. Он упал со своей призрачной высоты, не проронив ни звука. А потому не правы вы, отец Илиодор, когда сказали: «По грехам нашим дал нам Бог Царя слабого!» Нет! И я скажу: «По грехам нашим пошлет нам Господь мятежника сильного, если таковым будет донской казак, ныне волынский монах из Почаевской лавры».

Так я вещал весною 1907 года в Русском собрании столичного града Санкт-Петербурга. Может быть, и не совсем так в частности моего выступления, касавшегося Царь-колокола. Это я сейчас выдумал, увлекшись собственным борзописанием, как некогда Илиодор — собственным красноречием. Но в остальном я сказал как было и возможно точно, поскольку память мне не изменяет.

* * *

На следующий день после заседания в Русском собрании в богато обставленной гостиной одного дома я вновь встретился с Илиодором. Он в своей черной рясе восседал на блестящем шелковом кресле. Я подошел к нему под благословение, как полагалось. Перекрестив меня, он спросил:

— Что же это вы на меня вчера так напали?

Я ответил:

— Отец Илиодор, неужели дозволительно, где бы то ни было, так непочтительно, можно сказать, трясти Государя Императора за шиворот?

Он сказал:

— А что ж, если надо!

В это время кто-то вошел, и разговор прекратился. Но с меня было достаточно — я понял Илиодора.

Через год после нашей встречи, в 1908 году Илиодор был переведен в Царицын заведующим Святодуховским Троицким подворьем, где широко развернул свою деятельность на смех и горе всей России. Под покровительством сочувствовавшего ему Саратовского епископа Гермогена он воздвиг при своем подворье храм и при нем зал для митингов местного отделения «Союза русского народа». Здесь в своих демагогических проповедях Илиодор уже не ограничивался одними нападками на евреев и интеллигентов, а распространил их на всех «богатеев», то есть на купцов, чиновников и полицейских. Вместе с Гермогеном он открыто громил с церковной кафедры саратовского губернатора графа С. С. Татищева, вынужденного вследствие этого выйти в 1910 году в отставку.

В январе 1911 года последовало постановление Синода о переводе Илиодора в Новосильский монастырь Тульской епархии. Но он не подчинился этому распоряжению и, запершись со своими поклонницами и поклонниками, в количестве нескольких тысяч человек, в выстроенном им храме, объявил голодовку, а затем лег «крестом» среди собора, сказав, что не встанет, пока не будет отменено несправедливое решение Синода. Как это кончилось, сам ли он встал или его подняли, я теперь уже не помню. Но из Петербурга был послан в Царицын, а затем и в Саратов к Гермогену,

поддерживавшему Илиодора, Тульский епископ Парфений. Кроме того, для уговоров взбунтовавшихся пастырей в необходимости подчиниться Синоду прибыл по высочайшему повелению флигель-адъютант полковник А. Н. Мандрыка. Однако все увещания успеха не имели: Илиодор остался в Царицыне, а Гермоген был вызван в декабре 1911 года в Петербург на зимнюю сессию Синода.

3 января 1912 года последовало высочайшее повеление о высылке епископа Гермогена из столицы обратно в епархию и об увольнении его от присутствия в Синоде, решения которого он отказался подписать. Но епископ не подчинился высочайшей воле и, оставшись в Петербурге, вызвал к себе из Царицына Илиодора. Вместе они потребовали от Распутина прекратить сношения с царской семьей. В своих интервью газетным корреспондентам непокорные пастыри, считавшие себя «верноподданными монарха», резко осуждали Синод и обер-прокурора В. К. Саблера. Помню, что в левых газетах где-то было даже напечатано:

*Надоели, надоели
Гермоген, Илиодор, —
Вот уж скоро две недели
Их поет газетный хор...*

В результате всех этих крамольных деяний 17 января 1912 года Гермоген был уволен на покой, а его соратник Илиодор постановлением Синода заточен в монастырь Владимирской епархии. В двадцати пяти верстах от города Гороховца находилась Флорищева пустынь. Там и был заключен иеромонах Илиодор среди леса, тогда дремучего, на берегу реки Лух.

Однако он и тут не покорился и после неудачной попытки бегства из пустыни обратился в октябре 1912 года в Синод с резким обличительным посланием к «поклонникам «святого черта», грязного хлыста Гришки Распутина». Он просил снять с него сан и отлучить от Церкви, «кощунственно прикрывшейся именем Божиим». Не получив ответа, Илиодор послал в Синод 20 ноября 1912 года «отречение» от Бога, веры и церкви, которое подписал кровью, разрезав бритвой руку. Только после этого состоялся суд, и Синод 17 декабря 1912 года снял с него сан. Илиодор был освобожден из монастыря и уехал к себе на Дон, где женился под мирским именем Сергей Труфанов. Но вскоре его привлекли к дознанию по обвинению в оскорблении царской семьи. Бывший монах-бунтарь не стал дожидаться окончания этого дознания и, переодевшись в женское платье, бежал 2 июля 1914 года за границу. Там он поселился в Христиании, ныне Осло, где написал книгу о Распутине, изданную в Москве в 1917 году под заглавием «Святой

черт». Революция застала Илиодора в Америке. Тоска по былой славе не покидала его. И вот в 1920 году бывший «верноподданный» снова появляется в Царицыне, где под именем «русского папы» основывает «живую церковь». Объявив себя «патриархом всея Руси», он вторично выступил, но теперь уже не против Синода, а против главы Православной Церкви Тихона. Конец Илиодора мне неизвестен.

* * *

В числе слушавших Илиодора в тот знаменательный вечер в Русском собрании в Петербурге был и еще один «верноподданный». Политик крайне правого направления, как-то позже он сказал мне: «Когда я вас слушал в Русском собрании, я подумал, что вы октябрист».

Это в его устах было почти оскорблением, несмотря на то, что октябристы, воспринявшие добросовестно манифест 17 октября 1905 года, были лояльнейшие монархисты. Этот правый, так же как и Илиодор, был монархистом для вида. Сущность его была революционна. Поэтому в историческом аспекте невольно напрашивается нижеследующая мысль.

Большевики, возглавившие революционное движение, не могли не прийти к власти, потому что, опираясь на народ, они наносили удары монархии слева. А правые? Правые, сами того не ведая, помогали им, нанося удары монархии справа. Это стало ясно, когда Пуришкевич восстал в 1911 году против Столыпина, и еще яснее, когда в 1916 году он убил Распутина. Как бы ни был Григорий Ефимович грязен, он все же был ближайшим «другом» императорской четы. Убив его, монархист Пуришкевич нанес удар монархии.

Когда известие о том, что Распутин убит, достигло Москвы, в Императорском театре шел спектакль. Публика, не сговариваясь, покрыла это известие аплодисментами и потребовала исполнения национального гимна. Это происшествие бросает яркий свет на сумбурное состояние умов тогдашних русских монархистов.

Но эта неразбериха и чувства, отрицавшие друг друга, начались гораздо раньше, и особенно ярким примером таких «героев нашего времени» был уже упомянутый мною «верноподданный». Он, несомненно, разделял психологию Илиодора. Кроме того, у него начиналась уже некая мания преследования.

Однажды мы оба присутствовали на большом политическом ужине, устроенном после благотворительного спектакля, имевшего целью поддержать материальные средства народившейся в то время группы студентов-академистов. Эта молодежь защищала академию, то есть университеты, от вторжения политики. Она тре-

бовала, чтобы студенты прежде всего были студентами, учились, а не занимались политикой.

Но, так как в то время все шло вверх тормашками, академисты сами стали политической партией, и очень активной. Я тоже, кончая университет в 1899 году, защищал свое право слушать лекции с револьвером в руке.

Естественно, что этот «верноподданный» и я попали на академический ужин. Случилось так, что я сидел за столом рядом с его женой, черноокой немкой из Риги, между прочим, очень красивой. Неожиданно она сказала мне:

— Наклонитесь немного, чтобы закрыть меня от моего мужа

Так как он был очень ревнив, то естественно, что я спросил ее

— Неужели он и ко мне вас ревнует? Ведь для этого нет никаких оснований.

Она ответила разумно:

— Для ревности оснований не надо. Но я просто хочу поесть икры.

— Что же вам мешает?

— Он не позволяет мне есть икры, потому что, говорит, в икре легче всего дать отраву.

Я положил ей незаметно от мужа икры на тарелку, но через несколько дней столкнулся с таким же проявлением мании преследования.

Мы пили с ним кофе как-то утром в известной кофейне Андреева. Вечером этот подвал был до отказа набит дамами легкого поведения. По утрам там подавали хороший кофе. Приличная барышня принесла нам большой поднос с пирожными. Я указал ей на яблочное, лежавшее ближе ко мне, но мой собеседник вмешался,

— Разрешите мне выбрать вам, — сказал он, указывая барышне на точно такое же пирожное, находившееся на другом конце подноса. Она положила его мне на тарелку, а когда отошла, он обратился ко мне: — Вы очень неосторожны. Никогда не берите то, что вам подсовывают.

— Почему?

— Потому, что вас могут отравить.

Это было нелепо, но я не стал с ним спорить. Я предпочел продолжить разговор в направлении общей политики. В то время я уже успел оценить П. А. Столыпина. Он привлекал меня проявлением здравого рассудка перед лицом «илиодоров» и им подобных, но ему грозили и слева и справа.

Дальнейший разговор с человеком, боявшимся пирожных, раскрыл мне глубокое изуверство, которое в нем таилось. Он выдумывал про Столыпина невесть что и, между прочим, рассказал следующее:

Когда Столыпин был еще губернатором в Саратове, ему сделал визит какой-то старый генерал. Зашел разговор о превратностях наших дней. И, между прочим, Столыпин сказал:

— Вот, ваше превосходительство, вы сделали мне визит. Я **очень** благодарен вам за оказанную честь, но этого не следовало **делать**. Я никак не могу поручиться, хотя я губернатор, за то, что, **когда вы** будете от меня ехать, на вас не будет сделано покушение.

— И опасения Столыпина сбылись. В экипаж старика генерала **бросили** бомбу. Правда, он остался жив, но неужели вы будете **уверять** меня, — при этом глаза маньяка сверкнули победоносно, — **что** Столыпин не знал о готовящемся убийстве?

Я посмотрел на него как на полупомешанного, но все же **спросил**:

— Зачем же губернатору Столыпину надо было убивать генерала в отставке?

— Зачем? Как вы наивны! Ведь генерал-то был настоящий **правый**.

— А Столыпин?

— А Столыпин — левый, скрытый революционер, и правый **генерал**, хотя бы в отставке, стоял ему поперек дороги!

После этого я решил держаться от этого политикана подальше, но это мне не всегда удавалось.

13. Чигиринцы

«Зачинается песня... от тех ли... дедов... от того ль старорусского краю...»

Ну, может быть, не от дедов, а от отцов. Что и как, будет видно **дальше**. На сцене, где будет представлена трагикомедия «Куриальное земство», появятся и деды.

* * *

Что такое фамилия Пихно? То же, что род Михно, а может **быть**, и недоброй памяти — Махно. Иван Андреевич Линниченко, **бывший** с 1896 года профессором истории Новороссийского университета в Одессе, сказал мне однажды следующее:

— В львовской хронике XIV века, написанной по-латыни, я **случайно** натолкнулся на такое указание: «Пихно и Махно, alias **Petrus et Michaellus** (иначе Петр и Михаил). Таким образом, ваш **отчим** Дмитрий Иванович, надо думать, происходит, как и все **Пихно**, просто от какого-то Петра, переселившегося из Галичины на **Чигиринщину**.

Чигирин, как известно, родина гетмана Богдана Зиновия Хмельницкого, а чигиринцы достаточно удивительный народ.

Вокруг Чигирина зыбучие пески. Быть может, поэтому некоторые села в этих местах почти поголовно уходили на Черное море. Где Чигирин, а где море? Дистанция солиднейших размеров. Однако бесплодие песков и предприимчивость людей гнали чигиринцев к соленой воде, дававшей пропитание и заработки. Они становились моряками, рыбаками, а то и чумаками, привозившими соль, а позже и простыми чернорабочими. В XIX веке они проникли и в Крым, нуждавшийся в рабочих руках. Двигались они и в одиночку, и артелями. В последнем случае они знали себе цену и твердо держали свое чигиринское знамя в убеждении, что они не просто «люди», а чигиринцы, что совсем не одно и то же. В подтверждение сего я однажды слышал забавный анекдот.

* * *

Где-то в Крыму палящая жара. Вдоль дороги ограда, сложенная из камней. Около нее лежат люди. Их головы в тени, но босые ноги на солнце. По дороге идет или едет некто, ищущий рабочих. Увидев примерно сотню босых ног, он понял, что нашел то, что ему нужно. И закричал:

— Эй, люди!

Но никто не отозвался. Босые ноги лежат неподвижно. Закричал снова. Опять ничего. Тогда он пустил в ход магическое русское слово, известное уже Нестору Летописцу. Подействовало. Кто-то босоногий поднял голову:

— Чого вам?

— Как чего? Рабочих ищу.

— Рабочих? Мы и есть рабочие.

— Так чего же вы не отвечаете — тра-тарарам вашу сякую-такую?!

— Бо вы гукали (звали) людей...

— Конечно, людей! А кого же?

— Так ищите себе дальше, бо мы не люди.

— А кто же вы?

— Мы? Хиба не бачите? Мы чигиринцы, а не люди, чтоб вы знали.

* * *

Дмитрий Иванович не знал этого анекдота. Если бы услышал, то благодушно улыбнулся бы, но ни в коем случае не примерил бы его на самого себя; и даже не вспомнил бы по этому поводу, что сам он чигиринец.

Волынская губернія.



**Василій Виталієвичъ
ШУЛЬГИНЪ,**
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ.

Родился въ 1870 г.

Правый

Помѣщикъ. Землевладѣлецъ дер. Курганы,
Острожскаго уѣзда. Окончилъ кievск. универси-
тетъ по юрид. фак. Сотрудникъ «Кіевлянина».
Членъ Гос. Думы 2-го созыва.

Изд. Н. Иванова, Одесса, Пушк. 78.

Тип. «Спортъ и Наука»

В В Шульгин
Бюллетень к выборам в 3-ю Государственную Думу 1907 год



*А Д Вяльева
и ее муж
генерал
В В Ёискупский*



Чигиринский патриотизм в его душе переродился в патриотизм общерусский — государственный — сначала, а потом и в некий патриотизм вселенский.

Будучи экономистом, он научился уважать Адама Смита, искавшего вселенских законов экономической жизни. Поэтому, занимая профессорскую кафедру, он двадцать пять лет боролся с марксизмом. Это учение казалось ему узким: патриотизм рабочего класса. Однако он остался истинным, хотя и несознательным, чигиринцем. В сущности, он признавал только два класса: «людей» и «не людей», то есть чигиринцев. Люди — это те, что идут избитою, торною тропою. Чигиринцы же — те, чья тропа через пески к Черному морю нелегка. Те, что сильны своим чувством некоей избранности, обречены для иных, новых дорог.

Если бы кто-нибудь высказал такие мысли покойному Дмитрию Ивановичу, то он очень рассердился бы. Его чигиринская психика была соединением несознаваемой гордости с ясным пониманием, что никто не смеет гордиться. Он гордился отсутствием гордости. И еще, быть может, тем, что Богдан Хмельницкий тоже был чигиринцем.

Я помню его вступительную лекцию первокурсникам, среди которых был и я. Он старался внушить юношам, что университет поставит перед ними серьезные задачи, требующие напряжения ума и воли. Однако, говорил он, во всякой проблеме есть самое важное и менее важное. Если основные мысли верны, то все остальное, после некоторых блужданий и ошибок, облечет правильный костяк. Но если основные мысли неверны, дело пропало, мишура одежды их не спасет.

— Поэтому, — говорил он, одушевляясь, — надо уметь, как говорится, схватить быка за рога! Не надо быть самоуверенным, надо быть строгим к самому себе, но вместе с тем помнить старую поговорку: не боги горшки лепят!

Если бы, безусый, я знал тогда то, что знаю теперь, седобородый, то я подумал бы: «Горшки впервые слепили не боги, а чигиринцы!»

* * *

Во время англо-бурской войны, можно сказать, вся Россия сочувствовала бурам.

Поносить Англию под лозунгом «Англичанка гадит» было торной дорогой. Ею легко было идти. Но, чтобы понимать мировое значение «коварного Альбиона», для этого надо было родиться чигиринцем, знающим истину: «И один в поле — воин!»

Одиноким воином был Дмитрий Иванович, когда в 1905 году не подчинился всеобщей политической забастовке. В те дни на всем

пространстве, от Балтики до Тихого океана, вышла только она газета. Это была газета «Киевлянин», руководимая бывшим деревенским мальчишкой, босиком бегавшим в школу села Нестеровка.

Вся Россия — это «люди», а мы «чигиринцы»!

Конечно, Дмитрий Иванович так не говорил и не думал. Но я именно так думаю о нем.

Твердая борьба за Киев и за всю Россию обратила на себя внимание Царя. «Киевлянин» кое-кем читался в Петербурге, почему чигиринец и был назначен 25 марта 1907 год членом Государственного Совета.

Рассуждая с высоты престола, это назначение было справедливой наградой за «всегдашнюю преданность России и мне», как иногда говорил Николай II, благодарствуя кое-кого, например Пуришкевича. А рассуждая по-чигирински? Чигиринцы ведь во всех случаях мыслят самостоятельно.

Не претендуя быть причисленным к высокому званию чигиринцев, я все же позволяю себе думать, хотя не без сердечной боли, что чигиринец в Петербурге не оправдал возложенных на него столичных надежд.

По крайней мере, граф А. А. Бобринский писал в интимном своем, но позднее опубликованном дневнике примерно следующее: «Пихно в Петербурге померк».

Написано это без злорадства. Бобринский был большим поклонником «Киевлянина», но он, граф Алексей Александрович, очень хорошо знал, чем дышит столица.

Чем же объяснить угасание Дмитрия Ивановича, переселенного волею монарха с «киевских высот» на низменные «берега Невы»?

Тем, что он был истинным чигиринцем, с головы до ног. Известно, что запорожцы презирали внешность. Дмитрий Иванович, конечно, не мазал бархатные шаровары дегтем, он был умнее соратников Тараса Бульбы. Но он был совершенно равнодушен к так называемому «светскому лоску». Он не хотел и не мог заимствовать у Санкт-петербургского высокомерного провинциализма особенности столичной речи, манеры, одежды. Он не усвоил снобизма говорить «о всем шутя с ученым видом знатока». Более того, он не ценил красноречия, как такового. Если он иногда бывал чрезвычайно убедителен, то отнюдь не благодаря внешним данным. Их у него не было. Ни звучного голоса, ни красивого жеста, ни импозантной наружности. Ничего такого, что могло бы очаровать столицу.

Его устная речь не соответствовала его перу, сильному, выразительному.

Вот почему «померк Пихно», чигиринец в стане петербургском.

14. Куриальное земство

Что такое курия? Слово это латинское, восходящее к самым отдаленным временам. Дословно оно означает некое соединение людей. С течением времени значение этого слова видоизменилось. Например, куриями называлось объединение знатных аристократических родов в Древнем Риме и подразделения в римском Сенате. В феодальное время курия обозначала совет сеньора с его вассалами. Затем до наших дней сохранилась курия папская — совокупность учреждений Ватикана. Наконец, избирательными куриями назывались на Западе особые разряды, на которые делились избиратели по имущественным, национальным и другим признакам. Например, в разноплеменной Австро-Венгрии национальные курии играли примирительную роль, защищая национальные меньшинства от засилия большинства. Эта идея и перекочевала в Россию, став основанием для введения в западных губерниях земства.

Инициатором этой реформы был Д. И. Пихно, внесший в Государственный Совет от имени тридцати трех членов Совета соответствующий законопроект. 8 мая 1909 года он выступил в Государственном Совете с речью, которая приводится мною в выдержках:

«Ваше Высокопревосходительство, господа члены Государственного Совета. Позвольте прежде всего указать на наиболее слабую сторону нашего предложения: оно исходит от меньшинства, а вам известно, что меньшинству редко удается осуществлять свои начинания.

Если, однако, мы решились утруждать высокое собрание внесенным нами законопроектom, то сделали это в глубоком убеждении особой государственной важности предлагаемого нами вопроса...

Вам известно, что система выборов в Государственный Совет покоится на двух восполняющих друг друга началах: на представительстве главнейших сил и интересов и на всеобщем земском представительстве. Оба начала имеют существенное и весьма важное значение, причем земскому представительству отдано даже большинство голосов. Но вам известно также, что в шестнадцати губерниях Европейской России и в десяти губерниях Царства Польского земство до сих пор не устроено, и поэтому представительство там передано собраниям местных землевладельцев, обладающих избирательным думским цензом.

Я не буду говорить о недостатках этой временной меры, этого временного закона. Я думаю, они настолько очевидны, что не нуждаются в особом разборе; но я скажу, что этот закон, неудов-

летворительный вообще, свою слабость в особенности обнаруживает в Западном крае, где землевладение разделено между представителями двух национальностей, между польскими и русскими землевладельцами. Так как представители польского землевладения располагают большим количеством цензов, то в Государственный Совет от девяти Западных губерний были выбраны исключительно представители польского землевладения. Такой результат выборов неудовлетворителен ни с точки зрения местных интересов русского населения, ни с точки зрения интересов государства...

...Признавая безусловную необходимость обеспечить представительство русского населения, наш проект проникнут самою широкою уступчивостью меньшинству, которому он предлагает целую треть голосов. Наконец, по нашему убеждению, вопрос идет об обеспечении русскому населению прав, столь бесспорно нарушенных и столь несомненных, об устранении политической несправедливости столь очевидной, что откладывать исправление этого греха нет никаких оснований.

Наш законопроект, несмотря на то, что он был проникнут самыми благожелательными намерениями, тем не менее вызвал упреки, на которые я отвечать не стану, но скажу лишь одно.

Нас желают упрекнуть в том, что мы можем вносимым законопроектом раздражить национальные страсти. Но, милостивые государи, слышали ли вы, чтобы раздел прав и интересов по принципу «каждому свое» влек за собою как неизбежное последствие раздражение страстей и обособление людей? Как раз наоборот: национальная борьба разгорается именно там, страсти кипят тогда, когда борются между собой две народности за своих национальных кандидатов. Здесь может быть победа, но никогда не будет успокоения...

Кроме того, так как вся сущность вопроса здесь заключается именно в проведении национального принципа, в разделении избирателей и избираемых по национальностям, позвольте спросить: почему разделение избирателей на группы по сословиям, по величине ценза, по интересам не обособляет людей и не раздражает их в дальнейших отношениях, а национальное разделение должно якобы иметь такие результаты? Почему разделение по сословиям, по цензам, по интересам допустимо, а разделение по национальностям, то есть по свойству более глубокому, более всеобъемлющему, недопустимо? Я говорю откровенно, что я этого не понимаю. Я не знаю тех серьезных доказательств, которые могли бы быть этому противопоставлены.

Наконец, нам был сделан упрек, что наш законопроект имеет в виду устранение присутствующих. Что сказать на этот упрек?

Можно сказать, что всякий вообще избирательный закон влечет за собой неизбежно те или иные изменения в составе избирателей и в составе избираемых, как бы сам по себе он ни был разумен, целесообразен и справедлив...

Во всяком случае, наша мысль шла не в отрицательном, а в положительном направлении. Мы думали не о присутствующих, а об отсутствующих, о тех отсутствующих, которые, по пословице, всегда виноваты. И в нашем законопроекте мы протягиваем руку не для того, чтобы кого-нибудь устранить, но чтобы ввести тех, кого здесь нет, но кто имеет, по нашему убеждению, неотъемлемое право и священную обязанность сюда войти».

* * *

После этой речи выступил председатель Совета Министров П. А. Столыпин, сказавший примерно нижеследующее:

— Правительство в принципе принимает основную мысль законопроекта, предложенного на уважение Государственного Совета, то есть защиту прав меньшинства, и министром внутренних дел разрабатывается закон о введении выборного земства в Западных губерниях, где в настоящее время существует только земство по назначению. А так как члены Государственного Совета избираются, как известно, губернскими земствами, то в проектируемый закон будет внесена статья о национальных куриях.

Это обозначает, что выборы в нововводимых в Западном крае земствах будут совершаться отдельно. Русские будут избирать русских, а поляки поляков. Такие отдельные собрания будут называться «национальными куриями». Эти последние будут избирать отдельно и членов Государственного Совета.

Таким образом, как русское, так и польское меньшинство получит защиту закона в тех случаях, когда большинство той или иной национальности, настроенное шовинистически, не пропускает в Государственный Совет кандидатов меньшинства.

* * *

После речи Д. И. Пихно и выступления правительства последовали оживленные прения. В частности, член Государственного Совета, шталмейстер князь Алексей Дмитриевич Оболенский-второй утверждал, что внесение в закон идеи национальных курий является отказом от вековой традиции Русского государства.

Никто в то время не предвидел, какие роковые последствия для князя Оболенского, Столыпина, Государственного Совета, Госу-

дарственной Думы и всей державы Российской будет иметь внесение этого законопроекта.

Кроме князя Оболенского и других членов Государственного Совета законопроекту резко противодействовал граф С. Ю. Витте, несмотря на то, что он открыто заявил в Совете о своей дружбе с Д. И. Пихно. Это делает ему честь — дружба дружбой, а служба службой. Но совсем не делает чести графу Витте его отношение к Столыпину. Велика была эта ненависть, и потому его критику законопроекта Пихно я не могу принять всерьез.

«Юпитер, ты сердишься, — значит ты не прав!»

Однако граф Витте — настолько серьезное явление в русской жизни, что я посвящаю этому государственному деятелю отдельную главу.

15. Граф Витте

Под Берлином существует городок, носящий имя Виттенау. Быть может, видный русский сановник или его предки были Виттенауер, то есть обитатели города Виттенау. Сужу по аналогии. Фамилия бывшего федерального канцлера Аденауэра обозначает обитатель Аденау.

Сергей Юльевич Витте, как он сам однажды сказал в Государственном Совете, был школьным товарищем и другом Дмитрия Ивановича Пихно, другого члена верхней палаты. Таким образом, на старости лет молодые когда-то друзья снова встретились если не на школьной скамье, то в куриальных креслах законодателей.

Кстати сказать, эти кресла, белые, крытые темно-красным бархатом, как и весь зал Государственного Совета в Мариинском дворце, были красивы.

Бывшие товарищи по университету сохранили добрые личные отношения, но политически часто расходились. Д. И. Пихно очень ценил Петра Аркадьевича, а граф Витте был в оппозиции к правительству Столыпина.

Сергей Юльевич родился 17 июня 1849 года в Тифлисе, в семье видного чиновника. Окончив физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе, будущий министр путей сообщения и финансов изучал службу движения железных дорог и написал в 1883 году книгу «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов», принесшую ему широкую известность.

Занимаясь этим делом, он снова должен был сблизиться с Д. И. Пихно, так как диссертация будущего профессора политической экономии и статистики была тоже посвящена железнодорожным

тарифам. Не знаю, были ли одинаковы их взгляды в этом вопросе. Не знаю также, каковы были их отношения несколько позднее.

Дмитрий Иванович занимал тогда кафедру в университете Святого Владимира в Киеве. Профессором он стал очень рано, с 1877 года, то есть двадцати четырех лет. (В числе его слушателей были студенты по возрасту старшего своего профессора.) Однако он должен был прервать свою педагогическую деятельность в Киеве и перебраться в Санкт-Петербург.

Его пригласил в столицу министр финансов Николай Христианович Бунге, бывший с 1887 года по 1895-й — год своей смерти — председателем Комитета министров, по-нынешнему премьер. Но Бунге и сам был киевлянином. Родившись 11 ноября 1823 года на берегах Днепра, он уже двадцати семи лет, в 1850 году, занял кафедру, и тоже по экономике, в Киевском университете, а с 1865 года вступил в управление киевской конторой Государственного банка.

Николай Христианович был из тех немцев, о которых князь А. Д. Оболенский сказал, что их нельзя называть просто «немцы», а надо говорить «русские немцы». Будучи лютеранином, Бунге в своем завещании просил, чтобы над его гробом была совершена русская панихида. Не знаю, можно ли считать доказательством его «русскости» то обстоятельство, что при жизни он крестил... кого? Да меня, многогрешного.

Я его видел только раз. Это было в 1886 году, когда мы перебрались в Петербург. Мне было тогда лет восемь. Вдруг меня позвали в гостиную: «Иди, иди, твой крестный приехал!»

Мальчик, которым я был, очень смутно представлял себе, что такое крестный. И вдруг он увидел высокого дядю в черном платье с золотом и... о, ужас!.. в белых штанах. Мальчик подумал, что крестный в подштанниках, и хотел убежать.

Позже, когда я в первый раз прочел «Сон Попова» Алексея Толстого, то вспомнил, как познакомился со своим именитым крестным. Как известно, «советник Тит Евсеев сын Попов» испытал непередаваемый ужас, когда оказалось, что «поздравить он министра в именины в приемный зал вошел без панталон».

Дело было так. Бунге заехал с визитом к Дмитрию Ивановичу прямо из дворца, где он представлялся Государю в придворном мундире. К этой форме полагались белые суконные брюки.

Я отвлекся. Д. И. Пихно служил недолго. Он разошелся во взглядам с министром, которому был подчинен, и подал в отставку. Однако его успели уже произвести в чин действительного статского советника. Он сделался особой IV класса — «его превосходительством». Вместе с тем он стал наследственным дворянином, то есть и дети его стали дворянами.

Как известно, русское дворянство, в очень значительной части, состояло из таких лиц, отличенных за службу. Это сословие так и называли: служилое дворянство.

Старая аристократия охотно принимала их в свою среду, однако до известного предела. Грань тут казалась порой совершенно незаметной, но, по существу, была непреодолима. Иные чувствовали это больно. Со мною, по счастью, этого не было. Но только потому, что в красивых цветах любезности я всегда искал колючую проволоку даже там, где ее вовсе и не было.

И я опять отвлекся. Ведь я говорил о Сергее Юльевиче Витте. Ему, конечно, приходилось наткаться на проволоку. Когда он пошел в гору, Санкт-Петербург встретил его враждебно. И даже очень. Императрица Мария Федоровна обыкновенно не вмешивалась в дела своего супруга Александра III. Но тут она будто сказала ему о Витте:

— Говорят, что это тип.

Как ответил Император на жужжание столицы?

По-царски. Он позвал Сергея Юльевича и сказал:

— Мне говорят про вас черт знает что. Не обращайтесь на это внимания и помните одно: у вас за спиной царь!

Как Витте сделал свою большую, можно сказать, блестящую карьеру? Он после «железнодорожных тарифов» остался и дальше «на рельсах», то есть занимался железнодорожными делами, хотя не был «путейцем», а кончил математический факультет. Его железнодорожная карьера была не менее головокружительной, чем впоследствии политическая. Поступив на службу в управление казенной Одесской железной дороги, он скоро был переведен в Петербург на место начальника эксплуатационного отдела Юго-Западных железных дорог, а затем, после переезда в Киев, назначен управляющим. Юго-Западные дороги принадлежали частной компании, которую считали богатой и передовой в смысле строительства. Начальник дороги получал сорок тысяч рублей в год, в то время как жалованье министра было семнадцать тысяч. Надо думать, что со временем Витте при его способностях занял бы это место, то есть получал бы зарплату вдвое выше министерской. Но судьба решила иначе.

* * *

В 1888 году мне было десять лет. Однако я хорошо помню «охи» и «ахи», и всякие разговоры, и причитания по поводу того, что царский поезд рухнул с откоса недалеко от станции Борки. Императорская семья уцелела, но младшая дочь Царя Ольга получила сильный удар в спину, и бедная девочка осталась горбатенькой навсегда.

Крушение в Борках стало изображаться как чудесное спасение царской семьи. Богомольные старушки называли это происшествие «святая катастрофа».

В зрелом возрасте я узнал, что «святой катастрофы» могло бы не быть, если бы царь принял во внимание предупреждение, сделанное управляющим Юго-Западных железных дорог С. Ю. Витте.

Он утверждал, что громадный императорский поезд был очень тяжел. Его не могли тащить пассажирские паровозы, а потому пришлось впрячь в поезд два товарных локомотива. Эти «битюги», если их гонять скорее чем положено, начинают раскачиваться так, что могут сорвать шпалы с места, рельсы последуют за ними, поезд с них соскакивает и происходит крушение.

Все это гораздо полнее и лучше изложено в мемуарах С. Ю. Витте и А. Ф. Кони, хотя эти два мемуариста несколько расходятся в своих показаниях. Но несомненно, что когда крушение произошло, согласно предсказанию Витте, то Александр III вспомнил о предупреждении юго-западного железнодорожника. Это обстоятельство, возможно, и было причиной быстрого возвышения Витте и его блестящей карьеры.

На другой же год после этого события он был назначен по желанию Александра III директором департамента железных дорог Министерства финансов, а 15 февраля 1892 года — министром путей сообщения. 20 августа того же года Витте занял пост министра финансов.

С этого времени Сергей Юльевич стал работать в двух направлениях: поправлять российские финансы и строить железные дороги. Впрочем, были еще третье и четвертое направления. Он покровительствовал техническому просвещению, и под его нажимом строились высшие школы, в том числе и киевский политехникум имени Александра II. Здесь он опять сошелся со своим старым товарищем Д. И. Пихно, который участвовал в постройке этого политехникума.

Четвертое направление было менее почтенное, во всяком случае, спорное. Витте ввел казенную монополию на водку, и, таким образом, казна стала торговать отравляющим зельем, прозванным народом «монополькой». Более непримиримые противники этой политики говорили прямо, что казна спаивает народ.

Предвидя эту критику, Витте одновременно с введением казенной монополии на водку начал учреждать общества трезвости. Санкт-петербургское общество трезвости не скупилось на расходы. Был построен Народный дом на десять тысяч человек. В нем были театры и всякие другие развлечения.

Однако на пьянство деятельность обществ трезвости заметного влияния не оказала. Предполагалось, что зрелища будут отвлекать

народ от водки. Но эта благая мысль была опрокинута действительностью. Даже когда появился кинематограф, этот поистине народный театр в грандиозных размерах, люди не перестали пить. Посмотрев интересную программу, они кончали вечер в обществе еще более соблазнительного зеленого змия.

По сравнению с прежним доход казны от винной монополии значительно увеличился. Качество водки улучшилось. Чтобы бороться с воровством, Витте дал служащим винной монополии сравнительно высокие оклады, чем привлек несколько лучший состав продавцов.

Однако картины, разыгрывающиеся перед магазинами «монопольки», были отвратительны. Раньше люди пили в кабаках и корчмах. Там они сидели за столами и кое-чем закусывали. И, как-никак, не только орали пьяные песни, но иногда и беседовали. Кабак был в некотором роде клубом, хотя и низкопробным. После реформы кабаки закрылись. Потребители водки пили ее прямо из горлышка на улице, и упившиеся лежали тут же.

По инициативе же Витте стала строиться Сибирская железная дорога — событие великого значения. На памятнике Александру III было начертано: «Строителю Великого Сибирского пути».

В 1897 году Витте провел денежную реформу, основанную на золотом размене, для чего был создан золотой запас в полтора миллиарда рублей. Он привлек в Россию иностранные капиталы в сумме до трех миллиардов рублей. Это вызвало оживление в развитии промышленности и разных предприятий, например, в постройке трамваев. Витте поднял вопрос о добровольной ликвидации помещельных крестьянских общин. Разрешения этого вопроса давно уже требовали экономисты Киевского университета, начиная с профессора Н. Х. Бунге.

22 января 1902 года было создано Особое совещание о нуждах сельского хозяйства, председателем которого был назначен Витте. Это совещание отличалось широким размахом. Было создано пятьсот тридцать шесть уездных комитетов. В общем, совещания, центральное и провинциальные, вынесли постановление о желательности передать надельную землю в личную собственность крестьян. Если вспомнить, что надельных земель было сто сорок восемь миллионов десятин, то предстояла грандиозная реформа. Но Витте не удалось ее начать из-за сопротивления министра внутренних дел В. К. Плеве. Однако то, что не посчастливилось сделать Витте, удалось П. А. Столыпину законом 9 ноября 1906 года. В этом, как мне кажется, и была истинная причина лютой ненависти Витте к Столыпину.

В отношении дальневосточной политики линия Витте была двойственной. Он стремился к выходу на Тихий океан, то есть

к порту Дальний, по причинам экономическим, но был против постройки военной крепости Порт-Артур, так как опасался преждевременной войны с Японией. При его участии по русско-китайскому договору 1896 года была построена в 1897–1903 годах Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), имевшая большое значение для экономических связей России с Китаем. Борясь с группой статс-секретаря царя А. М. Безобразова, Витте осуждал захват Кореи с целью эксплуатации ее естественных богатств созданным этой группой в 1901 году «Русским лесопромышленным товариществом» на реке Ялу. В этом отношении Сергей Юльевич опять сошелся с Д. И. Пихно, считавшим возню в Корее опаснейшей игрой.

Но Император Николай II думал иначе. Под влиянием сторонников агрессивной политики на Дальнем востоке, среди которых кроме Безобразова выделялись контр-адмирал А. М. Абаза, предприниматель В. М. Вонлярлярский, граф Ф. Ф. Сумароков-Эльстон, князь И. И. Воронцов, министр внутренних дел В. К. Плеве и другие, Государь желал для предотвращения революции небольшой победоносной войны с Японией. Поэтому противник авантюристического захвата Маньчжурии и Кореи был 16 августа 1903 года отстранен от должности министра финансов и назначен на формальный пост председателя Комитета министров.

Несомненно, крупной заслугой Витте является заключение 23 августа 1905 года в США Портсмутского мирного договора с Японией. Вопреки звуковой перефразировке слова «Портсмут», звучащего как «Порт смут», никаких смут в этом порту не произошло. Наоборот, было достигнуто выгодное для обеих сторон взаимное согласие. После неудачной войны с Японией в России ожидали тяжелых условий, большой контрибуции и значительных территориальных уступок. Витте удалось отбиться от какой-либо контрибуции, а в смысле территории Россия отдала Японии лишь пол-Сахалина, что не было особо чувствительной потерей. За этот мир Витте совершенно заслуженно получил графский титул. Тем не менее пересмешники сейчас же стали острить, называя Сергея Юльевича графом «полусахалинским». Но портсмутский мир, пожалуй, был лебединой песней Витте.

* * *

17 октября 1905 года последовал высочайший манифест, которым возвещались разные свободы и представительный строй в лице Государственной Думы. Этим думали успокоить страну, больно переживавшую поражение на Дальнем Востоке. Как известно, ре-

зультат получился обратный. Либеральные реформы только подзадорили революционные элементы и толкнули их на активные действия.

Между тем среди лиц, можно сказать, исторгнувших манифест у Николая II, был и Витте. Эгих лиц было трое.

Первым был беспартийный адвокат Г. С. Хрусталеv-Носарь, сумевший в роли председателя Петербургского Совета рабочих депутатов организовать в 1905 году грандиозную всеобщую политическую забастовку. Тогда встало все: почта, телеграф, железные дороги. Закрылись магазины, газеты, театры. Вся жизнь замерла. И даже Царское Село было отрезано от Петербурга, потому что Царско-сельская железная дорога тоже стояла.

Вторым был командующий Петербургским военным округом Великий князь Николай Николаевич, еще более сгустивший удручающую атмосферу, умоляя царя о манифесте. Как говорили, он грозил даже застрелиться, если манифеста не будет. Он утверждал, что не может ручаться за войска, готовые взбунтоваться, и это, видимо, было правдой.

Наконец, третьим был Сергей Юльевич, настоявший на манифесте. В связи с введением представительного строя в апреле 1906 года Комитет министров упразднили. Его административные функции были распределены между Государственным Советом и Советом Министров, председателем которого был назначен граф Витте. Но поскольку манифест не достиг цели и Сергей Юльевич скомпрометировал себя в глазах Государя, он вынужден был покинуть 16 апреля 1906 года пост председателя Совета Министров, оставшись членом Государственного Совета, где сделался главой оппозиции. Скончался он во время войны, 28 февраля 1915 года, оставив после себя ценные «Воспоминания».

Какова же была судьба законопроекта Пихно?

Граф Витте утверждает, что он был отвергнут Государственным Советом. Это неверно. Законопроект Пихно не был отвергнут Государственным Советом, а передан в комиссию. Но ввиду заявления правительства, что оно разделяет основную его мысль, законопроект Пихно был взят автором обратно.

Отвергнут Государственным Советом был не законопроект Пихно, а законопроект Столыпина о западном земстве, уже принятый Государственной Думой.

Столыпин сдержал свое обещание, и 25 января 1910 года внес в Государственную Думу законопроект о западных земствах. Через четыре месяца, 29 июня, Дума приняла его.

Это было политическое событие. Это была целина непаханая, неслыханная. И, разумеется, законопроект наткнулся на яростное сопротивление оппозиции.

Государю доложили, что проект реформы земств в западных губерниях — «выдумка Столыпина», никем не поддерживаемая. «Значит, меня еще раз обманули», — сказал будто бы Царь, и проект был похоронен. Столыпин узнал мнение Государя, что его, мол, «еще раз обманули», у него не было иного выхода, как подать в отставку.

Но Царь... отставки Столыпина не принял.

Столыпина нечем было заменить. Санкт-Петербург об этом много сплетничал. Например, однажды жена Столыпина, урожденная Нейдгарт, устроила у себя званый обед. Приглашены были разные сановники, статские и военные. Был обычай, что в таких случаях снимали оружие, то есть оставляли шашки в передней. При оружии обедали только у царя. Но на этот раз у Ольги Борисовны Столыпиной военные не сняли оружия, а обедали при шашках и кортиках. Это нарушение этикета дошло до сведения Царицы. И она будто бы уронила:

— Ну что ж, было две Императрицы, а теперь будет три: Мария Федоровна, Александра Федоровна и Ольга Борисовна.

Этот анекдот, если это анекдот, бросает свет на атмосферу, окружавшую трон. Царствующая Императрица Александра Федоровна не любила вдовствующую Императрицу Марию Федоровну, мать Николая II. Такая антипатия нередко бывает между невесткой и свекровью. Но тут была и еще одна причина. Вдовствующая Императрица ценила и поддерживала Столыпина. Она понимала, что он крупный государственный человек, сменивший С. Ю. Витте. Но для Столыпина преемника не было видно.

Царствующая Императрица не любила Столыпина по той же причине, то есть что он сановник большого калибра. Он как бы за-слонял от народа Царя — ее супруга.

Может быть, она была права. В Столыпине были качества, необходимые самодержцу, которых не было у Николая II. Это сказывалось хотя бы в отношении к собственной жене.

Императрица Александра Федоровна обладала не только талантом язвительной насмешки. Она хорошо рисовала карикатуры. И вот говорили, что будто бы царь иногда находил на своем письменном столе произведения вроде следующих.

Он, Император, в короне и со скипетром в руках, изображен в виде грудного младенца на руках матери. Это была стрела в адрес вдовствующей императрицы.

А другая карикатура представляла его же, Николая Александровича, в уборе XVII века и с лицом безвольного Царя Федора Иоанновича. А надпись гласила: «Что ж, я Царь или не Царь?!»

Николай II будто бы добродушно смеялся над карикатурами жены.

Но дело в том, что цари живут в стеклянных дворцах. Все, что делается в их стенах, становится сейчас же известно. И столица тоже смеялась над самодержавным Царем, но далеко не добродушно. И это было грязно. Брюзжащий Санкт-Петербург называл Царя «наш царскосельский полковник». Полковник потому, что после смерти Александра III никто не мог произвести Николая Александровича в генеральский чин.

Когда Столыпин подал в отставку, Петрополь испугался, нахмурился, помрачнел. Три дня висела над Невой черная туча. Царь настаивал, чтобы Столыпин остался, а оскорбленный премьер не соглашался.

Газеты же воспользовались случаем, чтобы лягнуть копытом шатающуюся власть. Появилась некая поэмка, в которой изображался Борис Годунов. Изображался так, что выходил Столыпин.

И даже лидер партии кадетов, профессор Павел Николаевич Милюков, заявил с кафедры Государственной Думы 15 марта 1911 года под рукоплескания слева: «Благодарите нового Бориса Годунова за его меры!»

Императрица Александра Федоровна могла бы повторить свое собственное изречение: «Было две Императрицы, теперь будет три. Недаром у Ольги Борисовны обедают при шашках и кортиках».

П. А. Столыпина очень многие не любили. Прежде всего Царица. Затем граф С. Ю. Витте. Мне кажется, что этот крупный сановник завидовал своему преемнику и не мог примириться с тем, что после отставки с поста премьера он был назначен в Государственный совет, называвшийся складом уволенных министров-старичков — «звездная палата»!

Но Витте отнюдь не был старичком. Он был глава оппозиции в Государственном Совете и, где было можно, вставлял палки в колеса правительственной колымаги. Он тоже восстал против «национальных клеток».

16. Принцип

Естественно, что против законопроекта о куриальном земстве взбунтовались поляки. Национальные курии в данном случае были им невыгодны. Они имели большинство на Западе, в той среде, где избирались члены Государственного Совета.

Однако принципиальных возражений они не могли выставить против закона, защищавшего меньшинство. Поэтому они обрати-

лись к испытанному средству в политической борьбе: когда нет аргументов, ругайся! Надо только найти удачно подобранное словечко. И они его нашли: они обозвали национальные курии «национальными клетками», ущемляющими свободу.

Эту терминологию подхватили кадеты, считавшие своим долгом поносить все, что исходило от правительства Столыпина. Что может быть доброе из Назарета?

На этой почве между кадетами и польским колом воцарилась кратковременная любовь. Она была недолгой по нижеследующей причине.

Когда законопроект о национальных куриях в западных земствах прошел через Государственную Думу и был передан 1 июня 1910 года в Государственный Совет, на следующий же день Столыпин внес в Государственную Думу новый закон «О преобразовании управления городов Царства Польского».

В Польше до той поры «отцы города» были назначаемы. Законопроект провозглашал выборное начало для городского самоуправления в Польше. Это был бы подарок полякам, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что в польских городах, и в самой Варшаве, большинство населения состояло из евреев. Поляки опасались, что при мажоритарных выборах в городских магистратах большинство может оказаться еврейским.

Но так как введение национальных курий в Польше все же как бы ограждало польское меньшинство, то польское коло при прохождении законопроекта через Государственную Думу голосовало за национальные курии. Это возмутило кадетов:

— Вы голосовали против национальных курий, вы называли их «национальными клетками», когда дело шло о западном земстве. Почему же сейчас вы голосуете за «клетки»? Неужели только для того, чтобы раскрыть нам глаза на вашу сущность? Если так, то вы достигли цели. Мы разрываем союз с вами!

Кажется, нечто подобное сказал от имени партии кадетов Шингарев.

Андрей Иванович был прав в своем осуждении поляков, но не следовало публично объявлять разрыв. Этим он дал им возможность принять вид угнетаемой невинности.

И тут же последовал ответ.

На кафедру взошел депутат от Петроковской губернии, горнопромышленник Домбровского района, беспартийный, очень способный человек и искусный оратор Владислав Владиславович Жуковский. Однажды он сказал очень дельную речь, критикуя российский бюджет. Сейчас же, с той отточенностью, которую приобретает русская речь в устах поляков, хорошо говорящих по-русски, он произнес:

— Фракции русских конституционалистов-демократов, именующих себя партией «народной свободы», угодно порвать с польским колом, которое всегда защищало конституцию, демократию и свободу всех народов. Нас огорчает это, но не так уж очень. Почему? Объяснение мы найдем в крылатых словах русского поэта:

*Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали...*

И с видом победителя, под гром аплодисментов польского кола сошел с кафедры.

Но настоящим победителем в этот день был, быть может, один скромный провинциал, член Государственного Совета, инициатор куриального земства.

17. Филалет

Прохождение законопроекта о куриальном земстве через законодательные палаты было не только драматичным, но и поучительным. Политики и в Государственной думе, и в Государственном совете были взволнованы. Поляки возмущены, кадеты воинственно настроены.

А остальные партии? Фракция русских националистов и правые в общем поддерживали правительство, но октябристы несколько колебались.

Что такое были эти октябристы? Их с двух сторон, справа и слева, изображали превратно. Слева их называли черносотенцами, справа подозревали в революционности. Одно нелепее другого.

В Англии их считали бы либералами уже хотя бы потому, что людей моего типа там почитали консерваторами. По крайней мере, сэр Бернард Пэрс (Pares) в своей книжке «Крушение империи» так прямо и называл меня — консерватором.

Октябристы были левее меня — значит, они были либералами. Они были либералами, но вместе с тем и монархистами. Потому-то они и назывались октябристами, что поддерживали высочайший манифест 17 октября 1905 года, возвестивший с высоты престола представительный строй и связанные с ним свободы.

* * *

В письме в своей матери, Императрице Марии Федоровне, датской принцессе Дагмаре, в те дни проживавшей в Копенгагене,

Николай II писал об этом манифесте: «В сущности, дана конституция».

Эта «конституция» словарем Гота определена как «Empire constitutionnelle sous un tzar autocrate», что значит: «Конституционная империя под самодержавным царем».

Другими словами, это была государственная конструкция *sui generis*, то есть своеобразная. Поэтому она допускала различные толкования.

Октябристы старались примирить самодержавие и конституцию и этим не подрывать, а утвердить монархию. Такова же была концепция П. А. Столыпина, почему его и поддерживали октябристы с А. И. Гучковым и М. В. Родзянко во главе. И однако, октябристы все же были либералы. А так как поляки и кадеты оглушительно кричали, что национальные курии наносят удар свободе, октябристы, люди, в общем, добродушные, совершенно не агрессоры, заколебались.

В понедельник 25 января 1910 года, в начале тридцать пятого заседания третьей сессии, секретарь Государственной Думы Иван Петрович Созонович заявил, что от министра внутренних дел, то есть Столыпина, поступил законопроект «О применении положения о земских учреждениях 12 июня 1890 года к губерниям Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Подольской». Председательствующий князь В. М. Волконский предложил передать означенный законопроект в комиссию по местному самоуправлению, что и было принято Думой после проведенной баллотировки.

Комиссия эта была избрана 19 и 24 ноября 1908 года. Ее возглавлял председатель Всероссийского союза националистов Петр Николаевич Балашов. Она была наиболее многочисленной из всех комиссий Думы и состояла из семидесяти одного депутата, представлявшего все фракции. Больше всего в ней было октябристов — двадцать четыре человека. Затем — семнадцать членов русской национальной фракции, в числе коих, как депутат от Волыни, был выбран и я. Кадетов было восемь, правых семь, прогрессистов пять. Трудовики, социал-демократы, польско-литовско-белорусская группа и беспартийные были представлены поровну — лишь двумя членами каждая. И наконец, по одному представителю было от польского коло и мусульманской группы. Таков был состав комиссии по местному самоуправлению, которой надлежало рассмотреть новый закон о национальных куриях.

Прения в комиссии длились долго, свыше трех месяцев. Наконец наступил решающий день. 27 марта 1910 года комиссия закончила свою работу и в вечернем заседании приступила к го-

лосованию отдела 1 правительственного законопроекта, гласившего:

«Высочайше утвержденное, 12 июня 1890 года, положение о губернских и уездных земских учреждениях с последовавшими к нему дополнениями и изменениями, ввести с 1 июля 1910 года в действие в губерниях Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Подольской».

Не помню теперь, в связи с какими обстоятельствами, но в этот день председательствовал в комиссии лидер октябристов Михаил Владимирович Родзянко. Через год после этого вечера, 22 марта 1911 года, он был избран председателем Государственной Думы и впоследствии сыграл видную роль в 1917 году, в дни Февральской революции.

Перед началом заседания Родзянко спросил меня, буду ли я говорить. После моего утвердительного ответа он сказал:

— Говорите как можно дольше.

— Дольше? Обыкновенно председатели упрашивают быть краткими.

— Да, но сегодня нужно говорить долго.

— Не умею, Михаил Владимирович.

— Надо.

— Но почему?

— А вот почему. Мои «октябри» колеблются. Боятся, что их прославят черносотенцами. И потому они лукаво отсутствуют. У них, мол, всякие дела в министерствах. Я разослал весь свой секретариат, чтобы их ловить... И задерживаю открытие заседания. Но время идет, и может дойти до голосования, а их еще не будет. Вот поэтому надо затягивать. Поняли, молодой человек?

Но я был в большом затруднении. Очень трудно затягивать речь и вместе с тем не выпускать из рук внимание слушателей. И еще труднее сказать что-нибудь новое, неслыханное, и подействовать на психику колеблющихся.

И вот тут-то в моем большом борении неожиданно пришли мне на помощь... деды! Да, деды — политические деятели Волыни XVI века. Случайно в этот день я захватил книжку под заглавием «Апокрисис», напечатанную в городе Остроге в конце XVI века. Автор скрылся под псевдонимом «Филалет», что значит «любитель правды». Его настоящее имя было, по-видимому, Бронский — ученый, близкий к князю Константину Острожскому.

Книга была написана в качестве ответа знаменитому польскому иезуиту Петру Скарге и, в общем, касалась религиозных тем. Филалет обнаружил потрясающую эрудицию в смысле теологии, но заканчивал книгу блестящим обращением к Его Милости королю польскому, Великому князю литовскому и русскому Сигизмунду III

Король Речи Посполитой из династии Ваза Зыгмунт III (Zygmunt III Vasa), родившийся 20 июня 1566 года, был сыном шведского короля Юхана III Вазы и Екатерины Ягеллонки. Мать воспитала его ярым католиком, почему, став в 1587 году королем Польши, он при поддержке Ватикана стремился уничтожить протестантизм и подавить православие при помощи унии, то есть объединения католической и православной церквей на территории Речи Посполитой. Уния была принята в 1596 году на церковном соборе в Бресте. Эта акция отвечала экспансионистским устремлениям панской Польши, стремившейся с помощью унии укрепить свое господство над православным коренным населением Юго-Западной Руси, разорвать его религиозные и культурные связи с русским народом.

Согласно Брестской унии Православная Церковь в Польше признала своим главой римского папу, а также основные католические догматы и обряды. Однако, боясь возмущения народных масс, униаты сохранили богослужение на славянском языке и обряды Православной Церкви. Но эта уступка православным не помогла. Заключение унии вызвало возмущение крестьян, казаков, мещан, части православной шляхты и некоторых крупных магнатов, каким был Константин Острожский.

В результате сопротивления в следующем году после смерти Сигизмунда III, 30 апреля 1632 года, его преемник на престоле Владислав IV вынужден был разрешить легальное существование Православной Церкви.

* * *

Я начал свою речь, когда «октябри» стали появляться в зале. Родзянко выразительно подмигнул мне, что я понял как знак: «Говорите подольше».

Однако меня хватило примерно на полчаса. Я высказал еще раз основные доводы в пользу национальных курий — меня слушали внимательно, но повторяться было опасно. Любая аудитория не терпит, когда толкут воду в ступе, и я, бросив все серьезные материи, обратился прямо к кадетам, так сказать, в упор, заговорив примерно так:

— Общеизвестно, что в Государственной Думе депутаты от Восточной России противопоставляются представителям от России Западной. В каком смысле? Восточные будто бы по поговорке «ex Oriente lux» (свет с Востока), несут с собою светоч свободы. А западные будто бы некие свободогасители. Но так ли это?

Прежде всего позвольте вам заметить, что хотя по возрасту я моложе многих из вас, восточных депутатов, но в одном аспекте де-

ло обстоит не так. Я и мои единомышленники от западных губерний старше вас, потому что мы опираемся на древние традиции наших земель.

Чем были вы, я хочу сказать — ваши политические предки, например, в XVI веке? Вы тогда, можно сказать, исповедовали татарские понятия о свободе с некоторой примесью византийщины. Наши же земли, в том числе в особенности Волынь, которую я здесь представляю, жили развитой политической жизнью. Она проявилась на сеймах и провинциальных сеймиках, где люди свободно рассуждали о всех политических явлениях, остро и здраво понимая и лицо, и изнанку свободы.

Что я не выдумываю, позвольте дать вам доказательство. С вашего разрешения я прочту вам несколько страниц из книги «Апокрисис» Христофора Филалета, и вы сами в этом убедитесь. Я надеюсь, что наш председатель не будет возражать против этого.

Родзянко одобрительно кивнул головой и сказал:

— Пожалуйста...

Не касаясь религиозных вопросов, обсуждаемых Филалетом в книге «Апокрисис», я прямо перешел к заключительной главе. Это было вдохновенное обращение умного и честного верноподданного монарху. Общий смысл его был примерно нижеследующий:

— Ваша Королевская Милость! Чем славимся мы среди других народов? Не какими-нибудь особенными богатствами, — у нас их нет. Не военными твердынями, сильно укрепленными замками, — у нас их мало. Мы славимся во всем мире только нашими свободами, в которых плавают верноподданные Вашей Королевской Милости. Это наше истинное богатство, и было бы ужасно, если бы мы его утратили.

Свобода! Она имеет одно лицо и вместе с тем многолика. Общая свобода состоит из отдельных свобод. Свободы приобретаются, или, лучше сказать, даруются с высоты трона по отдельности. И точно так же свободы утрачиваются. Если сегодня мы лишимся одной свободы, за этим завтра последует другая утрата. И так одна за другой уйдут все наши свободы, и прекрасная богиня Фортуна потеряет колесо, на котором она мчится.

Ваша Королевская Милость! Мы умоляем вас обратить внимание на то, что сегодня на наших глазах подтачивается одна из основных свобод — свобода веры. Не позволяйте прикасаться к ней. Сохраните ее нерушимой!

Есть люди, которые не понимают, что если отнимается свобода веры у одних, то это значит, что через некоторое время отнимут свободу религии у других. А затем будут нарушены и все наши шляхетские вольности, которыми мы гордимся и славимся. Да не будет сего! Аминь.

Я читал долго. Меня слушали с величайшим вниманием, то есть не меня, а Филалета, звучавшего так же выразительно в XX веке, как и в XVI. За это время «октябри» почти полностью собрались, и Родзянко непосредственно после моей речи приступил к голосованию.

Филалет так хорошо говорил о свободе, что его никак нельзя было назвать черносотенцем. Поэтому некоторые колебавшиеся «октябри» голосовали за законопроект. Оппозиция, конечно, голосовала против, но и она была очарована либералом из Острога.

Когда заседание кончилось, ко мне подошел кадет Шингарев, редактор «Воронежского слова», депутат от Санкт-Петербурга, с которым до этого я был знаком очень мало. Мы были политически слишком далеки друг от друга. Он спросил меня:

— Где вы откопали эту прелесть?

Я подал ему книгу:

— Пожалуйста. Прочтите на досуге.

* * *

В пятницу 7 мая 1910 года докладчик комиссии по местному самоуправлению, камер-юнкер Двора Его Величества, депутат от Подольской губернии, националист Дмитрий Николаевич Чихачев сообщил Думе результаты голосования. Большинство комиссии, именно двадцать три против восемнадцати, признало законопроект о национальных куриях нежелательным.

— Тем самым, — сказал Чихачев, — комиссия признала, что положения, выработанные ею, неприменимы к шести западным губерниям. Из этого голосования нельзя сделать иного заключения, как то, что комиссия признала законопроект правительственный с теми изменениями, которые были сделаны комиссией в предшествующие заседания, неприемлемым, и комиссия поэтому предлагает Государственной Думе законопроект министра внутренних дел отклонить.

Начался тернистый и драматический путь прохождения закона о куриальном земстве через законодательные палаты — Государственную Думу и Государственный Совет.

18. Кризис

После доклада Д. Н. Чихачева 10 мая 1910 года были открыты прения. Необходимо было протащить законопроект о национальных куриях через пленум Государственной Думы.

Я опять говорил, но уже без помощи Филалета. Поэтому моя речь была значительно слабее, чем та, — в комиссии. Однако мой отчим, который присутствовал на этом заседании в Государственной Думе, сказал мне:

— Речь была удачная, за исключением некоторых личных обращений.

Между прочим, в своем выступлении я предложил членам Думы посмотреть на Юго-Западный край, так сказать, с птичьего полета, но внимательно, чтобы увидеть, что делается в этом крае, во всех местах скопления народа.

Конечно, картина, мною изображенная, содержала некоторое преувеличение, краски были несколько сгущены, ибо, разумеется, в крае была и часть русского, среднего и высшего сословия, но все же...

— Представьте себе, — сказал я, — что вы иностранец, ну, скажем, англичанин, который путешествует для пополнения бедкера, а я ваш спутник. Ну, вот, в любом месте, скажем, в Волынской губернии, где хотите. На каком угодно вокзале, в каком угодно местечке, вы увидите ту же картину, которая вас поразит.

Вы прежде всего зададите мне вопрос: «Скажите мне, пожалуйста, вот эта группа изящных господ, перед которой так суетятся носильщики, с которой так любезно раскланивается железнодорожное начальство, которая занимает купе первого класса, — это кто? Это, вероятно, представители местной земельной аристократии?»

Я вам скажу: «Да, вы совершенно правы, это — поляки»,

Далее: «А скажите, что, это большая толпа, шумная, крикливая, немножко безвкусно, но все-таки нарядно одетая, эти вот господа, с немножко помятыми воротничками, но с интеллигентными лицами, которые так суетливо берут с боя вагоны второго и третьего класса, — это представители, должно быть, среднего сословия?»

Я отвечу: «Да, это представители среднего сословия, это — евреи».

Затем последует пауза. Англичанин будет некоторое время колебаться, но потом, по свойственной ему любознательности, все-таки задаст вопрос: «Скажите, пожалуйста, не можете ли вы мне указать русских?»

«Пожалуйста, сделайте одолжение. Вот большое помещение, посмотрите — их много. Это большая толпа. У них здоровые добродушные лица, приятные, но малоосвещенные, одежда и обувь грубые, а большая часть босиком. Вот они подпирают стены или лежат вповалку на полу. Вот это — русские».

На лице англичанина изобразится изумление. Он спросит: «Почему же они не садятся в вагон?»

Я отвечу: «Они сядут в вагон, когда подадут поезд с вагонами четвертого класса».

Тогда англичанин запишет: «Удивительная страна — Россия. Сами русские в ней ездят исключительно четвертым классом». И сделает примечание: «Не есть ли это следствие проповеди Л. Н. Толстого о непротивлении злу?»

Тут мои слова прервал шум слева, и трудовик, член партии «Народной воли» В. И. Дзюбинский воскликнул с места: «Оттого, что помещики в первом классе ездят!» На что В. В. Пуришкевич закричал: «Молчать!»

А меньшевик Е. П. Гегечкори, перекрывая возникший шум, сказал мне с места: «А в России как ездят? Не забудьте про Россию!»

* * *

Наконец, после трех туров обсуждения 29 мая 1910 года законопроект «О применении положения о земских учреждениях 12 июня 1890 года к губерниям: Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Подольской» был принят Государственной Думой в целом большинством в сто шестьдесят пять голосов против ста тридцати девяти при восьми воздержавшихся и передан в редакционную комиссию.

Но тут-то и начались «необычайные приключения» законопроекта о национальных куриях.

Всякий законопроект, прошедший через одну палату, поступал в другую, в данном случае — в Государственный Совет, куда он и был направлен 1 июня 1910 года после утверждения Государственной Думой его редакции. И тут-то разорвалась бомба. «Рассудку вопреки, наперекор стихиям», Государственный Совет провалил законопроект, отклонив его 11 марта 1911 года.

Вот как это случилось.

* * *

Законопроект был провален оппозицией, соединившейся с частью правых. Каким образом могло случиться, что правительство Столыпина внесло в палаты законопроект, не обеспечив себе согласия Государственного Совета? Надо думать, что Столыпин рассуждал примерно так.

— Правительство Его Величества не может вносить важный законопроект, не отвечающий воззрениям Государя. Мы не Англия, где король царствует, но не управляет. Русский Царь не только царствует, но и управляет. Значит, закон о куриальном земстве был внесен в палаты с согласия Императора.

Поэтому Столыпину представлялось, что члены Государственного Совета по назначению, а их была половина, будут голосовать, по крайней мере, в своем большинстве за правительственный законопроект, выражающий волю Императора.

В чем же была ошибка Столыпина?

Ошибки не было. Но за время прохождения законопроекта в палатах появилось совершенно новое обстоятельство, а именно — отношение власти к этому законопроекту изменилось. Почему оно изменилось, будет видно из дальнейшего изложения. В этом и заключался кризис — слово, стоящее в начале этой главы.

Действительно, так и было. Отношение Государя изменилось. Таким образом, Столыпин неожиданно для себя оказался в конфликте с короной, проводя неудобный монарху закон.

Так поняли все. И прежде всего сам Столыпин, который немедленно подал в отставку. Прощение об отставке написал и мой отчим Д. И. Пихно, но он не успел подать его Государю. Разорвалась вторая бомба, и все объяснилось.

Оказалось, что два виднейших сановника Государственного Совета — В. Ф. Трепов и бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново накануне голосования в Государственном Совете попросили в спешном порядке аудиенции у Государя. Они были немедленно приняты и высказали Царю в продолжительной беседе свою точку зрения.

Они заявили, что Столыпин ошибается, проводя закон о выборном земстве. Их, то есть Трепова и Дурново, посетила депутация с Волыни в лице двух помещиков, которые заявили:

— На Волыни никто выборного земства не хочет, и все это выдумали Пихно, Шульгин и Столыпин.

На это будто бы Государь сказал:

— Значит, меня еще раз обманули...

После этого Трепов и Дурново спросили:

— Как прикажете голосовать, Ваше Величество?

Царь ответил:

— Голосуйте по совести.

И с этим они были отпущены. На следующий день голосовали «по совести», то есть провалили столыпинский закон.

19. Граф Олизар

Первую роль в разыгравшейся политической заварушке, которую, однако, нельзя назвать бурей в стакане воды, сыграли поляки.

Следуя историческим традициям, поляки Государственного Совета ухватились за национальные курии для некоторых закулисных махинаций. Во главе всего этого стоял граф Олизар, член Государственного Совета по избранию. Он избран Волынью. В этом смысле он был очень удобен. Ведь именно из-за Волыни и загорелся сыр-бор первоначально. Волынцем был чигиринец Д. И. Пихно, поскольку он был землевладельцем на Волыни. От Волыни же был Шульгин, член Государственной Думы. Выгодно было, чтобы Волынть пошла на Волынть, — разделяй и властвуй!

Властвовать графу Олизару было тем легче, что он был умен и породист.

Польская аристократия издавна импонировала русской. Много русской знати было ополячено польской в свое время, что очень хорошо видно из книги «Ламент» («Плач»), вышедшей в начале XVII века.

Какая же причина была в том, что русские бояре, несомненные патриоты, передались на польский берег? Обычно приводят две причины: ловкость католического духовенства и политику польского правительства.

Но я думаю, что настоящая причина лежит глубже, и причина эта социальная. Раньше на Руси, прежде чем она подверглась сильному влиянию Польши, социальный строй был более мягкий, именно там не было строгого разграничения сословий, там было много так называемой «невольной челяди», то есть рабов, наверху же — магнаты, радцы, сановники, а между ними целая лестница всевозможных прав и обязанностей по отношению к государству. Все это были лично свободные люди, и движение по этой лестнице вверх и вниз было возможно и смягчало социальные отношения.

Но когда произошел союз с Польшей, тогда повеяло совершенно иным духом, тогда на Русь нашла польская социальная идея, состоявшая в следующем: наверху — невыносимо свободное шляхетство, а внизу — невыносимо бесправный народ. И вот этого искушения русское дворянство не выдержало. Оно еще долго оставалось русским и православным, но шляхетские замашки приобрело полностью, и когда разыгралась буря, тогда они оказались между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, казаки жгли их за то, что они паны, а, с другой — поляки не доверяли им, говоря, что они русские и поэтому должны сочувствовать казакам.

Когда Кисель, который был, конечно, настоящим шляхтичем, паном с головы до ног, но был русским, — когда его послали вести переговоры с Богданом Хмельницким, то он сказал Киселю:

«Пане воевода, кость-то у тебя русская, да шляхетским мясом обросла».

Вот почему русское дворянство, видя неминуемую бурю, бросилось на польский берег и совершенно изменило своей родине и своей национальности.

Разумеется, это дела давно минувших дней, но и в начале двадцатого века в крови у нашего польского дворянства замечалась эта атавистическая склонность, эта склонность известной вражды, потому что ее не могло не быть.

* * *

Однако и в Государственном Совете, и даже у ступеней трона были такие бары, которых Гоголь называл маниловыми. Они произносили свои блаженненькие речи о том, что поляки обрусуют настолько, что перестанут быть поляками. Но я не только не верил в это, но считаю это ненужным совершенно и лишним. Об этом я открыто заявлял с кафедры Государственной Думы, а именно — что все опыты обрусения Царства Польского, если они были и будут, я лично осуждаю совершенно. Я считаю, что каждая нация имеет свой смысл, свое провиденциальное значение и ломать ее, калечить ее, по-моему, и преступно, и глупо.

* * *

Что касается графа Олизара, то его деятельность в отмежевании поляков от русских была весьма активна. Она началась еще в эпоху первой Думы. Тогда, в июне 1906 года, на Волынь приехали члены первой Думы — поляки и член Государственного Совета граф Олизар собрали нас, с тем чтобы поговорить с нами, что же нам нужно делать. Со всех сторон шли поджоги крестьянами помещичьих поместий, опасность, казалось, неминуемо надвигалась с каждым днем.

И вот собрались землевладельцы решать, что им делать и как им быть. Там были разные предложения. Группа русских предлагала следующее: говорила, что нужно всеми силами поддержать русское правительство; говорила, что в такую тяжкую минуту она, по рождению и крови, не может бросить свое правительство на произвол судьбы, но от поляков группа русских этого не требовала. Она говорила им:

«Для вашей собственной безопасности вы сделаете услугу в данную минуту, если вы пошлете, например, телеграмму Государю Императору и поддержите в эту тяжкую минуту венценос-

ца, эта ваша услуга не будет вам забыта и она не может быть вам забыта».

- Этой нашей точки зрения поляки не разделили, но это не важно. Интересна точка зрения членов Думы — поляков, руководимых Олизаром. Она была вот такая: я отлично помню, что эти слова были сказаны графом Грохольским, издателем «Дзеник киевский», влиятельной киевской газеты. Он сказал следующее:

«Революцию ведут евреи, во главе евреев стоит Винавер, а единственное средство спасти наши гнезда, в которых мы сидим семьсот лет, это дать евреям равноправие».

Можно, конечно, быть за равноправие евреев по тем или другим причинам, но давать равноправие только для того, чтобы спасти свои имения, это, на наш взгляд, значило продавать русский народ, что мы и высказали полякам.

* * *

Когда наступили выборы во вторую Государственную Думу, поляки собрались на съезд под председательством графа Олизара и на этом съезде постановили по всему краю учредить специальные польские выборные комитеты, вести выборы исключительно в польском духе и относительно союза землевладельцев постановили, что, если бы он вздумал заняться выборами, немедленно полякам из него выходить, так как выборы — это есть чисто польское дело.

Там же, на этом съезде, была принята избирательная платформа, предложенная тем же графом Олизаром. В этой платформе говорится о том, как соединиться с коло от Польши, и о других специально польских вещах, но ни слова там нет о том русском народе, который эти поляки хотели представлять.

Все это до такой степени озлобило тогда нас, всех русских, что мы собрались на свой съезд, русский, и постановили дать полякам урок, о чем я уже рассказывал вначале.

* * *

Но все же, несмотря на вышесказанное, русская знать продолжала льнуть к польской знати, оправдывая изречение: «*Similia similibus*» («Похожее к похожим»). Аристократия разных народов легко находила общий язык. В этом ее сила и слабость. И как бы там ни было раньше, в Государственном Совете поляки были влиятельны, более влиятельны, чем в Государственной Думе.

20. Дверницкий

Однако самое подрывное действие в вопросе о западном земстве оказал не русский и не поляк, а полуполяк, некто Василий Емельяныч Дверницкий.

Род Дверницких, конечно, польский. Известен польский генерал Иосиф Дверницкий, участник польского освободительного восстания 1830—1831 годов.

Василий Емельяныч почитался русским. По закону русскими были дети смешанных браков. Женат он был на русской. Это была дама из киевской аристократии. Богатым он не слыл, хотя владел имением в Овручском уезде, значит, был тоже волынец и к тому же служил по земству. Был статный блондин, считался дельным человеком.

* * *

Чтобы понять происшедшее, надо отчетливо представлять себе нижеследующее.

До выборного столыпинского земства Волынь, как и остальной Запад, не представляла собою *tabula rasa*, то есть чистой страницы. Было земство с теми же функциями, как на Востоке, но только гласные, как и управы, не выбирались, а назначались правительством. Реформа Столыпина была в том, что правительство отказалось от назначений, полагая, что для местных дел лица, избранные местными же людьми, будут более подходящими.

Итак, земство по назначению было, Дверницкий был назначен председателем земской управы Овручского уезда.

А я? Я был гласным, тоже по назначению, и в уездном и губернском земских собраниях.

Таковы были дела, когда я был избран членом Государственной Думы от Волыни. При этом я остался гласным в уездном и губернском собраниях, а Дверницкий председателем земской управы в Овручском уезде той же губернии.

* * *

Что же произошло? Скоро после того как я был переизбран в третью Государственную Думу и, так сказать, утвердился в этом звании, ко мне в Петербург приехал Дверницкий, с которым я был тогда мало знаком. Он просил меня помочь в личном деле, в то же время и общественном. Это последнее обстоятельство и оправдывало его ко мне обращение, так как я был избранник Волыни, а дело касалось Волынской губернии.

Я сказал:

— Готов сделать, что могу.

Тогда он ответил мне просто:

— Я председатель Овручской земской уездной управы. Меня это не удовлетворяет. Я хотел бы быть председателем губернской управы.

— Понимаю. Но что я должен сделать?

— Если вы считаете, что я годен для этого места...

Произошла короткая заминка. Потом я сказал:

— Почему бы нет? Вы знаете Волынь. Вы старше меня, но все же молоды. Я слышал, что вы любите работать. Почему бы нет, Василий Емельяныч?

— И вы согласились бы мне помочь?

— Да. Но как?

— Замолвить словечко в департаменте земских дел. Назначают оттуда.

— Это Гербель?

— Да, Сергей Николаевич. Вы его знаете?

— Очень мало. Но он меня знает — по речам в Государственной Думе.

— Вы могли бы попытаться?

— Попытаюсь. Но разве нынешний председатель губернской управы уходит?

— Уходит. Он болен.

* * *

В то время еще не обсуждался столыпинский законопроект о выборном земстве. Поэтому Дверницкий мог получить место в порядке назначения. Я поехал к Гербелю. Сугубый провинциал, я довольно быстро, по молодости лет, должно быть, освоился с наукой, как выпрашивать у бюрократии что-нибудь для тех, кто меня «послал в Государственную Думу». Жители Волыни и других губерний считали, что в лице депутатов они получили естественных ходатаев в столице по всяким делам. Один раз я просил за молодого киевского музыканта, знаменитую петербургскую пианистку Есипову. Сам я не слышал ни его, ни ее да и в глаза их обоих не видел.

В другой раз я мучил известного художника Лукомского и его брата, специалиста по геральдике. Еще терзал капитана 1 ранга, командира Петербургского порта барона Тинпоута, который был самым знаменитым медалистом в России. А изводил я их всех потому, что мои избиратели Острожского уезда написали, что им потребовалась медаль, выбитая в честь князя Константина Острожского. Где и когда была выбита эта медаль, неизвестно, но, конечно, «наш славный депутат найдет ее!». Медаль им совершенно необходима,

так как музей имени князя Острожского, жившего в XVI веке, не может больше существовать без нее. Я всех вышеупомянутых лиц мучил до тех пор, пока командир Петербургского порта не отдал мне копию с этой медали, у него мною найденной. Когда я послал эту медаль в Острог, я, как ямщик, доехавший до станции:

*«Родные, стой, неугомонные», —
Сказал и горестно вздохнул...*

Нет, не горестно, — радостно!

Не менее радостно я вздохнул полной грудью, когда не ямщик, а мой извозчик, в течение нескольких часов носившийся со мною по всей столице, сказал:

— Отпусти, барин, конь, вишь, запарился.

А почему я загнал коня? Потом, что со мною рядом носился посланец от какой-то волынской деревни. Он все наново восхищался громадными домами, соборами, памятниками и наконец проговорил:

— Он руками человеческими, этот город, построен или сам по себе, из-под земли, таким вылез?

Дело своей деревни он хорошо знал и понимал. Знал твердо, что именно сегодня истекает последний день для подачи какого-то заявления, иначе их дело пропадет совсем. Не знал он только, в какое учреждение надо эту грамоту подать.

Когда мы за десять минут до закрытия канцелярии нашли чиновника, которому надлежало подать эту бумагу, и мы ее подали, и я расплатился с извозчиком за четыре часа гоньбы, тогда я вдохнул чистый воздух полной грудью, захватив при этом несколько крупных снежинок!

Ах ты город, что сам собою из-под земли вылез, город, городище, чтоб тебя черт не унес!

* * *

Словом, я научился просить за других. За себя, слава Богу, не просил. Я получил от небес больше, чем мог желать, и, между прочим, свою собственную визитную карточку с надписью «член Государственной Думы». Этот картон открывал двери всяких присутственных мест.

* * *

«Заведующий министрами» устроил мне прием у Гербея.

Сергею Николаевичу было лет шестьдесят. Мне — тридцать, и потому я смотрел на него снизу вверх. Теперь мне восемьдесят

семь. Когда брожу по лесу, я чувствую уважение только к деревьям старше меня. Шестидесятилетние сосны и ели кажутся мне детьми. Иное отношение к дубам. Я почитаю дубы четырехсотлетние. Почему? Потому, что такой примерно возраст имел мой дуб в Курганах. Во время последней войны какие-то дьяволы, подложив мину, послали четырехсотлетнего старца к небесам. Он упал, конечно, на родную землю, и тут с ним не стали церемониться, распилили на доски.

* * *

Гербель принял меня любезно. Но когда я попросил его за Дверницкого, в его глазах, печальных как бы от природы, я уловил нечто, некое несогласие. Он сказал:

— Вы его хорошо знаете?

— Нет. Но о нем не говорят ничего худого. А работать он, мне кажется, может. А людей у нас мало на Волыни.

— Их везде мало. Петр Аркадьевич однажды сказал: «Дайте мне пятьдесят дельных губернаторов, и в России все будет в порядке». У вас губернатор Штакельберг. Как он?

— Звезд с неба не хватает, но приличен. Во время выборов во вторую Государственную Думу чуть их не сорвал в пользу поляков.

— Полонофил?

— Нет, он поступил по закону. Я его не виню. Поляки были правы, а не мы. Но мне удалось это выправить, тоже по закону. Словом, мы их победили. И вот я имею честь просить за Дверницкого. Вы имеете что-нибудь против него?

— Скажу вам, как обстоит дело. Ничего, на что я мог бы опереться, я не имею. Но почему-то Дверницкий соединяется у меня с чем-то неблагоприятным. Однако не могу вспомнить, в чем дело. Но если не могу, значит, нет основания вам отказывать. Я назначу Дверницкого, но на вашу ответственность, Василий Витальевич!

— На мою ответственность.

* * *

Дверницкого назначили. Но когда он, Дверницкий, заварил «пир на весь мир», я вспомнил Гербеля.

* * *

Как только Дверницкий получил назначение, он сейчас же приехал ко мне благодарить. Это можно было сделать по почте или

телеграфу, но он явился лично. И выразил свою благодарность в такой форме:

— Василий Витальевич, теперь приказывайте!

— Что приказывать?

— Все, что сочтете нужным.

— То, что я считаю нужным, сделать нельзя. Я считаю нужным замостить на Волыни хотя бы села, утопающие в грязи. Но это сделать нельзя даже в маленьком уезде, как Острожский.

— Неужели у вас нет никаких личных желаний?

— Личных? Есть. У меня есть друг в Острожском уезде. У него там имение. Но дела идут плохо, он желал бы служить в Житомире, под вашим началом, то есть членом управы, которой вы сейчас председатель. Вы его знаете, это Сенкевич. Можете ли вы это устроить?

— Это будет сделано.

— Если сделаете, мы — квиты. Во всяком случае, я буду вам благодарен.

* * *

Итак, мы расстались, как говорится, «по-благородному». Сенкевич стал членом управы. Слова Гербея «на вашу ответственность, Василий Витальевич» меня несколько беспокоили.

* * *

Дверницкий же еще несколько раз приезжал в Петербург и всегда повторял слова, ставшие привычными:

— Приказывайте, Василий Витальевич!

Я тоже отвечал стереотипно:

— Нечего приказывать, Василий Емельянович.

Казалось, все благополучно на Волыни. И когда был внесен в Государственную Думу закон о выборном земстве, Дверницкий ни одним словом не обмолвился, что он против реформы Столыпина. Между тем это его близко касалось. Он не мог быть уверен, что выборное земство выберет его на тот пост, куда он попал по назначению. Было бы естественно, если бы он сказал мне:

— Знаете, Василий Витальевич, я против выборного земства.

Я бы ответил:

— Это понятно. Но ведь я тоже не могу быть уверен, что меня выберут в земские гласные, хотя я член Государственной Думы. Но если меня выберут в гласные, я буду голосовать за вас.

И все было бы честно, благородно. Но Дверницкий предпочел путь лукавой интриги. Это он стал тем трамплином, с которого

Трепов и Дурново прыгнули к Царю и устроили всероссийский скандал. И даже мировой. За границей внимательно следили за Россией.

* * *

Какие соображения руководили Дверницким, казалось, было ясно: он опасался, что выборное земство его не выберет. На самом деле его толкнули на совершенное им деяние не столько соображения, как чувства. Тут произошли некоторые удивительные явления.

* * *

Те, кто не хотели земства, выборного земства, то есть назначенные правительством земские чиновники, объявили себя «настоящими земцами» и вместе с тем стали в оппозицию к правительству, которое их назначило. Во главе их стал Дверницкий, моя креатура. А нас, настоящих земцев, которых провели в выборное земство, они объявили столыпинцами. Под этим флагом они повели избирательную борьбу и восемь уездами овладели. Мы удержали четыре уезда, в том числе Острожский. Благодаря этому я прошел в гласные Острожского уезда, а оттуда и в губернские гласные. Поэтому в губернском земском собрании мы оказались в меньшинстве. Волынь была в руках Дверницкого и К^о.

* * *

Однако я понял эту механику. Для меня подтвердилось еще раз то, что я знал и раньше: в помещичьей среде поляки сильнее нас. Я прошел в Государственную Думу в 1907 году только потому, что оперся на силы, лежавшие вне помещиков, а именно: на духовенство и мелких землевладельцев, которые были русскими.

* * *

Мы провели национальные курии в земствах и этим оградили себя от польского засилия. Поляки избирали особо, мы тоже. Но в отдельных русских куриях произошла борьба между самими русскими. Почему?

Потому что большая часть русских помещиков в душе своей была ополячена.

История повторилась. Польское землевладение наших времен в значительной мере состоит из ополяченных русских преж-

них веков. Это было неизбежно: поляки пришли в наши края как социальные верхи. Польских низов не было. Поэтому поляки составили сплоченный высший класс, со всеми его достоинствами и пороками.

Но русские в русских краях представляли естественную социальную пирамиду. У нас было несколько классов. Что же произошло, когда поляки, то есть высший класс, вступили в столкновение с низшим классом, который был русским? Произошла жестокая борьба, питаемая классовой, и национальной, и религиозной ненавистью. В этой борьбе все было определено и четко. Польские паны резали русских холопов, а последние убивали польских панов. Все это было, конечно, в отдаленном прошлом.

Но в каком же положении в те времена были русские паны? В очень трудном. Иначе сказать, между молотом и наковальней.

Русских панов преследовали польские паны за то, что они русские. Вместе с тем их истребляли свои же русские низы за то, что они паны.

Приходилось выбирать между двумя берегами. И выбирали. Одни выбирали русский берег, другие — польский. Эти оставались панами, но переставали быть русскими, ополячивались. Так ополячился, в лице Якута, знаменитый род князей Острожских. На русском берегу был не менее памятный князь Дмитрий Вишневецкий, почитаемый основателем Сечи Запорожской. Но уже князь Иеремия Вишневецкий перешел на польский берег и был главным противником Богдана Хмельницкого.

* * *

История повторяется. В наши времена на Волыни были поляки и полякующие. Во главе их стал Дверницкий. Он дал бой русским помещикам и временно победил их, в том числе меня, юнца, неопытного в интриге. Теперь он уже не приезжал ко мне в Петербург с подобострастными словами на устах:

— Приказывайте, Василий Витальевич! Что вы скажете, все будет сделано на Волыни.

Теперь Волынь была в его руках, он там приказывал.

* * *

Все было ясно теперь, но все же мне казалось, что есть нечто ускользающее от меня. Только сильно меня ненавидящий человек мог поступить так, как поступил со мной Дверницкий. Но за что он мог меня ненавидеть? Непостижимо!

Судьбе угодно было устроить так, что мне не удалось с ним встретиться и объясниться. Я его никогда больше не видел.

Однако объяснения я все же добился. Мой друг Сенкевич удержался при Дверницком. И я сказал ему:

— Не можете ли вы выведать у Дверницкого, почему он так безобразно со мною поступил?

— Попытаюсь.

Через некоторое время он мне рассказал:

— Сделано. Я его немного напоил, и он был откровенен.

— В чем же дело?

— Польский гонор. Он сказал: «Я этого человека, то есть вас, ненавижу!»

— За что же?!

— Ни за что. Я же вам объясняю: польский гонор!

— Но чем же я задел его польский гонор?

— Вы выпросили у Гербея его назначение.

— Выпросил. Что же тут оскорбительного?

— Оскорбительно то, что вы ничего не попросили у Дверницкого за эту услугу.

— Неправда! Я выпросил у него вас.

— Это неравноценно с точки зрения польского гонора. Я маленький человек, а он — Дверницкий!

— Какой вздор! Кроме того, я однажды выпросил у него казенный автомобиль для надобности, совершенно не служебной.

— Знаю, вы катались с моей дочерью и ее кузинами. Они и до сих пор об этом вспоминают.

— Мы так веселились с этими милыми барышнями, что я прощаю Дверницкому все его гадости!

— Если я ему это скажу, он возненавидит вас пуще прежнего. Он сам хотел бы простить вас.

— Безмозглый человек. Из-за своего дурацкого гонора заварить такую кашу! Но и я тоже хорош: не догадался! А впрочем, трудно было. Он постоянно являлся ко мне и говорил: «Приказывайте, Василий Витальевич!»

— А вы ничего не приказывали! Вот за это унижение он вам отплатил.

— Унижение? Значит, если бы я приказывал ему, то унижения не было бы?

— Конечно! Вы были бы такой, как и он.

— То есть?

— Он делает одолжения с тем, чтобы ему их возвращали. А вы

дарите, но не хотите, чтобы вас отдаривали. Поэтому он обвиняет вас в сатанинской гордости...

— Так, значит, это у меня польский гонор?

— Да, но горший, чем у него.

— Что же, по вашему мнению, мне надо было ему приказать?

— Вот что: «Я провожу в выборное земство. Поэтому, дорогой Василий Емельянович, приказываю вам подготовить почву, то есть сделать так, чтобы у меня, а значит, и у вас, в выборном земстве было бы большинство». Так надо было с ним разговаривать. Надо было показать, что он вам нужен.

— А если он мне не нужен?

— Нет, нужен. Вот у вас нет большинства?

— А на какой прах мне большинство?

— То есть как?

— Дорогой Ефим Арсеньевич! Давно мы с вами знакомы, а вы меня не знаете. Большинство нужно тому, кто чего-нибудь хочет.

— А вы ничего не хотите?

— Я хочу сидеть тихонько в деревне и писать исторический роман из шестнадцатого века под заглавием: «Приключения князя Воронежского». Для этого мне нужны перо и чернила; ни большинства, ни меньшинства мне не нужно. Вот секрет моей сатанинской гордости.

Ефим Арсеньевич рассмеялся и потом задумался. Наконец сказал:

— Вы правы и не правы.

— Именно?

— Чтобы безмятежно писать исторический роман «Приключения князя Воронежского», вам нужно сначала отыграть революцию. Пока это не сделано, никому покоя не будет ни в городе, ни в деревне. И меньше всего в этой обстановке может существовать порода «помещиков-писателей», к которой вы вздумали приобщиться. Запоздали, дорогой Василий Витальевич.

— Боюсь, что вы правы!

— Да-с. И вы это сами знаете. Чтобы быть писателем, надо отыграть революцию. А чтобы отыграть революцию, надо иметь большинство.

— Где? В земстве?

— В земстве — тоже. Но прежде всего в Государственной Думе и в Государственном Совете. Но этого мало. Надо иметь большинство в так называемом народе, в интеллигенции, в особенности среди профессоров и учителей, среди учащейся молодежи, на заводах, среди инженеров, мастеров и рабочих и, главное, в деревне, среди мужиков. Это уже сделано на Западе, а у нас к этому стремится Столыпин. Если это ему удастся, то есть если большинство му-

жиков он сделает маленькими помещиками, то крупные помещики, вроде вас, могут безмятежно писать исторический роман из жизни шестнадцатого века, под заглавием «Приключения князя Воронежского».

* * *

Незадачливый помещик Сенкевич, которому не под силу было и собственное имение, был, конечно, прав. Мне не удалось отбиться до конца дней своих от проклятой политики, которую я ненавижу всею душой.

И даже сейчас, когда я пишу эти строки, я делаю политику, вместо того чтобы дописывать недописанный исторический роман. Покоя мне нет. И нет никому во всем мире! Революция не была отыграна; она разразилась, она победила, она утвердилась! И что же, стало спокойно? Кой черт!

Люди всего мира не спят ночи, дрожа за завтрашний день.

*Блеснет завтра луч денницы,
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень...*

Завтра может разыгаться война, и миллионы, если не миллиарды, умрут. Какой тут покой! Покой вкушает мой покойный друг, Ефим Арсеньевич. Он бродит где-нибудь в Елисейских полях, глядя в безмятежное зеркало тихих озер, отражающих строгость кипарисов, грезит:

«Да, дорогой Василий Витальевич. Пока вы не устроили «мира во всем мире», не суждено вам дописывать приключения Воронежского. Ведь именно об этом, то есть о всеобщем мире, мечтал Воронежский еще в шестнадцатом веке. Мечта ему не удалась, и он сейчас ходит вместе со мной в Елисейских полях. Так будет и с вами. Пишите же ваши воспоминания о Государственной Думе согласно договору и помирайте. Жду вас здесь!»

* * *

Вернемся еще раз к Дверницкому. Он некоторое время благоденствовал, то есть «приказывал» на Волыни. Я почти забыл о нем. Другие, более сильные и горестные, впечатления вытеснили то, что раньше волновало.

В 1911 году был убит Столыпин и похоронен в Киеве, в лавре. Там и сейчас стоит величественный крест черного мрамора. В 1913

году умер мой отчим, в Киеве же, но похоронен на Волыни. Склеп, где покоится его прах, существует, но в большом небрежении, и я до сих пор не имел возможности привести дорогую мне могилу в порядок. Да будет мне стыдно.

* * *

Но был некто, кто не забыл вероломства Дверницкого. Это был Гербель Сергей Николаевич. По обязанностям службы он следил за председателем земской волынской управы. В 1913 или 1914 году, не помню, В. Е. Дверницкий был привлечен к судебной ответственности за какое-то неблагоприятное деяние по службе.

* * *

Чем это кончилось, я не знаю. Разразилась первая мировая война и похоронила всю суету сует. Пред лицом смерти что значили наши раздоры? Польский гонор Дверницкого, сатанинская гордость какого-то Шульгина. Буря в стакане воды — их борьба за власть на Волыни, на той Волыни, в которую уже вторгся их общий враг.

Я поступил в полк и был ранен под Перемышлем — Пшемислом, древнем граде русско-польском, превращенном австрийцами в крепость. По излечении поступил в Красный Крест, где снова изучал польский гонор, но уже на других поляках, не на Дверницком. А что случилось с ним? Я этого никогда не узнал. Быть может, его убила польская пуля. Ведь поляков было достаточно в немецких войсках. Или же ему удалось добраться до Варшавы и там найти приют как потомку польского мятежного генерала. А может быть, с ним покончила Овручская отечественная ЧК как с местным помещиком. Я никогда больше о нем не слышал.

* * *

Он прошел через мою жизнь, по-видимому, только для того, чтобы я узнал некоторые свойства душ человеческих. Досконально я изучил польский гонор. Но по пути познал в некоторой мере и самого себя, по совету Сократа. Кроме того, я наблюдал основательность Гербеля, бюрократа старой школы, низость некоторых высоких сановников. Я узнал еще, почему чигиринцы не считают себя людьми. И наконец, я прослушал оперу Глинки «Жизнь за Царя» в исполнении не Шаляпина, а Столыпина.

21. Нажим

...Словом, Петербург был взволнован и трепетно ждал: чем же все это разразится?

И разразилось...

* * *

Я вообще ложился поздно, а в эти дни и подавно. Заботливый Назар принес мне утренний чай и разбудил меня. Когда я завтракал в постели, ко мне вошел Дмитрий Иванович. Он был в халате, но с газетой в руках, и, входя, сказал: «А и тяжелая рука у Петра Аркадьевича!»

В его голосе было одновременно и одобрение, и осуждение. Я понял. Столыпин победил, остался, но...

Но сделано это было в такой форме, как он, Дмитрий Иванович, оскорбленный не меньше Петра Аркадьевича, не сделал бы.

Что же случилось?

Случилось вот что. Государственный Совет и Государственная Дума были распущены на три дня. Когда в субботу 12 марта 1911 года депутаты Государственной Думы собрались в Таврическом дворце, председатель А. И. Гучков, открыв в одиннадцать часов четырнадцать минут очередное заседание, объявил:

— Прошу выслушать именной высочайший указ Правительствующему Сенату: «На основании статьи 99 Основных государственных законов повелеваем: занятия Государственной Думы прервать 12 сего марта, назначив сроком их возобновления 15 марта 1911 года.

Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежащее распоряжение.

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано: Николай.

11 марта 1911 года в Царском Селе.

Скрепил председатель Совета Министров, статс-секретарь Столыпин».

Следующее заседание состоится во вторник 15 сего марта в одиннадцать часов утра, — сказал председатель. — Объявляю заседание Государственной Думы закрытым.

И все разошлись...

А 14 марта 1911 года высочайшим указом, скрепленным Столыпиным, закон о земских учреждениях в западных губерниях был проведен по статье 87-й Основных законов.

Еще в день подписания Императором указа о роспуске Думы было вынесено высочайшее повеление об увольнении Трепова

и Дурново в заграничный отпуск до 1 января 1912 года за агитацию и резкую оппозицию в Государственном Совете законопроекту Столыпина.

* * *

- Для поправления здоровья? — спросил я отчима.
- Да, для поправления здоровья.
- Значит, здоровье этих двух сановников расстроилось?
- Расстроилось.
- В чем это выразилось?
- В том, что они явились к своему монарху и говорили такое, что Царь сделал вывод: «Значит, меня еще раз обманули»!

Из этого следует, что они, эти члены Государственного Совета, как говорится, «на голову заболели». Когда Царь это понял, он послал их за границу лечиться, — авось отойдут.

Это высочайшее внимание к здоровью В. Ф. Трепова и П. Н. Дурново, конечно, было жестом, удовлетворившим Столыпина. Что он «обманул царя» — это, оказывается, сказали двое полубезумных старичков. Обвинения, произнесенные сумасшедшими, ничего не стоят. Однако один из них, В. Ф. Трепов, не подчинился высочайшему повелению и подал прошение об отставке. 29 апреля 1911 года его отстранили от службы, после чего он занялся частной деятельностью.

Итак, закон о куриальном земстве был проведен по 87-й статье Основных законов, для чего палаты и были распущены на три дня. По истечении этого срока они возобновили свою работу.

Всякий проведенный по 87-й статье закон правительство было обязано внести на рассмотрение палат в течение месяца. Но в данном случае получилось иначе.

В то самое роковое число, 11 марта, когда Государственный Совет отклонил закон о земстве и в Царском Селе был подписан высочайший указ о роспуске в связи с этим обеих палат, в Государственной Думе перед закрытием, в шесть часов вечера семьдесят восьмого заседания, председательствующий — князь В. М. Волконский — объявил:

— Позвольте доложить, что поступило законодательное предложение, за огромным числом подписей, — я затрудняюсь сосчитать, около полутора ста... (*П. Н. Крупенский, с места: «Двести подписей!»*) о применении положения о земских учреждениях к губерниям Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Подольской. Угодно Государственной Думе передать это законодательное предложение в Комиссию о местном самоуправлении для рассмотрения по вопросу о желательности?

После проведенной баллотировки, под аплодисменты справа и в центре предложение председательствующего было принято.

Таким образом, Государственная Дума снова приступила к рассмотрению уже принятого ею закона еще до того, как он был проведен по 87-й статье.

Но тут было сказано много горьких слов.

Это произошло уже в первом вечернем заседании Думы после возобновления ее работы, то есть 15 марта 1911 года, когда большинством были приняты четыре запроса Столыпину — «четыре столба или кита», как я тогда выразился, от партий: октябристов, «Народной свободы», прогрессистов и социал-демократов — о незакономерности издания высочайших указов 11 и 14 марта о перерыве заседаний законодательных учреждений и введении на основании статьи 87-й земства в шести западных губерниях.

Даже октябристам не понравился «нажим на закон». Верными Столыпину в беде оказались только часть правых и мы, «русские националисты».

Я защищал Столыпина как мог, не за страх — за совесть. Однако защищал слабо, то есть имел плохой резонанс. В заключение своей речи я сказал:

— Здесь велась продолжительная атака на П. А. Столыпина. Я не призван защищать его и вам поставлю только один вопрос.

Этот человек взял на себя большую тяжесть: на нем висит роспуск первой Думы, на нем роспуск второй Думы, на нем закон 3 июня, на нем закон 9 ноября, на нем начатая борьба, тяжелая борьба, с беспорядками в высшей школе. Человек перегружен... (Смех слева.) ...Может быть, толкнуть его можно, может быть, вы его толкнете, может быть, он упадет. Но вы мне ответьте: кто подымет тяжесть?

Аплодисменты раздалась только на скамьях националистов. Правые молчали. Но среди других мои слова вызвали бурную реакцию.

Наиболее резко критиковал меня армянин, депутат от области Войска Донского, врач и юрист, присяжный поверенный, кадет Моисей Сергеевич Аджемов.

— Господа, — сказал он, — вот выступает модная ныне группа, которая как бы заявляется группой правительственной. Выступает новоявленный ее лидер, депутат Шульгин, и что же мы слышим? Депутат Шульгин сказал нам: главное, что здесь было сказано, это то, что все было направлено против П. А. Столыпина. Он, по словам депутата Шульгина, перегружен. Он перегружен, говорит депутат Шульгин, роспуском двух Дум, он перегружен законом 3 июня,

который есть акт государственного переворота, он перегружен актом 9 ноября, который, по-видимому, и с точки зрения депутата Шульгина, был незаконно проведен по статье 87-й, раз он его ставит на одну доску с законом 3 июня, он перегружен, наконец, сегодняшним днем, и мы надеемся, что этот груз будет такой, который понесет его ко дну.

Эти пророческие слова, покрытые рукоплесканиями слева, были произнесены с кафедры Государственной Думы за пять с половиной месяцев до смерти Петра Аркадьевича. А дальше М. С. Аджемов продолжал так:

— Мы не можем закрывать глаза на то, что за кулисами этих стен происходили события, отклики которых доходили и до нас. Вы помните, что дело началось с подачи прошения об отставке. Эта отставка испрашивалась немедленно после отвержения Государственным Советом законопроекта о введении земства в шести западных губерниях, — и что же? Мы знаем о больших колебаниях, носились слухи, шли разговоры, — падали одни, возвышались другие, — и что же? В самый последний момент мы узнаем, что Столыпин остается, но он остается ценой той компенсации, которую ему дадут.

Господа правые, что же вы молчите, — вы, которые всегда бряцаете своим монархизмом? Что же вы не придете и не скажете, что пред глазами всей России колеблются этим человеком те принципы, которые вы защищаете, бессилие которых этой компенсацией было в полной мере подчеркнуто. Нельзя простирать свое угодничество до предела забвения своих принципов.

Немало упреков по моему адресу высказал также представитель фракции прогрессистов, служивший чиновником особых поручений при варшавском губернаторе Гурко и министре внутренних дел Плеве, гласный Саратовской городской думы и саратовского уездного земства граф Алексей Алексеевич Уваров.

— ...Я считаю, — сказал он, — что так как правительство тут отсутствует, то господин Шульгин является в данное время правительственным оратором... Я должен сказать Шульгину: я был лично всегда против закона о западном земстве.

В том виде, как его вносили нам здесь господа Балашов и Чихачев, но, когда депутат Шульгин нам говорит здесь, что вы должны нам верить, что нам с нашей колокольни хорошо известно, насколько земство в той форме, в какой оно предложено здесь Балашовым и Чихачевым, хорошо и будет там полезно, то у нас — по крайней мере, у меня лично — является одно коренное сомнение: почему нам обязательно, закрыв глаза, следует верить депутатам Балашову и Чихачеву, а нельзя верить членам Государственного Совета Балашову же и Чихачеву, которые высказывались против

курий? *(Смех и рукоплескания слева.)* Я, господа, думаю, что если ~~ж~~ обсуждать с этой точки зрения знания местных условий, то, конечно, житейский опыт должен убеждать нас, напротив, в том, что ~~мы~~ совершенно правильно возражали и теперь продолжаем возражать против курий в западном земстве. И поэтому на каждое компетентное мнение депутатов Чихачева и Балашова я скажу: подумайте, столкнитесь прежде всего с вашими собственными отцами, а потом являйтесь к нам с вашими убеждениями. *(Смех и рукоплескания слева.)*

Но я думаю, господа, что вам *(обращаясь вправо)* до западного земства совершенно нет никакого дела и до статьи 87-й нет никакого дела, вы просто бессловесно, слепо преданы тому лицу, которое имеет власть.

В этом отношении я вам напомним следующее: в начале прошлого столетия был граф Аракчеев, у него на девизе было написано: «Без лести предан». Да, без лести предан он был Александру I, а вы, господа, преданы П. А. Столыпину, это так, но слова «без лести» вы не можете написать на вашем девизе.

Тем, которые знают историю, я напомним... один эпизод из жизни Миниха и Бирона. Когда Миних сам был сослан в Сибирь и ехал в Пелым, он в Казани встретил одного из своих прежних сосланных — Бирона. Они даже, кажется на казанском мосту раскланялись. Не случится ли то же самое когда-либо и со Столыпиным и с Дурново? *(Смех слева.)*

Поэтому тем лицам, которые были терпимы во времена Анны Иоанновны, — тем лицам, которые тогда, быть может, играли правительственную роль, теперь не место здесь. И нам остается только сказать им то же самое, что говорил представитель нашей фракции: в отставку! *(Рукоплескания слева.)*

...В данное время, если вы будете поддерживать Столыпина, то вы сами себя уничтожите. Зачем вы тут сидите, никому не нужные? Оставьте одни манекены, которые на все, что им будет говорить Столыпин, будут говорить: да.

Но наибольшее впечатление на этом заседании Думы произвела речь В. М. Пуришкевича. Несомненно, что в истории России не забудется имя этого заблуждавшегося и мятущегося, страстного политического деятеля последних бурных и трагических годов крушения империи. А эта его речь показывает, насколько потрясены были устои шатающейся власти актом 14 марта 1911 года.

Кроме того, она объясняет психологически, почему Пуришкевич, будучи ярым монархистом, пошел все же на убийство Распутина, которого боготворила царская семья.

Пуришкевичу бурно аплодировали слева, но это его не смутило и не остановило. Выступление его было настолько нео-

жиданно, что даже старообрядец, крестьянин села Мельница, депутат от Витебской губернии Ю. К. Ермолаев недоуменно сказал:

— Когда взошел на трибуну господин Пуришкевич, я не знал, кто это говорит: говорит ли это Пуришкевич или это говорит Гегечкори. Мне кажется, что здесь просто смешение языков!

Привожу наиболее характерные места из речи Пуришкевича, как документа, отражающего смятение и потрясение умов кризисом власти:

— Господа народные представители. Я буду краток, ибо найду, что тот момент, который мы переживаем сейчас, настолько серьезен и так тяжело отзывается на русской общественной жизни, что обилием слов его не опишешь.

Я говорю не от фракции правых, и вся ответственность за то, что я намереваюсь здесь сказать, лежит на мне; я сам могу быть фракцией, и, как таковая, я от себя и говорю. (*Смех, голоса слева: «Браво!»*) Господа, я был страстным противником закона о проведении земских учреждений в тех губерниях, в которых он вводится ныне...

...Помимо закона, данного Государем, о котором мы рассуждать не можем, есть действия председателя Совета Министров, и об этих действиях я и хочу говорить, ибо в данный момент только холоп может молчать после того, что сделано в отношении нас и, в частности, скажу я, как член этой палаты, и меня. Председатель Совета Министров низринул авторитет и значение Государственного Совета.

...Председатель Совета Министров П. А. Столыпин, уязвленный в тот момент, когда он говорил о законе введения земских учреждений без успеха, решил свести личные счеты с членами Государственного Совета по назначению. Пользуясь своим влиянием, он искажил дух и смысл их речей и позволил себе нанести этим самым косвенный удар Государственному Совету, дискредитируя на многие годы значение этого высокого, авторитетного учреждения в пределах империи.

В такой момент, когда требуется наибольшее напряжение правых сил империи, в момент, когда империя находится накануне, может быть, глубоких внешних и внутренних потрясений, председатель Совета Министров из чувства личной, не государственного характера, а личной мести позволил себе посчитаться, крича всюду о законности, с председателем правых Государственного Совета П. Н. Дурново. Националисты правой партии кричат: «ой, ой, ой!», но господа националисты прятались по норам в годы смуты, тогда, когда П. Н. Дурново, которому Россия фактически обязана своим успокоением, работал как вол

над разбитием революционных сил и добился в этом отношении блестящих результатов.

Не тот националист, который кричит о том, что он национален, а тот националист истинный, который работает в духе сохранения исконных русских традиционных начал.

Во что желает обратиться председатель Совета Министров Государственный Совет? В свою канцелярию? Но он никогда добиться этого не сможет, ибо утрачивается всякое желание работать под известной ферулой, под палкой председателя Совета Министров, а если председателю Совета Министров не угодил, то пожалуйста вон, уезжайте за границу.

Да, господа, сегодня днем, в то время когда мы занимались, мне стало известным, что П. А. Столыпин удостоил П. Н. Дурново письмом, где говорит, что вы можете выезжать за границу, так как вы нездоровы, и тот ответил: я здоров и в России остаюсь. Господа, П. А. Столыпин, который говорил здесь неоднократно о закономерности, сейчас приводит нас ко временам, не только не пахнувшим свободой 17 октября, не ко временам Бирона даже, но к гораздо худшим, когда неугодных людей выдавали головой тем, которые требовали этого. И П. А. Столыпин, считая для себя невозможным бороться с П. Н. Дурново силой своих убеждений, хотя поставлен выше него, потребовал выдать головой себе своего политического противника, одного из самых выдающихся, сильных, мощных и талантливых людей России.

Вот что сделал Столыпин. Представитель фракции националистов В. В. Шульгин обратился к вам, защищая здесь роль П. А. Столыпина, говоря: «Вы сгоните, вы повалите его, но кем замените?»

На это отвечу я здесь националистам: гнать мы права не имеем, мы на царские права не посягаем, заменять мы также не имеем права, но мы полагаем, что жалка была бы та страна, жалок был бы тот народ, у которого только на одном лице зиждилась надежда на спасение и на оздоровление России.

Слава Богу, Российская империя громадна, и я позволю себе думать, что помимо П. А. Столыпина есть еще и другие лица, которые объединят в смысле оппозиционном Государственную Думу в такой исторически тяжелый момент в жизни Российской империи.

Я утверждаю, что этим шагом председатель Совета Министров, который носит в себе симптомы личной мелкой мести какого-нибудь уездного администратора, а не лица, стоящего во главе правительства империи, что этим самым шагом он наносит сильнейший удар не только престижу тех учреждений, в которых мы работаем, но что он наносит сильнейший удар тому, чему мы служим, на что надеемся и во что мы верим...

Я говорю, что самую печальную страницу в русскую историю за последнее время вписал в данный момент председатель Совета Министров, который наносит этим непоправимый удар престижу государственной власти.

* * *

При Павильоне министров в Таврическом дворце безотлучно находился чиновник, которого на думском жаргоне называли «заведующий министрами». К нему обращались члены Государственной Думы по всяким делам. Это был действительный статский советник Лев Константинович Куманин, чиновник особых поручений при председателе Совета Министров.

Из так называемого Полуциркульного зала уходила застекленная веранда. С наступлением темноты она задергивалась зеленого бархата занавесью, чтобы снаружи не было видно министров, идущих в зал заседаний из своего павильона. На Столыпина было достаточно покушений. Стрелять же по стеклянной галерее, из Таврического сада, было возможно. Из этих соображений, вероятно, была занавесь во всю длину галереи.

В кабинете Куманина хранились все русские и нерусские законы, энциклопедические словари и прочие справочники.

Этот высокопоставленный чиновник отличался чрезвычайной вежливостью; но при том хранил некую холодную недоступность. Я никогда не видел улыбки на его лице. Он был, как говорится, застегнут на все пуговицы, в переносном смысле, а в действительности не застегивал ни одной, потому что длинный черный сюртук, который он неизменно носил, застегивать не полагалось. Отвороты этого сюртука были обшиты черным же шелком, а жилет оторочен снежно-белой тесьмой. Он носил крахмальные воротнички и галстук, заколотый золотой, но скромной булавкой. Если бы он не горбился слегка, его можно было бы называть «радость портных». Он одевался, как Столыпин, то есть без щегольства, но изящно.

Куманин работал выше своих сил, но никому не давал этого заметить. Здоровье вещь интимная, а быть в интимных отношениях с кем бы то ни было на службе не полагалось.

Он подошел ко мне:

— Петр Аркадьевич просит вас посетить его.

Кроме меня были приглашены П. Н. Балашов и еще кто-то, не помню.

Петр Николаевич Балашов был председателем нашей фракции «русских националистов». После «октябрей» мы были самые сильные, численно.

Балашов не выступал с кафедры. Думаю, что он не чувствовал в себе ораторских талантов. Но председателем фракции он был хорошим, внушал к себе уважение, был авторитетен.

Человек сильной воли, он был крайне мягок в обращении, но руководил фракцией твердо. Невидимый для посторонних, он был одним из устоев Государственной Думы.

Созвездие — Столыпин, Гучков, Балашов — было поясом Ориона. Все, что предлагалось Столыпиным, если с ним были согласны Гучков и Балашов, имело большинство и проходило через Думу.

Прием состоялся поздно ночью, что было в обычае. Столыпин действительно сжигал свою жизнь на «алтаре отечества». Когда он вскоре был убит, ему не было пятидесяти лет, но вскрытие показало, что главные органы жизни уже были разрушены. Он ложился в четыре часа утра, начинал работу в девять. Поэтому-то важные приемы были поздней ночью.

Когда мы вошли, Петр Аркадьевич прежде всего обратился ко мне. Он протянул мне руку, искалеченную не знаю при каких обстоятельствах, но она еще способна была на крепкое рукопожатие. А я в это мгновение подумал, что это та самая рука, про которую мой отчим, Дмитрий Иванович, сказал: «А и тяжелая рука у Петра Аркадьевича!»

А Петр Аркадьевич обратился ко мне: «Очень вам благодарен, что вы меня защищали. Но меня нельзя защитить».

Затем он продолжал, обращаясь ко всем:

— То, что я сделал, конечно, есть «нажим на закон». Статья 87 Основных законов предназначена для более продолжительных сроков. Но это не указано в ней. Поэтому формально я прав, я не нарушил Основных законов. Но только формально. Если добросовестно толковать намерения законодателя, то мое толкование есть именно «нажим на закон». И защищать меня можно, но защитить нельзя.

Последнюю фразу он снова обратил ко мне, смягчая ее благодарной улыбкой.

Потом продолжал, обращаясь ко всем. Это была защитительная речь, обращенная поверх наших голов, — ведь мы его не судили, а защищали:

— Но что же мне было делать? Вы помните, конечно, что не очень давно Государь принял депутацию, состоящую исключительно из крестьян. И между прочим, обращаясь к западным крестьянам, Царь сказал: «У вас будет земство».

Эти слова слышала вся Россия, так как они были обнародованы. Можно ли так играть царским словом? Царь обещает, а царские сановники отменяют. Это значит трясти трон. Я не мог оставить этого без отпора. Иначе я присоединился бы к тем, что подрывают авторитет монарха «ведением и неведением».

Я отлично понимаю, что мой собственный авторитет при этом пострадал. «Нажим на закон» мало кому пришелся по сердцу, а мне самому меньше, чем всем другим. Но что такое авторитет Столыпина, в конце концов? Сегодня Столыпин правит, завтра его нет. Но Царь остается. После Бога Царь есть тот авторитет, которым держалась до сих пор Россия. Колебать доверие к Царю — это верный метод и путь, ведущий к разрушению наших устоев.

* * *

Западные крестьяне, которым Царь обещал земство, по-видимому, полагали укрепить свои позиции в Думе, где в то время они были представлены семнадцатью депутатами из общего количества в шестьдесят один человек. Однако реформа, проведенная Столыпиным путем «нажима», не дала для них ожидаемых результатов. В четвертую Думу шесть западных губерний смогли послать лишь четырнадцать крестьян.

Что последовало дальше, моя память не сохранила. Вероятно, ничего существенного. Ведь для того Петр Аркадьевич и просил нас приехать к нему, чтобы, так сказать, облегчить душу перед друзьями, от него не отступившими в трудную минуту.

Однако надо признать, что, совершив «нажим на закон», Петр Аркадьевич переиграл. Пожалуй, было бы лучше дать острастку В. Ф. Трепову и П. Н. Дурново за неверное информирование Царя и не спешить так с западным земством. Правительство имело право внести закон вторично в Государственную Думу через некоторое время. Это было бы не так эффектно, но более конституционно. И авторитет Столыпина не пострадал бы, а это было важно. Очень важно.

А тогда председатель Совета Министров ждал, когда улягутся в стенах Таврического дворца разбушевавшиеся страсти, и только 27 апреля 1911 года выступил с ответом на четыре запроса по поводу применения 87-й статьи и роспуска на три дня законодательных палат. Он заверял Думу, что этот акт был не умалением, а укреплением прав народного представительства.

Однако народные представители с этим не согласились и подавляющим большинством двухсот трех голосов против восьмидесяти двух приняли на этом заседании формулу перехода к очередным делам, признававшую нарушение статьи 87, действия же правительства незаконными, а его объяснения неудовлетворительными.

Авторитет наследственной монархии падал не только в России. На помощь ему выступили «вожди», иначе сказать — нарождающийся фашизм. Муссолини спас на время Савойскую динас-

тию в Италии. Но я полагаю, что предшественником его был Столыпин. Он сделал попытку спасти династию Романовых при помощи реформ. Он сохранил Государственную Думу, но, торопя медленный ход пятисотголовой колымаги, главную болячку России — безобразное обращение с землей пытался лечить в спешном порядке.

Другими словами, и закон 9 ноября 1906 года о землеустройстве был проведен по 87-й статье Основных законов. Он уже действовал несколько лет, и Государственная Дума могла не спешить, тщательно изучая этот закон и частично его дополняя и исправляя.

А «нажим» не ускорил законодательную процедуру с западным земством. Хотя положение о земстве и было снова внесено в Государственную Думу, она так и не обсуждала его, и судьбу этого законопроекта пришлось решать уже четвертой Думе.

22. Выстрел в Киеве

1 сентября 1911 года я был где-то в Крыму, а может быть, на пароходе. В этот день, или, точнее сказать, вечером этого дня, агент Киевского охранного отделения Д. Г. Богров выстрелил в киевском театре в председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина, смертельно его ранив. Таким образом, я не был свидетелем этой катастрофы, но мой отчим был и рассказал мне.

Почему это случилось в Киеве, в городе не только самом монархическом в России, но и самом «столыпинском»? Знаменитая телеграмма Столыпина: «Верю, что свет национализма, загоревшегося на западе России, в скором времени озарит всю страну», — была адресована Киеву в лице клуба киевских националистов. Может быть, Столыпину следовало быть убитым именно в Киеве, чтобы его могли похоронить в Киево-Печерской лавре, тысячелетней русской святыне.

Столыпин, прежде чем упасть на ковер смертельно раненным, совершил в воздухе крестное знамение, осенив им царскую ложу.

Дмитрий Иванович Пихно сидел в четвертом ряду партера. Перед ним сидели министры и другие высокие сановники. Место его было у самого прохода, идущего в направлении сцены от входных дверей. Он видел, как мимо него быстрым шагом прошел какой-то человек, и вслед за тем раздался выстрел. Петр Аркадьевич стоял, опираясь на барьер оркестра, но лицом к зрительному залу, то есть к царской ложе, как это было принято в антрактах. Он был в белом кителе, который сразу залило кровавое пятно. Совершив свое дело, человек во фраке побежал обратно.

Разумеется, публика пришла в великое смятение, и убийца, вероятно, ушел бы, потому что только находившиеся в непосредственной близости к Столыпину, как мой отчим, могли видеть происшедшее. Другие думали, что стреляли в Царя, но его в момент выстрела в театре не было.

Богров все-таки не ушел, потому что сцену убийства увидел из ложи бельэтажа один человек. Он видел, как Богров побежал по проходу. И когда добежал уже почти до самого выхода, господин из бельэтажа прыгнул на него сверху и сбил с ног. Так убийца был задержан.

Сохранилось письмо еще одного свидетеля этого трагического вечера. Свидетелем этим является сам Государь Император Николай II. Вот что он писал 10 сентября 1911 года из Севастополя своей матери Императрице Марии Федоровне: «...Мы только что вышли из ложи во время второго антракта, так как в театре было очень жарко. В это время мы услышали два звука, похожие на стук падающего предмета. Я подумал, что сверху кому-нибудь свалился бинокль на голову, и вбежал в ложу.

Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые тащили кого-то. Несколько дам кричало, а прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой.

Тут только я заметил, что он побледнел и что на кителе у него и на правой руке кровь. Он тихо сел в кресло и начал расстегивать китель. Фредерикс и профессор Рейн помогали ему.

Ольга и Татьяна вошли за мною в ложу и увидели все, что произошло. Пока Столыпину помогали выйти из театра, в коридоре рядом с нашей комнатой происходил шум — там хотели покончить с убийцей. По-моему, к сожалению, полиция отбила его от публики и увела в отдельное помещение для первого допроса. Все-таки он был сильно помят, с двумя выбитыми зубами. Потом театр опять наполнился, был гимн, и я уехал с дочками в одиннадцать часов. Ты можешь себе представить, с какими чувствами?

Бедный Столыпин сильно страдал в эту ночь, и ему часто впрыскивали морфий. На следующий день, 2 сентября, был великолепный парад войскам...

Вернулся в Киев 3 сентября вечером, заехал в лечебницу, где лежал Столыпин, видел его жену, которая меня к нему непустила. 4 сентября поехал в Первую киевскую гимназию — она праздновала свой столетний юбилей. Осматривал с дочерьми военно-исторический и кустарный музей, а вечером пошел на пароходе «Головачев» в Чернигов... Сделал смотр пехотному полку и двум тысячам потешных, был в дворянском собрании, осмотрел музей...

6 сентября в 9 часов утра вернулся в Киев. Тут на пристани узнал от Коковцова о кончине Столыпина. Поехал прямо туда, при мне была отслужена панихида. Бедная вдова стояла как истукан и не могла плакать... В 11 часов мы вместе, то есть Аликс, дети и я, уехали из Киева с трогательными проводами и порядком на улицах до конца. В вагоне для меня был полный отдых. Приехали сюда (то есть в Севастополь) 7 сентября к дневному чаю. Стоял дивный теплый день. Радость огромная попасть снова на яхту!

На следующий день, 8 сентября, сделал смотр Черноморскому флоту... Действительно блестящий вид судов и веселые молодецкие лица команд привели меня в восторг. Такая разница с тем, что было недавно. Слава Богу!..»

Так в окружении шумных, блестящих парадов и празднеств окончились страдания смертельно раненного премьера Российской державы...

Вероятно, Ольга Борисовна поняла все, когда не пустила к умирающему мужу того, кого он благословил после выстрела. Недаром В. Н. Коковцов говорил: «Если бы Столыпин не был убит Богровым, он был бы в октябре уволен».

Кем же оказался убийца Столыпина? Отец его был богатый еврей, владелец многоэтажного дома на Бибииковском бульваре. Молодой Богров был не только одним из представителей золотой киевской молодежи. Он является секретным сотрудником киевской охранки, иначе сказать, киевских жандармов.

Удивительно вот что. Столыпин погиб на десятом покушении. Он вышел невредимым из-под развалин дачи на Аптекарьском острове в Петербурге, когда 13 августа 1907 года погибло сорок человек. Он благополучно летал на самолете с летчиком, которому было дано задание убить председателя Совета Министров. Не буду перечислять других случаев, однако скажу поразительную вещь. Столыпин многократно повторял: «Меня убьет моя охранка».

Во всяком случае, надо сказать одно. Киевские жандармы пришли в великое смятение, понимая, что их будут обвинять в убийстве главы правительства, а потому Богрова засудили в быстром, экстренном порядке и повесили через пять дней, чтобы замести все следы преступления. Во всяком случае, это была медвежья услуга. Вследствие этой спешности никто хорошенько не узнал правды. А узнать правду надо было.

Сотрудничество охранки с эсерами отчасти раскрыто в запросе социал-демократической фракции Государственной Думы по поводу убийства председателя Совета Министров, оглашенном секретарем Думы в первом заседании пятой сессии 15 октября 1911 го-

да, в сороковой день со дня смерти П. А. Столыпина. Первым запрос этот подписал примыкавший к большевикам социал-демократ И. П. Покровский-второй.

«1 сентября сего года убит в Киеве председатель Совета Министров П. А. Столыпин. Вся обстановка убийства и ряд обстоятельств, сопровождавших его, ясно указывающих на прикосновенность к этому убийству чинов охраны, приковали к себе общественное внимание, поразившее своею необычайностью.

Не вдаваясь в глубь истории, можно указать, что за последнее десятилетие мы имели целый ряд аналогичных фактов убийства высших русских сановников при содействии чинов политической охраны. Никто не сомневается теперь, что убийства министра внутренних дел и шефа жандармов В. К. фон Плеве, уфимского губернатора Богдановича, командующего войсками Московского военного округа Великого князя Сергея Александровича, петербургского градоначальника генерал-майора свиты Его Величества В. Ф. Фон-дер Лауница были организованы сотрудником охраны, известным провокатором Азефом...

...Таковы общеизвестные факты из деятельности политической охраны с широко развитой ею системой провокации. Но если эта система требовала жертв себе вверху, среди самих творцов и защитников ее, то в стране она уносила тысячи жертв, тяготела над обществом кровавым кошмаром. Культивируемая сверху система провокации расцвела пышным цветом во всей охранной организации до самых ее низов. Повсюду инсценируются издательства нелегальной литературы, мастерские бомб, транспортировка из-за границы нелегальной литературы и оружия, подготовка террористических актов, покушения на представителей власти и т. д.

Благодаря такой широкой деятельности тысячи жертв, втянутых этой адской машиной, идут в ссылку, в тюрьму, каторгу, на виселицу. Вся общественная жизнь приносится в жертву молоху русской полицейской государственности. Охрана стала государством в государстве, правительством среди правительства, министерством в министерстве. Товарищ министра, заведующий полицией, стал хозяином положения, перед ним стал трепетать и сам министр внутренних дел.

Таким образом, охрана, созданная правительством как орудие грубого насилия против политически пробудившегося народа, усилила разложение, деморализацию и анархию высших правительственных органов. Она стала орудием междоусобной борьбы лиц и групп правительственных сфер между собою.

Самым ярким проявлением этой анархии органов государственной власти является факт убийства в Киеве председателя Сове-

та Министров Столыпина. Столыпин, который открыто перед страной защищал необходимость для современного русского правительства существующей системы политического сыска и охраны, Столыпин, который, по словам князя Мещерского («Гражданин» № 37), говорил при жизни: «Охранник меня убьет», Столыпин, создавший культ охраны, погиб от руки охранника, при содействии высших чинов охраны. При каких обстоятельствах совершилось убийство Столыпина — известно.

Он убит Богровым, состоявшим на службе в охране «агентом внутреннего освещения». Богров был вызван начальником Киевской охраны полковником Н. Н. Кулябко в Киев специально для охраны Столыпина. Он получил входной билет в театр, где совершил убийство, от самого начальника охраны, с ведома других высших чинов охраны на киевских торжествах: чиновника особых поручений при министре внутренних дел обер-вице-директора департамента полиции М. Н. Веригина, начальника дворцовой охраны генерал-майора А. И. Спиридовича и товарища министра внутренних дел П. Г. Курлова, главного руководителя охраны. Богров допущен был в театр для того, чтобы раскрыть там террористов, которые, по его заявлению охране, должны были совершить покушение на жизнь Столыпина.

Приходится предполагать при этом, что чины охраны сознательно, намеренно должны были пропустить в театр и самих террористов, так как все входные билеты выдавались охраной, и, конечно, с чрезвычайным выбором. Такое предприятие совершалось для наибольшей славы охраны, когда покушение будет остановлено в последний момент. При этом обращает на себя внимание и тот факт, что один из выходов театра не был совершенно охраняем, и Богров после произведенных выстрелов в Столыпина направился именно к этому выходу.

На основании уже этих фактов, ставших достоянием общественного мнения, в обществе вплоть до самых правых его кругов вполне определенно формируется обвинение в несомненной причастности охраны к убийству Столыпина.

Там, где все было сосредоточено на охране, там, где на охрану было затрачено до миллиона рублей из государственного казначейства, там, где охраной непосредственно руководил сам товарищ министра внутренних дел, шеф жандармов, там, где чиновники охраны при содействии высших чинов охраны якобы напрягали все свое внимание на охране Столыпина, — там Столыпин убит».

Далее следует от имени подписавших это заявление следующий запрос председателю Совета Министров и министру внутренних дел: «Сознают ли они, что убийство бывшего председате-

ля Совета Министров П. А. Столыпина, равно как и другие аналогичные убийства высших сановников, является естественным логическим следствием существующей организации политической полиции с широко развитой ее системой провокации, которая, естественно, разлагая правящие сферы, кладя на них пятно позора сотрудничества с наемными убийцами, налагает на общество гнет наглого, грубого насилия, парализующего живые силы народа, намерены ли они что-либо предпринять для уничтожения организации политической охраны с ее системою провокации?»

* * *

Как я уже говорил, Столыпина многие в Петербурге не любили и вели против него подкопы. Нельзя, конечно, сказать, что граф С. Ю. Витте, члены Государственного Совета П. Н. Дурново, В. Ф. Трепов и многие другие желали или были рады смерти Петра Аркадьевича. Но они так его всенародно поносили, что могла образоваться клика прислужников среди людей, у которых мораль отсутствует.

Но это не все. Императрица Александра Федоровна не скрывала своего нерасположения к председателю Совета Министров. Как можно поручиться, что не было таких карьеристов, которые думали, что можно возвыситься, если Петра Аркадьевича не станет?

Тягостное впечатление произвело и то, что те люди, по вине которых был убит глава правительства, не были должным образом наказаны. Расследование действий Киевского охранного отделения по высочайшему повелению от 9 сентября 1911 года было возложено на тайного советника, сенатора, члена Государственного Совета Максима Ивановича Трусевича. На основании данных расследования этот сановник составил заключение, переданное и моему однофамильцу тайному советнику, сенатору Николаю Захаровичу Шульгину, который, также по высочайшему повелению, начал предварительное следствие.

Но когда Шульгин привлек к делу главных руководителей охранки: полковника Кулябко, статского советника Веригина, генералов Курлова и Спиридовича, обвиняемых в бездействии, неприятии надлежащих мер охраны убитого премьера и превышении власти, то по приказу Императора следствие было прекращено. Из обвиняемых лиц пострадал лишь Кулябко, но не за убийство Столыпина, а за выяснившуюся во время расследования крупную растрату казенных денег, за что его и предали суду. Веригин и Курлов были уволены в отставку, а начальник дворцовой охраны генерал-майор Спиридович, непосредственно отвечавший за благопо-

лучие здания театра, поскольку в нем был сам Царь, по личному желанию Государя не был отстранен от должности даже во время следствия.

* * *

Государственная Дума после убийства Столыпина не была созвана на чрезвычайное заседание. Пятая ее сессия открылась, как обычно, 15 октября 1911 года. При этом не было объявлено, что первое заседание, приходившееся как раз на сороковой день после трагической смерти главы правительства, будет посвящено его памяти.

После объявления об открытии заседания было сообщено не об убийстве Столыпина, а об утрате, понесенной Государственной Думой в лице ее члена от Минской губернии генерал-лейтенанта в отставке, бывшего начальника жандармских отделений в нескольких губерниях С. Н. Мезенцева. Было предложено отслужить по нем панихиду, память его была почтена вставанием.

Только после этого председатель М. В. Родзянко выступил с прочувствованным словом о покойном Столыпине.

23. Эдисон

На четвертый день после смерти П. А. Столыпина на пост председателя Совета Министров был назначен Владимир Николаевич Коковцов, бывший в прежнем Кабинете министром финансов. Назначение это произошло 9 сентября 1911 года в Киеве, в день отъезда государя в Севастополь. Об этом событии мне рассказывали по-разному, но наиболее достоверно оно изложено со слов самого Коковцова в мемуарах графа С. Ю. Витте.

Его Величество до самого выезда не принял никакого окончательного решения. Он виделся с Коковцовым и другими министрами, которые в то время там находились, но относительно своих решений ничего не проявил.

Когда уже министры и все власти были на вокзале в ожидании приезда Их Величеств, отправлявшихся в Крым, вдруг появился фельдъегерь, который направился к той кучке, где стояли министры, и сначала как будто подошел к министру юстиции, а потом к нему, Коковцову, сказав, что государь ждет его во дворце. Коковцов взял автомобиль и экстренно поехал во дворец.

Прибыл он туда, когда государь и государыня уже собирались выходить, чтобы ехать на вокзал. Государь вошел с ним в кабинет и обратился к нему со следующими словами: «Я, Владимир Нико-

лаевич, обдумавши всесторонне положение дела, принял такое решение — я вас назначаю председателем Совета Министров, а министром внутренних дел Хвостова, нижегородского губернатора».

Камергер Двора Его Величества, бывший в 1910—1912 годах нижегородским губернатором, Алексей Николаевич Хвостов являлся членом «Союза русского народа» и был избран от Орловской губернии депутатом Государственной Думы четвертого созыва. Витте характеризует его как «одного из самых больших безобразников, для которого никаких законов не существует».

Быть может, такого же о нем мнения был и Коковцов, так как он обратился к Государю и начал умолять его, чтобы он Хвостова не назначал, сказав ему:

— Ваше Величество, вы находитесь на обрыве, и назначение такого человека, как Хвостов, в министры внутренних дел будет означать, что вы решились броситься в этот обрыв.

Государь этим был очень смущен, но, видя, что Государыня уже стоит в шляпе и его ждет, ответил Коковцову:

— В таком случае я прошу вас принять место председателя Совета Министров, а относительно министра внутренних дел я еще подумаю.

Причем Коковцов сказал, что он бы советовал назначить министром внутренних дел А. А. Макарова, бывшего в правительстве Столыпина товарищем министра внутренних дел и директором департамента полиции. Государь эту просьбу уважил и, когда приехал в Ялту, согласно представлению Коковцова назначил министром внутренних дел Макарова. Хвостов был назначен на этот пост лишь 26 сентября 1915 года, когда Коковцов уже не был главой правительства.

* * *

5 декабря 1911 года В. Н. Коковцов выступил в Государственной Думе с декларацией нового правительства. Тогда, по крайней мере некоторым, стало ясно, что «невознаградимые потери» есть.

Мой отчим, Дмитрий Иванович, говорил мне по этому поводу:

— Программа как программа, очередная программа. Но разве это нужно России? России нужны крупные реформы, размах и изобретательность. Мы обязаны идти вперед, потому что весь мир идет вперед, и, если мы отстанем, нас сомнут.

В начавшихся в Государственной Думе прениях по поводу заявления председателя Совета Министров В. Н. Коковцова пришлось выступить и мне. Немного перефразировав мысли моего отчима, я

выразил свое недовольство не столько самой правительственной программой, сколько личностью Коковцова в роли председателя Совета Министров, причем сказал это достаточно недвусмысленным образом:

— Даже не было никаких сомнений в этом отношении, я совершенно точно скажу, что моя мишень, я говорю не против правительства вообще, вернее, я буду брюзжать не по адресу правительства вообще, а по адресу главы правительства. Причина того резко изменившегося отношения к председателю Совета Министров лежит, по-моему, не в той декларации или тетрадке, как ее кто-то здесь назвал, которая нам здесь была прочитана. По-моему, в этой декларации есть несколько сомнительных фраз, не очень много хороших и разумных вещей.

А дело в том, что как бы мы ни говорили, как бы мы ни расходились в самых разнообразных вещах, однако надо признать всем, что плохо с русским народом. Мы не только безнадежно отстали от наших западных соседей, но даже внутри на этой огромной равнине, которая называется Российской империей, и тут происходит страшная трагедия: мы отстаем от поляков, евреев, финнов, немцев и чехов, отстаем — это факт.

При этих условиях нужны героические усилия, чтобы вывести русское племя на путь.

И вот этих героических усилий, этого творчества, этой вдохновенной личности, этого человека, который будет день и ночь сидеть и думать, что бы сделать в этом отношении, человека, которого я бы назвал, с вашего разрешения, политическим Эдисоном, такового у нас нет.

Я бы сказал больше: на нас производит такое впечатление В. Н. Коковцов, что, хотя он великоросс по происхождению, но держится больше малороссийской поговорки: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

Вот, собственно говоря, что мы ставим в вину главе правительства — не отдельному министру, а именно главе: нет широты плана, нет размаха, нет смелости, — а по условиям времени это нужно. Конечно, мне могут возразить, что критиковать легко, а вот пожалуйста на это место и тогда сделайте чего-нибудь. Да, это, конечно, совершенно верное возражение, но надо сказать, что мы на это место и не мостимся. Наше дело, собственно говоря, критика, это — наша специальность; поэтому мы только в этой области можем быть сильны.

Конечно, мое выступление не могло пройти не замеченным Коковцовым. Оно задело его за живое. Не упоминая моего имени, он, однако, также достаточно недвусмысленным образом ответил мне в своей разъяснительной речи после закончившихся

прений 13 декабря 1912 года, хотя и утверждал, что отвечать не будет:

— На первом месте я должен поставить нападки личного свойства, критику человека, а не его действий и даже не его мыслей. Часть этих нападков была сделана в форме весьма грозной, повелительной, под девизом: «Я вас!»¹, другая носила, скорее, характер полупокровительственного выражения недовольства и недоброжелательности.

Наступили так называемые большие думские дни, на хорах большое количество публики, так же как и сегодня, депутатские места не зияют пустотой; наконец, от имени правительства выступает хотя и не государственный Эдисон, а все-таки председатель Совета Министров.

Как же этим случаем не воспользоваться, как же остаться в скромных пределах будничного, может быть, довольно скучного обсуждения правительственной программы, разбора ее по частям, сопоставления отдельных ее вопросов, как же не подняться до верхнего регистра и не унести в небесную высоту и с этой высоты вещать новые политические истины.

Не отвечаю я прежде всего на личные нападки потому, что мне думается, что было бы гораздо больше пользы, если бы трибуна Государственной Думы была очищена вообще от личных выступлений, да, кроме того, и практически они совершенно не нужны.

Я прошу господ членов Государственной Думы быть уверенными в том, что я вполне сознаю, выслушав все неблагоприятные обо мне суждения, насколько невыгодно мое положение и насколько оно было бы несоизмеримо приятнее и легче, если бы, входя сюда, я знал, что большинство членов Государственной Думы, — я не говорю все, такого счастья на земле не бывает, — относится ко мне с благожелательностью, доверием и одобрением, относится положительно, а не отрицательно.

И так как мы силою судеб и обстоятельств, от нас далеко не зависящих, поставлены в условия обязательной совместной деятельности, то, мне кажется, было бы гораздо проще оставить говорить о том, кто хорош и кто нехорош, кто Эдисон и кто просто казначей, и попытаться перейти на совместную работу, тем более что эта совместная работа представляется для нас просто обязательной.

Вот почему я не стану вовсе отвечать на эти личные выпады, тем более что они на самом деле представляют собою совершенно второстепенный интерес.

¹ Грозный крик, с которым у римского поэта Вергилия бог морей Нептун обратился к разбушевавшимся ветрам.

Так ответил мне Коковцов.

Но сейчас я думаю, как и раньше. Конечно, Владимир Николаевич не был виноват. Как не был виноват весь класс, до сих пор поставивший властителей, что он их больше не поставляет.. Был класс, да съездился!

Часть III. БЕЙЛИСИАДА

1. Вступление

Жизнь причудлива. Она может объединять в одно неразрывное целое самые разнообразные события. Например, совершенно мирное предприятие, сахарный завод, дело, во всяком случае, только местного значения, переплелось благодаря капризу фортуны с мировой трагедией тысячелетнего еврейского народа. И в этот переплет втянуло и мою скромную персону. Это будет видно из дальнейшего.

Да. Жизнь причудлива. И поэтому в основную линию моего повествования вплетаются разные люди, политика и мистика, личные переживания и государственные события.

Я пишу так, как шла жизнь. И пусть простит меня читатель, если в мое изложение внедряются бесчисленные отступления, которые как будто бы не имеют отношения к основной теме. Но это не так. Все связано в этом мире, и иногда причины различимы, иногда они только чувствуются.

* * *

Для того чтобы не задавать читателю загадок, чтобы было ясно, о чем будет идти речь, я привожу справку об основной теме из «Советской исторической энциклопедии» (Т. 2. — М., 1962. С. 206):

«**Бейлиса дело**» — судебный процесс, организованный в Киеве в 1913 году царским правительством над евреем М. Бейлисом, клеветнически обвинявшимся в убийстве русского мальчика А. Ющинского. В марте 1911 года киевские черносотенцы выдвинули версию о ритуальном характере убийства Ющинского. По указанию Министерства юстиции действительные убийцы были укрыты от суда и в июле 1911 года арестован Бейлис, приказчик кирпичного завода.

Следствие по делу Бейлиса длилось свыше двух лет. Под руководством министра юстиции И. Г. Щегловитого, министра внутренних дел Н. А. Маклакова и одного из лидеров крайних правых в третьей Государственной Думе Г. Г. Замысловского в черносотенной печати и в Государственной Думе была развернута антисемитская агитация.

Нелегальная большевистская печать раскрыла политический смысл дела Бейлиса как одного из актов шовинистической политики царского правительства. Деятели передовой русской интеллигенции во главе с А. М. Горьким и В. Г. Короленко организовали в Петербурге Комитет для борьбы с антисемитской политикой царизма. Комитет опубликовал воззвание и организовал защиту Бейлиса на суде.

Процесс слушался в Киеве в сентябре — октябре 1913 года. Под давлением общественного мнения присяжные заседатели оправдали Бейлиса».

2. Тополь и цыганка

Как тополь киевских высот,
Она стройна...

Но это не тот тополь. Тополь, о котором говорит Пушкин, это *Populus fastigiata* — тополь пирамидальный. А тополь, о котором я пишу, — это *Populus nigra*, или черный тополь, иначе, по-нашему, — осокорь. Это самое большое дерево наших мест. Оно достигает тридцати метров высоты, возвышаясь над соседними лесами, а в толщину имеет, достигнув полного расцвета, то есть примерно восьмидесяти лет, несколько обхватов.

Прекрасное дерево! Мне вспоминается одна аллея, имевшая километр длины, а может быть, и больше, в окрестностях города Здолбунова у нас на Волыни. Они стояли там сотнями, великолепные, почти не имевшие потерь, все налицо, посаженные вдоль проезжей дороги. Красота!

Однако вернемся к тому тополю, о котором я, собственно, хочу рассказать. Он стоял в ряду аллей, но стоял одиноко. Почему так? Затесавшись в каштановую аллею, деревья которой он превышал раза в три, этот тополь возвышался на видном месте. Тут дорога шла круто вверх, и с вершины его видно было на много верст кругом.

Вот к этому-то тополю шел по меже через поле восемнадцатилетний молодой человек, студент в тужурке. Это должен был быть я. Но было ли это когда-нибудь? Да, все-таки, по-видимому, было.

Студент в тужурке шел по меже, а межа шла по гребню. На ней густо-густо росли васильки, и ромашки, и дикие маки, а по сторонам колосился хлеб. Хлебные поля по склонам горы были очень хорошо видны. Волны бежали по ним от легкого ветра как в море, только мягче и притом беззвучно.

Студент радовался этому ветерку не только потому, чтоб картина была прекрасна, но и потому, что, когда хлеб цветет, ветер нужен, без ветра не будет хорошего осеменения, не будет хорошего урожая.

Студент шел из леса через поле прямо к тополю. И когда подходил к нему, то увидел на подымавшейся дороге какие-то тянущиеся повозки с белыми крышами. По этому признаку он сразу определил:

— Цыгане!

* * *

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.

Но эти не шумели. Они тихо подымались по крутому склону. Так тихо и с таким трудом, что их обогнала старуха-цыганка. Она была уже у подножия тополя, когда к нему подошел студент в тужурке.

Цыганка внимательно рассматривала крест. Когда-то, лет семьдесят тому назад, кто-то, вероятно мальчишка, ножиком сделал крестообразный разрез на нежной кожице молодого деревца. Деревце выросло в могучего великана, но крестик не изгладился, превратившись в большой крест, который как бы был выгравирован в толстой коре дерева.

Увидев молодого человека, цыганка подошла к нему и сказала:
— Дай руку. Дай руку, панычку, погадаю.

Я, потому что все-таки это был я, улыбнулся, подав ей руку. Она сказала:

— Позолоти, позолоти ручку.

Я ответил:

— Денег нет с собой, пойдём к нам, тут наш дом недалеко, там погадаешь.

Мы отправились по каштановой аллее к дому. Я шел своими семнадцатилетними шагами, но старуха не могла поспевать за мной и сказала:

— Иди, иди, ты молодой, я приду.

— Нельзя, у нас очень злые собаки, порвут тебя.

На темно-коричневом лице цыганки обозначились белые как снег зубы, и она ответила с улыбкой:

— Иди, иди, меня собаки не тронут.

Я подумал: глупая старуха, не знаешь наших псов. А потом решил, что успею дойти и прикажу привязать собак.

Я пошел дальше по каштановой аллее, но, не дойдя и до половины, услышал лай. Собаки, с их удивительным чутьем, уже учуяли цыган, то есть чужих, на которых необходимо лаять и бросаться. Через несколько мгновений они показались. Это была тройка.

Два огромных кудлатых рыжих пса, у которых шерсть нависла на глаза, и третий, стройный, очевидно с кровью борзой, длинномордый, черный, с рыжими пятнышками над глазами, что придавало ему страшный вид. Эта тройка неслась с космической скоростью. Я попробовал их задержать, но они обогнули меня, не обратив никакого внимания, — там впереди был раздражающий запах цыганки.

Тогда я ужаснулся: на моих глазах разорвут цыганку!

И побежал за псами со всей силой молодых ног. Но, как ни старался, поспеть не мог. Когда я от них был еще за пятнадцать шагов, они уже бросились. И вдруг я увидел нечто совершенно невероятное. Все три собаки, добежав до цыганки, упали на брюхо и стали ползать вокруг нее, взвизгивая, как щенята. Я подбежал и остановился в изумлении, а цыганка сказала:

— Видишь, собаки меня не трогают.

Объяснения я не даю, не знаю, что это было. Говорили потом, будто цыгане носят на себе волчий жир, которого собаки боятся. Это, я думаю, вздор. Может быть, был гипноз, как об этом пишет Дуров, а может быть, еще что-нибудь, что известно только цыганам. Но то, что я описал, не подлежит никакому сомнению, и до сих пор перед моими глазами стоит эта картина.

Увидев, что собаки ничего ей не сделают, я оставил цыганку и поспешил домой. Я был убежден, что надвигавшийся табор непременно обокрадет наш уединенный хутор и, если не днем, то ночью, переломает фруктовые деревья. А это значит, что погибнут все груши и яблоки и, во всяком случае, уже поспевшие сливы. Необходимо было послать в село и вызвать двуногих сторожей, раз четвероногие выведены из строя.

Словом, я пришел к дому и увидел довольно знакомое зрелище. Было двенадцать часов дня, самый припек, но на деревянном крыльце, на ступеньках, сидел мой отчим и писал статью для «Киевлянина».

Когда он писал, то мог не обращать внимания ни на что. У него была эта способность сосредоточения, когда окружающий мир исчезал. И даже любил, когда во время работы кругом был шум, в особенности если бегали или играли дети и вообще была жизнь.

*И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...*

Ему еще было далеко до «гробового входа», но эту играющую молодую жизнь вокруг себя он любил.

В конце концов табор надвинулся. Цыганки и цыганята повыскакивали из фур (так назывались эти повозки) и принялись за свое ремесло. Красавец цыган, с большой черной бородой, лет сорока, играл на гитаре и пел. Не помню, что он пел, но не по-русски, по-цыгански вероятно, а может быть, по-венгерски. К нам на Волынь заходили иноземные цыгане.

А цыганки начали гадать всем, решительно всем, кто выбежал на солнечную площадку, так как в тишине и скуке деревни эти цыгане были развлечением. Гадали и маленькие девочки. Так одна маленькой ручкой завела меня за ствол каштана и сказала (эта девочка хорошо говорила по-русски):

— Скажи твое имя.

Я рассмеялся и сказал:

— Вася.

Она ответила:

— Слушай, Вася, что я тебе скажу. Тебя много любили и много будут любить. Но так, как я тебя люблю, тебя любить никто не будет.

Это было необычайно смешно: восьмилетняя любовь, которая изъясняется восемнадцатилетнему юноше. Но вместе с тем было поразительно, что девочка говорила совершенно как взрослая. Конечно, она копировала своих старших сестер и мать. Затем, получив монету, маленькая цыганка убежала, а пришла другая, постарше:

— Дай рубль, увидишь, — обратилась она ко мне.

Я имел глупость дать ей рубль. Тогда цыганка попросила:

— Дай стакан воды и хусточку (платок).

Я дал ей то и другое. Она накрыла платочком стакан чистой воды из криницы, и вдруг там что-то заволновалось, поднялась какая-то буря в стакане воды. Маленькая колдунья думала, что поразила меня настолько, что сможет попросить еще рубль. Но я понял, что она просто сыпнула туда какого-то минерала. От него и произошла буря, подобная той, что бывает в сельтерской воде.

Но цыганка не сомневалась в произведенном на меня впечатлении и начала нести всякую чепуху, что меня любит блондинка, а мешает брюнет. Но среди этого вздора произошло нечто, о чем и сейчас я думаю и не нахожу ключа.

Та старая цыганка, которую я встретил у тополя, не на шутку пристала к Дмитрию Ивановичу, писавшему на крыльце. Ото-

рвавшись на мгновение, он определил, что явились цыгане, но так как они его не интересовали, то он снова погрузился в свою статью, обращая на них столько же внимания, сколько и на палящие лучи солнца, то есть никакого. Но старуха пристала неотступно:

— Дай погадаю. Дай руку, погадаю.

Дмитрий Иванович, чтобы она отстала, дал ей руку. Она повернула ее и долго всматривалась в ладонь, очевидно, отыскивая какие-то линии, и наконец сказала:

— Счастливая твоя рука. Ты барин, ты большой барин, что задумашь — сделаешь. Во всем удача. Вот что тебе скажу: строишь маримоны — строй, барин. Цукроварни не строй, начнешь строить — умрешь.

Что такое маримон? Маримон — это большая вальцовая мельница. Дмитрий Иванович действительно их построил четыре. В то время уже некоторые из них вертелись и сыпали сотни тысяч пудов муки со своих станков.

А цукроварня от слова варить цукор, то есть сахар, обозначает сахарный завод. В то время, когда говорила цыганка, мне кажется, что мысли строить сахарный завод у Дмитрия Ивановича еще не было. Она пришла позже, и это было его предсмертным деянием на хозяйственном поприще.

3. Цукроварня

Дмитрий Иванович не поверил в предсказание цыганки. Точнее сказать, он не обратил на него никакого внимания, а если и обратил, то сейчас же об этом забыл. Не забыли другие люди, слышавшие это предсказание, — они вспомнили о нем, когда оно сбылось.

Здесь я должен кое-что сказать о моем отчине. Он не был мистиком. Не только в том смысле, что предсказаниями цыганки или других ясновидящих не интересовался, но он не был и религиозным.

Ценя и уважая религию, в особенности христианскую, лишь как мощную морализующую силу, он думал, что Христос постоянно воскресает в том смысле, что подновляет великие слова о любви людей друг к другу. Поэтому он никогда не пропускал пасхальные заутрени и вместе со всей семьей в полночь под Пасху отправлялся в университетскую церковь. Она была ближе других, а он ведь был профессором университета Святого Владимира в Киеве.

Но верил ли он сам в жизнь загробную? Не знаю. Он никогда об этом не говорил, вообще остерегаясь посеять в верующей душе какое бы то ни было сомнение. Что ей дать взамен утраченной веры? Поэтому и нас, детей, он в этом отношении тщательно оберегал от каких бы то ни было поучений со стороны старших, предоставляя каждой молодой душе развиваться как она знает. Однако один раз я подслушал вырвавшееся у него замечание:

— Вечность в потомстве.

Наряду с этим он неоднократно говорил:

— Если я когда-нибудь сделаю крупное пожертвование, то это будет на какой-нибудь храм в деревне, потому что деревня, кроме веры, почти ничего не имеет. В вере для нее соединяется философия, эстетика — все высшее, что есть в простой душе этих необразованных, безграмотных людей, все это приводит их в храм.

Да, так он говорил. Но в конце концов он не построил никакого храма. Он построил сахарный завод. Да, именно вместо храма! Он долго колебался в этом смысле. Но наконец простая земная мысль о том, что этих деревенских людей (мысль, которая его никогда не покидала) надо прежде всего обеспечить всем, и если не всем, то хотя бы необходимым в этой земной юдоли, восторжествовала.

Дмитрий Иванович вообще не любил фраз, высокопарностей даже в таких делах, которые сами по себе требовали какого-то возвышенного выражения мыслей. Это он предоставлял поэтам. Его же язык, как на письме, так и в разговоре, был прост.

Когда мысль о сахарном заводе, о том, что его надо построить, что это его призвание, восторжествовала, а силы начали уходить и он почувствовал, что конец недалек, Дмитрий Иванович созвал всех нас, шестерых наследников его духовного «я». Это были два его родных сына Павел и Дмитрий Дмитриевичи Пихно, младше меня на три и на пять лет, затем я, его пасынок, старший из всех, — мне было тогда тридцать пять лет, — и племянники, сыновья моей сестры, — Филипп, Александр и Иван Александровичи.

Созвав эту шестерку, Дмитрий Иванович, полулежа в глубоком кресле, вышитом еще моей матерью, сказал голосом тихим, но очень твердым:

— Я созвал вас, потому что решил строить сахарный завод, о чем давным-давно мечтаю. Я строю его не для себя и не для вас. Я строю его, потому что убежден в том, что люди, которые будут жить около этого завода, не будут нуждаться в самом необходимом. Сахарный завод — предприятие очень трудоемкое, — они будут иметь заработок. Этот завод будет окончанием тех хозяйст-

венных дел, которые я вел в своей жизни. Я пришел к убеждению, что для России нужнее всего именно сельскохозяйственная промышленность. Деревня таит в себе величайшие резервы человеческого труда. Она бедна только потому, что миллионы рук не знают, что им делать, не имеют точки приложения. Сельскохозяйственная промышленность даст им эту точку. Они будут иметь труд, будут иметь заработок и станут богаче, жить лучше, чем до сих пор жили.

Таким образом, в нескольких словах я обрисовал, как, почему и для чего родился этот завод вопреки предсказаниям цыганки.

К этому, впрочем, могу прибавить, что цыганка все-таки была не права. Она сказала:

— Начнешь строить цукроварню — умрешь.

А ей надо было сказать:

— Если построишь цукроварню, не умрешь.

Да, потому что так и было. Действительно, 29 июля 1913 года, во время постройки цукроварни, Дмитрий Иванович умер телесно, но, в некоторой мере, именно построив сахарный завод, он обесмертил себя в этом маленьком углу России, для которого этот завод строился. Могила его, в двадцати километрах от завода, находится в запущении. Я об этом скорблю. Я хочу поправить развалившийся склеп и вообще привести могилу в человеческий вид. Но детище этого человека, останки которого не чтут, сахарный завод, им заложенный, процветает. Его подхватили большевики-деловики и во много раз расширили.

Как это ни странно, у покойного Дмитрия Ивановича, несмотря на то, что он двадцать пять лет боролся с марксизмом, несомненно, было нечто общее с теми коммунистами, которые унаследовали марксистскую теорию, но присоединили к ней и своеобразную практику.

Современные коммунисты — это большевики-деловики. Люди большого размаха. И то, что было заботой всей жизни Дмитрия Ивановича, они создают в грандиозных масштабах, насаждая сельскохозяйственную промышленность с целью поднять уровень масс.

Чем больше я об этом думаю, тем больше утверждаюсь в мысли, что это так.

И вот почему. В апреле 1913 года на пустом поле, недалеко от города Ровно, состоялась закладка так называемого Бабино-Томаховского сахарного завода. Закладка произошла, как и все, что делал Дмитрий Иванович, весьма скромно. Собрались несколько человек — члены его семьи, в том числе и я, и будущий директор завода поляк Бонди с женой. В уже сделанный фундамент, под трубу, был вложен металлический цилиндр — школьный пенал, кото-

рый заключал в себе скрученную в трубку записку о том, что в апреле месяце такого-то года и такого-то числа состоялась закладка завода, при сем присутствовали такие-то лица.

Я не помню, был ли по этому поводу молебен, может быть, был, может быть, нет, не помню, но помню, что озими были ярко-зеленые, солнце светило по-весеннему и дул приятный ветерок. Я и сейчас все еще чувствую его запах, запах сырой земли и неуловимый аромат полевых цветов. Если порывать в фундаменте трубы, то пенальчик, вероятно, найдется. Труба же стоит там и сейчас и работает. На ее вершине четкими буквами в виде вложенных темных кирпичей можно прочесть: «1913 год».

Уже через месяц после кончины Дмитрия Ивановича, с сентября 1913 года, Бабино-Томаховский завод был пущен. На нем в две смены работало по двенадцать часов в сутки двести человек. Суточная производительность завода составляла три тысячи — три тысячи пятьсот центнеров свеклы, из которой вырабатывалось двести девяносто — триста центнеров сахара.

С 1914 по 1923 год предприятие не работало из-за отсутствия рабочих и специалистов, ушедших на фронт. В 1923 году завод был куплен чешским акционерным обществом, восстановившим его и увеличившим производительность до четырех тысяч центнеров свеклы в сутки. В 1926 году он перешел к польскому акционерному обществу, которое возглавляли капиталисты Закс, Потоцкий и другие. В результате проведенной реконструкции мощность предприятия была доведена до пяти тысяч — шести тысяч центнеров свеклы, с выработкой сахара пятьсот пятьдесят — шестьсот пятьдесят центнеров¹.

* * *

Так вот, когда весной 1913 года начал строиться этот сахарный завод, предприятие совершенно мирное и безобидное, судьба готовила мировую бурю. Такого рода смерчи уже не раз волновали «море житейское, воздвигаемое зря», то есть тревожили умы человечества за последние две тысячи лет. А пуск Бабино-Томаховского за-

¹ После освобождения Советской Армией территории Ровенской области от гитлеровцев Бабино-Томаховский завод был восстановлен и реконструирован. По справке директора завода Н. Лобача, в 1945 году он переработал 142 926 центнеров свеклы, выпустив 16 864 центнера сахара.

В 1959 году численность рабочих на предприятии составляла уже 395 человек при выработке сахара 2 223 417 центнеров. Дальнейшая реконструкция и механизация завода в 1961—1962 годы увеличила его мощность до 15 000 центнеров свеклы в сутки, значительно повысив культуру производства.

вода в конце сентября 1913 года совпал с первым порывом этой бури, то есть с открытием 25 сентября в Киеве судебного процесса над евреем Менделем Бейлисом, обвиняемым в ритуальном убийстве мальчика Андрея Ющинского.

«Тяжелая туча залегла над Киевом. Загадочное и роковое дело об убийстве Андрюши Ющинского предстало перед лицом правосудия, — писал я в этот день в «Киевлянине», — Но, увы! Предстало при печальных и грустных предзнаменованиях.

Две армии, два враждебных стана, собравши все свои силы, дадут здесь друг другу тяжкий бой, и в грозном затишье уже чувствуется все напряжение взаимной ненависти и злобы...

Но не это наполняет нас тревогой и печалью. Жизнь, современная жизнь в некоторых отношениях суровее жизни наших предков. Политическая борьба беспощадна, национальная борьба жестока, и уйти от нее некуда... И потому не акт тяжелой политической и национальной борьбы, который должен разыграться в Киеве, страшит нас: борьба была и будет.

Нас тревожит и печалит до самой глубины сердца то, что среди этой политической и национальной борьбы в нашем лагере, в том стане, к которому мы принадлежим, мы видим нарастание мыслей и чувств, которые, по нашему глубокому убеждению, могут оказаться для нас роковыми: то, что в умы и сердца наших друзей и единомышленников, незаметно для них самих, вошли предательские змеиные настроения... К величайшему нашему горю, мы видим, что водоворот политической страсти готов проглотить добрые семена, посеянные рукою Божьей в русской душе. И мы не знаем, наш слабый голос, предостерегающий и умоляющий, будет ли услышан нашими согражданами?..»

Будучи убежден, что подсудимый Бейлис не виновен, через день, 27 сентября 1913 года, я выступил на страницах «Киевлянина» в его защиту, но этот номер был конфискован.

Где же и как был убит мальчик Андрюша?

* * *

Археологи, делавшие в Киеве в начале нашего столетия обширные раскопки, установили, что человек жил в киевских горах уже две тысячи лет тому назад. По-видимому, киевская глина отличается некоторыми качествами, делавшими ее в высшей степени удобной для первобытных, то есть пещерных, людей. Эта глина абсолютно водонепроницаема, отчего пещеры в Киеве отличаются сухостью и замечательной ровностью температур. Это же, конечно, знали и монахи, селившиеся в пещерах этих гор, где в 1062 году преподобный Антоний основал Киево-Пе-

черский монастырь, который, собственно, нужно называть «Пещерский».

Высокие качества киевской глины вызвали зарождение многочисленных кирпичных заводов. Добывая для них глину, разумеется, также делали пещеры, которые, однако, не служили уже жилищем, как прежде. В одной из таких пещер и был найден убитый мальчик...

* * *

Известный писатель В. Г. Короленко, принимавший горячее участие в защите Бейлиса, несмотря на болезнь, приехал 12 октября 1913 года в Киев во время проходившего там процесса. Он так рассказывает о посещении места, где нашли труп замученного мальчика:

«...Мы минуем большой глинистый курган, поросший травой... В нем виднеется пещера.

Нет, это еще не та...

Та оказывается в нескольких шагах дальше, там, где начинается склон к Кирилловской улице и приднепровским лугам. Холмик разрыт... Видна обнаженная глина. Два дерева выросли на вершине холма, соединенные корнями. Под этими корнями зияет темный ход, довольно круто, коридором уходящий вглубь. В конце этот коридор пересечен узким и коротким ходом накрест, как делают обыкновенно кладоискатели... В одном из концов этого креста и нашли прислоненным в темном углу тело несчастного Андрюши Ющинского...

Назад мы возвращались более кратким путем, наискось, с горки, на Нагорную улицу. Влево уходила Половецкая улица с ее высоким забором и глинистым откосом. Кое-где, утопая в этом мрачном и пустынном проезде, виднеются фонари... Страшно, должно быть, здесь в темные весенние ночи даже при свете этих фонариков. И воображение невольно рисует такую мрачную ночь, и ветер, свистящий на Загоровщине в голых деревьях, и темные фигуры людей, несущих таинственную ношу..

Кто же, кто сделал это ужасное дело?»

* * *

Нашедшие труп мальчика сразу определили, что он был весь исколот каким-то орудием. Как сообщали газеты, на теле убитого обнаружено до сорока пяти колотых ран, нанесенных, по-видимому, ножом, четырехгранным гвоздем и чем-то тонким вроде шила. Мучения эти причинены несчастному в стоящем положении

нии, когда он предварительно был раздет донага, рот зажат, руки крепко связаны. Эта мученическая смерть вызвала не только внимание экспертов, но и стала широко известна. Тем более что эксперты определили, что погибший мальчик был исколот при жизни, шейные вены вскрыты, так что вся кровь из него была как бы выпущена.

Когда об этом стало известно в Киеве, то вдруг воскресла, никогда, впрочем, не умиравшая, легенда о том, что евреи совершают ритуальные убийства с источением крови. Кровь эта будто бы им нужна для освящения так называемой «мацы», являющейся у евреев священным хлебом.

4. Кровавый навет

Ритуальные убийства... Ритуальные убийства совершались с незапамятных времен. Самое слово «жертвоприношение» обозначает принесение каких-нибудь даров, например цветов или пищи, богам или Богу. Но чаще всего приносят в жертву животных, закалываемых в честь божества. Эти ритуальные убийства покоились на мысли, для нашего понимания дикой, что Богу или богам, бесплотным духам, приятен дым, исходящий от сжигаемой жертвы, то есть можно думать, что просто им приятно самое убийство.

Нам кажется непонятным, почему Бог или боги, сотворившие жизнь, наслаждаются уничтожением жизни. Однако в умах первобытных людей это было именно так, и, веря в это, разгорячаясь в своей страстности, стали освящать убийства не только животных, но и людей. Начались человеческие жертвоприношения, широко применяемые в некоторых религиях, например, в культе Ваала и Астарты.

Не являлась исключением и древнееврейская религия. Это ясно из Библии, которая повествует, что Бог, желая испытать Авраама, испытать его любовью к Нему, повелел ему принести в жертву своего первенца, сына Исаака. Но когда Авраам положил на жертвенный камень отрока и занес над ним нож, ангел остановил руку верующего еврея и указал ему на ягненка, запутавшегося в кустарнике, приказав принести этого ягненка в жертву вместо Исаака.

Этот эпизод, рассказанный Библией, можно считать изображением той эпохи, когда кончились у евреев человеческие жертвоприношения. Со времени Авраама этого больше не делалось.

Но самая мысль о том, что Бог требует и любит жертвоприношения, хотя бы и животных, осталась в еврейском законе в полной

силе. Когда был построен храм в Иерусалиме и совершалось его освящение, то это событие ознаменовалось бесчисленным количеством убитых животных. Библия говорит, если не ошибаюсь, о семидесяти тысячах убитых быков и еще большем количестве убитых баранов. Картинно описывает Библия, как жрецы, убившие по известным правилам животных, покрылись кровью, и даже земля в преддвериях храма, где это происходило, совершенно напиталась ею. Но хотя количество жертвоприношений со временем уменьшилось, однако они продолжали совершаться до тех пор, пока стоял Иерусалимский храм.

С тех пор как в августе 70 года он был разрушен Титом Веспасианом и пало Иудейское царство, остались только синагоги по всему миру рассеянных евреев. Жертвоприношения в виде убийства животных уже не совершались. Но по вере евреев, сохранивших ее в полной чистоте, жертвоприношения возобновятся, как только будет восстановлен храм в Иерусалиме.

Израильское правительство наших дней не занимается восстановлением Иерусалимского храма, и потому правоверными евреями оно не признается. Если же Иерусалим когда-нибудь попадет в руки правоверных евреев, то жертвоприношения в виде убийства животных возобновятся. Все это надо принять во внимание, чтобы дать себе ясный отчет в том, что ритуальные убийства как мысль, как идея никогда не умирали совсем в умах людей.

Больше того, эта мысль об убийстве Агнца во имя Бога перекочевала и в христианскую религию, которая является производной от старой еврейской религии.

Христос постоянно именуется в религиозных писаниях как Агнец Божий, отданный на заклание за грехи человечества. Самая литургия христианская включает в себе очень ярко эту мысль. Центральное место литургии, так называемой обедни, — это тот момент, когда произносятся слова:

«Приимите, ядите: сие есть тело Мое. И прием чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: пейте от нея вси, сия бо есть Кровь Моя Новаго Завета, иже за многия изливаемая во оставление грехов».

Разумеется, это только символ. Христос был распят на кресте, и таким образом тело Его было принесено в жертву так же, как и кровь. На самом деле при совершении таинства причастия причащающимся предлагается хлеб и вино, однако с верою, что они получают истинное тело и истинную кровь Спасителя. Поэтому человеческие жертвы в христианской религии не совершаются, они заменены так называемой жертвою бескровной.

Но самая мысль о том, что жертва нужна, осталась. И это есть самое трудное в догматике христианской религии для понимания.

Почему Богу, который есть величайшая любовь, нужны жертвы, нужна кровь? Во всяком случае, обе религии, как древнееврейская, так и новоеврейская, то есть христианская, как бы залиты кровью, постоянно упоминаемой при совершении таинств. Поэтому мысль о ритуальном убийстве не замирает и через века и тысячелетия трепещет над умами.

Вот почему, когда обнаружили тело Андрюши Ющинского, исколотого как бы с намерением при жизни источить кровь из ребенка, призрак ритуального убийства, названный уже давно «кровавый навет», с силою смерча поднялся над умами христиан и ужаснул евреев.

В течение двух тысячелетий этот кровавый навет тяготел над евреями. Навет — значит клевета. За эти две тысячи лет прошло очень много судебных процессов, которые в разные века разбирали этот вопрос — употребляют ли действительно евреи христианскую кровь с ритуальными целями? Постановления судов были очень разнообразны и разноречивы. То ритуал признавался судом, то отвергался. И этой извилистой тропой он докатился до наших дней.

Когда в 1913 году, как продолжение исторических судилищ, в Киеве стали судить еврея за убийство Андрея Ющинского, то в здание суда была привезена на ломовике, то есть тяжеловозе, целая библиотека, трактовавшая об этом предмете. Тома, доказывавшие первое, то есть что действительно ритуальные убийства существовали, и фолианты, утверждающие противное. Поэтому к этому вопросу не рекомендуется подходить с кондачка, не зная всего того, что об этом писалось. Однако это не исключает того, что каждый по своим силам может иметь свое мнение о ритуальных убийствах. И я, не имевший возможности изучить эту ритуальную премудрость, все же позволю себе предложить гипотезу о том, как возник кровавый навет, иначе сказать — кровавая клевета.

Я думаю, что он возник в те самые минуты, когда еврейские старшины, а за ними и народ иерусалимский потребовали от римского наместника Пилата, чтобы он распял Христа на кресте. Пилат был человек просвещенный и гуманный, хотя его и очернили впоследствии. Он не верил в виновность Иисуса Христа в тех деяниях, которые ему приписывали разъяренные его единомышленники, и стремился его спасти. В конце концов, когда это ему не удалось, он, как известно, велел подать себе чашу воды и публично перед народом вымыл руки, сказав:

«Не виновен я в крови Праведника Сего».

В чем же обвиняли Христа, какую клевету возвели на него? Это был эпизод чисто политический. Тогдашнее еврейское правитель-

ство, состоявшее из первосвященников и фарисеев, обвинило Христа в том, что он желает поднять бунт против римского правительства, против Цезаря. Поэтому-то на кресте над головой Христа было написано: «Царь Иудейский», что обозначало, будто бы он желал освободить Иудею от римского владычества и стать иудейским царем.

Это и был, по моему мнению, тот первый навет или та первая клевета, которая предрешила все дальнейшее. Христос не имел никаких политических планов. Он сказал Пилату:

«Царство Мое не от мира сего».

Пилат счел Его одним из бесчисленных философов того времени, и совершенно безобидным. Но он побоялся того, что евреи донесут в Рим, будто он пощадил мятежника и бунтовщика. Клевета возымела свои действия и покрылась кровью. Христос был распят.

Рим, говоря вообще, был терпимым ко всяким религиям. В этом городе было множество храмов всевозможных вероучений. Все это разрешалось и даже охранялось законом, но за одним исключением. Рим не допускал, чтобы под видом религиозных культов совершались преступления.

Несмотря на смерть Христа, христианство стало распространяться, и правоверные евреи продолжали с ним бороться. И продолжали бороться испытанным оружием. Они возвели перед римскими властями обвинение в том, что некая секта еврейская, последователи Христа, употребляют в пищу тело и кровь человеческую. Для проверки они, вероятно, привели римских следователей или сыщиков на тайные христианские собрания.

Христиане собирались тайно именно ввиду того, что их преследовали евреи. Но эти собрания, совершавшиеся в катакомбах, то есть в глубоких и обширных пещерах, имевшихся в Риме, были многолюдны, и скоро из них выработался известный культ, известное ритуальное служение. Культ этот был очень своеобразный, потому что он соединялся с вкушением пищи.

На эти вечерние и ночные собрания приходили христиане и устраивали трапезы, на которых богатые угощали бедных и совместно, так сказать, попросту ужинали. Для руководства этими ужинами требовался известный порядок, так как не все были воздержаны в употреблении вина, почему и образовалось некое сословие, которое и до сих пор называется дьяконами. Дьяконы первоначально были служителями, которые распоряжались во время этих подземных трапез. Перед началом вкушения пищи произносились сакраментальные слова, впоследствии записанные в евангелиях:

«Приимите, ядите: сие есть тело Мое... пейте от нея вси, сия бо есть Кровь Моя...»

Теперь представим себе римского сыщика, попавшего на таинственное собрание под землю, совершавшееся при слабо мерцающих светильниках. Он слышал собственными ушами приглашение есть человеческое тело и пить человеческую кровь. Такой сыщик мог, добросовестно заблуждаясь, донести претору, то есть судье, что христиане действительно едят человеческое тело и пьют человеческую кровь. Это и было причиной преследования христиан, на которых стали смотреть как на самых тяжелых преступников. Их начали убивать всякими способами, в том числе отдавали в цирках на растерзание диких зверей, что приводило в восторг кровожадную толпу.

* * *

Потекли столетия, и кровавый навет стал нечто вроде футбольного мяча. Первоначально, как мы видели, евреи возвели кровавый навет на христиан, а затем в ответ на это христиане стали возводить кровавый навет на евреев, утверждая, что они освящают мацу кровью христиан.

Как бы там ни было, но сначала заволновался Киев, а потом это пошло шире. Люди требовали расследования: что же именно произошло с Андрюшей Ющинским?

Разумеется, власть не могла остаться безучастной к этому делу. Убийство есть убийство. Найден труп в высшей степени странно убитого мальчика. Надо было, конечно, расследовать дело и поставить на суд. В этом еще не было ничего предосудительного, это была обязанность власти.

Предосудительность, которая обошлась так дорого, началась тогда, когда убийство Андрюши Ющинского захотели сделать орудием политическим. Это было предосудительно и для политических партий, и в особенности для правительства.

* * *

Прежде всего кровавый навет проявил себя в Думе. Именно здесь захотели сделать убийство орудием политическим.

Через полтора месяца после пропажи мальчика Ющинского и нахождения в пещере его изуродованного трупа, на четвертой сессии третьей Государственной Думы, 29 апреля 1911 года, поступило заявление за подписью тридцати девяти депутатов о запросе министров внутренних дел и юстиции по поводу особых условий убийства в Киеве малолетнего Андрюши. Первыми заявление подписали В. М. Пуришкевич и путивльский предводитель дворянства Г. А. Шечков.

Предвосхищая следствие и судебный разбор дела, запрос, предъявляемый министрам, прямо утверждал ритуальное убийство как заведомо всем известный факт:

«Известно ли им, что в России существует преступная секта иудеев, употребляющая для некоторых религиозных обрядов своих христианскую кровь, членами каковой секты замучен в марте 1911 года в городе Киеве мальчик Ющинский?.. Если известно, то какие меры принимаются для полного прекращения существования этой секты и деятельности ее сочленов, а также для обнаружения тех из них, кои участвовали в истязании и убийстве малолетнего Ющинского?»

С немедленным ответом на запрос выступил директор Первого департамента Министерства юстиции Павел Николаевич Милютин, сказавший, что для выяснения истины по делу об убийстве в Киеве мальчика Ющинского принимаются все меры. Предварительное следствие по делу производится судебным следователем по особо важным делам при Киевском окружном суде В. И. Фененко, а прокурору Киевской судебной палаты Г. Г. Чаплинскому министр юстиции И. Г. Щегловитов поручил по телеграфу взять на себя наблюдение за ходом дела.

* * *

После этого началось обсуждение внесенного запроса.

Выступивший первым В. М. Пуришкевич начал свою речь так:

— Господа, вы слышали тот запрос, который внесла правая фракция Государственной Думы? Мало запросов, вносившихся за время жизни Государственной Думы было так обосновано, как тот запрос, который оглашен был сейчас...

Однако, чувствуя неубедительность своего утверждения, Пуришкевич сделал попытку доказать существование ритуальных убийств чтением записки князя Голицына, хранящейся в делах сенатского архива за 1859 год. В ней передан рассказ крещенного в 1710 году раввина Серафимовича во Львове, «торжественно» открывшего еврейские тайны детоубийства и сознавшегося, что сам он будто бы производил их несколько раз. Сведения эти были напечатаны в 1760 году в книге под заглавием «Злость жидовска».

Однако наибольшим накалом отличалась речь Н. Е. Маркова-второго. Он первый подал с кафедры Государственной Думы сигнал, докатившийся до следственных и судебных органов Киева. Выступая после большой речи одного из кадетских лидеров В. И. Родичева, призывавшего во имя достоинства русского народа отвергнуть позорный запрос, Марков-второй стал подталкивать

киевскую прокуратуру на ложный путь, давая понять, что следователи подкуплены «жидами»:

— Не можем мы забыть и того, что господин Фененко не первый следователь. Перед ним в этом деле следователем был Медведев. Он с первой же минуты сцапал родную мать убитого и посадил ее в тюрьму, а жидов оставил спасаться бегством.

Воскликая, что пока «Россия доверялась суду, жида-убийцы до сих пор не обнаружены, до сих пор не пойманы», он замахнулся и на прокурора киевской судебной палаты, то есть Чаплинского, заявив, что «от такого парящего над следствием судебного орла мы, господа, вряд ли многого дождемся...»

«Спешность нашего запроса, — говорил он, — основывается на страхе, что правительственная власть не остановит этих ужасных, диких, зверских ритуальных преступлений, что «наша детвора, гуляющая на солнце, веселящаяся, радующаяся в садиках, каждую минуту может попасть в беду, что к ней может подкрасться с длинным кривым носом жидовский резник и, похитив резвящегося на солнышке ребенка, тащить его к себе в жидовский подвал и там выпустить из него кровь...»

Этих иудейских резников нельзя судить как обыкновенных убийц... Надо преследовать всю... иудейскую секту, которая посылает своих резников, делает сборы на высачивание крови из детей, подготавливает этих своих резников, собирающих в чашки детскую кровь, истекающую из зарезанных детей, и рассылает эту кровь по иудеям — лакомиться пасхальным Агнцем, — лакомиться пасхой, изготовленной из крови христианских младенцев!

Далее Марков-второй перешел к откровенным угрозам:

— В тот день, когда русский народ убедится окончательно, что уже нет возможности обличить на суде иудея, режущего русского ребенка и вытаскивающего из него кровь, что не помогают ни суды, ни полицейские, ни губернаторы, ни министры, ни высшие законодательные учреждения, — в тот день, господа, будут еврейские погромы...

Он призвал Государственную Думу издать специальный законопроект, чтобы евреи «не могли резать наших детей», и под рукоплескания справа закончил свое выступление заявлением, что все, кто отвергнет запрос, окажутся перед лицом русского народа «злодеями, врагами рода человеческого, жидовскими наймитами».

Но, несмотря на все старания Маркова-второго, Дума на этом же заседании отклонила спешность запроса большинством сто сорок голосов против шестидесяти.

Таким образом, первый запрос фракции правых в Думе подготовил почву для возникновения дела Бейлиса. А покамест ничего не подозревающий приказчик кирпичного завода Зайцева в Киеве еврей Мендель Бейлис гулял на свободе. Но меч «право-

судия» уже был занесен над его головой. 3 августа 1911 года Бейлис был арестован. Арестован, но не осужден, так как достаточных улик все еще не находили. Нужен был еще толчок... Он последовал 7 ноября 1911 года, после открытия пятой сессии Государственной Думы.

* * *

Инициатором второго запроса был товарищ прокурора Виленского окружного суда, член Государственной Думы Георгий Георгиевич Замысловский. Запрос был внесен в Думу после того, как 3 ноября 1911 года думская комиссия по запросам рассмотрела и отклонила первый запрос фракции правых по поводу убийства в Киеве Ющинского. Отклонила потому, что никаких данных о существовании иудейской секты, совершающей ритуальные убийства, у нее не имелось и представлено не было.

Поэтому Замысловский, как он выразился, «принужденный мнением думского большинства, свел вопрос во втором запросе на формальную почву», то есть только «о злонамеренности и преступности действий чинов киевской сыскной полиции».

То, на что полгода тому назад Марков-второй достаточно подробно намекал с кафедры Государственной Думы, было сказано официально и открыто. Министров спрашивали: «Известно ли вам, что при расследовании ритуального убийства всякий раз мы наталкиваемся на ряд незаконных действий полиции, которая старается выгородить иудеев, на действия, которые могут быть объясняемы только подкупом?»

Запрос утверждал, что «киевская полиция предприняла ряд действий к сознательному затемнению дела, не к обнаружению истины, а к сокрытию ее, не к изобличению иудеев, совершивших зверское убийство ради крови христианского ребенка, а к отвлечению подозрения и даже к созданию ложных улик против лиц неповинных». При этом выражалось сожаление, что «судебный следователь привлек пока в качестве обвиняемого только одного иудея — Бейлиса, и то лишь за последнее время».

Так на этом, семнадцатом заседании пятой сессии Думы, впервые прозвучало с кафедры имя никому дотоле неизвестного приказчика Бейлиса.

5. Дело Бейлиса

Какие же были факты, на основании которых можно было бы начать против Менделя Бейлиса судебный процесс?

На Верхнеюрковской улице, на окраине Киева, стоял двухэтажный деревянный дом, где на втором этаже жила со своим мужем, мелким почтовым чиновником, содержательница воровского притона Вера Владимировна Чеберяк. У нее было трое детей — две девочки, Валя и Люда, и мальчик Женя, товарищ ученика Киевософийского духовного училища Андрюши Ющинского. Что квартира Чеберяк посещалась профессиональными ворами, было известно киевской полиции. Веру Владимировну не раз арестовывали, делали обыски, находили краденые вещи, таскали по участкам.

Утром 12 марта 1911 года, в день исчезновения, Андрюша зашел за Женей, чтобы сходить с ним в усадьбу Бернера, привлекавшую детей пустырем, поросшим лесом, расположенным по широкому склону горы, спускающейся к Кирилловской улице. Внизу, за горой, расстилалась просторная даль с излучинами Почайны, виднелся кирпичный завод, с такими же навесами, трубами и «мялами», как и на заводе близлежащей усадьбы купца Марка Ионовы Зайцева, у которого работал приказчиком Бейлис.

«Мялы» — это сооружения, где мяли, то есть месили, глину для кирпичей. Когда рабочих не было, на этих «мялах» дети играли в карусель, катаясь на свободно вращающемся шесте, прикрепленном к вбитому столбу.

Набегавшись в усадьбе Бернера, Женя со своим товарищем Андрюшей вернулся домой, на Верхнеюрковскую улицу. Это событие прежде всего отмечает обвинительный акт. Но как?

После исчезновения Ющинского Женя Чеберяк рассказал председателю молодежной организации «Двуглавый орел» студенту Владимиру Голубеву, что вернулся домой вместе с Андрюшей. Однако при последующих разговорах с Голубевым он стал отрицать этот факт, хотя свидетели Казимир и Ульяна Шаховские, жившие неподалеку от квартиры Чеберяк, удостоверили, что видели мальчиков вместе у Жениного дома.

Но почему этим делом заинтересовался студент Голубев? Что ему, собственно, было нужно? Одно обстоятельство может сразу все разъяснить. Девизом этого студента служило: «Понеже всякий жид — гад есть». Поэтому-то отказ Жени Чеберяка от первого показания Голубеву свидетельствует, что лица, которые могли внушить такой отказ, были заинтересованы в том, чтобы скрыть возвращение Андрюши из усадьбы Бернера к дому Веры Чеберяк. И эти лица должны были быть для Жени достаточно авторитетными, чтобы он их послушал.

Указание на Бейлиса впервые появляется в показании Казимира Шаховского, служившего фонарщиком у подрядчика по освещению улиц той окраины Киева. По его словам, через три дня по-

сле исчезновения Андрюши он спросил встретившегося ему на улице Женю Чеберяка:

«Ну, как ты погулял с Андрюшей в тот день, когда я видел вас вместе?»

Женя ответил, что им не удалось тогда хорошо поиграть, так как в усадьбе Зайцева их спугнул недалеко от кирпичеобжигательной печи какой-то мужчина с черной бородой.

«Давая такое показание судебному следователю, — говорится в обвинительном акте, — Шаховской заявил, что, по его мнению, мужчина с черной бородой был приказчик завода Мендель, и при этом высказал предположение, что Мендель принимал участие в убийстве Ющинского, а Женя Чеберяк заманил Андрюшу в усадьбу этого завода».

Вот где начало «дела Бейлиса» — предположение Казимира Шаховского, что названный Женей Чеберяком «мужчина с черной бородой» был Мендель Бейлис, который, по мнению пронизательного фонарщика, принимал участие в убийстве Ющинского!

Но почему Шаховского, по утверждению соседей, «редко державшегося твердо на ногах», заинтересовал вдруг вопрос, как Женя Чеберяк «погулял» три дня назад с Андрюшей Ющинским?

Как мог Женя не знать если не фамилии, то хотя бы имени приказчика, жившего двенадцать лет на той самой заводской усадьбе, где он с Ющинским играл чуть не каждый день? А если знал, то почему не назвал?

Все эти обстоятельства прямо свидетельствуют против разумности предположения о виновности Бейлиса. Это не улика против него, как утверждает обвинение, а наоборот. Но в дальнейшем от такого прочно заложенного «фактического» фундамента фантазия начала быстро разыгрываться, захватывая все большее количество «свидетелей».

Так, жена Казимира Шаховского Ульяна показала, что некая нищенка Анна Волкивна рассказала ей, будто, когда Женя Чеберяк, Ющинский и какой-то третий мальчик играли в усадьбе Зайцева, живущий там мужчина с черной бородой схватил на ее глазах Андрюшу и потащил его при всех, среди бела дня, в обжигательную печь. Однако сама Волкивна, оказавшаяся Захаровой, заявила на следствии, что такого разговора она с Ульяной не вела.

Несмотря на это, Ульяна продолжала под чьим-то нажимом добиваться своего и, как показывают документы, в пьяном виде сообщила производившему розыски по делу агенту Полицуцу, что муж ее Казимир 12 марта лично видел, как Бейлис тащил к печи Ющинского.

Вот эти-то бессмысленные свидетельства супругов Шаховских, которые к тому же, по утверждению следователя, несколько раз изменяли свои показания и сами себе противоречили, и легли в основу обвинительного акта о предании Бейлиса суду.

К ним были присоединены еще более фантастические документы. Например, записка Бейлиса к своей жене, причем написанная не им, а будто бы от его имени тюремным сидельцем и переданная вовсе не жене заключенного, а другим тюремным сидельцем тюремному надзирателю.

Показание некоего Козаченко свидетельствовало, будто Бейлис предложил ему за известную сумму отравить двух свидетелей и между ними Наконечного, который, будучи допрошен на следствии несколько раз, неизменно давал благоприятные для подсудимого отзывы.

Муж Веры Чеберяк доносил, будто Женя рассказывал ему о двух приехавших к Бейлису евреях в необычных костюмах, которых он видел молящимися.

Но кульминационным пунктом обвинительного акта является показание девятилетней дочери Веры Чеберяк Людмилы о том, как она, Женя, Ющинский, Евдокия Наконечная и другие дети катались на «мяле» и «вдруг увидели, что к ним бежит Бейлис с двумя евреями», все дети бросились убежать и успели скрыться, Андрюшу же евреи схватили и потащили к печи. К сожалению, в обвинительном акте не объясняется, каким образом публичное похищение евреями Ющинского на дворе завода не было обнаружено в тот же день и даже в ту же минуту.

Таков был обвинительный акт по делу, взбудоражившему всю Россию и привлечшему к себе внимание всего мира!

* * *

28 сентября 1913 года я опубликовал в № 267 «Киевлянина» критический разбор произведения киевской прокуратуры по делу Бейлиса. Можно себе представить, какую реакцию это вызвало в правых кругах. На редакцию газеты обрушился целый поток самой отборной брани, причем немало было обвинений и в том, что «Киевлянин» куплен жидами».

Но ни один из этих людей, проклинавших меня на все лады, не произнес ни одного слова в опровержение моих утверждений о полной несостоятельности обвинительного акта по делу Бейлиса. И даже после того, как лексикон сквернословия был исчерпан и, казалось бы, пора была бы приступить к спору по существу, юристы молчали.

Почему? Разве среди консервативного русского общества было мало лиц с юридическим образованием или принадлежащих к судебному ведомству? Почему же только брань заливала газетные столбцы и никто из них не отважился опровергнуть мою критику по существу?

Дело в том, что «Киевлянин» выступал с определенным утверждением о полной неудовлетворительности обвинительного акта только потому, что ему была известна беспристрастная оценка, которую дали этому документу неподкупные юристы.

А почин правдивому отражению этого дела на страницах «Киевлянина» положил Дмитрий Иванович Пихно.

За год до своей кончины он опубликовал в № 148 «Киевлянина» за 1912 год разоблачения, которые были сделаны по делу об убийстве Ющинского начальником киевской сыскной полиции Николаем Александровичем Красовским, жестоко за это поплатившимся.

Это был опытный сыщик, раскрывший целый ряд крупных преступлений, розыски по которым считались уже прекращенными ввиду отсутствия в руках местной полиции каких-либо нитей к их раскрытию. И когда в деле убийства Ющинского работа чинов местной сыскной полиции потерпела фиаско, тоже был приглашен Красовский. Он с несомненной очевидностью установил, что мальчик Андрюша был убит воровской шайкой в квартире Веры Чеберяк с целью избавиться от мальчика, который знал, что делается в шайке. А ритуальный способ его убийства являлся удобным поводом, чтобы вызвать еврейский погром и замести следы преступления.

Однако вместо благодарности за раскрытие преступления, как писал Дмитрий Иванович в «Киевлянине», Красовский «почему-то был устранен от этого дела. Затем он был причислен к штату губернского правления и, наконец, 31 декабря 1911 года совершенно уволен»,

В. Г. Короленко, бывший на судебном процессе Бейлиса, рассказывает:

«Там я видел господина Красовского уже в штатском платье и в очень щекотливом положении: господа «обвинители» настойчиво, упорно и не особенно тонко старались внушить присяжным, что он не просто бывший полицейский, а мрачный злодей, отравивший при помощи пирожного детей Чеберяковой...»

Обвинители старались это внушить потому, что вскоре после нахождения 20 марта 1911 года в пещере на склоне горы в усадьбе Бернера трупа замученного мальчика Андрюши дети Веры Чеберяк, с которыми он играл там, Женя и Валя, умерли от дизентерии. По этому поводу также немало было в газетах всяких кривотолков и намеков.

Опубликование газетой «Киевлянин» расследований Красовского по делу загадочного убийства Ющинского вызвало в Думе целую бурю. За неделю до роспуска последней, пятой, сессии Государственной Думы третьего созыва, в сто сорок пятом заседании, 2 июня 1912 года, председатель М. В. Родзянко огласил нижеследующее заявление:

«Нижеподписавшиеся члены Государственной Думы предлагают поставить на обсуждение в одно из ближайших заседаний внесенное правой фракцией Государственной Думы заявление о запросе министру внутренних дел о незаконных действиях чинов киевской полиции по поводу следствия по делу об убийстве Андрея Ющинского».

Родзянко понял это заявление таким образом, что авторы его просят назначить особое вечернее заседание для рассмотрения вопроса по существу. Но это было очень трудно осуществить ввиду скопления многих неразобранных дел перед закрытием третьей Думы.

Лидер социал-демократической фракции (меньшевик) Е. П. Гегечкори ознакомил членов Думы с разоблачениями Красовского, опубликованными в «Киевлянине», после чего обратился к ним с призывом голосовать за внесенное заявление:

— Я полагаю, что все русское, все честное русское общество должно сказать: довольно этого позора, довольно этой лжи, довольно этого человеконенавистничества, которые развиваются этими господами. Я полагаю, что все те, которые не боятся правды, все те, которые заинтересованы раскрытием истины во всем этом кошмарном деле, должны голосовать за наше предложение.

Между тем Г. Г. Замысловский, внесший полгода назад свой запрос министрам о незаконных действиях киевской полиции, молчал. Понятно, что после того, что опубликовал Дмитрий Иванович, ему было невыгодно допустить разбор этого дела. Бейлис уже был арестован, все «чины полиции», захотевшие установить истину, устранены, и следствие шло уже по заранее намеченному, удобному ему пути. Поэтому он молчал.

Во время прений по вопросу, назначать или не назначать вечернее совещание для рассмотрения запроса Замысловского, граф Алексей Алексеевич Уваров ехидно задал мне провокационный вопрос, чтобы еще более скомпрометировать правых. Дело в том, что тогда я еще не выступал публично, ни с кафедры, ни в печати, в защиту Бейлиса. Он сказал:

— Мне лично хотелось бы знать, как объяснит почтенный Василий Витальевич Шульгин те разъяснения, которые были сдела-

ны в «Киевлянине», в органе не менее почтенного господина Пихно? Родственная связь этих обоих почтенных членов палат вам известна, поэтому нам, конечно, будет крайне интересно, когда мы будем этот вопрос обсуждать, знать взгляд Василия Витальевича на мнение господина Пихно.

На это я ответил:

— Член Думы граф Уваров сделал мне честь обратиться ко мне с тем, чтобы я высказал свое мнение, вероятно, по тому, что здесь происходит в зале... Я полагаю, что «Киевлянин», который открыл свои страницы для того, чтобы представить на суд общества другое мнение, мнение тоже авторитетное, ибо оно исходит от опытного сыщика, заслуживает такого же внимания, как и мнения тех людей, которые смотрят на это иначе. Но как вы хотите, чтобы не только я, но даже Государственная Дума этот вопрос разрешила? Ждите, что скажет суд.

После моих слов приступили к голосованию, и большинством в сто четыре голоса против пятидесяти восьми было принято решение созвать вечернее заседание по этому делу.

Но, как я уже говорил, практически сделать это было невозможно. Перед закрытием все вечера у Думы были уже заранее распределены. Поэтому накануне последнего дня занятий, в десять часов вечера 8 июня 1912 года, лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков, когда этого никто не ожидал, вновь поднял вопрос от имени фракции народной свободы о рассмотрении запроса Г. Г. Замысловского.

Под возмущенные крики правых он сказал, что над трупом несчастного ребенка до сих пор не прекращается погромная агитация, и кошмарная легенда о ритуальном убийстве, пущенная в ход, как теперь оказалось, лицом, близким к предполагаемым убийцам, снова подхвачена и выносится на кафедру Думы. Ввиду того, что работа заканчивается, фракция народной свободы требует выполнения недавнего постановления Думы немедленно.

— Пусть бесстыдные агитаторы, — сказал он, — не пропускавшие ни одного случая, чтобы не осквернить трибуны Государственной Думы наглыми, лживыми... (*Справа шум и голоса: «Что такое, что такое?»*) словами кровавого навета... (*Справа шум и голоса: «Что такое? Вон оттуда! Бессовестный агитатор! Вон!»* Рукоплескания слева, звонки товарища председателя М. Я. Капустина) получат достойное возмездие. В противном случае третья Дума унесет с собой в историю клеймо морального сочувствия изуверской легенде... (*Справа шум и голоса: «Стыдно!»*) пущенной в обращение профессиональными преступниками... (*Справа голоса: «Бессовестный нахал!»*), поддерживаемыми профессиональными погромщиками.

Шум, крики и ругательства заглушили последние слова Милюкова. Его неожиданное и резкое заявление взбудоражило страсти. Конечно, фракция правых была убеждена, что этот вопрос в третьей Думе поднят не будет, когда оставался всего один день ее работы.

Милюкову отвечал Замысловский. Назвав его выступление «крикливым и рекламным», он сказал, что «при такой речи, преисполненной ругательств, спокойствия в Думе быть не может, а нам сегодня с высоты престола сказано, что там, где нет спокойствия, не может быть и настоящего государственного дела».

Прикрывшись, таким образом, сенью престола и разумея под «настоящим государственным делом» осуждение невинного Бейлиса в ритуальном убийстве, Замысловский отмахнулся от всяких разоблачений, заявив, что сколько бы ни кричали «жиды и их подголоски» о важности этих разоблачений — грош им цена. Это сущий вздор, очередная рекламная шумиха.

— В деле Ющинского ничего не изменилось, — сказал он. — Судебная власть написала обвинительный акт о Менделе Бейлисе, написала, что это именно он в соучастии с другими лицами убил, замучил христианского ребенка, что именно эти лица нанесли ему сорок три укола, «высосали» кровь. Из всей обстановки дела совершенно ясно, что это убийство ритуальное...

Развить вопрос о ритуальных убийствах с достаточной подробностью и обстоятельностью с думской кафедры является нашей целью... Приступим к рассмотрению запроса, — воскликнул Замысловский под рукоплескания правых, но добавил, сходя с кафедры: — Хотя развить его, к сожалению, теперь, когда без десяти минут одиннадцать, нельзя.

На это именно он и рассчитывал. Развернулись бурные прения со взаимными оскорблениями и обвинениями, но стрелка часов неумолимо подходила к одиннадцати, когда заседание закрывалось. За выражение «вшивые босяки», высказанное по адресу левых, В. М. Пуришкевич был лишен слова. Но Е. П. Гегечкори, под шум и звонки председателя, успел все-таки сказать рыцарям ритуальных убийств:

— Ваши завывания каннибальские делу не помогут... Вы теперь стараетесь спрятаться в кусты... У вас, кроме ругани, ничего не осталось... Депутат Замысловский, который старался опозорить Красовского, забыл, что все показания свидетелей, указанные в исследованиях Красовского, были подтверждены перед жандармским полковником П. А. Ивановым, в присутствии прокуратуры, так что опорочить сейчас эти исследования Красовского вам не удастся, господа!

А трудовик А. А. Булат выкрикнул последним, под занавес:

— Я утверждаю, что убийцы Ющинского, вдохновители убийства Ющинского не евреи, а Чеберяк и господа справа, которые позаботились об этом убийстве.

Председатель М. В. Родзянко поставил на голосование предложение о продолжении на завтрашнем заседании обсуждения заявления о запросах по делу Ющинского, но оно по причинам, изложенным выше, было отклонено большинством в сто одиннадцать голосов против восьмидесяти семи. Заседание закрылось в одиннадцать часов тринадцать минут вечера.

А на следующий день, 9 июня 1912 года, в три часа пятьдесят три минуты пополудни по высочайшему указу Правительствующего Сената третья Дума была распущена до новых выборов.

* * *

Дело ясное. Посадить на скамью подсудимых еврея, обвиняемого в ритуальном убийстве, при явно нищенских уликах, не только не этично, но и не умно. И нечего было притворяться простачками и говорить, что это не мы оскандалили себя на весь свет, а еврейские газеты, которые разнесли дело Бейлиса во все концы мира. Не надо притворяться младенцами, появившимися вчера на свет. Неужели мог быть хоть один столь наивный обыватель, который надеялся, что еврейская печать будет молчать по такому чисто еврейскому делу?

Но как? Это страшное злодеяние, эта мученическая смерть ребенка останется без возмездия? Неужели кровь Андрюши Ющинского не вопиет к небу?

Когда это твердили потрясенные ужасом преступления люди, их вопль вызывал сочувствие. Но когда на этот путь становились те, у которых в сердце не осталось ничего, кроме политической злобы, а ум, холодный и расчетливый, жестокий, давно привык заглушать какие бы то ни было порывы жалости и сострадания, тогда такие рассуждения звучали отвратительным лицемерием.

Что же, покойному мальчику станет легче оттого, что на двадцать лет отправят на каторгу человека, который его пальцем не тронул? Кровь мальчика перестанет вопиать к небу тогда, когда на скамью подсудимых сядут люди, которые его действительно убили.

А наша киевская молодежь из «Двуглавого орла», как свидетельствует «Киевлянин», поощренная примером корифеев Думы и газетного дела, дописалась до утверждения, что если Бейлис и невиновен, то это вовсе неважно. Почему? Потому, что если

Бейлис и не убивал Ющинского, то все же ему место на каторге, ибо он «один из тех, кто с радостным смехом приветствовал наши поражения и торжествовал, что наших солдат убито больше, чем вражеских, кто убивал или подстрекал к убийству русских, наших лучших людей, кто наполняет ряды революционного подполья»,

Вот к чему приводит отрицание всякого правосудия! Но надо сказать, что безголовые двуглавцы имели только смелость сделать вывод из посылов, подсказанных им старшими. А что же проповедовали их учителя, те корифеи газетного дела, которым они тщились подражать? Вот что писала газета «Русское знамя» перед процессом Бейлиса в № 177 за 1913 год:

«Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищничество по отношению к людям и уничтожение которых поощряется законом.. Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны».

Таким образом, оказывается, что идеи Гитлера были за много лет раньше взлелеяны в блистательном Санкт-Петербурге, в газете, именовавшей себя «Русское знамя».

После таких уроков киевским двуглавцам смелее и последовательнее было бы проповедовать, что евреи вообще суду подлежать не могут, а просто ссылаются на каторгу по приказу их вождя студента Голубева: «Понеже всякий жид — гад есть».

Если бы такой закон был проведен через Государственную Думу, то доказательства существования ритуальных убийств стали бы излишними.

* * *

Решительный день приближался. Дело Бейлиса заканчивалось среди величайшего напряжения и возбуждения. Два с половиной года томился в заключении дотоле никому не известный приказчик, упорно отрицавший свою вину.

Директор департамента полиции Степан Петрович Белецкий не жалел сил и средств для обоснования обвинения. По указанию Замысловского за огромные деньги полицией были выписаны из Италии старинные книги, содержащие доказательства ритуального употребления евреями крови. Из государственных архивов были извлечены все дела, в которых имелись какие-либо указания на ритуальные убийства. Для обвинения на суд министром юстиции был

командирован товарищ прокурора Петербургской судебной палаты О. Ю. Виппер. В помощь ему, в качестве гражданского истца, в Киев выехал сам Замысловский.

Всего по делу было вызвано двести девятнадцать свидетелей и четырнадцать экспертов, среди которых выделялись магистр богословия ксендз Юстин Пранайтис, профессор И. А. Сикорский, доктор медицины профессор Д. П. Косоротов, известный юдофоб присяжный поверенный А. С. Шмаков, подтверждавшие ритуальный характер убийства. Неудобные обвинению свидетели бесцеремонно отстранялись. Петербургским комитетом отпора кровавому навету была организована защита Бейлиса, в которой приняли участие лучшие адвокаты того времени: О. О. Грузенберг, А. С. Зарудный, Н. П. Карабчевский, член Государственной Думы кадет В. А. Маклаков.

Не только Россия, но и Запад напряженно следили за ходом этого грандиозного процесса, на котором медицинские светила и доктора истории вели диспут со взломщиками и притонодержателями — главными свидетелями со стороны обвинения.

Но спасти честь русского имени перед лицом всего мира, спасти невинно пострадавшего должны были двенадцать человек присяжных заседателей, состав которых также был соответствующим образом подобран. По этому поводу в Киеве было много толков и пересудов. Когда по мелкому уголовному делу суд имел в своем распоряжении среди присяжных трех профессоров, десять людей интеллигентных и только двух крестьян, в деле Бейлиса из двенадцати человек девять учились лишь в сельской школе, а некоторые из этих крестьян были вообще малограмотными.

Пониженный интеллектуальный уровень присяжных заседателей для такого сложного дела всем бросался в глаза. Но на это именно и рассчитывали организаторы процесса. Они были уверены в своей победе.

* * *

Наконец решительный день настал. Вот как описывает В. Г. Короленко эту атмосферу ожидания и напряженности, царившую в этот день в Киеве:

«Мимо суда прекращено всякое движение. Не пропускаются даже вагоны трамвая. На улицах — наряды конной и пешей полиции. На четыре часа в Софийском соборе назначена с участием архиерея панихида по убиенному младенце Андрюше Ющинском. В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой

вспыхивают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения.

Становится известно, что председательское резюме резко и определенно обвинительное. После протеста защиты председатель решает дополнить свое резюме, но Замысловский возражает, и председатель отказывается. Присяжные ушли под впечатлением односторонней речи. Настроение в суде еще более напрягается, передаваясь и городу.

Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физиономия улицы меняется. Виднеются многочисленные кучки народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в общей радости. Погромное пятно у собора теряет свое мрачное значение. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных еще подчеркивает значение оправдания».

* * *

Радость и ликование охватили редакцию «Киевлянина», немало перестрадавшую вместе со многими своими единомышленниками за это время. 29 октября 1913 года я писал в № 298:

«Несмотря на то, что было сделано возможное и невозможное, несмотря на то, что были пущены в ход самые лукавые искушения, — простые русские люди нашли прямую дорогу.

Когда мы думаем об этом, нам становится и радостно, и горько. Горько потому, что мы ясно видели, как те, кто стоят на вершине и должны были подавать пример этим темным низам, сбились с пути и пошли кривой дорогой, ослепленные политической страстью. Горько видеть вождей народных в роли искусителей и развратителей.

Но когда мы думаем о том, что простые русские люди, не имея возможности силой ума и знания разобраться в той страшной гуще, в которую их завели, одной только чистотою сердца нашли верный путь из обступавшего их со всех сторон дремучего леса, наполненного страшными призраками и видениями, — с радостью и гордостью бьется наше сердце.

Низкий поклон этим киевским хохлам, чьи безвестные имена опять потонут в океане народа! Им, бедным, темным людям, пришлось своими неумелыми, но верными добру и правде руками исправлять злое дело тех, для кого суд только орудие, для кого нет доброго и злого, а есть только выгода или невыгода политическая.

Им, этим серым гражданам Киевской земли, пришлось перед лицом всего мира спасти чистоту русского суда и честь русского

имени. Спасибо им, спасибо земле, их выкормившей, спасибо старому Киеву, с высот которого свет опять засверкал на всей Русской земле!»

* * *

Какова же судьба главных героев этой трагедии? Мендель Бейлис эмигрировал в Америку, где и умер в 1937 году. А Вера Чеберяк? Села ли она на скамью подсудимых? Конечно, нет.

Для прокуратуры нужно было найти какой-то выход из компрометирующего ее положения, в какое она попала благодаря малограмотным хлебоборам, оправдавшим Бейлиса. Как? Разве это мыслимо — больше двух лет держать под замком невинного человека, всячески стараясь обвинить его, и в то же время защищать всеми силами вероятных убийц?

Кроме того, нужно вспомнить, сколько пострадало высоких чинов сыскной полиции, как только они попадали на верный след этих убийц. Как же можно было после этого трогать Веру Чеберяк? По слухам, в дни революции с ней расправились киевские студенты.

А вместо Веры Чеберяк на скамью подсудимых посадили меня, о чем в следующей главе.

6. Годовщина

Это было во время первой мировой войны, 20 января 1915 года, в городке Тухове, недалеко от Тарнова. Все население ушло из городка, и сам он представлял собою грудку развалин, вокруг которых улицы были обильно посыпаны кусками разбитых стекол.

Однако среди парка, состоявшего из темно-зеленых елей, помещичья усадьба сохранилась. В ней разместился второй перевязочно-питательный передовой отряд ЮЗОЗО (Юго-Западная областная земская организация), начальником которого был я.

Так как работа отряда уже наладилась, я мог себе позволить этот знаменательный для меня день посвятить невеселым воспоминаниям. Но так как я незадачливый музыкант, то мечты и воспоминания почти всегда в моем неуравновешенном мозгу переплетаются с какой-нибудь мелодией.

Так и сейчас. Глядя сквозь стекла окна на темно-зеленые ели, колыхавшиеся на фоне серого неба, я слышал мотив старинного вальса на нижеследующие строки:

*Я помню вальса звук прелестный
Весенней ночью в поздний час.
Его пел голос неизвестный,
И песня чудная лилась.
Да, то был вальс прекрасный, томный,
Да, то был дивный вальс...*

Вальса не было, но воспоминания были. Ровно год тому назад, 20 января 1914 года, меня судили в Киеве и присудили к тюремному заключению. За что?

«За распространение в печати заведомо ложных сведений о высших должностных лицах...»

Как же это случилось?

На третий день процесса, 27 сентября 1913 года, я написал в «Киевлянине» передовую статью в защиту обвиняемого Бейлиса. Но номер не вышел, его конфисковала полиция. Вот за эту-то статью меня и предали суду.

Так как она представляет известный интерес как исторический документ, я привожу ее, несмотря на довольно обширные размеры, почти целиком:

«Как известно, обвинительный акт по делу Бейлиса есть документ, к которому приковано внимание всего мира. Со времени процесса Дрейфуса не было ни одного дела, которое бы так взволновало общественное мнение. Причина тому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий.

При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллионов человеческих умов, русская юстиция должна была быть особенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на высоте своего положения. Киевская прокуратура, взявшая на себя задачу, которая не удавалась судам всего мира в течение веков, должна была понимать, что ей необходимо создать обвинение настолько совершенное, насколько крепко кованное, чтобы об него разбилась колоссальная сила той огромной волны, что поднималась ему навстречу.

Не надо быть юристом, надо быть просто здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который любой защитник разобьет шутя. И невольно становится обидно за киевскую прокуратуру и за всю русскую юстицию, которая решилась выступить на суд всего мира с таким убогим багажом.

Но разбор обвинительного акта не входит в задачу этой статьи. Сейчас на нас лежит иной долг, тяжкий долг, от которого, однако, мы не можем уклониться.

Мы должны сказать о том, при какой обстановке создавался этот обвинительный акт по делу Менделя Бейлиса.

Убийство Ющинского, загадочное и зверское, вызвало к жизни вековое предание о том, что евреи для своих ритуальных целей время от времени замучивают христианских детей. Эта версия убийства, естественно, взволновала еврейское население. А в некоторых слоях русского населения, в политических кругах стали опасаться, что евреи собьют полицию и следствие с истинного пути.

Как крайнее выражение этих опасений явился запрос правых в Государственной Думе, обвинявший киевскую полицию в сокрытии истинного характера убийства под давлением евреев. При обсуждении этого запроса член Государственной Думы Замысловский дошел до утверждения, что евреи только в тех местностях совершают ритуальное убийство, где им удалось подкупить полицию. И что самый факт совершения ритуального убийства в какой-либо местности уже свидетельствует о том, что полиция в этой местности подкуплена...

Конечно, евреи не так бессмысленны, чтобы положиться на полицию в столь опасном деле. Для сокрытия злодеяния, раскрытие которого грозило по меньшей мере повторением Кишинева, они, конечно, не остановились бы на околоточном, а пошли бы гораздо дальше. А потому Замысловский непоследовательно остановился на полдороге. Надо было идти дальше, надо было бросить обвинение в сокрытии ритуальных злодеяний против судебного следователя, против прокурора окружного суда, против прокурора палаты.

Замысловский этого не сделал. Но, по-видимому, эта мысль, затаенная, но гнетущая, привилась, дала ростки. Боязнь быть заподозренным в каких-то сношениях с евреями оказалась для многих непосильным душевным бременем. И мы знали мужественных людей, которые смеялись над бомбами и браунингами, но которые не смогли выдержать гнета подобных подозрений. И как это ни странно, но заявление Замысловского оказало самое решительное давление на киевскую прокуратуру.

По крайней мере, прокурор Киевской судебной палаты Г. Г. Чаплинский стал действовать так, будто единственной целью его действий было убедить Замысловского, что он, прокурор палаты, чист как стекло в этом отношении.

Версию о ритуальном убийстве Ющинского нелегко было обосновать на каких-нибудь данных. Начальник киевской сыскной по-

лиции Е. Ф. Мищук отказался видеть в изуверствах, совершенных над мальчиком Ющинском, ритуальный характер.

Устранив 7 мая 1911 года Мищука, заподозренного в подкупе его евреями, судебная власть призвала на помощь жандармского подполковника П. А. Иванова, а этот последний пригласил известного сыщика Н. А. Красовского.

Но Красовский, как и его предшественник Мищук, тоже решительно отверг ритуальный характер убийства и приписывал преступление шайке профессиональных негодяев, группировавшихся около Веры Чеберяк. В этом направлении Красовским было произведено серьезное расследование, результаты которого были доложены прокуратуре.

Когда точка зрения Красовского выяснилась, он, как и Мищук, был устранен от дела и так же, как и против Мищука, против Красовского было выдвинуто какое-то обвинение, — он был предан суду.

Когда таким образом два начальника сыскных отделений были устранены, дело пошло...

Вся полиция, терроризированная решительным образом действий прокурора палаты, поняла, что если кто слово пикнет, то есть не так, как хочется начальству, будет немедленно лишен куска хлеба и, мало того, посажен в тюрьму. Естественно, что при таких условиях все затихло и замолкло, и версия Бейлиса стала царить «рассудку вопреки, наперекор стихиям», но на радость господину прокурору палаты...

Однако мы убеждены, что и в среде маленьких людей найдутся честные люди, которые скажут правду даже перед лицом грозного прокурора. Мы утверждаем, что прокурор Киевской судебной палаты тайный советник Георгий Гаврилович Чаплинский запугал своих подчиненных и задушил попытку осветить дело со всех сторон.

Мы вполне взвешиваем значение слов, которые сейчас произнесли. Мы должны были их сказать, мы имеем право говорить и будем говорить...»

* * *

Вот за эту статью, распространявшую «заведомо ложные сведения», меня и привлекли к суду. Судьи знали, конечно, не хуже меня, что я не лгал. Я мог ошибаться, но не лгал.

В этом и был тот яд, которым они хотели отравить меня. Они ужалили больно, но не до конца. Так кусает желтый, злой шершень.

Беда, говорят, никогда не приходит одна. Я явился в суд с исчерпанными силами.

Накануне были раздирающие похороны одной молодой самоубийцы. Всю ночь я не сомкнул глаз, утешая безутешного человека. Поэтому мне следовало бы уклониться от суда, но я этого не сделал.

Когда я занял свое место на скамье обвиняемых, то увидел, что судейская трибуна переполнена народом. Здесь были почти поголовно все лица судейского звания города Киева. Среди них я встретил хорошо знакомое мне лицо Василия Ивановича Фененко. Если бы этот человек сказал перед судьями то, что он знал, меня не могли бы привлечь по обвинению в распространении «заведомо ложных сведений».

В чем я обвинял старшего прокурора Киевской судебной палаты Чаплинского в статье, помещенной в газете «Киевлянин»?

В том, что он давил на совесть судебного следователя, чего прокуратура не смеет делать. Судебный следователь, как и судья, в этом смысле является лицом неприкосновенным.

А какой же, персонально, следователь не подвергся давлению? Вот этот самый Фененко, что сидел на трибуне недалеко от судей, меня судивших. В то время он занимал должность судебного следователя по особо важным делам при киевском окружном суде, и именно ему было поручено вести предварительное следствие для выяснения истины по делу об убийстве в Киеве мальчика Ющинского.

Я знал Фененко с юных лет, знал, что он человек безупречный, умевший «сметь свое суждение иметь».

Когда я посетил его в скромном домике, ему принадлежавшем, он сказал мне:

— Я человек не богатый, но голову есть где преклонить. Я не женат, живу со старушкой-няней, потребности у меня скромные. Единственная роскошь, которую я себе позволяю, — это служить честно.

Мне поручили следствие по делу Менделя Бейлиса, подозреваемого в убийстве мальчика Андрея Ющинского. Я рассмотрел имевшиеся улики и признал их не заслуживающими никакого доверия.

Единственная улика исходила от десятилетней девочки Людмилы. Она видела, как на глазах ее и других детей, шаливших против конторы, где работал Бейлис, он схватил Андрюшу за руку и куда-то потащил.

Если Бейлис имел намерение совершить над Андрюшей ужасное злодеяние с ритуальной целью и схватил его в присутствии детей и других людей, находившихся в конторе, то, значит, он был неменяемым идиотом. Поэтому я прекратил следствие своей властью, на что имел право.

Но Чаплинский грозил, что меня могут постигнуть неприятности за прекращение следствия, обещал какую-то награду, орден, что ли, если я возобновлю дело. На это я ответил ему: «Ваше превосходительство, кроме Фененко есть другие следователи. Фененко для такого дела не годен».

* * *

Естественно, что когда против меня возбудили обвинение в распространении лживых сведений, я выставил нескольких свидетелей, хотя достаточно было бы и одного Василия Ивановича. Однако суд отказал мне вызвать Фененко свидетелем по моему делу. И вот теперь он сидел рядом с судьями в качестве свидетеля незаконных действий суда, но свидетеля безмолвного.

Если бы я не был в таких расстроенных чувствах, я, быть может, сделал бы то, что надо было. Я заявил бы:

— Так как суду было угодно лишить меня главного и исчерпывающего свидетеля, то я считаю такой суд судилищем неправедным и присутствовать на нем не желаю. Судите и присуждайте вот это пустое место, а я покидаю зал заседаний.

Но я этого не сделал и теперь печально об этом думал, глядя сквозь оконное стекло на качающиеся ели.

*Теперь зима, но те же ели,
Тоскуя в сумраке стоят.
А за окном шумят метели,
И звуки вальса не звучат...*

А вьюга действительно заносила сугробами дорогу, ведущую ко мне, то есть к крыльцу уцелевшего помещичьего дома.

Вдруг я увидел автомобиль, с трудом пробивающийся через сугроб. В ту войну не все имели машины. Ехавший, зная, был «кто-то». И в такую погоду! Очевидно, по важному делу, и притом к нам. Ведь никого, кроме нас, здесь не было. Я велел зажечь примус, на войне заменявший «самоварчик», подать бутылку красного вина и галеты. Так всегда делалось в отрядах. Тем временем гость, провожаемый дежурным, вошел ко мне. По погонам я увидел, что это полковник, а по лицу — что он сильно замерз. В то время автомобили за редкими исключениями были открытыми. Поэтому я встретил его словами:

— Господин полковник, кружку горячего чая?

— О, да! О, да! Что за погода!

Когда он согрелся, сказал:

— Я к вам. К вам лично.

— Слушаюсь.

— Я военный юрист. По закону все судебные дела, возбужденные против лиц, поступивших в армию, передаются нам, то есть военному судебному ведомству. Мне передали два дела, вас касающиеся. С какого конца прикажете начать?

— Если позволите, то с тонкого конца...

— Хорошо. Податной инспектор города Киева возбудил против вас, как редактора «Киевлянина», дело за то, что вы без его разрешения напечатали в своей газете объявление о лепешках Вальда.

— Вальда? Разрешите вам предложить, я их всегда имею при себе. Мне кажется, что вы чуточку охрипли, — проклятая погода.

— Ах, очень вам благодарен... Это очень хорошее средство, я его знаю. Но по долгу службы я должен все же поставить вопрос: признаете ли вы себя виновным в этом ужасном деянии?

— Признаю. Напечатал и надеюсь печатать и дальше... Однако разрешите вам доложить...

— Пожалуйста...

— Господин полковник, вы юрист, и не в малых чинах. Я тоже юрист, хотя и не практикующий. Поэтому я позволю себе поставить на ваше суждение следующий вопрос: указания высших правительственных мест должны ли приниматься низшими к сведению и исполнению?

— Должны.

— Так вот. Я печатаю объявления о лепешках Вальда в газете «Киевлянин» без разрешения киевского податного инспектора, но такое же объявление печатает петербургская газета «Правительственный вестник», каковая, очевидно, получила разрешение на печатание от высшей медицинской власти.

— Это ясно. Считайте дело поконченным, то есть прекращенным.

— Благодарю вас.

— Теперь перейдем к делу важному. Потрудитесь прочесть.

Я прочел:

«Объявить Шульгину В. В., редактору газеты «Киевлянин», что Государю Императору на докладе министра юстиции угодно было начертать «Почитать дело не бывшим».

* * *

Почитать дело не бывшим... Греческая поговорка гласила:

«И сами боги не смогут сделать бывшее не бывшим».

Но то, что не удавалось греческим богам, было доступно русским царям.

«Почитать дело не бывшим» принадлежало русскому царю как высшему судье в государстве. Каждый приговор в империи начинался со слов: «По указу Его Императорского Величества...»

При этом судья надевал на шею цепь в знак того, что он судит по указу царя.

«Почитать дело не бывшим» — говорит больше, чем амнистия. Амнистия — это прощение, забвение... А «почитать дело не бывшим» — это юридическая формула, обозначающая, что против Шульгина дело не возбуждалось, что не судили, он не был осужден.

Любопытно то обстоятельство, что государь учинил сие деяние по докладу министра юстиции И. Г. Щегловитова. Министр юстиции почитался высшим прокурором, высшим представителем обвинительной власти. Из этого следует, что обвинительная власть отрекалась от своего неправого дела и поспешила его исправить при первом же подходящем случае.

Случай представился, когда я добровольно поступил в полк и был ранен. Тогда уже неудобно было сажать меня в тюрьму. Да, кроме того, меня, как члена Государственной Думы, без согласия Думы и посадить-то в тюрьму нельзя было. А Дума согласия на арест не дала бы. Конвенансы были соблюдены.

Все это вспомнилось мне в юбилейный день 20 января 1915 года, когда неведомый полковник вручил мне повеление верховного судьи:

«Почитать дело не бывшим...»

7. Патриарх

А за четыре месяца перед этой годовщиной, в самом начале сентября 1914 года, со мной произошел удивительный случай. Я отправился из Киева на фронт, так как был зачислен в чине прапорщика в 166-й Ровенский пехотный полк.

В Радзивиллове, в то время местечке с таможней, Волынской губернии Кременецкого уезда, у австрийской границы, была конечная станция. Там я нанял бричку ехать в Броды. На полдороге пересек границу, обогнав сотню казаков, ехавших шагом. От скуки, должно быть, они пели. Ох как пели! Быть может, среди них были и те, что через несколько лет снискали себе мировую славу как певцы во всех «Европах и Америках».

Через час, сделав двенадцать верст, я приехал в Броды, австрийский городок у русской границы. Первое впечатление было удручающее. Домов не было — деревянные стены сгорели. Высоко торчали к небу каменные трубы, а железные крыши сполз-

ли с них вниз и лежали у их ног сморщенными, черными грибами.

Говорили, что сожгли их казаки. Как?! Вот те самые казаки, что так сладко пели на австрийской границе? Нет, не те, а другие, что пришли раньше. Тогда я этому поверил и ужаснулся. Но позже узнал, что на войне брошенные хозяевами дома имеют талант самовозгорания от беспризорности.

Не все сгорело. Был дом, который спасся благодаря тому, что приютил в своих стенах Красный Крест. Это был отряд имени Государственной Думы, содержащийся на личные средства ее членов. Пятьдесят рублей в месяц вычиталось из депутатского жалования, то есть седьмая часть.

Здесь я познакомился с графиней Софьей Алексеевной Бобринской, ставшей во главе отряда. Около нее сидела на деревянных ступеньках сестра в белой косынке, с красивыми глазами. Но в офицере, подошедшем к крыльцу, она узнала «народного представителя», что с «высокой кафедры» произносил речи, которым она не всегда сочувствовала.

* * *

На вокзале поезд берет штурмом толпа солдатских шинелей. Среди них, с мужеством отчаяния, старается пробраться горсточка людей в «цивильном» платье, несомненно, евреев. Мои офицерские погоны очищают мне дорогу, и я попадаю в вагон раньше солдат и евреев. С удивлением вижу, что в вагоне почти пусто, и занимаю место в купе, где никого нет.

Поезд тронулся. Через некоторое время обнаруживаю, что соседние купе успели наполниться, и в коридоре бродят евреи, которых я видел на перроне. Постояв там с полчаса, они попросили разрешения войти в мое купе.

Я «разрешил» и они разместились. Через некоторое время они раздобыли чайник с кипятком и стали пить чай. Наконец, хотя и довольно робко, предложили мне «стаканчик». Я соизволил принять. Тогда они со мной освоились и даже стали задавать мне некоторые вопросы. Я отвечал уклончиво. Однако выяснилось, что они тоже киевляне, а едут во Львов по коммерческим делам.

А затем, неведомо как, они выведали, что я тот самый редактор «Киевлянина», заступившийся за Менделя Бейлиса. С этого мгновения я стал предметом их чрезвычайной заботливости.

Когда мы приехали 6 сентября 1914 года во Львов, взятый русскими войсками незадолго до этого, было два часа ночи. Пробравшись через толпу, метавшуюся по еле освещенному вокзалу, я очутился на улице. Черная ночь и дождь. Никаких носильщиков,

извозчиков. Темноту прорезали иногда резкие огни автомобилей. И тогда видны были бесконечные обозы. И снова безысходная ночь на земле, и дождь с неба. Что делать?

Вдруг из темноты вынырнули те евреи:

— Что же, так и будем стоять под дождем?! То, к чему вы привыкли, мы не можем вам предложить, но все же крыша будет над головой!

Они схватили мои вещи, и я пошел за ними.

Глубокой ночью они привели меня в какую-то гостиницу. Она сейчас же загорелась свечами: электричество не работало. Волшеб-но быстро на столе появился самоварчик, неизменный утешитель тех времен. Стало уютно, но странно: от свечей отвыкли. Я пил чай один, мои покровители исчезли. Было, вероятно, три или четыре утра, в окна заглядывала ночь — черная как могила. Дождь стучал тихонько в стекла...

Вдруг открылась дверь... Свечей было достаточно. Вошел старик с белой бородой. Он подошел к столу и, облокотившись на спинку кресла, крытого красным бархатом, смотрел на меня. Он был необычайно красив — красотой патриарха. К белизне волос, бороды подходили в библейском контрасте черные глаза в рамке черных же длинных ресниц. Эти глаза не то что горели — сияли. Он смотрел на меня, я на него... Наконец он сказал:

— Так это вы...

Это не был вопрос. И поэтому я ответил, указывая на кресло:

— Садитесь...

Но он не сел. Заговорил так:

— И они, эти сволочи, так они смели сказать, что вы взяли наши деньги?..

Я улыбнулся и спросил:

— Чаю хотите?

Он на это не ответил, а продолжал:

— Так мы-то знаем, где наши деньги!

Сияющие глаза сверкнули как бы угрозой. Но то, что он сказал дальше, не было угрозой...

— Я хочу, чтобы вы знали... Есть у нас, евреев, такой, как у вас, митрополит. Нет, больше! Он на целый свет. Так он приказал...

Остановился на минутку и сказал:

— Так он приказал... Назначил день и час... По всему свету! И по всему свету, где только есть евреи, что веруют в Бога, в этот день и час они молились за вас!

Я почувствовал волнение. Меня это тронуло. В этом было нечто величественное. Я как-то почувствовал на себе это вселенское моление людей, которых я не знал, но они обо мне узнали и устреми-ли на меня свою духовную силу.

Патриарх добавил:

— Такую молитву Бог слышит!

Я помню до сих пор изгиб голоса, с каким он это произнес, и выражение глаз. Вокруг ресниц они были как бы подведены синим карандашом. Они как бы были опалены духовными лучами...

Через некоторое время он сказал:

— Я пришел сюда, чтобы вам это сказать. Прощайте!..

* * *

Когда иногда я бываю очень беден, я говорю себе:

— Ты богат. За тебя молились во всем мире...

И мне легко.

Часть IV. ВОЙНА

1. Выстрел в Сараеве

О событии, которое надолго определило судьбу всего мира, я узнал в обстановке, совершенно для меня необычной.

У меня сто тысяч грехов. Но, видит Бог, я не принадлежал к словию кутил. Однако судьбе было угодно, чтобы я познакомился с той жизнью, которая уходила навсегда. В этом на первый взгляд внутренний смысл происшествия.

* * *

В начале июня, еще до отпуска на каникулы 14 июня 1914 года второй сессии Государственной Думы четвертого созыва, приехав прямо из Таврического дворца в Киев, я опустился в редакторское кресло. На этот раз оно было довольно жесткое. Необходимых мне помощников в ту пору не было, и потому работы было много, пожалуй, слишком.

Это имело следствием, что вечером 15 июня 1914 года ко мне пришел Эфем, мой племянник. Он был младше меня всего на восемь лет, и потому иногда позволял себе дерзости. В данном случае он заговорил так:

— Если Государственная Дума еще не окончательно выкрутила тебе мозги, то это случится сейчас, теперь. Каждый день передовая и сверх того — туча посетителей, из которых три четверти болтуны. Тебя изведут вконец. Тебе надо хоть один вечер чем-нибудь развлечься.

— Именно?

— Поедем в «Аполло».

— Это что?

— Театр-кабаре на Николаевской улице.

— И на самых шикарных улицах бывают кабаки?

— А тебе непременно нужно университет или политехникум?

Я рассмеялся и сказал:

— Едем!

«Аполло» оказался не университетом, но и не кабаком. Мы смотрели поразительного жонглера. Он превзошел все чудеса бумеранга, пуская двенадцать больших тарелок правой рукой так, что они, облетев весь театр, собирались в левой. Они трепетали в воздухе, как стая белых птиц, и это стоило посмотреть.

Затем мы выслушали вереницу так называемых лирических певиц, которые пели романсы вроде «Хризантемы», «Молчи, грусть, молчи..», «Пожалей ты меня, дорогая» и прочие. Они были в длинных платьях. Потом мы слушали и смотрели плеяду шансонеток в коротких платьях. Но платья были не короче тех, в каких нынче ходят по улицам не шансонетки, а просто девушки.

Наконец на эстраде появились цыгане. Мужчины с гитарами стояли сзади, на манер частокола. Цыганки сидели спереди рядком. Они пели то поодиночке, то хором. Затем поднялась одна молодая цыганка в черном платье. Вышла на середину и заплясала, но не ногами, а руками, точнее сказать — плечами. Она была очень смуглая, со скулами, как у сфинкса в пустыне, с огромными глазами. Они брызгали черными алмазами.

Нюра, которая сидела посередине и имела лицо матроны, была солисткой. Она пела под известную в те времена певицу Варю Панину. У нее голос был низкий, коричневый, струился не только через рот, но и через нос одновременно и потому был чуть гнусавый. Жемчужные зубы прибавляли этому низкому, грудному, чуточку гнусавому ее голосу серебро, и он становился одновременно глухим и звонким, а в общем прекрасным.

*Нежная роза
Розу ласкала,
Фиалка к фиалке
Листки простирала,
Сирень сладострастно
Сирень целовала,
Лилия лилии
Что-то шептала...
Увы! Увы! Это были цветы,
Но не я и не ты!*

Нюра, или сфинкс в пустыне, или дьявол-искуситель заставили нас сделать то, чего мы не предполагали.

Дьявол под видом официанта прошептал нам:

— Ваше сиятельство, не желаете ли пригласить их в кабинетик, послушать? Недорого. Всего сто рублей...

Цыгане описаны не раз, по лучше всего Н. С. Лесковым. Соперничать с ним не могу и отсылаю читателя к его рассказу «Очарованный странник». Кто прочтет — не пожалеет. От себя же скажу холодно и строго. Я кое-что узнал о цыганских обычаях в отдельном кабинете и вообще о цыганах и цыганках.

Цыгане, перейдя с эстрады в отдельный кабинет, ничуть не изменились. Как там, так и здесь стояли частоколом под стенкой. Цыганки же совершенно изменились. На сцене они казались звучащими мумиями. Здесь же стали живыми существами. Веселые, с таким видом, как будто бы мы были друзьями уже со времен Херопса, и ласковые по-московски. Они говорили прекрасным говором Белокаменной, но с каким-то египетским акцентом. Как-то потом одна мне сказала:

— Цыганка? Что такое есть цыганка? Цыганку надо слушать... и дарить. Это в Москве знают. А здесь они (под «они» она подразумевала киевлян) думают, что цыганка — шансонетка. Так-то цыганка и поедет с тобой куда не надо!

Еще позже она меня поучала:

— Цыганка без табора жить не может. (Табор в ее понимании — цыганский хор.) Но если полюбит цыганка, тогда другое дело. Уйдет с тобой хоть на край света.

И далее:

— Но только ненадолго. На год, два. Вернется в табор. И никто ее корить не будет. Полюбила — и все тут. Ушла — пришла. Так это же тебе не шансонетка!

* * *

Мы с Эфефом потонули в сонмище египетских москвичек с алмазно-черными глазами. Они пели и пили. Шампанское, конечно. Пили, но больше заставляли нас пить. Я сопротивлялся сколько мог. Но у них есть на это средства. Под звон гитар непрерывно работавшего под стеной «частокола» Нюра затянула своим почти загробным голосом:

*Как цветок душистой
Аромат разносит,
Так бокал налитой
(Кого-то) выпить просит.*

Все это было хорошо или плохо, но возможно. Но с этого мгновения на наши головы обрушилось невозможное. «Часто-

кол» дзинькал так, как будто разбивалось сто тысяч бутылок о тысячелетние пирамиды, а вопль цыганок (это уже было трудно было назвать пением) становился Ниагарским водопадом, причем в этой кипящей воде сверкали мириады черных алмазов.

— Выпьем мы за Васю (и как они узнали мое имя!), Васю дарагова...

Нельзя было не выпить за этого Васю, за Филю, моего племянника, и за Нюру, и за Дусю, и за всех цыганок, тем более что они вопили:

*А пока не выпьют,
Не нальем другова ..*

Черт их побери. Сумасшедший у Гоголя кричит: «Они льют мне на голову холодную воду!»

А они обрушили на нас целый Нил с вершины пирамид.

Бывали краткие передышки. Тогда скуластая цыганка, которая была ужасно милой, какой-то совершенно знакомой незнакомкой, показывая все зубы, что-то твердила мне по-цыгански.

Ах, по-цыгански? А я-то чем хуже. И я ответил ей по-цыгански единственную фразу, которую знал: «Ту наджинэс сомэ такэ поракирава. А мэ такэ сэр-со сэу муссел».

Начало этих слов обозначает: «Ты, милый друг, ничего не понимаешь...»

А продолжение на таком староцыганском наречии, что не все нынешние цыгане его понимают. Ну и русский читатель пусть не понимает. Но Дуся, скуластая цыганка, поняла, и Нюра тоже. И они вдвоем, а за ними остальные понесли такое, что я решил — надо кончать. Но как?

Спасителем оказался дьявол-официант, сыгравший на этот раз благую роль. Он наклонился ко мне, к самому уху. Сквозь цыганские вопли я услышал:

— Ваше сиятельство. К телефону просят.

Я понял. Перед тем как перейти в кабинет, я позвонил в редакцию и сказал им, куда звонить, если что-нибудь случится. Взяв трубку, я услышал:

— Василий Витальевич, приезжайте. Убит наследник австрийского престола в Сараеве.

Я ответил:

— Выбросьте передовую, которую я вам дал. Оставьте место для другой.

Через двадцать минут, окатив голову холодной водой из-под крана, я писал новую передовую.

Что же произошло? 28 июня 1914 года, в годовщину разгрома Сербии Турцией на Косовом поле (День национальной скорби Сербии), австрийское командование наметило провести близ сербской границы маневры. Наблюдать маневры должен был наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой, для чего он прибыл со своей свитой в столицу Боснии — Сараево.

Организаторы убийства воспользовались этим обстоятельством. Как потом выяснилось, они принадлежали к некоей сербской офицерской националистической организации «Объединение или смерть», более известной под названием «Черная рука». Организацию возглавлял начальник разведки сербского Генерального штаба полковник Драгутин Дмитриевич, который и разработал план покушения.

Впоследствии говорили, что сербское правительство во главе с премьер-министром Н. Пашичем знало о подготавливаемом убийстве, но не принимало никаких мер для его предотвращения. Еще говорили, что принц-регент Сербии Александр I Карагеоргиевич будто бы также был близок к «Черной руке».

Возможно, поэтому покушение и осуществилось.

Исполнителями его были члены организации «Молодая Босния», выступавшей за освобождение Боснии и Герцеговины от австро-венгерского ига и создание единого югославского государства. Эта организация была тесно связана с офицерами из «Черной руки». Они-то и подговорили члена организации, несовершеннолетнего гимназиста, носившего по странному совпадению фамилию Принцип, убить принца Габсбургской династии.

Гаврило Принцип убил австрийского престолонаследника Франца Фердинанда и его жену, действуя вместе с членами организации «Молодая Босния» Неделько Чабриновичем, Трифко Грабежом и другими заговорщиками. Австро-венгерское правительство, подталкиваемое германским императором Вильгельмом II, использовало это убийство как предлог для предъявления Сербии 23 июля 1914 года ультиматума. Так выстрел Принципа в принца послужил как бы сигналом для начала первой мировой войны на нашей планете.

Какова же была дальнейшая судьба этого несчастного юноши? Как несовершеннолетнего, его не казнили, а приговорили к двадцати годам каторги. 28 апреля 1918 года он умер в тюрьме от туберкулеза.

После освобождения Сербии от австрийского владычества на месте сараевского покушения была установлена мемориальная

доска. В апреле 1941 года в Сараево вступил последний завоеватель — Адольф Гитлер. Он сразу же приказал снять мемориальную доску, предупредив «мятежный» город. Он был уверен, что счеты с историей закончены. Чем это кончилось — всем известно. Вскоре вся страна поднялась на борьбу с завоевателями. А ныне народ Югославии чтит Гаврило Принципа как национального героя.

* * *

Итак, война была объявлена, объявлена Германией России, а не наоборот. Россия в лице своего Государя добивалась мирного исхода. Царь предлагал съехаться трем Императорам, то есть Вильгельму II, Францу Иосифу I и Николаю II, где-нибудь и разрешить конфликт переговорами. Престарелый австрийский император готов был согласиться. Но усы у Вильгельма II были закручены кверху, и он отказался. Александр I Карагеоргиевич, ставший с июня 1914 года принцем-регентом Сербии при старике-отце, прислал нашему Царю очень трогательную телеграмму. Во имя того, что Россия всегда была покровительницей славян, он просил помощи.

Государь написал на этом тексте: «Какая хорошая телеграмма. Чем мы можем помочь?»

В это время в Петербурге, в правительстве, боролись два течения. Одни считали, что русская многолетняя традиция требует, чтобы Россия вступилась за попираемую Сербию. Другие говорили, что мы не имеем права укладывать сотни тысяч, а может быть, и миллионы русских за «суверенитет Сербии».

И те и другие были правы. Одни — потому, что действительно Россия всегда защищала балканское славянство. Другие — потому, что, когда решается вопрос о войне не на жизнь, а на смерть, необходимо чувствовать, что низы и верхи в этом деле согласны между собой. В конце концов сербы, убившие наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда, прежде всего царевубийцы, и русскому царю не следовало бы за них заступаться.

Однако Царь стал на позицию первых: «надо помочь». Но как? Если переговоров не желают, то будет война. Но война с кем? С одной Австрией или с Германией? Царь думал, что достаточно будет войны с Австрией, и были все данные, что мы австрийцев одолеем. Для этого было достаточно частичной мобилизации, главным образом южных корпусов. Но, вероятно, в этом случае Царь ошибался. Вильгельм II непременно вмешался бы в дело, а германская армия представляла самую серьезную угрозу для России.

Тут уместно будет упомянуть, что Император Вильгельм II, по-видимому, чувствовал личную неприязнь к Николаю II. Он, говорят, неоднократно высказывал свое раздражение примерно в таких словах:

— После японской войны, неудачной для России, разразилась революция 1905 года. Россия была в это время так слаба, что мне стоило протянуть руку — и взять Петербург и Москву. Но я этого не сделал. Русские ответили мне черной неблагодарностью, заключивши союз с Англией и Францией против меня.

Так ли это было, судить не берусь, но знаю, что родная мать, британская принцесса Виктория, называла своего сына, Вильгельма II, чудовищем.

Итак, в Петербурге опять шла борьба, какую делать мобилизацию — частичную или общую. Об этом подробно рассказано в очень интересной книге полковника Сергиевского, изданной в Белграде. Автор очень картинно описывает всю драматичность этого вопроса. По его мнению, сделать сначала частичную мобилизацию, а потом общую — грозило анархией. В конце концов удалось склонить Государя объявить общую мобилизацию. Это было сделано, но не означало еще войны. Мобилизация была проведена на всякий случай. Однако Император Вильгельм II ухватился за это решение, и на следующий день 19 июля 1914 года, Германия объявила войну России. Рубикон был перейден, и великая бойня началась.

* * *

Об этом я узнал при нижеследующей обстановке. По причинам, которые в данном случае для читателя неинтересны, моя четверка с кучером Андреем прошла довольно далеко. Обрато я предполагал послать лошадей по железной дороге, что в то время не представляло никаких трудностей. Андрей пошел хлопотать об этом к начальнику станции, но скоро вернулся и заявил:

— Начальник не дает вагона.

Он сделал паузу и прибавил:

— А на станции говорят — мобилизация.

Я сейчас же выехал поездом в Киев и несколько часов благополучно проспал в отдельном купе. Но примерно на рассвете вскопчил. Мне показалось, что поезд обстреливают из тяжелых орудий. Но оказалось, что это так стучат в купе, чтобы я открыл дверь. И тут я увидел, кто стучит. Это был прекрасный слабый пол, иначе называемый «небесные создания», превратившиеся в фурий. В коридоре они метались с неисчислимыми чемоданами, корзина-

ми, детьми и даже клетками с попугаями и колотили ножками в дверь. Я, естественно, открыл купе и спросил по возможности вежливо:

— Что вам угодно?

Мне ответил рев и визг.

— Что вам угодно? Место нам угодно!

Одно мгновение я остолбенел, но потом злая мысль пришла мне в голову. С шумом я открыл дверь и широким жестом показал — пожалуйста! А сам вышел, то есть протиснулся в коридор. То, что я замыслил, случилось. В ярости на меня они ворвались в купе и заполнили его до отказа. Тогда ярость их обратилась друг против друга и между ними началась свалка. Стараясь удержаться в коридоре, чтобы меня не смяли куда-нибудь, я торжествовал и кричал:

— Как нет места? Сколько угодно! Пожалуйста, пожалуйста!

Однако меня «хватило» лишь на несколько минут. Я понял все, вспомнив выражение Марка Туллия Цицерона: «Во время войны законы безмолвствуют». Я имел законное право на свое купе, но меня выбросили. Значит, началась война.

И действительно, эти несчастные женщины были жены и дочери всяких офицеров и всяческих чиновников и должностных лиц, которым было приказано эвакуироваться, так как неприятель был близко.

2. Зимний дворец

В Киеве я узнал, что Государственная Дума в спешном порядке созывается в Петербурге на внеочередную чрезвычайную сессию 26 июля 1914 года, для чего из Киева экстренным поездом идут вагоны, предназначенные для депутатов из ближайших к Киеву губерний. Такой же поезд вышел из Одессы. Он должен был соединиться с киевским в Казатине, и тогда мы совместно будем пробиваться в столицу.

Говорю, именно пробиваться, потому что мы двигались против течения. Вся масса поездов устремилась в направлении фронтов, а мы шли на Москву. Это тоже была новость. Раньше, то есть в мирное время, поезд прямого сообщения Киев — Петербург шел через Вильну. Но сейчас уже и Вильна была под ударом.

В Казатине мы воссоединились с другими членами Государственной Думы более южных губерний, в том числе и с бессарабцами. Среди них был и Пуришкевич.

С Владимиром Митрофановичем мы давно были в серьезной размолвке, то есть попросту не кланялись. Причина безразлична,

но это была острая размолвка. Когда я его увидел в конце коридора вагона, я не знал, что будет. Но я понял очень многое, когда он вдруг просто побежал ко мне с протянутой рукой и сказал: «Шульгин, война все смывает. Забудем прошлое!»

Я пожал ему руку, и даже мы поцеловались в знак примирения.

Да, война многое смывает. Смывает и законы, как сказал Цицерон, но смывает и мелочные, ненужные раздоры. Война великий учитель и экзаменатор. Это через сутки я увидел в Зимнем дворце.

* * *

Пока же я наблюдал все то новое, что принесла война, в другом аспекте. В нашем вагоне ехал член Государственной Думы от Киевской губернии, председатель киевской уездной земской управы, инженер путей сообщения, строивший Киево-Полтавскую железную дорогу, Всеволод Яковлевич Демченко. Это был крайне энергичный человек. Благодаря этому у него были связи во всяких условиях и подразделениях людей, в частности у железнодорожников.

Я говорил уже, что мы двигались против течения. И поэтому мы все волновались, опасаясь, что не успеем к открытию Думы, в особенности имея в виду, что нам придется форсировать Москву, особенно загруженную. Демченко исчезал из вагона на всех остановках. Он теребил начальников станций и посылал бесчисленные телеграммы в Петербург, Москву, председателю Государственной Думы М. В. Родзянко, министрам — ну, словом, всем. Наконец он с довольным видом угомонился, объявив торжественно:

— Мобилизация опережает график. Но мы все-таки успеем в Петербург.

Чтобы понять, что значило заявление о мобилизации, идущей впереди графика на два дня, надо знать: Германия возлагала самые серьезные надежды на то, что Россия запоздает с мобилизацией на целый месяц против графика. А Германия, и это действительно так было, проведет свою мобилизацию точка в точку. И за это время будет иметь серьезный перевес в численности над еще не доставленными на фронт русскими войсками.

Почему германский Генеральный штаб так думал? Потому, что немцы помнили всеобщую железнодорожную забастовку 1905 года, помнили революционный подъем рабочих и интеллигенции и надеялись на то, что это повторится при объявлении мобилизации, но этого не случилось.

Железные дороги были охвачены смерчем патриотизма, которого никак нельзя было ожидать. Патриотизмом была захвачена

в то время вся Россия. Запасные являлись всюду, в полном порядке и даже не произвели бунта, когда продажа водки одним решительным ударом была прекращена во всей империи. Это было чудо. Неповторимое.

Я наблюдал все это, но объяснить себе не мог. Я был холоден как лед, не веря своим глазам, и в глубине души чувствовал, что это воодушевление всех и вся — мираж.

Но, конечно, я повесил семь замков на свои уста и представлялся, что разделяю чувства этих загоревшихся людей.

* * *

Поезд пробивался успешно. На московском вокзале нас ожидал специально для нас заготовленный обед, и мы, подкрепившись, выехали в надежде добраться вовремя в Петербург. Однако времени было все же очень мало. Другие успели, но я опоздал благодаря нелепой причине. Так как прием был назначен в Зимнем дворце, то, по моим понятиям, надо было переодеться во фрак. Но в тесноте вагона все не ладилось, куда-то запропастились запонки и белый галстук, и пока я их разыскал, все остальные члены Думы уже убежали. На вокзале мне не удалось поймать такси, но я захватил последнего извозчика. Стоя в пролетке, я все время торопил его и умолял ехать поскорее, потому что, как я твердил, «Царь меня ждет».

На извозчика это подействовало, и мы от Николаевского вокзала до Зимнего дворца летели вскачь.

На площади было совершенно пусто. Вот он, величавый, красный, с бесчисленными окнами, несколькими подъездами! И никого, ни одного часового и даже просто человека, которого бы я мог справиться, в какой же подъезд мне ворваться. Я бросился наудачу в первый попавшийся. Двери были открыты настежь. Белая мраморная лестница с красной дорожкой была передо мной. Я взбежал по ней со скоростью, которую позволяли молодые тогда легкие. Опять величественная дверь, за ней зал, сияющий паркетом. Но куда же бежать? Вдруг я услышал крики, громкие вопли человеческие. Я понял и побежал туда, откуда они исходили. Я вбежал в зал, в котором была огромная толпа. И это все были члены Государственной Думы. Это они так вопили. Эта толпа теснилась вокруг кого-то, сначала я не понял, вокруг кого. Но затем, расталкивая других, пробрался немного вперед и увидел.

Стесненный так, что он мог бы протянуть руку до передних рядов, метавшихся в припадке чувств, стоял Государь. Это было единственный раз, когда я увидел волнение на просветлевшем лице его.

И можно ли было не волноваться? Что кричала эта толпа, не юношей, а пожилых людей и даже старцев? Они кричали: «Веди нас, Государь!»

Это было, быть может, самое значительное, что я видел в своей жизни. То, о чем мечтали все искренние монархисты: невыдуман- ный, неподдельный, истинный патриотизм.

Это объединенное заседание Государственной Думы и Государ- ственного Совета, открывшееся речью Императора Николая II, со- стоялось в Зимнем дворце 26 июля 1914 года.

3. «Как Стах на войну пошел»

Я вернулся в Киев. Скоро после моего приезда меня попросил к себе генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. Впос- ледствии он был одним из главных организаторов контрреволюци- онного движения на Северном Кавказе, где совместно с генералом Л. Г. Корниловым и А. И. Деникиным создал Добровольческую ар- мию, верховным руководителем которой и главой Особого совеща- ния его избрали в марте 1918 года. Но скорая смерть, 8 октября 1918 года, в Екатеринодаре пресекла тогда намечавшийся им поход на Советскую Россию.

В то время он руководил штабом Юго-Западного фронта.

Я увидел его впервые. Алексеев был простого происхождения, родившись в 1857 году в семье сверхсрочнослужащего солдата. Это не помешало ему окончить в 1890 году Академию Генерального штаба, где благодаря исключительной работоспособности он при- обрел широкие познания, так что, работая в Главном штабе, сумел в 1898 году сделаться одновременно профессором военной истории в Военной академии. Это отражалось на лице его. Когда я разгова- ривал с ним, то мне казалось, что я говорю то с умным фельдфебе- лем, то его глаза сквозь очки светились, как у серьезного, вдумчи- вого профессора. Голос у него был скрипучий и тягучий, как арба, но все-таки слушать его было приятно. Он говорил внушительно и добротнo.

Позвал меня генерал Алексеев для небольшого дела, которое я к тому же исполнить не мог, но это был только предлог. А гово- рил он со мной так веско, что я запомнил слова его на всю жизнь.

— Вот некоторые легкомысленные люди и офицеры, даже большие офицеры, думают и даже говорят, что мы, мол, окончим войну в три месяца. Вздор, и вредный вздор. Противник «сурьез- ный». Его нахрапом не возьмешь. Война будет на измор. Воюет на- род с народом. В таком разе что же самое главное?

Самое главное — это поддержать дух народа. Только в его стойкости, или, как мы говорим, в коэффициенте сопротивляемости, залог успеха. Вообще говоря, коэффициент сопротивляемости для русской армии высок. Но сопротивляемость армии и сопротивляемость народа в его целом не одно и то же. Армия есть производное от народа и потому в конечном счете решает сопротивляемость народа.

Повторяю: самое главное — надо поддержать дух народа. И вот я обращаюсь к вам. Вы представитель народа. Это бесспорно, потому что народ три раза посылал вас в Государственную Думу. Кроме того, вы редактор влиятельной газеты. И вы обязаны использовать ваши данные для того, чтобы народный дух не упал, когда настанут трудные дни, а они будут.

* * *

Я ехал домой от генерала Алексеева в глубоком раздумье. Он был прав. Но что же делать мне? В моей душе ледяной холод. Даже когда я слышал крики: «Веди нас, Государь!»

Как же при таких настроениях я буду поддерживать дух народа? Я чувствовал, что эта война — ошибка, и предвидел бедствие. А мне надо писать ежедневные барабанные статьи в газете «Киевлянин». Я не в силах их выжать из себя. Бывает, конечно, и святая ложь. Но в данном случае это будет покушение с негодными средствами. Внутренний холод пробьется сквозь строчки, как бы я их ни снабжал восклицательными знаками.

Что делать? И вдруг молниеносно, как всякое озарение, пришло решение.

На фронт! Кровью покупается все действительно важное. Человек, самым законом устраненный от участия в действующей армии, если сломает этот закон, то одно это уже будет примером патриотизма, который в какой-то малой степени поддержит дух народа.

Но воевать надо серьезно, подставляя голову. Я имел маленький офицерский чин, состоял «прапорщиком запаса полевых инженерных войск». Другими словами, я был сапер. Но это не годится. Мне надо было разделить судьбу моих волынских крестьян, их мужицкую судьбу. Ведь это они послали меня в Государственную Думу, и я должен быть с ними, плечом к плечу на фронте, в окопах, для того чтобы действительно быть их представителем.

Надо идти в пехоту, «в святую пехоту», «серую скотинку», как говорил когда-то командующий Киевским военным округом, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор Михаил Иванович Драгомиров.

Будучи в 1873—1877 годах начальником 14-й пехотной дивизии, он изложил свой опыт по обучению этой «серой скотинки» в серии статей под заглавием «Армейские заметки». А с удачей применил его во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов, руководя успешной переправой через Дунай у Зимницы и участвуя в обороне Шипки в августе 1877 года.

Но он не дожид до тех дней, когда его любимая «серая скотинка» не пожелала больше слушаться своих «учителей» и, побросав винтовки, стала разбегаться с фронта по домам. Михаил Иванович Драгомиров, выдающийся военный теоретик и педагог, не дожид до Декабрьского вооруженного восстания, скончавшись в Киеве 15 октября 1905 года, за два дня до опубликования манифеста.

* * *

Приняв решение, я послал телеграмму в штаб командующего Юго-Западным фронтом генерала Николая Иудовича Иванова следующего содержания:

«Прошу зачислить меня в 166-й Ровенский пехотный полк. Член Государственной Думы Шульгин».

И на следующий день получил ответ:

«Вы зачислены в 166-й Ровенский пехотный полк. Начальник Штаба Юго-Западного фронта генерал Алексеев».

Должен сказать, что принять решение идти на войну было легко для меня, но крайне жестоко в отношении моих близких. Некоторые идут на войну от несчастной любви. Но я был счастлив в любви. И потому, прежде чем пролить кровь, я пролил много слез. Но когда наводнение несколько утихло, мне сшили шесть шелковых рубах и шесть продолжений, тоже шелковых, это было утешением и тем, кто проливал слезы, и мне, жестокому палачу.

Однако, должно быть где-то в глубине сердца, я знал свою судьбу. Самое счастливое время моей жизни было на войне. Для меня лично война кончилась счастливо.

Однако это не должно входить в мои настоящие воспоминания. Мемуаристы бывают двух пород. Одни типа Жан-Жака Руссо, написавшего «Исповедь». Тут автор представил себя целиком как политика, мыслителя и простого смертного человека. Таких мало, и я не могу идти по следам женеvского мыслителя. В данное время я затесался в сонм мемуаристов, которые касаются только одной части человека, хирургически рассекая его на две половины. Как они, я говорю только о своей какой-то маленькой политической деятельности. При таком способе писать мемуары

разные личности становятся односторонними, какими-то деревьяшками.

В этом я не виноват. Не я этот жанр выдумал, а еще Гай Юлий Цезарь. Его классические мемуары «О войне в Галлии», написанные чистейшим латинским языком, лучшее снотворное средство, которое я знаю. Но могу ли я не преклоняться перед ним, и потому о своих личных делах пишу как можно скромнее.

4. Бой

О войне я написал несколько томов. Где они, «Ты, Господи, ве-си»? Погибли ли при моих переездах, вольных и невольных, или, где-то спрятавшись, существуют, — не знаю. Но, может быть, и лучше, что оно так. Ведь эти тома именно написаны без разделения на две половины: в них не только политика, но и личная жизнь. И до такой степени, что на первой странице первого тома было написано:

«Настоящие записки не могут быть обнародованы при моей жизни».

Любопытствующие читатели могут, если им это интересно, подождать до такого-то года и такого-то числа, когда эти записки отыщутся и будут обнародованы. Когда сие будет, не ведаю.

А сейчас я попытаюсь вспомнить кое-что о войне.

* * *

Так как это было в сентябре 1914 года, то мой полк мне пришлось нагонять. Это длилось шесть суток. Было бы очень забавно для меня вспомнить эти странствия. Я увидел, как живет народ по ту сторону границы, а жил он там тогда плохо. И вообще я видел много интересного. Но я не могу себе позволить такой роскоши все это рассказывать. Скажу только, что во время этих путешествий меня никогда не покидала мысль, что в конце концов я попаду под крепость Перемышль.

Там, мерещилось мне, страшные так называемые волчьи ямы с торчащими к небу заостренными кольями.

Я знал из прежних описаний, что иногда такие крепости брались только после того, как волчьи ямы заполнялись доверху, и даже выше торчащих кольев, трупами убитых, а иногда и тяжелораненых. Вот по этим телам проходили новые штурмы, и крепость брали. Мне казалось, что моя судьба — волчья яма и даже заостренный кол, который вонзится мне в спину.

И действительно, 166-й Ровенский полк оказался под Перемышлем. Но ни волчьих ям, ни острых кольев не было. Полк дрался еще только на передовых укреплениях. До цитадели было верст тридцать.

Штаб полка помещался среди прекрасного леса. В этом году была золотая осень. Дубы и грабы разукрасились во все теплые цвета, то есть желтый и красный.

Я представился командиру полка.

Полковник подал мне руку и, так как это было в присутствии других офицеров, сказал мне очень любезно:

— Мы польщены, что вы избрали именно 166-й пехотный Ровенский полк. Для нас вы не прапорщик, а известный член Государственной Думы. Вы прибыли необычайно точно, только сегодня мы получили приказ о вашем зачислении. Назначаю вас в первую роту, в помощь капитану Голосову. Потрудитесь к нему явиться.

Я представился Голосову, и все пошло в самых сердечных тонах. Мне Голосов очень понравился, у него был прекрасный голос, мягкий и звучный, и притом он очаровательно картавил. Я заснул, когда он рассказывал другим офицерам следующее:

— Никогда в жизни я не ударил солдата. А теперь пришлось, и даже унтер-офицера.

Другой голос спросил:

— А почему?

— Я его послал за мясом для роты, деньги дал. Мясо не привез, а деньги украл...

Тут я заснул, но проснулся, должно быть, через час или два. Тихонько, не очень мелодично гудели, лучше сказать пели, какие-то рожки. Я понял, — это полевые телефоны. Рядом, в другой комнате, телефонисты, лежа на полу, разговаривали с траншеями. Это было уютно, таинственно и немножко жутко. Я заснул опять.

* * *

Утром, так как первая рота сейчас была в резерве, мы с полковым врачом пошли гулять. Кругом были горы, покрытые лесом. Началось то, что называется «артиллерийская дуэль», то есть где-то в небе гудели снаряды.

Меня поразила кажущаяся миролюбивость этой музыки. Снаряды гудели как-то очень деловито, иногда напоминая идущий трамвай. Ни выстрелов, ни разрывов не было слышно. Стреляли обе стороны, но что они обстреливали, понять никак нельзя было.

Снаряды пролетали высоко в небе над нашими головами, поражая неведомо кого.

Вдруг в эту мирную музыку ворвалась нервная строка пулеметов. Врач сказал:

— Ну, что-то начинается. Пойдем домой.

Домой — это обозначало штаб полка. Мы не успели дойти, как навстречу нам показались под командой офицера несколько вьючных лошадей, которые несли на спине пулеметы с припасами.

Врач спросил:

— На работу?

Поручик, кажется, Маковский, ответил:

— Да, они как будто начали наступление.

Пройдя еще немного, мы встретили капитана Голосова, к которому я и обратился, так сказать, по-дружески:

— Можно мне с вами?

Но он, смерив меня взглядом, сказал:

— Вы не в форме. Скатку через плечо. Винтовку.

И затем пошел быстрым шагом вперед, а за ним потянулась рота цепочкой.

Врач сказал мне:

— Ну, пойдём одеваться.

Мою новенькую шинель скатали и надели мне через голову на плечо. Затем приладили подсумок с шестьюдесятью патронами и дали в руки винтовку.

Кто-то из офицеров произнес сочувственно:

— Куда вам воевать, хворостинка вы эдакая.

Я обиделся, не поняв тогда, что это замечание было вызвано моим телосложением. Я был высокий и худой.

Я спросил:

— Где первая рота? Куда она ушла? Как мне ее найти?

Кто-то ответил:

— Скоро будут раненые. Вот вы и идите к ним навстречу.

Я так и сделал. Пошел по какой-то дороге, которая завела меня в лес и горы. Трели пулеметов и ружейная трескотня не давали указания. Казалось, что они трещат со всех сторон. Но вдруг действительно появились раненые. У них были руки на перевязи, местами окровавленные. Один шел довольно бодро мне навстречу, но лицо у него было хмурое. Естественно, у него рука в лубках, должно быть, была перебита.

Но я был в каком-то дурацком настроении и спросил его:

— Уже заработал?

Он посмотрел на меня злым взглядом и ответил:

— Там всем хватит.

Но я пошел дальше. В ушах у меня звучало из Лермонтова:

*Что? Ранен?
Пустяки, безделка!
И завязалась перестрелка*

Вероятно, так и было на погибельном Кавказе примерно сто лет тому назад, когда не было пулеметов и настильного огня, и все было игрушкой сравнительно с современными войнами. В 1914 году это не была «безделка». «Противник сурьезный», — твердил генерал М. В. Алексеев.

Я увидел много раненых и много нераненых, но первой роты 166-го пехотного Ровенского полка не было среди этих гор и лесов. Да и из этой роты я знал только одного человека, капитана Голосова. Я просто приходил в отчаяние, ну как их найти?! Никто не мог мне указать. Я очутился в совсем глупом положении. Как счастья, искал я эту роту, которая сулила мне смерть или рану. И наконец мне посчастливилось.

Через дорогу, по которой я шел, стали перебираться солдаты, и во главе их был капитан Голосов. Я кинулся к нему, как к отцу родному. Но он посмотрел на меня довольно критическим взглядом, сказав:

— Нашли? Ну, пойдём.

Я пошел за ним, счастливый донельзя, теперь все хорошо.

Мы долго бродили по холмам и лесам, но Голосов, видимо, твердо знал, куда надо идти. В это время ружейные пули начали пронизывать верхушки деревьев, причем свистели довольно приятно. Но были и неприятные. Некоторые пули рикошетировали от граба, имеющего очень твердую древесину.

В этих случаях пуля начинает кувыркаться через голову и визжит нестерпимо. Эти пули самые опасные. Ранения от них бывают ужасны.

Мое дурацкое настроение продолжалось. Я не испытывал ни малейшего страха. Люди роты тоже не проявляли никаких признаков ужаса. Как будто эти пули их совершенно не касались. Правда, они проходили пока высоко, но скоро огонь стал настильнее, то есть пули пошли ниже. В это время мы вышли на какую-то лужайку, и рота по приказанию Голосова из вереницы перестроилась в цепь, негустую, а с большими перерывами от человека до человека. В таком положении, как я понял, мы оказались лицом к противнику, но он был еще далеко, там где-то за лесом. Так как пули пошли низко, Голосов скомандовал:

— Ложись!

Рота легла, держа перед собой винтовки со штыками. Потом последовала команда:

— Встать! Перебежка! Бегом, марш!

Перебежали и снова залегли по ту сторону полянки, то есть уже в лесу.

В это время я опять потерял единственное мое счастье — Голосова. Это произошло потому, что развернутая цепь в сто или двести человек оказалась в лесу и видно было только ближайших людей, справа и слева.

Но раздалась еще раз невидимая команда:

— Вперед! Марш!

Мы пошли. И больше я Голосова не увидел.

Таким образом, та часть роты, которая видела меня, естественно, попала под мою команду. Это было мне до известной степени знакомо. Во время еврейского погрома в Киеве я точно так же оказался во главе кучки солдат, покинутой командиром роты. Они видели меня в первый раз в жизни, и я их тоже. Но через короткое время они стали не только исполнять мои приказания, но угадывали каждое движение руки. Солдат любит, чтобы им руководили.

Теперь я знал примерно, где противник, и понял, что нам надо идти на сближение с ним.

Только значительно позже я понял, что все это была нелепость, и не надо было нам идти вперед. Но последнее приказание Голосова было: «Вперед», — а для меня он был тогда весь «закон и пророк». И я стал вести людей перебежками там, где местность позволяла.

— Встать! Перебежка! Ложись!

Но, кроме меня, было еще два унтер-офицера. И вот они меня поразили.

Они не ложились, несмотря на мое приказание. Торчали во весь рост на страх врагам. И затем я услышал вдруг в тишине, наступившей на мгновение, следующее:

— На случай моей убыли назначаю Иваненко.

Это обозначало, если меня убьют или ранят, вами будет командовать Иваненко, его слушайте.

Это была строго уставная команда, которую совершенно хладнокровно произносят в мирное время на учебе. Тогда слова: «В случае моей смерти» — звучат совершенно ирреально. Но здесь это могло наступить каждую минуту в действительности.

Я еще раз прикрикнул на них:

— Лечь!

Но подумал:

«Черт вас возьми совсем! Этим людям страх смерти, по-видимому, совершенно незнаком».

И мы двигались сквозь этот прекрасный лес, грабово-дубовый, дубово-грабовый, а дикий орешник снизу.

А пули все ниже и ниже. Однажды я увидел, как стоявший на коленях солдат вдруг вздрогнул и выругался. Пуля пронизала над самой его головой лист орешника, золотого от заходящего солнца.

Но я совершенно вошел в свою дурацкую роль и вел людей вперед и вперед, а зачем? Я не знал, но был уверен, что так оно и надо. В это время к свисту и скрежету пуль прибавилось нечто гораздо более громкое. Снаряды стали рваться над деревьями. И шрапнель посыпала орешник, вроде как невидимый град.

Я чувствовал, что вот-вот здесь, впереди, то, что мы ищем. Подняв еще раз людей, я очутился на опушке леса. Опушки, как правило, пристреляны, но я этого не знал тогда. Пристреляны — это обозначает, что снаряды точно рвутся на опушке. Тут действительно был непрерывный гром, но это было еще ничего.

Опушка леса для верности была обведена рвом. Это не был окоп, сделанный войсками. Просто канава, указывающая границу леса. А за канавой было открытое поле, полого спускавшееся вниз. Там, внизу, была опять канава, до которой было примерно шестьсот шагов. А за канавой поле подымалось, и за ним был снова лес, такой же прекрасный золото-багряный, примерно в тысяче шагах от нашей опушки.

В этой нашей канаве лежали люди, опираясь на стену канавы, как на бруствер. Лежали плечом к плечу. Прежде всего подумав, что тут наша первая рота, я стал перебегать от одного к другому и, ложась в канаву, спрашивал ближайшего солдата. Спрашивал — это значило, что я кричал ему в ухо изо всех сил, чтобы он услышал среди этого грохота.

— Какая рота? Первая?

И от отвечал, тоже надсаживая голос:

— Никак нет, ваше благородие, шестая.

Я опять перебегаю. Опять говорят какую-то несусветную роту, а первой нет.

Наконец я бросил ее разыскивать и обратил внимание на то, что тут делают эти люди, эти земляки. Тут были молодые и так называемые дядьки, то есть запасные. Один из таких, лет сорока, совершенно невозмутимо, выпустив пять пуль, закладывал новую патерку и опять палил.

А я, когда вел людей через лес, видел, как трудно подносить патроны. Шестдесят патронов, которые несет на себе рядовой, быстро расходуются. Поэтому непрерывно подносят новые. Но это достаточно трудно из-за расстояния и обстрела. На моих глазах убило лошадь, подвозившую на двуколке патроны.

Поэтому я закричал в ухо дядьке:

— Куда палишь?

Он указал мне пальцем вперед, на канаву внизу поля, которая находилась на расстоянии шестисот шагов. У меня в ту пору было острое зрение, можно сказать морское, и я стал кричать в ухо земляку:

— Там никого нет!

Он, присмотревшись, ответил:

— А вже ж никого нема?

Я кричу:

— Перестань! Береги патроны!

А он мне:

— А куды ж стрелять?

И показал рукою влево, вдоль нашей опушки.

А я:

— Нельзя, там наши пулеметы, слышишь?

Я понял, что это поручик Маковский там работает. наших пулеметов было в то время мало, и потому я их различал. Земляк опять спрашивает:

— А куды ж стрелять?

Поняв, что ему совершенно необходимо стрелять куда-нибудь, я показал ему опушку напротив, в тысяче шагах. Там австрийцы могли быть, если они такие же дураки, как мы, то есть лежат на пристрелянной опушке. Мой земляк закивал головой, достал из подсумка новую обойму, засунул в затвор. Я закричал ему:

— Тысячу шагов поставь!

Перевернув прицел на тысячу шагов, он принялся работать, делая это, как добросовестный крестьянин делает свое дело, по-хозяйски...

Видя, что здесь дело налажено, я перебежал на другое место. Тут я втиснулся между двумя молодыми солдатами. Один из них, оскалив на меня белоснежные зубы, хохотал во все горло.

— Чему смеешься? — закричал я ему в ухо.

Он мне в ответ:

— Весело, ваше благородие!

Но я не успел пофилософствовать с ним по поводу этой веселой философии среди окружающего нас ада. Меня что-то так ударило в спину, точнее сказать — в правую лопатку, что, вскочив от невыносимой боли, я потерял сознание.

Очнувшись, я понял, что нахожусь в нескольких шагах от канавы, под большими деревьями, которые ярко освещало заходящее солнце. Понял и то, что ротные фельдшеры какой-то роты перевязывали мне правую руку.

Я сказал, продолжая чувствовать адскую боль:

— Брось, все равно смерть.

Но фельдшер ответил:

— Никак нет, ваше благородие.

Я спросил:

— Что ты там возишься с рукой? Здесь, что ли?

— Никак нет, ваше благородие. Вот здесь кровь бежит.

Я не стал с ним спорить. Боль в лопатке начинала становиться терпимой, по крайней мере, я мог дышать и очень обрадовался, когда перевязка кончилась.

— Подымите меня, — попросил я.

Они поставили меня на ноги и я, почувствовав, что могу идти, сказал:

— Пойду.

— Никак нет, ваше благородие, одни не дойдете.

Один из них взял меня под здоровую левую руку и повел через лес.

Чем дальше мы отходили от опушки, где было так весело, по мнению молодого солдата, я чувствовал себя лучше. Вместе с тем я думал, что эти героические ротные фельдшера, которые спокойно перевязывают раненых в нескольких шагах от пристрелянной канавы, более нужны там, чем мне. Я дойду.

Что? Ранен?

Пустяки, безделка!

Это значило, что дурацкое настроение возвращалось.

Я сказал сопровождающему:

— Ступай обратно.

Но он не сразу меня послушался. Увидев вдалеке серую шинель и белую перевязку, он закричал звонко:

— Раня, ей, раня!

Но «раня» не остановился, может быть, он и не слышал. Тогда мой ротный фельдшер сказал:

— Ваше благородие, этот быстро уходит, за ним не угонитесь. А вот, извольте взглянуть, вон тяжелого несут на винтовках. Эти тихо идут, вам надо с ними.

Действительно, я нагнал их и пошел с ними. Солдатская шинель, которую как-то прикрепляют к винтовкам, служит носилками. Несут вчетвером, потому что тяжело вдвоем. Но они шли медленно, а мне хотелось быстрее попасть домой, то есть в штаб. Я бросил их, опять попав во власть дурацкого настроения. Пустяки, дойду! Но был наказан. Я заблудился и снова стал попадать под огонь. Тут я понял, что психика здорового человека и раненого очень различны. Я прятался за бугорками и, присев где-нибудь, думал о том, как хорошо было бы, если бы чьи-нибудь руки помогли мне добраться, и в полной безопасности выпить стакан горячего крепкого чаю. Дурацкое настроение прошло совсем.

Тем временем солнце зашло. Закат еще горел, но с каждой минутой становилось темнее. А дороги я не знал, где штаб полка, не имел никакого представления. Мало того, я потерял уже ориентировку даже в том смысле, что не знал, где мы, а где противник. Сев под каким-то деревом, я раздумывал, что же делать.

Бой стих. Ни пуль, ни шрапнелей. Но последними выстрелами орудий не то мы, не то австрийцы зажгли какое-то строение с соломенной крышей. Этот пожар горел ярко, и я пошел на огонь. Наконец, перелезая через всякие канавы, дошел до шоссе. Бело-багровое, оно простиралось в обе стороны. Но в какой стороне мы, а в какой противник, огонь не говорил. Я взял вправо и угадал. Через некоторое время, подвигаясь по этой удобной дороге, я дошел до домика, где помещался штаб. При свете пожара я узнал его. Еще несколько шагов — и вот лужайка, на которой, очевидно, перевязывали. Под деревьями лежало несколько человек, уже мертвых, а над другими работал врач, который еще сегодня утром гулял со мной. Я подошел.

— Как — уже? — спросил он.

Теперь я не был в настроении: «что? ранен? пустяки, безделка» — и потому ответил:

— Посмотрите, что у меня там такое.

С меня сняли гимнастерку, что было очень больно. Она была в крови. Потом стащили фуфайку из очень толстой верблюжьей шерсти. Как я потом узнал, это она предохранила меня от серьезной беды. Дело в том, что тот первоначальный удар, от которого я потерял сознание, был от так называемой дистанционной трубки, то есть медной головки снаряда.

Эта штука достаточно тяжелая. Падая с высоты, она ударила меня, когда шрапнель разорвалась над головой. Верблюжью куртку стащили продырявленную. Потом была шелковая рубашка, превращенная в окровавленную тряпку. После этого врач мог меня осмотреть. Он сказал:

— Здорово же вас посыпало. Четыре раны. И пули торчат там. Я их вытащить не могу здесь. Надо эвакуироваться.

Но он ошибся. Когда меня привезли во Львов, то какой-то знаменитый профессор, пригласив своих коллег помоложе, сказал:

— Взгляните, какое изящное ранение. Никаких шрапнельных пуль тут нет. Иначе уже давно было бы воспаление. Это одна ружейная пуля сделала четыре дырки. Сначала она вошла в руку выше локтя с внешней стороны. Это первое входное. Затем она вышла из руки внутренней стороны. Это первое выходное. При этом она перебила нерв, и потому некоторое время рука будет бездействовать. Затем она опять вошла в тело, — это второе входное, и,

проделав путь в мясе на спине, вышла. Это второе выходное на два сантиметра от спинного хребта. Итого четыре. Вас можно поздравить. Затем сильный удар чем-то тяжелым, должно быть — головкой шрапнели, это рассосется.

* * *

Несмотря на приказание врача эвакуироваться, я сразу не уехал. Ночью у меня был порядочный жар, что бывает от потери крови. Вокруг меня суетились офицеры, варили мне чай с красным вином и сердечно со мной беседовали. Я недаром попал в 166-й пехотный Ровенский полк. Но об этом рассказывать не буду. Ну, словом, мне показалось, что я в родной семье. То, о чем я мечтал, прячась от вторичного обстрела, исполнилось. Дружеское участие и горячий чай. Я вдруг понял, как роднит так называемое боевое товарищество. К утру жар прошел, и я, прячась от командира полка, который тоже приказал мне эвакуироваться, гулял в дубово-грабовом лесу, ставшем еще красивее. Но нечаянно я на командира все-таки натолкнулся, и тут последовало серьезное приказание, которого я не мог послушаться.

Так как я потерял свою скатку после ранения, то мне дали австрийскую голубую шинель одного пленного, который, по-видимому, умер. В таком виде меня привезли во Львов, и на пороге «Саксонской» гостиницы произошла такая сцена.

Там стоял член Думы, один из основателей «Союза освобождения», прогрессист Николай Николаевич Львов, который меня очень хорошо знал, но не узнал в голубой шинели, накинутой на плечи. Но кто-то другой узнал меня, несмотря на маскарад, и на радостях, что я уцелел, стал со мной целоваться. А Львов мне потом рассказывал:

— Как я негодовал, когда увидел, что он взасос целуется с австрийским офицером!

Что же было потом?

Надев на рукав белую повязку с красным крестом, но сохранив офицерские погоны, я прибыл во Львов и прямехонько отправился на ЮЗОЗОВскую базу. Она находилась на улице братьев Шептицких, знаменитых польских меценатов, которые основали в Кракове огромную библиотеку. Там могли работать все желающие, но имевшие высшее образование. База на улице Шептицких представляла большую усадьбу, очень беспорядочную, с какими-то домами, складами, бараками, как раз то, что нам нужно было. В этой усадьбе я расположился и стал снаряжать отряд.

В моем подчинении кроме готовящегося отряда была и самая база. Туда совали людей, с которыми еще не знали, что делать и ку-

да их деть. Все они имели какую-нибудь протекцию. Некоторые попадали сюда, потому что были действительно негодны для фронта, другие же — потому что не хотели идти на фронт. Разбираться в этом было не мое дело. Покамест же я кормил их, давал им койку и старался к чему-нибудь приладить.

Например, у меня было на базе несколько заведующих хозяйством, но совершенно неизвестно, каким хозяйством. Потом были две молоденькие сестры-галичанки, — о них расскажу впоследствии. Казалось бы, не большое дело снарядить маленький отряд, но возни было много. Избавлю читателя от описания этих мелочей.

Наконец для похода все было готово, и даже карта у меня была. Мы двинулись в направлении австрийского города Самбора на левом берегу Днестра. Там находился какой-то огромный дом, скорее — замок или дворец. Это была резиденция штаба 8-й армии, которой командовал генерал А. А. Брусилов. В это время в Самборе нас нагнали на машинах П. Н. Балашов и Н. Н. Можайский. Они потащили меня к Брусилову.

Алексей Алексеевич был кавалерийский генерал, очень молодой и изящный, несмотря на свои шестьдесят лет. Родился он 19 августа 1853 года. Говорили о том о сем, но я совершенно не предчувствовал, какую роль сыграет Брусилов в будущем, когда осуществленный в 1916 году под его командованием прорыв австро-германского фронта и высокое искусство руководства войсками выдвинули его в число лучших военачальников первой мировой войны.

Конечно, не мог я тогда предвидеть и того, что генерал, с нами беседовавший, будет назначен 22 мая 1917 года верховным главнокомандующим. А если бы мне сказали, что А. А. Брусилов еще при жизни В. И. Ленина, в 1920 году, вступит в Красную Армию, будет служить в центральном аппарате Народного комиссариата по военным делам, инспектировать кавалерию РККА и состоять для особо важных поручений при Реввоенсовете СССР, — вряд ли бы я поверил, сочтя все это бредом.

После Самбора начинались места дикие и неисследованные. Словом, мы попали в Прикарпатскую Русь, где еще были курные избы. А с нами начались всякие маленькие приключения.

Например, у нас были две походные кухни. Это не были кухни обычного типа. Обыкновенная ротная кухня, если так можно сказать, очень портативна и варит обед на ходу, причем повар шагает непосредственно за ней. В результате, когда рота останавливается на обед, борщ готов.

Наши кухни не умели варить на ходу, были огромные и неуравновешенные. Они в конце концов на одном косогоре свали-

лись в реку. При этом мои семь студентов проявили обычную интеллигентскую никчемность при святой горячности. Они вымокли в реке, но кухни не вытащили. А дядьки вытащили со спокойствием, и эти величественные колымаги проследовали дальше.

Но движение становилось с каждым часом труднее, и потому я, бросив кухни и студентов, помчался вперед на автомобиле, следуя карте, чтобы узнать, не грозит ли нам нечто совершенно непроходимое.

И действительно, я попал в пробку. Обозы стали, и прохода не было, так как с двух сторон дороги была непролазная грязь, а порой и просто болото.

В этой пробке я сидел тринадцать часов. Впереди и сзади твердокаменно стояли обозы. объехать нельзя. Можно было только обойти пешком. И пехота тринадцать часов шлепала, увязая в грязи, мимо нас.

Настроение, конечно, было соответствующее. Грандиозный многоэтажный мат звенел над этими дорогами в виде единственного утешения. Не отставал в этом отношении и мой мальчишка, шофер Горбач. Он в Киеве служил на бирже такси, а это, по мнению самих же шоферов, самый пропащий народ. Но неоценимым достоинством Горбача было доброе сердце. По образованию же он был слесарь.

А пехота все тянулась и тянулась по бокам дороги. Эти шлепающие в грязи люди, естественно, ненавидели автомобиль. И поэтому крыли нас, а Горбач заступался за нашу честь и не оставался в долгу.

Чтобы его уговорить и еще потому, что было чертовски холодно — дул сильный ветер, а машина была открытая, — я приказал ему варить чай. Он принялся за это с восторгом. Перебравшись через ближайшую грязь, он поставил примус на каком-то маленьком пригорке, сделав это на случай, чтобы нас не поранило, если запущенный на чистом бензине примус разорвет. Но примус не разорвало, наоборот. Он воссиял в стущающихся сумерках, как звезда первой величины. И несколько раз согревал душу и тело в течение бесконечной ночи.

Наконец пришел рассвет и с ним свобода. Обозы двинулись. Мы пошли сначала за ними, а когда дорога стала лучше, мы их обогнали и приехали в какое-то село с курными избами, где стоял штаб корпуса, то есть, собственно, корпусной врач.

Это был очень симпатичный старичок, принявший меня радушно, угостивший превосходным кофе со сдобными булочками. Тут же суетились его ближайшие помощники, два врача средних лет, с узкими погонами, но вроде как бы в полковничьем чине.

Я попытался изложить медицинскому генералу, то есть старичку, что я такое и зачем тут. Он понял, что я член Государственной Думы, но чего я от него хочу, не очень понимал. Зато он посвятил меня в свои семейные дела. Он ждал жену, которая под видом сестры милосердия к нему выехала. Затем он стал жаловаться: «Болеет, бедняжка, болеет. Ревматизмы страшные. Я массирую как умею, но, знаете, трудно. Передние-то ноги еще ничего, а задними, хотя она и добрая, как овечка, но лягает».

Я обалдел. Врачи-полковники кусали губы. И наконец я понял: корпусной врач, как и некоторые другие врачи, был лошадник. Его прекрасная кобылка заболела ревматизмом. Но так как он без перехода перешел от жены к лошади, то и произошел такой казус.

Наконец я втолковал ему, что я — отряд, прикомандированный к корпусу, и что прежде всего мне нужно помещение, то есть хату. О другом здесь мечтать не приходилось. Тогда он сказал:

— Да, да, с помещениями здесь плохо. Вот этот маленький домик я занял, а больше ничего и нет. А впрочем, вот вам Иван Иванович покажет.

Мы вышли с одним из врачей-полковников.

— Горячитесь? — спросил он. — Остынете...

Я ничего не ответил. Мы пошли по грязной улице и пришли к какому-то зданию, нечто вроде барака. Вошли. Довольно большое помещение, но оно было сплошь занято ранеными и больными, лежавшими на соломе. Он показал рукою:

— Вот здесь раненые. А там — холерные.

Я не выдержал:

— Раненые и холерные в одном помещении?!

— Ну, а что поделаешь, если нет.

Нет-нет, а все-таки мы нашли какую-то довольно большую хату, притом пустую. И даже соломой был устлан земляной пол. Соломы было много, хотя и грязной.

Я сказал:

— За неимением лучшего, займу эту хату.

Мои кухни и студенты прибыли не так скоро. Поэтому я решил по совету корпусного врача побывать у самого начальника корпуса генерала Н. А. Орлова. Штаб этого генерала помещался за «горами и лесами», куда вела бревенчатая мостовая.

Еще древние римляне говорили: «Германцы очень любят петь. Но когда они поют, то голоса их звучат как грохот колес по бревенчатой мостовой».

У нас такие дороги назывались «клавиши». Вот я и поехал по этим «клавишам» к генералу Орлову. И узнал, что проехать по такой настилке можно, если выдержишь.

Николай Александрович принял меня крайне любезно. Он, видимо, также скучал, как и корпусной врач. Он пригласил меня обедать со всем штабом, а после обеда три часа разговаривал со мной вдвоем. Ясно было, что у него времени много.

О чем же говорили?

С членом Государственной Думы можно было говорить при желании о политике, о важных военных вопросах, о состоянии армии и, наконец, поскольку я причислен был к медицинскому ведомству, об этого рода делах. О последних генерал сказал, что ими ведаёт корпусной врач. А я хотел от Орлова, чтобы он своей властью продвинул мой отряд ближе к фронту, потому что мне стало ясно: при корпусном враче мне нечего делать.

Ну, так вот, о чем же мы говорили с генералом три битых часа? Трудно поверить — о травосеянии в Сибири! Орлов там когда-то служил и Сибирью интересовался. Но мне до Сибири не было никакого дела, в особенности до травосеяния. Но я слушал терпеливо и покорно. Зато, когда я пустился в обратный путь по грохочущим «клавишам», то подумал: «Тут разразится какой-то скандал».

Я угадал. Через некоторое время, но когда меня уже там не было, противник прорвал наш фронт, и прорыв имел сорок верст в ширину. Это была катастрофа. Все бежало, а те, что не убежали, попали в плен. В том числе едва не попал в плен мой отряд.

И тогда я вспомнил, что это не первое приключение Николая Александровича Орлова. Еще в 1904 году в Ляоянском сражении поражение дивизии генерала у Янтайских копей повлекло за собой очищение русскими Ляояна и отступление всей армии командующего А. Н. Куропаткина. Бывает... А меж тем Н. А. Орлов был образованный генерал, профессор Академии Генерального штаба. Я еще раз понял, что талант военного полководца одним только образованием не получишь.

Но вернемся к тем временам, когда мой отряд еще состоял под моим начальством. Кое-как мы разместились в этой хате и приготовились к работе. Мобилизовали марлю, бинты, лубки и все прочее. Студенты работали охотно, а остальные исполняли свои обязанности.

Исполняли свои обязанности и два молодых человека лет шестнадцати, аристократического происхождения, пажи. Это были сыновья Петра Николаевича Балашова и профессора Чубинского.

Пажа Чубинского называли пупс. У него было лицо великовозрастного младенца, и говорил он жирным баском. Надоел мне страшно, повторяя беспрерывно:

— Когда же, Василий Витальевич, мы будем выносить раненых из окопов?

Это была их обязанность, они для этого и приехали, надоевши родителям так, что их отдали мне в отряд. Никак нельзя было им втолковать, что мы находимся при штабе корпуса, от которого до окопов три года скачи — не доскачешь.

Но ранения в окопах в одну прекрасную ночь пришли к нам сами. На дверях нашей хаты всю ночь горел яркий фонарь, освещавший красный крест. Дежурному было вменено в обязанность следить, чтобы свеча не потухла. В эту ночь было морозно.

В три часа ночи постучали в окно, а затем вошел солдат, совершенно замерзший, рука на перевязи. Все вскочили, хата осветилась огарками. Заработал примус, и через десять минут изнемогшему человеку дали горячий чай с вином. Он оттаял и стал отвечать на вопросы:

— Откуда?

— С фронта.

— Как далеко?

— Тридцать будет.

— Сколько шел?

— Часов десять... не знаю.

— Почему повязка протекла? Когда тебя перевязывали?

— Там, ротный фельдшер, от окопов близко.

— И больше нигде не перевязывали?

— Нет. Ни одного огня не видел.

Между тем я твердо знал, что какой-то Красный Крест стоит от нас в пятнадцати верстах в направлении фронта. Стали перевязывать. Перевязка протекла кровью, хотя были наложены лубки. Пуля перебила кость.

За этим первым посыпались. Все такие же ходячие, но с переломами рук. Все они, помимо всего прочего, замерзли. И потому кружка горячего чая была для них благодеянием. Некоторые охотно рассказывали, что делается на фронте:

— Там гора великая. Черт ее возьмет! Артиллерии треба. Там багцко наших лежит.

И опять:

— Артиллерии треба!

На этой «великой» горе стояли мадьяры. К ним приезжал какой-то австрийский принц, и они поклялись ему, что не сдадут горы. И не сдавали, пока не пришла на помощь эта самая «артиллерия».



*М В Родзянко,
председатель 4-й
Государственной Думы*



*А И Гучков
лидер «октябристов»
в Государственной Думе
1913 год*



*В В Шульгин
1917 год
Фото К К Буллы*



*М В Алексеев,
Верховный
Главнокомандующий
Русской армией в 1917 году*

С величайшим трудом, на руках мы втащили пушки на такую гору, с которой была видна эта самая «великая» гора, и наши снаряды ее доставали. Когда «антилерия» прижала как следует, мадьяры побежали и мы заняли «великую» гору.

За этой «великой» горой, на горе еще более высокой, стоял пограничный знак в виде некоего обелиска. На одной стороне было выгравировано: «Польша», на другой — «Венгрия».

* * *

Был один член Государственной Думы. Очень полезный в Таврическом дворце. Он кое-что смыслил в финансах. А на фронте очень суетился. Он свалился мне на голову с криками:

— Едем!

— Куда?

— В Венгрию. Командир корпуса там.

Мой отряд уже втянулся в работу, я мог отлучиться. Поехали. Проехав пограничный обелиск, мы очутились в Венгрии. Это было очень приятно. Тут начинался южный склон. Там, откуда мы приехали, то есть на северном склоне, была зима и мороз. А здесь весна.

Мы быстро спускались и быстро теплело. Проехали несколько километров, и вдруг дороги не стало. Снега, сбежавшие с гор ручьями, размыли ее.

— Пешком пойдём.

Он был настроен воинственно. Бросив автомобиль, пошли. Вошли в какую-то деревушку с соломенными крышами, где никого не было. Вдруг загудело, и солому ближайшей хаты сорвало пролетевшим снарядом. Нас осыпало соломинками. Он сказал: «А это неприятно!»

Пошли дальше, он непременно хотел добраться до командира корпуса, хотя нам решительно нечего было ему сказать.

Мы дошли благополучно до села побольше и увидели хорошую шоссеиную дорогу, которая уходила прямо к противнику.

Вдруг я увидел, сначала даже подумал, что мне чудится, голубые австрийские шинели, которые шли прямо на нас, в строю, четыре в ряд, и эта колонна тянулась куда-то вдаль. Что такое? Вот что это было.

Целый полк переходил на нашу сторону. Оказалось, что это были взбунтовавшиеся славяне австрийской армии. Среди австрийских славян война с Россией была крайне непопулярна. Но их старались перемешивать с другими национальностями. Однако здесь недоглядели — в этом полку славян оказалось большинство. И они пошли к славянам: поляки, русины, чехи, сербы, словаки. Так как

их было подавляющее большинство, то они захватили и небольшую часть венгров. И вот идут по дороге, несмотря на то, что их бьет австрийская артиллерия.

Село, в котором мы очутились, называлось Мезалаборче. Я пишу об этом потому, что с этим полком мне пришлось в тот же день встретиться еще раз.

В первом томе мемуаров бывшего президента ЧССР, генерала армии Л. Свободы, вышедших в Праге в 1971 году под названием «Дорогами жизни», рассказано, что в 1915 году он был призван в ряды императорской австро-венгерской армии. Когда его пехотный полк попал на восточный фронт, двадцатилетний Людвик Свобода подобно многим тысячам других чехов и словаков при первой возможности перешел на сторону русских. Это произошло 8 сентября 1915 года под Тарнополем. По-видимому, я явился одним из первых свидетелей этого великого движения славян к своим братьям в Россию. В «лоскутной» монархии Габсбургов стали появляться трещины распада с самого начала войны.

Пропустив переходящих к нам славян мимо себя, мы пошли в штаб. Это довольно большой дом, обитатели которого собирались уезжать, потому что обстреливали шрапнелью. Она падала на крышу и в саду вокруг. Во дворе стоял воз, даже целая платформа, переполненная вещами, всяким скарбом. На самом верху, на каком-то кресле сидел большой белый гусь, очевидно привязанный. Он опасно смотрел в небо одним глазом. Небо грохотало и сыпало пулями.

Так как я уже побывал под этими салютами и был ранен, то, скажу откровенно, мне было тоже не совсем по себе. Я был очень рад, когда мой спутник вышел из дома и сказал:

— Надо уходить.

Мы дезертировали и где-то нашли свою машину. Поехали. В это время полк славянских перебежчиков уже стал подниматься на ногу. Мы обогнали его. И тут увидели и поняли, что часть этих людей были пьяны и все голодны до озверения. Мой суетливый спутник бросил им круглый хлеб, который у него оказался, и большой кусок сала.

Но что произошло! Один солдат подхватил хлеб на лету и убежал с ним в поле. За ним ринулись остальные. Нагнали, сбили с ног. Он, падая, поджимал хлеб под живот, но его перевернули, хлеб вырвали. И все вместе стали рвать несчастный хлеб друг у друга. То же самое произошло и с салом. Мы умчались от этого страшного зрелища.

Я приехал домой, то есть к своему отряду. Через несколько часов мне принесли телеграмму: «Приготовьтесь накормить две тысячи человек».

Вот когда пошла горячка. Я понял, что это на меня навалятся все те же озверевшие от голода солдаты.

Две тысячи человек! Считая один хлеб на четырех, надо было достать пятьсот хлебов. Я погнал автомобиль в ближайшую военную хлебопекарню. Привезли. Но надо было приготовить обед. Мои гигантские кухни тут-то и пригодились. Но я подсчитал, что сегодня «голубые» не смогут добраться. Придут утром еще более голодные. От нас дорога подымалась в гору. Я приказал дежурить с утра. Вдруг мне доносят:

— Идут!

Я выбежал на дорогу и увидел: «голубые» показались на хребте. В это время кухня уже заработала, и, так как не было ветра, дымок победоносно струился к ясному небу. Но запах от кухни распространялся и без ветра, и от него, от этого запаха, голодные солдаты должны были еще пуще озвереть.

Поэтому я пошел им навстречу. Я надеялся, что при них все-таки есть какой-то наш конвой. И не ошибся. Был конвой, и начальник его, толковый унтер-офицер, сейчас же подбежал ко мне, я спросил его по существу:

— Конвой обедал?

— Никак нет, ваше благородие.

— Сколько конвойных?

— Так что восемьдесят человек.

— Разделить пополам. Сорок человек марш к кухням обедать. Сорока остаться тут на месте.

— Слушаюсь, ваше благородие.

Конвой бегом побежал к кухням. Когда их там покормили и они вернулись, я отправил обедать и другую часть. Когда весь конвой насытился, я сказал:

— Окружить кухни.

Когда это сделали, приказал:

— Теперь пускай.

Они бросились, хорошо, что предохранительные меры были приняты. Они перевернули бы кухни, обед пропал бы, и они вместе с ним. Но конвой оказался на высоте. И когда «голубые» бросились к кухням, конвой повернул винтовки штыками вперед. Перед этим обезумевшие отступили. Русских штыков панически боялись за границей.

Тогда я вышел за конвой и стал с ними говорить на трех языках: немецком, русском и польском. А больше всего изъяснялся на пальцах. Я показывал им: четыре, четыре, четыре. Это они легко поняли. Тогда я стал долбить им, что надо рассчитаться на четверки. И это они поняли. Голод не тетка. Когда они выстроились в несколько рядов, но по четверкам, я приказал давать на каждую чет-

верку один хлеб. Мгновенно у них появились какие-то ножи, и они стали резать хлеб.

Когда они съели хлеб, звери снова стали людьми. Я ясно видел это по их глазам, они стали совершенно другими. Исчезло бешенство, и светился разум. Тогда стали подпускать к кухням. У них у всех были котелки, которые наполняли разливной ложкой. Примерно пятьсот граммов жирного, вкусного борща на брата.

Это длилось долго, но наконец кончилось. Благодаря на всех языках и руками тоже, под водительством конвоя они пошли дальше. Судьба славян в России не была дурной. Их не считали пленными. Их пристроили в разных хозяйствах, в селах и у помещиков, где они охотно работали.

Впоследствии из этих перебежавших в Россию славян была сформирована армия не армия, но корпус. А Людвик Свобода 2 июня 1917 года сражался уже плечом к плечу с русскими солдатами против австро-германцев под Зборовом.

5. Исповедь

Где-то в Галиции стояла церковка, такая, какие бывают только там. Она была сложена из деревянных бревен невообразимой толщины. Никто не знает, сколько лет было этим деревьям, когда их призвали к высокому назначению быть стенами храма. Но церковка эта была крохотная, с комнатой величиной. В нее вели ступени. Толщина ступеней была почти в пол-локтя. Куполок у церкви был один, куда меньше, чем Царь-колокол! Стояла она среди зеленой лужайки, где летом были цветы.

Внутри был алтарь — все как надо. Несколько человек могли в ней поместиться. Галичанки в белых свитках иногда молились здесь до войны. А сейчас сюда приходила русская сестра милосердия в белой косынке, напоминавшей венчальную фату, и коленопреклоненно молилась о всех и за вся.

А ночью эта же сестра сидела у маленького столика в громадной палате. Керосинка освещала только ее белую косынку и записную книжечку, в которой было записано, кому и когда давать лекарства и прочие назначения.

Вокруг сестры стояло много коек с тяжелоранеными. Ближайшие были чуть видны, особенно белые подушки и перевязки, а те, что подальше, еле виднелись в темноте. Была тишина, иногда нарушавшаяся тихим стоном.

Все это я увидел, войдя в палату. Сестра поманила меня рукой и указала на второй стул, около столика. Она dokonчила читать за-

писи и ушла бродить в полутьме, исполняя свои обязанности. Потом она вернулась и налила мне стакан горячего чая с красным вином. Таков был неизменный обычай на той войне.

Мы говорили шепотом о том о сем. О ее работе, о моих приключениях и о том, что было так далеко-далеко, о близких и родных там, в граде Киеве, брошенных.

*Про край родной, про гулкие метели,
Про радости и скорби юных дней,
Про тихие напевы колыбели,
Про отчий дом, про кровных и друзей.*

Но она все время прислушивалась, не позовет ли кто. И кто-то позвал. Она пошла. И долго ее не было. Я с трудом мог разглядеть, как белая косынка склонилась над кем-то и, должно быть, внимательно слушала какую-то длинную речь.

Я слушал, как говорит безмолвие. И думал:

«Что он, этот неизвестный тяжелый, говорит сестре? Наверное, о своей болезни, о своей ране, о страданиях, ею причиняемых. А может быть, о детях, которых он оставил дома?..»

Наконец сестра вернулась. По ее хорошо знакомому лицу я увидел: что-то произошло. Серые глаза залил расширившийся зрачок, и они казались черными.

Через некоторое время она стала говорить:

— Страшное он рассказал. Ему дали отпуск. Поезд пришел ночью. Он отправился пешком через лес в свою деревню. Там все спали. Только в одной хате был огонек. Он вошел и увидел — на постели спят двое: отец и жена. В углу был топор. Он взял его, подошел к постели и убил обоих. Они даже не проснулись. Он закрыл дверь, снова прошел через лес, сел в поезд и вернулся в полк. На следующий день его тяжело ранило. Будет ли жив — не знаю. Он думает, что умрет. Мучает совесть. Просит позвать командира полка. Хочет сознаться. И чтобы его судили. Просит меня. Что делать?

Я долго не отвечал. Она неотступно смотрела на меня серыми глазами, ставшими черными. Я думал и слушал.

Где-то там, выше крыши палаты, там, в темноте ночи, звучало:

*Про тихие напевы колыбели,
Про отчий дом, про кровных и друзей.*

А потом... потом мои мысли перенеслись в церковку с необъятными стенами. Там, на коленях перед алтарем, молилась эта самая сестра в подвенечной косынке с серыми глазами, ставшими черными, молилась о всех и за вся.

После долгого молчания я произнес:

— Пойдите к нему и скажите, что их благородие, — он меня видит, — приказали: командиру полка не надо говорить, батюшке — на исповеди.

6. Мерзавцы

Мария Николаевна Хомякова недолго оставалась там, в глуши Галиции, где стояла ветхая, старинная церковка. Вместе с частью отряда Государственной Думы она переходила в Тарнов, а мы, то есть П. Н. Балашов и Н. Н. Можайский и я, двигались по шоссе во Львов. Балашов в одном автомобиле отправился прямо в город. Можайский же на другой машине, захватив меня, хотел куда-то еще заехать, но, можно сказать, заехал в тупик.

Мы очутились перед взорванным мостом, по которому с трудом можно было перебраться пешком, а машина и подавно пройти не могла. Река тут была довольно широка, но спуск к воде удобный, песчаный. Так как мы воображали себя властителями рек, то без колебаний бросились в воду. И сели. Оказалось здесь не только широко, но и глубоко. Вода стала заливать машину до сиденья. Мы вскочили на спинку, но мотор стал. Кончено. Что делать?

Горбач, не думая ни минуты, соскочил в воду, которая была ему выше пояса. Можайский не позволил мне сделать то же, а сам прыгнул, сказав:

— Стерегите машину.

— От кого ее стеречь посреди реки?

Но я покорился. Впрочем, кое-что сделал и путного. Успел, например, выхватить на спинку спальные мешки, прежде чем они намокли. Это нам пригодилось.

Совсем недалеко была деревня. Туда направились Можайский и Горбач. Там они подняли тарарам, разыскали старосту, и деревня сбежалась на песок. Это были местные крестьяне, поляки, очень суетливые и очень вежливые. Никакого мата, только: «проше пана» и причитания. Однако никакой пользы они не принесли. Напрасно Горбач вопил, что надо лезть в воду и «вырвать машину, — как он говорил, — подъемом». Крестьяне бегали по берегу и в воду не лезли. Я сидел посреди реки на спинке автомобиля, все это наблюдая, и думал: «Конечно, надо «подъем».

Но Горбач переменял тактику и стал вопить:

— Коней надо, понимаешь?

Они поняли и притащили две лошаденки и веревку. Горбач привязал веревку к рессоре. Коней погнало. Лошаденки испуга-

лись криков и потянули. На них кричали еще, они еще напряглись, и веревка порвалась. Машина осталась на месте.

Отчаяние и ругань Горбача были неопиcуемы.

— И веревки у них нет, трам-та-ра-рам!..

Неожиданно послышался звук мотора. На песок спустилась машина, грузовик. Шоферы заявили:

— Нас прислал штаб вытащить машину.

Мы обрадовались:

— Да, да, вот она, в реке.

Последовала ругань, без которой нельзя. Они бросили Горбачу цепь:

— Вяжи, дурак, посадил машину!

Горбач завязал, грузовик завыл, цепь натянулась, но машина осталась на месте. Тогда надумали: в помощь грузовику впрягли и лошадемок.

«Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, собачка за внучку, тянут-потянут — вытащить не могут!»

Мышка не успела прибежать, потому что цепь лопнула. Грузовик заругался невыразимыми словами, мотор завыл, и они уехали.

А потом мы узнали, что вышло некоторое недоразумение. Штаб выслал помощь совсем не нам, а другой машине, штабной, которая тоже засела в реке в каком-то другом месте.

Стало темнеть. Можайский сказал, что будем ночевать на том берегу в спальных мешках. Меня сняли с машины сухим. И мы с Можайским перешли на тот берег реки по конструкции моста, так как настилки не было. Горбачу я сказал:

— В деревню. Отогрейся. Высушись.

Он спросил:

— А машина?

— Ну что машине сделается?

Мы залегли в мешках. Что я согрелся быстро — это не удивительно, но и мокрый Можайский, сняв сапоги и прочее, тоже согрелся. Мы заснули.

В воздухе упоительно пахло красной лозой, и река чуть-чуть журчала.

На рассвете Николая Николаевича осенила блестящая мысль. Он сказал:

— К этапному коменданту.

Этапный комендант оказался киевлянином, чехом по фамилии Поспишиль. Этот чех был русским офицером, сыном преподавателя латинского языка в Киеве. Значит — земляки. Поспишиль поспешил и сказал нам:

— Я дам вам двадцать пять «мерзавцев» — мою этапную коман-

ду. Делайте с ними что хотите. Эти негодяи способны вытащить и самого черта за рога.

Мы зашагали обратно во главе этой этапной команды. Пришли. Все было без изменения. Горбач ругался. Команда со старшим унтер-офицером во главе выстроилась и ждала.

Я думал, думал и наконец придумал. Отозвал старшего в сторону и повел с ним разговор такого рода:

— Вода холодная.

— Так точно, ваше благородие, холодная.

— Я могу приказывать людям лезть в холодную воду.

— Так точно, ваше благородие, можете.

— Могу, но не хочу. Только добровольно.

— Так точно, ваше благородие, добровольно.

— Скажи им, двадцать пять рублей, рубль на водку каждому, если вытащат машину.

— Так точно, ваше благородие, рубль на брата.

Он пошел к неподвижно стоящей команде и что-то им сказал. Они пришли в огромное волнение, и начался грандиозный мат, которым они крыли друг друга.

— Ну чего? Чего тут смотреть? Скидавай штаны!

Покричав и сбросив штаны и сапоги, полезли в ледяную воду, продолжая ругаться. Все двадцать пять ухватились за машину с воплями:

— Раскачивай ее, раскачивай!

Машина сначала не поддавалась, но потом послушалась, начала качаться. Тогда они стали вопить:

— Не дай ей, не дай ей, трам-та-ра-рам!..

Под влиянием этих уговоров машина раскачивалась все больше и больше, и верхушки колес уже показались из воды.

Тогда вопли «Не дай ей» стали перебиваться криками:

— Досок, досок под нее!

Это поняли и крестьяне, бегавшие по берегу, и бросили им несколько досок. И под продолжавшиеся крики «Не дай ей» доски подвели. Теперь «она» уже не могла загрузнуть второй раз. Тогда, переменив направление своих усилий, они подтащили ее к доскам, которые сменяли одна другую, и вырвали проклятую машину на берег.

Мы смотрели на все это, и у меня просто горло стеснило от восторга и еще чего-то... «Мерзавцы» и «негодяи» спешно одевались, продолжая ругаться. Потом выстроились. Я дал деньги старшему. Он сказал мне:

— Покорнейше благодарю, ваше благородие!

А команде я прокричал надтреснутым голосом:

— Спасибо, земляки!
Они ответили дружно:
— Рады стараться, ваше благородие!
Вот тебе и «мерзавцы»!

* * *

Человек, как известно, животное общественное. Но не совсем. Есть у человека и личная жизнь. В античном греческом мире людей, которые не занимались политикой, то есть общественным, а только жили личной жизнью, называли «идиотами». Это отнюдь не было бранное слово. Таковым оно стало гораздо позже, то есть когда люди сильно поглупели.

Я не страдаю самомнением, но должен сказать, что я совершенный «идиот» в греческом смысле. Политику ненавижу уже тогда, когда я не понимал еще, что это слово значит.

Например, когда я уже научился читать и случайно попадал на газетные строчки, где было сказано, что в какой-то стране разразилась парламентская борьба, я просто негодовал. В моем мальчишеском представлении борьба представлялась дракой с индейцами по Майн-Риду.

Словом, я стопроцентный «частник», но судьба, беспощадная Мойра, принудила меня стать членом Государственной Думы со всеми последствиями сего. Поэтому и на войне я, в сущности говоря, был только парламентарий, то есть воспринимал ее с точки зрения политики. Это потому, что я все-таки коллективное животное.

Но неизъяснимую тайну войны я испытал в чисто личном плане, а потому здесь говорить не могу. Ввиду того что я мемуарист обычного толка, у меня одна половина мозга вырезана. И ничего с этим не поделаешь.

То ли дело Лев Николаевич Толстой. Его великое произведение имеет двойное название: «Война и мир». Война — это общественное, мир — глубоко личное. Это чарующее личное Толстой мог себе позволить только потому, что он назвал свой шедевр романом. В качестве романиста он мог описывать себя и близких ему людей по закону: «Я не я, лошадь не моя». Он, например, назвал свою мать княжной Болконской. Эта невинная ложь позволила ему сказать великую правду о женщине некрасивой лучше, чем о красивой.

Я этого всего позволить себе не могу и потому буду продолжать моим ущемленным пером о войне с точки зрения политической. И вот что из этого последует. Приехав в Киев, я стал там лечиться, потому что правая рука после ранения не действовала. При помощи гальванизации мою руку разбудили. Она стала подниматься на-

столько, что я смог пальцами взять правое ухо. Тогда я почувствовал, что надо возвращаться на фронт.

7. Радко Дмитриев

И вот снова Львов. Перед отъездом на фронт, будучи совершенно один, я пошел в театрик, наполненный исключительно русскими офицерами.

Но тут случилось нечто. Там я встретился с моими друзьями по Государственной Думе: Петром Николаевичем Балашовым и председателем Брацлавской уездной земской управы, камергером Высочайшего Двора Николаем Николаевичем Можайским. Многие члены Государственной Думы очутились на фронте.

Одни, как и я, затесались в действующую армию, сломав закон, по которому депутаты Думы не могли призываться, другие же устраивались как-нибудь иначе. Член Думы последних трех созывов от Тульской губернии, богородицкий предводитель дворянства граф Владимир Алексеевич Бобринский был адъютантом у генерала Радко Дмитриева. Товарищ секретаря Государственной Думы, порховский уездный предводитель дворянства Псковской губернии националист Александр Дмитриевич Зарин, человек пожилой, по внешности, можно сказать, бочка, пошел просто в пехоту. Он очень многое перенес там и впоследствии озлился. Земский деятель октябрист Александр Иванович Звегинцев, депутат Государственной Думы от Воронежской губернии, тоже был в каком-то штабе, но впоследствии погиб на разбившемся самолете «Илья Муромец».

Некоторые члены Думы надели повязки с красным крестом на руку и работали на гуманитарном поприще. Например, В. М. Пуришкевич организовал великолепный поезд для тяжелораненых. Их с фронта доставляли прямо в Москву или Петербург. Попасть в поезд Пуришкевича было мечтой. П. Н. Балашов и Н. Н. Можайский тоже пошли по этой дороге. Они не захотели работать вместе с созданным 30 июля 1914 года в Москве на съезде уполномоченных губернских земств Всероссийским земским союзом помощи больным и раненым воинам и выделились в особую группу под именем ЮЗОЗО.

Они имели автомобили, что было весьма существенно. Вместо того чтобы мне тащиться по дорогам, как в первый раз, когда я нагонял свой полк, П. Н. Балашов и Н. Н. Можайский предложили мне ехать с ними к генералу Радко Дмитриеву. Там точно скажут, где мой полк. Но пока что затаили одну мысль, которая выяснилась впоследствии.

* * *

Несколько слов о Радко Дмитриеве. Он был болгарин по происхождению и считался одним из выдающихся генералов. Кроме всего прочего, у него был какой-то дар, близкий к ясновидению. Бобринский Владимир Алексеевич рассказывал мне о нем:

— Солдаты были убеждены, что он что-то знает. Я запомнил один случай. Однажды генерал шел в сопровождении всего штаба вдоль опушки леса, а опушки, как вы знаете, почти всегда пристреляны. И тут то справа, то слева от движущейся нашей группы рвалась шрапнель над деревьями. Было несомненно, что немцы нас увидят. Поэтому это хождение было опасным. Однако генерал шел, и мы должны были идти с ним. День был прекрасный. Радко Дмитриев был очень весел, шутил и угощал нас шоколадом. Он сделал довольно продолжительную остановку под огромным дубом, торчавшим на опушке. Осматривал расположение. А белые дымки шрапнелей продолжали рваться то справа, то слева. Пройдя шагов сто, Радко обернулся на дуб и увидел, что там, совершенно неизвестно для чего, стоит молодой офицер. Тогда генерал скомандовал громким голосом:

— Поручик, ко мне! Бегом!

Офицер побежал от дуба, и едва он успел отбежать, как ядро ударило в самый ствол там, где он стоял. Это произвело впечатление, и солдаты без всякого колебания говорили: «Он что-то знает».

Тяжелый бой под Львовом 13 августа 1914 года западнее Золочева на берегах реки Золотая Липа, где у Радко были две дивизии, а у австрийцев три, он выиграл только потому, что лично повел в атаку последний резерв, то есть свой штаб и конвой. Этот ничтожный удар австрийцы не выдержали и отступили.

* * *

В этот день и эту ночь был ожесточенный бой под Ярославом, городом западнее Львова. Артиллерийская пальба была так сильна, что ее слышно было здесь, в штабе корпуса. Лица офицеров были серьезные. Однако генерал нас сейчас же принял. Он пригласил ужинать. Но прежде чем сели за стол, Радко Дмитриев обратился к нам с речью. Он говорил с легким болгарским акцентом и энергической манерой.

— Я болгарин, как вам известно. Я горжусь тем, что я русский генерал. Я горжусь, что командую русским солдатом. Нет в мире лучше солдата. Я его люблю. Но я не смею его любить.

Не смею. Если я себе позволю его любить, не смогу воевать. Как могу любить, когда посылаю на смерть роту, полк, дивизию?! Слышите?

В это время сквозь раскрывшуюся дверь мы ясно слышали грохот артиллерии. Радко продолжал:

— Не могу его любить. Не смею...

Это звучало как команда, резкая, отрывистая. Затем голос его смягчился. Он продолжал:

— Но кто-то же должен его любить. Пожалеть. Позаботиться о нем. Кто-то. Кто? Вы. Вы, Красный Крест. Вот ваша должность.

И потом он неожиданно обратился лично ко мне:

— Вот вы. Что вы такое на фронте? Ничто. Прапорщик несчастный. Вам там не место. Ну, повоевали. Ранены. Пример показали. Все об этом знают. Довольно. Идите в Красный Крест. Как ваш начальник, я вам приказываю. Даю вам командировку.

Тут он остановился, потом спросил, обращаясь к Балашову:

— Как вы называетесь?

Балашов ответил:

— Юго-Западная областная земская организация, сокращенно ЮЗОЗО.

Тогда Радко, обращаясь к начальнику штаба, сказал:

— Напишите командировку прапорщику Шульгину в Юго-Западную, — ну, словом, в ЮЗОЗО.

* * *

Вот так они решили мою судьбу. Я честно хотел вернуться в полк, но...

Итак, мы ужинали. Ночь была адская, дождь со снегом и ветром. То начальник штаба, то личный адъютант генерала вставали от стола и уходили. Они уходили слушать грохот артиллерии. Затем они возвращались и что-то тихонько говорили генералу. Тот отвечал тоже тихонько, но громче, так что мы слышали:

— Нажимает? Вздор! Отступит...

Офицеры кивали головами, и лица их сразу становились веселее. А Радко продолжал беседовать с нами на разные темы. И только короткие пальцы, которыми он барабанил по столу, показывали, что и он волнуется.

Подали котлеты. Немного недожаренные. Была видна кровь. Я не мог их есть и принялся пить чай. Бросил кусок сахара и думал:

«Пока он растает, сколько будет убито. Сто, двести...»

Самое ужасное было то, что я видел их среди дождя и снега, превратившегося в грязь. Там они лежат и истекают кровью.

А артиллерия продолжала бить. Бегали слушать грохот. Начальник штаба говорил, что по телефону сообщают о ярости противника, а Радко барабанил пальцами и отвечал:

— Отступят.

А потом прибавил:

— Отступят к рассвету. Они нажимают перед отступлением.

Около десяти часов вечера он простился с нами и пошел спать, сказав, чтоб разбудили его, если будет что-нибудь особенное.

Но «особенного» не случилось. К рассвету противник отступил.

Действительно, выходило так, что Радко «что-то знает». Это было нечто вроде ясновидения. Каким образом он знал, что они отступят, несмотря на то, что все донесения говорили о противоположном? Обыкновенный человек не может это знать. Ни военной науки, ни опыта тут недостаточно. Я понял в эту ночь, что такое, в существе своем, талант полководца. Он состоит из двух половин: личного мужества и таинственного дара угадывать будущее.

Не знаю только, предугадывал ли тогда Радко Дмитриев свою трагическую судьбу?

* * *

Через полгода после этой тревожной ночи с дождем, со снегом, с ветром, с грохотом артиллерии, когда мужественный генерал был так спокоен, настала другая, более страшная. И даже целый ряд таких ночей и дней, когда его храбрая атака во главе своего штаба и конвоя не смогла бы уже принести победу.

Это случилось 19 апреля 1915 года. Радко Дмитриеву, в то время уже командующему 3-й армией, пришлось принять на себя главный удар мощного тарана генерала Макензена, возглавлявшего 11-ю германскую армию, переброшенную по приказу начальника германского генерального штаба Фалькенгайна с западноевропейского театра военных действий. Силы были неравны. По статистическим данным, 3-й армии, имевшей перед началом операции двести девятнадцать тысяч штыков и сабель, шестьсот пулеметов, шестьсот семьдесят пять легких орудий и четыре тяжелых, противостояло триста пятьдесят семь тысяч четыреста штыков и сабель австро-германских войск, шестьсот шестьдесят пулеметов, тысяча двести семьдесят два легких орудия и триста тридцать четыре тяжелых!

В телеграмме от 22 апреля 1915 года главнокомандующему Юго-Западным фронтом генералу Н. И. Иванову Радко Дмитриев докладывал:

«У противника почти исключительно тяжелая артиллерия. Наша легкая бессильна. Назначаемые запасы мортирных снарядов не удовлетворяют и дневной потребности. Крайне необходима самая экстренная подача полевых мортирных...»

Кроме того, немцы впервые в этом сражении применили мощные минометы, которых у нас не было. В то время как австро-германская артиллерия к началу операции имела в запасе по тысяче двести снарядов на каждое легкое орудие, дневной расход боеприпасов в нашей армии для гаубичной батареи был установлен в десять выстрелов, то есть по одному-два выстрела в день на орудие!

Отсутствие снарядов порождало у солдат неуверенность и тревогу. Даже оборонительные наши позиции были укреплены недостаточно, так как бетонированных сооружений не имелось.

Ясно, что при таком соотношении сил 3-я армия Радко Дмитриева победить, и даже устоять, не могла. Но и в этой крайне тяжелой ситуации мужество генерала не изменило ему, его авторитет у солдат не поколебался.

* * *

Главное германское командование поставило перед генералом Макензеном задачу прорвать фронт на участке между Горлице и Громником к западу от Перемышля. В дальнейшем, после прорыва русских позиций, армия Макензена должна была развить наступление на лежащие к востоку Ясло и Фрыштак, с тем чтобы понудить русских отступить по всему фронту 3-й армии.

После почти суточной артиллерийской подготовки в десять часов утра 19 апреля австро-германские войска перешли в атаку на всем тридцатипятикилометровом фронте против армии Радко Дмитриева. Так начался Горлицкий прорыв — первый удар по русским «тарана» генерала Макензена. Немцы вклинились в первую линию обороны и, овладев ею, захватили семнадцать тысяч пленных и восемь орудий.

Однако, несмотря на огромное превосходство австро-германских сил, воодушевляемые своим начальником русские проявили в этих боях высокое мужество и стойкость, так что уже на второй день генерал Макензен вынужден был ввести в действие свои резервы.

В этот же день, 20 апреля, Радко Дмитриев телеграфировал главнокомандующему фронтом генералу Иванову:

«Не могу донести точную наличность легких патронов, но получаю сведения, что войсковые парки корпусов, находящихся в бою, почти пусты»,

Несмотря на упорное сопротивление, под натиском железного кулака Макензена 3-я армия продолжала откатываться на восток.

Что было на душе ее командующего, можно судить по следующей его телеграмме, направленной им в Ставку:

«Особенно жестокий удар был для трех дивизий 10-го корпуса, которые буквально истекли кровью от огня 50 орудий тяжелой германской артиллерии, которая, не встречая равного артиллерийского сопротивления, быстро приводила к молчанию наши легкие батареи, сметала в полчаса времени с лица земли окопы, вспахивала огромные площади и вырывала из строя разом десятки людей. Много ранений также было произведено разрывными пулями. В результате части 10-го корпуса ныне представляют остатки не более 4—5 тысяч человек».

Сквозь строки этой телеграммы звучали слова генерала, услышанные мною от него в штабе корпуса в ту, запомнившуюся бурную ноябрьскую ночь:

— Слышите?! Я горжусь, что командую русским солдатом. Нет в мире лучше солдата. Я его люблю. Но я не смею его любить. Не смею... Если я себе позволю его любить, не смогу воевать. Как могу любить, когда посылаю на смерть роту. Полк, дивизию?!

Но Ставка была глуха к таким излияниям. Ее генерал-квартирмейстер Данилов сообщал генералу Драгомирову, в то время начальнику штаба Юго-Западного фронта:

«Полагаю, что в настоящее время, накануне возможного выступления на нашей стороне нейтральных государств, крайне невыгодно и даже опасно принимать столь радикальные меры по изменению стратегического положения, которое вы намечаете, если эти меры не диктуются крайней необходимостью, которой я лично не усматриваю».

По-видимому, огромное превосходство противника в силе и технике на Юго-Западном фронте не считалось Ставкой «крайней необходимостью» для решения вопроса о спасении 3-й армии. Что же намечалось начальником штаба Драгомировым? В совместных его переговорах с Радко Дмитриевым было принято единодушное мнение, что в связи с прорывом немцами русских позиций единственное целесообразное решение состоит в отводе наших армий за реку Сан, чтобы, избежав потерь и выиграв время, сосредоточить там сильную группу войск для нанесения контрудара по флангу наступающей армии Макензена. Ставка же не соглашалась на отход хотя бы и для выигрыша времени и требовала удержания занимаемых позиций, несмотря на потери.

Поэтому хотя главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов и знал о тяжелом положении войск, он избегая какого-либо конфликта со Ставкой, во всем с ней соглашался и бросил в бой новые подкрепления для задержки продвижения

немцев. Но задержать уже было невозможно. Начиналось великое отступление под все увеличивающимся натиском армии Макензена.

Эти разногласия в руководстве войсками между командующим 3-й армией и главнокомандующим фронтом еще более усугубляли положение.

После ожесточенного боя за Ярослав, продолжавшегося всю ночь на 3 мая, русские войска отошли на правый берег реки Сан, оставив город в руках немцев. К 11 мая весь правый берег реки Сан уже был занят австро-германскими войсками. Таким образом, предложение Драгомирова и Радко Дмитриева осуществилось — 3-я армия была отведена за реку Сан вопреки приказам Ставки, но с большим запозданием и какой ценой? Однако Радко Дмитриева там уже не было. Еще до этого, 7 мая 1915 года, он был отстранен от командования 3-й армией. Предвидел ли он это?

Дальнейшая судьба его печальна. Мне рассказывали, что как царский генерал он был расстрелян в 1918 году в Пятигорске.

8. Стахович

В то время, то есть в 1914 году, один из вдохновителей «Союза 17 октября» М. А. Стахович, кроме всего прочего, был главноуполномоченным по Красному Кресту в 3-й армии. Ранее, в русско-японскую войну, он также был уполномоченным по санитарной части.

А я? Я был начальником передового перевязочно-питательного отряда. Так как я носил краснокрестную повязку на рукаве, то по этой линии я считался в подчинении у Стаховича. По другим же линиям мы хорошо знали друг друга. Он был членом первой Государственной Думы. 12 декабря 1907 года состоялось официальное сообщение об избрании его как губернского предводителя дворянства орловским губернским собранием в члены Государственного Совета.

В первых числах декабря 1914 года мы оба были во Львове. Я попросил Стаховича подписать некоторые официальные бумаги.

В числе «бумажек» было достаточное количество документов, лучше сказать, паспортов. В них было написано, что такой-то имярек действительно работает в Красном Кресте, что приложением печати удостоверялось. Паспорта предназначались для лиц, работавших в моем передовом отряде. Они были важны в том смысле, что защищали всех нас от неприятностей, ко-

торые могли быть. В особенности они получили бы значение, если бы кто-нибудь из нас попал в плен. Человек, носящий краснокрестную повязку, которую каждому нетрудно на себя нацепить, легко мог быть заподозрен в шпионаже

Когда мы покончили с делами, Стахович сказал:

— Теперь вот что. Сейчас начало декабря. Я уезжаю на фронт, то есть в штаб 3-й армии.

— Это где?

— В Радосмысле.

— Как? Радомысль Киевской губернии, уездный город?

— Это другой Радомысль. Он в польской Галиции. Карта есть у вас?

— Есть.

— Ну вот, по большой дороге на Львов, Краков. Не доезжая Тарнова, свернете. Вот он, Радомысль! Автомобиль есть у вас?

— Есть.

— Итак. Жду вас в Радосмысле семнадцатого декабря. Это важно. Я хочу вас познакомить с одним лицом. Будете?

— Буду семнадцатого декабря.

* * *

Вместо рождественских морозов стояла распутица. Дорога была скверная. Пришлось надеть цепи на шины, чтобы не буксовать сплошь. Но и цепи не всегда помогали. Галицийские дороги построены из мягкого камня. Бесконечные обозы превратили шоссе в бесчисленные колдобины. Машина ныряла, как в море шлюпка, — из ухаба в ухаб. Шасси ложилось на дорогу «брюхом», мотор изводяще выл на первой скорости, но колеса вертелись в воздухе, вернее сказать, в жидкой грязи, где цепям не за что было взяться. Приходилось выскакивать из машины и производить «саперные работы».

На это ушел день 15 декабря и ночь на 16-е. Утром мы свернули с большой дороги на боковушку к Радосмыслию. Это не была магистраль, но все же почиталась за шоссе.

Шоссе! Сейчас это шоссе даже не проселок, — просто грязь непролазная, непроходная. Мы все же двигались, но на первой скорости, то есть примерно так, как идет человек. При этом мотор кричал «благим матом», а Горбач просто матом. Я молчал, но скрипел зубами. У нас времени было еще целые сутки в запасе, и я надеялся добраться к Стаховичу в срок. Горбач заскрежетал голосом, покрывшим рев мотора:

— Бензина нет!!!

— Как нет?

— Так нет, совсем нет, ничего нет, сейчас станем!

Ругаться было некогда. Я посмотрел направо, налево. Увидел хату, раскрытые ворота.

— Туда!

Мотор взвыл последним издыханием, вполз через ворота во двор и умер.

Совершенно случайно мой выбор был хорош. Впрочем, и выбора-то никакого не было. Эта хата была ближайшая, только под ее защиту мы могли отдаться. Хозяева, лучше сказать, хозяйка и свора ребятишек, оказали нам наилучший прием.

Мой Горбач был, по выражению Игоря Северянина, «богобоязненный российский хулиган». Это стало ясным хотя бы из того, что он, увидев стайку маленьких котят, игравших на полу, сейчас же поймал их своими бензиновыми руками, стал их ласкать, чесать за ушком, выказывая совершенное знание кошачьей породы.

Этим он купил сердца детей. Тут все были девочки. Но я перекупил их у него. Карманы у меня всегда были полны цукерками (конфетами), так сказать, «по долгу службы». Одновременно я пленил и мать. Впрочем, и без помощи конфет она сама что-то соображала.

Автомобиль! Это значило — офицер и шофер. Такие не только ничего не будут требовать и просить, но еще сами что-нибудь подарят. Покончив с кошками и детьми, Горбач принялся за примус. В этот серый день, в полутемной хате наш примус загорелся как звезда. Чай был готов через десять минут. Горячий! Мы ожили после нескладной ночи.

Сидели у стола. Я размышлял. Кругом шумели примус, дети, киценята. Карта показала, что до Радомысля тридцать верст. Достать бензин в этой деревушке, куда мы заехали, нельзя. Попасть к Стаховичу необходимо, и, возможно, если я пойду пешком, сделаю сегодня пятнадцать верст, где-нибудь переночую, встану рано, пройду еще пятнадцать верст, то явлюсь к нему вовремя, в полдень 17-го числа.

Приказав Горбачу ждать меня в этой хате, хотя бы несколько дней, я ушел, оставив его обвешанным кошками и детьми. Он пыривался идти со мной, но понял, что машину бросить нельзя. На его лице, лице падшего архангела, появилось беспокойство. Ведь он был шофер «крозь-насквозь». Последние его слова были сказаны умоляющим, но неизменно скрежещущим голосом:

— Бензина достаньте!

Я пошел по улице. Шел один. Ни машин, ни подвод. Все и вся, то есть всякое движение, парализовано распутицей. Шел, держась за плетни и заборы. Около них все ж можно было пройти, а улица утопала в черном месиве.

Так я вышел на некую площадь. Тут все же было несколько легче в смысле грязи. Кругом площади были одноэтажные домики и лавки, еврейские, конечно, как во всех местечках этого края. Но дома были безмолвные, площадь безлюдна, а лавки закрыты.

Впрочем, в одном углу толпилось несколько наших солдат. Одна лавчонка там открылась. Я подошел. Серые «землячки» (так в ту войну солдаты называли друг друга) меняли табак на сахар. Русский сахар очень ценился в Галиции, он был лучше австрийского, то есть тверже и слаще. Несколько местных женщин, закутанных и жалких, стояли тут же. Некоторые «землячки» давали им сахару — так, из милости. Женщины благодарили, «землячки» качали головами.

— Ишь какие...

Еврей, долгопалый, длиннобородый, с пейсами, в ермолке, словом, средневекового вида, хозяин этой лавчонки, торговал чем-то горячим.

Я спросил его:

— До Радомысля далеко?

Я говорил таким же польским языком, как он русским, тем не менее мы понимали друг друга. Он ответил:

— Тридцать бендзе, проше пана.

Но в глазах его, умных и зорких, я прочел:

«Тридцать верстов так было. А теперь, когда обозы тут прошли, что значит верства?»

Я увидел их, то есть обозы, когда, пройдя местечко, вышел в поле. Они не двигались. Они завязли в грязи. Остановились, видимо, давно и безнадежно. Белые среди черного «повидла». Белые потому, что они везли мешки с мукой. Коней, бессильных перед грозной стихией, выпрягли.

Где они? Там же, где и «землячки», — там, в сосновом лесочке. Походную кухню кони, люди все же вытащили. Она уютно дымила между красноватыми стволами.

Но мне нельзя было кейфовать.

Шел, шел ногами, конечно, но иногда не без помощи рук. Неужто на четвереньках? Нет, до этого не дошло, слава Богу. Но руки работали в том смысле, что за «ушки» придерживали сапоги, иначе вязкая грязь стащила бы их с ног. Это испытание наступало тогда, когда лес отступал от дороги, то есть от разъезженного поля. Когда же он был близко, я шел по краю поля, между соснами, по влажной хвое и блаженствовал. Я был один, совершенно один. Это счастье редко выпадает на войне. Она, кроме всего прочего, мучает таких мизантропов, как я, своим... вечнолюдием.

Этот лес шумел ласково и печально. Будь проклята война, громыхающая пушками и буйно веселая среди потоков крови!

Я не боялся сбиться с пути. Черная дорога, то широкая, как Черное море, то узкая, как Дарьяльское ущелье, вела меня.

Кроме того, она была и «столбовая». Ее сопровождали телеграфные столбы и проволока, трепетавшая электрической жизнью. Иногда, отдыхая, я опирался спиной о дубовый ствол, ставший столбом, и слышал некий слабый звук. Конечно, это не была электрическая волна, она беззвучна. Это звучала проволока, как звучит струна Эоловой арфы, — от ветра. Приложив ухо к столбу, я услышал сильный, низкий звук, полный и приятный, красиво насыщенный обертонами. Казалось, он должен принести успокоение путнику. Но успокоение не приходило и не могло прийти. И потому столб звучал хотя величаво, но печально. Это величие было каким-то обреченным.

Отдохнув, я пошел дальше. Перед закатом солнце пробивалось сквозь тучи, и стволы сосен были багровыми. Я стоял на пустыре, снова опершись о телеграфный столб, на уже его не слушал. Солнце зайдет, наступит ночь. Я шел очень долго, пожалуй, прошел уже все пятнадцать верст, а жилища не видел. Придется ночевать в лесу, на хвое. Она мягкая, но мокрая, холодная. Что делать?

Но тут пришло спасение. Оно появилось в образе молодой девушки. Она пробиралась между соснами, по краю пустыря. Я не успел ее окликнуть, как она сама пошла к телеграфному столбу, который я обнимал, чтобы не упасть. Приблизившись, но не совсем, она сказала:

— Пане ранены?

В голосе ее была музыка сочувствия. Я ответил:

— Нет. Только бардзо заменчоны (измучен).

Она спросила:

— Дзе пан так иде? То е далеко?

И улыбнулась. Тогда я увидел, что она миловидна. Серые глаза в темных ресницах, светловолосая, с черными бровями, а улыбка «балетная». Ее умеют делать все польки, независимо от сословия. Она сказала:

— Далеко, проше пана. — Прибавив построже: — Так не может быть, проше пана, ночь находит.

— А цо мам джешать? (А что мне делать?)

Она призадумалась:

— Тутай ест една халупа. Тутай зараз. Нех пан идзе так.

Она показала рукой:

— Не далеко! — И, улыбнувшись подбадривающе, тряхнула головкой. Она была в платочке. Если бы его не было, сережки в ушках вздрогнула бы горделиво. По одному этому движению я понял, что в ней польская кровь.

Я поблагодарил ее:

— Бардзо дзенькую, проше паненки! — И прибавил неожиданно для самого себя: — Нех паненка идзе до дому. И то прендко! Ноц заходзи.

В это мгновение умирающее солнце зарумянило девушку. Она смотрела на меня с улыбкой матери ребенку, который шалит.

Через четверть часа появился красный слабый свет, пробивавшийся через лес. Еще пять минут, и можно было различить хату под соломенной крышей, темной от моха. Я постучал в низенькую дверь. Услышав «проше», наклонил голову. Свет был из пылающей печи. Старик сидел за столом, две девочки держались за юбку матери, стоявшей у печки.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, пану!

Я грузно опустился на скамью и полез в карман, протянув девочкам конфетку:

— Цукерку?

Старшая девочка, ей было лет пять, выпустила юбку матери.

За ужином беседовали. Я узнал, что старик — свекор женщины, а мужа взяли на войну. Что с ним, она не знает. Быть может, девочки уже сиротки. При этом слеза упала в вареники. Девочки, видя, что мать плачет, тоже заплакали. Старик сказал:

— Годи!

Они затихли, а он прибавил:

— Жив Янек!

Они поверили и стали меня расспрашивать, куда я иду. И я узнал, что до Радомысла пятнадцать верст и дорога все идет лесом. Еще подали похлебку с грибами в доказательство, что тут лесное царство.

Наконец гостя и девочек уложили спать. Пана на сено. А девочек? Недалеко от красной кровати к потолку была привешена корзина, служившая колыбелью. Туда поместили малюток. Они стояли там на коленках. Старшая, держась за веревки, на которых корзинка висела, легонько раскачивала колыбель. Она, вероятно, хотела убаюкать сестренку, но убаюкала меня.

Качание корзинки меня усыпляло. Я блаженно закрыл глаза, но раскрыв их, услышал пение. Тоненьким голоском старшая выводила слова молитвы, а младшая только подпевала:

— Мария, Мария.

И я заснул под это видение. Два ангелочка пели, покачиваясь в небе:

— Мария, Мария.

Что мне приснилось? Не помню, не знаю. Но, конечно, божий рай! Позже я узнал, что рай находится в аду, — я хочу сказать о войне.

Чуть брезжило, когда я проснулся. Мне легко было встать. Одеваться не надо было, ведь я не раздевался. Мне надо было бы выпить кружку чая, но хозяева крепко спали. Я положил на стол деньги — благодарность за гостеприимство — и вышел, стараясь не скрипеть дверью.

Через просвет в соснах я увидел утреннюю звезду. Денницу, иначе Венеру.

Ночью подморозило, и приятно было идти по отвердевшей земле.

Пока держался легкий утренний морозец, идти было легко. Но когда солнце стало пригревать, землю снова расквасило. Однако, держась леса, еще можно было двигаться. Когда же лес далеко раздался в обе стороны, я опять очутился во власти грозной и грязной стихии.

Наконец, «претерпев удары судьбы», я вошел в город Радомысль. Спрашивая встречных и поперечных, нашел особняк, где было что-то написано по-русски.

Пятнадцать верст я прошел за четыре часа и примерно в пол-одиннадцатого вошел к Стаховичу. Увидев меня, он закричал:

— В постель!

Очевидно, вид у меня был соответствующий. Он уложил меня в настоящую постель, заставил раздеться по-хорошему и сказал:

— Я разбужу вас к обеду.

Я снова заснул как убитый. Способность засыпать мгновенно «свыше нам дана».

Часа через два я проснулся, и мне дали то, о чем я тосковал с утра, то есть чаю. И притом в постель, что уже непозволительное ба-ловство. А Михаил Александрович, сидя в кресле около моей постели, терпеливо дожидался, пока я «отчаюсь». Наконец сказал:

— Теперь вы снова похожи на человека. Когда вы вошли — я испугался. Где ваш автомобиль?

— В тридцати верстах отсюда.

— Поломались?

— Нет, бензину не хватило.

— Когда это случилось?

— Вчера утром.

— И вы шли пешком?

— Все обозы стали.

Он улыбнулся и сказал:

— Узнаю тебя, о Русь святая. Я счастлив вас видеть. Но могу ли я все-таки узнать, чем обязан этому счастью?

Я внимательно посмотрел на его красивое, умное, чуть насмешливое лицо. Не мог же он забыть. И сказал:

— Сегодня 17 декабря, Михаил Александрович.

В свою очередь он стал меня внимательно рассматривать; убедившись, очевидно, что я в своем уме, спросил:

— Простите, что такое 17 декабря?

Забыл!

— Когда мы виделись во Львове, вы сказали: «17 декабря я жду вас в Радомысле». И прибавили: «Это важно». Помните?

По его лицу пробежали разом досада, сожаление и радость.

— Бог мой! Из-за этого? Триста верст сумасшедшей дороги и тридцать пешком? Дорогой мой! Как я люблю вас!

Все порядочные люди ужасные путаники. Я мог бы кое-что уточнить по вопросу, кто же тут напутал, но предпочел промолчать. Он продолжал:

— Да, я считал, что это важно. Надо же этим молодым людям мозги прочищать. Они варятся в своем собственном соку и ничего не знают. Поэтому я и хотел вас познакомить и чтобы вы с ним побеседовали.

— С кем?

— С Ольденбургским.

— С принцем Ольденбургским?

— Да с принцем Ольденбургским, но не со старым, а с молодым. Это важно, конечно, но из-за этого совершать «подвиг силы беспримерной!..» Идем обедать!

* * *

Обед был хороший, принимая во внимание, что мы все же были на войне. Но я его испортил. Я не пью водки, и не только принципиально. Мое брэнное тело не выносит алкоголя.

В ту войну одновременно с мобилизацией водка была запрещена для армии. Но этот запрет соблюдался только в отношении солдат. Им не давали водки. А господа офицеры пили. Они добывали спирт у врачей, который был необходим для медицинских надобностей. Доктора пили сами и делились с офицерами.

Я находил, что это безобразие подрывает дисциплину, увеличивая ров, и так уже достаточно глубокий, между офицерами и солдатами, словом, грозит всякими бедами.

Но мне-то легко было быть принципиальным, ведь за моей спиной стояла мать-природа, подарившая мне отвращение к алко-

голю. К другим природа бывала мачехой, наделяя наследственной склонностью к зеленому змию.

Я не читал морали Стаховичу, но огорчал его тем, что одному пить скучно.

Мы обедали вдвоем. Стахович был занимательным собеседником. Мы говорили обо всем. Прежде всего о Красном Кресте, в котором Михаил Александрович занимал видную должность. Все учреждения Красного Креста, работавшие в 3-й армии, были ему подчинены. Он говорил.

— В смысле возможностей Красный Крест куда слабее военного ведомства. Оно оборудовано куда сильнее. Много врачей, санитаров, госпиталей всяких. Способы передвижения, то есть санитарные обозы для вывоза раненых и больных, не сравнимы со средствами Красного Креста, но...

Он налил и выпил рюмку.

— Но значение Красного Креста совершенно не соответствует слабости его материальных возможностей. Оно гораздо выше. И я им твержу: «Помните, что вы совесть военных врачей!» Да, совесть, потому что, это надо признать, военные врачи часто бывают бессовестны!

Я вспомнил все то, что я уже успел рассмотреть, когда работал с первым отрядом ЮЗОЗО, и сказал:

— Совершенно верно, Михаил Александрович. Полковые врачи лучше, но чем дальше от фронта, тем они становятся, как вы сказали, все бессовестнее.

— Значит, и вы это заметили? Трудно даже объяснить, отчего это происходит. Казенщина? Но вся армия казенщина. Однако бойцам доступно истинное геройство. Они не только убивают, они и сами умирают. Врачи нет. Их обязанность прежде всего самим уцелеть. И это порождает какую-то иную, более низменную психологию. А впрочем, может быть, и не так. Но, во всяком случае, Красный Крест хранит какую-то высокую традицию человечности. И он может и должен быть примером для опустившихся врачей военного ведомства. В этом наше значение!

Он выпил еще. Глаза его сияли, и речь сделалась какой-то вдохновенной, почти пророческой.

Я понял, что недаром «рассудку вопреки, наперекор стихиям» я добрался сюда, в этот Радомысль 17 декабря 1914 года. Я услышал слова вещие, слова сбывшиеся...

— Я вам скажу то, что не говорю и не скажу никому. Это война, под которой нет настоящей психологической базы, война, цели которой просто недоступны нашим бедным Иванам непомнящим. Скажите, думаете ли вы, что эта война кончится так, как кончились другие войны, имевшие некое наглядное доказательство своей правоты?

— Что вы хотите сказать, Михаил Александрович?

— Вот что. Худо ли, хорошо ли, но наши мужики шли когда-то умирать за Веру, Царя и Отечество. А сейчас? Кто нашей вере православной угрожает? Как будто никто. Ну, может быть, царю самодержавному? Как будто тоже никто.

Отечество? Можно ли назвать эту войну отечественной? Она отечественная для тех, на кого напали, то есть для сербов.

А почему эта самая Австрия напала на Сербию? Потому, что некий серб убил будущего Царя австрийского.

— Михаил Александрович, дорогой! То, что вы говорите, и верно и неверно.

— Как это так?

— Правда ваша внешняя. Внешность легко видеть. Но не она решает. Решает правда внутренняя.

— Именно?

— Правда в том, что убийство наследника австрийского престола только повод, чтобы затеять войну. А истинная причина ее в том, что Германия заболела психической болезнью, иначе именуемой: «Drang nach Osten» (натиск на Восток).

Это острое умопомешательство имеет два острия. Один вариант — идти через Балканы в Персидский залив, с немого согласия России. В этом случае Германия России не тронет.

Второй вариант вступает в силу, если в России возобладает давнишняя ее традиция: быть защитницей братьев-славян. В этом случае можно и не пробиваться к Персидскому заливу. На первое время достаточно захватить Балканы, черноземы южной России, Кавказ с его нефтью, и Закавказье.

Так как Россия заступилась за Сербию, то сейчас осуществляется второй вариант. Сейчас эту войну можно и должно называть отечественной. В особенности чувствуем это мы — южане.

— ЮЗОЗО?

— Да. Для нас юг России, иначе сказать, Киев, то же, что для вас Москва, то есть отечество.

Стахович снова налил рюмку и поднял ее.

— Я счастлив приветствовать вас у себя. Но вот что я вам скажу, только не обижайтесь. Хохлы не решают дела. Решаем мы — кацапы...

— Это верно.

— Так вот, если это верно, то это плохо.

— Почему?

— Потому, что эта война кончится так: и наши мужики, и ваши воткнут штыки в землю и уйдут. Вот попомните мое слово!

Наш разговор с Михаилом Александровичем еще продолжался, но «упадал, бледнея». Это свойство алкоголя. В умерен-

ном количестве он раскрепощает тайные человеческие способности. Такие способности, которые нормально берегутся природой для минут опасности или вдохновения. Алкоголь освобождает их искусственно. Несколько рюмок водки подняли Михаила Александровича на высоту прорицания: «Воткнут штыки в землю и уйдут!»

Но дальнейшие рюмки понизили высоту полета. Остальное не запомнилось, значит, было менее интересно.

После обеда Михаил Александрович был весел и заботлив.

— Я дам вам, — сказал он, — нижеследующие предметы. Бричку и тройку быстрых как ветер коней. Ими будет править Иван, обладающий всеми достоинствами своего звания. Кроме того, я дам вам два баллона бензина в плетенках, что особенно важно. И, наконец...

Он сделал паузу.

— Я дам вам Пэреса!

— Бернарда Ивановича?

— Именно. Трое людей, трое лошадей, бричка и бензин. Чего еще вам надо?

18 декабря утром мы выехали, попив чаю, как полагается. Без утреннего чая всякий русский человек впадает, как известно, в отчаяние. Тройка, конечно, не была подобрана из «быстрых, как ветер коней». Но все же это были кони добрые и, в зависимости от состояния дороги, то тюкали легкою рысцою, то шли шагом.

К полудню сияющее над соснами солнце сделало дорогу чернее ночи. Тут мы поплелись совсем медленно. Вдруг что-то треснуло, бричка скривилась на сторону Пэреса, кони стали. Иван соскочил в грязь и определил:

— Ось сломалась.

Я сказал Бернарду Ивановичу: «Человек предполагает, Бог располагает».

— Сколько проехали? — обратился я к Ивану.

— Верстов пятнадцать будет.

Половина пути до Горбача, то есть до автомобиля. Что делать? Возвращаться в Радомысль? Ехать дальше? Ехать нельзя, но можно отпрячь лошадей и вести их на поводу. Но что делать с бричкой?

Рассуждая об этом, я горестно скользил взглядом по дороге и очертаниям леса. Вдруг мне показались этот поворот и эти сосны знакомы. Я соскочил с брички. За купой деревьев должна быть хатка под соломенной крышей, почерневшей от моха. Я прошел несколько шагов.

Вот она!

9. Sir Bernard Pares

Сэр Пэрес, которого мы называли Бернардом Ивановичем, был корреспондентом одной лондонской газеты. С самого начала Государственной Думы он информировал английских читателей о происходящем в Таврическом дворце. Когда же началась война, он перенес свою деятельность на русский фронт в качестве военного корреспондента. Вот почему я встретил его у М. А. Стаховича.

Сейчас, продолжая интересоваться молодым русским парламентом, он ехал со мной в Тарнов, где работал отряд Государственной Думы, возглавляемый Марией Николаевной Хомяковой. С семьей Хомяковых Пэрес очень подружился.

Отец Марии Николаевны, Николай Алексеевич, бывший председатель Государственной Думы, руководил Красным Крестом в 8-й армии, точно так, как М. А. Стахович — в 3-й.

Теперь ось подломилась под Бернардом Ивановичем, и он разделил наши приключения 18 и 19 декабря 1914 года и даже гораздо дольше.

Он был в России во время революции 1917 года и описал ее в книге под заглавием «Крушение империи».

* * *

Тем временем Иван, подтащив к хате бричку, распрягал лошадей. Наш злополучный экипаж был поставлен в сарайчик до лучших времен. А «быстрые как ветер, кони» превратились во вьючных тихоходов.

На первую лошадь Иван навьючил драгоценный бензин. Баллоны в плетенках он заключил в два мешка, которые, связав, перекинул через спину коренника нашей бывшей тройки. На правую пристяжную таким же манером приспособили другие два мешка с овсом. Что же досталось третьей лошади, то есть левой пристяжной?

Ей выпала почетная задача: нести багаж сэра Бернарда Пэреса. Багаж его состоял из маленького чемоданчика и резиновой ванны. Этого коня Иван поручил вести самому обладателю ванны, чем английский корреспондент был чрезвычайно доволен. Сам Иван повел лошадь, что несла на себе овес и сбрую, а я схватился за бензин.

Так мы пошли — трое людей, трое лошадей, провожаемые всяческими напутствиями.

Пэрес для иностранца очень хорошо говорил по-русски. Когда, через час ходьбы, мы присели на пеньках отдохнуть, перепоручив Ивану на время всех трех коней, Бернард Иванович сказал:

— Пока Иван возится с лошадьми, позвольте спросить: не думаете ли вы, что настоящая война ведется под знаком национализма.

— Несомненно.

— Как вы это конкретизируете?

— Я думаю, что весьма вирулентный германский национализм разбудил гораздо более пассивный национализм русский. А это причина войны.

— Это, в общем, правильно. Но существует же еще и английский национализм...

— Конечно. Что вы о нем думаете?

— Вот что. Вы, наверное, помните, как Император Вильгельм нанес визит Императору Николаю II. Оба венценосца были «на ты» и называли друг друга Вилли и Ники. Вилли сказал: «Перечеркни договоры, и мы разделим между собой мир!» Вилли был очень вирулентен, как вы говорите. А Ники слишком пассивен. Поэтому Вилли убедил Ники в том, что будущее Германии и России во взаимной дружбе. Ники перечеркнул договоры и подписал дружбу с Вилли. Затем Вилли покинул русские воды и отправился домой. Но с дороги он телеграфировал по радио следующее: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана». На что Ники осторожно ответил: «Счастливого пути!»

— Помню. Но теперь, дорогой Бернад Иванович, скажу вам, что я думаю о вас, англичанах.

— Именно?

— Я думаю, что когда в Лондоне узнали, что Вилли переделал океаны, то в этот день война Англии против Германии была решена, принципиально.

— Вы так полагаете?

— Я убежден в этом. Вилли недооценил английского национализма. Последний не кричит на весь мир: «Германия, Германия превыше всего!», но англичанин еще глубже, чем немец. Он уверен в том, что отечество прежде всего. «Владычица морей», как называли Англию, могла ли кому-нибудь уступить свою гегемонию в Атлантическом океане? Поэтому в Лондоне было решено — дерзкого Вилли необходимо обезвредить. А что касается Ники, то он не принял титула «Адмирала Тихого океана», каковой пост Вилли ему предлагал. Поэтому с Ники Англия может дружить. Не так ли?

— Вы недалеки от истины.

— Очень счастлив, что ось Англия — Россия, как ось нашей брички, не обломалась. Поэтому, с вашего разрешения, поедем дальше.

— Едем!

Это было 18 декабря 1914 года. Мы шли вереницей втроем, причем каждый вел предназначенного ему коня. Вели мы коней «на коротком поводу», как полагается. Другими словами, голова лошади почти толкала в спину человека ведущего.

Так поступал и Бернард Иванович. Быть может, он тоже знал, почему так полагается. Иван узнал это, вероятно, потому, что его мальчонком научили кучера постарше. Меня научил мой конь когда-то. Збышке было шесть лет тогда. Это возраст, когда конь во цвете лет, но все же ему уже не пристало играть, как жеребенку. Поэтому я вел его на длинном поводу. И вдруг Збышко заиграл так и сяк, что меня насмешило, а в заключение дал «козла» задними ногами. Он совершенно не хотел меня лягнуть, мы с ним были в самых дружеских отношениях. Это произошло случайно. Я отделался тем, что пролежал неделю.

С тех пор я веду коня на коротком поводу, как и Бернард Иванович. Но всякое правило терпит исключение.

Конь, который нес на себе резиновую ванну военного корреспондента, был конь солидный и ни в коем случае не стал бы играть. Он шел так близко, что называется «по пятам», к своему временному руководителю, что наступил ему на пятку передней ногой. Бернард Иванович, бывший впереди меня, вдруг резко остановился, остановилась и лошадь.

— Что случилось?

— Ничего, ничего. Она сняла с меня калошу.

— Не повредила ногу?

— Нет, нет. Она утопила мою калошу.

Но так как Бернард Иванович был в высоких сапогах, сверх которых носил калоши, то особый беды не случилось. Посмеялись.

По-видимому, происшествие с калошей произошло недалеко от того пустыря, где два дня тому назад я шел, придерживая высокие сапоги за ушки руками, чтобы грязь не стащила с меня не калоши, а самые ботфорты. А это обозначало, что мы были уже недалеко от Горбача, автомобиля, девочек и кисок...

И действительно. Хатка чуть светилась через окошки. Вот машина во дворе. Это та же халупа. Я растворил дверь и увидел то, чего ждал. Он, Горбач, шофер с лицом падшего архангела, сидел на скамье. На коленях у него играли киценятки, кругом теснились девочки.

Все в порядке.

Увидев меня, он вскочил. Киски попадали с него на пол, как листочки в бурю, дети отшатнулись. А он голосом, в котором слились надежда и отчаяние, закричал:

— Бензин?!

* * *

Мы выехали, потому что подморозило. И дело пошло сначала не так плохо. Повидно несколько загустело, и цепи кое-как хватались своими звеньями за так называемую дорогу. А когда взошедшая красная луна стала серебряной, морозец еще приободрился. Дорога затвердела, и было бы совсем хорошо, если бы не ухабы.

«Луна спокойно с высоты» сияла, бесстрастно освещая наши беды. Около полуночи, то есть когда нарождался новый год, счетом 1915-й, мы засели в глубоком ухабе. Эту бездну надо было чем-то заполнить.

Дорога тут проходила какими-то садочками с голыми прозрачными деревьями. Кое-где были не вконец доломанные заботы. Это материал подходящий, но необходим топор. Я выругал Горбача, что он забыл топор во Львове на базе. Но так как брань не могла помочь делу, я пошел его искать.

Где садочки, хотя бы голые, должны быть халупы. Луна светила, и я нашел хатку. Более того, около нее стояла девушка. Серые глаза в темных ресницах, светловолосая, с черными бровями. Я подошел к ней. Она взглянула на меня, и мы узнали друг друга. От лунного света или от чего другого, она была очень бледна и грустна. Посмотрев на часы, они показывали ровно двенадцать, я вздумал ее утешить.

— Гратулирам паненку. З Новым роком!

Поняла. И прошептала:

— Боже!

Заплакала. Сквозь слезы все же поблагодарила:

— Дзенькую пану.

Что он сулил ей и мне, тысяча девятьсот пятнадцатый?

* * *

Преодолев все трудности, мы причалили на рассвете к одной гостинице в Тарнове. Гостиница соответствовала военному времени. Номера нетоплены. Освещение — тусклая керосиновая лампа. На кроватях грязные матрацы, ни белья, ни одеял.

Мы бросили на матрацы наши спальные мешки. Но прежде чем заползти в них, Бернард Иванович совершил деяние, которое было для него обычным, а мне показалось геройским.

Он расправил на полу свою резиновую ванну, неразлучную спутницу. Я подумал, что он хочет вымыть ноги. Но он разделся до гола и, став в ванну, облился из ведра ледяной водой в ледяной комнате! Потом вытерся насухо, надел чистое белье и залез в свой

спальный мешок, пожелав мне спокойной ночи. Я чувствовал себя униженным. Такого подвига я совершить бы не мог.

Через несколько часов мы расстались. Мне необходимо было спешить во Львов, снаряжать в путь-дорогу третий отряд ЮЗО-ЗО. Бернард Иванович отправился навестить «Государственную Думу», представленную здесь чрезвычайно энергично работавшим лазаретом под водительством Марии Николаевны Хомяковой.

* * *

В июне 1966 года корреспондент «Огонька» В. П. Владимиров, с которым мы не один год занимались работой над фильмом «Перед судом истории» и планами создания этой книги, виделся в Лондоне с внучкой М. В. Родзянко Еленой Михайловной. Он рассказал ей о моих воспоминаниях и, в частности, помянул имя сэра Бернарда Пэреса.

— Как же, помню, это был довольно известный в Англии журналист, — ответила Елена Михайловна. — Он умер, если не ошибаюсь, в 1953 году.

10. Поход на Тарнов

1 января 1915 года был прекрасный солнечный день. Сияло небо, сиял снег. Сформировав отряд во Львове, я снова направился в Тарнов. Этот перевязочно-питательный отряд ЮЗОЗО был передовой. В его состав входили: начальник отряда, то есть я, врач — студент пятого курса медицинского факультета, двадцать санитаров, они же кучера из запасных дядьков, негодных к строю, и еще два студента младших курсов медицинского факультета. Живой инвентарь: сорок лошадей. Мертвый инвентарь: двадцать подвод со всякими принадлежностями. Главное — автомобили.

Для движения плохо были совместимы лошади и автомобили. Последние проходили за один час то, что кони за один день. Но я посылал студентов на машинах утром в качестве квартирьеров, обязанных подготовить для всего отряда помещение.

Студентам надо было вставать рано, и, чтобы поддержать бодрость духа, я сочинил им песенку на модный мотив:

*Квартирьеры, квартирьеры,
На дано вам долго спать,
Вместе с утренней Венерой
Покидаете кровать.*

Они бодро ее распевали и мчались в холодном рассвете. Затем к вечеру подходили мы, сделав сорок верст, и нас встречали уже приготовленные квартиры.

Двадцать повозок тянулись по дороге за большим белым флагом с красным крестом на передней. На задней тоже был какой-то флажок. Я приказал раз навсегда, чтобы повозки не разрывались, то есть держались вместе над своим номером. А разорваться было легко, когда на дороге встречались всякие препятствия в виде других обозов и машин. Так как все кучера были из солдат, то они понимали дисциплину. Все же на мне были офицерские погоны.

Лошадей я подкупил по дороге. Какие-то обозники, попавшие навстречу, слезно умоляли меня об этом. Они говорили:

— Ваше благородие, мы не военнообязанные, мы вольные. Но нас захватили еще в России, говорили: «Вот довези туда-то и пойдешь на волю», — а там еще дальше погнажи. И вот сюда догнажи, верст четыреста. Ну, тут сказали: «Поезжайте домой». Ну, мы и едем. А кто его знает, опять захватят. Так уж лучше купите коней и повозки, мы уж пешком пойдём, так доберемся домой.

Ну, я и купил, мне нужны были подводы. Не помню уже теперь, сколько заплатил, но купил со сходной цене. Они очень благодарили. Лошадки на вид были непрезентабельны. Заросли шерстью, как овцы. Грязные до невозможности, но мои солдаты, мужички, конечно, осмотрев их опытным взглядом, сказали:

— Ничего, ваше благородие, мы их отчистим, они крепенькие.

На дороге были очень интересные приключения, но некогда их описывать. Только скажу для памяти следующее.

Все мои солдаты имели, конечно, фамилии, в том числе две курьезные. Один назывался Вовторник. А другой — Среда. Они у меня и шли один за другим. Но в город Янов мы пришли в субботу. И остановились у одной польки, фамилия которой была Суббота, что всех очень потешало. Вовторник и Среда остановились в субботу у пани Суббота. Эта пани приняла нас до крайности любезно, но за ужином рассказала невеселые вещи. Она говорил по-польски, мы ее понимали, а что не понимали, то переводил врач Вацлав, он был поляк. Суббота была пани бургомистрова, ее муж был бургомистром этого городка, но ушел из страха перед русскими, о которых австрийская пропаганда твердила, что мы убиваем всех мужчин.

Так вот что она рассказала:

— Про женщин говорили, что не всех убивают. Поэтому мы остались, вот я, моя дочь и кухарка. И мы тут живем, и домик наш

уцелел. Но мы очень боялись, и вдруг я увидела первого русского. Он попросил воды. Мы дали ему напиться. Он побежал дальше. А потом пришли другие, и никто нас не трогал. И все прошли дальше, куда-то спешили, а мы остались.

Тут врач-поляк спросил:

— Но ведь тут был жестокий бой, весь город в развалинах?

Она энергично замахала руками:

— Никакого боя не было, а город в развалинах от пожара. Пожар случился, еще когда австрийские и наши войска тут были. Всю площадь заняли раненые, лежали на соломе. Ну и курили. Солома загорелась, кто выскочил, кто нет. От соломы загорелись деревянные рундуки и лавки, потом деревянные дома. И такой был пожар, что и каменные дома загорелись внутри. Ну вот все и в развалинах. А мы не сгорели, потому что мы на краю, и притом домик в саду и ветер был не на нас.

Сделав паузу, она закончила:

— Ну вот, живем. Все ничего, русские добрые, и я надеюсь, что муж вернется.

Переночевав, мы пошли дальше, но городок Янов я запомнил.

Запомнил потому, что в ноябре 1914 года, когда я был в другом отряде ЮЗОЗО, произошло следующее.

Я ехал по шоссе и увидел Красный Крест. Он очень явственно обозначал, что здесь помогают. Но я вспомнил, что ко мне приходили раненые, которые ночью прошли мимо этого Красного Креста и его не увидели. Поэтому я свернул к ним, они немножко были в стороне, и спросил сестер:

— Почему у вас ночью нет фонаря!

Они ответили:

— Просто не сообразили.

Быть может, не сообразили, быть может, ленились, но я им этого не сказал. А они меня спросили:

— Вы говорите по-немецки?

— Да, объясняться могу. А что?

— Да тут у нас два венгерских офицера. Они все что-то лопочут, чего-то просят, а понять мы не можем. Поговорите с ними.

Я прошел в палату. Они лежали на койках, два молодых офицера. Я спросил, в чем дело. Мадыры очень обрадовались, услышав мою хромую немецкую речь.

— Мы хотим написать нашим родным, потому что мы убедились, что нам говорили неправду.

— А что вам говорили?

— Нам говорили, что русские убивают всех раненых. Мы этому верили. И, когда нас ранило так, что не могли идти, мы решили не даваться живыми в руки русских. Лежали с револьверами в руках

и ждали. И вот пришли русские санитары с носилками. Они подбирали лежащих на поле раненых и куда-то уносили. Мы подумали, что это они своих уносят. Но увидели, что, когда санитары подбирали своих, стали подбирать и наших раненых солдат. И тогда мы подумали: «Еще рано стреляться. Пусть подойдут ближе».

Они подошли и взяли нас на носилки. И вот мы здесь, и за нами очень ухаживают сестры.

Я спросил:

— Санитары у вас ничего не отняли?

— Нет, нет, ничего, мы им сами дали.

Я не стал допытываться, так ли это было, и спросил:

— Чего же вы хотите?

— Мы хотим написать нашим родным, что это все неправда, что говорили про русских. Можно это?

Я так и сделал. Думаю, что наши переслали эти письма через Красный Крест, как это делалось тогда. Нам это было выгодно. Но доставлены ли были эти письма по адресу австрийской полевой почтой, конечно, не знаю. Война ведь в значительной мере основывается на лживой пропаганде.

* * *

Но теперь мы подходили к Тарнову. И порою было солнце, и был снег, и было голубое небо, словом было чудесно. И я забывал о Янове. Но до Тарнова было еще далеко, может быть, километров тридцать, когда мы начали слышать от времени до времени какие-то, как нам показалось, тяжелые удары. Что это были очень сильные взрывы, мы могли судить по расстоянию. Потом мы увидели в голубом небе точки. Это, несомненно, были самолеты. И мы решили, что самолеты бросают бомбы на Тарнов. Так продолжалось целый день. Потом точки удалились, а удары продолжались и становились все сильнее. Уже земля вздрагивала. За целый день мы насчитали примерно около тридцати ударов.

Солнце уже было не так далеко от заката, когда с горки мы увидели Тарнов. Косыми лучами был освещен какой-то купол, но не похожий на католический храм. Как потом я узнал, это была величественная еврейская синагога. Один удар, которому предшествовал рев, гул, скрежет, характерный для полета крупного снаряда, показал, что не самолеты бомбили Тарнов.

Тут я сделал некое психологическое наблюдение. Мы шли туда, прямо под эти снаряды. Я посмотрел на лица. Дядьки были совершенно спокойны. Даже особого любопытства у них не было заметно. Их благородие не приказывает остановиться, значит, все в порядке. У студентов лица были настороженные, но не более.

Я подумал, что бессмысленно подвергать людей опасности без всякой нужды. Поэтому в какой-то деревушке, километра за два от Тарнова, я приказал остановиться и устроиться на ночлег. Сказал доктору:

— Передаю вам начальство над отрядом. Ждите моего возвращения.

— А вы?

— Мне необходимо идти в Тарнов.

— Почему?

Этого я ему не сказал.

Я пошел, рассчитывая, что дойду до захода солнца. Подходя, я встретился с телегами и даже экипажами. Это бежали жители из Тарнова, не выдержавшие артиллерийского обстрела, но их было мало. В Тарнове было много евреев, и они бежали, боясь пресловутых казаков. Поляки менее опасались, и потому некоторое число их осталось в городе.

Но уходили и некоторые русские. Шел батюшка, размахивая рукавами рясы. Рядом с ним шел офицер, и я слышал, как он, до предела взволнованный, говорил батюшке:

— Батюшка, пусть меня расстреляют, но я не могу этого выдержать!

Откровенно говоря, никакого ужаса я еще не видел, только заходящее солнце было зловещее. Придя в город, я пошел по улице, чуть подымавшейся в гору. Улица как улица, с длинными лиловыми тенями от красного солнца. Я обогнал тяжеловоза, который что-то тащил, добросовестно стараясь взять горку. С ним рядом шел кучер. Вдруг я услышал отдаленный глухой звук, а затем послышался ужасающий вой. Так в древности, вероятно, ревели драконы. Вой превратился в скрежет, который казался уже над головой. Полет такого снаряда, как я потом вычислил, продолжается пятьдесят пять секунд. Но у меня нервы были напряжены и внимание обострено. И я за эти секунды увидел нечто сказочное. Все остановилось как по волшебству. Застыл тяжеловоз с поднятой передней ногой, застыл кучер с протянутыми руками. Мальчишка, который только что еще выкрикивал газету, окаменел на месте, держа ее в поднятой руке. Паненка в кавярне (кофейне), это было видно через открытую дверь, застыла с подносом в руках, на котором был кофе. Так они стояли, разумеется, только несколько секунд, но мне показалось — очень долго. Затем скрежет оборвался, и последовал удар в землю, от которого вздрогнул весь город. Еще пять секунд для верности — и все пришло в движение: конь, кучер, мальчишка, паненка...

Я подумал: удивительно все же приспособляется человек. Ведь эта бомбежка началась только сегодня утром. На город упало око-

ло тридцати снарядов, и, видя, что ничего особенного не случается, они уже привыкли.

Несколько позднее я понял, в чем дело. Орудие бомбило только вокзал. И так как оно было совсем новое, не расстрелялось еще, то попадало точно. Настоящая опасность началась, когда орудие расстрелялось и точность исчезла. Тогда эти чудовищные снаряды начали падать где попало. Расстрелялось оно совсем, сделав, вероятно, выстрелов сто.

Во всяком случае, я продолжал свой путь и, хотя не знал дороги, все-таки нашел то, что искал. А искал я отряд Государственной Думы, который здесь работал.

Узнав то, что мне надо быть узнать, то есть, что покамест никто не пострадал из отряда, я поговорил с Марией Николаевной Хомяковой и другими сестрами. Эти женщины оказались совершенно бесстрашными. Они делали свое дело, помещаясь в здании католического монастыря. Госпиталь был переполнен тяжелоранеными. Наши сестры ухаживали за ними, а католические монашки их кормили.

Тем временем надвинулась ночь. Электричества не было. Засветили керосинки и свечи. При свече я продолжал разговор с одной из сестер, киевлянкой. Ее отец, полковник, и оба брата служили в 166-м Ровенском полку. Отец умер до войны, а за братьев она дрожала. Это была молодая женщина, конечно, «доброволка», служившая без жалованья. Мария Николаевна Хомякова говорила про нее:

— Сестра — первый сорт!

Так вот, я беседовал с этой сестрой. Вдруг ворвался в палату молодой человек. Как он нашел меня среди абсолютной темноты, царившей в городе, я не знаю. Но он бросился ко мне, как утопающий, хватаящийся за соломинку. При этом он кричал, простирая худенькие руки, по-французски:

— *Les nonnes, elles pleurent!* (Монашки, они плачут!)

Его рассказы о плачущих монашках были так смешны, что даже моя собеседница, сестра, чуть не рассмеялась. А молодой человек без всякого перехода начал перед ней расшаркиваться, говоря:

— *Oh, madam, madam, chevaliere «de Sant Georges»!* (О мадам, мадам кавалер «Святого Георгия»!)

У нее на груди блестела медалька на Георгиевской ленте.

Перейдя на русский, я спросил:

— Говорите, что случилось? Что с монашками? Игумен вы несчастный!

— Они плачут.

— Но это я уже знаю. А дальше, где они?

— Тут где-то, я оттуда прибежал.

Необходимо пояснить, кто и что был этот молодой человек, одетый в солдатскую форму, но со шнурочками вольноопределяющегося на погонах.

Это был еврей двадцати лет. Ранее уже были случаи, когда он обнаружил большое мужество. И на мое замечание в этом смысле ответил:

— Как я могу бояться? Я родился семимесячным. Меня держали в вате два месяца. У меня нет ни одной почки, но есть туберкулез. Как я могу бояться? Хуже не будет!

Начав болтать, он уже не мог остановиться и продолжал тараторить:

— Моя сестра взяла все мое мужество. Она правит автомобилем в Париже и еще никого не раздавила, но раздавит! И вообще, я испорченное дитя Парижа и больше ничего. А теперь я игумен. Монашки плачут. Что мне с ними делать?

— Пусть плачут. Где ваши вагоны?

— На вокзале.

— Но ведь вокзал разгромили.

— Разгромили, совсем ничего нет, только наши два вагона стоят.

— Как вы знаете?

— Как знаю? Я там был, я все видел.

— Говорите толком, когда вы приехали?

— Когда мы приехали? Сегодня утром до бомбежки.

Мы вышли из Львова в походном порядке 26 декабря 1914 года. Он же с двумя вагонами, где помещался наш большой багаж и пять монашек, выехал в тот же день из Львова поездом. И вот оказалось, что на лошадях мы сделали наш путь так же скоро, как он поездом.

Он успел где-то укрыть плачущих монашек, которые, собственно, не были монашками, а только послушницами, но им хотелось послужить богоугодному делу.

Он сообщил еще одну ошарашивающую новость:

— Там с ними, с монашками, Шпаковский и Шунько.

— Да это же не может быть. Я их оставил в деревне.

— А они оттуда сбежали и подводы привели — пять штук.

— Зачем?

— Но, Боже мой, монашки! Багаж, вокзал разгромлен, надо вытащить.

Он еще что-то хотел сказать, но в это время грохнул снаряд. И вот вбежал Шпаковский, в одном сапоге. Он бросился к нам:

— Василий Витальевич, монашки режут, что делать?

Я ответил:

— Найти сапог.

— Ах, черт возьми! Так я потерял сапог!

Но, видимо, этот вечер был какой-то особый. Я не успел его спросить, где Шунько, хотя и так знал, что он утешает монашек, как еще ворвался человек. Тут уж ничего нельзя было понять. Он совал мне в руки коробку конфет и истерически кричал:

— Ваша супруга! Ваша супруга!.. Я был начальником тюрьмы. Убежал. Они хотели меня убить. Я бежал на фронт. Но не могу воевать. Я не могу в полк. Возьмите меня в отряд.

Я спросил:

— При чем тут моя супруга?

— Я был у нее в Киеве.

— А сами вы откуда?

— Из Сибири.

— Как вы попали в Киев?

— Я сам не знаю как. Я бежал. В Киеве мне сказали — газета «Киевлянин». Идите в «Киевлянин». Она мне сказала, ваша супруга, где вы.

Как она узнала, где я, в этих условиях, я и до сих пор не знаю. Одним словом, она его послала сюда и второпях сунула коробку конфет.

Теперь все было ясно и даже то, что бывший начальник тюрьмы теперь сумасшедший. Я сказал ему:

— Завтра разберемся, а теперь отправляйтесь в деревню.

Я понял, что его прислал мой доктор, оставшийся с отрядом.

Теперь объясню еще кое-что. «Испорченное дитя Парижа», носившее фамилию Левенберг, я назначил заведующим хозяйством. В хозяйство вошли и его монашки. Он все принял это очень серьезно и в целости доставил багаж из Львова в Тарнов, на тот самый вокзал, теперь уже разгромленный шестидесятипудовыми снарядами.

— Идем к монашкам, — сказал он мне.

Мы пошли в абсолютной темноте, но студент и заведующий хозяйством знали дорогу. Через некоторое время мы попали на улицу, где шли по сплошному битому стеклу, выбитому из окон разрывами снарядов. По счастью, именно в этом месте Шпаковский наткнулся на свой потерянный сапог. Он страшно обрадовался. Теперь мы были вооружены для всякого боя.

Монашки тоже обрадовались до крайности нашему появлению и опять стали плакать, но теперь уже от умиления. Левенберг приставал неотступно, чтобы идти спасать и вагоны. Я сказал ему:

— Прежде всего надо поспать, а там видно будет.

Все заснули, потому что истомлены были до крайности. Левенберг лег рядом со мной на полу. В комнате был только один диван.

Я заснул как убитый, сразу провалившись в бездну. Вдруг я проснулся от вспышки и одновременно глухого, отдаленного звука, но сейчас же заснул опять. И даже мне приснился какой-то сон. Затем я проснулся снова. Завыло и заскрежетало, затем удар, от которого вздрогнули стены дома.

Левенберг вскочил. Монашки заплакали. Шпаковский и Шунько засуетились в темноте. Я сказал Левенбергу:

— На вокзал!

У Шпаковского и Шунько какие-то фонари. При их помощи мы нашли наши пять подвод. Дядьки были по-прежнему равнодушны, как будто бы их все это не касалось. Розыски шли в абсолютной темноте.

С последнего выстрела, который был около полуночи, прошло довольно времени. Было два часа ночи. Нашли какой-то переход через рельсы. По этим рельсам нашли поезд, то есть остатки поезда. Все было разбито, зияли огромные воронки, в которых можно было спрятаться верховому. Но наши вагоны действительно стояли невредимыми. Только двери вышибло, что было нам на руку, — не надо было трудиться их открывать.

Возились долго, пока удалось через всякие препятствия подтащить подводы к вагонам. Удивительно, что и лошадки были так же спокойны, как кучера. Вещи перетаскивали пять человек подводчиков и два студента под командой Левенберга, «испорченного дитяти Парижа», которого никто не слушался. А я, завладев одним фонарем, пошел по перрону. Тут все было исковеркано совершенно неопишимо. Крыша сорвана, все стекла побиты, но часы, часы!

Большие вокзальные часы, сорванные со стены, важно стояли на перроне между двумя разрушенными колоннами. Циферблат был цел и показывал одиннадцать часов с несколькими минутами, очевидно, до полудня. Но, конечно, они не шли, запечатлев время, когда их сбросило со своего места и перенесло, аккуратно поставив на перрон. Эти часы представились мне какими-то загадочными свидетелями, что-то молча говорившими.

Но я пошел торопить людей. Не следовало искушать судьбу и ждать, пока новый снаряд уничтожит чудом уцелевшие вагоны и нас заодно с ними.

Нам удалось уйти невредимыми, но, когда подводы взяли направление на деревню, это было в три часа ночи, прилетел еще снаряд. «Испорченный» Левенберг закричал в восторге:

— Мы спаслись удачно!

На следующий день в деревню на машинах из Львова приехали мои дамы вместе с Н. Н. Можайским. Старшей сестрой должна была быть его жена, Матильда Алексеевна. Она стала распоряжаться

и монашками, которых привезла из Подольской губернии, где Можайские покровительствовали одному монастырьку. Потом приехала Мария Константиновна, кузина Балашова, — святая душа! И наконец, Кира, высокая и красивая молодая девушка, немножко смыслившая в медицине. Еще была восемнадцатилетняя Мура Забугина.

Наконец третий отряд в полном сборе начал свою высокополезную деятельность во славу ЮЗОЗО.

11. Бушуев

Мы получили назначение в город, точнее сказать, городок с неприятным названием Тухов в двадцати километрах от Тарнова. Городок почти не существовал, он погиб не от артиллерии, а от пожаров, то есть в порядке «самодеятельности». Населения тоже не было, но очень много битого стекла и разваливающихся кирпичей.

Между прочим, во время пребывания там я наблюдал, как исчезают с лица земли даже каменные дома. Один такой домик стоял на косогоре, где мне постоянно приходилось проезжать. Когда я в первый раз его увидел, у него даже стекла были целы, но хозяева ушли. Затем в один прекрасный день исчезли не только стекла, но и рамы, и двери, что было удобно для входящих и выходящих.

Я как-то зашел. Не было уже и деревянных полов. Печи были разворочены, но еще держались. Потом исчезли и печи. В эту пору раскладывали костры прямо в доме. Кто? Обозники.

Обозники во время этой войны были непобедимой стихией, — республикой, которая управлялась сама собой и своими законами. Обозные офицеры существовали, но ведь Господь создал и видимое и невидимое. Так вот, они были «невидимое»,

Итак, мы въехали всем отрядом в этот помещичий дом. Тут находился так называемый дивизионный пункт. Сюда стекались раненые, больные с четырех полков дивизии. Здесь, собственно говоря, была их сортировка. Одних направляли в полевой госпиталь № 1 — это были просто больные, а других, заразных, — в госпиталь № 2.

Затем некоторых эвакуировали по железной дороге. Она проходила тут недалеко, но грузить их можно было только ночью, потому что днем станция обстреливалась. Наша роль состояла в помощи дивизионному пункту, а значит, начальнику дивизионного пункта и я подчинялся.

Поэтому, строго храня дисциплину, я прежде всего отправился ему представиться. Это был хирург из Александровского госпиталя

в Киеве по фамилии Бушуев. Но сначала мне пришлось пройти через помещение, где ожидали больные и раненые. Те и другие лежали на полу без соломы. Мороз в этот день был — 4⁰, а в выбитые стекла снег влетал в комнату, и под окном лежали маленькие сугробы. Затем я прошел еще через бывший зимний сад, в котором тоже были побиты стекла.

Постучав в дверь, я вошел в большую комнату, откуда на меня пахнуло приятным теплом. Мне бросились в глаза рояль и мягкие диваны, кресла и даже ковер. За столиком, накрытым скатертью, пили чай. Я подошел к этому столику и отрапортовал:

— Такой-то. Представляюсь по случаю прикомандирования к дивизионному пункту соответствующего начальства.

Бушуев привстал, потом подал руку, сказав:

— Садитесь, будем пить чай с вареньем.

Мне подали стакан, а он прибавил, показав на двух врачей помоложе, очевидно, ему подчиненных:

— Вот эти молодые люди скучают, потому что им нечего делать. Дивизионный пункт не нуждается в помощи. Но раз начальство приказывает, так сему и быть. Устраивайтесь.

Я сдержал себя и не наговорил ему дерзостей за эту теплую комнату и замерзших раненых и больных в соседнем помещении. Главноуполномоченным по Красному Кресту в 3-й армии М. А. Стаховичем была дана директива: «Не рассказом, а показом, не критиковать, а стыдить».

Выпив чай, я пошел устраиваться. Но пришлось не устраиваться, а устраивать.

Я позвал Буяна. Это была его фамилия, и он буянил во хмелю, но, когда бывал трезв, то был человеком на все руки.

Я сказал ему:

— Окна видел, где раненые?

— Так точно, ваше благородие. Под ними снег лежит.

— Застеклить можешь?

— Так точно могу, ваше благородие. Стекла хоть отбавляй, по стеклу ходим.

В тот же день он застеклил это помещение. Не стало тепло, но снег растаял. А когда затопили печи, то стало совсем хорошо.

Потом я обратился к Матильде Алексеевне:

— Знаете ли вы, что дивизионный пункт больных и раненых не кормит?

— Знаю. Мы будем их поить чаем и кормить.

— Справитесь?

— А для чего я привезла монашек?

Через несколько дней мы узнали, что Бушуев очень любит музыку. А Мура очень хорошо играла на рояле и свистела, как соловей.

Я ей сказал:

— Боевая задача — попросить разрешения у Бушуева играть на рояле, свистеть и пленить его этим.

Она спросила:

— А зачем?

— Затем, что у меня нет коек. И кроме того, я не могу распоряжаться его фельдшерами и санитарями. Того и другого у него достаточно. Вы должны выпросить у него койки, и чтобы их принесли его люди, а тут уже мы с ними как-нибудь поладим.

Она пошла, играла, как Орфей, и свистела, как соловей. Нам в верхнем этаже были слышны ее трели в логовище Бушуева, которое было внизу.

На другой день, после свиста, койки появились. Я сказал Муре — Вы просто соловей-разбойник. Грабьте его дальше!

И мы грабили. Мура вошла в добрые отношения и с молодыми скучающими врачами. Они давали ей все необходимые медикаменты из дивизионных запасов. Я освободил Муру от перевязок и дежурства, на нее легли серьезные обязанности по снабжению.

Мура... Известны в истории Киева две Забугины. Одна была дочь моего товарища по гимназии, Платона Забугина и славилась своей красотой. Половина молодых людей Киева была в нее влюблена. Она колола сердца, как орехи, и выбрасывала скорлупки.

Моя Забугина, то есть Мура, была гораздо скромнее. Нельзя сказать, чтобы она была некрасива. В свои восемнадцать лет это была милостивая и очень здоровая девушка. Не мудрено, она ведь... «кронштадтское дитя».

Пусть скептики думают все, что им угодно, про отца Иоанна Кронштадтского. Я знаю, что он был подлинный чудотворец. Родители Муры очень желали иметь ребенка, но бесплодие посетило их дом. По молитве отца Иоанна родилась девочка, названная Мурой. И вот она творила чудеса над Бушуевым.

Буян через некоторое время застеклил бывший зимний сад. Получилась хорошая светлая операционная. Здесь с увлечением работал мой доктор Вацлав с двумя скучавшими врачами Бушуева.

Но Бушуев упорно не хотел работать и, сидя в своей теплой комнате, злился, как карл Черномор. У него не было бороды, он был коротышка, без шеи и толстый. Я не опасался, что Мура в него влюбится. Пока что она им командовала.

Но однажды Бушуев все-таки появился в операционной. Он все же был хирург, и хирург хороший. Одному раненому надо было сделать трахеотомию. Он разрезал горло с видимым удовольствием.

Рассказываю все, как было, не убавляя и не прибавляя.

Он оригинально принимал больных. Они выстраивались у крыльца, на морозе. Выходил Бушуев из теплой комнаты и командовал:

— Скидывай, скидывай рубашку, не стесняйся!

Затем, не прикасаясь к оголившимся людям, говорил скороговоркой:

— Первый, второй, первый, второй...

Это обозначало, в какой госпиталь направлять. После этого дрожащих от холода людей уводили к фельдшерам, сажали в колымаги и увозили по госпиталям.

У Бушуева был оригинальный подход к раненым и больным. Бывало, какой-нибудь санитар докладывал ему о больном, который, что называется, «шебаршит». Бушуев неизменно отвечал:

— А ты ему в мордыку дай.

Об этом с хохотом, под которым таилось глубокое возмущение и презрение, рассказывал доктор Вацлав: «А ты ему в мордыку дай. Как вам это нравится?»

И хохотал.

Быть может, он думал про себя: откуда берутся на свете такие негодяи?..

12. Отступление

...Где же я находился в это время? Дело было так. Я ни разу не был в отпуске, надо было поехать. Это было до удара Макензена.

Поехали. Доехали до Львова. Остановились в «Саксонской» гостинице. Там были две стеклянные ванны, одна голубая, другая розовая. Я преступно мечтал о них уже давно. Я занял голубую, а сестра Любовь — розовую. Насладившись, я заснул, она, должно быть, тоже. Вдруг отчаянный стук в дверь. Телеграмма.

Ругаясь, я прочел:

«Вези перевязочный материал в Дембицу».

Это был шифр. И значило:

«Мы отступили в Дембицу».

Телеграфировал мой племянник Эфем, как мы условились.

Вот тебе и отпуск! Разбудив сестру, я где-то раздобыл какую-то городскую машину, и мы поехали на ЮЗОЗОВскую базу. Там в гараже для наших машин должен был быть привезший нас шофер Александр. Приехали.

О ужас! Александр разобрал машину! В керосине плавали шестерни и шарики. Чрезвычайная добросовестность этого человека, который, проделав триста километров, вместо того чтобы спать, за-

нялся этой чисткой, была воистину похвальной. Его даже нельзя было назвать услужливым дураком. Откуда он мог знать, что случится. Я сказал ему:

— Александр, что вы наделали? Сейчас надо ехать обратно.

— Как, в Тарнов?

— В Дембицу.

— Что же делать?

— Собрать машину.

— Два часа будет.

— Хотя и три. Все равно надо ехать.

Началась новая страница — отступление.

* * *

Генерал-фельдмаршал Альфред Шлиффен, умерший незадолго до войны, 4 января 1913 года, оставил своим преемникам разработанный им стратегический план войны на два фронта, против Франции и России. Этот план в начальный период первой мировой войны стал проводить начальник Большого генерального штаба граф Хельмут Мольтке, племянник знаменитого сподвижника Бисмарка и наставника Императора Вильгельма I, прусского генерал-фельдмаршала Хельмута Карла Бернхарда Мольтке, скончавшегося еще 24 апреля 1891 года.

Однако шлиффеновская доктрина сокрушительной войны, проводимая Мольтке, потерпела фиаско в крупнейшем сражении между основными группировками французских и германских сил на реке Марне, закончившемся 9 сентября 1914 года поражением немецких войск. Это поражение стало поворотным моментом всей борьбы.

Опозорившийся граф Мольтке был немедленно отстранен от руководства, и его место 14 сентября 1914 года занял военный министр Фалькенгайн. Он должен был перепланировать стратегические действия немецких войск в ходе войны.

И вот к февралю 1915 года у нового начальника Большого генерального штаба созревает решение повернуть линию главных операций с запада на восток — против России. Отказ главного германского командования от применения шлиффеновской идеи ведения войны привел к резкому расхождению Фалькенгайна с фактическими руководителями немецкой армии генералом Эрихом Людендорфом и генерал-фельдмаршалом Паулем фон Гинденбургом, впоследствии президентом Веймарской республики, передавшим 30 января 1933 года власть в стране в руки Адольфа Гитлера.

Едва закончилась зимняя операция по освобождению территории Восточной Пруссии от русских войск, как Фалькенгайн

переносит в апреле 1915 года главный удар в Галицию и здесь организует таран генерала Макензена для прорыва русского фронта между Вислой и Карпатами. За два месяца немцы вытеснили русских из Галиции и на целый год, до Брусиловского прорыва в июле 1916 года, обеспечили боеспособность австро-венгерской армии.

Под ударами Макензена началось то великое отступление, когда мы отдали двадцать губерний, из коих десять губерний Царства Польского. Но это в большом плане, а в нашем маленьком плане маленького отряда — это было начало странствований, которые для меня окончились где-то не доходя до города Холма.

* * *

В Дембице я продолжал вывозить раненых, стремясь в этих рейдах заходить как можно дальше. Это было довольно трудно, потому что навстречу нам двигался поток отступавших войск. Сначала шла артиллерия, за ней пехота. В этих моих набегах я все же старался как-нибудь не попасть в плен. Поэтому, пока штаб стоял в каком-то доме на дороге, я заезжал туда.

Начальник штаба, полковник, был толковый человек, в противоположность генералу, который, хотя и имел белый Георгиевский крест на шее, был слишком стар, чтобы сразу соображать, полковник поощрял мое рвение, но указывал мне границу, которую не следовало переходить. При этом он осведомил меня об общем положении дивизии в таких словах:

— Позавчера у меня было двенадцать тысяч. Сейчас — шесть.

Я очень удивился.

— Господин полковник, за это время через меня на дивизионном пункте прошла тысяча человек. У вас осталось шесть, итого семь. Где же пять тысяч?

Он ответил:

— Так как мы отступаем, то все убитые и раненые остаются у противника. Это главная потеря. Некоторые успели отступить. Но, как это всегда бывает при отступлении, дисциплина падает. Они разбежались. Часть из них вернется, придет к кухням. Вот и всё.

Я продолжал свою работу, таскал раненых, но мои рейды становились все короче. Противник наступал. При последнем моем рейде я уже никого не застал в том месте, где был мой отряд, но нашел их на станции. Отряд, готовый выступить, стоял и ждал меня. Верхом на лошади сидел Эфем. Я спросил:

— Это что ж такое?

Он ответил:

— Вацлав от страха сошел с ума. Он побежал к коменданту, который, по-видимому, тоже слегка тронулся. Комендант пожаловался на тебя по телеграфу командиру корпуса, что ты не исполняешь приказаний военного начальства и попадешь в плен. Я отказался двигаться, пока ты не вернешься.

Я ответил:

— Выступайте. Я сдам раненых в поезд и нагоню вас.

Они отправились, а я замешкался довольно долго. Но все же мне удалось уйти, однако по одной половине моста. Другая была уже разобрана.

* * *

Мы пришли в маленький городок, где на свои двадцать подвод нагрузили восемьдесят тяжелораненых. Подводы были широкие и плоские, очень удобные для перевозки. Всех тяжелораненых я привез в наш лес. Там стояли большие навесы, где когда-то сушили кирпич. Теперь они были пустыми, и мы положили там раненых на солому.

Все принялись за работу. Так как эти раненые были в тяжелом состоянии, то я поехал в соседний городок за хирургом. Им оказался мой старый знакомый, старший врач Бушуев, укрывшийся в городе от работы. Чуть ли не силой я приволок его в наш лес. Начав осмотр раненых, он сказал про одного из них:

— Не троньте его, у него прострелена голова насквозь. Через два часа он будет готов.

Но когда врач ушел, сестра сказала:

— А я его все-таки перевяжу.

У нее были чрезвычайно ловкие руки. Сама про себя она говорила:

— Я ведьма. Вещи меня слушаются.

И на этот раз «вещь», то есть простреленная голова, послушалась волшебных рук. Прежде всего она обмыла раненому лицо, покрытое землей и грязью. Тогда под закрытыми глазами появились ужасные малиново-лиловые мешки. Потом она взяла эту голову, напоминающую не то арбуз, не то тыкву, в свои ведьмацкие ручки и, перебрасывая ее, голову, из одной ладони в другую, начала обматывать крайне сложным рисунком белой марли. Эта перевязка, по имени знаменитого античного врача, называлась и называется «гиппократовой шапкой».

Я смотрел на это жонглирование человеческой головой, как на некое чудо. Чудо и случилось.

Вопреки предсказанию Бушуева человек с простреленной головой не умер через два часа. Не только не умер, а через два дня едва

слышно сказал свое имя. Спустя две недели в помощью санитаров он «ходил до ветра». Когда мы его эвакуировали со всеми предосторожностями, он был как будто бы вне опасности.

Неожиданно в этот лес до нас добрался сам начальник штаба Юго-Западного фронта генерал А. М. Драгомиров. Он был лихой кавалерист и легко спрыгнул с коня. Я скомандовал:

— Смирно, господа офицеры!

Офицер был только один, именно я, и потому Драгомиров, подавая мне руку, рассмеялся, но ответил:

— Вольно. Делайте ваши дела.

Мы пригласили его в беседку пить чай с вином. Там он поставил вопрос о хирурге Бушуеве.

Я изложил ему вину этого человека. Все, что я говорил, подтверждали Кира, племянница генерала, и другие дамы-сестры, а также Вацлав. Выслушав меня, Драгомиров спросил:

— А ваше заключение?

— Под суд.

Потом Абрам Михайлович по-родственному взял свою Киру, и они пошли гулять в лес. На этой прогулке она еще подробнее рассказала ему про подвиги Бушуева. А затем, простившись, генерал уехал.

Через некоторое время нас перевели в другую дивизию. Бушуев остался на своем месте.

У него не было никакой особенной протекции. Драгомиров был одним из лучших генералов русской армии и, кроме того, человеком решительным. Почему же он так поступил? Почему ничего не сделал? Не знаю. Быть может, он отражал ту нерешительность, которая шла с самых верхов. Мы не умели быть решительными. Этим многое объясняется в нашей истории.

Но тут невольно возникает мысль. А как поступил бы решительный генерал, если бы Бушуев издевался не над «серой скотинкой», а, скажем, над близкими ему, над его семьей — женой, детьми? Неужели и тогда он проявил бы ту же мягкотелость и нерешительность? Быть может, именно этим многое объясняется в нашей истории?

13. Четыре

Покинув Дембицу, мы двигались по шоссе вдоль железной дороги. Показалась станция, названия которой я не помню. Она была оставлена не только австрийскими, но и нашими войсками, отступавшими дальше. Но я заехал на эту станцию и обнаружил там свыше ста человек раненых, которые не могли идти. Они лежали

в стационарных помещениях, брошенные всеми. Кто их бросил, было неизвестно, но не все ли равно. Раз мы на них наткнулись, надо было их вывезти. Но как?

Я прошел через все помещения. Кое-где лежали умирающие, в других местах еще живые, но тяжело раненные. Были еще бодрые. Они умоляли их не бросать, но идти не могли — ранены в ноги.

Их было столько, что бросив даже все наши вещи, то есть палатки, больше сотни полушубков, провизию и прочее, и тогда все имевшиеся у нас подводки и машины не смогли бы все-таки их вытащить.

Нам нужен был поезд. Английский король готов был отдать полцарства за коня. Конь у меня был, но он не мог мне помочь. Поезд, поезд во что бы то ни стало!

Неожиданно подошел ко мне совершенно здоровый унтер-офицер:

— Так что, ваше благородие, мы под вашу команду поступаем.

— Кто вы такие?

— Телефонисты, четыре человека, пост. Так что все ушли, приказания не было отступать. Что делать, не знаем. Прикажете, ваше благородие.

Молнией блеснула мысль: вот где спасение! Голенький ох, а за голеньким Бог!

— С ближайшей станцией нашей связь держишь?

— Так точно, держу.

— Вызови начальника станции. Растолкуй ему: сто сорок тяжелораненных брошены. Поезд надо, чтобы их вывезти. Понял?

— Так точно, понял. Поезд надо под раненых.

Он побежал к своему аппарату.

Я вернулся на станцию. Там врачи, студенты и сестры начали работу: перевязки, лубки и прочее. Зашумели примусы для чая. Я ходил из зала в зал — все, как надо. Но надо одно — поезд.

Потом пошел к телефонисту.

— Ну, как?

— Так что обещают, ваше благородие.

— Хорошо.

— Рад стараться, ваше благородие!

Опять на станцию. На меня с надеждой смотрят сотни глаз. Работа идет. Приказал сгрузить полушубки, потому что чувствую — ночь будет холодная. Придется укрыть раненых. Наступает лето. Таскать полушубки с собой нет смысла. Пусть их увезут, по крайней мере хоть сослужат службу.

Опять пошел к телефонистам.

— Они, ваше благородие, говорят, что теплушек нет, а только открытые платформы. И еще говорят, что их собрать надо. А паровоз ушел, но вернется, говорят.

— Ну, подождем...

Так длилось долго. Телефонисты надрывались, но все чего-то не хватало и поезда не давали.

Наконец телефонист доложил:

— Ваше благородие! Так что они ушли или провод порвался. Не отвечают.

Тогда я сказал Эфему:

— Ничего не будет. Садись в автомобиль и поезжай. Узнаешь, что там делается, на этой станции. Ушли они, или врут, или путают. Если увидишь, что на ближайшей станции ничего нельзя сделать, поезжай дальше, на главную станцию, где штаб армии. Там найди при штабе Стаховича. И требуй от моего имени поезда. Пристань к нему, как клещ. Скажи, что сто сорок раненых и третий отряд ЮЗОЗО вместе со мной попадет в плен. Мы раненых бросить не можем. Так и скажи: будем в плену.

Я знал, кого посылаю. Племянник мой иногда бывал легкомысленным, забывчивым.

Но для такого поручения, какое я ему сейчас дал, он был совершенно приспособлен — энергичен и вместе с тем обладал природным красноречием, умел нравиться людям. Я знал, что Эфем не пожалеет красок, доказывая, что мы непременно попадем в плен...

Поехал...

Прошло долгое время. Все было готово, все раненые, перевязанные, получили чай. Умиравшие умерли. Желто-восковые, они лежали под стеной. Их было четверо. Мне следовало снять с них солдатские книжки с именами, чтобы оповестить родных. Это лежало на обязанности начальника отряда. Но я этого не сделал. Стараясь вытащить живых, я не позаботился о мертвых, и это мне неприятно и по сей день.

Время шло. Было около девяти вечера, но еще не было темно. Это были самые длинные дни в году. Вдруг прибежал телефонист:

— Ваше благородие, вас вызывают.

Я взял трубку. Говорил Эфем:

— Поезд сейчас выходит.

И действительно, он пришел — штук десять открытых платформ. Стали грузить. Холодно. Укрыли всех полушубками.

Я пошел на станцию посмотреть, не забыли ли кого-нибудь.

Нет. Всюду было пусто. Только четыре мертвеца лежали под стеной, неподвижные и строгие.

В очень старые времена делали из камня изваяния, так называемые надгробия, изображавшие покоящихся в гробу. Так вот, эти четыре были на них похожи.

Поезд пошел. Эфем поехал с ранеными. Он позже опять соединился с нами. Я отправил автомобили по назначению, а сам взгро-

моздился на гунтера. Двадцать подвод потянулось за мной. Мы шли всю ночь. Прошли сорок километров. Мерный шаг коня усыпляет до невозможности. Несколько раз я едва не свалился с седла. Едва — потому что просыпался, падая. Чтобы не заснуть опять, я отправлялся рысью к хвосту отряда под предлогом проверить, все ли в порядке. Потому возвращался обратно. Солнце давно взошло. Спать хотелось еще больше. Наконец мы дошли туда, где были наши машины.

Это было какое-то село. Там стояла старая-старая церковь, деревянная, крытая гонтом. Она блестела серебряными латками. Это была жесьь, которой латали дыры. Стиль этого храма, таких много в Галиции, напоминает не то буддийские, не то японские пагоды. Изумительно!

Любуясь церковью, я опять заснул. Меня подхватили чьи-то руки и затем напоили крепким чаем. Я опять стал человеком.

Человеком ли? Жалкое ничтожество!

Когда один святой заснул на молитве, он с досады вырвал у себя веки глаз и бросил их перед собой. И там, где они упали, выросло два куста... чая. Вот почему чай такое великолепное средство от сонливости.

Так вот, этот святой был человек, но не я. Я век своих не вырывал и занялся текущими земными делами.

Но иногда вспоминал тех четырех, мертвых...

14. Голосов

Это было 4 июля 1915 года. У леса стояли две большие палатки, на пригорке. Одна была наша ЮЗОЗОВская, другая — дивизионного пункта, только другой дивизии, без Бушуева. Я стоял у своей палатки. Дорога уходила через лес к фронту. Грохот артиллерии был уже недалеко. Я понимал, что сейчас будет приказ смываться. И на всякий случай дал соответствующее приказание.

В это время из леса показалась подвода. Она двигалась медленно, как возят раненых. Я подумал: «Ну, придется их подхватить».

Подвода подползла к палатке, но в ней оказался только один раненый. Я заглянул, увидел офицерские погоны и очень бледное лицо. Мне показалось, что он без чувств. Но он заговорил, правда, шепотом:

— Мне надо сейчас... руку отрезать... Сейчас.... Сейчас...

Я присмотрелся к нему. И вдруг узнал. Это был Голосов. Капитан Голосов, мой ротный командир.

Я ответил отчетливо:

— Сейчас все будет сделано.

И побежал в дивизионную палатку.

Это была хорошая дивизия. Здесь дивизионный пункт работал добросовестно, и потому у нас дел было мало.

У меня был тут другой врач, не Вацлав, постарше, хороший хирург. Петербуржец или москвич. Не помню. Он интересовался только трудными операциями и конскими бегами. Его страстью, истинным призванием был тотализатор. Ему было скучно у нас, и он проводил время в дивизионном пункте. Поэтому я его нашел там.

Я сказал, что у меня офицер, который требует, чтобы ему немедленно отрезали руку.

Мой врач оживился и сказал:

— Это интересно.

Но начальник дивизионного пункта отрицательно покачал головой и сказал:

— Приказ из штаба получен. Мы сейчас будем улепетывать.

Я стал просить:

— Ну, пожалуйста, это мой командир роты.

Тогда «тотализатор» сказал:

— А давайте резанем!

Начальник пункта скомандовал своим санитарам:

— Принесите раненого.

Он был почти в обмороке, но все же повторял:

— Руку... сейчас...

Я не присутствовал при операции, но руку ампутировали по плечо и сдали мне Голосова.

При этом «тотализатор» сказал:

— Ни к чему. Он умрет.

— Почему?

— Слишком много потерял крови. Сердце останавливается.

— Совсем нет надежды?

На мгновение задумавшись, он ответил:

— Совсем — не бывает. Даю два процента.

Мне показалось это огромным процентом. Мы втащили его на очень хороший грузовичок, который переделали из легкой машины. Рессоры были прекрасные, и меньше трясло.

Я спросил с картой в руках:

— Куда?

Начальник пункта назвал какое-то село, прибавив:

— Помещичья усадьба.

У меня было все готово. Я передал начальствование отряда помощнику, посадил на грузовичок, кроме врача, еще одну сестру и взгромоздился сам.

Через два часа мы нашли усадьбу и были на месте, сделав шестьдесят километров.

Хозяева уехали, но усадьба не была разрушена. Большой зал с паркетом мы превратили в палату. Одну койку привезли с собой, но там были еще диваны.

На койку положили Голосова. «Тотализатор» подошел, посмотрел на него, взял пульс и сказал:

— Жив. Удивительно. Даю пять процентов. Поите его крепким кофе и не давайте спать.

Это слышала сестра, которую я привез. Она была киевлянка. Отец и два брата ее служили в этом самом 166-м Ровенском пехотном полку, где ротным был Голосов. Спасти его было для нее вопросом любви и чести.

Я присел около койки. Моментально появился кофе. Она стала вливать ему в рот. Выпив, он прошептал:

— Спасибо. — И прибавил: — Какая удача!

После нескольких чашек кофе он промолвил также шепотом, едва слышным:

— Десять месяцев бы... Не тронуло... ни пуля... ни осколки... Ну, теперь ударила... Руку отрезали... но жив...

Сестра говорила ему какие-то слова, которые, видимо, его окрыляли:

— Не только живы, в Киев поедете.

Он подхватил:

— В Киев поеду...

Так она возилась с ним всю ночь. Кофе и ласковые слова о Киеве — что там есть и как там сейчас, чего она сама не знала, потому что была девять месяцев без отпуска.

Примерно в полночь пришел «тотализатор». Все-таки какая-то совесть у него была:

— Двадцать пять. Продолжайте. Кофе и разговор.

Ушел. Пришел утром. Спросил меня:

— Жив?

— Жив, жив, в Киев хочет ехать.

Он все же попробовал пульс и сказал:

— Пятьдесят процентов. Все бывает, но он вне опасности, если его сейчас же повезут в Киев. А вы тоже можете ехать. Ведь вас вызывают в Думу-то?

И мы поехали с этой сестрой-киевлянкой. Она спасла командира моей роты. А я теперь, быть может, тоже нуждался в помощи, хотя и другой. Так мои военные подвиги начались с капитана Голосова и кончились вместе с ним.

* * *

Иногда судьба поступает очень отчетливо. Как будто бы пишет сценарий для кинематографа.

Но я не выполню своего долга перед читателем, если не познакомлю его со счастливым концом этого фильма.

В 1916 году осенью в Петербурге ко мне пришел один офицер и отрекомендовался:

— Голосов.

Я сказал:

— Как? Капитан Голосов был тяжело ранен на фронте, ему ампутировали руку.

— Да, я — его брат. Нас четыре брата Голосовых, все офицеры.

— Ну, а как же мой командир роты?

— Митя? Служит на нестроевой службе в Киеве. Очень доволен и счастлив.

Вот почему я сказал, что этот фильм имел счастливый конец.

Часть V. СУХОЙ МЛИН

1. Васнецовское дитя

Елка в редакции «Киевлянина» для детей разносчиков и наборщиков стала традиционной. В 1902 году, накануне Рождества, в сочельник, 24 декабря по старому стилю, я сидел на стремянке и прикреплял православную, то есть еврейскую, шестиконечную звезду.

Помогала мне, чуть-чуть придерживая лестницу, одна красивая девушка. Ей не было двадцати лет, но она держала себя так солидно, чтобы не сказать гордо, что ее называли Екатерина Викторовна, а не Катенька, как бы следовало.

Мне через несколько дней, то есть 1 января 1903 года, должно было исполниться двадцать пять лет. Если бы все было нормально, то мне необходимо было бы хоть слегка ухаживать за этой красивой девушкой или, по крайности, изображать, что я это делаю.

В этом возрасте естественно то, что в Англии называют «игра в любовь» — занятие, ни к чему не обязывающее. Но все было ненормально. Прежде всего и манера держать себя не располагала меня играть с ней в какую бы то ни было любовь.

Но это бы еще ничего. Из вежливости чего не сделаешь. Настоящая преграда таилась в следующем: этой девушке было со мной ужасно скучно. Она придерживала кончиками пальцев лестницу, на которой я сидел верхом, быть может, в надежде, что я как-нибудь упаду со своей высоты и это ее рассмешит.

Впрочем, вряд ли она так думала, столько злодейства в ней не было. Ей было просто скучно с этим молодым человеком в длинном сюртуке, в воротничке и галстук, сидящем верхом не на коне, а на лестнице, расставившей ноги.

И я ее понимал. Она не хотела играть в любовь уже потому, что я был женатым. Жена моя, тоже Катя, любила меня и этого не скрывала. Кроме того, Катя была интересная молодая дама, очень светская, умная, веселая, в обществе просто блестящая.

При этих обстоятельствах только сильное чувство или иные причины, например материальный интерес, могли толкнуть Екатерину Викторовну на сомнительную авантюру — стать соперницей Екатерины Григорьевны.

Ни того ни другого, то есть ни чувства, ни интереса, не было. Она держала лестницу только потому, что ей хотелось проявить хоть маленькое внимание к елке для детей наборщиков и разносчиков «Киевлянина».

Она жила в семье Софьи Ипполитовны — секретаря оной газеты, и хотела быть с ней вежливой. Последняя, и по должности и по сердечному влечению, была душой этих елок. Жила в семье — не значит, что Екатерина Викторовна была им родственницей. Просто она со своей матерью снимала комнату в квартире этих людей. А квартира эта находилась в том же доме, что и редакция «Киевлянина», то есть в нашем доме. Вот откуда и пошло знакомство мое с Екатериной Викторовной Гошкевич.

В книге Гончарова «Фрегат «Паллада» упоминается эта фамилия. Гошкевич плыл на этом корабле, по-видимому, как и Гончаров, в составе дипломатической миссии. Проклинал ли он море, как автор «Фрегата «Паллады», или восхищался «свободной стихией», как Пушкин, не знаю. Но потомок его или однофамилец жил в Киеве в то время, когда известный художник В. М. Васнецов расписывал Владимирский собор. Это было примерно в 1885—1886 годах.

Васнецов работал над изображением Богоматери, писавшимся на стене, что за алтарем, почему она и называется Запрестольная. Эта киевская Мадонна прекрасна. И по-видимому, легко была создана творческим вдохновением художника. Но для Младенца он искал натуры. И, если верить киевской легенде, Васнецов нашел ее в семье Гошкевича, в лице его маленькой дочери.

Таким образом, Предвечный Младенец, сияющий своими всевидящими очами со стены киевского храма, в какой-то мере был навеян девушкой, которая со скукой в красивых глазах смотрела на меня.

К сожалению, я этого не знал, когда глупо сидел на вершине глупой лестницы. Если бы знал, то соскочил бы вниз и, переступив через все условности, спросил бы барышню в упор:

— Знаете ли вы, с кого писал Васнецов Младенца, что во Владимирском соборе?

И если бы она ответила «знаю», а она не могла этого не знать, то «дружбою у нас бы кончиться могло бы».

Но я не знал и не спросил.

Не вышло дружбы, а в конце концов «прочел я столько злобы в ее измученных глазах, что на меня напал невольный страх...»

Но это в конце концов, а сейчас мы только у начала.

Семья Гошкевич распалась. Быть может, внутренний ее смысл был только в том, чтобы появилась на свет Божий девочка, вдохновившая художника...

Затем отец уехал в Херсон, где он издавал какую-то левоватую газету. Мать осталась в Киеве. Имея некоторое медицинское образование, она стала акушеркой. Я видел ее в том возрасте, когда, пожалуй, женщину еще нельзя назвать старухой. Она была сухая, тонкая, в лице ее сохранились следы красоты, строгой, но совершенно не божественной. Отца я никогда не видал. Но Екатерину Викторовну видел, не только сидя на лестнице. Она бывала иногда в нашем доме, то есть в «киевлянинской» семье.

Но не только мне (допустим, ко мне она была особенно равнодушна), но никому не удавалось нарушить выражения величественной скуки на этом молодом лице. Даже Катя, моя жена, которая могла бы расшевелить мертвого, терпела здесь неудачу.

Катя, между прочим, прекрасно декламировала иные стихотворения. Однажды она читала из Надсона, и мне это запомнилось:

*И когда на охоте, за пышным столом,
От лица именитых гостей,
Встал прекраснейший рыцарь
И чашу с вином
Поднял в честь королевы своей,
И раздался в лесу вдохновенный
Привет,
Светлый гимн красоте и венцу, —
Королева едва улыбнулась в ответ,
Не промолвив и слова певцу.*

Вот такую скучающую королеву напоминала эта двадцатилетняя девушка, хотя королевой она не была.

Кем же она была в то время? Машинисткой у одного киевского нотариуса. Она получала двадцать пять рублей в месяц, имела только одно приличное платье, и притом черное. Почему же она так гордилась и так скучала? Потому, что она была больше, чем королева, она была Васнецовское дитя.

Я не думаю, что в Екатерине Викторовне сознательно таилось убеждение о каком-то своем превосходстве над другими людьми. Это было, скорее, только чувство, но основано оно было на легенде, связанной с Васнецовым.

Для нее это не была легенда. Этот рассказ мог исходить только от матери, естественно так гордившейся тем, что дочь увековечена на стене собора. Девочка, подрастая, невольно впитывала преклонение матери перед чудесной дочкой. Так должно было быть.

Татьяна Дмитриевна Ларина чувствовала себя на своем месте «в тиши забытого селенья», но судьба беспощадно бросила ее в блистательную столицу. Но Екатерина Викторовна не хотела довольствоваться скромной долей машинистки у киевского нотариуса и поднималась по социальной лестнице не только по желанию судьбы, но и собственным произволением. Не Пушкин, а Лермонтов предсказал ее долю:

*В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.*

Одной из этих пальм была Екатерина Викторовна.

*Без пользы в пустыне росли и цвели мы...
Ничей благосклонный не радуя взор ..*

Впрочем, в эти трудные времена был один взор, который взирал на пальму с нескрываемым восхищением.

* * *

У пятилетнего мальчика были красивые глаза и длинные ресницы. Слишком длинные. Поэтому иногда из детской доносился жалобный крик: «Ресницы!»

И все взрослые умели эти слишком длинные ресницы вытаскивать из-под век, куда они забирались. Прошло десять лет. Глаза остались красивыми, ресницы длинными, но теперь последние вели себя пристойно.

Пятнадцатилетний подросток имел успех там, где взрослые терпели поражение. Ему удалось расшевелить скучающую красавицу. Она улыбалась в ответ на веселые дерзости своего не очень робкого пажа. Губы смеялись, но красивые глаза выражали обожание. Смелость и почтительность. Чего еще надо?

* * *

Однако выдвинуло ее в люди черное платье. Оно было изящным контрастом на вечерах, где она бывала. Благородная тень, в противовес безвкусуному богатству!

Это были вечера благотворительные. Там, где хотели помочь нищете, роскошь была совершенно неуместна. *La dame en noir* (дама в черном) привлекала внимание. Некоторые думали, что она в трауре. Этого не было, но могло быть. В этом случае это был бы траур по мертвым душам.

Как бы там ни было, но Екатерина Викторовна бывала на благотворительных вечерах не для того, чтобы развлекаться. Она тут зарабатывала деньги, но не для себя, а для бедных. Просто бедных или бедных студентов. Богатых студентов было совсем мало.

Некоторые из них на своих шинелях носили белую шелковую подкладку и их называли белоподкладочниками. Я мог бы быть одним из них, но дух этой золотой молодежи мне не нравился. Однако именно «белые подкладки» с бантом на груди были распорядителями на благотворительных вечерах.

Главная масса студентов состояла из бедных и на благотворительных вечерах не присутствовала. Что такое в то время был «бедный студент»? Так как я лично был студентом состоятельным, то меня товарищи по курсу выбрали членом некоей коллегии, которой было поручено составить список бедных студентов, то есть нуждающихся в помощи. Втроем мы обошли много квартир и опросили сотню студентов. Пришли к выводу: если студент получает от родителей или зарабатывает уроками двадцать пять рублей в месяц, то его надо считать достаточно обеспеченным, в помощи он не нуждается.

Студентам, получающим меньше, доплачивали до двадцати пяти рублей из средств, отпускаемых казной или благотворительными обществами. По крайней мере, так было в политехникуме. При университете же Святого Владимира издавна существовало «Общество помощи недостаточным студентам». Одним из источников этого общества были благотворительные вечера.

На красиво декорированной эстраде *la dame en noir* (дама в черном) продавала шампанское в ряду других дам, часто разодетых, но не всегда красивых. Продажа около черного платья шла бойко. Очевидно, эта строгая девушка, редко кого дарившая улыбкой, нравилась. Около нее толпились стар и млад.

Шампанское продавалось бокалами. Цены не было. Меньше пяти рублей, мне кажется, не давали. Десять рублей считалось ценой приличной. Но улыбка, насколько помню, дарилась двадцатипятирублевым жертвователям. Сторублевики сверх улыбки получали ласковое «благодарю», сопровождаемое сиянием васнецовских глаз.

Это, пожалуй, было даже трогательно.

Быть может, трогательной показалась эта красивая девушка

в черном, поблагодарившая от имени бедных и одного молодого поляка, помещика не без средств. Ведь она, подумал он, и сама бедна. По окончании вечера он попросил разрешения отвезти ее домой ввиду очень скверной погоды.

Шел дождь со снегом. Она согласилась. В экипаже с закрытым верхом темновато, но когда уличные фонари заглядывают внутрь, красивые глаза сияют. Они что-то обещают и в то же время отказывают. Она простилась с ним на пороге «киевлянинского» дома. Он поцеловал ручку в белой перчатке. Больше ничего? А что еще надо? Он узнал, где она живет.

* * *

*Он ездить стал к тебе,
Почтительный влюбленный...*

Машинистка киевского нотариуса не принадлежала к кругу княгинь и графинь, о которых писал Алухтин. Но она всей душой стремилась туда. Пока что она полюбила молодого поляка, красивого, ласкового, почтительного. Он сделал ей предложение. Она его приняла. Но...

*Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте...*

Мать жениха объявила сыну, что она проклянет его и его жену, если он женится на русской. Напрасно он доказывал, что Гошкевичи, в сущности, польская фамилия, только обрусевшая, мать не согласилась. И Ромео отступил.

Джульетта тяжело перенесла этот разрыв, и сердце ее наполнилось ядом. Мстить! Она отомстила тем, что вышла замуж. Избранник был ничуть не хуже неверного поляка. Молодой, красивый, богатый помещик, имевший на Полтавщине две с половиной тысячи десятин.

Он принадлежал к малороссийской аристократии. Его предок 8 января 1654 года подписал постановление Переяславской Рады о воссоединении Руси Киевской с Московской. Кроме того, он, Владимир Николаевич Бутович, был на хорошей дороге — 16 декабря 1907 года его причислили к Министерству народного просвещения.

В звании инспектора народных училищ молодые богатые люди начинали свою карьеру. Это было звание почетное, а служба интересная. Объезжая школы, такой инспектор знакомился не только с ними, но и с деревней вообще, узнавал ее нужды и мог быть ей

полезен, в особенности если он, как Бутович, имел прямой доступ к генерал-губернатору обширного Юго-Западного края.

Мсть была свершена блестяще. Бывшая машинистка теперь была любима, богата и знатна.

Однако ни богатство, ни знатность, ни сладость мести не дали Екатерине Викторовне счастья. И по очень простой причине: она своего блестящего мужа не любила. Не полюбила она и ребенка, который у них родился. Она скучала, как прежде. В богатой полтавской усадьбе не было для нее ни света, ни тепла. И честолюбие, временно удовлетворенное, проснулось в ней снова.

*И стали три пальмы на Бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»*

Нет! Не так. В данном случае, то есть об Екатерине Викторовне Бутович, надо сказать иначе:

*И только замолкли — завыл бури вой.
От моря до неба встал смерч роковой.
И смерч тот схватил обреченный челнок,
О скалы разбить его яростно влек,
Но пал, обессилев, на желтый песок,
Где смыл отпечаток Божественных ног.*

Этот смерч — 1905 год. Обреченный челнок — царская Россия. Желтый песок — пляж Биаррица.

«Отпечаток Божественных ног» сказано потому, что много позже в известном французском курорте на побережье Атлантического океана — Биаррице — умерло Васнецовское дитя, но об этом речь впереди.

2. Азор

Осенью 1904 года командующий войсками Киевского военного округа и генерал-губернатор Юго-Западного края, известный русский ветеран генерал М. И. Драгомиров был уволен на почетный покой. Место командующего 23 октября 1904 года занял его помощник, пятидесятишестилетний генерал-лейтенант Владимир Александрович Сухомлинов. Он вступил на этот пост нака-

нуне 1905 года, ставшего суровым испытанием для Российской державы.

Казалось бы, все ответственные лица, административные и военные деятели, должны были бы быть на местах в это тяжелое время. Но почему-то новый командующий войсками предпочел взять заграничный отпуск и уехал, если не ошибаюсь, в фешенебельный курорт на юго-западе Франции, в департаменте Нижние Пиренеи, Биаррицу.

Там, конечно, была туча иностранцев, хотя русских не так много. Однако через некоторое время генерал узнал, что одна его соотечественница и даже киевлянка тоже находится на курорте. Он познакомился с нею. Это была Екатерина Викторовна Бутович, урожденная Гошкевич.

Она была одна, без мужа. Здесь произошло то, что Бунин изобразил в своем рассказе «Солнечный удар». Генерал с места влюбился в прекрасную киевлянку. Потом он рассказывал своим друзьям, что это произошло потому, что она до удивительности напоминала ему его первую жену, урожденную баронессу Корф.

Хотя я и упомянул о бунинском «Солнечном ударе», но это был удар односторонний, то есть ударило генерала, а Екатерину Викторовну на ту пору пощадило. Она была слишком гордая дама, чтобы идти на сомнительную авантюру без достаточных оснований.

Первые известия о беспорядках в Киеве застали Сухомлинова во Франции. В апреле 1905 года он получил уведомление о назначении его киевским генерал-губернатором. Таким образом, снова произошло слияние ведомств — военного и гражданского, разделившихся с уходом Драгомирова.

«Мой въезд в Киев, в роли генерал-губернатора, происходил вне обычных рамок, — рассказывает Сухомлинов. — То, что я увидел, было ужасно: разбитые окна магазинов, заколоченные двери и ворота, на мостовой — остатки товаров, там и сям — лужи крови. Я понял всю серьезность выпавшей на мою долю задачи... и то личное одиночество, в котором находился».

В ноябре 1905 года в Киеве разразился так называемый «саперный бунт». Это происшествие только бегло, в нескольких словах, изложено в фильме «Перед судом истории», в котором мне пришлось участвовать.

Там, в последней сцене, я встречаюсь с одним из старейших большевиков Ф. Н. Петровым, который и был «устроителем» этого бунта. Однако в диалоге со мной он называл его не бунтом, а «революцией 1905 года». Подробно все эти происшедшие в Киеве события описаны мною тогда же под свежим впечатле-

нием в очерке «Саперный бунт», который вошел в мою книжку под заглавием «Недавние дни», изданную в 1913 году в Харькове.

Поэтому здесь я на этом не останавливаюсь и перехожу к изложению дальнейшего.

Так или иначе, Владимир Александрович продолжал сидеть в Киеве на своем посту, и жизнь начала приходить в норму. Тогда это называли «глубокой реакцией». Мы называли это несколько иначе. Во всяком случае, наступил относительный покой.

А поскольку наступил покой, то Владимир Александрович мог заняться и своими личными делами. Он нанес визит Екатерине Викторовне и ее супругу, приехав в их имение на Полтавщине. Таким образом, завязались отношения. Он стал ездить к Бутовичам довольно часто.

Екатерина Викторовна, конечно, видела, что генерал влюблен, но, быть может, тогда у нее еще не было никаких планов, как отнестись к этому чувству человека уже в годах. Владимир Александрович родился в 1848 году. Нельзя сказать, чтобы он был красив. Впрочем, в гусарском мундире он был представителен. Но этого еще недостаточно для того, чтобы молодая, красивая женщина воспылала к нему чувствами.

А Владимир Николаевич Бутович, ее супруг, пока что смотрел на эти частые визиты благосклонно, не видя в них ничего дурного. Может быть, он даже был польщен, что такой видный сановник к нему зачастил. Но далее дело пошло серьезнее. Владимир Александрович стал вести себя не так, как надо было в его все-таки ответственном положении. Правда, это была совершенно интимная жизнь, но у людей, стоящих высоко, интимной жизни нет. Все становится известным.

Например, стал известен и случай, который очень повредил генерал-губернатору в глазах его подчиненных. Побывав у Бутовичей, он ехал домой, то есть в Киев, полный мыслей о прекрасной даме и даже о ее собаке. Это была обыкновенная собака, хорошая собака. Хозяйка ее любила больше, чем мужа. А называлась собака Азор.

Вообще в этом имени, Азор, есть нечто странное. Если прочесть это слово с конца, то выходит роза. Но этого мало. Напишите фразу: «А роза упала на лапу Азора». Прочтите ее справа налево, и выйдет то же самое.

Едучи в вагоне, генерал-губернатор и командующий войсками Киевского военного округа, быть может, повторял, улыбаясь: «А роза упала на лапу Азора».

Кончилось же это тем, что на одной станции генерал приказал своему адъютанту отправить телеграмму на имя Екатерины Викто-

ровны. И не нашел ничего лучшего, как подписать эту нежную телеграмму для вящей конспирации собачьей кличкой — Азор. Разумеется, на следующий день все стало известно, сначала в военных кругах, а затем во всем городе.

С другой стороны, Владимир Николаевич, супруг Екатерины Викторовны, начал уже понимать, куда клонится дело. Он нахмурил брови. В конце концов ему сказали все прямо, и Екатерина Викторовна потребовала у мужа развода.

Позже, значительно позже, я сблизился с Владимиром Николаевичем. Он говорил мне так:

— Я бы дал развод, пусть уходит, куда хочет. Но когда Владимир Александрович Сухомлинов, генерал-губернатор и командующий войсками, пробовал мне угрожать, требуя развода, я вспомнил, что мой предок Бутович подписал решение Переяславской Рады. Бу-то-ви-ча-ми не командуют, хотя бы Сухомлиновы, и им не угрожают. И я ответил отказом: не дам развода!

Эти слова Владимира Николаевича подтверждает по «личным впечатлениям» биограф Сухомлинова В. А. Апушкин:

«Сухомлинову шел уже шестой десяток лет, когда он увлекся женой киевского помещика В. Н. Бутовича. Она была вдвое моложе Сухомлинова и стала добиваться от мужа развода. Последний всячески противился. Он хотел вызвать Сухомлинова на поединок, но «не нашел секундантов»...

При личном объяснении с Сухомлиновым хотел его ударить, но «не попал». Сухомлинов угрожал Бутовичу высылкой из Киева на основании правил об усиленной охране, грозил сумасшедшим домом...

«Роман» генерал-губернатора и все его перипетии получили широкую огласку в киевском обществе и компрометировали Сухомлинова».

6 декабря 1906 года командующий войсками Киевского военного округа был произведен в генералы от инфантерии, а через десять дней зачислен по армейской кавалерии, с переименованием в генералы от кавалерии и получил звание «почетного старика» Богоявленской станицы области Войска Донского.

Екатерина Викторовна покинула дом супруга, переехав к генерал-губернатору.

Вот как он сам описывает свою резиденцию в Киеве: «В нижнем этаже находились — большая зала, гостиные, столовая, приемная, кабинет и гардеробная комната с ванной. На верхнем — жилые комнаты, спальни.

Вся усадьба обнимала семь десятин, большую часть фруктового сада. В последнем было огромное дерево грецкого ореха, дававшее несколько пудов крупных плодов. Две кухни, зимняя и летняя,

прачешная, конюшня, сараи, парники, оранжерея и вся совокупность хозяйственных построек среди зелени превращали дом в настоящую загородную усадьбу.

На окраине ее находился овраг, в котором было несколько ключей. Это дало мне мысль запрудить его. Возведена была прочная плотина, и получился глубокий пруд, в целую десятину, с двумя островками. Купальня, пристань для двух лодок, домик с двумя черными лебедями на пруде, в который пущено было много рыбы, павильон для трапез в саду и фонтан перед ним, — дополняли изображение о жизни вне города.

Действительно, никакой дачи не требовалось, ибо в обычные летом жаркие дни в Киеве в усадьбе дышалось хорошо. Рыбное население пруда так расплодилось, что завелись даже хищные, желтые крысы, охотившиеся на карпов. Жили они в норках по берегу и свободно плавали, имея перепонки на лапках, как у плавающих птиц.

Для меня получалась двойная охота: из монтекристо на крыс и на удочку — на карпов, отдельные экземпляры которых доходили уже до десяти фунтов веса».

Вот в эту-то приготовленную для нее усадьбу и вошла новой хозяйкой бывшая скромная машинистка киевского нотариуса. Собака Азор, вероятно, последовала за нею, а может быть, осталась у оскорбленного мужа.

«А роза упала на лапу Азора».

3. Скеттинг-ринг

Произошло событие поистине поразительное, а именно: жандармы Киева, исполняя свою службу, доносили в Петербург, что командующий войсками Киевского военного округа окружен шпионами. Называли и главного из них — австрийского подданного Александра Альтшиллера. Частые отлучки его в Вену и в Берлин, близость с австро-венгерским консулом и орден Франца Иосифа, полученный Альтшиллером неизвестно за какие заслуги перед Австро-Венгерской монархией, дали основание контрразведке взять его под наблюдение как вероятного шпиона.

Только дружба Альтшиллера с Сухомлиновым, в доме которого он считался своим человеком, мешала окончательному его разоблачению. Прокурор Киевской судебной палаты Кукуранов говорил, что он не понимает, как могло случиться, что Альтшиллер принят в доме командующего войсками округа, в распоряжении которого должны иметься компрометирующие «друга Сухомлинова» агентурные сведения.

Но никто и ничто не могло поколебать дружбы генерал-губернатора с Альтшиллером. Вместе с ним он ездил за границу, запросто играл в карты, «по небольшой», и говорил, что в его обществе «время для него идет незаметно». Альтшиллеру был открыт полный доступ в кабинет Сухомлинова. Он мог на свободе рыться там в его бумагах. В присутствии Альтшиллера просили не стесняться в разговорах, хотя бы речь касалась и военных тем, — «он ведь свой человек, при нем все можно!»

* * *

В декабре 1908 года на имя генерала от кавалерии В. А. Сухомлинова последовал высочайший рескрипт следующего содержания:

«Владимир Александрович. Высоко ценя ваш обширный служебный и боевой опыт по прежней вашей деятельности на должностях Генерального штаба, я признал необходимым, для пользы дела, поручить вам ответственный пост начальника Генерального штаба.

Вместе с тем изъявляю вам искреннюю мою признательность за труды ваши по командованию и боевой подготовке войск Киевского военного округа и по управлению Юго-Западным краем в должностях командующего войсками сего округа и Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора. Пребываю к вам неизменно благосклонный».

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано: «и благодарный Николай».

«В Царском Селе 2 декабря 1908 года».

А через месяц В. А. Сухомлинов получил высочайшее соизволение на присвоение ему звания почетного гражданина города Киева.

* * *

Не полагаясь на свою память, привожу в дополнение некоторые воспоминания генерал-майора Владимира Александровича Апушкина. Он был назначен Временным правительством 15 марта 1917 года на должность главного военного прокурора, а через два дня избран членом Чрезвычайной следственной комиссии, где специально занимался военным отделом, допрашивал Сухомлинова. Кроме ознакомления с секретными документами Апушкин неоднократно встречался с бывшим военным министром, многое слышал лично от него. Поэтому его краткая биография «генерала от поражений» представляет собою документальную ценность.

Вот что рассказывает Апушкин о времени появления В. А. Сухомлинова в столице, в связи с его новым назначением:

«Бутович, вконец измученный преследованиями Сухомлинова, обманутый симуляцией покушения на самоубийство своей жены, дал ей согласие на развод. Началось бракоразводное дело. Появились «достоверные лжесвидетели и лжесвидетельства» супружеской неверности Бутовича.

Разгадав обман своей жены, вырвавшей у него согласие на развод, возмущенный возводимыми на него обвинениями, Бутович взял свое согласие обратно и возбудил дело о лжесвидетельстве...

С грузом этого неприятного дела на плечах Сухомлинов и явился в Петербург, сразу став здесь в двусмысленное, ложное и тягостное положение.

Только один петербургский салон открыл ему и госпоже Бутович двери. Это был салон госпожи В., одной из тех милых, бойких, с добрым сердцем женщин, которые любят устраивать чужие дела, считают себя вправе говорить что думают и пренебрегают условностями света. Она сама была в двусмысленном положении, будучи женой сенатора, но не живя с ним, а находясь в долголетней связи с генералом М.

В ее небольшой гостеприимной квартире собиралось самое разнообразное общество. Здесь встречались и знакомились нужные друг другу люди, здесь сватали, женили, выдавали замуж, покровительствовали романам, проводили на службу, выводили в люди. Здесь на Сухомлинова смотрели как на восходящее светило, и потому он и госпожа Бутович были приняты радушно, находили здесь поддержку и сочувствие и знакомились с закулисной и интимной стороной жизни петербургского «большого света».

Так что, как видите, Сухомлинову было не до государственной обороны России. Ему надо было покончить с бракоразводным делом своей будущей жены. Последнее принимало благодаря упрямству и настойчивости Бутовича все более и более грозный для его жены и Сухомлинова оборот. Отвратить его, привести к благоприятному исходу могла только высочайшая воля, а заслужить ее могла только приятность и угодливость монарху. К завоеванию расположения последнего Сухомлинов и направил все свои усилия.

* * *

Тогдашний военный министр, генерал от инфантерии Александр Федорович Редигер, занимавший этот пост с 1905 года, был

человек честный, почтенный, трудолюбивый и деловой, но с тяжелым, сухим умом, канцелярски-деловой речью, с некрасивым лицом, лишенный всякой светскости. Государь тяготился им, так как не полюбил его долгих, обстоятельных докладов, но не знал, как заменить.

Слухи об отставке военного министра возникли еще в 1908 году. Они совпали с пребыванием в Петербурге Сухомлинова. Живой, поверхностный, игривый ум, скользящий по предметам, бойкая речь, меткие словечки, светские манеры, приятная готовность выполнить все, что угодно Его Величеству, угадывание, что именно угодно и что — нет, делали из Сухомлинова интересного и остроумного собеседника царя. Новый начальник Генерального штаба являл собою полный контраст генералу А. Ф. Редигеру. Замена нашлась.

И вот 11 марта 1909 года будущий супруг Екатерины Викторовны вступил в управление Военным министерством.

* * *

Вспомним теперь елку для детей наборщиков и разносчиков газеты «Киевлянин». Ее украшали два лица, совершенно никому неизвестные. Я говорю о широком мире. Но хотя одно из них, то есть Екатерина Викторовна, было убийственно равнодушно к другому, то есть к Василию Витальевичу, однако обозначился некий параллелизм в их судьбе. Почти одновременно они стали подниматься по лестнице, не той лестнице, на которой я глупо сидел верхом, а по лестнице социальной.

Она, выйдя замуж за военного министра, оказалась в Петербурге большой дамой, хотя и не всеми почитаемой. Я стал членом Государственной Думы, нередко взбирался на кафедру, и потому меня знала если не вся Россия, то все политиканы, читающие газеты.

Однако мы с ней в Петербурге не встречались до некоего дня. Словом, мы встретились с ней совершенно неожиданно на Скеттинг-ринге.

* * *

Тут надо сказать, что такое был Скеттинг-ринг на Марсовом поле. Был другой Скеттинг-ринг, там, где-то на Каменноостровском. Там бегали только мальчишки, неистово грохоча на деревянном полу в облаках пыли. Но нечто совершенно другое было на Скеттинг-ринге на Марсовом поле. Тут, в некоторые будни, когда на треке было почти пусто, вы могли встретить аристократию.

Я видел там однажды Великого князя Дмитрия Павловича, стройного офицера, внука Императора Александра II и двоюродного брата Государя. Говорили, что он ухаживает за некоей Лазаревой. Во всяком случае, он бегал с нею, как полагалось, перекрестив руки. Это была пара, которая могла нравиться тем, кто любил изящное. Была ли Лазарева красива? Пожалуй. Во всяком случае, одевалась хорошо. В лице ее было нечто... Оставим это.

* * *

В Государственной Думе я влачил довольно печальное существование. На думу взирала вся Россия, но, в конце концов, это была только глухая провинция. В каком смысле? Дело в том, что мы были совершенно оторваны от блестящей столицы, — не было времени.

Например, за десять лет я был в опере не больше трех раз. В балете не был совсем, даже не видел знаменитого «Лебединого озера». Точно так же и в драме. Единственное, что я себе позволял, это на полчаса пойти в какой-нибудь кинематограф или на Скеттинг-ринг на Марсовом поле.

В воскресенье тут была толкучка. Я забегал иногда выпить стакан чаю, но навсегда запомнил одно белое перо, чудо природы. Вот говорят, что эфир совершенно свободно проходит через воздух. Так и эта «незнакомка». О ней можно сказать словами Александра Блока:

Всегда без спутников, одна...

А каким образом у нее могли быть спутники, ежели она проскользывала в толчее с головокружительной быстротой, где никто, кроме нее, не мог двигаться? Перо здесь, перо там. В глазах рябит от непроходимой толкучки тяжелых, «весомых» людей обоего пола, а она мчится, бестелесная, с космической быстротой.

Так было по воскресеньям. А в будни было пусто, и тогда я забегал на полчаса, чтобы размять брэнное тело, совершенно изнывавшее от вечного сидения в «курульных» креслах.

И вот в такой будний день я увидел красивую даму, окруженную изящными молодыми офицерами. Она меня узнала и приветливо улыбнулась. Первый раз в жизни.

Разумеется, я приблизился. Она протянула мне руки, и мы побежали по треку, как и полагается.

Я сказал:

— Елку для наборщиков и разносчиков помните?

— Еще бы. Но как все переменялось. Что ваш племянник?

— Здесь. Он учится в Академии художеств. Скульптор, по композиции получает первые категории.

— Он всегда был способный мальчик. Как все это далеко и как хорошо!

Мы сделали круг, я понял, что этого довольно, и сдал ее молодым адъютантам мужа.

Но это было не все.

4. Зазор

Вернемся к тому времени, когда безобидный Азор, точно в метаморфозах Овидия, превратился в неприятное чудовище, прибавив только одну букву «З». И родился Зазор.

Так как Владимир Николаевич Бутович категорически отказался дать развод, то новоназначенный военный министр совместно с Екатериной Викторовной решил прибегнуть к средствам совершенно неблагоприятным и даже зазорным.

Как известно, официальная причина развода при церковном браке, собственно говоря, только одна: супружеская неверность, прелюбодеяние. При джентльменском разводе, даже когда виновна жена, муж обыкновенно принимал вину на себя. Для мужчины это не такой уж позор, если его обвинят или он сам признается в прелюбодеянии. Мало ли что бывает в жизни! Но на женщину это, конечно, кладет клеймо. По крайней мере, так было раньше.

Однако Владимир Николаевич, претерпев столько угроз высокого сановника и обманов своей жены, не пожелал принять на себя несуществующую вину. Тогда Екатерина Викторовна сама обвинила его в прелюбодеянии. Но с кем? Ведь надо было указать, если можно так выразиться, объект прелюбодеяния. Сухомлиновы и указали...

У Бутовичей был сын. Когда мальчик подрос, для того, чтобы он овладел языками, к нему взяли гувернантку, француженку из Парижа. Прожив некоторое время в доме Бутовичей, гувернантка вернулась на родину. И вот будущее супружество Сухомлиновых решило, что самое удобное обвинить именно эту девушку в прелюбодеянии с Владимиром Николаевичем. Кто там будет проверять в Париже!

Так и сделали. При посредстве лжесвидетелей супругов Бутовичей развели. По истечении некоторого времени Екатерина Викторовна вышла замуж за Владимира Александровича Сухомлинова, ставши супругой военного министра великой державы.

И вот тут-то, казалось, в момент завершения и торжества их неправого дела, и разразился неслыханный скандал.

* * *

На Западе внимательно следили за Россией, в особенности за такими лицами, как военный министр. И вдруг в газетах, смаковавших бракоразводное дело Екатерины Викторовны, появилось сообщение, что такая-то француженка, имярек, обвинена в Петербурге в прелюбодеянии, с таким-то, то есть с Владимиром Николаевичем Бутовичем.

Можно представить себе все возмущение и негодование этой девушки, которую иностранный военный министр опозорил на весь свет! Чтобы защитить свою честь, она потребовала ни более ни менее как медицинского освидетельствования. Врачи удостоверили, что мадемуазель такая-то не могла совершить прелюбодеяния ибо она девица.

Не удовлетворившись этим, энергичная парижанка обратилась к правительству с заявлением, в котором обвиняла русского военного министра В. А. Сухомлинова и его новую жену в возведении на нее поклепа. Она просила правительство Франции принять соответствующие меры для восстановления ее поруганной девичьей чести.

Французское правительство приказало своему послу в России сделать все необходимое. Французский посол обратился к русскому министру иностранных дел С. Д. Сазонову, а последний переговорил об этом деле с министром юстиции И. Г. Щегловитовым. Таким образом, министр юстиции должен был в соответствующем порядке начать судебный процесс против военного министра В. А. Сухомлинова. Возможно ли это, чтобы министр восстал против министра в одном и том же правительстве, возглавляемом В. Н. Коковцовым?

Все это в высшей степени волновало Государственную Думу, но пока мы воздерживались от выступлений с кафедры. Однако произошло еще нечто, переполнившее чашу терпения. Дело о В. А. Сухомлинове было выкрадено из Министерства юстиции. Компрометирующие военного министра документы бесследно исчезли. Всем было ясно, что кража произошла по наущению самого Сухомлинова и его супруги Екатерины Викторовны.

* * *

Тут Дума просто забурлила, и в такой степени, что теперь уже надо было рычать с кафедры.

Вот как реагировал на это событие один из видных кадетских лидеров, присяжный поверенный Василий Алексеевич Маклаков, во время обсуждения доклада бюджетной комиссии по смете расходов Министерства юстиции 2 мая 1912 года на сто двадцать втором заседании пятой сессии Государственной Думы третьего созыва:

— Мы знаем об одном громком бракоразводном процессе, о той неправде, которая была сделана в нем. Но этому мы не удивляемся: наши иерархи сами скорбят о несовершенстве бракоразводного дела, они знают сами, что без обмана, без лжи, без подлогов там ничего не делается. И если даже такие подлоги перешли границы дозволенного, то все же эта вещь в порядке этого учреждения и мы не удивляемся.

Мы знаем и другое, что, когда собирали доказательства для консистории, тогда найти и доказать нужную для процесса вину явились сотрудники Министерства внутренних дел начальник Киевского жандармского отделения полковник Н. Н. Кулябко и убийца П. А. Столыпина агент Киевского охранного отделения Д. Г. Богров. Мы знаем, что это они потащили В. Н. Бутовича туда, где можно было констатировать его «вину». Опять-таки к деятельности охранного отделения мы привыкли и этому не удивляемся.

Но когда мы узнали, что явился человек, оклеветанный этим процессом, явилась женщина, имя которой опозорено, и подала жалобу на военного министра, обвиняя его в том, что он создал эту неправду, что он причина лжесвидетельства в этом процессе, что же сделало Министерство юстиции?..

Когда жалобщик, надеясь на правосудие, ища и требуя этого правосудия, принес и отдал в руки прокурора документ, которым устанавливалась неправда лиц, высоко стоящих, что с ним сделали? Дело это истребовано Министерством юстиции, и компрометирующие документы там пропадают. Мы знаем, что была сделана попытка свалить все на границу. Их туда будто бы отправили, и они оттуда не вернулись.

Я заявляю с сознанием ответственности за то, что сейчас говорю, что это неправда, что есть описи, которые позволяют это опровергнуть, что документы за границу не уходили. Документы остались здесь, в Министерстве юстиции. И пусть теперь министерство скажет, куда оно их дело?»

Но министерство не сказало, хотя его представитель И. Г. Щегловитов, выступивший сразу после Маклакова, говорил много в свое оправдание, но оправдаться не смог, закончив свое выступление оригинальной фразой, звучащей двусмысленно: «Следуй по своему пути. И пусть люди говорят что хотят».

В особенности негодовала по поводу этого дела наша фракция русских националистов, полагая, что всеми этими скандалами наносится ущерб российской нации. Но кто же должен был выступить от ее имени? Мои товарищи не придумали ничего лучшего, как поручить это мне, несчастному.

Напрасно я доказывал, что мне это крайне неудобно, что у меня личные отношения с Екатериной Викторовной, что она жила у нас в доме, что, наконец, я ее очень хорошо знаю. Ничто не помогло, мне ответили: «Именно потому, что вы ее хорошо знаете, вам и надлежит говорить».

И я пошел говорить. На этот раз кафедра Государственной Думы действительно показалась мне истинной Голгофой.

В этот день, 4 мая 1912 года, в Думе продолжалось обсуждение бюджета Министерства юстиции. Поскольку на прошлом заседании с большой речью по этому вопросу выступил В. А. Маклаков, то мне пришлось с ним полемизировать, критикуя опасные политические выпады кадетского лидера, стремящегося внести яд сомнений в психологию правительства и тех партий, которые его поддерживают. Неприятное для меня дело Екатерины Викторовны я откладывал на конец. Но час пробил, и мне пришлось приступить к тяжкому исполнению своих обязанностей.

— Есть одна вещь, — сказал я, — совершенно особенно стоящая, которой коснулись все ораторы, но которой я бы коснулся, если бы они и не коснулись, — это именно нашумевшее бракоразводное дело «Сухомлинов — Бутович». Вы, господа, могли убедиться, что мы не настроены враждебно к правительству, наоборот, мы всегда его поддерживали. Насколько это допускала наша совесть...

Однако нужно сказать, что есть вещи, на которые мы никогда не согласимся. И вот в этом деле и пропаже документов, — причем я оговариваюсь, мне кажется, что Министерство юстиции тут ни при чем, — в этом деле есть одна страшная вещь, эта вещь состоит в следующем. Не то ужасно, что документы украли, а то, что их выгодно было украсть, и то, что тот, кому выгодно было это сделать, как говорит молва, тот стоит на такой высоте, на какой только может стоять русский сановник.

Вот эта вещь, по-моему, ужасна. Но еще ужаснее то, что, быть может, молва ошибается, быть может, этот человек, этот русский министр, этот военный министр, чего я от всего сердца желаю, быть может, он ни к чему подобному даже тени прикосновения не имеет. Но ужасно тут то, что тень падает все же не без основания. и не без основания потому, мы все это знаем, что эту тень бросает несправедливое, нехорошее дело, которое совершилось и которое оправдать нельзя, — закончил я под продолжительные аплодис-

менты справа, обращаясь к министру юстиции, сидевшему в двух шагах от меня.

По окончании заседания он подошел ко мне и сказал:

— Я прекрасно понял, о чем вы говорили...

Больше он ничего не прибавил, пожав мне руку. Это означало, что министр И. Г. Щегловитов также считает такие деяния недопустимыми.

* * *

Каков же итог того, что произошло? Итог таков: два министра одного и того же правительства разноречат и даже более того. Ведь все понимали в чем дело.

Если бы существовал нормальный порядок, то министр юстиции должен был бы привлечь военного министра к ответственности по подозрению в краже важных документов, но он этого сделать не мог. Значит, кража осталась безнаказанной.

Это было началом той великой анархии, которая обозначилась перед крушением империи. Когда убили Распутина, то уже не кража, а убийство осталось безнаказанным. Это был конец. Власти больше не существовало. Вот почему так знаменательны сказанные тогда пророческие слова: «Выстрел в Распутина убил Россию».

* * *

После моего выступления 4 мая 1912 года в Государственной Думе я получил письмо, полное горьких упреков, от супруги военного министра, Екатерины Викторовны. Как я мог это сделать?! Ведь я ее хорошо знал. Она жила у нас в доме, и все прочее, в том же духе.

Все это была правда, но ведь я ее имени не называл. Я говорил, так сказать, теоретически. А если она отозвалась, то, значит, узнала самое себя, и вышло по французской пословице: «*Qui se excuse, s'accuse*», то есть: «Кто оправдывается, тот себя уличает».

Под «ужасным человеком» подразумевался ее первый муж, Владимир Николаевич Бутович. По-видимому, вторая часть письма состояла только из восклицаний, а не из фактов, потому что факты я бы запомнил. Был ли на самом деле Владимир Николаевич ужасным человеком, я так и не узнал, но что он был глубоко несчастным, — это я видел собственными глазами.

Тяжелая супружеская драма сделала его подлинным маньяком. Он потерял способность говорить и интересоваться чем бы то ни было, кроме своей жены. Если она утверждала, что он ужасный че-

ловек, то он твердил, что она ужасная женщина. Кто прав, кто виноват — судить не нам. Разногласия между супругами, как это показывает семейная трагедия Толстых, может разделить весь мир на две половины — одну за Льва Николаевича, другую за Софью Андреевну.

Но в данном случае мир не разделился. Слишком уж цинично были попорчены закон и правда. И я, конечно, думаю, что Екатерина Викторовна виновата перед Владимиром Николаевичем. Она пошла за него не любя, только для того, чтобы отомстить человеку, которого любила.

Мне кажется совершенно ясным, что она Владимира Николаевича просто и за человека-то не считала. А он? Чем он был виноват, что ее первый роман был неудачен? Но что в этом отношении женщины невменяемы — общеизвестно.

Екатерина Викторовна поступила с Владимиром Николаевичем безобразно, но к своему второму мужу — старику без кавычек, Владимиру Александровичу, — она отнеслась по-человечески и даже милосердно, как будет видно из дальнейшего.

А Бутович, предок которого подписал решение Переяславской рады, не оказался на высоте малороссийской аристократии. Ибо Малая Русь установила закон весьма разумный и гуманный, а именно: «Баба з возу, коням легче».

В самом деле, зачем Владимир Николаевич ставил препятствия жене, которая его не любила? Ведь, уходя от него, она делала ему подарок более ценный, чем обручальное кольцо.

5. Мясоедовщина

Когда назначенный начальником Главного управления Генерального штаба генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов перебрался в Санкт-Петербург, вместе с ним потянулась и шпионская клика во главе с Альтшиллером, окружавшая его в Киеве. Мои сведения об этом исходили от гласного Киевской городской думы, журналиста, сотрудничавшего в «Киевлянине», члена Государственной Думы Анатолия Ивановича Савенко. Он имел по этому поводу исчерпывающий разговор с киевскими жандармами. Но независимо от этого были сведения и из другого источника.

Александр Иванович Гучков завязал прочные связи с петербургскими офицерами, преимущественно молодыми, которые указывали ему на всевозможные недочеты русской армии. Вот от них-то Гучков и получил совершенно те же сведения о шпионском окружении Сухомлинова. Это подтверждает и биограф неза-

дачливого генерала В. А. Апушкин, рассказывая интересные подробности об Альтшиллере, следовавшем за Сухомлиновым как тень.

По приезде в Петербург их близость стала еще более тесной. Альтшиллер открыл здесь фиктивную контору Южно-Русского машиностроительного завода. Фиктивную, потому что денежных операций в ней не производилось, кассовые книги не велись, посетителей по делам завода не бывало, зато контору посещали какие-то сомнительные личности. В ней имелась почтовая бумага «высокого качества», с австрийским государственным гербом. На бланках конторы Альтшиллера Сухомлинов писал черновики своих бумаг по бракоразводному делу. А в деловом кабинете Альтшиллера на письменном столе стоял портрет военного министра Сухомлинова с дружескою надписью.

Заведовать отделением своей конторы Альтшиллер пригласил Николая Михайловича Гошкевича, двоюродного брата Екатерины Викторовны. До приезда ее в Петербург коллежский секретарь Гошкевич занимал скромное место столоначальника в Министерстве торговли и промышленности и в тяжбе супругов Бутович был на стороне Владимира Николаевича, исполняя различные его поручения. Однако после свидания с кузиной он резко изменил свою позицию, и жена его стала в бракоразводном деле Екатерины Викторовны свидетельствовать против Бутовича. Пользуясь своей близостью к военному министру, Гошкевич предложил фирме войсковых пособий В. А. Березовского организовать поставку ружей для «потешных», обещая, что через Сухомлинова он устроит их покупку военным ведомством.

Через Альтшиллера кузен Екатерины Викторовны сблизился с неким Василием Думбадзе, выдававшим себя за племянника известного ялтинского градоначальника. Представляясь страстным почитателем военного министра, Думбадзе предложил написать его биографию. Польщенный Сухомлинов передал через Гошкевича своему будущему биографу перечень мероприятий по военному ведомству с 1909 года по март 1914 года, содержащий данные секретного характера, касающиеся планов будущей войны.

Заручившись содействием доверчивого и легкомысленного военного министра, Думбадзе задумал пробраться в Германию и там, прикинувшись врагом России, стремящимся освободить Кавказ от русской власти, выведать у германского правительства созданный им план организации смуты на окраинах империи. Сухомлинов доложил о затее Думбадзе государю и получил его согласие на выезд шпиона в Германию.

Несмотря на данные контрразведки управления Генерального штаба, компрометирующие личность Думбадзе, и двукратное

предупреждение военного министра начальником Генерального штаба генералом от инфантерии М. А. Беляевым, Сухомлинов не внял этим предупреждениям, и Думбадзе уехал. Вернулся он в Петроград в день отставки военного министра, 12 июня 1915 года, привезя с собой из-за границы значительную сумму денег и отчет о своей поездке. Рассмотренный особой комиссией офицеров Генерального штаба, этот отчет был признан неправдоподобным, а его автор — германским шпионом. Думбадзе вместе с другими своими соратниками — Гошкевичем, его «близким знакомым» Веллером и артиллерийским капитаном Ивановым, «проявлявшим стремление участвовать, пользуясь покровительством Сухомлинова, в комиссиях и совещаниях секретного характера», был предан суду и осужден за государственную измену.

* * *

Что же делал патрон этой шпионской клики агент Австрии Альтшиллер? Как передает В. А. Алушкин, издатель и владелец крупного военно-книжного склада В. А. Березовский позвонил однажды по телефону в кабинет военного министра и попросил к аппарату Сухомлинова.

— Я у телефона...

Узнав по голосу Альтшиллера, Березовский повесил трубку.

В качестве «интимного друга» Альтшиллер присутствовал при опытах сношения военного министра по беспроволочному телеграфу. Он внушил Сухомлинову мысль об изменении направления стратегической железной дороги, которая должна была соединить прямым путем Петербург с Константинополем. По настоянию военного министра направление дороги было изменено так, чтобы она пролегла по землям члена австрийского рейхстага графа Потоцкого. Этим изменением чрезвычайно облегчалась осведомленность Австрии через посредство Потоцкого обо всем касавшемся дороги. Кроме того, огромная сумма денег должна была пойти в карман австрийца за отчуждение земли.

Все это происходило в то время, когда контрразведка Киевского военного округа, перехватывавшая корреспонденцию, шедшую от австрийских агентов из Петербурга в Вену, неоднократно сообщала в столицу, что Альтшиллер является главой шпионов. Эти шпионы действительно были прекрасно осведомлены обо всем, что делалось в ближайшем окружении военного министра, вплоть до его разговоров с Царем.

В 1913 году Альтшиллер неожиданно стал ликвидировать свои дела в России и в марте 1914 года уехал за границу, оставив в Петер-

бурге двух своих сыновей. Когда началась война, Сухомлинов усиленно хлопотал о невысылке детей своего друга в отдаленные губернии.

* * *

В салоне госпожи В., которая так радушно встретила чету Сухомлиновых, когда они приехали из Киева в столицу, произошла в 1909 году встреча военного министра с человеком, сыгравшим роковую роль в его жизни. Это был германский шпион, полковник Сергей Николаевич Мясоедов, за здоровье которого в 1905 году Император Вильгельм II поднимал бокал на обеде в своем имении. В то время Мясоедов служил начальником пограничного Вержбовского отделения жандармского полицейского управления Варшавской железной дороги.

Заподозренный в шпионаже в пользу Германии, с пограничными властями которой он был тесно связан, Мясоедов был переведен во внутренние губернии, но скоро покинул службу и образовал вместе с осужденными впоследствии за государственную измену Самуилом и Давидом Фрейдбергами акционерное общество Северозападного пароходства для перевозки грузов и эмигрантов в Гамбург и Америку. «Полезная» деятельность этого общества, председателем которого сделался Мясоедов, вызвала подозрение и специальное расследование Министерства внутренних дел.

Хотя Мясоедов жил, что называется, на широкую ногу, но, не будучи связан теперь с полицейскими и военными кругами, он был лишен возможности быть в курсе таких сведений, какие ему были необходимы для передачи куда следует. Поэтому-то в салоне госпожи В. его представили Сухомлинову с просьбой предоставить ему подходящее местечко.

От услужливого, льстящего ему человека военный министр никогда не отказывался, но, как ему ни хотелось принять к себе на службу шпиона, это оказалось не так-то легко сделать.

Департамент полиции представил Сухомлинову официальный доклад о падавших на Мясоедова подозрениях в шпионской деятельности. Когда же военный министр этим пренебрег, то товарищ министра внутренних дел, заведующий департаментом полиции А. А. Макаров дважды предупредил его об опасности приблизить к себе лицо с таким темным прошлым.

Но, как мы видели раньше, Сухомлинов ни с чем не считался для достижения намеченной цели и исполнения своих желаний. Так и здесь, он прибегнул к испытанному уже средству, исходя из личного опыта, что для угодливости и лести все двери открыты.

Чтобы пресечь все сразу противодействия, он обратился за разрешением принять Мясоедова к себе на службу прямо к монарху, и, конечно, получил таковое немедленно.

Шпион снова был зачислен в корпус жандармов с откомандированием в распоряжение военного министра, с которым сразу сблизился. Желая внушить к своему новому другу доверие со стороны опасавшегося его начальника генерального штаба, Сухомлинов послал с ним в штаб чрезвычайно важные секретные военные протоколы соглашений с Францией.

Жена Мясоедова также подружилась с Екатериной Викторовной. Обе супружеские пары ездили вместе за границу и жили там в Карлсбаде. Новый, 1911 год Сухомлиновы встречали на квартире Мясоедовых в присутствии многочисленных гостей. Один из гостей обратил внимание на то, что за ужином хозяин все время переводил разговор с министром на военные темы. Адъютант Сухомлинова полковник Булацель, получив от Мясоедова приглашение на тот же ужин, отклонил таковое, заявив Екатерине Викторовне, что с такими людьми он дела не имеет.

Подобное отношение к Мясоедову было распространено у многих, знавших военного министра. Не раз его предупреждали о подозрительном поведении его нового друга, но все было напрасно, даже после начатой А. И. Гучковым в печати и Государственной думе кампании против Мясоедова. Такое упорство Сухомлинова, возможность не считаться ни с общественным мнением, ни с настояниями официальных лиц, занимавших достаточно ответственные посты, объяснялось тем, что он был непоколебимо уверен в поддержке и расположении к себе Государя. В этом он не ошибался.

Поговаривали также, будто военный министр нравился Императрице Александре Федоровне тем, что умел развлекать неизлечимо больного наследника престола, умел забавлять его разными детскими играми.

Поэтому-то, несмотря на все творившиеся в военном ведомстве безобразия и крайне отрицательное к нему отношение обоих наших премьеров — и П. А. Столыпина, и сменившего его В. Н. Коковцова, — он так прочно чувствовал себя в кресле военного министра.

Как рассказывал Владимир Николаевич, смертельно раненный в Киеве П. А. Столыпин вызвал его к себе и завещал доложить государю о необходимости замены Сухомлинова «ввиду сумбура в его ведомстве».

— Наша оборона, — сказал Столыпин, — в руках человека неподходящего, ненадежного, неумеющего внушить к себе уважения.

Тогда же в Киеве и председатель Государственной думы М. В. Родзянко прямо в лицо сказал Сухомлинову, что считает его на посту военного министра вредным для России.

Это было в самом начале сентября 1911 года, а через три месяца, 6 декабря, последовал высочайший указ о назначении генерал-адъютанта и генерала от кавалерии Владимира Александровича Сухомлинова членом Государственного Совета.

А. И. Гучков так объяснял удивлявшую всех незыблемость супруга Екатерины Викторовны на посту военного министра, несмотря на сенсационные скандалы и компрометирующие разоблачения, сопровождавшие его деятельность:

«Сухомлинов во всех министерских составах был самым влиятельным членом Кабинета. Это объясняю тем, что он умел подойти ко всем слабостям Государя, умел волновать и радовать его своими докладами, потворствовать всем его капризам, ублажать его так, как никто не ублажал. Все свои дарования он направил к завоеванию личности монарха и эту личность полонил целиком».

* * *

В связи с Сухомлиновым необходимо сказать несколько слов о главном его противнике Александре Ивановиче Гучкове, фигуре весьма значительной.

Он происходил из именитого старообрядческого купечества и родился в Москве в 1862 году.

Дед его, Федор Алексеевич, выходец из крепостной деревни, основал в Москве в 1789 году суконную мануфактуру, ставшую впоследствии крупной фабрикой, на которой уже в 1853 году работали тысяча восемьсот пятьдесят рабочих. Отец и дядя, Иван и Ефим Федоровичи, являлись членами и учредителями Московского купеческого банка.

Старший брат Александра Ивановича, Константин, возглавил семейную фирму, основанную в 1859 году, — «Торговый дом Гучков Е.Ф. и сыновья» и был членом совета двух московских банков.

Другой брат, Николай Иванович, занимал место председателя Русско-Американской торговой палаты, являясь в то же время членом правления и директором ряда крупных московских предприятий: Товарищества московского металлического завода (Гужон), Московского акционерного общества вагоностроительного завода, двух сахарных заводов, химического и других. С 1906 по 1913 год он был городским головой Москвы.

Александр Иванович получил очень хорошее образование, прекрасно говорил по-французски и имел изящные манеры, приобретенные им от матери, по происхождению француженки.

Известность он получил давно, а именно — со времени окончания англо-бурской войны, когда согласно подписанному в Претории 31 мая 1902 года мирному договору Трансвааль и Оранжевая Республика лишились независимости и были превращены в английские колонии. Значительная часть русского общества в то время осуждала Англию за эту войну и была на стороне буров. Нападки на Англию в особенности поддерживала газета «Новое время». В вульгарном смысле это настроение выразилось в знаменитой формуле: «англичанка гадит».

Хотя Александр Иванович не принадлежал к этому вульгарному направлению, он был свободолюбив по природе и несколько авантюристичен по характеру. Словом, он отправился добровольцем в Южную Африку, поступил там в армию буров и был тяжело ранен в ногу, оставшись хромым навек.

С тех пор у него сохранился повышенный интерес к армии, к армии вообще и к русской в особенности, хотя он совершенно не был военным и никаких чинов не имел.

В политическом смысле Гучков выдвинулся в 1905 году, когда обратился к Царю с просьбой заключить мир и созвать Земский собор. Тогда он очень решительно заступился за честь нашей армии, которую многие, не разбираясь ни в чем, хулили. Александр Иванович, работавший во время русско-японской войны в Красном Кресте, говорил, что если и виновны некоторые руководители армии, то сама она ни в чем не виновата, а, наоборот, заслуживает благодарности и восхищения, ибо при страшно трудных, тяжелых условиях героически сражалась на Дальнем Востоке.

10 ноября 1905 года А. И. Гучков вместе с другими лидерами меньшинства земскогородских съездов, П. А. Гейденем и Д. Н. Шиповым, опубликовал воззвание об организации партии октябристов — «Союза 17 октября». В мае 1907 года его, как представителя от торговли и промышленности, избрали членом Государственного Совета, но в октябре он отказался от этого высокого звания и был избран в третью Государственную Думу.

Когда Николай Алексеевич Хомяков 6 марта 1910 года сложил с себя полномочия председателя третьей Думы, на его место 8 марта двумястами одним голосом против ста тридцати семи был избран А. И. Гучков. Свой интерес к армии он не утратил и за время своей деятельности в думе, с кафедры которой выступал не раз с резкой критикой военного министерства.

15 марта 1911 года он ушел с поста председателя Думы в знак протеста против проведенного П. А. Столыпиным закона о земстве в западных губерниях, а 8 ноября 1911 года фракция октябристов избрала его своим председателем.

После военного поражения в 1915 году вся деятельность Гучкова сосредоточилась главным образом на улучшении боеспособности нашей армии. Вновь избранный членом Государственного Совета, он вошел в Особое совещание по обороне, образованное 10 августа 1915 года по инициативе Государственной думы и военно-промышленных комитетов и пополненное представителями законодательных учреждений и общественных организаций. Кроме того, участвуя в Прогрессивном блоке, Гучков одновременно председательствовал в Центральном военно-промышленном комитете, который регулировал деятельность промышленности для нужд войны.

Наконец, когда произошла Февральская революция, то по инициативе Александра Ивановича состоялась его с В. В. Шульгиным поездка на рассвете 2 марта 1917 года во Псков за отречением императора Николая II, о чем подробно рассказано в книге «Дни» и в фильме «Перед судом истории».

В первом составе Временного правительства, просуществовавшем до 2 мая 1917 года, Гучков занимал пост военного и морского министра. В 1918 году он эмигрировал в Берлин, активно выступая за границу против Советской власти, с которой примириться не мог. В эмиграции Александр Иванович и умер в 1936 году, в возрасте семидесяти четырех лет.

Таков был человек, который безбоязненно выступил с открытой борьбой против могущественного в то время Сухомлинова, закончившейся в конце концов поражением военного министра.

* * *

Когда 1 ноября 1907 года открылась третья Государственная Дума, еще свежи были раны, нанесенные нам в русско-японской войне. Созданная 15 ноября 1907 года в Думе специальная комиссия по государственной обороне, председателем которой был избран А. И. Гучков, ставила себе целью возродить военную мощь империи, а для этого прежде всего нужно было вскрыть причины, приведшие к военной катастрофе и продолжавшие разъедать военное ведомство.

Поэтому, еще до назначения Сухомлинова военным министром, Гучков неоднократно выступал с суровой и беспощадной критикой существовавших в руководстве армии беспорядков и безобразий.

В своей большой речи на первой сессии Думы, когда А. И. Гучков выступал 27 мая 1908 года в качестве докладчика по общей смете Военного министерства, он прежде всего указал на бюрократ-

тизм, нигде не свивший себе такого прочного гнезда, как в военном ведомстве.

— Канцелярия заполнила все, — говорил он, — из высших центральных военных управлений она проникла в местные управления, в воинские части и там умертвила энергию, убила живой дух, заглушила чувство ответственности. Она производила в армии ту разрушительную работу, которая наложила свою печать на все области нашей общественной и государственной жизни.

Затем он отметил необходимость омоложения армии и недостаточность нашего вооружения. Имевшийся комплект пулеметов был «до смешного мал», в полевой артиллерии отсутствовали гаубичные батареи, а принятые патроны и снаряды «совершенно не отвечали новым условиям войны». Особенно беспокоило докладчика отсутствие достаточного количества офицеров, «некомплект» которых принимал по ряду причин угрожающие размеры.

Говоря о безответственных лицах в руководстве армии, Гучков напомнил, что высочайшим рескриптом от 5 мая 1905 года был образован постоянный Совет государственной обороны во главе с Великим князем Николаем Николаевичем, поставленным над военным министром.

Состоявший из многочисленной коллегии высокопоставленных лиц, этот Совет явился серьезным тормозом в деле реформы и всякого улучшения государственной обороны. Кроме того, власть военного министра обессиливал и обезличивал равноправный и равнозначный ему начальник Главного управления Генерального штаба, сформированного высочайшим повелением 25 июня 1905 года.

Дезорганизация, граничащая с анархией, водворившаяся в связи с троевластием в военном ведомстве, усугублялась тем, что руководящие посты находились в руках Великих князей, оказывавших сильнейшее влияние на армию. Так, должность генерал-инспектора всей артиллерии занимал Великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектора инженерной части — Петр Николаевич, а главным начальником военно-учебных заведений был Великий князь Константин Константинович.

В силу высокого положения Великих князей их нельзя было критиковать, нельзя было указывать на те случаи, когда они поступали неправильно.

Новое поражение России, которое пророчески предсказывал Гучков, явится не просто потерянной кампанией, уступленной территорией или заплаченной контрибуцией, а тем ядовитым укусом, который сведет в могилу нашу родину. И если мы считаем себя обя-

занными требовать от народа тяжелых жертв на дело обороны, «то мы вправе обратиться и к тем немногим безответственным лицам, от которых мы должны потребовать отказа от некоторых земных благ и радостей тщеславия, связанных с занимаемыми ими постами. Этой жертвы мы вправе от них ждать».

Конечно, «безответственные лица» не откликнулись на этот призыв. Все понимали его тщетность, но речь Гучкова отвечала настроению значительной части думы, поэтому слова оратора были покрыты продолжительными, бурными рукоплесканиями слева, из центра и отчасти справа и возгласами: «Браво, правильно!»

* * *

Когда слухи об окружении военного министра шпионами стали подтверждаться, А. И. Гучков резко и прямо заявил об этом в комиссии по государственной обороне. При этом он назвал главного из этой шпионской клики — полковника Мясоедова, который, по словам Гучкова, был очень близок к военному министру, что являлось совершенно недопустимым и опасным для империи. Эта речь лидера октябристов произвела на всех огромное впечатление.

Кроме того, в «Вечернем времени» появилась статья Б. А. Суворина, указывающая, что в разведке и контрразведке неблагополучно и наши военные тайны легко просачиваются за границу. Одновременно с этим Гучков опубликовал в «Новом времени» беседу, в которой подтверждал статью Б. А. Суворина и называл имена шпионов, пригретых и опекаемых военным министром.

Ни у кого не вызывало сомнений, для чего нужен был Мясоедову Сухомлинов. Но возникал вопрос: для чего военному министру нужен был человек, приносивший ему столько неприятностей и подозрений?

Дело в том, что, вступив в должность военного министра, Сухомлинов задумал создать особую организацию военного политического сыска для разбора дел о политической неблагонадежности в армии, особенно среди офицерства. Этим он хотел угодить государю, наглядно показав свою преданность престолу и ретивость в борьбе с революцией, чтобы еще более упрочить свое положение перед лицом многочисленных и могущественных врагов.

По мысли Сухомлинова, всеми делами этой охранки должен был ведать особо доверенный штаб-офицер для поручений при военном министре, а в качестве местных органов в состав штаба каждого военного округа назначались штаб-офицеры из отдель-

ного корпуса жандармов. Этой новой военной жандармской организации было поручено участвовать и в контрразведке, то есть в борьбе с иностранным шпионажем. Расширение прав сухомлиновской системы политического сыска в армии было закреплено особым циркуляром военного министра от 24 марта 1910 года за № 982, разосланным во все штабы военных округов.

Так вот, на должность «особо доверенного штаб-офицера при военном министре», в руках которого должны были быть сосредоточены все дела нового аппарата, и был назначен Мясоедов. Вот для чего он был нужен Сухомлинову. Шпион стал во главе организации, которая должна была бороться со шпионажем! И действительно, на первых же порах военный министр поручил Мясоедову расследовать одно политическое дело в Виленском военном округе.

Предоставим слово А. И. Гучкову (по стенограмме сообщения, сделанного им в Москве 20 апреля 1912 года) о деле с полковником Мясоедовым:

«...Циничная беспринципность, глубокое нравственное безразличие, ветреное легкомыслие в связи с материальной стесненностью и необходимостью прибегать к нечистоплотным услугам разных проходимцев и, наконец, женское влияние, которое цепко держало Сухомлинова в рабстве, — все это делало его легкой добычей ловких людей... Русский военный министр — в руках банды проходимцев и шпионов, накануне европейской войны, к которой готовится лихорадочно, с величайшим напряжением, Германия со своей союзницей, — такова была картина, раскрывавшаяся передо мною... Само собою разумеется, что я не мог оставаться равнодушным. Я решил бороться и довести дело до конца...»

После выступления в печати Гучков обратился к председателю комиссии государственной обороны князю И. И. Шаховскому с предупреждением, что им будет внесен запрос в ближайшем заседании комиссии по делу военного министра. Князю Шаховскому удалось убедить Сухомлинова лично явиться в комиссию для дачи необходимых объяснений. Это произошло 19 апреля 1912 года. Гучков выступил с перечислением обвинительных пунктов, в которых он указал, в каких ненадежных руках находится дело контрразведки, насколько осведомленными в наших военных тайнах являются германский и австрийский Генеральные штабы, закончив свою речь резким осуждением системы политического сыска, введенной в армию Сухомлиновым.

«Растерянности военного министра после моих слов, — рассказывает Гучков, — не было предела. Последовал какой-то жалкий лепет.

— Такого циркуляра не существует, — попробовал сперва оправдаться военный министр.

На это я протянул ему через стол экземпляр циркуляра.

— Но ведь этот циркуляр не применяется, он выдохся... — объяснил Сухомлинов.

Ему резонно заметили, что раз циркуляр не отменен, то, само собой разумеется, он применяется в тех аттестациях, в которых решается вопрос о судьбе и чести нашего офицерства. Военный министр закончил обещанием, что указанный циркуляр будет им отменен...

— В тот же день, — продолжает Гучков, — меня посетили два офицера в качестве секундантов полковника Мясоедова. Они потребовали от меня опровержения тех обвинений, которые я выставил против Мясоедова в своей беседе в «Новом времени». Когда я им отказал в этом, заявив, что я не опровергну того, что считаю правдой, они передали мне вызов на дуэль. На это я им ответил, что я мог бы отказаться от дуэли, ибо считаю Мясоедова человеком бесчестным, но что, раз военный министр находит возможным сохранить на нем погоны русского полковника, я вынужден признать за ним право на удовлетворение».

Дуэль состоялась 22 апреля 1912 года. Гучков был ранен в руку. Когда же он, с рукой на перевязи, вернулся в Таврический дворец, то Государственная Дума устроила ему бурную овацию, в которой принимали участие, кажется, все — и правые, и левые.

Итак, Государственная Дума устраивает овацию человеку, объявившему, что полковник Мясоедов шпион и при этом находится в самых близких, дружественных отношениях с военным министром. Что же последовало дальше? Подал ли военный министр в отставку? Был ли он уволен? Было ли начато против него какое-либо дело? Нет. Военный министр остался спокойно сидеть в своем кресле, как будто бы ровно ничего не случилось. Это было продолжением той анархии, которая началась после смерти П. А. Столыпина.

Но теперь дело было еще хуже. Военному министру прямо объявили, что он окружен шпионами. Но, не опровергнув это и не наказав «клеветников», его оскорбивших, он преспокойно остался на своем месте. Это была анархия, полная анархия в рядах правительства. Итак, дело шло дальше...

* * *

Я сказал, что военный министр остался спокойно сидеть в своем кресле. Это не совсем верно. Он все-таки забеспокоился и по-

спешил в Царское Село, где обвинил перед Царем своего помощника генерала от инфантерии Алексея Андреевича Поливанова в сочувствии к Думе и в том, что он доставлял А. И. Гучкову нужные сведения для разоблачения там военных тайн. Как и ранее, жалоба царского любимца была тотчас же удовлетворена. Генерал А. А. Поливанов в апреле 1912 года был смещен, а на его место назначен дряхлый и совершенно невежественный в вопросах государственного масштаба генерал Александр Петрович Вернандер. Этот человек был не опасен для Сухомлинова, но в сочетании с ним опасен для России.

Генерала А. А. Поливанова ценили как неутомимого, честного работника, с обширными знаниями, искренно расположенного к народному представительству и преданного делу возрождения армии. Его авторитет стоял высоко и заслонял бездельника — военного министра. Поэтому увольнение Поливанова было вызовом Государственной Думе со стороны Сухомлинова.

На этот вызов Дума ответила большой речью А. И. Гучкова, выступившего на пятой сессии 7 мая 1912 года в качестве докладчика при обсуждении сметы Главного артиллерийского управления, с целым обвинительным актом против военного министра.

Мы должны были признать, что численностью артиллерии немцы вдвое сильнее нас. У нас почти отсутствовали тяжелые полевые и осадные орудия. Выяснилась полная архаичность и обветшалость крепостной артиллерии. В течение пяти-шести лет из-за рутинности, бюрократизма и дезорганизации военное ведомство не сумело снабдить армию гранатами и в достаточном количестве пулеметами.

Докладчик предложил Думе следующую формулу перехода к очередным делам:

«Признать, что состояние материальной части артиллерии и деятельность Главного артиллерийского управления, особенно в деле снабжения нашей армии предметами, изготовление коих возложено на это управление, представляют серьезную опасность для государственной обороны».

В заключение он сказал:

«Комиссия признает, что реорганизация этого дела, борьба с этим закоренелым бытовым злом, видимо, не по силам тем лицам, которые стоят во главе этого ведомства. Мы обращаемся через головы представителей этого ведомства к тем, на ком лежит действительно тяжкая ответственность за оборону нашего отечества, безопасность нашу...»

Поверьте, чаша переполнена! Другого способа, кроме крика негодования и голоса протеста, уже не остается...»

Разъяснения пожелал дать новый помощник военного министра генерал А. П. Вернандер. Вот несколько его слов, характеризующих эти «разъяснения»:

«Высочайшей волей я назначен на пост помощника военного министра. Я не настолько знаком со сметами Военного министерства, чтобы дать те ответы, которые, быть может, Государственная Дума потребует. Я надеюсь, что Государственная Дума найдет совершенно естественным, если вместо того чтобы я отвечал лично, как это и следовало бы, будут отвечать за меня люди, участвовавшие в составлении сметы. Будет отвечать начальник канцелярии Военного министерства, а в случае специальных вопросов, в которых и он, может быть, не совсем ориентирован, — начальники отделов Военного министерства».

Тут раздался голос: «А где военный министр?»

Ответа не последовало.

В своем докладе начальник канцелярии Военного министерства генерал-майор Николай Александрович Данилов обошел все острые вопросы деятельности его ведомства, подвергшиеся разоблачению и критике. Может быть, именно потому, что он «не совсем был ориентирован»? Начальники же отделов вообще не появились.

Речь А. И. Гучкова объединила в негодующем протесте все фракции думы, признавшей дальнейшую бездеятельность военного министра опасной для страны. Особенно ярко это выразил октябрист Герман Германович Лерхе:

— Господа, этот доклад является колоссальным, тяжким обвинением военного министра в страшном бездействии власти, и что же мы услышали в ответ на этот доклад? Мы услышали ответ начальника канцелярии по всему, но кроме того, что нас интересовало. Нам товарищ военного министра сказал, что он не успел ознакомиться со сметами. Что же, господа, военный министр — он тоже не успел ознакомиться? Он успел только путешествовать по всей России. *(Рукоплескания в центре, справа и слева, голоса: «Верно!»)*

Господа, пускай военный министр нас презирает, мне до этого никакого дела нет, но ведь этот доклад читался армией, читался Россией, и ведь военный министр не может нам, всей России, ответить на то, почему действительно в будущую войну русскому солдату и русским офицерам придется платить своей кровью за бездействие министра. *(Продолжительные рукоплескания.)*

Так ответила Государственная дума Сухомлинову. А что же он? Он потребовал ее обуздания. С этого понедельника, 7 мая 1912 года, Дума, Гучков и Поливанов делаются для него заклятыми врагами. Он предчувствовал, что гибель его здесь.

Какова же была дальнейшая судьба полковника Мясоедова после того, как он ранил на дуэли Гучкова? В конце концов военному министру все же пришлось расстаться со своим любимцем. Министр внутренних дел А. А. Макаров прислал ему официальное письмо, уведомлявшее, что, поступив к нему на службу, Мясоедов не порвал сношений с изобличенным секретным сотрудником Германского Генерального штаба Денцером. Но, и уволив Мясоедова, Сухомлинов сохранил свое к нему благоволение, продолжая, где мог, покровительствовать ему.

Даже когда началась война, он заявил официально, что с его стороны нет никаких препятствий к допуску Мясоедова в ряды действующей армии, куда он и отбыл и где нашел свой бесславный конец. Верховный главнокомандующий, Великий князь Николай Николаевич, приказал арестовать Мясоедова и предать суду. Военно-полевой суд при Варшавской крепости, признав его виновным в шпионаже и мародерстве во время войны, приговорил 18 марта 1915 года бывшего полковника Сергея Николаевича Мясоедова к повешению. Приговор был приведен в исполнение.

Позже говорили, что суд был как будто не совсем независимым, но я не имею для суждения об этом личных данных.

Когда же Сухомлинов узнал об аресте Мясоедова по обвинению его в шпионаже, то записал в своем дневнике: «Бог наказал этого негодяя за шантаж и всякие гадости, которые он пытался мне устроить за то, что я его не поддержал».

6. Снаряды

Здесь я должен сказать несколько слов о Великом князе Николае Николаевиче, внуке Императора Николая I, родившемся 6 ноября 1856 года. Между ним и Сухомлиновым развивалась глухая вражда. Началась она давно, еще до того, как супруг Екатерины Викторовны стал военным министром.

В то время Великий князь Николай Николаевич занимал пост председателя Совета государственной обороны. Зная неуживчивый, тяжелый характер Великого князя, его вспыльчивость и грубость, Сухомлинов предвидел трудности в лавировании между ним и Государем, в случае если он будет военным министром.

Кроме того, Великий князь Николай Николаевич находился в личных дружественных отношениях с начальником Главного управления Генерального штаба генералом Ф. Ф. Палицыным, не подчиненным военному министру и наравне с ним имевшим право личного доклада монарху по вопросам государственной обороны.

Словом, в военном ведомстве царило то троевластие, которое в Государственной Думе подвергалось такой суровой критике А. И. Гучковым, видевшим в нем главную причину дезорганизации армии. Без сомнения, он никак не мог предвидеть, что вскоре появится бравый генерал, которому и Великие князья не помеха и который сумеет очень быстро вернуть военному министру единовластие, присущее его высокому сану.

И вероятно, еще менее того мог предвидеть Гучков, что это единовластие попадет в руки человека, который совсем развалит снабжение армии. А это именно и произошло, когда началась война.

Теперь же, когда Сухомлинов стремился сесть в министерское кресло, ему очень не нравилось иметь в лице генерала Ф. Ф. Палицына, близкого к Великому князю, своего соглядатая и критика. Поэтому, пользуясь благорасположением к себе Государя, он приложил все усилия, чтобы уничтожить существовавшее в военном ведомстве троевластие.

Это удалось ему очень легко, так как его желание совпадало с желанием Царя, недолюбливавшего Великого князя Николая Николаевича. 16 июля 1908 года Государь уволил его с поста председателя Совета государственной обороны. В ноябре же по распоряжению монарха был отстранен от должности и генерал Ф. Ф. Палицын, а на его место, как я уже говорил, начальником Генерального штаба Государь назначил Сухомлинова. Это была последняя ступенька к министерскому креслу. Как вспоминает граф С. Ю. Витте, «Сухомлинов уничтожил комитет обороны и спихнул Великого князя, так что в течение года — полутора он совсем потерял влияние на Государя...»

Понятно, какие чувства за эту акцию мог испытывать Великий князь Николай Николаевич к Сухомлинову!

Кроме того, их взаимная вражда питалась еще и соперничеством. Оба они были кавалеристами и приложили большие усилия для того, чтобы русская кавалерия находилась на высоте. Великий князь Николай Николаевич, бывший с 1895 года генерал-инспектором кавалерии, очень подтянул ее. Нужно отдать ему должное, что именно он дал армии прекрасных лошадей. Как это ни странно звучит, но в то время русские кавалеристы сидели на кровных «англичанках». Когда началась война, я близко видел действие кавалерии. Она была очень высоко поставлена, но, к сожалению, применения ее на фронте почти не было.

Сухомлинов также занимался усовершенствованием нашей кавалерии. Около двенадцати лет, с 1886 по 1898 год, он руководил высшим кавалерийским учебным заведением в Петербурге — офицерской кавалерийской школой, а затем принял командование над 10-й кавалерийской дивизией, расквартированной в Харькове, Сумах, Ахтырке и Чугуеве.

В 1900 году Сухомлинов был назначен начальником штаба округа генерала М. И. Драгомирова в Киеве. В связи с этим близ Чугуева под открытым небом состоялась прощальная трапеза с офицерами дивизии. Они решили оказать своему командиру особую честь. Проводив его до станции, офицеры распростились с ним. Когда же поезд тронулся, то смотревший в окно Сухомлинов увидел, что почти все провожавшие его на полевом галопе эскортируют салон-вагон, в котором он ехал. Верхом они следовали за все ускоряющим свой ход поездом, перепрыгивая через все препятствия на тропинке, вьющейся вдоль железнодорожного пути. Так офицеры дивизии сопровождали его поезд, не отставая, до первого полустанка на расстоянии около пяти верст. При этом никто из них не упал, и ни одна лошадь не была загнана. Несомненно, это был хороший аттестат для кавалерии в смысле ее продвижения.

Однако я, вспомнив этот эпизод, уклонился от главной темы — снарядов.

* * *

Наступила война. Великий князь Николай Николаевич был назначен верховным главнокомандующим армии, а Сухомлинов остался военным министром. Как это было возможно? Как можно было на двух самых ответственных постах во время войны иметь одновременно лиц, уже давно открыто враждовавших между собой? Но так именно было.

Между тем в день начала войны, 19 июля 1914 года, военный министр записал в своем дневнике: «В Петергофе при докладе Государь сказал мне, что предполагает меня назначить верховным главнокомандующим».

Французский посол Морис Палеолог пишет по этому поводу: «Сухомлинов уже давно добивался высокого поста главнокомандующего и был взбешен тем, что ему предпочли Великого князя Николая Николаевича. К несчастью, этот человек, который будет за себя мстить...»

Как известно, вскоре после начала военных действий в армии не хватило снарядов. Я был в это время на фронте. Отсутствие снарядов производило на меня удручающее впечатление. Наши позиции немцы крыли ураганным огнем, а мы в ответ молчали. Например, в той артиллерийской части, где я работал, было приказано тратить в день не более семи снарядов на одно полевое трехдюймовое орудие.

Это, естественно, вызывало большой гнев в рядах армии, подозрения в чем угодно. Настроение и боевой дух солдат падали. Тогда

уже созрели зерна революции, разразившейся позже. Из армий и с фронтов неслись к военному министру требования: «Снарядов, снарядов, снарядов!»

Это был вопль отчаяния. Мысль о снарядах занимала всех.

Начальник снабжения армий Юго-Западного фронта телеграфировал 28 августа 1914 года в Ставку: «Бой напряженный по всему фронту. Расход патронов чрезвычайный. Положение отчаянное. Помогите!»

Начальник штаба Верховного главнокомандующего Н. Н. Янушкевич на другой день, 29 августа, сообщал Сухомлинову: «Во избежание патронного голода со всеми его последствиями Верховный главнокомандующий требует полного напряжения деятельности к разрешению этой задачи государственной важности... Безотлагательная помощь необходима... Без патронов нет победы».

А тем временем вопли с фронта продолжали нестись.

Наместник Кавказа граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков сообщил 25 октября 1914 года с Кавказского фронта: «При малочисленности Кавказской армии сила огневого действия заменяет количество войска, потому недостаток патронов поставит армию в безвыходное положение».

А главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-адъютант Н. В. Рузский доносил 25 ноября 1914 года: «У главного начальника снабжения нет ни одного парка...»

Генерал Н. Н. Янушкевич, называвший вопрос патронов и ружей «кровавым», писал в это время Сухомлинову из Ставки Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича:

«Волосы дыбом становятся при мысли, что по недостатку патронов и винтовок придется покориться Вильгельму... На участке одного из полков немцы выпустили 3000 тяжелых снарядов... Снесли все. А у нас было выпущено едва 100... В 12-м корпусе семь дивизий в составе 12 000 штыков. Нет винтовок, и 150 000 стоят без ружей...»

Кабинет военного министра засыпался подобными депешами. Как же он реагировал на них? Вот несколько отрывков из его дневника за эти тревожные дни, лихорадившие всю страну.

Когда после катастрофы у Сольдау последовало спешное отступление из Восточной Пруссии 1-й армии под командованием генерала П. К. Ренненкампа, Сухомлинов записал 6 сентября 1914 года: «Интересно знать, уцелел ли значок Скобелева, который Ранненкампу привез князь Белосельский-Белозерский».

Через неделю он пишет: «А. И. Гучков распускает слухи о недостатках снарядов в армии. Плохая услуга давать такие данные нашему противнику».

Еще через неделю, когда военный министр сопровождал Царя в его поездке на фронт, он записывает в Барановичах: «Прохладный, но хороший день... Государь в отличном настроении. Отдых для меня полный. Дела мало».

Запись 6 декабря 1914 года: «Инициатива в руках противника, а у нас начинаются жалобы: пополнения приходят медленно, недостаток снарядов, сапог и так далее. Явление обычное при неудачах».

В марте следующего года Сухомлинов заносит в свой дневник несколько записей по этому вопросу:

«Целый ряд негодяев, в том числе Поливанов, Гучков и К°, занимаются сплетнями, клеветой, интригами в самый разгар войны, когда нужна дружная работа русских людей... Не понимаю, что делает Ставка? Запрещено говорить о военных делах, чтобы не попали к противнику такие сведения, которые могут быть ему полезны. И вдруг из штаба самого Верховного главнокомандующего широкою волною покатился слух, что у нас нет патронов, снарядов и ружей. Все об этом кричат, и масса телеграмм получена из разных мест... Если верно, что снарядов у нас мало, то надо обороняться, а не наступать... Ставка жалуется на недостаток снарядов, а сама предпринимает наступление, да еще через горы!!»

Даже из этих нескольких отрывков нетрудно понять, почему вопль о снарядах оставался гласом вопиющего в пустыне. Сухомлинов злорадствовал над своим врагом, попавшим в беду. Злорадствовал потому, что тот занял место, на которое он сам претендовал. Ведь, с его слов, оно было обещано ему самим Государем!

Когда 26 апреля 1915 года Верховный главнокомандующий Николай Николаевич обратился, в который уже раз, с личной телеграммой, требуя немедленной доставки снарядов, Сухомлинов написал по этому поводу: «Над этим делом поставлен генерал-инспектор артиллерии Великий князь Сергей Михайлович с особыми полномочиями. Моим вмешательством могу только теперь испортить».

Так безответственный министр спрятался за спину двух других безответственных, причем одному из них он тонко и жестоко мстил. Недаром сказал про него Морис Палеолог, что это человек, который будет мстить за себя.

* * *

В связи с катастрофой, в которую вовлек Сухомлинов армию, нелишне вспомнить о статье, инспирированной военным министром за четыре с половиной месяца до начала войны. Она была оза-

главлена: «Россия хочет мира, но готова к войне» и появилась 27 февраля 1914 года в «Биржевых ведомостях».

Это было хвастливое заявление, с гордостью объявлявшее, что «для России прошли времена угроз извне» и что «в будущих боях русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов. Артиллерия снабжена и большим комплектом, и обеспечена правильно организованным подвозом снарядов... Русская армия явится, если бы обстоятельства к тому привели, не только громадной, но и хорошо обученной, хорошо вооруженной, снабженной всем, что дала новая техника военного дела».

Своим содержанием и тоном статья эта произвела сенсацию, тем более что редакция газеты сообщала, что помещенные в ней сведения получены из «безупречного источника». Очень скоро всем стало известно, что «источник» этот сам министр. Однако впоследствии Сухомлинов отрицал свое авторство, сваливая вину на авантюриста, основателя клуба журналистов в Петрограде и сотрудника «Русского слова» Б. М. Ржевского. Последний явился к нему с поручением просить разрешения ответить на статьи в «Kolnische Zeitung», задевавшие русскую армию. Так возникла, по словам военного министра, эта злосчастная статья, которую германский посол в Петрограде граф Пурталес назвал «фанфаронадой».

Перед опубликованием ее представили на рассмотрение Царя, будто бы статью одобrivшего. «По всей вероятности, — объясняет Сухомлинов, — под влиянием докладов министра иностранных дел Государь находил, что вовремя показанный кулак может предотвратить «драку».

Однако «Русское слово» отказалось напечатать статью даже в сокращенном виде. Тогда Ржевский передал ее в редакцию «Биржевых ведомостей», где она была принята соредактором этой газеты В. А. Бонди, который был знакомым военного министра.

* * *

Но почему же все-таки не было снарядов? Первоначальные сведения об этом я получил от Александра Ивановича Гучкова. Как я уже говорил, еще до войны он был председателем думской комиссии по государственной обороне. Так как военные расходы всегда должны были проходить через Государственную Думу как всякое ассигнование, то комиссией подробно осуждались вопросы самые существенные и иногда секретные. Когда возник вопрос, сколько изготовлять снарядов на одно полевое орудие, Военное министерство запросило пятьсот. Гучков этим крайне возмутился и сказал:

— В западных странах военные обыкновенно предъявляют чрезмерные требования в расчете на то, что парламент их обрежет. А вы? Чем объяснить такую вашу заниженную норму? Ведь вы же знаете, что мы урезывать ваши заявки не будем и дадим все, что вы потребуете от нас. Пятьсот! Ну, что такое пятьсот? Ну, хотя бы тысячу попросили.

Тогда они попросили тысячу, и, как говорил мне Александр Иванович, этой тысячью и объяснялись наши первоначальные успехи. Но так как противник значительно превосходил нас в вооружении, то надолго, конечно, этих снарядов хватить не могло.

* * *

Более подробно о причине недостачи снарядов в начале войны я узнал от управляющего департаментом промышленности Министерства торговли и промышленности, статского советника Владимира Петровича Литвинова-Фалинского. Великий князь Николай Николаевич питал к нему особое доверие. С осени 1915 года я работал вместе с Владимиром Петровичем в Особом совещании по обороне. Однажды после заседания он сказал мне: «Знаете что? Я бы хотел вам кое-что рассказать, чтобы вы знали и запомнили это».

Мы прошли в какое-то кафе, сейчас не помню какое, и вот что он мне рассказал:

— В феврале 1915 года я получил от Великого князя Николая Николаевича телеграмму с просьбой немедленно выехать к нему в Ставку, находившуюся тогда в Могилеве на Днепре. По прибытии я застал Великого князя в смятении. Он сказал мне: «Я нахожусь в большом затруднении. Вот, посмотрите».

Верховный главнокомандующий развернул передо мною огромную ведомость, занявшую весь стол, и продолжал: «Здесь показано, что в таком-то месяце я должен получать столько-то снарядов, а в таком столько-то. Расписано на целый год. На бумаге все хорошо, а на самом деле никаких снарядов я не получаю. Скажу вам откровенно, в этих расчетах я ничего не понимаю. Приказал подать объяснительную записку. Ну, написали, но я опять ничего не понял. Понял лишь следующее: они или сами ничего не знают, или нагло врут, обманывают».

Вам я верю. Возьмите, пожалуйста, все эти материалы, ведомость с их объяснениями, и разберитесь, в чем дело».

Я исполнил приказание и просидел над этими данными целую неделю. Затем явился опять к Великому князю и сказал ему: «Ваше императорское высочество, я должен огорчить вас. Эти снаряды не будут получены в срок».

Затем объяснил в чем дело. Как только началась война, Сухо-млинов заключил договоры с американскими промышленниками. В них указывалось, что американские заводы будут поставлять столько-то снарядов в такие-то месяцы, то есть именно так, как было предусмотрено в ведомости. Но это обещание они выполнить никак не могли. Почему? Потому, что калибры русских и американских снарядов различные. Следовательно, для того чтобы американские заводы могли изготовить русские снаряды, на них необходимо было переделать станки. При условии великой спешки это никак не могло быть выполнено в указанные сроки. Поэтому-то снаряды не будут поступать, как расписано в ведомости, а поступят значительно позже.

Вот что рассказал мне однажды вечером в кафе Владимир Петрович. Добавлю от себя, что так оно и было. Американские снаряды начали поступать во Владивосток с огромным запозданием и в таком количестве, что запрудили поездами весь Великий Сибирский путь.

Естественно возникает вопрос: каким образом военный министр мог заключить такой явно несбыточный договор? Тяжесть этого легкомыслия, если только можно назвать это легкомыслием, усугублялась тем, что одновременно с заключением договора Сухо-млинов предоставил американцам огромный аванс в золоте. Благодаря этому, если бы мы стали нажимать на американских промышленников с целью ускорения поставки снарядов, мы добились бы только того, что они разорвали бы договор, ибо золотой аванс с лихвой покрывал все их расходы.

* * *

Когда в октябре 1914 года я находился на фронте, то в числе других членов Государственной Думы был приглашен в Ставку главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала Николая Иудовича Иванова, находившегося в Бердичеве. Когда снаряды стали быстро иссякать, генерал Иванов еще в сентябре отправил телеграмму, а затем обширную докладную записку военному министру. Николай Иудович лично рассказал мне об этом и показал копию записки. Он говорил в ней: «Мои победы стоят огромного количества снарядов. Поэтому, одновременно с движением вперед, я готовлю мосты на Днепре для отступления, которое непременно будет, если не сделают и не дадут снарядов...»

Между прочим, когда Сухомлинов узнал об этом, то записал в своем дневнике по адресу генерала Иванова: «...В Риме открылась вакансия папы, — вот хороший кандидат».

А 13 октября генерал Иванов писал уже начальнику штаба Верховного главнокомандующего Н. Н. Янушкевичу: «Источники пополнения боевых припасов артиллерии иссякли совершенно. При отсутствии пополнения придется прекратить бой и выводить войска в самых тяжелых условиях».

Но чего же требовал от Сухомлинова генерал Иванов в своей докладной записке? Он требовал поставить на ноги всю промышленность, чтобы все русские заводы, и казенные, и частные, работали на армию. Однако, проявив большое предвидение в военных делах на фронте, этот генерал все же ошибался. Дело в том, что частная русская промышленность была очень слабая. При полной ее мобилизации она могла оказать лишь небольшую помощь.

Когда это было сделано и частным заводам поручили готовить снаряды, то с самим корпусом снаряда они кое-как еще справлялись, но что касалось самого важного, то есть головки с довольно сложным механизмом, регулирующим полет, то вся частная промышленность могла давать только три с половиной процента того, что изготовляли казенные заводы Главного артиллерийского управления. Вопрос, следовательно, состоял не в том, чтобы военизировать частную промышленность, а в том, чтобы развернуть работу Главного артиллерийского управления до предела. Этого нельзя было сделать при Сухомлинове, но это было сделано после его низложения, когда военным министром с 13 июня 1915 года стал его помощник и заклятый враг, но человек умный, вдумчивый и большой дипломат, генерал от инфантерии Алексей Андреевич Поливанов.

При нем во главе Главного артиллерийского управления был поставлен талантливый генерал Алексей Алексеевич Маниковский, в руках которого казенные заводы, да и частные, как, например, отобранный у владельцев огромный Путиловский завод, стали делать чудеса, полностью обеспечив снарядами к зиме 1916 года всю армию, но... Это было уже поздно. Великое отступление свершилось. Неприятелю было отдано двадцать губерний.

Ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя противник обходился нам ценою гибели двух солдат, показывал, как щедро расходовалось русское пушечное мясо. Один этот счет — приговор правительству и его военному министру. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор нам всем... Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно, в смысле материальной культуры, Россия отстала от соседей.

То, что мы умеем только петь, танцевать, писать стихи и бросать бомбы, теперь окупалось миллионами русских жизней. Мы не хотели и не могли быть «эдиссонами», мы презирали материальную

культуру. Гораздо веселее было создавать мировую литературу, трансцендентальный балет и анархические теории. Но зато теперь пришла расплата.

*Ты все пела...
Так поди же — попляши...*

И вот мы плясали «последнее танго» на гребне окопов, забитых трупами.

* * *

Когда я собрался ехать с фронта в Петроград к открытию 19 июля 1915 года четвертой сессии Государственной Думы, то заехал с прощальным визитом к генералу Абраму Михайловичу Драгомирову, командовавшему в то время корпусом. На прощанье он сказал мне: «Поезжайте. Прoberите их там хорошенько и присылайте нам снарядов...»

То было настроение высших чинов армии. Мы, то есть члены Думы, хотели успокоить армию, что ее никто не предаст и что о ней позаботятся, так как на страже ее интересов стоит Государственная Дума. Когда я уезжал, всеобщий голос преследовал меня:

— Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было мясоедовых и сухомлиновых, а были снаряды... Мы не хотим умирать с палками в руках.

На фронте я видел все, видел неравную борьбу безоружных русских против ураганного огня немцев. Приехав в Петроград, я уже не чувствовал себя представителем одной из южных провинций. Как и многие другие, я принес с собою горечь бесконечных дорог отступлений и закипающее негодование армии против тыла. Я чувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так задаром, и в ушах у меня звучало: «Пришлите нам снарядов!»

Рана, нанесенная Сухомлиновым Империи, была смертельна.

7. Quousque tandem?

— Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?

Так начал свою обличительную речь в римском сенате консул Марк Туллий Цицерон против Люция Сергия Катилины, организовавшего в 63 году до новой эры заговор с целью захвата власти.

Этот вопль «Доколе же?» был в душе у каждого. Всем было ясно, что дальше так продолжаться не может. Ясно всем, кроме Сухомлинова. Он не мог допустить, что та сила, на которую он опирался, сможет изменить ему. Также было ясно, какой беспощадной критике будет подвергнута деятельность военного министра на открывающейся сессии Думы и что там будет говориться.

«Что же это такое, — пишет 7 июня 1915 года Сухомлинов в своем дневнике, — предлагается мне поступать не так, как повелевает мне Государь, а так, как это угодно будет Думе?..»

Монументальный Михаил Владимирович Родзянко, самой природой предназначенный для сокрушения министров, поехал к супругу Екатерины Викторовны.

— Съехавшиеся думцы, — сказал он ему, — ругают и винят вас во всем. Я еще раз советую вам подать в отставку.

«Говорят, — записывает Сухомлинов 8 июня, — Гучков орудует вовсю и программу свою ведет настойчиво и нахально. Родзянко у него играет роль тарана».

А после визита председателя Государственной Думы 9 июня отмечает: «Эти народные представители, очевидно, под влиянием немецкой провокации и желают создать у нас беспорядки...»

Однако Родзянко не сложил оружия. Добившись аудиенции у Государя, он обрисовал ему созданное Сухомлиновым положение столь ярко, что Император тут же дал свое согласие на его отставку.

Во время заседания Совета Министров 12 июня 1915 года прибывший из Ставки фельдъегерь вручил Сухомлинову собственноручное письмо Царя следующего содержания: «Владимир Александрович! После долгого раздумывания я пришел к заключению, что интересы России и армии требуют вашего ухода в настоящую минуту. Имев сейчас разговор с Великим князем Николаем Николаевичем, я окончательно убедился в этом. Пишу сам, чтобы вы от меня первого узнали.

Тяжело мне высказать это решение, когда еще вчера видел вас. Столько лет поработали мы вместе, и никогда недоразумений у нас не было. Благодарю вас сердечно за вашу работу и за те силы, которые вы положили на пользу и устройство русской армии. Беспристрастная история вынесет свой приговор, более снисходительный, нежели осуждение современников. Сдайте пока вашу должность Вернандеру. Господь с вами. Уважающий вас Николай».

«Люди осведомленные уверяют, — пишет Сухомлинов, получив царское письмо, — что в моем уходе принимал самое деятельное участие Великий князь Николай Николаевич. Ему Россия много

обязана: 17 октября, сдвиг влево и удаление министров в самое тяжелое время, и все неудачи 1914 и 1915 годов, что он усердно сваливает на других... В моем лице Великим князем Николаем Николаевичем «козел отпущения» найден...»

* * *

Здесь ненадолго прерываю повествование о Сухомлинове. Меня могут спросить:

— Ну, хорошо. Вы рассказали, что Дума все-таки как-то реагировала на зловредную деятельность или, вернее, бездействие военного министра и, в конце концов, с большим запозданием, запозданием непоправимым, когда принесены были в жертву этому бездействию миллионы жизней, все-таки повалила его. Но ведь современником Сухомлинова была фигура еще более одиозная — Распутин. Неужели же в Думе никогда ничего не говорили о нем, ничего не предпринималось?

В кулуарах Думы говорилось, конечно, и, по-видимому, говорилось немало. Но говорить с кафедры было слишком опасно, ибо это могло грозить существованию самой Думы. Кроме того, для такого выступления необходим был соответствующий повод, а не просто выражение своего негодования. И вот когда однажды такой повод представился, то был выпад против Распутина и с кафедры Государственной Думы.

Инициатором его был все тот же Александр Иванович Гучков, и по времени это совпадало как раз с теми атаками, которые он повел против военного министра. И так же, как вопрос о Сухомлинове объединил все фракции Думы, так было и в отношении Распутина.

Между прочим, Морис Палеолог говорит, что Сухомлинов был с Распутиным в хороших отношениях и считался в числе «распутинцев». Иначе и быть не могло, если у него с Царем «никогда не было недоразумений».

* * *

Заявление, поданное председателю Государственной Думы и подписанное первым А. И. Гучковым, содержало письмо редактора и издателя «Религиозно-философской библиотеки» М. Новоселова, опубликованное в № 19 газеты «Голос Москвы» от 24 января 1912 года и перепечатанное в выдержках в тот же день в № 50 «Вечернего времени». За это оба номера газет распоряжением Главного управления по делам печати были конфискованы и редакторы их привлечены к судебной ответственности.

Выяснилось, что предварительно редакторам этих газет, а равно и других газет в Петербурге и Москве, были предъявлены высшей администрацией требования ничего не печатать о Григории Распутине.

Знаменательно, что письмо это было озаглавлено изречением Цицерона, о котором я говорил выше, а именно: «Quousque tandem abutere patientia nostra?» («Доколе же будешь злоупотреблять нашим терпением?»)

«Эти негодующие слова невольно вырываются из груди, — говорилось в письме, — по адресу хитрого заговорщика против святыни, Церкви и гнусного растлителя душ и телес человеческих Григория Распутина, дерзко прикрывающегося этой самой святыней церковной».

Далее в письме выражалось крайнее возмущение бездействием и безмолвием Святейшего Синода, которому хорошо известна деятельность «наглого обманщика и растлителя». Почему молчат епископы, спрашивает автор письма, когда некоторые из них откровенно называют «этого служителя лжи хлыстом, эротоманом, шарлатаном?»

«Где его «святейшество», если он по нерадению или малодушию попускает развратному хлысту творить дела тьмы под личиною света? Где его «правлящая десница», если он и пальцем не хочет шевельнуть, чтобы извергнуть дерзкого растлителя и еретика из ограды церковной?»

Это письмо, приложенное к запросу министру внутренних дел А. А. Макарову по поводу незаконной конфискации газет, его напечатавших, было прочитано во всеуслышание 25 января 1912 года товарищем секретаря Думы Михаилом Андреевичем Искрицким.

Против спешности запроса не говорил никто, а за спешность выступали двое — А. И. Гучков и председатель комиссии по вероисповедным делам Владимир Николаевич Львов-второй. Слова обоих были покрыты бурными аплодисментами всей Думы.

Как сейчас есть вопросы, объединяющие людей самых различных политических и религиозных убеждений, так и тогда были явления, столь бесспорные, суждения о которых стояли выше политических разногласий.

— Тяжелые и жуткие дни переживает Россия, — сказал А. И. Гучков. — Глубоко взволнована народная совесть. Какие-то мрачные призраки средневековья встали перед нами. Неблагополучно в нашем государстве. Опасность грозит нашим народным святыням. А где же они, охранители этих святынь?.. Почему безмолвствует голос иерархов, почему бездействует государственная власть?..

Долг нашей совести возвысить свой голос, дать исход тому общественному негодованию, которое накапливается в стране... Этот долг мы совершим сегодня, внося и поддерживая этот запрос.

В. Н. Львов-второй спрашивал:

— Что это за странная личность Григорий Распутин, который изъят из-под ведения обыкновенных законов о печати и который поставлен на странный пьедестал недосыгаемости и недоступности? В этом виде и предложен нами запрос, чтобы низвергнуть эту личность с ее пьедестала... Но затыкать рот печати, единственной возможности в этом темном деле раскрыть правду, это, по-моему, недостойно великой страны, и поэтому я надеюсь, что вы примете и спешность и самый запрос.

И то и другое было принято единогласно.

* * *

Возвращаюсь к Сухомлинову. За полгода до своего ухода, в январе 1915 года, военный министр и его помощник А. П. Вернандер в частном собрании Государственной Думы дали противоречившие истине успокоительные заверения о боевом снабжении армии. Это обстоятельство особенно возмущало и раздражало депутатов, многие из которых, работавшие на театре военных действий, как и я, видели эту «истину».

Из писем солдат, рассказов раненых весь народ узнал страшную правду о недостатке снарядов, патронов, ружей. Теперь уже вся Россия знала, что главная причина наших неудач на фронте заключалась в недостатке вооружения, знала о преступном отношении военного ведомства к делу государственной обороны.

Психологическое настроение масс было тревожно. В верхах и низах распространялись ядовитые семена подозрений, расползались темные слухи о предательстве, об измене, о возможности назначения смещенного военного министра на более высокую должность.

Выступления съехавшихся с фронтов в Таврический дворец депутатов в первый же день открытия четвертой сессии Думы были полны негодования против бездействия власти и военного министра, которое рассматривалось в условиях войны как тяжкое государственное преступление. Речи ораторов прерывались криками: «Под суд! Обманул всех нас!»

Простой уход военного министра не мог уже удовлетворить ни армию, ни страну. Только судебное следствие могло положить конец упорным толкам, отделив виноватых от невиновных. Судьба Сухомлинова была решена.

Между вторым и третьим заседаниями 23 июля 1915 года состоялось внеочередное закрытое собрание Государственной Думы, на котором из числа трехсот семидесяти пяти голосовавших триста сорок пять высказались за предложение правительству предать Сухомлинова и всех должностных лиц, виновных в нерадении или измене, суду.

Уже через день, 25 июля, последовало высочайшее повеление об образовании верховной комиссии под председательством члена Государственного Совета инженер-генерала Николая Павловича Петрова «для всестороннего расследования обстоятельств, послуживших причиной несвоевременного и недостаточного пополнения запасов военного снаряжения».

Добытые комиссией данные были представлены 1 марта 1916 года на рассмотрение первого департамента Государственного Совета, который 10 марта постановил назначить предварительное следствие по обвинению бывшего военного министра Сухомлинова в противозаконном бездействии и превышении власти, подлогах по службе, лихоимстве и государственной измене. По приказу производившего следствие сенатора гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената тайного советника Ивана Аполлоновича Кузмина 20 апреля 1916 года Сухомлинов был арестован и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Однако ретивому сенатору дали понять, что он зашел слишком далеко. Морис Палеолог отмечал в своем дневнике, что, «несмотря на свои скандальные зловключения, Сухомлинов тайным образом сохранил доверие высочайших особ».

* * *

Один из бывших друзей военного министра аферист князь М. М. Андроников на допросе 8 апреля 1917 года в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства рассказал, что весной 1916 года Екатерина Викторовна Сухомлинова вошла с Распутиным «в известные отношения», чтобы пройти к Вырубовой. Последняя устроила ей свидание с Императрицей, которой она передала записку под заглавием: «Черные и желтые». В ней она ругала почти все правительство и Государственную Думу.

По словам Андроникова, Екатерина Викторовна сделала Распутину крупное денежное подношение, а также дала много денег Вырубовой на лазареты. Это укрепило ее положение в Царском Селе, и к 5 октября 1916 года при министре юстиции А. А. Макарове Сухомлинов был выпущен из тюрьмы на свободу.

На вопрос председателя, каким образом сумела Сухомлинова так быстро реабилитировать себя и своего мужа, князь ответил: «Она всем доказывала, что они честнейшие и порядочнейшие люди, а все остальные — никуда не годятся... Об этом же было написано в ее записке: «Черные и желтые».

Главное же заключалось в том, что в Распутине, еще год назад ругавшем Сухомлинову, совершилась какая-то удивительная метаморфоза. Сразу он превратился из противника в защитника Сухомлиновых, до того, что генерала выпустили из крепости и чуть ли не захотели аннулировать его дело.

Эти показания М. М. Андроникова подтверждает секретарь председателя Совета Министров Б. В. Штюрмера Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Он рассказал о ссоре Андроникова с madame Сухомлиновой. По его словам, дело было в том, что князь стал разыгрывать роль «домашнего друга» военного министра и сообщил ему истинную подкладку отношений известного богача Манташова к Екатерине Викторовне. На этой почве вышла ссора. Андроников в отместку расположил против Сухомлиновых Распутин, способствовавшего удалению генерала с поста военного министра.

Когда же Сухомлинова заключили в крепость, то Екатерина Викторовна стала посещать Распутина, который в нее влюбился.

— Только две женщины в мире украли мое сердце, это — Вырубова и Сухомлинова, — говорил Григорий Ефимович Манасевичу-Мануйлову.

— Вот после того как установились отношения Сухомлиновой с Распутиным, — говорил секретарь Штюрмера, — и произошло освобождение бывшего военного министра.

* * *

Но все-таки каким же образом это произошло? Ведь это не шутки — выпустить из тюрьмы во время войны главного военного преступника, обвинявшегося в измене, имя которого стало притчей во языцех. Дума по поводу этого бушевала. И можно себе представить, как реагировала на это армия, пережившая все ужасы позорного отступления по вине преступного министра.

Как это произошло, рассказал министр внутренних дел А. Д. Протопопов на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Когда в Царском Селе было решено выпустить Сухомлинова из крепости, Государь вызвал его к себе.

— Когда? — спросил Протопопова председатель комиссии Николай Константинович Муравьев. — Вы не припомните приблизительно, в каком месяце?

— Когда здесь был комендант Петропавловской крепости Никитин, — отвечал бывший министр.

— Вы приезжали для свидания с Сухомлиновым?

— Это было по приказанию Царя. Государь сказал мне, что вот долго так идет дело Сухомлинова. Неужели я поверю, что он изменник? Просто легкомысленный человек.

— Да, Государь, может быть, и правда. Чужая душа — потемки, а только есть нехорошие стороны — денежная сторона...

— Да, — говорит, — это есть, мне его жаль, старика. Что вы думаете, если ему переменить меру пресечения?.. Домашний арест?..

Я говорю:

— Знаете, Ваше Величество, я думаю, что это дело неподходящее. Ускорить следствие — это следует, а затем, я говорю, что, может быть, дать ему помещение получше, а затем дать ему право ходить гулять в крепости, но не выходить из нее.

Тогда Государь говорит:

— Вы думаете, это возможно?

Я говорю:

— По крайней мере, Государь, это будет тихо, без всяких скандалов. Вы сделаете облегчение, а между тем скандал не поднимут.

— Ну, — говорит, — съездите к Никитину.

Вот почему я был у генерала Владимира Николаевича Никитина, но из этого ничего не вышло. Была принята другая мера, помимо меня.

11 ноября 1916 года министр юстиции А. А. Макаров получил от только что назначенного председателя Совета Министров А. Ф. Трепова высочайшую телеграмму о прекращении дела Сухомлинова.

— Александр Федорович просил меня к нему заехать, — рассказывает в своих показаниях Макаров. — Я поднес ему телеграмму и говорю: «Вот для вашего первого дебюта какого рода высочайшее повеление я получил».

Мы по этому поводу беседовали, и решено было, что этого исполнить нельзя и что нужно принять все меры к тому, чтобы дело Сухомлинова не было прекращено. Мы согласились на том, что приедем в Ставку со всеподданнейшим докладом, а до этого отправили Государю телеграмму с просьбой не исполнять высочайшего повеления вплоть до нашего совместного ему доклада.

14 ноября 1916 года Трепов и я докладывали в Ставке Государю... Ответа я не получил, а по приезде Царя сюда я был уволен, так и не получив ответа, — закончил свои показания Макаров.

А Сухомлинов давно уже гулял по улицам столицы, вызывая этим в Думе многочисленные проявления негодования против

правительства. После освобождения с него взяли лишь подписку о невыезде из Петрограда.

* * *

Когда разразилась Февральская революция, то 28 февраля 1917 года я был свидетелем того, что Сухомлинова привели в Таврический дворец. Его привели прямо в переполненный Екатерининский зал. Расправа уже началась. Солдаты набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдат и, закрывая собою, провел его в спасительный Павильон министров. Но в ту же минуту, когда он его запихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками... Тогда Керенский со всем актерством, на какое он был способен, вырос перед ними: «Вы переступите через мой труп!»

И они отступили, а бывшего военного министра препроводили в Трубецкой бастион, в ту же камеру № 55, в которой он сидел до революции. В этот же бастион была помещена и Екатерина Викторовна вместе с Анной Александровной Вырубовой. Для них из женской тюрьмы были командированы две надзирательницы.

По окончании следствия, в июне, был составлен обвинительный акт, и 10 августа Сухомлинов вместе с Екатериной Викторовной предстал перед судом Особого присутствия Сената с участием присяжных заседателей. Судебный процесс проходил в концертном зале офицерского собрания армии и флота.

Бывший военный министр обвинялся в том, что не принял необходимых мер для увеличения крайне низкой производительности казенных заводов, изготовлявших снаряды, порох и взрывчатые вещества, сознательно допуская, что таковым бездействием способствует неприятелю в его враждебных против России действиях;

в том, что оставил без личного своего руководства деятельность Главного артиллерийского управления по принятию последним мер к снабжению войск и крепостей оружием, артиллерией, огнестрельными припасами и другим вооружением, что повлекло понижение боевой мощи нашей армии;

в том, что по соглашению с другими лицами сообщал Мясоедову, заведомо для него, Сухомлинова, состоявшему агентом Германии, сведения, долженствовавшие для безопасности России сохраняться в тайне;

в том, что такого же рода сведения, опять-таки по соглашению с другими лицами, сообщал Альтшиллеру, заведомо для него состоявшему агентом Австрии;

в том, что после объявления Германией войны России оказал содействие к вступлению Мясоедова в действующую армию и продолжению его изменнической деятельности — и тем заведомо благоприятствовал Германии в ее военных действиях против России;

в том, что в интересах находившихся в войне с Россией держав передал Гошкевичу и Думбадзе перечень важнейших мероприятий военного ведомства с 1909 по 1914 год, в которых содержались заведомо для него секретные сведения по государственной обороне России;

в том, что из личных целей заведомо ложно официально удостоверил в печати от имени Военного министерства, что Мясоедов не имел доступа к секретным документам и никаких поручений по военной контрразведке не получал и о том же заведомо ложно сообщил в докладе бывшему Императору.

Таковы основные пункты обвинительного акта.

Екатерине Викторовне предъявили обвинения в том, что по соглашению с другими лицами она оказывала мужу помощь, содействуя его сближению с Альтшиллером и Мясоедовым.

Сухомлинов вызывал к себе такую ненависть солдат, что на него они напали не только в Таврическом дворце. Однажды к зданию, где происходил судебный процесс, подошла толпа солдат, потребовавшая от коменданта его выдачи.

— У нас в полку, — кричали они, — суд сумеет быстро разобраться в этом деле!

С трудом коменданту удалось уговорить их не нарушать законности.

* * *

14 сентября 1917 года судебный процесс закончился. Присяжные заседатели признали доказанными все предъявленные Сухомлинову обвинения. Суд приговорил его к высшей мере наказания, то есть, за отменой смертной казни, к пожизненным каторжным работам, лишению всех прав состояния, чинов и орденов.

Что касается Екатерины Викторовны, то присяжные заседатели вынесли ей оправдательный вердикт, после чего ее сейчас же из тюрьмы выпустили, а Сухомлинова снова отвезли в Трубецкой бастион.

Член Государственной Думы, академик и профессор Г. К. Рейн, как и многие другие видные лица, также сидел некоторое время в Петропавловской крепости, когда там находился Сухомлинов. Потом он рассказывал мне, что всех их кормил «ангел» из большой корзины. Я спросил Георгия Ермолаевича:

- Кто же был этот ангел?
- Да Екатерина Викторовна.
- Сухомлинова?

— Да. Прежде всего она, конечно, кормила своего мужа, а потом всех нас. Так как некоторое время она сама находилась в этой тюрьме, то знала там все ходы и выходы, пробираясь к нам через множество замков и препон. Замечательная женщина! Я вам говорю, ангел!

Этот «ангел» не только кормила мужа, но, проявив удивительную энергию, выхлопотала перевод его на Выборгскую сторону в тюрьму «Кресты».

«Из мрачного, сырого, разрушающегося бастиона, — вспоминает Сухомлинов, — я попал в светлое, сухое, теплое, недавно выстроенное здание, с центральным отоплением, ванной комнатой с двумя прекрасными ваннами, постоянно горячей водой и кухней в распоряжении заключенных».

Здесь он встретился со многими царскими министрами и сановниками, между прочим — с Пуришкевичем и членами Временного правительства. Отсюда 1 мая 1918 года он был выпущен на свободу на основании декрета Петроградского Совета об амнистии арестованных и осужденных за политические дела. Но до него дошли слухи, что многих царских министров из «Крестов» направили в Москву и там расстреляли.

Поэтому, не доверяя Советской власти, он некоторое время скрывался в Петрограде, боясь показаться на квартире своей жены. Наконец, 5 октября 1918 года, ему удалось перебраться через границу в Финляндию, а затем эмигрировать в Германию. За границей Сухомлинов написал мемуары, заканчивающиеся следующими словами:

«Залог для будущего России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадежное, твердое и руководимое великим политическим идеалом правительство... Что мои надежды являются не совсем утопией, доказывает, что такие мои достойные бывшие сотрудники и сослуживцы, как генералы Брусилов, Балтийский и Добровольский, свои силы отдали новому правительству в Москве. Нет никакого сомнения, что они это сделали, конечно, убедившись в том, что Россия и при новом режиме находится на правильном пути к полному возрождению».

* * *

А что же случилось с «ангелом» Петропавловской крепости, с Екатериной Викторовной? Умерла она совсем еще молодая, как я

уже говорил, в Биаррице, где произошла ее первая встреча с судьбой своей, — генералом Владимиром Александровичем Сухомлиновым. Судьба же избавила Васнецовское дитя от долгих лет мытарств в эмиграции.

*Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте.*

Часть VI. КАНУН КРУШЕНИЯ

1. Прогрессивный блок

Едва вернувшись с фронта в Петроград летом 1915 года, я пришел к Милюкову. Он меня сразу не узнал — я был в военной форме. Впрочем, и вправду я стал каким-то другим. Война ведь все переворачивает.

Из разговора выяснилось, что кадеты не собираются менять курса, что они по-прежнему будут стоять за войну «до победного конца», но...

— Но подъем прошел... Неудачи сделали свое дело... В особенности повлияла причина отступления... И против власти неумелой, не поднявшейся на высоту задачи... сильнейшее раздражение.

— Вы считаете дело серьезным?

— Считаю положение серьезным... и прежде всего надо дать выход этому раздражению. От Думы ждут, что она заклеит виновников национальной катастрофы. И если не открыть этого клапана в Государственной Думе, раздражение вырвется другими путями.

— Я еще не говорил со своими... Но весьма возможно, что в этом вопросе мы будем единомышленниками... Мы, приехавшие с фронта, не намерены шадить правительство. Слишком много ужасов мы видели... Но это одна сторона, — так сказать, необходим «суровый окрик». Но ведь нельзя, чтобы угасал дух, надо нечто положительно... как-то оживить мечту первых дней...

— Да, чтобы оживить мечту, чтобы поднять дух, надо дать уверенность, что все эти жертвы, уже принесенные и все будущие не пропадут даром... Это надо сделать двумя путями.

— Именно?

— С одной стороны, надо, чтобы те люди, которых страна считает виновниками, ушли. Надо, чтобы они были заменены другими, достойными, способными — людьми, которые пользуются общественным весом, общественным доверием.

— Вы хотите ответственного министерства?

— Нет... Я бы затруднился формулировать эти требования выражением «ответственное министерство»... Пожалуй, для этого мы еще не готовы. Но нечто вроде этого... Не может же, в самом деле, назначенный за полгода до войны совершенно крамольный Горемыкин оставаться главою правительства во время мировой войны... Не может, потому что Иван Логгинович органически, и по старости своей, и по заскорузлости, не может стать в уровень с необходимыми требованиями... Западные демократии выдвинули цвет нации на министерские посты!..

— А второе?

— А второе вот что. Чтобы поднять дух, как вы сказали, оживить мечту, надо дать возможность мечтать... Я хочу сказать, что в исходе войны в случае нашей победы мечтают о перемене курса, ждут другой политики, ждут свободы...

— В награду за жертвы.

— Не в награду, а как естественное следствие победы. Если Россия победит, то, очевидно, победит не правительство. Победит вся нация. А если нация умеет побеждать, то как можно отказать ей в праве свободно дышать, свободно думать, свободно управляться? Поэтому необходимо, чтобы власть доказала, что она, обращаясь к нации за жертвами, в свою очередь, готова жертвовать частью своей власти и своих предрассудков.

— Какие же доказательства?

— Доказательства должны заключаться в известных шагах. Конечно, война не время для коренных реформ, но кое-что можно сделать и теперь.

* * *

Этот разговор послужил прологом к тому, что впоследствии получило название «прогрессивный блок». Он формировался на заседаниях у М. В. Родзянко, где в горячих и серьезных спорах вырабатывалось новое соглашение. В конце концов часть членов Государственной Думы «единогласно постановила выйти из состава русской национальной фракции и образовать группу на основах чистой программы национального союза, предлагая стать во главе таковой графу Владимиру Алексеевичу Бобринскому».

Это заявление подписали: журналист А. И. Савенко, камер-юнкер Двора Его Величества Д. Н. Чихачев, инженер В. Я. Демченко, землевладельцы А. А. Ких, К. Е. Сувчинский, я и некоторые другие.

На квартире у члена Государственного Совета барона В. В. Меллер-Закомельского 14 и 15 августа 1915 года состоялись

два совещания представителей думских фракций, вошедших в блок совместно с представителями трех фракций Государственного Совета для составления программы.

Крылья были уступчивы, почему и явилась возможность ее выработки.

Например, Милюков, целиком стоявший за еврейское равноправие, смягчил свои требования в довольно скромной редакции: «Вступление на путь отмены ограничений в правах евреев», которую мы, то есть правое крыло, приняли.

Аграрного вопроса Милюков не захотел совсем касаться. Он утверждал, что если начать разговоры о земле, то мужики побегут с фронта делить ее. В этом вопросе я был левее его. Я считал возможным теперь же объявить о наделении землей героев войны и семей убитых.

Словом, весьма скромные «реформы» свелись к волостному земству, поселковому управлению, уравниванию крестьян в правах, пересмотру земского положения, некоторым гражданским законам и т. д.

Но во всей программе блока, приемлемой и для правительства, и для Царя, один пункт был неприемлем, он звучал примерно так: назначение правительства с согласия Государственной Думы. Это был парламентаризм, для короны неприемлемый.

То явление, которое было в западных парламентах в первую мировую войну, то есть объединение враждовавших в мирное время партий, случилось и у нас. Под названием «прогрессивный блок» 22 августа 1915 года объединилось шесть фракций Государственной Думы (прогрессисты, националисты-прогрессисты, группа «Союза 17 октября», земцы-октябристы, кадеты и партия центра) с тремя фракциями Государственного Совета (центр, академическая группа и внепартийные). Все вместе они избрали бюро в составе двадцати пяти человек под председательством барона В. В. Меллер-Закомельского. Бюро, имея за собою большинство в двести тридцать пять депутатов, стало распоряжаться Государственной Думой. Всего же в блок вместе с членами Государственного Совета вошло более трехсот человек.

Исходя из предположения, что правительство никуда не годится, мы должны были давить на него блоком в триста человек.

Ранее, 10 июля 1915 года, был создан Главный комитет по снабжению армии Всероссийских земского и городского союзов — так называемый Земгор. Оба союза являлись одной из опор прогрессивного блока. Их представители входили в состав Особых совещаний. Во главе земского союза стоял князь Г. Е. Львов, а городского — кадет М. В. Челноков. 7 сентября 1915 года в Москве открылись съезды этих союзов.

В книге М. К. Лемке «250 дней в царской Ставке» приведен следующий разговор императора с начальником штаба Верховного главнокомандующего М. В. Алексеевым по поводу этих съездов.

«Ваше Величество, не прикажете ли своевременно приветствовать оба съезда — общеземский и союза городов?»

— Стоит ли? — ответил Царь. — Вся эта работа — систематический подкоп под меня и под мое управление. Я очень хорошо понимаю их штуки... Арестовать бы их всех вместо благодарности.

— Но, Ваше Величество...

— Ну хорошо, хорошо, пошлите им. Придет время, тогда с ними сочтемся...»

Съезды направили к государю делегацию, которая должна была заявить о необходимости «обновления» состава правительства «лицами, облеченными доверием страны». Но Царь не принял ее. Недовольное вмешательством земгора в политику, подозревая их членов в стремлении к захвату власти, правительство в декабре 1915 года запретило совместный съезд земского и городского союзов с военно-промышленными комитетами. А через год, в декабре 1916 года, съезды земгора в Москве были разогнаны полицией. Царь желал сохранить за собой право назначать министров по своему усмотрению.

* * *

26 августа 1915 года программа блока была опубликована в петроградских газетах. Вечером того же дня мы, блокисты, — Д. Д. Grimm, И. И. Дмитриюков, И. Н. Ефремов, П. Н. Крупенский, В. Н. Львов, барон В. В. Меллер-Закомельский, П. Н. Милюков, С. И. Шидловский и я — сидели у государственного контролера П. А. Харитонова за одним столом с представителями правительства: управляющим Министерством внутренних дел и главноначальствующим отделения корпуса жандармов князем Н. Б. Щербатовским и министром юстиции А. А. Хвостовым... Тем не менее из переговоров в этот неудачный вечер ничего не вышло. Правда, несколько министров явственно были с нами — они склонны были уступить.

Что, собственно, уступить?

Дело ясное — надо позвать кадетов и предоставить им сформировать кабинет. В 1905 году кадеты были пораженцами и шли по одной дороге с левыми, — тогда их позвать нельзя было. Но раз они теперь патриоты, то пусть бы составили кабинет. Боятся, что они будут слишком либеральны? Пустяки. (Бывали ра-

дикалы, ставшие министрами, но когда кто видел радикальных министров?)

Сего не поняли... На этом пункте две стороны — верховная власть и народное представительство — разошлись и из-за этого конфликта погибли. Погибла и династия, погиб и российский парламент.

Однако перед лицом грозного отступления верховная власть пожелала опереться на представителей народа и в их патриотизме почерпнуть силы для продолжения войны «до победного конца». В этом решении огромную роль сыграло то, что Военное министерство обанкротилось и мы были безоружны перед лицом прекрасно вооруженного противника. На решение созвать четвертую сессию Государственной Думы повлияло также путешествие по всему фронту ее председателя М. В. Родзянко. Царившие там настроения убедили его, что армия правительством недовольна и верит, что вмешательство Государственной Думы может помочь делу. В известном смысле эти фронтовые политики были правы.

Следствием поездки Родзянко было опубликование 17 августа 1915 года закона о создании четырех Особых совещаний, а именно:

по обороне государства — под председательством управляющего Военным министерством генерала от инфантерии Алексея Андреевича Поливанова;

по транспорту — под председательством министра путей сообщения, действительного тайного советника Сергея Васильевича Рухлова;

по топливу — под председательством министра торговли и промышленности, действительного статского советника князя Всеволода Николаевича Шаховского;

по продовольствию — под председательством главноуправляющего землеустройством и земледелием, статс-секретаря, гофмейстера Александра Васильевича Кривошеина.

Эти Особые совещания, пополненные представителями законодательных учреждений и общественных организаций, были созданы в торжественной обстановке. Первое объединенное заседание членов всех четырех совещаний состоялось 22 августа 1915 года в Зимнем дворце под председательством Государя Императора. Происшествие весьма знаменательное. Царь, таким образом, не только привлекал членов Государственной Думы к законодательной работе, но и отдавал в их руки часть исполнительной власти.

Хотя Особые совещания были скопированы с некоторых западных парламентов, где они называются парламентскими комиссия-

ми, сделаны они были, если можно так выразиться, вроде кузни. Кузнец — министр всего министерства. А роль тех, кто работает мехом, то есть роль «раздувальщиков», исполняли мы, члены законодательных палат.

Оценивая деятельность Особых совещаний, надо сказать, что она была в общем положительной. 19 августа 1915 года я был избран в Особое совещание по обороне, официально называвшееся Особым совещанием для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Создано оно было 10 августа 1915 года и, как я уже говорил, успешно разрешило труднейший вопрос о снарядах. Остальные совещания также справились с поставленными задачами. С этой стороны наша совесть была чиста. Мы сделали все, что возможно. Свою обязанность «раздувальщиков священного огня» военного творчества исполняли не за страх, а за совесть.

Но вот другая сторона... Бывали минуты, когда я начинал сомневаться. В другом отношении, где мы условились быть не «раздувальщиками огня», а как раз наоборот — «гасителями пожара», исполняли ли мы свое намерение? Тушили ли мы революцию?

С основной политической проблемой Государственная Дума, взятая в целом, не справилась.

* * *

Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в отдушину, именуемую Государственной Думой. Удалось перевести накипевшую революционную энергию в слова, в пламенные речи и в искусные, звонко звенящие «переходы к очередным делам». Удалось подменить «революцию» «резолуцией», то есть кровь и разрушение словесным выговором правительству.

Удавалось и другое — на базе этих публичных «строгих выговоров» сохранять единство с правительством в самом важном — в отношении войны. Удавалось все время твердо держать над куполом Таврического дворца яркий плакат «Все для войны!»... Сколько бы Марков-второй ни называл прогрессивный блок «желтым блоком», — это неправда, потому что блок был трехцветный: он был бело-сине-красный, он был национальный, он был русский!

Но не начала ли красная полоса этой трехцветной эмблемы расширяться и заливать остальные цвета?

В минуту сомнений мне иногда начинало казаться, что из пожарных, задавшихся целью тушить революцию, мы невольно ста-

новились ее поджигателями. Мы были слишком красноречивы, слишком талантливо в наших словесных упражнениях. Нам слишком верили, что правительство никуда не годно...

Ах, Боже мой... Да весь ужас и состоял в том, что это действительно было так, — оно действительно было никуда не годно.

2. Возвращение в Думу

Как это ни странно, но моя первая речь, произнесенная со столь знакомой уже мне кафедры, была сказана в защиту пяти депутатов, составлявших большевистскую фракцию Государственной Думы четвертого созыва.

А дело было, собственно, вот в чем. Пять большевиков: А. Е. Бадаев, М. К. Муранов, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов и Н. Р. Шагов — были избраны в октябре 1912 года по рабочей курии в четвертую Государственную Думу. Что это были за люди?

Алексей Егорович Бадаев родился 4 февраля 1883 года в крестьянской семье в деревне Юрьево Карачевского уезда Орловской губернии. Окончив вечерние технические классы, он работал слесарем на Александровском заводе в Петербурге и в Главных вагонных мастерских Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. В 1904 году вступил в Коммунистическую партию и вел агитацию в союзе металлистов. Когда его выбрали депутатом в Государственную Думу, он сотрудничал в большевистской газете «Правда». В начале первой мировой войны провел в разных городах несколько антивоенных собраний.

Матвей Константинович Муранов родился 29 ноября 1873 года, член партии тоже с 1904 года. При избрании его в 1912 году от Харьковской рабочей курии в Государственную Думу дал о себе сведения, что он мещанин села Основа Харьковского уезда. Однако, по позднейшим справочным сведениям, он родился в селе Рыбцы Полтавской губернии. Работал слесарем на паровозостроительном заводе Северо-Донецкой (ныне Южной) дороги.

Свою думскую деятельность Муранов сочетал с нелегальной революционной работой в Петербурге, Харькове и других городах, сотрудничал, как и Бадаев, в «Правде».

Следующий из этой плеяды думских старых большевиков, Григорий Иванович Петровский, наиболее известен, так как в его честь в 1926 году был переименован город Екатеринослав в Днепрпетровск. Занимая с апреля 1919 года пост Председателя Всеукраинского ЦИК, вряд ли он мог предположить, что в Киеве появился его политический противник по Государственной Думе, об-

росший бородой Шульгин, нелегально перешедший в конце декабря 1925 года, с фальшивым паспортом в кармане, государственную границу СССР. Но об этом достаточно уже рассказал Лев Никулин в «Мертвой зыби».

Родился Г. И. Петровский 4 февраля 1878 года в Харькове в семье мелкого ремесленника. Учился в образцовой школе при Харьковской духовной семинарии. С юных лет работал на заводах Екатеринослава, Харькова, Николаева, на рудниках Донбасса, а затем токарем на мариупольском заводе «Провиданс».

Примкнув к революционному движению, в 1897 году занимался в социал-демократическом кружке, руководимом И. В. Бабушкиным. С 1899 года перешел на активную нелегальную партийную работу, неоднократно подвергаясь арестам и ссылкам. И после избрания в члены Государственной Думы Петровский не оставлял подпольной партийной работы, выполняя указания В. И. Ленина.

Федор Никитич Самойлов родился 12 апреля 1882 года в деревне Гомыленки Покровского уезда Владимирской губернии в семье ткача. Член Коммунистической партии с 1903 года. Рабочий фабрики Покровской мануфактуры в Иваново-Вознесенске, где вел революционную агитацию. Как он о себе показал, служил главным образом в административных должностях: браковщика, счетчика и старшего рабочего.

О последнем участнике этой пятерки, Николае Романовиче Шагове, сведения очень скудны. Известно только, что он ткач, рабочий фабрики Красильщиковой в селе Родники Юрьевского уезда Костромской губернии, родился в 1882 году, большевик с 1905 года. Был председателем Родниковского общества потребителей.

Здоровье его было подорвано тюремным заключением и тяжелыми условиями Туруханской ссылки. После Февральской революции он вернулся в Петроград тяжелобольным и умер в 1918 году.

Все приведенные дореволюционные сведения о пяти большевиках, приведенные на основе тех, что они дали о себе сами, после того как были избраны рабочими в члены Государственной Думы, но я узнал об этом гораздо позже. Точнее сказать, совсем недавно. Тогда же, когда я выступал в Думе, я о них почти ничего не знал. Знал только, что они входили в единую социал-демократическую фракцию Думы вместе с семью меньшевиками: А. Ф. Бурьяновым, И. Н. Маньковым, М. И. Чхенкели, М. И. Скобелевым, И. Н. Туляковым, В. И. Хаустовым, А. И. Чхенкели и в дальнейшем с присоединившимся к ним поляком Евгением Иосифовичем Ягелло, работавшим токарным мастером на фабрике Борман и Шведе в Варшаве.

Кроме означенных пяти депутатов-большевиков вначале к ним примкнул избранный московскими рабочими слесарь на фабрике А. Фермста в Московской губернии поляк Роман Вацлавович Мадлиновский, секретарь Союза рабочих по металлу. Однако в 1914 году он был изобличен как провокатор и выбыл из Государственной Думы.

С первого же дня открытия четвертой Думы, 15 ноября 1912 года, внутри социал-демократической фракции началась жестокая борьба между большевиками и меньшевиками, отражавшая принципиальные расхождения в понимании задач революции в России. Разномыслие это привело к тому, что, опираясь на решение ЦК, большевистские депутаты откололись от социал-демократов-меньшевиков, образовав 27 октября 1913 года самостоятельную группу: Российскую социал-демократическую рабочую фракцию.

Между прочим, название это, как я после узнал, предложил В. И. Ленин, имевший с депутатами-большевиками тесную связь, так что даже писал конспекты для их выступлений с кафедры Думы.

* * *

Когда началась война, то в Озерках под Петроградом 3 ноября 1914 года открылась конференция большевиков, на которую приехали и большевистские депутаты-думцы. 4 ноября все участники конференции были арестованы, в том числе и члены Государственной Думы, составлявшие особую Российскую социал-демократическую рабочую фракцию.

Суд над ними состоялся 10 — 13 февраля 1915 года в Особом присутствии Петроградской судебной палаты. Все пять большевиков-депутатов были признаны виновными в том, что принадлежали к организации, ставящей задачей свержение существующего государственного строя, и приговорены к пожизненной ссылке в Турханский край.

Но это было неправильно, так как оставшиеся в Думе члены социал-демократической фракции также принадлежали к организации, стремящейся ниспровергнуть монархию, и только на время войны стали поддерживать правительство. Большевики же и во время войны выступали против нее, призывая солдат бросать винтовки и расходиться по домам. Так что суд должен был бы осудить их именно за это, за деморализацию армии в военное время, но он этого не сделал.

Из меньшевиков же за антиправительственную деятельность были репрессированы только двое, а именно: бухгалтер кредит-

ного товарищества Иван Николаевич Маньков и токарь Азово-черноморского завода в Бердянске Андрей Фадеевич Бурьянов, просидевший два года в крепости по приговору Киевской судебной палаты за принадлежность к социал-демократам и за участие в Южнорусской конференции партии еще до избрания его в Думу.

Таким образом, на второй год войны социал-демократическая фракция Государственной Думы состояла всего из шести меньшевиков: М. И. Скобелева, И. Н. Тулякова, В. И. Хаустова, Н. С. Чхендзе, М. И. Чхенкели и Е. И. Ягелло.

На другой день после открытия четвертой сессии Думы, 20 июля 1915 года, секретарь Иван Иванович Дмитриуков сказал: «От министра юстиции А. А. Хвостова поступило сообщение с копией приговора Петроградской судебной палаты от 13 февраля 1915 года по делу о членах Государственной Думы: Бадаеве, Муранове, Петровском, Самойлове и Шагове, осужденных по статье 102 части первой Уголовного уложения, что означенный приговор вступил в законную силу и приведен в исполнение».

Председатель М. В. Родзянко разъяснил, что на основании статьи 19 Учреждения Государственной Думы депутаты, подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собою лишение или ограничение прав состояния, выбывают из ее состава. Согласно же статье 21 того же Учреждения, члены Государственной Думы признаются выбывшими из ее состава по постановлению Думы. Поэтому для согласования этого противоречия, на основании статьи 115 Наказа, сообщение министра юстиции должно быть передано в комиссию личного состава.

14 августа 1915 года в Думу поступило заявление от имени социал-демократической фракции, подписанное тридцатью двумя депутатами, с предложением комиссии личного состава представить к следующему заседанию свое заключение по этому делу.

Первый подписавший это заявление меньшевик Акакий Иванович Чхенкели протестовал против того, что Дума не реагировала до сих пор на насилие, произведенное правительством над ее членами, чем были самым бесцеремонным образом попораны ее права.

— Прежде чем спасать отечество, — заявил он, обращаясь к членам Думы, — вы должны спасти честь и достоинство того учреждения, где вы сами сидите.

Комиссия личного состава должна была решить весьма трудную задачу — найти выход из противоречивых, взаимно себя уничтожающих статей: исключать ли из членов Государственной Думы арестованных и осужденных пятерых большевиков или же

оставить их в составе законодательной палаты, то есть в таком случае не признать и осудить решение Петроградской судебной палаты.

Н. Е. Марков 2-й от лица фракции правых, состоящей в то время из пятидесяти двух человек, призывал членов Думы не допускать «законно осужденных судом и сосланных в Сибирь людей сидеть на этих скамьях... Я считаю, — продолжал он, — что нет никаких в поведении социал-демократов данных, которые оправдывали бы призыв от имени Государственной Думы к милосердию... никакого милосердия эти люди не заслуживают».

Председатель комиссии личного состава кадет В. А. Маклаков сказал, что поступившее дело о пяти социал-демократах не рассмотрено потому, что трудно в военное время собрать комиссию, но, конечно, если бы Дума пожелала, для срочного представления доклада по этому вопросу препятствий не встретится.

Однако Маклаков был против предложения, внесенного социал-демократической фракцией, и именно потому, что он стоял на той же точке зрения, которой придерживались и авторы запроса. Как и они, он считал что возбуждение дела против пяти большевиков было крупной государственной бестактностью, что «осуждение их по 102-й статье, осуждение в том преступлении, в котором виновны все здесь сидящие их товарищи, и не только они, такое осуждение есть грех нашей юстиции».

Считая, что несправедливость должны быть исправлена, Маклаков не хотел давать повода Думе признать осужденных депутатов выбывшими.

После выступления В. А. Маклакова Николай Семенович Чхеидзе объявил, что еще к началу открытия этой сессии Государственной Думы получена из Туруханска от пяти томящихся там в ссылке товарищей телеграмма следующего содержания:

«Считаем долгом перед страной и перед избирателями заявить, что лишение нас, членов Думы, будет лишением сотен тысяч рабочих избирателей права подать свой голос в решительный момент истории народов России.

Как до суда, так и после него мы остаемся избранниками рабочего класса, действовавшими всегда, во всех случаях, в полном единении с мыслью и чувствами своих избирателей, и заявляем, что только те, кто вручил нам мандат, могли бы выражением своего недоверия нашей деятельности лишить нас прав и обязанностей продолжать защищать интересы рабочего класса.

Отказ Государственной Думы последовать за создателями процесса — единственный и достойный ответ со стороны действительных народных представителей на попытки лишить рабочий класс его представителей в Думе».

Зычный бас Родзянко: «По мотивам голосования член Государственной Думы Шульгин — пять минут» — пробудил меня от тяжелых мыслей обо всем этом деле. Конечно, я не был согласен с призывами Маркова 2-го. Впервые мне нужно было выступать с кафедры против мнения правой фракции.

— Мы будем голосовать, — начал я, — за то же предложение, которое здесь сделал Василий Алексеевич Маклаков. Я взял слово для того, чтобы не было никаких сомнений в этом вопросе. Мы считаем все то, что произошло по отношению к членам Государственной Думы — социал-демократам, — крупной государственной ошибкой (*голоса слева: «Правильно!»*), ошибкой потому, что государственная власть должна прежде всего идти последовательно, ибо последовательный путь есть путь прямой, и никакими соображениями нельзя оправдать привлечение и осуждение людей только за принадлежность к той фракции, которая невозбранно занимает здесь место. Если идти этим путем, нужно идти дальше, нужно призвать к ответу и тех людей, которых здесь достаточно... (*Голоса слева: «Правильно!»*) Я хотел бы еще подчеркнуть с особой энергией, чтобы правительство обратило внимание на это, есть ошибка, и следует принять все меры, чтобы эту ошибку исправить.

Господа, я подтверждаю, что в одной из комиссий депутат, который сейчас говорил перед вами, заявил, что настроение рабочих масс не расходится с теми задачами, которые сейчас стоят перед страной. Этим настроением, господа, надо пользоваться и его надо приветствовать и не оскорблять этих людей, которые желают принести свой труд и свой патриотизм на пользу отечества.

Кажется, впервые слова мои были покрыты рукоплесканиями и криками: «Браво!» отовсюду — из центра, и слева, и справа. Этим вся Дума как бы признавала право изгнанных правительством депутатов занять места вместе со своими товарищами и тем самым осуждала вынесенный им несправедливый приговор. Конечно, крайние правые были против этого, но возражать они не посмели.

О каком же это депутате я упомянул в своем выступлении? Это был присяжный поверенный округа Петроградской судебной палаты, выдвинувшийся защитой по большим политическим процессам тех годов, трудовик Александр Федорович Керенский. Тогда будущему кратковременному правителю России было тридцать четыре года. Он тоже выражал крайнее негодование арестом и осуждением пяти большевистских депутатов и громил прави-

тельство. Говорил страстно, путано. В его речи было много лишних слов, но в ней уже слышались те характерные эффектные призывы, с истерическим надрывом, которые вскоре повлекли за собой мятущиеся революционные массы.

— К вам, господа члены Государственной Думы, — восклицал Александр Федорович, — у меня величайшая просьба: сейчас, когда все острее и острее положение в стране, когда терпение масс истощается, когда то, что идет с Запада, все ближе и ближе к нашим исконным землям, к нашим центрам, забудьте ваши несогласия, забудьте ваши классовые позиции и вспомните о стране, вспомните о Родине, скажите им: руки прочь, вы пораженцы, предатели и продажные люди!

* * *

Так прошел этот день моего возвращения в Думу, когда мне пришлось выступить в защиту пяти большевистских депутатов. Несмотря на арест и осуждение, места были за ними сохранены, и официально как будто ничего не случилось, в «Списке членов Государственной Думы по партийным группировкам» — рабочая фракция в составе пяти членов: Бадаева, Муранова, Петровского, Самойлова и Шагова.

3. Трагедия борьбы

Нарождение так называемого прогрессивного блока сопровождалось расколом фракции «русские националисты», председателем которой был П. Н. Балашов. Отколовшиеся члены Государственной Думы, сторонники блока, образовали новую фракцию — «прогрессивные русские националисты», избравшую своим председателем графа В. А. Бобринского. Меня избрали товарищем председателя, но Владимир Алексеевич часто отсутствовал, и фактически мне пришлось руководить народившейся фракцией. Правая фракция, которая не входила в блок, обрушилась на нас с критикой и нападками.

В это время обсуждался вопрос о военной цензуре, введенной Сухомлиновым. Она существовала с начала войны, но незадолго до своего смещения он ее еще усилил. При этом получались всякие нелепости. Например, когда против Сухомлинова началось следствие, то из-за цензуры, им же введенной, газеты имели такой вид — громадными буквами было напечатано:

«Дело Сухомлинова. Верховная следственная комиссия в своем последнем заседании обсуждала вопрос о деятельности быв-

шего военного министра В. А. Сухомлинова», — а затем пустое место.

Но как вопрос о военной цензуре ни был актуален, формирование прогрессивного блока занимало членов Государственной Думы еще более. Поэтому во время окончания первого обсуждения законопроекта об учреждении военной цензуры выступавшие ораторы, начиная с этого вопроса, несмотря на неоднократные призывы председателя не отклоняться от темы, перескакивали на критику блока.

28 августа 1915 года на программу прогрессивного блока особенно напали националист Петр Африканович Сафонов и независимый Михаил Александрович Караулов.

П. А. Сафонов, обращаясь к нам, заявил под аплодисменты правых, что в наших попытках провести программу блока мы встретим с их стороны «самое энергичнейшее противодействие...»

Касаясь раскола в русской национальной фракции, оратор охарактеризовал его как крупное политическое явление, имеющее серьезное значение, когда целая группа, исповедующая определенные политические принципы, перешла в другой лагерь, отказавшись от них.

Он считал, что «пользуясь затруднительным положением страны, известные политические группы пожелали достичь осуществления той политической программы, которой в течение многих лет добивались».

Но главный упор в своей критике Сафонов делал на еврейский вопрос, выразившись так: «При восстановлении чистоты программы национального союза, в основу которого поставлено: «Еврейское равноправие недопустимо», новая группа написала: «Вступление на путь отмены ограничений в правах евреев».

Несмотря на войну, отношение фракции правых к еврейскому вопросу не изменилось. А мне не могли простить моего участия в защите Бейлиса.

Чтобы ответить на нападки Сафонова, мне, как и прочим, выступавшим до меня, пришлось начать с военной цензуры. Я описал одну юмористическую сценку, связанную с введением у нас цензуры, свидетелем которой был.

— Больше года тому назад, — сказал я, — в самом начале войны, будучи в Киеве, я получил вызов, как тогдашний редактор газеты «Киевлянин», от высшей военной власти явиться к одному лицу. Ему было поручено ознакомить местных газетных деятелей с требованиями вводимой военной цензуры.

Немедленно приехав, я застал этого человека, окруженного, если можно так выразиться, стайей газетчиков, которые с испуганными лицами слушали его и спрашивали:

— Вот это можно?

Ответ:

— Нет!

— А вот это?

— Ни в коем случае!

— А это?

— Боже сохрани!

Так сыпались вопросы один за другим, и на каждый вопрос получался отрицательный ответ. Наконец совершенно перепуганные люди стали спрашивать явно несурзные вещи. Например, один из них спросил:

— Скажите, пожалуйста, вот те объявления о мобилизации, которые расклеиваются по заборам, это можно печатать в газетах?

К моему величайшему изумлению, получился ответ, правда, после некоторого раздумья, но в категорической форме:

— Ни в коем случае нельзя.

И когда кто-то спросил:

— Собственно, почему же нельзя?

Ответ получился еще более интересный:

— Ну, как вы этого не понимаете? Ведь забор ваш в Германию послать нельзя, а номер газеты пошлют же?!

Но, к величайшему огорчению, такой же взгляд и отношение к делу из узкой цензурной области перебросился и в более широкий круг понятий. Мы видим, что в больших государственных и общественных делах происходит нечто подобное...

Тут я попытался ответить нападавшим на прогрессивный блок. При этом я предупредил, что никаких выпадов, никакой полемики я допускать здесь не хочу.

— У нас у всех один враг — Германия, а со своими согражданами бороться не станем, — сказал я. — Можете на нас нападать, мы будем защищаться только в пределах строгой необходимости. Быть может, в этой великой борьбе вы еще пойдете с нами.

Я считаю, что неравноправие евреев есть страшно тяжелая цепь для обеих сторон, для еврейской эта цепь, понятно, почему тяжела, но не менее тяжела она и для нас, потому что основывается на презумпции нашей слабости. А черта оседлости снята не вашим и не нашим или каким-нибудь иным желанием. Она снята военными событиями, так что нечего о ней и разговаривать.

Но еще лучше моего ответил им А. И. Савенко:

— Мы победили самих себя. Мы победили самих себя потому, что сумели встать выше узкой партийности. Мы нашли в себе мужество пойти на известную уступку, на известные жертвы, чтобы этой ценой достичь в Государственной Думе большинства ради победы над общим врагом, ради спасения России.

* * *

20 января 1916 года председателем Совета Министров назначают гофмейстера Бориса Владимировича Штюрмера, о котором столица выражалась так:

— Абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество...

Известный поэт Александр Блок рассказывал:

— Замена на посту председателя Совета Министров окончательно одряхлевшего бюрократа Горемыкина Штюрмером заставила многих призадуматься. Штюрмер имел весьма величавый и хладнокровный вид и сам аттестовал свои руки как «крепкие руки в бархатных перчатках». На деле он был только «футляром», в котором скрывался хитрый обыватель, делавший все «под шумок», с «канцелярскими уловками»... «Старикашка на веревочке», как выразился о нем однажды Распутин, которому случилось и прикрикнуть на беспамятного, одержимого старческим склерозом и торопившегося, как бы только сбуть с рук дело, премьера.

За внешность его называли «святочным дедом». Но этот «дед» не только не принес порядка России, а унес последний престиж власти. К тому же этот «святочный дед» носил немецкую фамилию. Чувствовалось, что он окружен какими-то подозрительными личностями. Но разве дело было в этом? Дело было в том, что Штюрмер — маленький, ничтожный человек, а Россия вела мировую войну. Дело было в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас сделали премьером «святочного деда».

И кому охота, кому это нужно было доводить людей до исступления?! Что это, нарочно, что ли, делалось?!

* * *

Думу все же не разогнали. И не только не разогнали, а по ее настоянию сняли крамольного Горемыкина. Нужно было представить общественности в лице членов законодательных палат нового премьера Б. В. Штюрмера и новое правительство. В силу этого обстоятельства занятия четвертой сессии Государственной Думы 9 февраля 1916 года с семнадцатого заседания были вновь возобновлены.

На кафедре в Таврическом дворце предстал с разъяснениями «святочный дед» и его министры: военный — генерал от инфантерии А. А. Поливанов, морской — адмирал И. К. Григорович и иностранных дел — С. Д. Сазонов.

Отвечая на другой день, 10 февраля 1916 года, правительству, я, разумеется, не мог критиковать Б. В. Штюрмера, который только что был назначен и не успел еще чем-либо проявить себя. Я постарался выяснить, в чем была главная ошибка ушедшего И. Л. Горемыкина, для того, чтобы его последователь не повторил ее.

В чем же она состояла? Фраза, ставшая банальной во всей России, что эту войну ведет весь народ, эта мысль, ясная для всех, не доходила до главы правительства. Иван Логинович считал, что войну ведет армия и ее военачальники, и ответствен за нее только военный министр, а правительство и он сам как его глава тут ни при чем.

Я попытался раскрыть весь ужас, вытекающий из такой деятельности, а вернее — бездеятельности правительства. Ужас этого положения был особенно понятен, ибо все знали, что Горемыкин, занимая враждебную позицию по отношению к прогрессивному блоку, был послушным орудием в руках придворного окружения во главе с Распутиным.

Под возгласы слева: «Правильно, верно!» — я сказал, что в государстве нужна какая-то голова, осмысливающая весь большой процесс народной жизни во время войны, чтобы туда, где происходит нехватка чего-либо, сейчас же приходила на помощь государственная власть, чтобы она, эта власть, в роли государственного смазчика, все время лила бы благодетельное масло там, где подшипник может вспыхнуть и загореться от трения.

— Выполняется ли эта задача властью? — спросил я. — К сожалению, прежней властью она совершенно не выполнялась, и той головы, которая думала бы обо всем этом, в Российской империи не было.

Я предложил новому правительству составить план с ясным отчетом о нашей политике по всем важнейшим отраслям. Этот план должен был быть гибким, приспособляющимся к обстоятельствам, учитывающим возможные изменения в стране при наступлении, позиционной войне и отступлении, отметающим все старые, отжившие системы.

— Именно вот создание такого плана, — сказал я, — и внесение его сюда, в Думу, является самой неотложной задачей минуты. Здесь нужно поставить на него наш штамп и тогда властно и решительно провести его в жизнь. Властно и смело, потому что без властности, без смелости вообще выиграть войны невозможно.

Но невозможно было ее выиграть и без государственной мысли. А между тем эта мысль росла снизу, а не сверху. Она пробива-

лась на всех совещаниях со стороны Государственной Думы, через Центральный военно-промышленный комитет. Там люди обмозговывали в широком масштабе, как планомерно объединить действия.

Но между всеми этими патриотическими стремлениями, попытками, предложениями нужен был какой-то контакт. Нужен был некий объединяющий купол. Где же он мог быть, где его взять? Или в каком-то «сверхсовещании», или в Совете Министров. В Совете Министров под сенью мыслящего за империю «святочного деда»? Какая горькая ирония!

Так все наши действия, подсказанные и опытом, и здравым смыслом, с самым горячим патриотизмом, разбивались об отсутствие единения.

Разумеется, в своей речи я не помянул «святочного деда», но она все же вызвала крайнее раздражение в среде моих бывших товарищей по фракции. Вероятно, их раздражали также овации в мой адрес со стороны левых скамей.

Под рукоплескания в центре и слева, смех и голоса: «Браво!» — я сказал, указывая направо:

— Не могу припомнить, когда правые призывали нас всех и всю страну к забвению распрей... Я ушел с этих скамей, когда увидел, что распри для них не печальная необходимость, а излюбленное ремесло...

— Это некорректно! — закричал в ответ Марков-второй. — Мы вам это напомним, мы вам напомним Бейлиса!

И они действительно напоминали мне это не раз. Мой трезвый взгляд на еврейский вопрос был для них непереносим потому, что я слыл за главу русского антисемитизма. Поэтому нижеследующее мое заявление с кафедры Государственной Думы, сделанное несколько позднее, в одном небольшом выступлении по мотивам голосования 8 марта 1916 года, окончательно привело их в крайнее негодование и ярость.

— Господа, — обратился я тогда к ним. — Скажу вам откровенно. Может быть, я не доживу, но буду счастлив за тех людей, которые доживут до той счастливой минуты, когда мы сможем сказать о том, что все ограничения с евреев сняты, потому что это тяжкое для нас бремя...

Конечно, они не смогли мне этого простить, как не простили Бейлиса.

От фракции правых выступил ректор и профессор Новороссийского университета Сергей Васильевич Левашов. От их имени он заявил, что будет бороться с блоком всеми способами, имеющимися в их распоряжении. Перед этим он говорил о той эпохе, когда народ смел изменнических бояр и спас отечество.

— Не знаю, — сказал я, обращаясь к правым, — может быть, именно к этим способам хотят прибегнуть в борьбе с блоком, но ведь тогда во главе народа стал Минин... Мне кажется, что это не по вашему плечу шуба...

На это П. В. Новицкий воскликнул:

— А по вас Бейлисовы ермолки!

— Минин говорил, — продолжал я, — отдадим все самое дорогое, заложим жен и детей. А вы? Что вы способны пожертвовать, когда не хотите уступить тех скромных предложений, на которых объединилось большинство, слывущее здесь под названием блока.

Они смолчали...

* * *

Так развертывалась эта психическая битва на два фронта. Мне, убежденному монархисту, приходилось вести тяжкую безнадежно трагическую борьбу не только с правительством монарха, за которого я готов был отдать свою жизнь, но и со своими бывшими единомышленниками, считавшими меня ренегатом, предателем их монархических идей, понимаемых ими слишком узко, слишком слепо. Они не видели той пропасти, куда катились...

Во имя чего же я боролся? Во имя спасения страны, во имя спасения династии, без которой я не мыслил существование России. Поистине эта борьба была трагической, ибо я уже тогда предчувствовал ее исход, видел всю ее безнадежность, всю обреченность всех и вся. Трагизм этот усугублялся тем, что верховная власть, по-видимому, тоже была слепа, не видела или, может, не хотела видеть раскрывающейся перед нею бездны...

Неужели же никто не в силах был их вразумить?! Ведь нельзя же так, нельзя же было раздражать людей, страну, народ, льющий свою кровь без края, без счета. Неужели эта кровь не имела своих прав? Неужели эти безгласные жертвы не имели права голоса?

Не все ли равно, в конце концов, какой «святочный дед» Штюрмер? Допустим, что он самый честный из честных. Но, если, правильно или нет, страна помешалась на «людях, заслуживающих доверия», почему их не попробовать? Отчего их было не назначить?..

Допустим, что эти люди доверия были плохи. Но ведь «Столыпина» не было на горизонте. Допустим, Милюков — ничтожество... Но ведь не ничтожнее же он Штюрмера... Откуда было такое упрямство? Какое разумное основание здесь, какое?

Совершалось нечто трансцендентально иррациональное...
Имя ему — Распутин!

Есть нечто, перед чем бессильно опускаются руки... кто хочет себя погубить, тот погубит.

4. Распутин

Есть страшный червь, который точит, словно шашель, ствол России. Уж всю сердцевину изъел, уже и ствола нет. Лишь только одна трехсотлетняя кора еле держится... И тут лекарства нет... Здесь бороться нельзя... Это то, что убивает...

* * *

27 сентября 1967 года в Париже в возрасте восьмидесяти лет скончался человек, вошедший в историю как один из организаторов убийства Распутина.

В двадцать втором номере журнала «Огонек» от 30 мая 1965 года я прочел статью В. П. Владимирова «Встреча на улице Пьер-Герен». Там описано свидание автора в Париже с этим человеком. Его полный титул — князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон.

Феликс Феликсович рассказал Владимирову о кошмарном дне 16 декабря 1916 года, или, точнее сказать, ночи, когда им был убит Распутин. В связи с этим я вспомнил все то, что хотелось бы забыть. Вспомнил и перечел, что рассказано о Распутине в книжке «Дни», написанной мною всего пять лет спустя после страшного события. Этот текст, несколько сокращенный, я и предлагаю вниманию читателя. Тогда все еще было в памяти живо. Сейчас я не мог бы так написать.

* * *

Место действия — «у камина». Пьют кофе — чистый «мокко»
Действующие лица: она и он. Она — немолодая дама, он — пожилой господин. Образ их мыслей возвышается над вульгарной Россией. Так как они порядочные люди, то они говорят только о том, о чем сейчас в Петрограде говорить «принято».

— Я знаю это, — сказала она, — от... (тут следует длинная ариаднина нить из кузин и невесток). И вот что я вам скажу: она очень умна... Она гораздо выше всего окружающего. Все, кто пробовал с ней говорить, были поражены...



*Генерал Л. Г. Корнилов,
Верховный Главнокомандующий Русской армией
в июне—августе 1917 года*



*В. В. Шульгин.
Владимир, 1968 год*

Пригласительный билет В. В. Шульгина на XXII съезд КПСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
XXII съезд
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Пригласительный билет № 002

Тов. *Шульгин*

Василий Витальевич

1961

ДЕЯСТВИТЕЛЕН ПО ПРЕДЪЯВЛЕННИ ДОКУМЕНТА

БАЛКОН НА ВСЕ ЗАСЕДАНИЯ

— Чем? — спросил он.

— Да вот ее умом, уменьем спорить... она всех разбивает... Ей ничего нельзя доказать... В особенности она с пренебрежением относится именно к нам... ну, словом, к Петербургу... Как-то с ней заговорили на эти темы... Попробовали высказать взгляды... Я там не знаю, о русском народе, словом... Она иронически спросила: «Вы что же, это во время бриджа узнали? Вам сказал ваш двоюродный брат? Или ваша невестка?» Она презирает мнение петербургских дам, считает, что они русского народа совершенно не знают...

— А Императрица знает? Через Распутина?

— Да, через Распутина... но и, кроме того... Она ведь ведет обширнейшую переписку с разными лицами. Получает массу писем от, так сказать, самых простых людей... И по этим письмам судит о народе... Она уверена, что простой народ ее обожает... А то, что иногда решаются докладывать Государю, — это все ложь, по ее мнению... Вы знаете, конечно, про княгиню В.?

— В. написала письмо Государыне. Очень откровенное... И ей приказано выехать из Петрограда. Это верно? — спросил он.

— Да, ей и ему... Он? Вы его знаете — это бывший министр земледелия. Но В. написала это не от себя... Она там в письме говорит, что это мнение целого ряда русских женщин... Словом, это, так сказать, протест...

— В письме говорится про Распутина?

— Да, конечно... Между прочим, я хотела вас просить, что вы думаете об этом... словом, о Распутине?

— Что я думаю?... Во-первых, я должен сказать, что я не верю в то, что говорят и что повторять неприятно.

— Не верите? У вас есть данные?

— Данные? Как вам сказать... то, во-первых, до такой степени чудовищно, что именно те, кто в это верят, должны бы были иметь данные.

— Но репутация Распутина? — спросила она.

— Ну что же репутация?... Все это не мешает ему быть мужиком умным и хитрым... Он держит себя в границах там, где нужно... Кроме того, если бы это было... Ведь Императрицу так много людей ненавидят... Неужели бы не нашлось лиц, которые бы раскрыли глаза Государю?

— Но если Государь знает, но не хочет?

— Если Государь знает, но не хочет, — то революции не миновать. Такого безволия монархам не прощают... Но я не верю, — нет, я не верю. Не знаю, быть может, это покажется слишком самоуверенным — судить на основании такого непродолжительного впечатления, но у меня составилось личное мнение

о ней самой, которое совершенно не вмещается, — нет, не вмещается.

— Вы говорили с ней?

— Да, один раз.

— Что она вам сказала?

— Меня кто-то представил, объяснив, что я от такой-то губернии. Она протянула мне руку... Затем я увидел довольно беспомощные глаза и улыбку — принужденную улыбку, от которой, если позволено будет мне так выразиться, ее английское лицо вдруг стало немецким... Затем она сказала, как бы с некоторым отчаянием...

— По-русски?

— По-русски, но с акцентом... Она спросила? «Какая она, ваша губерния?..» Этот вопрос застал меня врасплох, я меньше всего его ожидал...

— Что же вы ответили?

— Что я ответил? Банальность... Ведь трудно же охарактеризовать без подготовки... Я ответил: «Ваше Величество, наша губерния отличается мягкостью. Мягкий климат, мягкая природа... Может быть, поэтому и население отличается мягким характером... У нас народ сравнительно мирный». Тут я замолчал. Но по выражению ее лица я понял, что еще надо что-то сказать... Тогда я сделал то, чего ни в коем случае нельзя было делать... Ибо ведь нельзя задавать вопросов... а само собой разумеется, нельзя задавать глупых вопросов, а я именно такой и задал.

— Ну, что вы?

— Да, потому что я спросил: «Ваше Величество не изволили быть в нашей губернии?..» Казалось бы, я должен был знать, была Государыня в нашей губернии или нет.

— Что же она сказала?

— Ответ получился довольно неожиданный... У нее как бы вырвалось: «Да нет, я нигде не была. Я десять лет тут в Царском, как в тюрьме».

— Даже так? А вы?

— После этого мне осталось только сказать: «Мы все надеемся, что когда-нибудь Ваше Величество удостоит нас своим посещением...» Она ответила: «Я приеду непременно...»

— И приехала?

— Не доехала... Она должна была приехать из Киева, но убили Столыпина, и это отпало... О чем мы говорили?..

— Вы говорили, что у вас личное впечатление...

— Да... Вот личное впечатление, что она англичанка и немка, вместе взятые... Она и Распутин — нет, это невозможно... что угодно, но не это...

— Но что же? Я тоже не верю, — но что в таком случае? Мистицизм? — спросила она.

— Конечно... У сестры ее, Елизаветы Федоровны, то же самое мистическое настроение, которое не приобрело таких ужасных для России форм только потому, что у Елизаветы Федоровны другой характер, менее властный и настойчивый.

— Как так? Почему?

— Потому, что если бы Императрица была мягкая и покорная...

— К сожалению, — ответила она, — этого нельзя сказать про Александру Федоровну... Она прежде всего большая насмешница...

— Да, говорят... Но из остроумия королев всегда вытекает какая-нибудь беда для королевства...

— Но королевам разрешается быть просто умными, надеюсь?..

— Только тем женским умом, который, впрочем, самый высший, который угадывает во всяком положении, как облегчить суровый труд мужа... Облегчить — это вовсе не значит вмешиваться в дела управления. Наоборот, из этого «вмешивания» рождаются только новые затруднения. Облегчить — это значит устранить те заботы, которые устранить можно... И первый долг Царицы — это абсолютное повиновение Царю... Ибо, хотя она и Царица, но все же только первая из подданных Государя...

— Кажется, вы по «Домострою»...

— Весьма возможно... Но подумайте сами... Кто оказывает Царю явное неповиновение перед лицом всей страны? По крайней мере, так твердят все... Кто не знает этой фразы: «Лучше один Распутин, чем десять истерик в день»? Не знаю, была ли произнесена эта фраза в действительности, но в конце концов это безразлично, потому что ее произносит вся Россия.

— Ну и что же? Вывод?

— Вывод: дело не в мистицизме, а в характере Императрицы. Мистицизм сам по себе был бы не опасен, если бы Императрица была «женщина без шипов». Она пожертвовала бы Распутиным, хотя бы и считала его святым старцем. Поплакала бы и рассталась бы сейчас же, в тот же день, когда «подозрение коснулось жены Цезаря».

— Но если она действительно подчинилась влиянию Распутина? Ведь утверждают же, что он сильнейший гипнотизер. Если она верит в то, что он спасает и наследника, и Государя, и Россию, наконец...

— В старину было хорошее для этих случаев слово. Сказали бы, что Гришка «околдовал» Царицу. А колдовство изгоняется молитвой. А молиться лучше всего в монастыре ..

— Монастырь? Да, такие проекты есть... Но если сам Государь . им околдован?

— Если так, то нечего делать: мы погибли... Он если околдован, то из себя самого, изнутри...

— Как? — спросила она.

— Он не может не знать, что делается... Ему все сказано... Его глаза раскрыты...

— Почему вы так думаете?

— Потому, что ради слабости «одного мужа по отношению к одной жене» ежедневно, ежечасно Государь оскорбляет свой народ, а народ оскорбляет своего Государя...

— Как? — спросила она.

— Да так... Разве это не оскорбление всех нас, не величайшее пренебрежение ко всей нации и в особенности к нам, монархистам, — это «приятие Распутина». Я верю совершенно, как это сказать... ну, словом, что Императрица совершенно чиста... Но ведь тем не менее Распутин грязный развратник... И как его пускать во дворец, когда это беспокоит, волнует всю страну, когда это дает возможность забрасывать грязью династию ее врагам, а нам, ее защитникам, не дает возможности отбивать эти нападения... И это во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россия, когда от психологии солдат зависит все... Подумайте, какое бессилие наше в этом вопросе. Ведь заговорить об этом нельзя... Ведь офицер не может позвать свою роту и начать так: «Вот говорят то, другое про Распутина, — так это вздор...» Это невозможно. И тем более невозможно, что может оказаться такой наивный или представляющийся наивным солдат, который скажет: «Разрешите спросить, ваше благородие, а что говорят про Распутина? Так что это нам неизвестно». Офицеру придется рассказывать, что ли?... Ужас, ужас, безвыходное положение. А сколько офицеров верят в это?..

— Да что офицеры, — сказала она. — Ведь Петербург в это верит. Люди, которые объясняют это вот так, как мы с вами, их очень немного... Большинство принимает самое простое, самое грязное объяснение...

— Да, я знаю... И вот это и есть другая сторона драмы... Это ежедневное, ежеминутное оскорбление Государя его народом...

Государь оскорбляет страну тем, что пускает во дворец, куда доступ так труден и самым лучшим, уличенного развратника. А страна оскорбляет Государя ужасными подозрениями... И рушатся столетние связи, которыми держалась Россия. Боже мой, Боже мой, — воскликнул он.

— Что? Ну что?

— Вот что... Как ужасно самодержавие без самодержца...

* * *

Вот о чем денно и ночью жужжит Петроград. Однако, несмотря на эту непрерывную болтовню, в сущности, мы очень мало зна-

ем достоверного об этом человеке, который несет нам смерть. У нас попросту ничего хорошенько о нем не знают...

К тому же считается в высшей степени неприличным иметь с ним какие бы то ни было сношения. Поэтому, например, я в глаза его никогда не видел. Личного впечатления не имею.

Между тем было бы полезно его иметь.

* * *

Вот рассказ некоего Р., киевлянина, которого Киев хорошо знает. По-моему, он старик честный, не глупый, хотя и не очень интеллигентный. Вот что он рассказывал:

— Перед тем, как Государь-Император и Государыня-Императрица и Петр Аркадьевич Столыпин должны были приехать в Киев, за несколько дней получаю я телеграмму: «Григорий Ефимович у вас будет жить на квартире...» Я с Распутиным до этого времени не был знаком и не очень был рад, скажу вам по правде. Во-первых, и так много лишнего беспокойства, а у меня забот, вы сами знаете, было много... Потому что я, как председатель, при проезде Государя должен был со своими молодцами распоряжаться, чтобы все было как надо... А тут еще Распутин... А кроме того, сами вы изволите знать, что про него рассказывают, а у меня жена, вы знаете... Но, думаю, делать нечего, нельзя не принять... Приехал... Ничего... хорошо себя держит, прилично. Простой человек, всех на «ты» называет... Я его принял как мог, он мне сейчас говорит: «Ты, милый человек, мне сейчас хлопоты самое как есть первое место, чтобы при проезде Государя быть».

Ну вот... поставили меня с моими молодцами на Александровской, около музея, в первом ряду... Среди них я Григория Ефимовича поставил. И молодцам моим сказал, чтобы смотреть за ним, как есть... А я хорошо знал, что уж кого-кого, а нас Государь заметит. Потому мои молодцы так уж были выучены, как крикнут «ура», так уж невозможно не оглянуться... От сердца кричат — все разом... Так оно и было. Вот едет коляска, и как мои молодцы гаркнули, Государь и Государыня оба обернулись... И тут Государыня Григория Ефимовича узнала, поклонилась... А он, Григорий Ефимович, как только царский экипаж стал подъезжать, так стал в воздухе руками водить...

— Благословлять?..

— Да, вроде как благословлять... Стоит во весь рост в первом ряду, руками водит, водит... Но ничего, проехали... В тот же день явился ко мне на квартиру какой-то офицер от Государыни к Григорию Ефимовичу: просят, мол, Их Величество Григория Ефимо-

вича пожаловать. А он спрашивает: «А дежурный кто?» Тот сказал. Тогда Григорий Ефимович рассердился: «Скажи матушке-Царице — не пойду сегодня... Этот дежурный — собака. А завтра приду — скажи...» Ну вот, ничего больше вам рассказать не могу... Жил у меня прилично... потом, как все кончилось, очень благодарил и поехал себе... простой человек, и ничего в нем замечательного не нахожу...

* * *

А вот рассказ о том же событии, но совсем в других тонах.

Осенью 1913 года ко мне в Киев пришел один человек, которого я совершенно не знал. Он назвал себя почтово-телеграфным чиновником. Бывало у меня в то время очень много народа. Я пригласил его сесть и уставил на него довольно утомленный взгляд. Он был чиновник как чиновник, только в глазах у него было что-то неприятное. Он начал так:

— Все это я читаю, читаю газеты и часто о вас думаю... Тяжело вам, должно быть?

Мне действительно было несладко в это время, но все же я не понял, о чем он, собственно, говорит, и ждал, что будет дальше.

— Вот ваши друзья на вас пошли... Господин Меньшиков в «Новом времени» очень нападает... Да и другие... Это самое трудное, когда друзья... И знаете вы, что вы правы, а доказать не можете... Через это они все нападают на вас... А если бы могли «доказать», то ничего этого не было бы, всех этих неприятностей...

Я теперь догадался, в чем дело. Он говорил о той травле, которая поднялась против меня в правой печати по поводу того, что «Киевлянин» не одобрил затеи заставить русский судебный аппарат служить политической игре в еврейском вопросе. Словом, о той кампании, которую мои единомышленники по многим другим вопросам повели против меня по поводу дела Бейлиса. Он продолжал:

— Надо вам «доказать» правду... Я тоже знаю, что не Бейлис убил... Но кто? Надо вам узнать, кто же убил Андрюшу Ющинского?..

Он смотрел на меня, и я чувствовал, что его взгляд тяжел и настойчив. Но он был прав. Я ответил:

— Разумеется, для меня, да и разве только для меня, было бы важно узнать, кто убил Ющинского... Но как это сделать?

Он ответил не сразу. Он смотрел на меня, точно старался проникнуть в мой мозг. Я подумал: «Экий неприятный взгляд...»

А он сказал:

— Есть такой человек...

— Какой человек?..

— Такой человек, что все знает... И это знает...

Я подумал, что он назовет мне какую-нибудь гадалку-хиромантку. Но он сказал:

— Григорий Ефимович...

Сказал таинственно, понизив голос, но я его сразу не понял. Потом вдруг понял, и у меня вырвалось:

— Распутин?..

Он сделал лицо снисходительного сожаления.

— И вот вы, как и все... Испугались... Распутин... А ведь он все знает. Я знаю — вы не верите... А вот вы послушайте... Вот я раз шел с ним тут в Киеве, когда он был, по улице на Печерске... Идет баба пьяная-распьяная... А он ей пять рублей дал. Я ему:

— Григорий Ефимович, за что?

А он мне:

— Она бедная, бедная... Она не знает... не знает... У нее сейчас ребенок умер... придет домой — узнает... Она — бедная... бедная, — говорю...

— Что же, действительно умер ребенок?

— Умер... Я проверил... Нарочно проверил, спросил ее адрес... А вот, когда Государь-Император был в Киеве, по Александровской улице ехали... я тогда вместе с ним стоял...

— Где?

— Да на тротуаре... в первом ряду... Все мне было видно очень хорошо... Вот, значит, коляска Государя ехала... Государыня Григория Ефимовича узнала, кивнула ему. А он ее перекрестил... А второй экипаж — Петр Аркадьевич Столыпин ехал... Так он, Григорий Ефимович, вдруг затрясся весь... «Смерть за ним!.. Смерть за ним едет!.. За Петром... за ним...» Вы мне не верите?..

Его взгляд был тяжел... Он давил мне на веки. Я не могу сказать, чтобы мне казалось, что он лжет.

— Я не имею права вам не верить... я вас не знаю...

— Верьте мне, верьте... А всю ночь я вместе с ним почивал, что, значит, перед театром... Он в соседней комнате через тоненькую стеночку спал... Так всю ночь мне заснуть не дал... кряхтел, ворочался, стонал... «Ох, беда будет, ох, беда». Я его спрашиваю: «Что такое с вами, Григорий Ефимович?» А он все свое: «Ох, беда, смерть идет». И так до самого света... А на следующий день, — сами знаете... в театре... убили Петра Аркадьевича... Он все знает, все...

Его взгляд стал так тяжело давить мне на веки, что мне захотелось спать... Он продолжал:

— К нему вам надо... к Григорию Ефимовичу. Он все знает. Он вам скажет, кто убил Ющинского, — скажет... Поверьте мне... Вам же польза будет... Пойдите к Григорию Ефимовичу, — поезжайте к нему...

Нет, что это со мной такое?.. Взгляд его глаз «точно свинцом» давит мне на веки... Хочется спать. И вдруг мысль как-то ослепительно сверкнула во мне: уж не гипнотизирует ли он меня?..

Я сделал усилие, встрепенулся и сбросил с себя что-то. В то же мгновение он схватил меня за руку...

— Ну и нервный же вы человек, Василий Витальевич!..

Я встал.

— Да, я нервный человек... И потому мне лучше не видеться с Григорием Ефимовичем, который такой же нервный, как и я и как вы... До свидания...

Он ушел и больше ко мне не являлся. Но у меня надолго осталось какое-то странное чувство: точно ко мне прикоснулся фрагмент чего-то таинственного, что я мог бы узнать больше, если бы захотел...

Но можно ли свести рассказ этого человека с рассказом Р.? Можно: этот чиновник мог быть одним из «молодцов» Р., мог жить у него на квартире эти дни, мог стоять за Распутиным во время проезда Государя...

* * *

— Скажите, что правда во всем этом... О Распутине... Он действительно имеет влияние?.. Неужели это верно, что он пишет «каракули» и эти «каракули» имеют силу наравне... с высочайшим рескриптом?

У В. изящно-грубоватая речь, мало подходящая к посту товарища министра внутренних дел.

— Правда вот в чем... Распутин прохвост и «каракули» пишет прохвостам... Есть всякая сволочь, которая его «каракули» принимает всерьез... Он тем и пишет... Он прекрасно знает, кому можно написать. Отчего он мне не пишет? Оттого, что он отлично знает, что я его последними словами изругаю. И с лестницы он у меня заиграет, если придет. Нет Распутина, а есть распутство. Дрянь мы, вот и все. А на порядочных людей никакого влияния он не имеет.

— Все же, говоря, будто он влияет на назначение министров?

— Вздор! Дело совсем не в этом... Дело в том, что наследник смертельно болен... Вечная боязнь заставляет Императрицу бросаться к этому человеку. Она верит, что наследник только им и жи-

вет... А вокруг этого и разыгрывается весь этот кабак... Я вам говорю, Шульгин: сволочь — мы...

* * *

Вот рассказ в другом стиле.

— Я вчера познакомился с Распутиным... — сказал мне один мой молодой друг, журналист.

— Как это было?

— Да вот как... Он на меня посмотрел, рассмеялся и хлопнул по плечу. И сказал: «Жулик ты, брат...»

Надо сказать, что мой молодой друг, конечно, не жулик. Но ловкий парень из донских казаков с университетским образованием.

— А вы что?

— А я ему говорю: «Все мы жулики. И вы, Григорий Ефимович, — жулик...» А он рассмеялся и говорит: «Ну, пойдём водку пить».

— И пили?

— Пили. Он не дурак выпить...

— Что же это за человек?

— Да знаете, просто хитрый, умный мужик, и больше ничего... Пил, смеялся...

— Кто же там был?

— Да масса народа... Говорили речи. Все, конечно, в честь него. Он ничего, слушал... Только раз, когда мой патрон, вы его знаете, начал говорить, что вот земля Русская была темна и беспросветна, а наконец взошло солнце — Григорий Ефимович, — он его вдруг остановил: «Ври, брат, ври, да не слишком...»

* * *

Член Государственной Думы Е., очевидно, не страдает теми предрассудками, которыми опутаны мы все. Вчера он пьянствовал с Гришкой.

То, что он рассказывает, — определено — водка и бабы...

— Кто же эти бабы?

Увы, это не демимонденки.

Распутин есть функция распутности некоторых дам, ищущих... «ощущений». Ощущений, утраченных вместе с вырождением.

* * *

— Была мама — очень красивая... Наташа — прелесть хорошенькая, я... конечно, не хорошенькая...

- Прикажете противоречить?
- Не надо... Словом, нас было трое и Гришка...
- Где ж это было?
- Это было у отца протоиерея... Он очень хорошо служил, вроде как отец Кронштадтский... Нервно так, искренно... И вообще он был очень хороший человек... Ему часто говорили: «Отчего вы не позовете к себе Григория Ефимовича?» А он все не хотел говорить, что им не о чем разговаривать... Наконец позвал... И вот мы тогда тоже были...
 - И вы его видели?..
 - Ну да, как же... за одним столом сидели...
 - Какой же он?
 - Он такой широкоплечий, рыжий, волосы жирные... лицо тоже широкое... Но глаза!.. Они маленькие, маленькие, но какие!
 - Неприятные?
 - Ужасно неприятные... Неизвестно какие, не то коричневые, не то зеленые, но когда посмотришь — так неприятно, что даже сказать нельзя. И Наташа то же самое говорила... Она его еще раз видела в Александро-Невской лавре, он на нее так посмотрел, что она во второй раз побежала прикладываться... чтобы «очиститься»... А одет он шикарно, шелковая рубашка и все такое... На нем вроде как поддевка и все особенное...
 - Что же, он себя прилично держал?
 - Вполне прилично. Он все разговаривал с батюшкой, все какие-то духовные разговоры... Но я вам вот что скажу... Есть такая М-анна...
 - Русская?
 - Ну да, русская...
 - Почему же она М-анна?..
 - Потому что она просто Мария... это она сама себя так называла... Она дочь графини П. Вы знаете, кто графиня П.?
 - Знаю.
 - Ну, так вот... Эта М-анна носила красную юбку, — вот до сих пор, задирала ноги выше головы, короткие волосы — цвета перекиси, лицо не без косметики, и вообще была совершенно неприличная женщина. Была она, как говорится, «развратная до мозга костей», и в лице это у нее даже было... И, подумайте, она бывала при Дворе и все такое... Сходила, расходилась, то с тем, то с другим; в конце концов добралась до Распутина... И другая есть — Г., она дочь сенатора... Эта немножко лучше, но тоже очень низко опустилась... Все-таки с ней можно было разговаривать... И вот она мне рассказывала про Распутина, что он совершенно особенный человек, что он дает ей такие ощущения...
 - Что же она... была с ним... как это сказать... в распутинских отношениях?..

— Ну да, конечно... И вот она говорила, что все наши мужчины ничего не стоят...

— А она, что же, всех «наших мужчин» испытала?

— О, почти что... И она говорила, что Распутин — это нечто несравнимое... Я ее тогда спросила: «Значит, вы его очень любите, Григория Ефимовича? Как же вы его тогда не ревнуете? Он ведь и с М-анной, и с другими, и со всеми...» Конечно, я была дура... Она ужасно много смеялась надо мной, говорила мне, что я совсем глупенькая и «восторженная»... И говорила, что много таких есть, которые совершенно погрузились в мистицизм и ничего не понимают и не подозревают даже, что такое на самом деле Распутин.

* * *

Итак — вот.

Хоровод «мятежных душ», неудовлетворенных жизнью, любовью. В поисках за «ключами счастья» одни из них ударяются в мистицизм, другие — в разврат... Некоторые и в то и в другое... Увы, они танцуют на вершинах нации... свою ужасную пляску смерти. Этот своеобразный порочный круг вьется через всю столицу: от дворцов к соборам, от соборов к притонам и обратно. Этот столичный хоровод, естественно, притягивает к себе из глубины России, с низов, родственные души... Там, на низах, издревле, с незапамятных времен, ведутся эти дьявольские игрища, где мистика переплетается с похотью, лживая вера с истинным развратом... что же удивительного, что Санкт-Петербургская гирлянда, мистически-распутная, притянула к себе Гришку Распутина, типичного русского «хлыста»! Вот на такой почве произошло давно жданное слияние интеллигенции с народом!.. Гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-мистичку, а в другой — истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своим двуликим фасом — кудесника и сатира...

Ужас в том, что хоровод этот пляшет слишком близко к престолу... можно сказать, у подножия трона... Благодаря этому Гришка получил возможность оказать свое странное влияние на некоторых великих княгинь... Эти последние ввели его к Императрице...

Хлыст не обязан быть идиотом... Хлыст может быть и хитрым мужиком... Гришка прекрасно знал, где каким фасом своего духовного обличия поворачиваться...

Во дворце его принимали как святого старца, чудодейственного человека, предсказателя.

Скажи мне, кудесник, любимец богов...

Императрица во всякое время дня и ночи дрожала над жизнью единственного сына.

Кудесник очень хорошо все понял и ответил:

Отрок Алексей жив моей грешной молитвой... Я, смиренный Гришка, послан Богом охранять его и всю царскую семью: доколе я с вами, не будет вам ничего худого...

*Грядущие годы таятся во мгле,
И .. вижу твой жребий на светлом челе.*

Но никто не понял, когда этот человек переступил порог царского дворца, что пришел тот, кто убивает...

Он убивает потому, что он двуликий...

Царской семье он обернул свое лицо «старца», глядя в которое Царице кажется, что дух Божий почивает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего-сатира из тобольской тайги... И из этого — все...

Ропот идет по всей стране, негодующей на то, что Распутин в покоях Царицы...

А в покоях Царя и Царицы — недоумение и горькая обида... Чего это люди беснуются?... Что этот святой человек молится о несчастном Наследнике?... О тяжело больном ребенке, которому каждое неосторожное движение грозит смертью, — это их возмущает. За что?... Почему?..

Так этот посланец смерти стал между тронном и Россией... Он убивает, потому что он двуликий... Из-за двуличия его обе стороны не могут понять друг друга... Царь и Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в пропасть...

* * *

Это было во дворце Великого князя Николая Михайловича на набережной... Большая светлая комната, не имевшая определенного назначения, служащая одновременно и кабинетом, и приемной... Иногда тут даже завтракали совершенно интимно — за круглым столиком...

Так было и на этот раз. За кофе Великий князь заговорил о том, для чего он нас, собственно, позвал, одного из основателей «Союза освобождения» прогрессиста Николая Николаевича Львова и меня:

— Дело обстоит так... Я только что был в Киеве... И говорил со вдовствующей Императрицей... Она ужасно обеспокоена... Она знает все, что происходит, и отчасти после разговора с ней я решил-

ся... Я решил написать письмо Государю... Но совершенно откровенно... до конца... Все-таки я значительно старше, кроме того, мне ничего не нужно, я ничего не ищу, но не могу же я равнодушно смотреть, как мы сами себя губим... Мы ведь идем к гибели... В этом не может быть никакого сомнения... Я написал все это... Но письмо не пришлось послать... Я поехал в Ставку и говорил с ним лично. Но, так сказать, чтобы это было более определенно... к тому же я лучше пишу, чем говорю... я просил разрешения прочесть это письмо вслух... И я прочел...

Великий князь стал читать нам это письмо.

Что было в этом письме?... Оно было написано в сердечных родственных тонах — на «ты»... В нем излагалось общее положение и серьезная опасность, угрожающая трону в России. Много места было уделено Императрице. Была такая фраза: «Конечно, она не виновата во всем том, в чем ее обвиняют, и, конечно, она тебя любит...» Но... но страна ее не понимает, не любит, приписывает ей влияние на дела — словом, видит в ней источник всех бед...

Государь выслушал все до конца. И сказал:

— Странно... Я только что вернулся из Киева... Никогда, кажется, меня не принимали, как в этот раз...

На это Великий князь ответил:

— Это, быть может, было потому, что ты был один с Наследником... Императрицы не было...

Великий князь стал рассказывать еще... много ушло из памяти — боюсь быть неточным.

В конце концов Львов спросил:

— Как вы думаете, Ваше Высочество, произвели впечатление ваши слова?

— Не знаю... может быть... боюсь, что нет... Но все равно... Я сделал... я должен был это сделать...

* * *

— Вы уезжаете?

Я уезжал в Киев. Пуришкевич остановил меня в Екатерининском зале Таврического дворца. Я ответил:

— Уезжаю.

— Ну, всего хорошего.

Мы разошлись, но вдруг он остановил меня снова.

— Послушайте, Шульгин, вы уезжаете, но я хочу, чтобы вы знали... Запомните шестнадцатое декабря...

Я посмотрел на него. У него было такое лицо, какое у него уже раз было, когда он мне сказал одну тайну.

— Запомните шестнадцатое декабря...

— Зачем?

— Увидите, прощайте...

Но он вернулся еще раз.

— Я вам скажу... Вам можно... Шестнадцатого мы его убьем...

— Кого?

— Гришку.

Он заторопился и стал мне объяснять, как это будет. Затем:

— Как вы на это смотрите?

Я знал, что он меня не послушает. Но все же сказал:

— Не делайте...

— Как? Почему?

— Не знаю... противно...

— Вы белоручка, Шульгин.

— Может быть... Но, может быть, и другое... Я не верю во влияние Распутина.

— Как?

— Да так... Все это вздор. Он просто молится за Наследника.

На назначение министров он не влияет. Он хитрый мужик...

— Так, по-вашему, Распутин не причиняет зла монархии?

— Не только причиняет, он убивает ее.

— Тогда я вас не понимаю...

— Но ведь это ясно. Убив его, вы ничему не поможете... тут две стороны. Первая — это то, что вы сами назвали «чехардой министров». Чехарда происходит или потому, что некого назначить, или кого ни назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помешалась на людях «общественного доверия», а Государь как раз к ним доверия не имеет... Распутин тут ни при чем... Убьете его — ничто не изменится...

— Как не изменится?..

— Да так... Будет все по-старому... Та же «чехарда министров».

А другая сторона — это то, чем Распутин убивает: этого вы не можете убить, убив его... Поздно...

— Как не могу? Извините, пожалуйста... А что же, вот так сидеть?.. Терпеть этот позор? Ведь вы же понимаете, что это значит? Не мне говорить — не вам слушать. Монархия гибнет... Вы знаете, я не из трусливых... Меня не запугаешь... Помните вторую Государственную Думу... Как тогда ни было скверно, а я знал, что мы выплывем... Но теперь я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами Россия... Вы знаете, что происходит? В кинематографах запретили давать фильмы, где показывалось, как Государь возлагает на себя Георгиевский крест. Почему?.. Потому что как только начнут показывать, — из темноты голос: «Царь-батюшка с Егорием, а Царица-матушка с Григорием...»

Я хотел что-то сказать, он не дал.

— Подождите. Я знаю, что вы скажете... Вы скажете, что все это неправда про Царицу и Распутина... Знаю, знаю, знаю... неправда, неправда, но не все ли равно? — я вас спрашиваю. Пойдите — доказывайте... кто вам поверит? Вы знаете, Гай Юлий был не дурак: «И подозрение не должно касаться жены Цезаря...» А тут не подозрение... тут...

Он вскочил:

— Так сидеть нельзя. Все равно. Мы идем к концу. Хуже не будет. Убью его как собаку... Прощайте...

* * *

Когда наступило 16 декабря, они его действительно убили...

Это была попытка спасти монархию старорусским способом: тайным насилием...

Весь XVIII век и начало XIX прошли под знаком дворцовых переворотов. Когда «случайности рождения» (выражение Ключевского) подвергали опасности единодержавие, какие-то люди, окружавшие престол, исправляли «случайности рождения» тайным насильственным способом... При этом иногда обходилось без убийства, иногда нет...

В начале XX века эти люди стали мельче... На дворцовый переворот их не хватало... вместо этого они убили Распутина...

Цели это, конечно, не достигло. Монархию это не могло спасти, потому что распутинский яд уже сделал свое дело... что толку убивать змею, когда она уже ужалила...

Но при всей его бесцельности убийство Распутина было актом глубоко монархическим...

Так его и поняли...

Когда известие о происшедшем дошло до Москвы (это было вечером) и проникло в театры, публика потребовала исполнения гимна.

И раздалось, может быть, в последний раз в Москве:

Боже, Царя храни...

А через три дня, 21 декабря 1916 года, Царь со своей семьей тайно в небольшой часовне недалеко от Царского Села присутствовал, по его словам, при грустной картине. В конце дня он записал: «Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря извергами в доме Ф. Юсупова, стоял уже опущенным в могилу, вырытую под иконостасом часовни, отец Александр Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись

домой. Погода была серая при 12° мороза. Погулял до докладов...»

После Февральской революции прах «старца» был найден солдатами и сожжен в Парголовском лесу вместе с гробом.

5. Роковой человек

Роковым человеком Александр Блок назвал Протопопова. Он считал, что Распутин накануне своей гибели как бы завещал Протопопову свое дело и тот исполнил его и, сам того не желая, сыграл решающую роль в ускорении гибели династии.

Что же за человек был Протопопов? Мы, члены Государственной Думы, знали его хорошо, так как при М. В. Родзянко он был товарищем председателя. Землевладелец и промышленник из симбирских дворян, камер-юнкер высочайшего Двора, Александр Дмитриевич принадлежал к партии «Союз 17 октября», и все считали, что он с другими ее членами в августе 1915 года вошел в прогрессивный блок. По-видимому, это так и было, хотя впоследствии он отрицал свое участие в блоке, когда повел против него борьбу. Словом, в нашей среде он оказался Иудой-предателем.

Не порывая со своими товарищами по блоку и вообще с думской средой, ему удалось проникнуть в «мистический круг» тибетского доктора Петра Александровича Бадмаева.

Этот загадочный врач имел под Петроградом прекрасно обставленную дачу-санаторий, где он лечил аристократическую знать тибетскими травами. Распутин был постоянным гостем на даче Бадмаева, где вдали от любопытных глаз вершились большие дела и бывали высокосановные лица. Душою бадмаевского кружка являлась подруга Императрицы фрейлина Анна Александровна Вырубцова, урожденная Танеева, которую Протопопов называл «фонографом слов и внушений Распутина».

Невыясненная нервная болезнь, а как говорили некоторые, прогрессивный паралич, главное же — знакомство с Распутиным раскрыли для будущего министра двери бадмаевской дачи. Там пролежал он свыше полугода, лечась у тибетского волшебника. Там ему открылась в Распутине «удивительная проницательность, сердечность, мягкость и простота». А старец говорил, что он «из того же мешка» и что у него «честь тянется, как подвязка».

Ничего не сделав, Протопопов начинал уже приобретать авторитет в вопросах разрешения продовольственного кризиса. Тогда еще его честолюбивые планы не шли далее поста товарища министра торговли и промышленности.

Летом 1916 года Протопопов во главе парламентской делегации членов Государственной Думы и Государственного Совета совершил поездку в дружественные страны Европы.

Аудиенции у английского короля Георга V и итальянского Виктора-Эммануила III подняли Протопопова на высоту чрезвычайную, вскружив ему голову.

Парламентская делегация вернулась в Петроград 17 июня 1916 года, но товарища председателя Государственной Думы с ней не было. По просьбе министра финансов П. Л. Барка он задержался в Лондоне для выяснения вопроса о займе, а затем в Стокгольме. Здесь он имел в номере гостиницы тайное свидание с консультантом германского посольства гамбургским банкиром доктором Варбургом, специально командированным для этого германским послом в Швеции фон Люциусом. При переговорах присутствовал товарищ Протопопова по парламентской делегации член Государственного Совета граф Д. А. Олсуфьев. Русский посланник в Стокгольме А. В. Неклюдов, по словам Протопопова, просил его не отказываться от свидания с Варбургом, чтобы узнать условия сепаратного мира. Это свидание решило судьбу «рокового человека».

По возвращении из-за границы Протопопова немедленно вызвали в Ставку. Там он имел двухчасовую беседу с Государем. Царь особенно заинтересовался стокгольмским свиданием и не только не был возмущен им, но, наоборот, отнесся к нему весьма благосклонно. Как потом рассказывал Протопопов, при встрече с Государем они очаровали друг друга. Царь будто бы сразу полюбил его и вполне ему доверился. А у Протопопова под влиянием такого обращения с ним монарха внезапно вспыхнуло искреннее обожание «хозяина земли русской» и всей его семьи.

После аудиенции в Ставке Протопопов уехал в деревню, условившись с генералом Курловым, что при первой же надобности он будет вызван им в Петроград. Распутина «осенило», и он стал изрекать: «Что скажет Протопопов, то пусть и будет, а вы его еще раз кашей покормите».

Тибетский кудесник Бадмаев сообщил генералу Курлову, что его друг произвел на «папу» прекрасное впечатление, что за него «благодарили».

1 сентября 1916 года Протопопов получил от Курлова телеграмму: «Приезжай скорей». Ему было велено подать всеподданнейший доклад о вступлении в должность управляющего Министерством внутренних дел вместо пробывшего на этом посту всего лишь два

месяца А. А. Хвостова. А 7 сентября Императрица писала в Ставку: «...Григорий убедительно просит тебя назначить на эту должность Протопопова. Ты его знаешь, и он на тебя произвел такое хорошее впечатление, — к тому же так пришлось, что он член Думы (не из левых) и, таким образом, будет знать, как к ним относиться... Он в дружбе с нашим Другом уже по крайней мере четыре года, и это очень много говорит за него. Я его не знаю, но верю в мудрость и советы нашего Друга».

Под «другом» с большой буквы разумелся, конечно, Распутин. И вот 16 сентября 1916 года на докладе Протопопова подлинною Его Императорского Величества рукой было начертано: «Дай Бог, в добрый час!»

В царской Ставке, куда Протопопов явился после назначения, его обласкали. Он успокоил Государя своим планом разрешения продовольственных затруднений. Под конец беседы Царь спросил его, давно ли он знаком с Распутиным. Экспансивная признательность старцу и искреннее увлечение Протопопова своей миссией понравились монарху.

Итак, счастливая звезда Протопопова взошла. Все это произошло совершенно неожиданно для всех, а отчасти и для него самого. Объятый манией величия, он разработал собственный план спасения России, замышляя передать продовольственное дело в Министерство внутренних дел, произвести реформу земства и полиции и разрешить еврейский вопрос.

Планета Юпитер, проходящая под Сатурном, как предсказал новому министру гадатель Шарль Перэн, благоприятствовала ему. Включившись в «чехарду министров», Протопопов так прочно закрепился, что чехарда завертелась вокруг него как бы около некоей мистической оси, поддерживающей падающую в пропасть империю, доколе не пробил ее роковой час. Три премьера сменилось при нем. Но это его мало тревожило, — ведь он стал любимцем Царя. В Совете Министров он был редким гостем, проводя большую часть времени в Царском Селе. Несмотря на окружавшую его враждебность и на многочисленные попытки весьма влиятельных лиц заставить его уйти, он продолжал свое дело до последней минуты.

* * *

С первого же шага к министерскому креслу Протопопов возбудил к себе неприязнь и презрение не только со стороны своих товарищей по блоку, что понятно, но и правительственных кругов, где на него смотрели как на выскочку. Только в Царском Селе он пользовался прочным успехом.

Надев жандармский мундир, недавний октябрист, проповедник тезиса о том, что «гений целого народа нельзя поставить в рамки чиновничьей указки», чувствовал все-таки некую неловкость. Государственная Дума и прогрессивный блок были досадным пятном на фоне головокружительного успеха. Ему захотелось как-то смягчить, сгладить свои отношения с товарищами по блоку.

Вечером 19 октября 1916 года я пришел на квартиру Михаила Владимировича Родзянко. Здесь кроме меня собрались десять членов прогрессивного блока. От группы центра пришли Николай Дмитриевич Крупенский, Дмитрий Николаевич Сверчков и подполковник в отставке Борис Александрович Энгельгардт. От партии кадетов — Павел Николаевич Милюков и врач Андрей Иванович Шингарев, остальные, за исключением националиста Дмитрия Николаевича Чихачева, были октябристы: секретарь Думы Иван Иванович Дмитриюков, граф Дмитрий Павлович Канист-второй, Никанор Васильевич Савич и Виктор Иванович Стемпковский.

Родзянко предупредил нас, что мы приглашаемся на неофициальную встречу с министром внутренних дел, по его желанию. Протопопов вошел в мундире.

— У меня просьба: побеседовать с вами запросто. Чтобы ничто не вышло из этой комнаты, — сказал он, усаживаясь в кресло.

— Александр Дмитриевич, пора секретов прошла, — резко возразил ему Милюков. — Я не могу дать вам требуемого обещания... Обо всем, что здесь будет происходить, я должен буду доложить фракции.

— В таком случае я ничего не могу говорить... Извиняюсь... Извиняюсь, что потревожил председателя Государственной Думы и вас, господа... Но что же произошло? Что произошло, что вы не хотите беседовать со мною по-товарищески?

— Как?! — закричал Милюков, вскакивая с места и подходя к Протопопову. — Как, что произошло? Вы хотите знать, что произошло? Я вам скажу... Человек, который служит вместе со Штюмером, человек, освободивший Сухомлинова, которого вся страна считает предателем, человек, преследующий печать и общественные организации, не может быть нашим товарищем. Говорят притом об участии в вашем назначении Распутина. Это правда?

— Я отвечу по пунктам. Что касается Сухомлинова, он не освобожден, а изменена лишь мера пресечения...

— Он сидит у себя дома, — перебил его Милюков, — под домашним арестом и просит о снятии его...

— Да. Что же касается печати, — она от меня не зависит. Она в военном ведомстве. Но я ездил к начальнику Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Сергею Семеновичу Хабалову и освободил «Речь» от предварительной цензуры. О Распутине я хотел бы ответить, но это секрет, а я здесь должен говорить для печати. Павел Николаевич затыкает мне рот, чтобы я не мог объясниться с товарищами. Я мог бы ожидать после нашей совместной поездки за границу, что, по крайней мере, сердце заговорит... смягчит отношения... По-видимому, я ошибался. Что же делать, что делать... Я хотел столкнуться, но если этого нельзя и ко мне так враждебно относятся, я принужден буду пойти один...

— Прежде чем товарищески беседовать, — сказал Шингарев, — нужно выяснить вопрос, можем ли мы еще быть товарищами. Мы не знаем, каким образом вы назначены. Слухи указывают на участие в этом деле Распутина... Затем вы вступили в министерство, главой которого является Штюрмер — человек с определенной репутацией предателя. И вы не только не отгородились от него, но, напротив, из ваших интервью мы знаем, что вы заявили, что ваша программа — программа Штюрмера и что он будет развивать вашу программу с кафедры Государственной Думы. В ваше назначение освобожден другой предатель — Сухоплинов, и вы заняли место человека, который удален за то, что не захотел этого сделать. При вас же освобожден Манасевич-Мануйлов, личный секретарь Штюрмера, о котором ходят самые темные слухи...

И наконец, в происходящих теперь рабочих волнениях ваше министерство действует, по слухам, как и прежде, путем провокации. Вы пускаете в рабочую среду всевозможные слухи. Вы явились к нам не в скромном сюртуке, а в мундире жандармского ведомства. Как понимать это? Вот обо всем этом мы желали бы слышать от вас прежде, чем определить, каковы должны быть наши отношения.

— Я пришел сюда с целью побеседовать с вами. Что же я вижу? Выходит, что я присутствую здесь в качестве подсудимого. Притом вы можете говорить все, что вам заблагорассудится, тогда как мне Павел Николаевич зажал рот своим заявлением, что то, что я скажу, появится завтра в печати. При этих условиях я не могу говорить многих интимных вещей, который опровергли бы те слухи, которым вы напрасно поверили.

Например, Распутина я видел несколько лет тому назад, при обстановке, совершенно далекой от нынешней. Я личный кандидат Государя, которого я теперь узнал ближе и полюбил. Но я не могу говорить об интимной стороне этого дела...

В департамент полиции я взял человека мне известного и чистого...

Под «известным и чистым человеком» Протопопов разумел своего друга генерала П. Г. Курлова, которого он назначил товарищем министра внутренних дел и шефом корпуса жандармов.

Голоса перебили его:

— А роль Курлова при Столыпине?

— Курлова обвиняют напрасно...

— А записка Новицкого? — воскликнул Милюков.

— Ну вот, господа, вы верите разным запискам. Столыпин убит не по его вине. Курлов до убийства Петра Аркадьевича был уже назначен сенатором. Об этом у меня в столе бумаги есть...

— Мы все, — сказал я, обращаясь к Протопопову, — действительно, прежде всего, должны решить вопрос о наших отношениях. Мы все осуждали вас, и я осуждал публично и считаю поэтому своим долгом повторить это осуждение в вашем присутствии. Предупреждаю, что доставлю несколько тяжелых минут... Мы не знали, что думать. Или вы мученик, если шли «туда» с целью что-нибудь сделать при явной невозможности сделать что бы то ни было в этой среде, или вы честолюбец, если просто увлеклись блестящим положением, не скрывая от себя, что вы сделать ничего не можете... В какое, в самом деле, положение вы себя поставили? Были люди, которые вас любили, были многие, которые вас уважали... Теперь... теперь ваш кредит очень низко пал. Вы отрезали себя от единственных людей, которые могли бы поддержать вас «там». Этот разговор, который мы ведем теперь, надо было вести до того, как вы приняли власть. При этих условиях понятно, почему Павел Николаевич не считает возможным сделать секрета из нашей беседы. Завтра же, когда общество узнает, что мы беседовали с вами, оно может предположить, что мы с вами вошли в заговор... Вас мы не поддержим, а себя погубим подобно вам. Я допускаю еще возможность секрета, если бы сегодня мы ни к чему не пришли. Тогда так и можно сказать: говорили, но ни до чего не договорились. Но если мы на чем-нибудь согласимся, то тогда уж мы обязаны будем сообщить обществу, почему мы нашли возможным согласиться.

— Если здесь говорят, что меня больше не уважают, то на это ответ может быть дан не в обществе, а лицом к лицу с пистолетом в руках, — раздраженно ответил мне Протопопов. — Что касается отношения ко мне общества, сужу о нем по моим большим приемам. Туда приходит множество обездоленных и страдающих, и никто еще не уходил без облегчения. Это общество меня ценит. За вашей поддержкой я пришел, но ее не нахожу. Что ж делать, пойду дальше один. Ведь меня ни разу даже не пригласили в блок. Я там ни разу не был...

— Это ваша вина, — возразил Милюков.

— Я исполняю желания моего Государя... Вы хотите потрясений, перемены режима, но этого вы не добьетесь, тогда как я понежному кое-что могу сделать...

— Теперь такое положение, когда именно вредно сделать кое-что, — сказал на это Стемповский.

— Это недолго — уйти, — продолжал Протопопов, — но кому передать власть? Я вижу только одного твердого человека — это Трепов. Для меня мое положение может быть убийственно, но я буду делать что могу. Отчего вы даже Хвостова встретили лучше, чем встречаете меня?

— Я говорил о том, — ответил Милюков, — что раз наше совещание имеет политическое значение, то я не могу молчать о нем перед политическими друзьями.

— Дайте слово, что в печати ничего не будет.

— Я никак не могу дать такого обещания. Я могу, однако, сказать, что мы не сообщаем того, что составляет государственную тайну. Александру Дмитриевичу достаточно сказать, что именно его сообщения имеют такой характер, чтобы оградить себя от разглашения тайны.

Я перехожу к другому. Почему назначение Александра Дмитриевича не похоже на назначение Хвостова? Хвостов принадлежит к политической партии, которая вообще не считается с общественным мнением, а Александр Дмитриевич вступил во власть как член определенных политических сочетаний. На него падал отблеск политического значения той партии, к которой он принадлежит, и того большинства, к которому его причисляли. Его считали членом блока.

— Как товарищ председателя Государственной Думы, — ответил Протопопов, — я считал долгом быть беспартийным и потому не могу считать себя членом блока.

— Но, позвольте, — возразил граф Капнист 2-й, — это удивительно. Как возможно такое отношение Александра Дмитриевича к фракции?

— Я очень рад, — сказал Милюков, — этому разъяснению, так как оно значительно упрощает объяснение вашего вступления в министерство. В этом винили блок. Но, кроме того, вы были товарищем председателя Думы и в этом качестве стали известны за границей как председатель нашей делегации.

— Вы не знаете, с каким сочувствием отнеслись за границей к моему назначению. Я получил массу приветствий...

— Вы получили их не как Александр Дмитриевич, а как человек, на которого падал отблеск, как человек репрезентативный. Что касается сведений иностранной прессы, то мы знаем, как она

информируется. Я сам читал телеграмму вашего агентства в Париже. Что в ней говорилось? В ней говорилось, что ваше назначение принято сочувственно парламентскими кругами. Как оно принято в действительности — вы теперь видите.

Между прочим, за границей вы тоже говорили, что вы монархист. Но там я не обратил внимания на это заявление. Мы все ведь монархисты. И казалось, что нет надобности это подчеркивать. Но когда здесь выкопали это место из ваших заграничных речей и стали восхвалять вас как монархиста, я задался вопросом, с которым я обращаюсь к вам: в каком смысле вы монархист? В смысле неограниченной монархии или же вы остаетесь сторонником конституционной монархии? Я хотел бы, чтобы вы нам объяснили эту двусмысленность.

— Да, я всегда был монархистом. А теперь я узнал лично Царя и полюбил его. Не знаю за что, но и он полюбил меня...

Протопопов изменился в лице, тяжело задышав.

— Не волнуйтесь, Александр Дмитриевич, — сказал ему тихо граф Капнист.

Но это успокоительное обращение почему-то раздражило его, и он, повернувшись к графу, произнес запальчиво:

— Да, вам хорошо сидеть там, на вашем кресле, а каково мне на моем! У вас есть графский титул и хорошее состояние, есть связи, а я начал свою карьеру скромным студентом и давал уроки по пятьдесят копеек. Я не имею ничего, кроме личной поддержки Государя, но с этой поддержкой я пойду до конца, как бы вы ко мне ни относились.

— Я еще не кончил, — продолжал Милюков. — Я начал объяснять вам, почему мы иначе отнеслись к Хвостову. Как сказал уже Шульгин, мы должны нести ответственность за вас, тогда как Хвостов был человек чужой!.. Но теперь положение совершенно другое... В Думе есть большинство. У этого большинства есть свое определенное мнение. Правительство поступило наоборот, и мы дошли теперь до момента, когда терпение в стране окончательно истощено и доверие использовано до конца. Теперь нужны чрезвычайные средства, чтобы внушить народу доверие.

— Ответственное министерство! Ну нет, этого вы, господа, не добьетесь!

В возникшем при выкрике Протопопова шуме раздались голоса:

— Министерство доверия, министерство доверия!

— Между прочим, — продолжал Милюков, — в ваших словах мне послышалась угроза. Что означает ваше выражение, что вы будете действовать один? Значит ли это, что вы не созовете Думу, как об этом говорят в публике?

— Я не злопамятен и не мстителен. Что касается несозыва Думы, — это просто рассказы.

— По моим сведениям, которые я считаю достоверными, об этом говорили несколько министров.

— Во всяком случае, я в их числе не находился.

— Находились, Александр Дмитриевич.

— Да, да. Были слухи именно о вашем мнении по этому поводу, — раздалась со всех сторон голоса.

— Нет, так далеко я не иду. Я сам член Думы и привык работать с Думой. Был и останусь другом Думы. В вашем отношении ко мне, Павел Николаевич, говорит разум, но нет голоса сердца. Ваша супруга отнеслась бы ко мне совершенно иначе.

— При чем тут моя супруга? Я говорил уже и повторяю, что мы здесь встречаемся только как политические деятели.

Все встали. Совещание закончилось. В возникшем шуме общего разговора слышались отдельные фразы.

— Вы ведете Россию на гибель, — сказал Милюков.

* * *

После убийства Распутина положение Протопопова не только не пошатнулось, а, наоборот, к общему удивлению, неожиданно упрочилось. Через три дня, 20 декабря 1916 года, из управляющих министерством он был сделан министром внутренних дел.

Ожидавшегося инициаторами «патриотического террористического акта» отрезвления не произошло. Все осталось по-старому. В Протопопова верили почти с таким же фетишизмом, как недавно в Распутина. Тем более что последний перед своим трагическим уходом в иной мир заповедал: «Его слушайте... что скажет, то пусть и будет...»

Но говорить было нечего... получив разрешение Государя, Протопопов произвел 27 января 1917 года «по ордеру военного начальства» арест рабочей группы военно-промышленного комитета.

Екатерина Викторовна Сухомлинова, мужа которой он выпустил из тюрьмы, написала ему, что за этот «акт высокой политики» в Царском Селе ему поставлен плюс. Чаша терпения переполнилась. М. В. Родзянко снова взялся за перо и написал свой последний всеподданнейший доклад. С ним Михаил Владимирович поехал в Царское Село.

10 февраля 1917 года состоялась аудиенция у Императора. В этот день у Царя были Великие князья Александр Михайлович и брат Государя Михаил Александрович. Прием, названный в газе-

тах «высокомилостивым», по словам Родзянко, был «самым тяжелым и бурным». Сохранилась запись этой беседы.

Когда председатель Государственной Думы прочел доклад, Царь сказал:

— Вы требуете удаления Протопопова?

— Требую, Ваше Величество. Прежде я просил, а теперь требую.

— То есть как?

— Ваше Величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых предвидеть нельзя. То, что делает ваше правительство и вы сами, до такой степени раздражает население, что все возможно. Всякий проходимец всеми командует. «Если проходимцу можно, почему же мне, порядочному человеку, нельзя?!» — вот суждение публики. От публики это перейдет в армию, и получится полная анархия. Вы изволили иногда меня слушаться, и выходило хорошо.

— Когда? — спросил Государь.

— Вспомните, в июле 1915 года, когда вы уволили министра внутренних дел Н. А. Маклакова.

— А теперь я о нем очень жалею, — сказал Царь, посмотрев в упор, — этот, по крайней мере, не сумасшедший.

— Совершенно естественно, Ваше Величество, потому что сходить не с чего.

Царь засмеялся:

— Ну, положим, это хорошо сказано.

— Ваше Величество, нужно же принять какие-нибудь меры! — продолжал Родзянко. — Я указываю здесь на целый ряд мер. Это искренно написано. Что же вы хотите, во время войны потрясти страну революцией?

— Я сделаю то, что мне Бог на душу положит.

— Ваше Величество, вам, во всяком случае, очень надо помолиться, усердно попросить Господа Бога, чтобы Он показал правый путь, потому что шаг, который вы теперь предпримете, может оказаться роковым.

Царь встал и сказал несколько двусмысленностей по адресу Родзянко.

— Ваше Величество, — сказал Михаил Владимирович, — я ухожу в полном убеждении, что это мой последний доклад вам.

— Почему?

— Я полтора часа Вам докладываю и по всему вижу, что вас повели на самый опасный путь... Вы хотите распустить Думу, я уже тогда не председатель и к вам больше не приеду. Что же еще хуже, я вас предупреждаю, я убежден, что не пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать.

— Откуда вы это берете?

— Из всех обстоятельств, как они складываются. Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной волей, с народным самосознанием, как шутят те лица, которых вы ставите. Нельзя ставить во главу угла всяких распутиных. Вы, Государь, пожнете то, что посеяли.

— Ну, Бог даст...

— Бог ничего не даст, вы и ваше правительство все испортили. Революция неминуема.

Родзянко как в воду глядел. Действительно, трех недель не прошло. Прошло лишь две недели и два дня. А через девятнадцать дней после этого разговора я уже во Пскове принял из рук несчастного самодержца акт его отречения от престола.

Однако в тот день, несмотря на искренность, прямолинейность и храбрость Родзянко, ему не удалось убедить Царя. На другой же день в Царское Село прибыл вызванный Протопоповым Н. А. Маклаков, о котором Царь сожалел, что сместил его, послушавшись председателя Государственной Думы. Протопопов сказал Маклакову, что Государь поручает ему написать проект манифеста на случай, если ему угодно будет распустить Думу. Маклаков составил проект, основная мысль которого заключалась в обвинении и личного состава Думы.

Главная ее вина, с точки зрения Царя, состояла в том, что она не увеличила содержания чиновникам и духовенству. Поэтому Государственная Дума распускается до новых выборов 15 ноября 1917 года. Манифест кончался призывом Царя к единению, чтобы послужить России.

Итак, Протопопов в единоборстве с Думой, его же избравшей в товарищи председателя, в конце концов победил. Но какую ценой?!

* * *

Понятно, какие чувства питали к Протопопову члены Государственной Думы на пятой сессии, возобновившейся 14 февраля 1917 года, через три дня после посещения М. В. Родзянко Императора. Вот что сказал тогда о министре внутренних дел В. М. Пуришкевич:

— Под подозрение взяты буквально все, вся Россия. Навет возведен в систему государственного управления. Дворянство, земство, Дума, Совет, общественные организации — все взято под подозрение ретивыми слугами собственного благополучия и карьеры. Протопопов расправляется в тяжелую годину родины со всем русским народом, угашая в нем дух уважения к власти, дух веры в будущее, дух порядка.

Нет названия тем, господа члены Государственной Думы, которые подносят камень народу, просящему хлеба, которые занимаются политическим шантажом и, будучи одиозными всей России, остаются тем не менее твердо у кормила власти...

Хорошо забыты уроки истории о том, что внутреннее спокойствие в каждой стране гарантируется не количеством пулеметов в руках полицейской власти, а честностью, распорядительностью правительства и степенью его предвидения назревающих событий...

А Россия? Россия долга, Россия чести, сознающая всю важность переживаемого момента в своих исторических судьбах, эта Россия оппозиционна правительственной власти, ибо она не верит ее государственной честности, ее патриотизму..

...Над Думой, господа, висит дамоклов меч роспуска, ее пугают этим роспуском... Перед ней стоит альтернатива — либо стать лакейской министра внутренних дел и работать, повинувшись и служа, либо сохранить свое лицо, лицо честных верноподданных граждан и патриотов.

Я понимаю, что всякие речи сейчас с трибуны Государственной Думы бесцельны, ибо между высшим источником власти и народом стоит в эти тяжелые исторические дни — страшно даже подумать — стоит стена себялюбивых карьеристов, живущих только для себя благополучием сегодняшнего дня.

А Россия? Да какое им, в сущности, дело до России? (*Голоса слева: «Верно, правильно!»*) Россия? Россия стоит, господа, сейчас, как древний Геракл, в хитоне, пропитанном ядом крови кентавра Нэсса. Он жжет ее, она мечется в муках своего бессилия, она взывает о том, чтобы правда, русская правда, дошла туда, где она должна быть понята, и оценена, и услышана. Рассвета еще нет, господа, но он не за горами. Настанет день — я чую его, — и солнце русской правды взойдет над обновленной родиной в час победы...

Так страстно взывал с думской кафедры даже крайний правый депутат В. М. Пуришкевич, два месяца тому назад принимавший участие в убийстве Распутина. В свое время, когда он просил запомнить число 16 декабря и назвал меня «белоручкой», он не поверил моим словам, что бессмысленно убивать змею после ее укуса. Теперь же убедился сам, что стало еще хуже.

Мне пришлось выступать через два дня после Пуришкевича, 17 февраля 1917 года. Это была моя последняя речь в Государственной Думе. Главной темой ее являлся продовольственный вопрос, по которому дважды выступал министр земледелия А. А. Риттих, сменивший на этом посту 29 ноября 1916 года графа А. А. Бобринского. Но Протопопов настолько владел тогда всеми умами, что и мне пришлось высказать несколько крамольных мыслей в его адрес.

— Господа члены Государственной Думы, — начал я. — Нельзя сказать, что обе речи министра земледелия не были интересными. Я, по крайней мере, выслушал их с большим вниманием, и особенно меня заинтересовала одна тема, к которой министр земледелия постоянно возвращался. Эта тема о том, что ему, как воздух, нужно доверие страны.

Господа, если правильно, что в доме повешенного не говорят о веревке, то приходить сюда вот именно с этим заявлением было бы не то чтобы неуместно, а немножко некстати, — неподходящее место здесь для этого. Мы уже полтора года твердим все одно и то же, и нам уже надоело об этом говорить.

Вот министр земледелия с воодушевлением, которое и свойственно неофитам, говорит на эту же тему. Я ему вполне сочувствую и вполне с ним согласен, но думаю, что ему следовало бы сказать свою речь в Совете Министров, ей там настоящее место. *(Рукоплескания слева, в центре и справа. Голоса слева: «Даже выше».)* Министру земледелия, мне кажется, прежде всего следовало бы поговорить с некоторыми своими товарищами, например, с нашим бывшим товарищем Александром Дмитриевичем Протопоповым, сказать ему: поймите, мол, Александр Дмитриевич, что при нашем соседстве мне не может быть доверия. *(Голоса: «Правильно!»)* Правда, Александр Дмитриевич, пожалуй, пригрозил бы, что он его вызовет на дуэль, но я могу успокоить министра земледелия — пригрозит, но не вызовет... *(Слева и в центре рукоплескания, смех и голоса: «Браво! Правильно!»)* А что же случилось бы, если бы мы здесь это самое доверие, которое нужно, как воздух, дали бы министру земледелия? Какие были бы результаты?

Господа, мы знаем отлично, какие были бы результаты — был бы тот результат, да простит мне Александр Александрович Риттих мое, может быть, вульгарное выражение, что его прогнали бы с его поста. *(Слева и в центре смех и голоса: «Правильно!»)* Мы, господа, за последние полтора года прекрасно поняли — в России прощают все, что угодно. Например, полупростили Сухомлинова, но успеха никогда не простят. *(Голоса: «Браво, браво!»)* И потому я утверждаю, что, если министр земледелия наконец путем героических усилий приобрел бы это самое доверие, о котором он так хлопочет, его постигла бы судьба Кривошеина, его бывшего руководителя, судьба Сазонова, Поливанова, Игнатьева и многих-многих других. *(Голоса: «Браво, браво!»)*

* * *

Казалось бы, что общего между грубым, безграмотным, пьяным, развратным мужиком из Тобольска и изысканным, вылощенным аристократом, окончившим кавалерийское училище и Нико-

лаевскую академию Генерального штаба, уездным предводителем дворянства, камер-юнкером высочайшего Двора, которому давали аудиенции короли Великобритании и Италии? И все же, несмотря на дикость этого сопоставления, что-то общее было, что-то их соединяло. Недаром же говорили — Распутин сменил Протопопов. Из-за его облика мерещилась как бы вновь воскресающая злоеющая тень святого старца-сатира. Тлетворный дух проявлялся не только в угодничестве министра в Царском Селе, но и в сатанинском таланте Протопопова угадывать злободневное настроение страны и с каким-то язвительным злорадством идти наперекор этому настроению. Так усердно исполнял он заветы своего наперсника.

А что же все-таки сам Протопопов говорил о себе? Тогда он не говорил ничего. А ровно через два месяца после выступления Пурешкевича в Думе уже в Чрезвычайной следственной комиссии 14 апреля 1917 года говорил вот что:

— Вы понимаете, господин председатель, мне хочется вам сказать, что я чувствую тот грозный рок, про который мне сказал Риттих. Он раз сказал мне в Совете Министров: «Знаете, опасайтесь, на вас глядит то, чего опасались римляне, — на вас глядит рок!» Он сказал мне это недели за три, за две до конца... Я чувствовал это... Я не боюсь решить свою жизнь, вы это понимаете, но я говорю, как странно! Действительно рок, действительно рок!..

Мне довелось быть свидетелем падения счастливой звезды «рокового человека», предсказанной ему злоеющим старцем. Это было... Не помню точно, когда это было. По-видимому, 28 февраля 1917 года.

Я сидел в кабинете Родзянко против того большого зеркала, что занимало почти всю стену. Вся большая комната была сплошь набита народом. Беспомощные, жалкие, по стеночкам примостились на уже сильно за эти дни потрепанных креслах и красных шелковых скамейках арестованные. Их без конца тащили в Думу. Целый ряд членов Государственной Думы только тем и занимался, что разбирались в этих арестованных.

Как известно, Керенский дал лозунг: «Государственная Дума не проливает крови».

Поэтому Таврический дворец был прибежищем всех тех, кому угрожала расправа революционной демократии.

Тех, кого нельзя было выпустить хотя бы из соображений их собственной безопасности, направляли в так называемый Павильон министров, который гримасничающая судьба сделала «павильоном арестованных министров».

В этом отношении между Керенским, который главным образом «ведал» арестным домом, и нами установилось немое соглаше-

ние. Мы видели, что он играет комедию перед ворвавшейся толпой, и понимали цель этой комедии. Он хотел спасти всех этих людей. А для того чтобы спасти, надо было сделать вид, что хотя Государственная Дума не проливает крови, она «расправится с виновными».

Остальных арестованных, которых было большинство и можно было выпустить, мы содержали в кабинете Родзянко. Они обыкновенно сидели несколько часов, пока для них изготовлялись соответственные «документы». Кого тут только не было...

Исполняя тысячу одно поручение, как и все члены Временного комитета, я как-то наконец, выбившись из сил, опустился в кресло в кабинете Родзянко против того большого зеркала... В нем мне была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во все стороны разными людьми, но видна была и соседняя — кабинет товарища председателя Думы князя В. М. Волконского, где творилось такое же столпотворение. В зеркале все это отражалось несколько туманно и картинно...

Вдруг я почувствовал, что из кабинета Волконского побежало особенное волнение, причину которого мне сейчас же шепнули: «Протопопов арестован!»

И в то же мгновение я увидел в зеркале, как бурно распахнулась дверь в кабинете Волконского и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно съезжившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова...

— Не смей прикасаться к этому человеку!..

Это кричал Керенский, стремительно приближаясь. Бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезая толпу, а другой, трагически опущенной, он указывал на «этого человека». Этот человек был великий преступник против революции — бывший министр внутренних дел.

— Не смей прикасаться к этому человеку!..

Все замерли. Казалось, он его ведет на казнь, на что-то ужасное. И толпа расступилась... Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками... Мрачное зрелище.

Прорезав кабинет Родзянко, Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками.

Здесь начиналась реальная опасность для Протопопова. Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовых, убить, растерзать — настроение было накалено против Протопопова до последней степени.

Но этого не случилось. Пораженная этим странным зрелищем — бледным Керенским, влекущим свою жертву, — толпа раздалась перед ними.

— Не смей прикасаться к этому человеку!

И, казалось, что «этот человек» вовсе уже и не человек...

И пропустили. Керенский прорезал толпу в Екатерининском зале и в прилегающих помещениях и дошел до Павильона министров... А когда дверь павильона захлопнулась за ними — дверь охраняли самые надежные часовые, — комедия, требовавшая сильного напряжения нервов, кончилась. Керенский бухнулся в кресло и пригласил «этого человека»:

— Садитесь, Александр Дмитриевич!

* * *

Протопопов пришел сам. Он знал, что ему угрожает, но он не выдержал «пытки страхом». Он предпочел скрыванию, беганию по разным квартирам отдаться под покровительство Государственной Думы.

Он вошел в Таврический дворец и сказал первому попавшемуся студенту:

— Я — Протопопов!

Ошарашенный студент бросился к Керенскому, но по дороге разболтал об этом всем, и к той минуте, когда Керенский успел явиться, вокруг Протопопова уже была толпа, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. И тут Керенский нашелся. Он схватил первых попавшихся солдат с винтовками и приказал им вести за собой «этого человека».

Итак, «этот человек», победивший вчера Думу, пришел под ее сень, чтобы спасти свою жизнь. Рок привел сюда «рокового человека». Но он хотел убить Думу, и Дума не могла спасти его. Ее уже не было. В 1918 году он был расстрелян в Москве вместе с некоторыми другими бывшими министрами.

6. Измена

Измена... Это ужасное слово бродило в армии и в тылу. Вплоть до самых верхов бежало это слово, и даже вокруг Двора рыскали добровольные ищейки. И это действовало как зараза.

Люди, которые, казалось бы, могли соображать, и те шалели.

На этой почве едва не треснул блок. Во всяком случае, издал неприятный скрип.

Тут я возвращаюсь ко времени более раннему, то есть к концу октября 1916 года. Мы готовили «переход к очередным делам» по случаю открытия 1 ноября последней, пятой сессии Государственной Думы. Это вошло уже в обычай. В обычай вошло и то, что переходы эти заключают три части: привет союзникам, призыв к армии продолжать войну, резкая критика правительства...

Как всегда, мы собрались в комнате № 11. Пасмурное петербургское утро с электрическим светом. Над бархатными зелеными столами уютно горят лампы под темными абажурами...

Кадеты П. Н. Милюков и А. И. Шингарев, октябристы С. И. Шидловский-первый, граф Д. П. Капнист 2-й и Г. В. Скоропадский, В. Н. Львов-второй от группы центра и националисты И. Ф. Половцев 2-й и я.

Председательствовал Сергей Илиодорович Шидловский. Был прочитан проект перехода. В нем было «роковое слово» — правительство обвинялось в измене. Резко обозначились два мнения.

От имени своих единомышленников я сказал:

— Обращаю внимание на слово «измена». Это страшное оружие. Включением его в резолюцию Дума нанесет смертельный удар правительству. Конечно, если измена действительно есть, нет такой резкой резолюции, которая могла бы достаточно выразить наше к этому факту отношение. Но для этого нужно быть убежденным в наличии измены. Все то, что болтают по этому поводу, в конце концов только болтовня. Если у кого есть факты, то я попрошу их огласить. На такое обвинение идти с закрытыми глазами мы не можем.

Мои оппоненты возразили:

— Надо ясно дать себе отчет, что мы вступаем в новую полосу. Власть не послушалась наших предостережений. Она продолжает вести свою безумную политику — политику раздражения всей страны, страны, от которой продолжают требовать неслыханных жертв...

Мало того, назначением Штюрмера власть бросила новый вызов России. Эта политика в связи с неудачами на фронте заставляет предполагать самое худшее. Если это не предательство, то что же это такое?

Как назвать это сведение на нет всех усилий армии путем систематического разрушения того, что важнее пушек и снарядов, — разрушения духа, разрушения воли к победе? Если это не предательство, то это, во всяком случае, цепь таких действий, что истинные предатели не выдумали бы ничего лучше, чем помочь немцам.

— Все это так, — сказал я, — но все же это не измена. Если этими соображениями исчерпываются доводы в пользу включения этого слова в нашу резолюцию, то для меня ясно: измены нет, а следовательно, нужно тщательно избегать этого слова.

— Это слово повторяет вся страна, — ответили они мне. — Если мы откажемся от него, мы не скажем того, что от нас ждут. Это будет политикой страуса. Если это слово не скажет Государственная Дума, то оно все же не перестанет повторяться всюду и везде, в армии и в тылу.

Но если в чрезмерной добросовестности мы спрячем голову под крыло и промолчим, то прибавится еще другое, скажут: Дума испугалась, Дума не посмела сказать правду, Дума покрыла измену, Дума сама изменила!

Мы ничего не переменим в настроении масс, но только вдобавок к разрушению всех скреп государства похороним еще и себя. Рухнет последний авторитет, которому еще верят... Рухнет доверие к Государственной Думе. Когда это случится, а это непременно случится, если мы хотя бы в смягченном виде не выскажем того, чем кипит вся Россия, — тогда это настроение и рассуждение найдут себе другой выход. Тогда оно выйдет на улицу, на площадь.

Мы должны это сказать, если бы и не хотели. Мы должны понимать, что мы сейчас в положении человеческой цепочки, которая сдерживает толпу. Да, мы сдерживаем ее, но все имеет свой предел... Не наша вина, что это невыносимое положение продолжается так долго. Толпа нас толкает в спину... Нас толкают и мы должны двигаться, хотя и упираясь, сколько хватает наших сил, но все же должны двигаться, иначе нас сомнут, прорвут цепочку, и толпа ринется на тот «предмет», который мы все же охраняем, — охраняем, бичуя, порицая, упрекая, но все же охраняем. Этот «предмет» — власть. Не носители власти, а сама власть. Пока мы говорим, ее ненавидят, но не трогают. Когда мы замолчим, на нее бросятся.

Но в ответ я продолжал свою прежнюю мысль:

— Наше мнение совершенно определенное — нельзя обвинять кого бы то ни было в измене, не имея на это фактов. Никакие убеждения, даже самые красноречивые, нас с этого не собьют. К тому же на все эти доводы можно привести контрдоводы, не менее убедительные.

Например, что касается авторитета Государственной Думы, то мы потеряем его именно тогда, когда позволим себе обвинять людей в предательстве, не имея на это данных. Авторитет, основанный на лжи, на обмане или даже на легкомысленной терминологии, недолго продержится. Мы на это не пойдем. Играть в эту игру

мы согласны только при одном условии: карты на стол. Сообщите нам «факты измены» или вычеркните это слово.

— В нашем распоряжении факты есть, — возразили оппоненты, — но мы не можем сейчас ими поделиться по слишком веским соображениям.

— В таком случае, — сказал я, — мы остаемся при своем убеждении.

Мы разошлись завтракать при зловещем скрипе блока. Но за завтраком разговор продолжался. Я сказал:

— Если вы хотите повторить приемы 1905 года, то мы на это не пойдем.

— Что вы называете приемами 1905 года?

— А когда вы приписывали правительству устройство еврейских погромов, хотя вы знали, что погромы были стихийны.

— Во-первых, министр внутренних дел В. К. Плеве в апреле 1903 года устроил кишиневский погром, а во-вторых, в чем вы видите аналогию?

— В том, что, увлекшись борьбой, вы хотите нанести удар правительству побольней и обвинить его в измене, не имея на это доказательств.

— Доказательства есть.

— Так предъявите их.

— Мы и предъявим их в наших речах с кафедры Думы.

В конце концов победило компромиссное решение. В резолюцию все же было включено слово «измена», но без приписывания измены правительству со стороны Думы. Было сказано, что действия правительства, нецелесообразные, нелепые и какие-то еще, привели наконец к тому, что «роковое слово «измена» ходит из уст в уста».

Это была правда... Действительно, ходило.

Был такой генерал от инфантерии Дмитрий Савельевич Шуваев. 15 мая 1916 года он стал военным министром. Старик, безусловно, хороший и честный. В должности главного интенданта он, несомненно, был бы на месте, но как военный министр... словом, с ним будто бы произошло вот что. Как-то он узнал, что и его кто-то считает изменником. Хотя на самом деле никто этого никогда не думал, старик страшно обиделся и, как говорят, все ходил и повторял:

— Я, может быть, дурак, но я не изменник.

Милюков взял эту фразу осью своей знаменитой речи, с которой он выступил на открытии 1 ноября пятой сессии Думы. Приводя разные примеры той или иной нелепости, он каждый раз спрашивал:

— А это что же — измена или глупость?

И каждый раз этот злой вопрос покрывался громом аплодисментов.

Речь Милюкова была грубоватая, но сильная. А главное, она совершенно соответствовала настроению России. Если бы каким-нибудь чудом можно было вместить в этот белый зал Таврического дворца всю страну и Милюков повторил бы перед этим многомиллионным собранием свою речь, то рукоплескания, которыми его приветствовали бы, заглушили бы ураганный огонь «ста пятидесяти парков снарядов», изготовленных генералом А. А. Маниковским по приказу Особого совещания.

Министерские скамьи пустовали...

7. Конец Думы

Я получил в Киеве тревожную телеграмму Шингарева. Он просил меня немедленно вернуться в Петроград.

Кажется, я приехал 8 января 1917 года. В этот же день вечером Шингарев пришел ко мне.

— В чем дело, Андрей Иванович?

— Да вот плохо. Положение ухудшается с каждым днем... Мы идем к пропасти. Революция — это гибель, а мы идем к революции. Да и без революции все расклеивается с чрезвычайной быстротой. С железными дорогами опять катастрофически плохо. Они еще кое-как держались, но с этими морозами... Морозы всегда понижают движение, — а тут как на грех — хватило!.. График падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием... Не сегодня завтра не станет хлеба совсем... В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен...

— Я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдет на уступки, если даже будет составлено правительство из этих самых людей доверия, то это не удовлетворит... Настроение уже перемахнуло через нашу голову, оно уже левее прогрессивного блока. Придется считаться с этим. Мы уже не удовлетворим... Уже не сможем удержать. Страна уже слушает тех, кто левее, а не нас... Поздно...

— Если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево...

— Как вы себе это представляете?

— Я бы позвал Керенского.

— Керенского? В качестве кого?

— В качестве министра юстиции, допустим. Сейчас пост этот не имеет никакого значения, но надо вырвать у революции ее главарей. Из них Керенский — все же единственный... Гораздо выгод-

нее иметь его с собою, чем против себя... Но ведь это только гадание на кофейной гуще. Реально ведь никаких нет признаков, что правительство собирается, говоря попросту, позвать нас?

— Реально — никаких. Но напуганы все сильно... Там большое смятение... Надо быть ко всему готовым.

* * *

Тем временем, пока я еще был в Киеве, 3 января 1917 года в столице состоялось заседание Совета Министров под председательством нового премьера.

Кто же заменил А. Ф. Трепова, изгнанного А. Д. Протопоповым?

Это был шестидесятисемилетний князь Николай Дмитриевич Голицын. Самые обстоятельства его назначения показывают, до какой растерянности дошла власть.

«Я был совершенно неподготовлен к политической деятельности... Я по убеждениям был всегда монархист, был верноподданным, но никогда не выступал в Государственном Совете с речами», — говорил князь.

Стоявший вдали от дел и заведовавший с 1915 года только Комитетом помощи русским военнопленным, Голицын неожиданно был вызван в Царское Село.

Напрасно старый князь умолял Государя не назначать его премьером, просился в отставку, говоря, что он «мечтает только об отдыхе». Царь был неумолим, и 27 декабря 1916 года князь занял пост председателя Совета Министров. Это был последний премьер империи.

А через шесть дней после этого Совет Министров собрался на заседание, чтобы заняться «большой политикой». В чем же состояла эта политика? В разрешении продовольственного кризиса, транспортной разрухи или вопроса о том, как предотвратить катастрофический рост недовольства в народе, поднять дух армии? Ничуть не бывало. На повестке дня стоял лишь один вопрос — как обойти высочайший указ от 15 декабря 1916 года о созыве Государственной Думы 12 января 1917 года.

Мнение Совета Министров раскололось. Пять его членов высказались за соблюдение высочайшего указа об открытии Думы 12 января. При этом они говорили, что возможность созыва Думы в срок должна быть обеспечена соответствующими мероприятиями.

Председатель князь Н. Д. Голицын и восемь членов Совета находили, что при настоящем настроении думского большинства открытие Думы и появление в ней правительства неизбежно вы-

зовет нежелательные и недопустимые выступления, следствием коих должен был явиться роспуск Думы и назначение новых выборов. Во избежание подобной крайней меры председатель и согласные с ним члены Совета считали предпочтительным на некоторое время отсрочить созыв Думы, назначив срок созыва на 31 января.

Однако вопрос решил министр внутренних дел А. Д. Протопопов, к мнению которого присоединились министр юстиции Н. А. Добровольский и обер-прокурор Синода Н. П. Раев. Они потребовали продолжить срок перерыва в занятиях Думы до 14 февраля 1917 года. Решение этого меньшинства и было утверждено Государем.

* * *

Ко мне пришел один офицер.

— Зная вас, я хочу вас предупредить.

— О чем?

— О настроении Петроградского гарнизона. Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они «печатают» на снегу. С этой стороны за них взялись... Но этим их не переделаешь. Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки!.. Это все те, кто бесконечно уклонялся под всякими предлогами от мобилизации. Им все равно, лишь бы не идти на войну... А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. Чуть что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда как можно скорее.

Был морозный, ясный день. Едучи в Думу, я действительно чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приглаживая снег деревянными, автоматическими движениями.

Теперь я смотрел на них с иным чувством.

И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе не называли, как «санкт-петербургское беговое общество». Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит.

* * *

Н. сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине, доверительно. Я пригласил его к себе. Он пришел. У него на молодежном лице всегда были большие розовые пятна. (Не знаю, от чихотки или от здоровья).

Он начал издали и, так сказать, иносказательно. Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, то есть о дворцовом перевороте. Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей. Впрочем, слышал я о так называемом «морском плане».

План этот состоял в том, чтобы пригласить Государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увезти в Англию как будто по ее собственному желанию. По другой версии, уехать должен был и Государь, и Наследник должен был быть объявлен Императором. Я считал все эти разговоры болтовней.

Н. говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет и что поэтому требуются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза.

— Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза (а ведь вместе они составляют русский народ), пошли бы вы на эти совершенно не вмещающиеся в обыденные рамки, совершенно экстренные меры, пошли бы вы на них для спасения Родины?

Я ответил не сразу, потому что понял фразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу:

— Никто не может отнять у русского Государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний Богом врученную ему державу.

Я вспомнил, как бешено обрушились тогда на Столыпина кадеты за эту «неконституционную фразу». Теперь они же, кадеты, или один из них предлагают для спасения этой же державы меры, настолько менее конституционные сравнительно с 3 июля, насколько шлюпка меньше броненосца.

Наконец я ответил вопросом:

— Вы читали Жюль Верна?

— Читал, конечно, но что именно?

— Это неважно, потому что я не уверен, что это из Жюль Верна. Во всяком случае, это теория моряков.

— Какая теория?

— Две теории, или, вернее, две школы. Одна школа — это «суденщики», а другая «шлюпочники».

— Объясните.

— Это касается морских бедствий — кораблекрушений. «Шлюпочники» утверждают, что, когда корабль терпит так называемое кораблекрушение, то надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения.

— Это понятно. А «суденщики»?

- А «суденщики» говорят, что надо оставаться на судне.
- Да ведь оно гибнет!
- Все равно. Они говорят, что из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море.
- Но один шанс все же остается.
- Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля, поэтому не стоит беспокоиться.
- А вывод?
- Вывод тот, что я принадлежу к школе «суденщиков», а потому останусь на судне и в шлюпки пересаживаться не хочу.
- Он помолчал.
- В таком случае, забудем этот разговор.
- Забудем...

* * *

Не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню... Где-то на Песках. Это была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро прогрессивного блока и другие видные члены Государственной Думы: кадеты Павел Николаевич Милюков, Николай Виссарионович Некрасов, Андрей Иванович Шингарев, Николай Николаевич Щепкин, прогрессист Иван Николаевич Ефремов, октябрист Сергей Илиодорович Шидловский, Владимир Николаевич Львов от группы центра. Кроме того, были деятели земгора. Был и А. И. Ручков, кажется, председатель земского союза князь Г. Е. Львов и еще разные, которых я знал и не знал.

Сначала разговаривали — «так», потом сели за стол... Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя... что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же... Необходимо иметь смелость, чтобы принять большие решения... серьезные шаги...

Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать — что они хотели, что думали предложить?

Я не понял в точности... Но можно было догадываться. Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А может быть, что-нибудь совсем другое.

Во всяком случае — не решались... И, поговорив, разъехались... У меня было смутное ощущение, что грозное близко. А попытки отбить это огромное — были жалки. Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен.

Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче.

Перед открытием 14 февраля 1917 года прерванной в декабре 1916 года пятой сессии Государственной Думы, по обыкновению, составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формулой перехода, сколько моими чувствами, вылившимися на бумагу. Это было стенание на тему «до чего мы дошли». И, помню, была такая фраза: «В то время как акты террора совершаются принцами имперской крови...»

Заключение говорило о том, что требуются героические усилия, чтобы спасти страну. Формула показалась всем слишком резкой. Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную.

Наконец 14 февраля 1917 года возобновилась прерванная накануне убийства Распутина пятая сессия Государственной Думы. Это было девятнадцатое ее заседание, на котором присутствовали председатель Совета Министров князь Николай Дмитриевич Голицын, некоторые члены правительства и союзные послы. Шел вопрос о хлебе. На этом деле блок раскололся. Правая сторона поддерживала правительство, считая его план разверстки правильным. Левое крыло, очевидно, полагая, что не может быть «ничего доброго из Назарета», отвергало предложение правительства.

Министр земледелия гофмейстер Александр Александрович Риттих говорил с кафедры убедительно, горячо, только очень нервно, слишком нервно. Он умолял не губить дела.

С внешней стороны было все, как всегда. Но на самом деле было иначе. Это отметили и газеты, писавшие, что первый день Думы кажется бледным сравнительно с общим настроением страны.

Тревога и грусть были разлиты в воздухе. Во время всех речей чувствовалось, что все это не нужно, запоздало, неважно... Из-за белых колонн зала выглядывала безнадежность... Она шептала:

— К чему? Зачем? Не все ли равно?

В кулуарах Думы говорили в этот день, что А. А. Риттих после речи, придя в Павильон министров, — разрыдался...

Утром, накануне революции, 26 февраля 1917 года неожиданно ко мне пришел Петр Бернгардович Струве. Он был взволнован, полубольной, но предложил мне двигаться к Маклакову.

— У Василия Алексеевича мы узнаем. И Дума рядом...

В воздухе уже чувствовалась такая степень тревоги, что невозможно было сидеть дома: надо было быть там. Это я ощущал и раньше и в особенности теперь, когда пришел Петр Бернгардович.

Мы пошли... Был морозный день, ясный... Ни одного трамвая, — трамваи стали, и ни одного извозчика. Нам надо было идти пешком к Таврическому дворцу — это километров пять. Петр Бернгардович еле шел, я вел его под руку.

На улицах было совершенно спокойно, но очень пусто. И было это спокойствие неприятно, ибо мы отлично знали, отчего стали трамваи, отчего нет извозчиков. Вот уже три дня в Петрограде не было хлеба. И этот светлый день был «затишьем перед бурей», которая где-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами, таилась и накоплялась... Накоплялась не то на Невском, невидимом отсюда, не то вон там, на Выборгской стороне, около Финляндского вокзала...

Нева была особенно красива в этот день... Мы остановились передохнуть, опершись на парапет Троицкого моста... Расцвеченная солнцем перспектива набережных говорила о том, «что сделано», но от этого становилось только жутче, потому что законченная в своей красоте, она ничего не могла ответить на вопрос: «Что делается?»

Василий Алексеевич спешил: его вызывали к Покровскому. Член Государственного Совета, тайный советник Николай Николаевич Покровский, сменивший 30 ноября 1916 года на посту министра иностранных дел премьера Б. В. Штюрмера, разумный и честный, был человек, наиболее приемлемый для думских сфер как товарищ председателя Центрального военно-промышленного комитета.

Маклаков же был самый умеренный из кадетов и самый умный, наиболее приемлемый для правительственных сфер. Вместе с тем он не был патриотом прогрессивного блока, вследствие своей всегдашней оппозиции Милюкову. Маклаков был тот человек, который мог стать связующим звеном между Думой и правительством. Его приглашение к Покровскому могло обозначать многое. В ожидании его возвращения мы пошли в Таврический дворец.

В комнате № 11, как всегда, заседал блок, вернее, бюро прогрессивного блока. Председателем был октябрист Шидловский. От кадетов — П. И. Милюков и А. И. Шингарев. Прогрессисты в это время уже ушли, от октябристов-земцев был граф Капнист-маленький, то есть Дмитрий Павлович, а от центра, кажется, Владимир Николаевич Львов, от националистов-прогрессистов — Иван Федорович Половцев 2-й и я.

Хотя окна были большие, но в три часа становилось уже темно. За столом, крытым зеленым бархатом, мы сидели при свете настольных ламп с темными абажурами. Сколько раз уже так сидели!

Я не помню, что обсуждалось. Но я чувствовал, что делается что-то не то... Я много раз уже это чувствовал. Мы все критиковали власть. Но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят:

— Ну хорошо, довольно критики, теперь пожалуйста сами! Итак, что надо делать?

Мы имели «великую хартию блока», в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы, но все это совершенно не затрагивало центрального вопроса:

— Что надо сделать, чтобы лучше вести войну?

Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих «друзей слева», но они отделивались от меня разными способами, а когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практически программа состоит в том, чтобы добиться «власти, облеченной народным доверием», ибо эти люди будут толковыми, знающими и поведут дело. Дать же какой-нибудь рецепт для практического управления невозможно — «залог хорошего управления — достойные министры», — это и на Западе так делается.

Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни и что это надо решать тогда, когда вопрос встанет, так сказать, вплотную.

Но в этот вечер мне казалось, что вопрос уже встал вплотную. Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем были ли мы готовы? Знали ли мы, хотя бы между собой, — кто? Ни малейшим образом.

Поэтому я сделал следующее предложение, приблизительно в таких словах:

— Хотя это может показаться неловким, неудобным и так далее, но наступило время, когда с этим нельзя считаться. На нас лежит слишком большая ответственность. Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда не годно. А что, если станется «по слову нашему»? Если с нами наконец согласятся и скажут:

— Давайте ваших людей.

Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделиваясь общей формулой, «людей, доверием общества облеченных», конкретных, живых людей?.. Я полагаю, что нам необходимо теперь уже,

ибо это своевременно сейчас, — составить для себя, для бюро блока, список имен, то есть людей, которые могли бы быть правительством.

Последовала некоторая пауза. Я видел, что все почувствовали себя неудобно. Слово попросил Шингарев и выразил, очевидно, мнение всех, что пока это еще невозможно. Я настаивал, утверждая, что время уже пришло. Но ничего не вышло, никто меня не поддержал, и списка не составили. Всем было — неловко... И мне тоже.

Таковы мы... русские политики. Переворачивая власть, мы не имели смелости или, вернее, спасительной трусости подумать о зияющей пустоте, или, как теперь сказали бы, «вакууме»... Бессилие — свое и чужое — снова насмешливо взглянуло мне в глаза.

По окончании заседания мы вышли в Екатерининский зал. В дверях я столкнулся с Маклаковым. Мы шли вместе, разговаривая о том, что с Покровским ничего особенного не вышло.

В это время в другом конце зала показался Александр Федорович Керенский. Он, по обыкновению, куда-то мчался, наклонив голову и неистово размахивая руками. За ним, догоняя его, старался меньшевик-оборонец Матвей Иванович Скобелев, будущий министр труда в первом коалиционном правительстве, сформированном 5 мая 1917 года князем Г. Е. Львовым.

Керенский вдруг увидел нас и, круто изменив направление, пошел к нам, протянув вперед худую руку... для выразительности.

— Ну что же, господа, — блок? Надо что-то делать! Ведь положение-то... плохо. Вы собираетесь что-нибудь сделать?

Он говорил громко, подходя. Мы сошлись на середине зала.

Кажется, до этого дня я не был официально знаком с Керенским. По крайней мере, я никогда с ним не разговаривал. Мы все же были в слишком далеких и враждебных лагерях. Поэтому для меня этот его «налет» был неожиданным. Но я решил им воспользоваться.

— Ну, если вы так спрашиваете, то позвольте, в свою очередь, спросить вас: по вашему мнению, что нужно? Что вас удовлетворило бы?

На изборожденном морщинами лице Керенского промелькнуло вдруг веселое, почти мальчишеское выражение.

— Что?.. Да, в сущности, немного... Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки.

— Чьи?.. — спросил Маклаков.

— Это безразлично. Только не бюрократические.

— Почему не бюрократические? — возразил Маклаков. — Я именно думаю, что бюрократические... только в другие, толковее

и чище... Словом, хороших бюрократов. А эти «облеченные доверием» ничего не сделают.

— Почему?

— Потому, что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь некогда...

— Пустяки. Вам дадут аппарат... Для чего же существуют все эти руководящие отделы и помощники секретарей?!

— Как вы не понимаете, — вмешался Скобелев, обращаясь преимущественно ко мне, — что вы имеете д... д... д... доверие н... н... н... народа...

Он немножко заикался.

— Ну, а еще что надо? — спросил я Керенского.

— Ну, еще там, — он мальчишески, легкомысленно и весело махнул рукой, — свобод немножко. Ну, там печати, собраний и прочее такое...

— И это все?

— Все пока... Но спешите... спешите...

Он помчался, за ним — Скобелев...

Куда спешить?!

Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, и себя... Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересест с депутатских скамей в министерские кресла, под условием, чтобы императорский караул охранял нас...

Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала — у нас кружилась голова и немело сердце...

И вновь бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд уже презрителен до ужаса...

* * *

Я шел один где-то у нас на Волыни... подходил к какому-то селу. Были ни день ни ночь — светлые ровные сумерки, но все было как бы без красок... И дорога и село были какие-то самые обычные. Вот первая хата. Она немножко поодаль от других. Когда я поравнялся с нею, вдруг из деревянной черной трубы вспыхнуло большое синее пламя. Я хотел броситься в хату предупредить... Но не успел — вся соломенная крыша вспыхнула разом. Вся загорелась до последней соломинки. Громадным ярко-красно-желтым пламенем зарокотало, загудело... Я закричал от ужаса... Из хаты, не торопясь, вышла женщина... Я бросился к ней:

— Диток, ратуй, диток! (детей спасай!) — закричал я ей.

Я бросился в хату. Но в это мгновение разом рухнула вся крыша. Хаты не стало. Бешено пылал и ревел огромный пожар...

Этот звук делался все сильнее и переходил в настойчивый резкий звон.

Я проснулся. Было девять часов утра. Неистово звонил телефон.

— Алло!

— Вы, Василий Витальевич?.. Говорит Шингарев... Надо ехать в Думу. Началось.

— Что такое?

— Началось... получен указ о роспуске Думы... В городе волнение. Надо спешить. Занимают мосты. Мы можем не добраться. Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне. Поедем вместе...

— Иду...

Это было 27 марта 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане... Извержение началось. Улица заговорила.

* * *

Накануне поздно вечером, когда М. В. Родзянко вернулся к себе на квартиру, он нашел на письменном столе следующий указ. Уже отпечатанный:

«На основании статьи 99 Основных государственных законов, повелеваем: занятия Государственной Думы и Государственного Совета прервать 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение.

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано: Николай.

В царской Ставке 25 февраля 1917 года.

Скрепил: председатель Совета Министров князь Николай Голицын».

Это был последний царский указ. Это был конец Думы. Трагическая борьба Царя с Думой закончилась.

* * *

*Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя...*

.....
*На старости я сызнава живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-окиян?*

Итак, *finita la comedia* (представление окончено).

Кораблекрушение свершилось. Государственный корабль затонул, а с ним как его законодательный орган прекратила свое существование и Государственная Дума.

Через два месяца после Февральской революции, 27 апреля 1917 года, в соединенном заседании оставшихся депутатов четырех Дум я говорил:

«Не скажу, чтобы вся Дума целиком желала революции. Это было бы неправдой... Но даже не желая этого, мы революцию творили... Нам от этой революции не отречься, мы с ней связались, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность».

Этими словами я заканчиваю повествование об одной величайшей для меня трагедии в истории человечества.

Теперь на месте бывшей Российской Империи возникла и развивается новая жизнь. Мне уже девяносто восемь лет. Я ухожу в иной мир, посылая привет и завет живущим. Учитесь на уроках прошлого. Не совершайте тех ошибок, которые совершили мы. А о том, что тлен и прах, не заботьтесь. Пусть мертвые хоронят мертвых. Вы же, живые, сохраните живой живую душу!

САПЕРНЫЙ БУНТ¹

Воспоминания 1907 года

Ненастные и холодные, столько раз залитые кровью и слезами, заклеянные столькими стонами и проклятиями, роковые октябрьские дни 1905 года залегли над Россией.

Из тайного, никому не ведомого убежища, приютившегося где-то далеко за пределами несчастной страны, из клубка, куда сходились все нити врагов России и где зарождались и выращивались их злобные козни, по этим нитям, как по стальной проволоке, бежали последние приказания: каждое мгновение быть готовыми поставить на ноги давно заготовленное огромное, страшно разрисованное чучело, которое ужаснет своим видом весь мир и Россию.

И день настал. Великий шантаж начался. Самое замечательное в истории целого мира мошенничество, перед которым совершенно померкли Панама и другие дела, было пущено в ход.

Цель его была — напугать. Убедить всех и все, что вся Россия недовольна, вся объята революционным духом, вся готова восстать и стереть с лица земли старую власть. Это необходимо было сделать, это необходимо было внушить. К сожалению, на самом деле этого не было.

«Вся Россия», устав после войны, подымала на зябь черные влажные поля. Правда, над полями кружились вороны.

Как же быть?

Все средства уже были испробованы. Газетные вопли, солдатские мятежи, крестьянские и рабочие бунты, путешествия к дворцам, студенческие крики и красные флаги — все это было хорошо, все это производило действие, раздражало, беспокоило, пугало, но все это было не то что требовалось, — это не было похоже на «всю Россию».

¹ «Саперный бунт» не есть «беллетристическое» произведение. Это просто точная запись событий, прошедших перед глазами автора. Изменены лишь фамилии.

Как же быть?

И вот чья-то изобретательная голова пошла верным путем.

Она сказала себе: если хотеть сделать что-то «всеобщее» — надо основываться на «всеобщих» чертах.

Тогда она спросила себя: что же есть такое «всеобщее» у всех этих людей, самых разных, и есть ли такие черты?

И рассудок, внимательно подумав, ответил:

— Да, есть... Это — лень и жадность.

Лень и жадность! Да, это так, на этих струнах можно играть от дворцов до хаты. Да, да, надо эксплуатировать лень и жадность!

Как же это сделать? Очень просто. Надо им сказать:

— Не работайте, чтобы вам больше платили.

И так как им и самим не хочется работать, потому что они ленивы, и хочется получать больше, потому что они жадны, — то они и сделают так, если они не будут бояться.

А они не будут бояться, если будут делать одно.

И это именно и нужно — потому что тогда будет все общее.

А уж для чего делается это *всеобщее* — это нетрудно подметить. Так как они к тому же глупы, как стадо баранов, то можно заставить их кричать, что они это делают во имя «конституции», «республики» или чего бы там ни было, лишь бы они были твердо уверены, что они получают прибавку за свое безделье... Таким образом, натравив их на деньги России жадностью к этим деньгам, будет делаться революция против России...

Итак, за дело: пусть все перестанут работать...

Так родилась идея всеобщей политической забастовки.

И страшное чучело, давно заботливо приготавливаемое, в один ненастный, столько раз политый кровью и слезами, заклеянный столькоими стонами и проклятиями, в один роковой октябрьский день поднялось над Россией, громадное, безобразное, наглое и грубое, и, развернув свои бесконечные крылья, закрыло тусклое серое небо... Сотни тысяч рук поддерживали его снизу, и там, в темноте, сотни тысяч глаз горели жадностью, и столько же уст шептали: «Деньги! Прибавьте нам деньги!..» А на нем, на голове чудовища, уселась кучка юрких людей и искусственным механизмом заставляла его страшно вращать глазами, непрерывно и несмолкаемо изрыгать дикий рев...

И когда этот исступленный крик, заготовленный в недрах чудовища, свирепо разносился по России, сердца этих людей радостно трепетали и замирали, а уста их чуть слышно шептали сквозь стиснутые зубы: «Власти!.. О дайте нам власти!..»

В один из таких дней, когда железнодорожная, почтовая и телеграфная забастовка, бросив страну в приблизительно средневековые условия, создала атмосферу — для одних панического ужаса,

для других — тяжелой тревоги, в казармах батальона, расположенного в большом городе, шли приготовления к обеду, который производил впечатление пира во время чумы.

Настроение было тяжелое. Батальон получил приказ быть в полной готовности, потому что воздух чреват был событиями и каждую минуту его могли потребовать на улицу. Все офицеры были в сборе.

Большая длинная комната, вместо потолка придавленная тяжелыми каменными сводами (казармы помещались в Николаевской крепости, приспособленной для жилья, а офицерское собрание занимало один из казематов) и неприятно освещенная двумя окнами, пробитыми рядом, в узкой, но страшно массивной стене крепости, была полна офицерами. Все они толпились по стенам, потому что посередине, вдоль всего каземата, денщики накрывали огромный обеденный стол. Одни, составляя группы, болтали тихо между собой, другие угрюмо сидели в мягких креслах, обитых зеленоватым кретоном, третьи, от нечего делать, возились со столом, больше мешая, чем помогая, солдатам. Все казались какими-то зелеными от слабого света, посылаемого ненастным октябрьским днем, зеленых обоев и зеленой мебели. Только раскрытое пианино приветливо белело своими девственными клавишами в своей нарядной черной рамке. Обыкновенно этот инструмент так красил эту суровую комнату, внося в нее частицы молодости, и поэзии, но сегодня и он не разгонял мрачного колорита. Молоденький подпоручик Воронин, совсем еще мальчик, с круглым добродушным веселым лицом и густой щеткой тщательно выстриженной головы, подошел и, стоя, стал тыкать одним пальцем в клавиши, тихонько наигрывая «Мой миленький дружок». Он почему-то особенно пристрастился к этой мелодийке и при всяком удобном случае напевал ее и играл, то есть старался играть. Его никто не слушал, потому что все уже знали, что он всегда играет «Мой миленький дружок», и всем было не до того... Впрочем, один слушатель у него был — этот слушатель был прапорщик Иванов. Хотя он стоял далеко от пианино, спиной к комнате, перед самым окном, и, засунув обе руки в поперечные карманы рейтуз, задумчиво рассматривал грязный хмурый осенний день, но все же он слушал, или, вернее, следил за мелодией. Он хорошо знал, что сейчас будет место, где подпоручик ошибется... И он ждал этого места по привычке и с внутренней улыбкой...

Ему нравился этот мальчик... И не один уже раз, когда приходилось дежурить и сутки проводить в этой самой комнате, служившей и столовой, и собранием, и дежурной, подпоручик появлялся откуда-то вечером, когда лампа с зеленым абажуром делала более уютным и таинственным угрюмый каземат, и они, прихлебывая

чай и грызя галеты с женскими именами, которые поставляла солдатская лавка, присаживались к пианино и начинали свои дуэты... Ни у того, ни у другого не было голоса, но у обоих был хороший слух, оба с удовольствием приноравливались друг к другу, слушателей у них не было, кроме них самих, и они в конце спелись так, что им нравилось, как оно выходило... Да оно и в самом деле выходило недурно... и как-то звучало, не нарушая настроения угрюмого, полутемного каземата. И всегда это или начиналось или кончалось этим «Мой миленький дружок», точно это был их неперменный номер... И, иногда заливаясь в терцию среди спящих угрюмых казарм, они вдруг обрывали и смеялись... Им становилось смешно, что они, два офицера, с наслаждением заходятся дуэтом пастушка и пастушки. Но странное дело... Им как-то к лицу была эта пастораль...

Воронин, дойдя до своего рокового места, соврал, ругнулся и отошел от пианино. Иванов еще слышал, не оборачиваясь, как он начал рассказывать какой-то анекдот кому-то... Но он недослышал или не дослушал анекдота, и мысли его побежали прерванной нитью...

Ему было не по себе... Эти приготовления к обеду действовали на него удручающе... Обед давался в честь какого-то капитана, которого провожал батальон: он переходил в другую часть... Капитан прослужил долго в батальоне, и проводить его обедом требовали приличия, а может быть, и искреннее желание товарищей, с ним служивших... Но Иванов, который был всего полтора месяца в батальоне, не только не имел никаких связей с капитаном, но даже никогда и не видел его... Впрочем, он думал не об этом, а о том, что в таком же положении находились почти все молодые офицеры, то есть большинство офицеров, наполнявших эту комнату, потому что это большинство состояло из таких же прапорщиков, как и он, призванных мобилизацией и чувствовавших себя временными гостями батальона, и молоденьких подпоручиков, недавно выпущенных из училищ... Для всех них этот капитан, которого они провожали, был человек совершенно чужой. Впрочем, Иванов, с досадой скользнув по этим соображениям, думал даже и не об этом... В конце концов, не все ли равно: будет скучно, натянуто, холодно и фальшиво, но ведь мало ли как бывает за такими обедами... Его мучило совсем другое.

Там, за окном, прорубленным в толстых крепостных стенах, залег ненастный, хмурый и грязный осенний день... И Иванов прекрасно знал, понимал и ощущал, что в этой тоскливой и тяжелой мгле, в этом тумане, закрывшем душною стеною огромную площадь, весь город и всю Россию, таится и готовится что-то неведомое, но злобное, страшное и кровавое... Он чувствовал эту смутную

тревогу и ожидание, разлитые всюду вокруг него в этом каземате, в казармах, на лицах офицеров и солдат, он видел их среди толпы народа, собиравшегося на перекрестках, он вдыхал их вместе с воздухом, впитавшем их в себя и заносившем это беспокойство в каждый угол, в каждую щель. Батальон был наготове, следовательно, каждую минуту могли вызвать его на улицу, кто знает, может быть, через полчаса уже будет литься кровь на грязную мостовую... А тут этот обед... Точно пир во время чумы...

Кто-то сзади положил руки на его плечи.

— Послушай, Ленский, что с тобою... Чайльд-Герольдом стоишь каким-то?! — пропел прапорщик Григорович над его ухом.

Иванов обернулся и улыбнулся на шутку.

— Черт возьми! — сказал он, — не нравится мне сегодняшнее настроение, Онегин.

— Да? И что именно?..

— Как вам сказать... Не время теперь для попоек...

— Ну, разумеется... А впрочем, может быть, как раз самое время...

— Как?

— Да отчего же не повеселиться напоследок...

— Как — напоследок?

— Ах, Боже мой!.. Не станете же вы отрицать, что все это, — он повел глазами вокруг и понизил голос, — доживает последние дни...

— Последние дни?!. Кто? Что?

— Как — что?.. Ну, конечно, наш нелепый режим, который весь сгнил и корчится в последних усилиях... А ведь это, — он снова повел глазами, — военщина — только часть этого режима... И все это кувыркнется, и чем скорее — тем лучше, а отдельных людей, очень милых, конечно, жаль, пусть себе хотя попьанствуют в утешение...

Он засмеялся...

Иванов пристально посмотрел на него... и понял.

Взгляд его сделался холодным.

— Я не знал, что вы записались в «освободители», — проговорил он с оскорбляющей презрительной интонацией.

Григорович тоже изменился в лице. Но он сдержался и ответил вежливо:

— Помилуйте... Какой же порядочный человек теперь не мечтает о свободе... Пардон, мне нужно еще в канцелярию...

И он отошел. Иванов посмотрел ему вслед с грустью и презрением.

«Порядочный» человек должен же следовать указаниям моды.

Не может Григорович <...> быть консерватором, если ныне в моде либералы... Ведь он «порядочный» человек.

Он этого Григоровича знал уже давно... Это был фат, светский человек, неглупый, веселый и не без остроумия... По существу натуры меньше всего его интересовала политика... Женщины, театр, гостиные, немножко литературы — это была его сфера... Три года тому назад Григоровичу в голову не пришли бы те идеи, которые он сейчас высказал... Тогда, в том кругу, где он вращался, посмеивались над революционерами... Иванов отлично помнил, как Григорович остроумно и ядовито высмеивал одного красненького господина, земского статистика или что-то в этом роде, с которым им обоим приходилось встречаться... Он изводил его своим фатовском, рассказами о женщинах и преднамеренным изображением пустоты, легкого отношения к жизни и презрения светского человека к «идеям», хорошо зная, чем можно пронять этих «демократов», пуще всего ненавидящих светских людей той жгучей ненавистью, которая имеет свои корни в зависти, той ничем не утолимой ненавистью, которой ненавидит бедный — богатого, бездарность — талант, дурак — умного, безобразный — красивого и мрачный, неловкий, угрюмый и злобный студент-краснорубашечник ненавидит студента-белоподкладочника. Среди русских студентов эта ненависть к прилично одетым товарищам, прозванным белоподкладочниками, особенно характера. Они ненавидят их не за то, что те ведут пустой и светский образ жизни, а они серьезно работают. Ничего подобного. Они ненавидят их за то, что у белоподкладочника есть деньги на мундир, а у них нет, за то, что белоподкладочник весел, остроумен и, большею частью, добрый малый, а краснорубашечник угрюм, тяжел на язык и часто жесток и зол, что белоподкладочник развязен, хорошо воспитан и любим, а краснорубашечник застенчив, неотесан и боится женщин (порядочных), что белоподкладочник пьет шампанское и хорошее вино, а краснорубашечник пьет водку и пиво, что белоподкладочник идет в театр в хорошие места, любезно раскланивается с нарядными знакомыми и не позволяет себе грубых выходов, а краснорубашечник таится на галерке и вознаграждает себя тем, что бычачьим голосом вызывает артистов и топает ногами, когда антракт запоздал, что белоподкладочник после театра нередко увозит на резинах хорошенькую хористку, а краснорубашечник идет утешаться с публичной женщиной последнего разбора.

Вот причина жгучей ненависти. А к науке одинаково ленивы и те и другие. Так вот этот Григорович несомненно принадлежит к типу белоподкладочников: подсмеивался над революционерами и совершенно не интересовался «свободой». Но подуло другим ветром. Мода оделась в либерализм, и Григорович, верный своей богине, стал болтать о свободе. Теперь он, конечно, с тем же остроумием и веселостью высмеивает «бюрократию», рассчитывая, ве-

роятно, что и при новом «режиме» будут театры, вино и хорошенькие женщины, так что он ничего не потеряет от перемены.

Иванову стало еще жутче после этого разговора. «Крысы бегут с тонущего корабля, — подумалось ему с болью. — И, кто знает, сколько здесь таких крыс. — Он невольно с горечью и вниманием обвел взглядом офицеров. — Каждый из них, — думал он, — носит мундир. Каждый с виду офицер, но как ему залезешь в душу? Что он себе думает, насколько он надежен, не изменит ли, не перебежит ли в неприятельский лагерь в самую решительную и тяжелую минуту? Ну, прапорщики — на тех, конечно, нечего рассчитывать. Эти, разумеется, «освободительные». Но они не проявят активных действий, потому что они слишком невежды в военном деле, лишены всякого авторитета в случае грозных событий. Они опасны только своим растлевающим влиянием на всю эту молодежь, если они болтают «освободительные» речи... Но, кажется, прапорщики этого батальона почти все из тех, девиз которых «моя хата с краю, ничего не знаю», а потому предпочитают держаться осторожно... Но остальные? Все эти подпоручики, вся эта совсем зеленая молодежь, выросшая в эпоху, когда революция росла, как зелье из всех щелей и закоулков, кто знает — насколько отравлена она этим ядом? А ведь тут она не встречает твердого, убежденного и умелого отпора...

Старшие офицеры, конечно, надежны, но они малодейтельны в этом отношении, вероятно, не считают этого в числе своих обязанностей и не понимают опасности. А опасность есть, если не здесь именно, не в этом батальоне, то для всей армии она несомненна, ибо революционные усилия по необходимости направлены на армию. И кто может сказать, где именно клюнуло.

А меж тем Иванов, хотя еще очень недавно был здесь, чутьем своей наблюдательной и впечатлительной природы чувствовал, что не все тут ладно, не все так, как бы ему хотелось. Чувствовал он это по едва уловимым признакам, по тону некоторых слов, по выражению некоторых взглядов, по отрывкам недосказанных или недослушанных фраз и по тысячам других впечатлений, которых он бы не мог передать... Но, кроме того, был у него и другой оселок, другой показатель, более ясный... Иванов, помимо своих других занятий, был сотрудником одной из местных газет... Газета была сильная, мужественная, удержавшая, несмотря на невероятно трудное положение, целый край под своим влиянием, всегда, с самого своего основания, умеренно консервативная, она и теперь твердо держала свое знамя и одна в целой половине России, как могучий волнорез, рассекала грудью бешенство революционной стихии. Иванов глубоко уважал свою газету и совершенно не скрывал, что вполне разделяет ее «правые» убеждения... Разумеется, это сейчас

же стало известно в батальоне, и Иванов сразу почувствовал на себе, на отношении к себе, дуновение двух течений... Он прекрасно знал, что тут нельзя было истолковать теплоту одних и холод других симпатией или антипатией к нему лично. Иванов хорошо изучил действие самого себя на других и знал, что людей влечет к нему... За всю свою жизнь он не встречал человека, которому он сам по себе был бы несимпатичен... И тут дело было не в этом. Его убеждения — вот где была причина этих дуновений, правда, очень тонких, часто облеченных во вполне замаскированную форму, но все же ясно ощутимых. Все это, однако, не принимало более реальной формы, потому что люди не высказывались открыто. А не высказывались потому, что если были тут настоящие «деятели», то им нельзя было раскрывать себя до поры до времени и они действовали за кулисами, остальные же, платонические друзья революции, понимали, что проповедовать освободительные идеи среди офицеров — это значит перейти на «активную роль» распропагандирования армии, роль, которая, в известных случаях, могла повлечь и к неприятным последствиям, что отнюдь не входило в расчеты платонических друзей, почему они и помалкивали... Таким образом, создавалась атмосфера, с внешней стороны вполне спокойная, но среди которой все же мерещились мутные, неясные тени, дышавшие ядом измены.

Все эти мысли промелькнули в голове Иванова, пока он незаметно, но внимательно пробежал по зеленоватым лицам. Ему стало еще неприятнее. Он подумал о том, что в это невыносимое время, когда враги лезут со всех сторон на приступ России, забрасывая злобной пеной и грязью все, что не с ними, было бы большим утешением, по крайней мере среди армии, среди офицеров, найти людей чести и доблести, которые без колебаний, твердо и убежденно исполнили бы свой долг... Увы, этого именно он и не чувствовал... И здесь таятся враги, и здесь нужно быть настороже, и здесь идет шатание умов, и здесь есть бегущие крысы и тайные доброжелатели и, может быть, уже изменившие — изменники... И вот он, человек убежденный, давно положивший, что, если нужно, он умрет вместе с Россией, но не изменит ей ни делом, ни словом, ни помышлением, он чувствовал себя одиноким, не видя ни от кого твердой и бодрой поддержки, и, очнувшись от своих мыслей, вдруг заметил, что и действительно он стоит один около окна, точно зачумленный.

«Глупости, — подумал он, — я преувеличиваю. Конечно, многие из них боятся не быть либеральными в такое либеральное время и потому не то что сторонятся, а просто боятся меня зацепить, опасаясь, что я, не стесняясь, начну развивать свои «правые» воззрения, которые они, в сущности, разделяют, но не смеют выска-

зять. Но придет к делу — они, конечно, сделают все, что надо, чтобы они там ни думали. А у меня в этом отношении преувеличенная чувствительность, что, впрочем, и понятно, когда либеральные сыщики на полном ходу в погоне за поимкой и изобличением «черносотенцев»...»

Стол уже был накрыт... Но ждали провожаемого капитана и командира батальона и потому не садились... Иванов встряхнулся и, чувствуя, что, в конце концов, неловко так «солировать», подошел к кучке, о чем-то оживленно заспорившей... Спорили главным образом два ротных командира... Остальные слушали. Оба они говорили разом, оба друг друга не слушали, оба кричали и твердили свое, как всегда в спорах большинства людей, редко дисциплинированных в этом отношении.

В особенности горячился один... Он как-то все принимал как будто лично на свой счет и раздраженно подхватывал отдельные слова своего собеседника.

— Да что вы мне говорите, Англия, Франция, Германия! — кричал с желчью и какой-то не то обидой, не то претензией, причем каждый раз нервно поворачивался, точно хотел уйти, но не уходил... Голос у него был громкий, не очень грубый, но не очень интеллигентный, с бытовой жилкой. — Англия, Германия, Франция! Европа! Сволочь! Европа! Наплевать нам на Европу! Культура, братец ты мой, — вот что важно!.. Гуманность! У нас вот барышни в гимназию ходят, а в Германии булки пекут! Да-с! Перенимать, так с умом, а без ума перенимать — это, знаете... совсем не умно... Да-с!..

Он бы, конечно, не кончил и продолжал еще, но другой, очень толстый человек, с заплывшим жиром лицом и маленькими живыми глазками, перебил его высоким тенором, говоря быстро и захлебываясь...

— Павел Иваныч, голубчик! Только что вы же мне говорили, что во всем мире уже нет смертной казни, а потому и у нас не нужно, а теперь наплевать на Европу! Объяснитесь! Как же это?! Если наплевать, так на всех наплевать...

Тут первый опять взъелся со своей претензией.

— Да что вы мне «наплевать», «наплевать»! Гуманность, братец ты мой, не позволяет... Совесть, культура... Христиане мы? Я вас спрашиваю! Христиане или нет? Так будьте же господа христианами, право, не понимаю я, что такое!.. Да-с!..

Он опять повернулся, точно собираясь уйти, но не ушел и продолжал вопить в этом же роде. Иванова вдруг задела нелепость этой манеры спорить, и он как-то против воли ввязался в этот явно безнадежный спор. Когда он заговорил, оба вдруг замолчали, потому что, во-первых, он был новое лицо, а во-вторых, обоим уже надоело.

— Позвольте, господа! — сказал он, — мне кажется, что в таком споре важно установить точку зрения, иначе трудно договориться. Если мы решим, что в основание наших суждений о смертной казни мы положим принцип согласования нашего законодательства с другими странами, то это будет одна точка зрения. Стоя на ней, нам остается только узнать хорошенько, как именно в других странах, и поступать сообразно этому...

— Вот это так! Это логика! — не выдержал толстый ротный командир, и живые глазки его еще быстрее запрыгали.

— А если, — продолжал Иванов, — оставить этот принцип, назовем его подражательный принцип, и положить в основание наших рассуждений целесообразность, здравый смысл, так сказать...

— Да уж, без здравого смысла мне, господа, кажется, нигде невозможно, а в государственном деле тем паче, — вдруг взялся командир с претензией... Оттого-то и беды наши, что наша-то бюрократия без здравого смысла... — Об этом, кажется, можно бы и не говорить...

Да-с! Именно здравый смысл! А он-то и требует, потому что ошибка может быть судебная, братец ты мой, голову срубят, а потом ошибка, извольте, получите-с! Да-с!

— А когда бомбу сукин сын бросает, — вдруг отчаянно закричал толстый, — сто человек убивает и тут его хватают на месте преступления, какая тут может быть ошибка, позвольте вас спросить?..

— Да что вы мне — бомбу, бомбу! Бомба — это другое дело! Для этих суд Линча существует! Да-с! Я против этого ничего не имею! Вот вы — Англия, Франция! А вот Америка, вот где люди-то практические — они суд Линча придумали! Да-с! Это я понимаю, братец ты мой... Да-с!

Иванову стало тошно.

«Судебной ошибки боится и требует суд Линча, можно же такой вздор молоть», — подумал он и, пожав плечами, отошел.

Те два продолжали спорить.

«А ведь сегодня, может быть, придется, — думал Иванов, — собственными руками если не казнить, то убивать... Вот об этом бы поговорили. Об этом бы вспомнили, и подумали, и посоветовались, и поговорили бы, да, кстати, дали бы совет молодым офицерам, таким, как я, которые ничего не смыслят и не знают ни своих прав, ни обязанностей и, того гляди, попадут под суд или за бездействие, или за превышение власти, дали бы им совет, как быть в том или ином случае... Ведь знают же, что сегодня все возможно... Но никто и в ус не дует, о смертной казни спорят, как будто это их дело, а потом гром грянет, наделают кучу непоправимых ошибок — тогда будут креститься, задним умом... Били, били нас японцы, учили, учили, — но переднему уму все же не научили...

Он с горечью отошел от них и машинально опять пошел к окну... Но по дороге он как-то натолкнулся на группу молодых офицеров, о чем-то тихонько беседовавших. Вышло, что он как бы подошел к ним, и ему неловко было сейчас же отойти.

Они при его приближении прекратили разговор.

— Что-то будет? — сказал он, чтобы что-нибудь сказать. Один из них как-то искоса взглянул на него. Это был подпоручик Губов. Маленький, с невзрачной фигурой, большой головой с выдающимся затылком, на который было нализано нечто вроде пробора, и торчали оттопыренные уши, лицо неприятное, жесткое, очень бледное, все изрытое оспой, с противными зелеными глазами под какими-то недоконченными бровями и в особенности большой белой четверугольной шрам-латка на щеке — все это делало его очень противным Иванову. Это был единственный человек из всего батальона, к которому он чувствовал искреннюю антипатию, так что не переносил даже его черного сюртука и рейтуз со штрипками поверх сапог и в особенности его манеры закладывать руку за борт сюртука. Когда он заговаривал, как-то дерзко и никогда не улыбаясь, Иванов ясно угадывал в нем каменное самомнение ограниченности, и он делался ему еще противнее.

Губов как-то искоса поглядел на Иванова и сухо спросил:

— А что же может быть?

Иванова взбесил почему-то и сам вопрос, и то, как он был поставлен. Но придраться было не к чему, и он ответил просто:

— Пальба на улицах — вот что...

— Вы думаете? Знаете что-нибудь? — жадно спросил кто-то.

— Знаю, что на заводах и в железнодорожных мастерских разжигают вовсю, и черт их знает, куда их толкнут... Можно ждать какой-нибудь демонстрации, шествия, революционного митинга, который придется разгонять оружием... Все может быть...

Наступила мгновенная пауза...

Потом подпоручик Коровин, с которым Губов жил вместе, стройный мальчик, внушавший известную симпатию Иванову своим свежим, румяным лицом и какой-то довольно милой ленивой манерой, с которой он говорил, откашлялся и, глядя на него сквозь золотое пенсне, лениво спросил:

— Ну, а вы как? Будете стрелять?

Этот неожиданный вопрос поразил Иванова. Даже холод пошел по нем.

«Вот оно что», — подумал он и ответил:

— Станный вопрос!.. Если не нужно будет, разумеется, не буду... А будет нужно — разумеется, буду... Разве может быть иначе?

Коровин обвел своим пенсне кругом, как показалось Иванову, ища поддержки Губова... Но тот не шевельнулся и продолжал сто-

ять, заложив руку за борт сюртука, и на безобразном лице его, изрытом оспой и отмеченном шрамом, нельзя было прочесть ничего, кроме того, что оно было противно...

Тогда Коровин проговорил, лениво усмехнувшись:

— Ну, это дело вкуса...

Это слово «вкуса» он выговорил так смачно, точно дело и в самом деле было во вкусе, и это придало его словам какой-то обидный и вызывающий характер, точно он хотел сказать, что кто-то настолько кровожаден, что может действительно находить вкус в этом...

Иванов прекрасно его понял... Лицо его сразу стало холодным, и, глядя на Коровина в упор, он отчеканил:

— А по-моему, это дело совести...

Слова эти произвели действие. Губов быстро, искоса, взглянул на Иванова, Коровин тоже как будто шевельнулся быстрее.

— Как это так? — проговорил он уже без усмешки.

— Да так, — ответил Иванов... — Обстоятельства могут сложиться так, что для выполнения своего долга надо стрелять, хотя бы это было тяжело... А не будете стрелять, значит, совесть у вас не очень насчет своих обязанностей чуткая, поэтому я и говорю, что это дело не вкуса, а совести...

Опять наступила короткая пауза. Потом Коровин лениво заговорил снова:

— Разве нет других способов?.. Вот, я знаю, такой был случай... послали тоже офицера митинг или толпу какую-то разгонять... Он им и сказал: «Прошу вас разойтись... Если вы не разойдетесь, я в вас стрелять не буду и уйду... Но через полчаса придет другой и будет стрелять...» Они и разошлись.

Иванов иронически усмехнулся.

— Прекрасный случай, — проговорил он. — А на следующий день во всех революционных газетах поднялся бы ликующий вопль: «Войска отказались стрелять в народ! Войска более не повинуются тиранам! Войска положили свое оружие к ногам народа! Вперед! Еще одно усилие — и мы победим!» И, возбуждаемый этим криком, этот народ с новым бешенством ударился бы в революцию, и, быть может, этот самый офицер, о котором вы изволите рассказывать, или стал бы изменником, или же нагромоздил бы сотни тел там, где можно было обойтись единицами... Вот результаты этой будто бы гуманной тактики... А кроме того, для офицера может быть и другое положение. Представьте себе, что вам приказывают стрелять...

Коровин, который опять как-то странно усмехнулся, как будто он уже давно что-то решил про себя и слушал это возражение приличия для, должен был ответить.

— Кто приказывает? — все так же лениво спросил он.

— Кто? Ну, скажем, ваш ротный... Что же вы тогда?

Коровин опять усмехнулся.

— Я ему скажу: покорно благодарю, не угодно ли самому?..

Последовала долгая пауза. Иванов в упор смотрел на Коровина, и лицо его становилось холоднее и суровее. Тот усмехался. И впервые Иванов в этой усмешке почувствовал знакомый, хорошо знакомый характерный оттенок, столько раз подмеченный им в студенческих спорах и разговорах. Это была наглая усмешка революционера, давно уже все про себя решившего, для которого возврата нет, и такой принципиальный спор — только смешная комедия, игра, средство для достижения поставленной цели... И когда с ним спорят, он усмехается... Так точно должен усмехаться товарищ вора, с которым обокраденный спорит о том, в какую сторону бежать, чтобы настигнуть вора... Иванов вдруг почувствовал, вспомнил эту много раз виденную усмешку, которая таит наглость измены, не тревожимой совестью, — сильное подозрение, почти уверенность шевельнулась в его мозгу... Но ему сразу стало легче... Ему казалось, что он знает теперь, с кем имеет дело.

Он пожал плечами и проговорил совершенно спокойно:

— В таком случае снимите мундир...

Усмешка сразу слетела с лица Коровина.

— Это почему? — спросил он довольно живо.

— Потому, что вы не офицер... Вы не признаете или не понимаете того, на чем держится армия, — именно дисциплины... Если вы на приказание начальника отвечаете: «Делайте сами», — то чем вы отличаетесь от бунтовщиков?.. Только тем, что вы еще не бунтовали... Но, по-моему, гораздо было бы последовательнее заявить здесь, в казармах, что вы не желаете исполнять свой долг. А не на площади, куда вас бы послали в предположении, что вы настоящий офицер... По-моему, снимите мундир, потому что какой же вы офицер...

В это мгновение вошли командир батальона с капитаном. Спор оборвался.

Командир батальона, обойдя всех, со всеми поздоровался и занял свое место на узком конце стола. Рядом с ним сел капитан и старшие офицеры. Остальные разместились где попало.

Начался обед.

Ели много и даже пили порядочно. Но было скучно, холодно, фальшиво и ненужно. Говорились мучительные речи и провозглашались невыносимые здравицы. Всякий таил про себя какие-то мысли, но сквозь большие окна, пробитые в массивной стене старой крепости, из недр туманного, холодного и ненастного октябрьского дня, невидимая, но ясно ощущаемая, ползла общая всем тре-

вога, и, бесшумно занимая угрюмый каземат своими змеиными клубками, она просовывалась между сидящими, заглядывая в лицо собеседникам, таилась на дне стаканов, душила веселую шутку на губах и, заползая в грудь, сжимала сердце холодной, жуткой рукой...

А прапорщик Иванов думал:

«Офицерская семья! А знают ли они, что те, кто сегодня протягивают к ним стаканы с пожеланием всего лучшего, завтра, быть может, направят штыки в их грудь?.. Нет, не знают... Не знают и не понимают, откуда надвигается самая грозная туча. А она родится тут же — среди них... Струсил или нет?!»

Прапорщик Иванов сидел за простым крашеным столом, на котором горела маленькая дешевая лампочка, тускло освещавшая полукруглые тяжелые своды каземата. Он сидел один, не раздеваясь, — в фуражке и шинели, не сняв револьвера, и сосредоточенно думал, положив оба локтя на стол и поддерживая голову. Он в сотый раз с мукой, то с отчаянием, то с сомнением, то с надеждой задавал себе этот вопрос: «Струсил или нет?!»

Из соседних казематов доносился храп. Рота, утомленная всеми волнениями дня, спала как убитая. Иванов тоже сильно устал и несколько уже раз подходил к койке и собирался снять с себя оружие и шинель и прилечь. Но каждый раз эта самая мысль с новой болью хватала его за сердце и отгоняла от койки. Он опять садился за стол, опирал голову на локоть и в сотый раз, перебирая свои ощущения, подходил к этому роковому мгновению... И каждый раз краска жгучего стыда заливала ему щеки, он вскакивал и начинал ходить из угла в угол по каземату... И теперь он вскочил почти со стоном и зашагал, нервно теребя портупею на груди... Наконец ему стало невмоготу... Он вышел из каземата и пошел по казармам. Все было тихо... Люди спали по койкам, похрапывая здоровым храпом; прикрученные лампы чуть пахли керосином и наполняли казематы мягким успокоительным полумраком, освещая немного ярче только проход, загибавшийся вдаль; чуть поблескивали винтовки в стойках; все было тихо, спокойно; тяжелые своды спокойно висели над всем, и даже дневальные не спали и были на местах. Иванов, прислушиваясь к собственным шагам, будившим тишину, прошел все помещения роты, занимавшей половину полукруглой башни, прошел даже вниз, проверил дневальных у ворот, ведущих в круглый двор, куда тускло глядели слабоосвещенные окна, и, несколько раз полной грудью вдохнув морозный воздух, вернулся к себе, в свой каземат.

— Ну, надо лечь, — сказал он себе, но проклятая мысль вдруг опять встала перед ним, словно отгоняя его от отдыха, словно ему

нельзя было, он не имел права лечь и заснуть, как все они там... Он со злобой и отчаянием отошел от койки, потом вдруг успокоился, как будто твердо решил что-то, наморщил лоб и, сжав губы, застыл посередине комнаты, стиснув обеими руками белый шнур револьвера, охватывавший шею и прятанный в кобуре. Он думал. Он решил не волноваться, взял себя в руки и теперь твердо, беспощадно, но спокойно разбирал свои ощущения, копаясь, как ланцетом хирурга в живом мясе, в самых глубоких тайниках своей души. Так прошло несколько мгновений. Лицо его отражало сильное напряжение и глубокое внимание, направленное внутрь самого себя суровым усилием воли, подсказанным болью. И наконец, оно прояснилось...

— Нет, это была не трусость, — прошептал он. — Конечно, это свидетельствует о дряблости, о неспособности противостоять массовой воле — это печальный факт для меня и печальное открытие, и Бог один знает, какие еще придется грустные открытия сделать в самом себе, но это была не трусость... Нет... Нет... Я пересмотрел все, все вспомнил, малейшую жилку, но трусости не было, нет и нет, — я не трус, по крайней мере, это еще не доказано, что я трус... еще не доказано... — Он опять горько улыбнулся и продолжал: — Конечно, я не исполнил своего долга... Конечно, я должен был рубить шашкой и должен был умереть там... И конечно, никакого нет утешения в том, что никто из них, из офицеров, тоже не исполнил своего долга и никто не умер, не ранен и даже не пробовал защищаться... Что мне в том... А я должен был... Должен... И с этой стороны нет оправданий... Но все же для меня лично, для моего спокойствия, для того, чтобы я мог жить не побитой собакой, — это важно, это страшно важно... И вот же, ей-Богу, разобрав все до конца, я не нашел... нет я не нашел страха... Нет, это не от страха... Нет...

Он вздрогнул, потому что вслух, громко, проговорил последние слова.

«Однако, — подумал он и невольно улыбнулся... — Это называется, что человек стал заговариваться... Довольно уже этого самоковыряния... Самое тяжелое снято, а что было — то было... Надо терпеть...»

Он снял фуражку, кобуру и положил на стол... потом стащил шинель и мундир и повесил их на стул и раздумывал о том, как бы стащить сапоги... Он чувствовал, что это потребует больших усилий, а он очень устал, и ему лень было приниматься за эту работу... Как-то невольно оттягивая эту минуту, он подошел к печке и стал греться... Теплые кафли приятно грели ему спину сквозь рубашку, ему не хотелось уходить от печки, и, нежась около нее, он опять задумался, уставясь глазами куда-то вдаль.

Каким это все уже кажется далеким... Острые впечатления наслонились одно на другое, и кажется, что с того времени прошло уже Бог знает сколько времени, а меж тем это было только сегодня утром.

Как всегда, немного запоздав, он спешил на извозчике сюда, в казармы... День был пасмурный, грязный, чуть туманный... Он ехал через огромную угрюмую площадь, вокруг которой залегли тяжелые крепости — казармы, и думал о том, как бы доехать поскорее, когда нагнал какую-то воинскую часть, двигавшуюся впереди него, несколько поодаль от дороги. По-видимому, это целый батальон, и, кажется, понтонеры... Но куда они могут идти целым батальоном в такое время? Кроме того, почему они движутся в таком очень уж «либеральном» порядке? Хотя теперь вообще не особенно следят за строем, но эти уж что-то слишком распущены... Не равняются, каждую лужу обходят или беспорядочно прыгают через них, ружья держат кто как хочет, некоторые вышли совсем из рядов и идут сбоку... Странно... Офицеров не видно. Нет, вон светлеет один между серыми рядами... Он идет как-то посередине, совсем не в подобающем месте. Это, кажется, Коровин...

Но почему Коровин попал к понтонерам?... Странно...

Иванов обогнал загадочный батальон и подъехал к своим казармам... Эти казармы — бывшая крепость, построенная при Николае Павловиче — выстроены полукругом в два этажа. Концы дуги, обращенные на площадь, соединены каменной массивной стеною, что образует большой внутренний двор, куда смотрят ряды окон. Посередине стены — ворота. Иванов въехал через эти ворота в этот хорошо знакомый полукруглый двор и был очень удивлен, увидев во дворе свою уже выстроенную и замершую в строю роту с винтовками и при подсумках... при роте двое офицеров: подполковник и командир роты... Иванов, которому было очень неприятно опаздывать в строй, поспешно отпустил извозчика и подошел к офицерам...

— Вот дождались и мы, — сказал ему подполковник каким-то странным голосом, здороваясь с ним...

— Чего дождались? — спросил Иванов, все еще ничего не понимая.

— Как чего?! Бунта...

Иванов был поражен.

— Какого бунта? Где же бунтовщики?! — проговорил он, все еще отказываясь верить.

— Да вон же, — ответил подполковник, кивнув головой по направлению к воротам... — Разве вы их не видели?

Иванов вдруг все понял... Мгновенно в его уме выросла только что виденная картина... Так этот загадочный батальон... так это... это бунт!

И в то же мгновение за стеной, отделяющей двор от площади, взмыл рев толпы...

— Вот они, голубчики... — как-то недовольно сказал подполковник, словно ворча, и вместе с командиром роты пошел к воротам...

— Оставайтесь при роте, — приказал командир Иванову, обернувшись на ходу.

Иванов остался на месте. На него вдруг нашло каменное хладнокровие, которое, Бог весть откуда, овладевало им в решительные минуты... Он медленно и спокойно пошел вдоль фронта, внимательно всматриваясь в лица... Рота неподвижно застыла с винтовками к ноге... Ни в одних глазах Иванов не прочел враждебности, но почти во всех светилась тревога и беспомощность... Взгляды то приковываются к нему, как бы ища и прося поддержки, то перебегают на ворота, за которыми слышатся смутные крики, но еще ничего не видно, потому что рота выстроена наискось от них... Многие побледнели... Взводный первого взвода Полещук, который стоит на правом фланге, вытянув голову с изменившимся позеленевшим лицом, не отрываясь, смотрит на ворота своими большими, мягкими глазами... Губы его что-то шепчут, и видно, как всего его трясет нервная дрожь... Около него, но не в строю твердо стоит фельдфебель Майданин... Лицо его пошло серыми пятнами, но весь он как-то закаменел, затвердел, и его зеленоватые глаза смотрят твердо и упрямо с умного лица, как бы говоря: «Нет! Как другие, я не знаю, а я — нет!»

Иванов прошел весь строй и, идя обратно, возможно спокойно, не повышая голоса, сказал как бы мимоходом:

— Не волнуйся, братцы, не робей... Стой твердо и помни службу... помни, что теперь вся Россия от нас зависит, потому что теперь всякая сволочь бунтует... Коли и мы еще забунтуем, пропала Россия... Конец ей...

Его слова как будто бы производят впечатление... В продолжение этой сцены, которая занимает несколько секунд, за воротами слышится дикий, раздражающий и жуткий крик толпы... Вдруг в воротах показывается беспорядочная, возбужденная толпа солдат, которая что-то кричит, машет руками и ружьями и хочет войти... подполковник и ротный задерживают их на мгновение, пробуют говорить, но их не слушают, оттирают, оттискивают от ворот, и толпа врывается во двор... Тогда командир роты поворачивается к своим, командует: «Смирно» — и, выхватив шашку, идет к роте... Рота исполняет приказание и стоит твердо... Но ворвавшиеся, беспорядочно махая ружьями, с криками: «Братцы, пойдём с нами, идем, братцы!» — направляются к левому флангу... Иванов инстинктивно бросается им наперерез, чтобы не допустить их до

строю, не соображая, что надо приказать действовать роте, а не бежать самому, и на ходу так же инстинктивно вытаскивает шашку до половины... В то же мгновение к нему бросаются несколько человек со штыками наперевес, с криками: «Ваше благородие, зачем шашку? Спрячьте шашку, мы ничего не делаем, никого не трогаем, спрячьте шашку!..»

Воспоминание об этом роковом моменте опять болью сжимает сердце Иванову... Но он пересиливает себя и заставляет не думать больше, потому что это только что решено и выяснено... И все-таки он думал... Нет, он не струсил... по крайней мере, с чистым сердцем, докопавшись до самого дна своих ощущений, он не может вспомнить ощущений страха... Но их совокупная воля в течение этой короткой мимической сцены, в течение этих нескольких мгновений, когда они стояли друг против друга, он — с полувытащенной шашкой, они — со штыками — их совокупная воля, их полупросьба, полубеуждение, полуугроза, вылившаяся в этом крике: «Зачем шашку?», — оказалась сильнее его первого, почти инстинктивного движения, не поддержанного твердым и давно созданным убеуждением, что так именно и нужно поступать, не поддержанного и со стороны... Наоборот, в это мгновение кто-то на этом самом левом фланге, который он защищал, кто-то за его спиной крикнул: «Братцы, за мной!» и бросился к бунтовщикам, увлекаая за собою других... В то же мгновение со всех сторон раскрылись окна полукруглой казармы, и оттуда грянуло «ура» и другие радостные крики (это кричали солдаты, оставшиеся в казармах), и тотчас же за спиной роты грянули звуки труб, на двор хлынула музыкальная команда с первыми тактами «Марсельезы». Иванов невольно обернулся, увидел, что рота дрогнула, смешалась, правый фланг еще стоял, но левый и середина уже перемешались с бунтовщиками, которые выталкивали растерянных, испуганных солдат из рядов, командир роты спрятал шашку и что-то беспомощно говорил. Иванов почувствовал, что момент потерян, силой уже ничего нельзя сделать — и тоже втокнул шашку в ножны. Он опять чуть не застонал... О, зачем он это сделал, зачем он не выхватил ее и не рубил, его бы убили, вероятно, но ведь так надо было поступить, он должен был так поступить... И опять ему пришлось сдержать себя, пересилить: что сделано, то сделано — будет об этом... Потом сразу наступила каша... Двор наполнился сотнями кричащих, шумящих, убеужающих и спорящих солдат, среди которых нельзя было уже хорошо отличить своих от ворвавшихся... Однако Иванов ясно видел, что многие упираются, не хотят идти, стараются вырваться и отделаться от бунтовщиков, которые набрасываются по несколько человек на одного и силой увлекают к воротам... Офицеры как-то невольно очутились вместе (их

было трое) перед дверьми казармы в помещении роты, и вокруг них и в дверях быстро собралась кучка, которой удалось отбиться от понтонеров и которая жалась к офицерам... Около самых дверей, облокотившись о стену, стоял Полещук, бледный как полотно, и шептал что-то побелевшими губами...

— Ваше благородие, дозволейте мне уйти, — вдруг проговорил он с трудом. — Нехорошо мне...

Командир роты жестом отпускает его.

— Пропала Россия, — шепчет кто-то около Иванова, видно, ему запомнились эти слова, и он повторял их, но Иванов не мог видеть, кто это сказал... Майданин по-прежнему стоит твердо, сбоку своего ротного командира, и твердые глаза его говорят: «Нет! Как другие — я не знаю, а я — нет!..»

Около него так же твердо стоит совсем молодой солдатик, небольшого роста, но коренастый, со здоровым, полным, некрасивым, но веселым лицом и живыми серыми глазами, светившимися и в эту минуту какой-то внутренней усмешкой... Он ни на шаг не отходил от фельдфебеля, точно прирос к нему... Вокруг шумит беспорядочная серая толпа, но офицеров не трогают, оставляя небольшой круг... Вдруг какой-то, особенно ярый, бросился к молодому солдатику.

— А ты что?.. Иди, иди... Ну! — убеждал он, толкая его и хватая за рукав...

Солдатик сердито дернул рукав и вырвался от него... Но ярый не унимался:

— Ну, чего ты к нему цепляешься? — вдруг сердится Майданин. — Видишь, не хочет, ну и оставь... Иди сам, если тебе нужно.

Тот бормочет какое-то ругательство, но властный тон фельдфебеля заставляет его уступить, и он замешивается в толпу... Меж тем кучка около дверей быстро растет, и скоро почти вся рота тут...

— По казематам! — вдруг неожиданно командует командир роты, и люди, только и жаждавшие как-нибудь спрятаться, мгновенно влились в двери... — Стройся в проходе! — скомандовал им вдогонку командир роты.

Офицеры вошли последними.

Поднявшись по полутемной лестнице, стуча тяжелыми сапогами, рота, теснясь в беспорядке, спеша, взволнованная, но покорная, строится в длинном проходе... Иванов стал в дверях на темную лестницу, чтобы не пустить бунтовщиков... Они поднимаются уже по лестнице, но не посмели прямо лезть на офицера, стали, и только из темноты слышны крики и возгласы, среди которых раздаются все больше:

— Братцы, идем с нами на плац, братцы...

Командир роты тоже подходит сюда.

— Слушай этих «братцев», — говорит он сквозь зубы. — Как раз на виселице будешь...

— Ваше благородие, идем с нами на плац «Боже, Царя храни» петь, — кричат из темноты голоса. — Ваше благородие, ей-Богу, мы ничего, идем, братцы...

Рота выстроилась, но вдруг опять происходит какая-то суматоха, на противоположном конце начинается опять что-то, и постепенно там ряды сплутываются, оттуда начинают напирать...

— Ах, мерзавцы! — говорит ротный. — Они там нашли ход и выпирают...

И действительно, роту выпирают силой... кто сопротивляется, того убеждают пинками и ударами прикладов и грозят штыками... И растерянные люди, не видя поддержки и чувствуя, что на каждого из них приходится чуть ли не пять бунтовщиков, будучи не в силах сопротивляться «братцам», прут... Иванов и ротный стоят в дверях... Около них поток задерживается, снова пытается сопротивляться, но задние ряды напирать. И бедные солдатики боком, чтобы не задеть и не затолкать офицеров, пропираются мимо на темную лестницу... Иванов пробует еще что-то... Он становится в самую середину потока...

— Ну, что же ты робеешь? — говорит он. — Взбунтовались — так чего же... Валяй... На штыки офицеров, чего тут думать... Ну, Семенов, коли, брат, чего тут...

Бедный Семенов, которого прут сзади, опускает голову и, употребляя все усилия, чтобы не толкнуть Иванова, боком пропирается мимо... За ним так же проплывают другие, и живой поток, опуская головы, обтекает с двух сторон офицеров... Так выперли почти всех... Офицеры опять спускаются вниз... Толпа с дикими криками обхватывает со всех сторон вытолкнутых людей, увлекает их за ворота и, увеличившись в числе, с музыкой через площадь направляется к другим казармам.

Около офицеров, вышедших за ворота и наблюдающих, остается всего несколько человек... Бледный Полещук вылезает из какой-то дыры, куда он забился, Майданин, который сумел отбиться, и еще несколько солдат и между ними тот молодой крепыш. что прирос к фельдфебелю. Он и сейчас около него, но по лицу его сочится кровь из свежей царапины... Кто-то ткнул его штыком в щеку, но не мог заставить отойти...

— Вот молодец-то, — невольно вырывается у Иванова...

— Рад стараться, ваше благородие, — отвечает тот бойко, весело, глядя прямо в глаза...

Ротный, заложив руки в карманы, не отрываясь смотрит вслед...

— Ну и прохвост же этот Морозов, а? — вдруг говорит он. — Это ведь он, на левом фланге, крикнул «За мной», это я хорошо ви-

дел... Рота как мертвая стояла, а это он, сволочь!.. Кто там был, на левом фланге? Ты был? — вдруг спрашивает он крепыша.

— Так точно, ваше благородие, был!

— Что же, ты тоже за Морозовым дернул?..

— Так точно, ваше благородие... Как он крикнет: «Ура, за мной, братцы!», мы, значит, думали, в штыки это он командует — и за ним... А у него другое в думке было...

— То-то, что другое... — бормочет ротный. — Экая скотина!

Иванов наклоняется к нему и спрашивает вполголоса:

— Как вы думаете, можно было стрелять?

Ротного всего передергивает.

— Да у нас винтовки были не заряжены, — с сердцем выговаривает он.

Иванов столбенеет:

— Не были заряжены?..

— Ну да, не были... А у них были... что же тут можно было сделать... Да и тут уже поздно было... Как тут стрелять, когда они за рукава хватают: «Братцы, братцы...» Вот и стреляйте в этих «братцев»... Да еще в мышеловку мы эту попались... Если бы было распоряжение или знать все это заранее, нужно было вывести роту сюда, на площадь, и залпом их на двести шагов, пока этого «братцы» не было... А то что... У меня восемьдесят восемь человек, а их больше четырехсот приперло...

— Смотрите, смотрите, там то же самое!..

Действительно, на другом углу площади, у круглой башни, по видимому, повторилась та же история. Серая масса с музыкой во главе обступила башню, потом музыка смолкла, раздались крики, потом молчание, потом опять крики «ура!», опять музыка, и наконец толпа снова двинулась дальше и исчезла за башней...

— И там сняли... — проговорил ротный. — Там первая и третья роты...

— А командир батальона? — спросил Иванов.

— Там... все там...

Случайно оглянувшись, Иванов, к удивлению своему, увидел, что кучка солдат вокруг них значительно увеличилась... Он обратил на это внимание командира роты...

Командир роты тоже удивился...

— Ты где же был?.. — обратился он к одному.

— Так что, ваше благородие, мы как они стали тут бунтовать — сейчас в казармы попрятались, винтовку под тюфяк, все с себя по-сбрасывали и больными сказались...

Кругом засмеялись.

— И вы тоже? — спросил ротный, тоже улыбаясь.

— Так точно, ваше благородие, — отвечают веселым хором.

— А я, ваше благородие, на горе сховался... — радостно докладывает какой-то хохол.

От круглой башни тоже пробираются солдатики. Некоторым удалось отбиться по дороге, юркнуть в бараки, другие убежали от круглой башни.

— Ну, что они там делали? — спрашивает таких ротный.

— Так что, ваше благородие, примерно как и у нас. Забрали первую роту и вниз подались «сошою»...

— А наши есть с ними?

Солдат мнетя.

— Так точно, есть, ваше благородие, — говорит он нехотя.

— Что же они-то? Отчего не вернулись?..

— Не пуцают, ваше благородие, понтонеры...

— А ты-то как?

— Я, ваше благородие, в самой середке не был... Значит, мне ловчее было... А которые в середке, тем никак невозможно... понтонеры штыками грозятся...

В это время опасно, видно, еще не вполне уверенный, пробирается к воротам под стенкой какой-то солдат без винтовки.

— А винтовка где? — окликает его ротный.

— Есть, ваше благородие, — весело отвечает солдат и торжественно вытаскивает винтовку без штыка из-под шинели.

— А штык где?

— Есть, ваше благородие! — еще веселее говорит солдат и достает штык из сапога.

Ротный, Иванов и вся группа солдат покатывают со смеху.

— Чего же ты ее так запрятал, а?

— Они, ваше благородие, — расплывается солдат, — которые с винтовками — не пуцают, а без винтовки можно... Как стали, это, против круглой башни, все в одну сторону глядеть, я тут штык в сапог, а винтовку под шинель и стал, значит, как бы без винтовки, так они меня пустили...

— Молодчина, — говорит ротный. — Голова у тебя на месте.

— Рад стараться, ваше благородие...

Ротный смотрит на сметливого солдатика некоторое время, как бы обдумывая что-то, и потом говорит:

— Ну, вот ты, как я вижу, человек, того... не дурак... Ну, вот ты там был в середине, слышал, что они говорят, — так скажи мне, объясни, потому что я сам не пойму, с чего это они такую штуку выкинули... что им нужно, чего они хотят и что они думают дальше-то делать?..

— Забастовка, ваше благородие! Они, ваше благородие, так сказывают, что пища плохая, и насчет одежды тоже... штаны рваные и сапоги дырявые... Главное дело — насчет штанов обижаются...

— Так из-за штанов?!

— Так точно, ваше благородие...

Солдат вдруг лезет за обшлаг шинели и вытаскивает оттуда бумажку и подает ее ротному.

— Это они мне там дали, ваше благородие... Тут, сказывали, написано.

Ротный читает. Иванов смотрит через плечо.

Печатная прокламация от лица будто бы солдат гарнизона. Написана по обыкновенной революционной прокламаторской трафаретке. Выставлено несколько десятков требований исполнимых (вроде мыла и еще чего-то), уже исполненных (вроде чаю, сахару и другого) и невыполнимых (выборные офицеры или что-то в этом роде). В самом конце — «Да здравствует Учредительное собрание!»

— Есть ли среди них хоть один, кто понимает, что это за Учредительное собрание? — говорит Иванов, дочитав.

— О, не думайте, — говорит ротный. — В телеграфной роте, туда более интеллигентных подбирают, там такая сволочь есть, настоящие революционеры... Эти телеграфные роты — это все несчастье было... Мы этих господ хорошо знаем...

В это время от круглой башни подходит по грязи группа офицеров. Это командир батальона и с ним все остальные. Лица осунувшиеся. Некоторые бледны, другие более спокойны, но все очень серьезны. Юное, веселое лицо Воронина совсем вытянулось. Точно всем и больно и стыдно...

Жестокая и к себе, и к другим мысль мелькает в мозгу Иванова.

— Офицеры взбунтовавшейся армии. Начальники, которые уже не начальствуют. Ротные без рот, полковники без полков. Что это такое? Фикция, корень квадратный из минус единицы, величина мнимая, которой военный устав не знает. Начальник обязан привести своих подчиненных к повиновению. В этих строчках из-за каждой буквы, как говорил покойный Драгомиров, выглядывает кровь и смерть или позор и суд. Здесь выбрали последнее. Все мы должны быть под судом, все до единого и я тоже.

И в первый раз при взгляде на эту группу офицеров без солдат боль неисполненного долга сжимает ему сердце.

Ротный докладывает командиру батальона о происшедшем...

— Да, да, — взволнованно и как-то потерянно говорит командир батальона. — То же самое и около круглой башни было. Стрелять? Собственно, следовало, конечно. Но хотелось избежать кровопролития. Я думал, можно будет на них словом подействовать. И, знаете, мне почти удалось. Да эти шельмы-агитаторы, заправилы, вожаки — вот кто испортил.

— Коровина видели? — спрашивает кто-то Иванова.

— Так Коровин-таки с ними, значит. Я не ошибся! — восклицает Иванов.

— Как — не ошиблись?

— Я видел Коровина, когда ехал сюда, но я тогда понятия не имел, что это бунт, и мне только странным показалось, почему Коровин с понтонерами.

— Я его не видел. мне только солдаты говорили, что Коровин с ними...

— Один?

— Говорят, Губов и еще были офицеры, но кто — не известно...

— Хорошая история!.. — задумчиво проговорил Иванов.

В это время ротный поманил его:

— Командир батальона приказал нам собрать, что осталось от роты, и идти на охрану Государственного банка.

И они пошли.

Большая часть роты оказалась налицо. Часть спряталась по разным углам и выползла потом, часть убежала с дороги.

Ротный построил людей, и маленькая рота беглым, но мерным шагом, крепко соблюдая ногу, двинулась вперед через огромную площадь. Никогда еще Иванову, с тех пор, как он был в батальоне, не приходилось видеть такого образцового марша. Люди как-то инстинктом поняли в этот тяжелый момент всю необходимость дисциплины. Разнузданный бунт прошел перед их глазами, они не захотели присоединиться к нему, они остались на другой стороне, но кругом в начинавшем садиться тумане вокруг них лежала угрюмая площадь, а за ней огромный город, где разбросаны были многие тысячи солдат, целая армия, и никто из них не знал, на какую сторону стала или станет эта армия, где искать друзей, где опасаться врагов. Не знали этого и два офицера, под командой которых шла эта оборванная рота. Но все они инстинктивно чувствовали, что для них, для этой маленькой кучки, двигавшейся наугад через город, которая не пошла за беспорядком и неповиновением, — все спасение, вся сила именно в порядке и повиновении, и потому они шли твердо и дружно, отчетливо отбивая ногу, строго равняясь в рядах — будто церемониальным маршем.

В конце площади надо было свернуть на прилегавшую улицу, пустынную, как и все улицы этой части города... Но когда рота завернула уже за угол, вдали через квартал они увидели артиллерию, пересекавшую улицу. Она довольно быстро двигалась вперед, грохоча орудиями, смутно проплывая в тумане.

Командир остановил роту.

— Вот положение, — вполголоса проговорил он подошедшему Иванову, — черт их знает, кто они такие. Может быть, тоже «братцы».

— Пусть пройдут, — сказал Иванов. — Помочь мы им не поможем, а если это «братцы» — вляпаемся сами.

И они стали пережидать, не зная, кто перед ними, — друзья ли, враги.

Потом двинулись дальше. Когда они попали в более населенную часть, Иванов заметил, что народ глазеет на них. Очевидно, в городе уже знали, что солдаты взбунтовались, и потому они возбуждали любопытство. Образцовый порядок, в котором шла рота, не оставлял сомнения в том, что это не мятежники, но поспешный шаг и какой-то неуловимо-серьезный отпечаток на лицах, быть может, у многих родил мысль, что рота спешит на усмирение или защиту. И народ глядел на людей, которым, может быть, придется стрелять в своих же, с любопытством и с оттенком почтения.

По пути им несколько раз встречалась пехота. Но тут легче было определить, с кем имеешь дело. Когда они различали впереди офицеров, — они смело шли вперед.

Где-то Иванов, еще издали, увидел офицера, стоявшего на панели. Он обратил на себя его внимание, потому что он неподвижно стоял, как бы дожидаясь их. Когда они подошли ближе, он узнал Губова. Иванов поклонился ему. Губов едва ответил на его поклон, и Иванова поразили взгляд, которым он провожал роту. В его бледном лице, изрытом оспой и обезображенном шрамом, светилась почти открытая враждебность, соединенная с напряженным вниманием. Он так смотрел на них, как будто хотел угадать, куда и зачем они идут, и проводил их этим, уже злобным, незамаскированным взглядом.

«Черт возьми, — подумал Иванов. — Собственно говоря, чего он здесь, почему не в казарме, почему он так смотрит... А ведь Коровин был с ним...»

И вдруг вся сцена и разговор тогда, перед обедом, когда проводили капитана, живо вспомнились ему.

«Так я не ошибся, — думал он, мерно шагая по мостовой. — Вот кем оказались эти господа... Теперь маска сорвана. По крайней мере, с того... Но и этот с ними — наверное с ними...»

В Государственном банке они пробыли недолго. Пришла рота пехоты, а им приказано было снова вернуться в казармы.

Они пошли обратно.

Рота опять шла в порядке, но настроение было уже не совсем то.

Иванову почудилась какая-то едва заметная фамильярность в обращении солдат. И, прислушавшись чутче к этим впечатлениям, он понял.

В первое мгновение страх, волнение, боязнь повторения и чувство одиночества заставили их жаться к офицерам, инстинктивно чувствуя в них спасение. Теперь, встретив на пути войска немыеж-

ные и, главное, перекинувшись с пехотой, пришедшей их сменить, они поняли, что непосредственная опасность миновала, потому что они не одни, многие с ними. Они успокоились, стали вспоминать и переживать происшедшее, и престиж офицеров в их сознании неминуемо должен был пасть. Они своими глазами видели, как этим офицерам не повиновались, как им грозили, как они снесли это неповиновение и угрозы и не сумели тут же, на месте, укротить, усмирить и наказать эту толпу. Они чувствовали, что если они не пошли с бунтовщиками, то не потому, что их удержали их начальники. Нет, они не пошли по собственной воле, и они, быть может, бессознательно ощущали, что они лучше исполнили свой солдатский долг, чем офицеры — свой офицерский долг, потому что их долг был повиноваться и они повиновались, а офицерский долг был в чем-то другом, более высоком, властном и смелом, чего они сами не знали хорошенько, но что выполнено не было. Они не осуждали их за это со свойственным русскому солдату добродушием, но бессознательно чувствовали некоторое свое превосходство. И оттого, помимо воли их, закрадывался в их интонации едва заметный оттенок фамильярности, которого не было прежде.

И снова боль неисполненного долга сжала сердце офицера.

Они снова вернулись в свои края, снова прошли огромную площадь, вошли в ворота, в этот полукруглый двор, где так недавно разыгрались неожиданные события, и, поднявшись по темной лестнице, стуча тяжелыми сапогами, выстроились в проходе.

От командира батальона получено было приказание не снимать шинели и подсумки, чтобы быть готовыми каждую минуту. Ротный приказал сделать перекличку... Маленькая рота замерла в проходе, серая и неподвижная.

Майданин звонко и быстро привычными интонациями стал выкрикивать фамилии по списку.

— Аксентьев, Александров, Бабунин, Барвинский, Баранов, — звонко выкликал он.

— Я... я... я... — отзывались в разных концах разными голосами, то высоко, то низко, то громко, то чуть слышно, как будто бы кто-то невидимой рукой играл по этим живым, серым клавишам.

— Бахметьев, Белый...

Никто не ответил на последнее имя.

— Белый Иван! — повторил Майданин еще звонче.

Молчание.

Майданин отметил карандашом на списке. Тяжелое дуновение повеяло вдруг с тяжелых сводов казармы на выстроенные серые ряды

«Вот и разбери тут, — думал Иванов. — Почему его нет до сих пор? Держат ли его силой, или он добровольно пошел... Кто его знает?»

Белый был взводным унтер-офицером. Это делало его отсутствие значительнее.

А Майданин засыпал дальше. И часто его звонкие выклики прерывались тяжелым молчанием. Многих не было.

Когда перекличка кончилась, ротный отпустил роту по казармам. Люди расселись по койкам, сейчас же образовались кружки, которые шептались о происшедшем.

Офицеры расположились в своем каземате, служившем и канцелярией.

Майданин доложил, что еще несколько человек вернулись.

Ротный велел позвать их.

Солдаты, как были — с винтовками, в шинелях, — вошли в каземат и выстроились рядом. Лица их были тревожны. Их было трое.

Ротный выдержал их довольно долго под своим взглядом. Потом, обращаясь к первому, спросил:

— Где ты пропадал столько времени?

Солдат взволнованно ответил:

— Не пущали, ваше благородие... Я сколько разов уйтить хотел... Никак невозможно... понтонеры с обоих боков вроде как патрули выслали — не пущают... Никак невозможно... Только там, уже в городе, казаки с тылу насунулись, сказывали, стрелять будут, сейчас смятение сделалось... Тут мы втроем, вот с ними, во двор забежали и спрятались... Как они прошли дале, мы назад вылезли и пошли сейчас в роту.

Ротный опять долго посмотрел на него.

— И вы тоже так? — спросил он остальных.

— Так точно, ваше благородие.

Ротный на минуту задумался.

— Ну, хорошо, — сказал он как-то задумчиво. — Можете идти.

Солдаты повернулись на месте на левом каблуке и правом носке, пристукнули ногой и вышли...

— Запиши, в котором часу они пришли! — крикнул он Майданину. — И всех записывай, кто придет. Строй на обед.

— Пойду в круглую башню, может быть, что-нибудь знают. Кстати, пришлю вам обедать.

Иванов остался один.

В казарме было тихо, холодно и неприятно. Жуткая неизвестность таилась в темных углах тяжелых сводов. Люди шептались и слушали рассказы прибывших. Когда Иванов закрывал глаза, ему виделась масса серых шинелей, возбужденных лиц, машущих рук и штыков, копошащихся в какой-то дикой каше. Вернулись еще несколько человек. Иванов следил, чтобы правильно отмечали время их возвращения, и расспрашивал их. По их рассказам, продолжавшим один другой, Иванову постепенно выяснилась картина.

От круглой башни мятежники, с музыкой и не выпуская никого из своих рядов, пошли дальше. Они снимали все небольшие караулы, попадавшиеся им по пути, нигде не встречая серьезного сопротивления. С ними шли трое офицеров, в том числе Коровин и Губов. В город сзади надвинулись казаки. По-видимому, готовилось столкновение, обе стороны готовы были стрелять, но офицеры, шедшие с мятежниками, будто бы упросили казачьих офицеров не доводить до крови. Было ли это действительно так, трудно было понять, потому что этот эпизод передавался различно, но факт тот, что после кратковременного замешательства мятежники снова двинулись вперед, а за ними шли казаки. Постепенно к солдатам присоединялись «вольные», состоявшие из рабочих, жидов и всякого сброда. Сначала солдаты держались в строю и не пускали «вольных» в ряды. Но потом «вольных» собиравалось с разных сторон количество, во много раз превышавшее солдат, ряды перемешались, и скоро все обратилось в беспорядочную, огромную толпу, запрудившую улицу. Около артиллерийских казарм произошла остановка. С трудом им удалось снять артиллеристов. Там же какой-то старик-генерал верхом на лошади долго уговаривал их разойтись, но безуспешно...

На этом нить обрывалась.

«Чем это кончится!» — думал Иванов. Стало незаметно темнеть. Казематы посерели, своды, казалось, надвинулись ниже. Площадь затягивали туманные сумерки. Так прошло часа два.

Вдруг (Иванов уже хорошенько не помнил, когда) в казармах стало известно, что рота пехоты залпами разогнала мятежников.

Бунт был окончен.

Иванов облегченно вздохнул; вместе с тем ему было больно. Больно не за тех мятежных людей, которые легли под пулями, — он еще не чувствовал к ним никакого сожаления, ему было больно, что этого не сделала его рота.

«Вот нашлись же люди, которые не растерялись и исполнили свой долг, а ты-то!» — с горечью думал он.

В казематах стало легче дышать.

Положение выяснилось, этот залп пехотной роты решил дело: головы, которые начинали уже пьянеть, моментально отрезвели. Каждый получил наглядное доказательство, что такие шутки кончаются плохо. Майданин, которого, видимо, удручало настроение роты, — он уже, по-видимому, имел стычку, задевшую его как начальника, — повеселел.

— Сказывают, как зайцы убежали наши-то забастовщики, — весело доложил он прапорщику, с которым был в прекрасных отношениях, почтительно-покровительственных. Так обыкновенно от-

носятся старые слуги к молодым господам и фельдфебели — к прапорщикам.

— Ваше благородие, — доложил он через некоторое время, — Белый привел семнадцать человек.

Иванов вышел в проход. Сумерки уже очень сгустились, под тяжелыми сводами казармы воцарился холодный сырой полумрак.

В конце неподвижно выстроилась кучка людей, как бы замаскированных грязными тонами сумерек. Иванов подошел к ним.

Один отделился и, не доходя трех шагов, отрапортовал:

— Ваше благородие, честь имею явиться... с командой прибыл...

Это был Белый. Голос его звучал очень неуверенно. Он заикнулся два раза... Иванов чувствовал, как он волнуется и употребляет все усилия, чтобы сдержать себя.

Иванов ничего не сказал ему.

«Этот человек был под пулями», — мелькнуло у него.

— Майданин, — приказал он, — прими патроны и осмотри винтовки.

Каптенармус стал отбирать патроны. Люди молча и покорно отдавали пачки, которые каптенармус бросал в полу шинели. Майданин считал. Все оказались налицо. Но, когда очередь дошла до Белого, у него не хватило семи патронов. Выдано было по пятнадцать.

— Здесь только восемь, — сказал Майданин.

Произошла томительная пауза. Белый шарил в подсумке.

— Нет больше, — проговорил он дрогнувшим голосом среди жуткого молчания.

Что-то тяжелое, серое, неумолимое спустилось вдруг над головой этих людей с тяжких сводов казармы, уже совершенно потонувших во мгле.

«Где же патроны? — думал Иванов. — Потерял или... стрелял? Неужели стрелял?..»

Ему показалось, что еще потемнело кругом... Он снова оглядел всю эту группу, среди которой воцарилось мгновенное молчание.

«Да ведь это смертной казнью пахнет, — промелькнуло в его сознании...» Казнят вот этого Белого, которого он знает, с которым столько раз говорил и шутил! Казнят! А если не стрелял?.. Надо скорее выяснить это теперь же. Дальше труднее будет.

— Посмотри винтовку, Майданин, — сказал он. — В дуле нагар должен быть.

Майданин взял винтовку, привычным движением вынул замок и, направив дуло на тусклый свет умирающего дня, несколько мгновений смотрел туда.

— Винтовка чистая, ваше благородие, извольте посмотреть, — сказал он, передавая ее офицеру.

— Я не стрелял, ваше благородие, — сильно дрожащим, сдавленным голосом проговорил Белый.

Иванов взял винтовку и направил ее на окно. Тусклый свет заиграл на блестящей стали и выделил серебристо-голубую кривую нарезков. Винтовка действительно была чистая.

«Как будто нельзя было ее потом вычистить», — подумал Иванов.

— Поставить винтовку и явиться в канцелярию, — сказал он Белому.

— Слушаю-с, ваше благородие.

В канцелярии уже зажгли лампу без абажура и затопили печку, которая ласково рокотала и стучала растопкой. Стало уютнее в холодном каземате. Иванов с наслаждением стал греть свои озябшие руки при красных отблесках огня.

Вошел Белый и стал у дверей.

Иванов обернулся к нему, облокотясь о печку.

— Послушай, Белый, — заговорил он, несколько затрудняясь, какой тон ему взять с ним. Ему жаль было его, но вместе с тем он сознавал, что не время и не место жалеть. — Где твои патроны?

— Должно быть, обронил, ваше благородие... — ответил тот, стараясь говорить твердо, но какая-то беспомощность звучала у него в голосе.

Иванов помолчал.

— Имей в виду, что это вовсе не доказательство, что винтовка была чистая. Ты мог ее и потом протереть, — вдруг сказал он.

— Так точно, мог, ваше благородие... Только я не стрелял...

Губы у него стали дергаться. Но он старался сдерживаться.

Иванову опять очень стало его жаль. Он видел, что нервы этого человека, который не производил на него впечатления бабы, были слишком натянуты.

— Послушай, — сказал он мягко. — Ну хорошо, я тебе поверю, так, на совесть. Но ведь надо, чтобы и другие поверили. Дело серьезное. Ты вот что, расскажи мне все как было, с самого начала.

— Слушаю-с, ваше благородие... Я вам все как перед истинным Богом расскажу.

Глаза его были влажны. Он начал рассказывать волнуясь. Белый был развитее других, и по его рассказу можно было составить себе ясное понятие о трагическом финале этого нелепого, бессмысленного бунта.

От артиллерийских казарм они пошли дальше. Огромная толпа, в которой затерялись серые шинели, двигалась по улице, заняв ее во всю ширину широкого бульвара, на который они вышли. Белый был в середине. «Вольные» перемешались с солдатами, которых приветствовали со всех сторон и даже забрасывали булками. Впе-

реди играла музыка. Шли они к казармам пехотного полка, чтобы и его снять. Вдруг раздался залп, за ним другой. Белый не видел и не понял, откуда стреляли, но толпа в ужасе хлынула назад и побежала. Он побежал вместе со всеми и с двумя товарищами. Со страху забежал в какой-то дом и забился в чью-то квартиру. В окошко они видели бегство, видели трупы на мостовой. Все «вольные». Они просидели довольно долго, не решаясь выйти. Наконец, увидевши еще несколько человек своей роты, они вышли. На улице стояла пехота. понтонеров окружили, обезоружили и уводили. Белый присоединился к товарищам, не зная, как ему быть. Подошел какой-то офицер, велел им построиться и приказал Белому вести.

Он и привел их сюда.

Тон его был искренний. Он очень волновался, то краснел, то бледнел, и губы у него дергались. Иванов внутренне уже был убежден, что он говорит правду. Но тем более ему казалось страшным для этого человека отсутствие патронов.

— Ну, а что же вы-то, когда в вас стали палить, вы что не стреляли? — спросил он.

— Говорят, что стреляли понтонеры. Я сам лично не видел. — ответил он.

Иванов посмотрел еще некоторое время на его бледное лицо и отпустил его.

Пришел ротный и принес разрешение людям раздеться. Тревожных известий не было. По-видимому, дело этим и ограничится. Однако всем офицерам приказано ночевать в казармах.

Принесли самовар, который ласково и задумчиво пел, выпуская струйку пара. Они стали пить чай, беседуя обо всем происшедшем, перебирая и восстанавливая события в своей памяти.

Иванов за этот день как-то сблизился со своим ротным. Раньше они были в довольно холодных, хотя ничем не омраченных отношениях. Ротный был строг, требователен к себе и к другим, человек труда и долга, а потому от него нередко доставалось всем. На себе Иванов не испытал этого, потому что, как человек очень самолюбивый, он старался выполнять все, что нужно было. Но казармы были холодны и суровы, Иванов чувствовал себя временным гостем, кроме того, положение младших офицеров в роте вообще нелепое, так как ничего серьезного им не поручается, а торчат в роте без дела, в продолжение нескольких часов слоняясь из угла в угол, невероятно мучительно, — и все это приводило к холодным служебным отношениям. Однако Иванов не мог не отдавать должного своему начальнику. Присматриваясь к офицерам вообще, он как-то невольно группировал их в три типа: зверь, хороший офицер и мякина. Первых было очень мало. Это большей частью были

неудачники, раздраженные ограниченности, вымещавшие на солдатах свою тупость. Таких солдаты искренно ненавидели, а Иванов не переносил. Ему казалось, что, будь он начальником такого зверя, он преследовал бы его со «звериной» жестокостью за ту уйму безответственных страданий, которые причиняет такой субъект тем, кто имеет несчастье быть его подчиненным. Вторых и третьих было наполовину. Хороший офицер — и таких Иванов наблюдал всегда с каким-то тайным чувством эстетического удовольствия — прежде всего требователен к себе. Все свои обязанности он исполняет строго, не рассуждая — раз нужно, то нужно, не допуская софизмов, подсказываемых ленью. Естественно, что того же он требует и от других, и потому хороший офицер по необходимости строг, что не мешает ему быть до крайности внимательным, заботливым и даже ласковым по отношению к солдатам. Таких людей вначале клянут на все лады, но по истечении некоторого времени начинают любить. Третий тип — мякина, — к сожалению, очень распространенный, по наблюдениям Иванова. Ленивый, добродушный, он сам ни черта не делает и от других ничего не требует.

На этих солдаты сначала не нарадуются, а потом понемножку начинают презирать, а нередко и терпеть не могут, потому что у такой мякины часто всем орудует фельдфебель, а фельдфебели неконтролируемые — народ тяжелый.

К этой квалификации в нынешнее, революционное, время присоединилась четвертая категория — освободительных. Эти очень льстили солдату и полным отсутствием требовательности расшатывали дисциплину.

Ротный командир Иванова, несомненно, принадлежал ко второму типу, а этот день, в который им много пришлось пережить вместе, быстро сблизил их. Они были люди разных характеров, но одних убеждений... А в эти тяжелые дни убеждения — это были люди. И теперь между ними сразу установилось доверие.

Пришел еще один офицер — тоже из лагеря — и присел к чаю.

— А знаете, о чем там толкует публика в круглой башне? — спросил он.

— Ну? — сказал Иванов.

— А, батенька, спорят там, да еще как. Говорят, будто пехота из окопов стреляла по нашим-то. Так, мол, это подлость будто, что такую засаду устроили. Почему, мол, не вышли на открытое, там бы им показали.

— Черт знает что такое! — рассердился ротный. — С взбунтовавшейся сволочью какие-то поединки устраивать! Вы бы им сказали, что это не только не подлость, а обязанность была пехотных офицеров прикрывать своих солдат, если возможно. Наоборот, была бы подлость рисковать честными солдатами ради мерзавцев.

И отлично сделали, если устроили засаду... А еще лучше было бы пулеметами их, чтобы никем не рисковать.

— Да так им и говорили, оттого и спорили! Но слушайте, чем это кончилось! Как раз пришел кто-то на спор и принес точные известия. Никакой засады не было. Стреляла учебная команда в числе ста человек пехотного полка, забыл какого, вызванная по тревоге. Стреляли, выстроившись поперек улицы. Дали два залпа, а потом пачками, причем пехота понесла потери: из ста человек трое убитых, шесть раненых — некоторые тяжело.

— Хорошая засада! — крикнул ротный... — О! Как жаль, что ее не сделали!

— Сто человек против пятисот и огромной толпы сверх того! — вырвалось у Иванова.

— Да-да. И эта толпа тоже стреляла, стреляли, кроме того, из окон и из-за заборов по этой несчастной пехоте.

— Вот что значит дисциплина! — воскликнул ротный. — Говорят, наши как зайцы улепетывали.

Разговор пошел на эту тему и продолжался долго, как всегда разговоры у самовара. Рота, получившая разрешение лечь, не раздеваясь совершенно, уже спала. Наконец, в одиннадцатом часу ночи офицер, пришедший их навестить, пошел к себе. Он ночевал в круглой башне. С ним пошел ротный получить последние приказания на ночь, обещав скоро вернуться.

Иванов опять остался один.

Так прошел этот длинный, бесконечный день. И теперь, стоя у теплой печки, которая грела ему спину, и лентясь приняться за сапоги, Иванов мысленно пробежал по всем этим впечатлениям.

Наконец, он решился приступить к трудной операции и сел на койку.

В это время кто-то на цыпочках поспешно подошел к двери каземата. Иванов повернул голову.

Быстро вошел Белый.

— Ваше благородие, есть патроны! — радостно заговорил он, показывая их в руке. — В карманах нашел, как я их туда засунул, и сам не помню, смотрю — есть!

Он с радостно расплывшимся лицом протягивал Иванову патроны.

— Ну, слава Богу! — вырвалось у того.

Он с удовольствием поглядел на радостно-возбужденное лицо солдата. Первое теплое впечатление пробежало в его душе за этот день.

— Ну, иди теперь спать, — сказал он, улыбаясь. — Теперь хорошо заснешь, а?

— Так точно, ваше благородие, — расплылся Белый.

Иванов тоже лег и притушил лампу.

Через несколько минут вся казарма затихла — заснула. С тяжелых каменных сводов казематов к изголовью утомленных тревожным днем людей спускались тяжелые сны. Им виделись возбужденные лица, слышались дикие крики и угрозы, штыки, направленные в их грудь, музыка, толпа, буйные речи, а за ними — залпы, стоны и трупы.

И для них, для этих счастливых, которых только мимоходом захлестнула мутная волна, все это было только сон. Тяжелый сон, и больше ничего.

За все, что было, заплатят другие... и тяжело заплатят...

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1973 года

І. Французская интервенция на юге России в 1918 — 1919 годах

Эти воспоминания можно было бы назвать световыми пятнами среди тумана далекого прошлого, принимая во внимание, что они пишутся (диктуются) в июле 1973 года.

* * *

...Начну с того, что я сидел в тюрьме. Почему я сидел в тюрьме? Потому, что была перехвачена телеграмма на мое имя в Киеве (какой-то властью).

— Ваше присутствие в Ставке необходимо. (Кажется, Лодыженский.)

Этой телеграммы я не получил. Взамен этого в три часа ночи явились ко мне на квартиру некие власть имущие. Начальник милиции (полиции) доктор Аносов предъявил мне «мандат» на арест и обыск. Обыскали мой письменный стол, где оказались бесчисленные письма в связи с процессом Бейлиса. Оставили их в покое. Пошли в спальню, там что-то искали, ничего не нашли. И повезли сначала куда-то на Печерск, в какой-то штаб, а потом я оказался в тюрьме, на Лукьяновке. Заключение в этой тюрьме было легкое и даже, можно сказать, комичное. Двери в камеры были открытые, и заключенные свободно посещали друг друга.

Однажды пришел какой-то студент:

— Товарищ Шульгин! Необходимо объявить голодовку!

— Зачем?

— Что значит «зачем»? Это не будет голодовка. Только казенного не будете есть, так вы его и так не едите. А передачу можно.

— Отказываюсь.

Смылся. Пришел другой. Он был в кожаном, молодой и пьяный. На дворе шел сильный дождь.

— Я — начальник Червонной милиции. Я их сам всех арестую.

— Арестуйте.

Смылся. Пришел третий. Отрекомендовался, что он генерал в отставке. По выговору видно — поляк.

— Знаете, я пошел к ним. Говорю: «Военного вооружения у меня нет, но есть охотничье ружье. Его что — тоже надо сдавать?» — «А вы кто такой?» — «Я генерал такой-то». — «Вы генерал? Пожалуйста!»

И посадили меня.

* * *

Передачу приносили мне моя сестра Алла Витальевна и с нею... Ее звали Даруся (Дар Божий). Она смотрела на меня печальными глазами, не говорила ничего, потому что всегда кто-нибудь присутствовал. Но все же я понял, что большевики уходят, что ждут немцев.

Через несколько дней меня позвали. Амханицкий, студент-юрист, заявивший, что он левый эсер, что приравнивалось к большевикам.

— Ваше дело нам неподсудно. Поэтому мы решили вас выпустить.

Это меня не очень удивило. Перед этим уже было выпущено несколько сот человек. Амханицкий продолжал:

— Мы решили вас выпустить, но при условии, что вы дадите слово...

— Какое слово?

— Прекрасно вас понимаю. Что вы дадите слово, что вы, если мы вас позовем, придете.

— Позвольте спросить, кто это «мы»?

— Мы? Это, скажем так, «идея советской власти».

— Вы говорите о Киеве?

— Да, о Киеве.

Я подумал и ответил:

— Даю слово. Если позовете, приду.

* * *

Прошли года и года... Никто меня не позвал. Среди других я очутился в эмиграции. Пока моя жена (первая) была в России, к ней приходил Амханицкий. У него была чахотка. Он говорил:

— Все равно помру. А вашего мужа никто никогда не позовет.

Это был человек из тех, о которых французы говорят: «Тени, которые проходят». «Тень» Амханицкого была светлая.

* * *

Вот это световое пятно в тумане... за точность подробностей не ручаюсь.

Вскоре вошли в Киев немцы, то есть немецкие войска. Перед ними шел Петлюра, как будто бы самостоятельно. Немцы ведь вхо-

дили в Киев как бы по приглашению. Но я, конечно, понимал, в чем дело.

«Киевлянин» больше не издавался. Он покончил, кажется, в январе (1918 года. — *Сост.*). Но тут я решил выпустить экстренный номер, получивший название «Последний номер «Киевлянина». Этот номер обогатил киевских мальчишек, продававших газету. Номер, стоивший десять копеек, вздул цену в двадцать пять рублей за экземпляр. Люди рвали его друг у друга. И это, пожалуй, было понятно. Передовая статья начиналась так:

«Закрывая газету, которая свыше пятидесяти лет обслуживала край, газету «Киевлянин», мы должны сказать пришедшим в наш город немцам: «Вы — наши враги». Но прежде чем продолжать, мы должны поблагодарить немцев за то, что они очистили авгиевы конюшни киевского вокзала. Там толстым слоем лежал пласт из выплюнутых семечек и грязи. Теперь чисто. Упоминаем об этом потому, что чувствуем и понимаем: в существующем хаосе немцы — элемент опрятности и порядка.

Но идет война. Война продолжается. Мы дали наше слово французам и англичанам, и мы будем его держать. И потому-то мы — ваши враги. Враги — до заключения мира».

В заключение я хочу сказать, что честные враги лучше, чем бесчестные друзья.

* * *

Говоря о «бесчестных друзьях», я имел в виду украинцев (украинствующих). И этот номер вышел. Он произвел сильнейшее впечатление. И на Киев, и на гостей — немцев.

От кого говорит этот Шульгин, употребляя «семейное» «мы»? Этого я тогда и сам не понимал. Только теперь понимаю.

Кто дал слово французам и англичанам? Русский Император. (В это время Царя уже не было. Он погиб 4 июля 1918 года. Так ведь? Наверное...) Его уже не было. Я говорил от его имени. Теперь я это понимаю. Но немецкое командование поняло это раньше меня. Для них это звучало внушительно...

Этому я приписываю то, что произошло. У газеты «Киевлянин» не было своей типографии. Типография принадлежала Кушнеревым из Москвы. Но начальник типографии был наш, хохол, к тому же хитрый хохол.

Он, прочтя корректуру, пришел ко мне в слезах:

— Плачу, и весь город будет рыдать. Но ведь они конфискуют типографию.

Я сказал:

— Я сделал что мог. Больше я ничего не знаю.

Тут заплаканные глаза блеснули хитростью.

— Вы больше ничего не знаете?

— Не знаю.

Он схватил корректуру и ушел.

Во главе немецкого, так сказать, управления стоял некто Альвенслебен, прекрасно говоривший по-русски. Мой хитрый хохол рассказал мне позже:

— Я пошел к Альвенслебену. Они совещались два часа. Наконец вернули мне корректурные листы, и Альвенслебен сказал:

— Человек закрывает газету, которую издавал пятьдесят лет. Надо же ему высказаться, почему. Можете печатать!

* * *

И напечатали. Ночью сотрудник «Киевлянина», давний сотрудник, француз-бельгиец... забыл его фамилию, забыл... Пюже... глубокой ночью пришел ко мне... Но прежде чем рассказать об этом, я хочу сделать одно сравнение, пользуясь тем, что сейчас 1973 год.

Если бы мой хитрый хохол пришел не к Альвенслебену, а к другому лицу, значительно позднее, к Адольфу Хитлеру, то что он сделал бы с начальником типографии; с редактором «Киевлянина»... можно себе представить. Поэтому я говорю, что не следует смешивать людей всех в одну кучу, как русских, так и немцев.

В то время, то есть когда Адольф Хитлер занял Югославию, моя покойная жена, Мария Дмитриевна, как-то очутилась в одном купе с немецкими тогдашними офицерами. Ее приняли за хорватку, но она объяснила, что она русская эмигрантка.

Офицер постарше спросил ее:

— Откуда вы родом?

— Из Киева.

— Из Киева? Я был в Киеве много лет тому назад.

После некоторой паузы он продолжал:

— Я хотел бы, чтобы русские эмигранты знали: не все одобряют то, что делается сейчас.

* * *

Из этого вывод: есть немцы и немцы. Потомки Альвенслебена — наши будущие друзья. Духовные наследники Адольфа Хитлера добиваются третьей мировой войны с применением атомного оружия.

* * *

Теперь возвращаюсь к ночному посещению Пюже. Он сказал:

— Я привел к вам одного француза. Он живет здесь тайно. Он просит, чтобы вы его приняли.

Вошел человек среднего роста, слегка рыжеватый. Как я потом узнал, он был эльзасец. На французском фронте он командовал большим танком, которым шутя давил дома. Французское командование, заметив в нем и другие способности, послало его в Киев для тайной разведки. Он жил тут в некоей семье, где некая дама, прекрасно говорившая по-французски, не говоря о русском... Она переводила ему все интересное, в том числе и статью «Киевлянина», произведшую впечатление разорвавшейся бомбы. И тогда француз, знавший Пюже раньше — его имя было Эмиль Энно, — захотел побывать у меня.

Мой скромный домик имел тонкие стенки. Я попросил Энно не кричать так громко, потому что на улице будет слышно. С исключительным темпераментом он кричал:

— Этого Франция не забудет! Этого Франция не смеет забыть!

Когда он немного успокоился, он объяснил, что он должен бежать, так как его присутствие в Киеве с прибытием немцев становится невозможным. Под вымышленным именем он уезжает в Румынию к графу Сент-Олеру. Ему поручено из Румынии следить за событиями в России. Энно говорил:

— Несомненно, ваша статья будет дословно по телеграфу передана в Париж. И тогда произойдут совершенно исключительной важности события.

* * *

События и произошли. Клемансо решился на французскую интервенцию в помощь русским, верным Франции.

Что эта интервенция не удалась, это вопрос другого рода. Французское высшее командование хотело заключить мир в Берлине. В этом домогательстве уже можно было угадать будущий Версальский мир. Поэтому, как позже мне объяснил Энно, французские генералы саботировали интервенцию.

Но пока что Эмиль Энно был полон веры в успех. И отправился в Румынию. Здесь, в Киеве, он оставил свою сотрудницу, русскую, точнее сказать, крещеную еврейку, до тринадцати лет не знавшую, что она еврейка. Эта дама вышла замуж впоследствии за Энно. Он, Энно, думал, что она еврейка в каком-то отдаленном поколении. Но я, хорошо знавший это дело, утверждаю, что ни одна русская не была такой русской патриоткой, как супруга Эмиля Эн-

но. Особенно она ненавидела украинцев (украинствующих), утверждая, что они продают не только Францию, но и Россию. В парламенте она не уступала своему будущему мужу, но до конца я узнал ее позже, в Одессе.

Эмиль Энно был назначен французским правительством в этот город. Действовал он крайне смело и умело.

Он жил в «Лондонской» гостинице, которая как бы возвышается над портом. Энно объявил французскую зону неприкосновенной. Она имела вид треугольника, вершина которого упиралась в «Лондонскую» гостиницу. В последней разыгрались дальнейшие события.

* * *

В Одессе среди русских командных лиц была не то что паника, но полная нерешительность. Выделялся среди адмиралов и генералов недавно прибывший сибиряк Гришин-Алмазов. Очень зорко это понял Энно, сказав мне:

— Гришин-Алмазов производит на меня впечатление волевого человека.

Тем более было удивительно, как он это понял, ведь Гришин-Алмазов не говорил по-французски, все переводила будущая жена Энно.

* * *

Тут я должен отметить, я лично в эти дни совершенно был раздавлен личным горем. Почти одновременно был убит мой старший сын девятнадцати лет, и Дар Божий ... умерла от испанки в Яссах. Я искал утешения в работе, проживая бок о бок с Энно.

* * *

И вот по приглашению консула Энно у него в номере состоялось совещание. Были приглашены все эти растерявшиеся русские генералы и адмиралы. В соседней комнате, моей, сидел Гришин-Алмазов, ожидая приглашения.

Энно в нескольких словах изложил присутствующим положение, то есть анархию, безначалие.

— *Cher amie, traduisez!* (Дорогой друг, переведите!)

Присутствующие выслушали, склонив голову, но не отвечали.

— Единственный человек, который производит на меня впечатление волевого характера, этот генерал Гришин-Алмазов.

— *Cher amie, traduisez!* (Дорогой друг, переведите!)

И это выслушали растерявшиеся. Тогда пригласили генерала

(он, собственно говоря, был полковником). Фамилия его была «Гришин». «Алмазов» был псевдоним.

Вошел человек, явственно молодой для генерала. Одет он был в грубую солдатскую шинель, но с генеральскими погонами, широкую ему в плечах. Шашка, не сабля, была на нем, пропущенная, как полагается, под погон. Он сделал общий поклон присутствующим. Энно предложил ему сесть. И снова повторил в его присутствии то, что говорил раньше.

Сущность слов Энно состояла в том, что при безвластии в Одессе надо сконцентрировать власть в одних руках, а именно — в руках генерала Гришина-Алмазова.

— Cher amie, traduisez! (Дорогой друг, переведите!)

Генерал Гришин-Алмазов, держа шашку между колен, обвел твердыми глазами растерявшихся и спросил:

— А все ли будут мне повиноваться?

Растерявшиеся ничего не сказали, но сделали вид, что будут повиноваться.

На этом собрание закончилось. Гришин-Алмазов стал диктатором в Одессе. Я увел его в свой номер. Там он сказал:

— Ну, теперь мы посмотрим!

И, схватив кресло, сломал его.

Как я ни был печален, я улыбнулся.

— Александр Македонский был великий человек, но зачем же стулья ломать?

(Это из Гоголя, кажется.)

* * *

Сейчас на некоторое время я лишен возможности пользоваться точными справками, так что мои воспоминания опять становятся световыми пятнами.

* * *

За несколько дней до того как Гришин-Алмазов стал диктатором в Одессе, небольшие отряды Добровольческой армии севернее Одессы были разбиты большевиками. Они бежали и в Одесском порту захватили корабль «Саратов», и собирались уходить в Крым. К этим саратовцам явился новоиспеченный диктатор и сказал:

— Я назначен консулом Энно и представителем Деникина в Одессе Шульгиным главным начальником военных отрядов Добровольческой армии. Потрудитесь мне повиноваться.

Тут для меня впервые обозначилась магическая повелительная сила Гришина-Алмазова. Повелевать — это дар Божий. Саратовцы подчинились. Диктатор в течение нескольких дней учил их, как

простых солдат, умению повиноваться. Отшлифовав их таким образом, он бросил их в бой.

Против кого? Против большевиков, украинцев и примыкавших к ним, которые захватили Одессу, и в частности — «французскую зону», примыкавшую к гостинице, где жил консул Энно.

* * *

Саратовцы дрались прекрасно, но были малочисленны. К концу дня Гришин-Алмазов пришел ко мне:

— Формально мы победили, но потери есть. Если мы продержимся ночь, за завтрашний день я ручаюсь.

В это время явился адъютант Гришина-Алмазова, который был при нем неотлучно, кроме времени, когда сидел на гауптвахте.

— Ваше превосходительство, там один офицер, очень взволнованный, добивается увидеть вас немедленно.

— Просите.

Вошел офицер, действительно совершенно, как у нас говорят, «расхристанный». Он махал руками в воздухе, поддерживая «расхристанные» слова.

— Ваше превосходительство! Мы окружены со всех сторон. Противник дал нам для сдачи десять минут.

Гришин-Алмазов холодно смотрел на взволнованного офицера. И сказал спокойно:

— Отчего вы так волнуетесь, поручик?

И вслед за этим загремел:

— Что это, доклад или истерика? Потрудитесь прийти в себя!

Это подействовало. Руки и ноги поручика успокоились, и он повторил уже без истерики то, что сказал раньше.

И Гришин-Алмазов успокоился и сказал:

— Вы говорите, что окружены со всех сторон. Но как же вы прорвались? Вот что. Возвращайтесь к пославшему вас полковнику и скажите вашему начальнику: «Генерал Гришин-Алмазов, выслушав, что противник дал вам для сдачи десять минут, приказал: дать противнику для сдачи пять минут».

— Ваше превосходительство!

— Ступайте.

Поручик повернулся по-военному и пошел.

Я повторил вроде поручика:

— Что вы делаете, Алексей Николаевич?

Он ответил:

— Другого я ничего не мог сделать. У меня нет ни одного человека в резерве, кроме моего адъютанта. Я послал им порцию дерзости. Я хорошо изучил психику гражданской войны. «Дерзким» Бог помогает.

* * *

После некоторой паузы он повторил:

— Формально мы победили, если мы продержимся ночь, за утро я ручаюсь. А теперь пишите.

— Что?

— Приказ номер один.

— И что писать в этом приказе?

— Я поставил себя в полное подчинение генералу Деникину. Я умею не только приказывать, но и повиноваться. Пишите так, как написал бы Деникин, если бы он был здесь. Заявляю вам, что отныне вы моя «деникинская совесть». Ухожу, чтобы вам не мешать.

Он ушел, я стал писать приказ номер один. Не думаю, чтобы Деникин так написал. Приказы того времени и в таких обстоятельствах обыкновенно начинались словами: «Запрещается». Я, ощутив в себе тоже какую-то порцию дерзости, написал: «Разрешается». Разрешается ходить по улицам днем и ночью. Когда возвратившийся Гришин-Алмазов прочел это, он посмотрел на меня вопросительно. Я сказал: «Это звучит гордо. Но ни один разумный человек не будет гулять по Одессе ночью — убьют и ограбят».

— Ну хорошо, дальше.

— Разрешается днем устраивать общественные собрания, где будут обсуждаться гражданами все важные дела, но в закрытых помещениях. Публичные митинги запрещены.

Гришин-Алмазов сказал:

— Наконец вы что-то запретили.

— Дальше опять будет либеральная политика. «Печать свободна».

— Да они Бог знает что будут писать.

— Не будут. Будут бояться. Назначьте несколько дельных офицеров в качестве необязательных цензоров. И они будут очень рады.

* * *

В это время обсуждение приказа номер один было прервано. Явился адъютант Гришина-Алмазова.

— Разрешите доложить.

— Докладывайте.

— По телефону звонят, что противник, которому было дано пять минут для сдачи, сдался.

Надо было видеть лицо адъютанта. Он смотрел на своего генерала как на чудо. И в нем действительно было что-то чудесное. Он сказал радостно, но спокойно:

— Я хорошо изучил психику гражданской войны.

* * *

Тут это световое пятно кончено. Другое? Фактически французская интервенция на юге России началась. В Одесский порт прибыли французские суда с небольшим числом французской пехоты. Во главе их стоял французский генерал Бориус. Они познакомились в моем присутствии. Я представил Гришину-Алмазову Бориуса, который сказал, кажется, по поводу украинствующих:

— Ваши друзья — наши друзья. Но мы драться не будем.

На это Гришин-Алмазов ответил:

— На это мы и не рассчитываем. Драться будем мы.

Бориус спросил:

— А что вам нужно от меня?

— Несколько офицеров-французов.

— Зачем?

— Затем, чтобы они были свидетелями того, как мы будем драться.

Бориус очень обрадовался.

— Назначаю вас военным губернатором Одессы.

* * *

И кончилось пятно. А дальше... Гришин-Алмазов говорил мне, что мы присоединили к Добровольческой армии Одессу. Население ее, кажется, превышает численность всей Добровольческой армии.

— Ну да, я военный губернатор, назначенный французами, но мне нужно какое-то правительство, невоенное. Я тут чужой, сибиряк, никого не знаю. Можете вы составить мне правительство?

Я ответил:

— Могу.

Это было, собственно говоря, вразрез с Деникиным. Он говорил:

— Правительство, министры — все это будет, когда мы будем в Москве.

Но он не предвидел, что ему на блюде преподнесут Одессу.

Выскальзывая из «французской зоны», я набирал правительство. Помню, что министром просвещения согласился быть тогдашний ректор Одесского университета, профессор Антон Дмитриевич Билимович, мой родственник. В вопрос просвещения вошел и вопрос об украинствующих. На каком языке преподавать юношам науки? Разумеется, на русском. Но гимназистам разрешается, если они этого пожелают, изучать малороссийскую речь, творения Шевченко, Котляревского и т. д. Гришин-Алмазов спросил меня:

- Нашлись желающие изучать малороссийскую речь?
- Нашлись. Во Второй Одесской гимназии нашлись двое.
- Кто же они?
- Два моих сына.

* * *

Военно-морского министерства было не надо.

Внутренних дел? Согласился некто Пильц, бывший губернатором где-то в Сибири. Министр финансов нашелся подходящий, но я не помню, кто. Ну и так далее. Все это была игра в правительство, но так было надо.

* * *

Вот еще световое пятно.

Гришин-Алмазов занял особнячок, где-то довольно далеко от «Лондонской» гостиницы. Он постоянно присылал за мной машину. С шофером мы подружились.

— Одиннадцатой власти уже служу.

Когда мы с ним возвращались от Гришина-Алмазова поздно ночью, наш автомобиль обстреливали из невидимых винтовок. Обстреливали не меня, а в предположении, что едет Гришин-Алмазов. Это происходило вот почему.

Говорили, что в Одессе до тридцати тысяч уголовных, во главе которых стоял некто Гапончик, личность почти сказочная, но тем не менее реальная. Он был второй диктатор в Одессе. У него было свое правительство или, по крайности, широко развитая канцелярия. Он помогал бедным и назначал какие-то пенсии каким-то вдовам. Он прислал Гришину-Алмазову письмо в таком виде:

«Мы не большевики, мы уголовные. Не троньте нас, и мы не тронем вас».

Прочтя письмо, Гришин-Алмазов сказал:

— Не может диктатор Одессы договариваться с диктатором уголовных.

И не ответил ему.

С той поры его машину стали обстреливать.

* * *

Заскакиваю вперед в смысле хронологии. Вот пятно. Это был день, когда мы обвенчали консула Эмиля Энно. Шаферами были Гришин-Алмазов и я. Ну, и был ужин. Скромный. Но шампанское все же было. Тут присутствовала одна красивая румынка, хорошо

говорившая по-французски. Она поспорила с Александром Николаевичем Крупенским, бывшим предводителем дворянства Бессарабии:

— Россия отняла Бессарабию у Румынии.

— Бессарабия никогда Румынии не принадлежала. Россия получила ее от турок.

— Но вы, господин Крупенский, вы же были румыном?

Он вежливо, но твердо:

— Крупенские никогда не были румынами.

— А кем же?

— Турками, мадам.

Во время этих разговоров кончился ужин, и Гришин-Алмазов сказал мне:

— Я отвезу вас.

Я жил далеко, на так называемой Молдаванке. Место скверное. Но там мне отвели уютный двухэтажный домик. Верхний этаж занимал я с семьей. Нижний — так называемая «Азбука». Это было общежитие из молодых офицеров, которых я посылал иногда, а вместе с тем они меня охраняли, были вооружены винтовками.

Итак, Гришин-Алмазов приказал подать машину. Машина подкатила к входным дверям «Лондонской» гостиницы. В то же время раздался залп по дверям. Одна пуля засела в притолоку. Гришин-Алмазов загремел:

— Машина, потушить фары!

Фары потухли. Мы сели в машину и помчались. Благополучно доехали до моего домика на Молдаванке. Гришин-Алмазов поехал к себе. Через несколько минут я услышал выстрел невдалеке. Я сбегал вниз и скомандовал:

— В ружье!

Гришина-Алмазова обстреляли. Они побежали. Все стихло. В руках у них была шина от машины, пробитая пулями.

— Мы нашли это недалеко.

Еще через некоторое время позвонил телефон.

— Да, это я, Гришин-Алмазов, меня обстреляли недалеко от вас, но в общем благополучно.

На следующий день я узнал: засада была недалеко от моего дома на Молдаванке. После залпа шофер круто свернул в проулок. Так круто, что Гришин-Алмазов вылетел из машины. Но успел вскочить обратно и доехал домой.

* * *

Время шло. Интервенция продолжалась и развивалась, хотя и не так, как надо. Бориуса сменил д'Ансельм. Приставка д' указы-

вала на аристократизм, но д'Ансельм мнил себя демократом. Он встретил меня так:

— Вы, как наши Бурбоны, ничего не забыли и ничему не научились.

Я оставил без ответа это изречение, а про себя подумал:

«Мы не забыли, как консул Энно в Киеве кричал глухой ночью: «Этого Франция не забудет! Этого Франция не смеет забыть!»

Забыла. Консул Энно собирался покинуть Одессу, его отзывали, дезавуировали.

Я заговорил с д'Ансельмом о Гришине-Алмазове, дав ему высокую оценку.

Д'Ансельм ответил:

— Моя приемная полна людьми, которые говорят очень плохо о Гришине-Алмазове, вы первый его хвалите.

— Люди, бранящие Алмазова, — это те, которые в трудную минуту совершенно растерялись. Французский консул в Одессе Эмиль Энно это сразу понял. Он выдвинул Гришина-Алмазова как человека не растерявшегося, единственного, и сделал его одесским диктатором. Растерявшиеся теперь мстят ему. Они мелочны и не патриоты.

Д'Ансельм не внял мне и продолжал свою политику якшания с мстящими растерявшимися. Результаты не замедлили сказаться.

* * *

В Одессе было достаточно людей, говоривших по-французски. И они незаметно для д'Ансельма развращали французский десант. Из элемента порядка, который должна была проводить интервенция, они превращались (я говорю о солдатах) в элемент буйный, отрицательный.

Заскакиваю вперед. Была ночь. Я шел по Дерибасовской. Слышался женский хохот и визг. Интервенты, взяв друг друга за руки, составили цепь, ловившую одесситок — проституток, конечно. Среди этого я услышал стук подошв роты, идущей в ногу. Я подумал:

«Не все развратились. Вот эти сейчас покончат с этим кабаком».

И вдруг я услышал:

— Рота, стой!

Это были наши неразвращенные люди Гришина-Алмазова.

* * *

С другой стороны, осложнялись отношения между одесским диктатором и Деникиным. Они не могли нас понять. Они там,

в Екатеринодаре, не могли нас понять. Жизнь дорожала. Приходилось платить... повышать все время жалованье. Это вынуждало нас к таким действиям, которые беспокоили Екатеринодар. Мы стали печатать в Одессе деньги, не испросив разрешения в Екатеринодаре. Но когда генерал Лукомский приехал в Одессу и заплатил за скромный обед двадцать пять рублей, он понял, почему мы печатаем деньги. Но там, в Екатеринодаре, не поняли. Я написал письмо генералу Драгомирову такого примерно содержания:

«Античный Рим управлял через своих наместников. Причина этого было несовершенство путей сообщения. Много времени проходило, пока галера, плывшая на веслах, доходила из Рима к наместникам. Поэтому наместники имели большие права. То же происходит сейчас у нас. Пока из Екатеринодара, при отсутствии почты и телеграфа, дойдет приказание в Одессу.. Поэтому мы действуем как будто бы самостоятельно. Но эта самостоятельность вынужденная».

Драгомиров понял это. С этой стороны дело было улажено у нас.

* * *

Но растерявшиеся перебрались на Кубань. И там клеветали на Гришина-Алмазова. Нам прислали генерала Санникова проконтролировать Гришина-Алмазова. Санников был стар и бездеятелен. Французы становились все резче. Кончилось тем, что Санникова выслали из Одессы, дав ему письмо к генералу Деникину. О Гришине же было сказано так: «Генерал Гришин-Алмазов будет его сопровождать (то есть Санникова)». Это означало конец одесскому диктатору.

* * *

Вот порт. Отходит корабль. Гришин-Алмазов на корабле, положив руки на фальшбот. Он все такой же. Моложавый, в солдатской шинели, которая ему широка в плечах. Говорит:

— Ну что же, моя деникинская совесть? Выдержал я экзамен?

— Выдержали.

Иногда ему бывало очень трудно. Он готов был опять ломать стулья. Но дисциплина одерживала верх. Он выдержал до конца.

* * *

Но не выдержали д'ансельмы... Развратилась французская пехота, и вспыхнул открытый бунт на французских кораблях. Англичане подошли к взбунтовавшемуся кораблю, где матросы заперли

адмирала и других офицеров в кают-компани. Мало того, они спустили французский флаг.

Англичане выпустили адмирала и офицеров из каюты и предложили, что они усмирят бунтовщиков. Англичане настолько привыкли к бунтам, что на каждом английском военном судне кроме моряков находится рота пехоты, вооруженной винтовками.

Но французский адмирал отказался от помощи. Английский броненосец отошел. Тогда французские матросы опомнились. В них возобладал французский патриотизм. Они завопили:

— Vive l'admiral!

А адмирал ответил:

— Поднять французский флаг!

С этим бунт кончился. Но французский флот ушел. Кончилась интервенция.

* * *

Проводив Гришина-Алмазова, что мне было делать в Одессе? Надо было сматывать удочки. Ускорило мой отъезд следующее происшествие.

В Екатеринодаре я в свое время основал газету «Россия». И потом, когда я уехал, все продолжало печататься: «Основана Шульгиным».

В Одессе я стал издавать другую газету — «Единая Россия».

В ней, между прочим, был помещен фельетон моего талантливое племянника Филиппа Могилевского. Французы придумали собрать большевиков и белых на острове Принкипо, чтобы их помирить. Могилевский жестоко высмеял эту затею. А редактор «Единой России», то есть я, получил записку от какого-то французского офицера, командовавшего эскадром, в том смысле, что газета «Единая Россия» останавливается на неделю. На это я ответил:

— Не через неделю, как мне милостиво разрешает командир эскадрона, я возобновлю «Единую Россию». Я возобновлю ее тогда, когда французы снова будут моими друзьями. Такими, как они были не так давно.

И дальше я привел, на французском языке, мою статью в «Киевлянин», когда немцы вошли в Киев.

Это было, еще когда консул Энно был в Одессе. Он рассказал мне, что французское командование в полном отчаянии... что действительно лишилось верного друга в моем лице.

* * *

Но, во всяком случае, я решил уехать из Одессы. Перед этим я имел длительный разговор с Фреденбергом, начальником штаба.

Он настаивал, чтобы образовать смешанные единицы — французов и русских, объясняя, что такие смешанные комбинации французов с румынами были удачны. Я сказал ему, что, как бы то ни было, Деникин вряд ли согласится на это. Так и было. Приехал в Одессу некий волынец Андро. Тут, в Одессе, он уже называл себя д'Андро де Ланжерон. Во времена Екатерины II эти лица прославились в Одессе, так что Ланжерон — названа одна из улиц. Д'Андро де Ланжерон поехал к Деникину и привез отказ. Я окончательно решил покинуть Одессу.

Приехав в Екатеринодар, я вошел в Особое совещание, которое заменяло правительство у Алексеева и Деникина. Но я там недолго мог работать. По личным причинам я очень тосковал и просил меня освободить. Деникин исполнил мою просьбу.

* * *

Я решил поступить в армию. Но тут подвернулся один адмирал, который ехал в Царицын, чтобы там устроить какую-то флотилию на Волге. Мы проехали через раскаленные степи, где видели миражи вдали. Я, приехав в Царицын, бросился в Волгу и выкупался. В результате заболел... от жары... Но был назначен командиром катера «Генерал Марков», который еще надо было строить. Я вернулся на Дон и устроился рулевым на один уже готовый корабль, который должен был доделываться на Дону, при впадении его в Азовское море. Им командовал старший лейтенант Масленников, подчиненный мне по «Азбуке».

Вот я там начал свою морскую службу, получив звание мичмана.

Я очень любил так называемую собачью вахту, то есть от двенадцати часов ночи до четырех часов утра. В это время я любил наблюдать мост, переброшенный через Дон.

В это время по Дону ходили еще парусные суда с высокими мачтами. Они не могли пройти под мостом. Тогда средняя часть моста уходила в небо. Она ползла, движимая электрическим мотором, совершенно неслышно. Этот мост был световое пятно в далеком прошлом.

* * *

У Гришина-Алмазова я часто бывал в его особняке. Там царил необычайный порядок. Паркетные полы натерты до блеска. Обед был очень скромный, но вкусный. Шампанского не подавалось, но иногда бутылка слабенького муската. За обедом не говорилось о делах, о политике. Он много читал, и по поводу прочитанных книг мы об-

суждали некоторые чисто философские вопросы.

После одного такого обеда он должен был ехать и сказал мне, что он меня подвезет. В передней, надевая шинель, он еще говорил о Ницше, но, выйдя на крыльцо, сказал:

— Простите, мне необходимо нацукать свой конвой.

Его конвой состоял из семидесяти татар, во главе которых стоял ротмистр Масловский, тоже татарин. Конвой на Коране дал клятву защищать Гришина-Алмазова до конца.

«Цукать» было необходимо потому, что ночью эти татары убили одного из своих. Он что-то украл. Кража у татар хуже убийства.

Странно, я не помню, какими словами Гришин-Алмазов «цукал» свой конвой. Но я помню звук его голоса, трещавший вроде пулемета. И помню лица этих татар: они были бледны, как будто действительно попали под пулемет.

Мне невозможно это понять, чем он их так напугал. Это кончилось очень быстро. Мы сели в машину, и разговор о Ницше продолжался. Я понял, что он, Гришин-Алмазов, настоящий диктатор. Он имел какие-то гипнотические силы в самом себе, причем он бросал гипноз по своему собственному желанию. Никогда, например, он не пробовал гипнотизировать меня. Наоборот, ему приятна была моя свободная мысль. Но адъютанты его, их у него было четыре, конечно, состояли под его гипнозом, хотя и не чувствовали этого. Впрочем, из них из четырех один постоянно сидел на гауптвахте.

Применял он, я бы сказал, какой-то мирный гипноз к людям, его посещавшим. Сколько бы их ни было, он принимал всех. С часами на руках. Прием продолжался три минуты. Полминуты уходило на здоровканье (рукопожатие), две минуты — на изложение дела. И еще полминуты — когда он говорил:

— Все, что вы сказали, чрезвычайно интересно. Прошу вас изложить это письменно. До свидания!

* * *

В Одессе в это время проживала очень известная кинематографическая актриса Вера Холодная. Холодная она была по мужу, по отцу она была Левченко, дочь почтового чиновника в Харькове. И Вера Левченко была не холодная, а горячая. К тому же избалованная успехом...

Она побывала у Гришина-Алмазова. Она принесла ему билеты на благотворительный спектакль. Тогда она уже не играла... Она как будто предчувствовала свою смерть... Между прочим, раздавала даром свой богатый гардероб. Около ее номера в гостинице всегда стояла очередь из дам, бедных и небедных.

Так вот, она принесла билеты Гришину-Алмазову для него и для меня. И затем, рассердившись, что ей пришлось немного подождать, ушла, не прощаясь.

Когда я после этого побывал у Гришина-Алмазова, он сказал мне:

— Вот билеты для вас!

Я сказал;

— Я не пойду, но пошлю деньги! Где ее искать?

Гришин-Алмазов позвонил.

Явился один из четырех адъютантов.

— Адрес Веры Холодной!

Адъютант пошел искать, но вернулся смущенный:

— Ее адреса нет!

— Она была у меня. А я раз и навсегда приказал, чтобы адреса всех лиц, у меня побывавших, записывались. Ступайте на гауптвахту!

Но я как-то разузнал ее адрес. И сказал моему сыну Ляле:

— Вот тебе деньги. Разуи Веру Холодную, поблагодари ее и скажи, что я не приду.

Он исполнил это поручение и рассказал:

— Она очень-очень просила, чтобы ты пришел.

Но я все же не пошел. Я был так печален, что не мог посещать вечеров, хотя бы и благотворительных.

* * *

Концерт прошел оживленно, а затем Вера Холодная умерла скоропостижно. Она болела одиннадцать дней так называемой испанкой. Это болезнь — вид гриппа и страшна своими осложнениями. От испанки умерли миллионы людей после войны.

Подробности смерти ее рассказал мне значительно позже, уже в Константинополе, один знакомый мне до того человек, разыскавший меня. Разыскать кого-нибудь в Константинополе было трудно. Не только не было адресного стола, но не было названия улиц, не говоря уже о номерах домов.

Этот человек, разыскавший меня, с места брякнул:

— Я был последним любовником Веры Холодной!

— И для того, чтобы мне это сообщить, вы проделали невозможное, отыскали меня?

— Я не знаю, почему я пришел к вам. Должно быть, она мне это приказала перед смертью. Вы думаете, она меня любила? Ничуть! Дело было так. У нее была дочка восьмилетняя. Девочка где-то застряла. На улицах шла стрельба. Я под пулеметами притащил ее и отдал матери. Так вот — в благодарность...

* * *

Прошли года и года, больше десяти лет. Я был в Варшаве. В одном из театров шли старые фильмы, в том числе кинокартины с Верой Холодной. Три сеанса в день, театр всегда переполнен. А затем Холодная, прожив свой век, исчезла, и позднейшие поколения о ней не знают ничего.

* * *

Необходимо рассказать, как появился на моем горизонте Гришин-Алмазов.

Это было в Екатеринодаре. Я уезжал на так называемое Ясское совещание, созываемое для того, чтобы разные представители русской общественности могли сговориться между собой. Яссы — временная столица Румынии. В этих самых Яссах я заболел испанкой. Выжил, но в совещании не участвовал. А моя секретарша, прибывшая вместе со мной, умерла от испанки совершенно так же, как несколько позже умерла Вера Холодная в Одессе. В те же одиннадцать дней... Какое-то странное совпадение...

* * *

Так вот, когда я уезжал в Одессу, 29 октября 1918 года, уезжал из Екатеринодара, то поезд был задержан. Мне позвонили: «Необходимо переговорить с неким Гришиным-Алмазовым, только что приехавшим». Он рассказал мне, что был военным министром в Омске, но по какой-то причине оттуда уехал. Ехал поездами, пока можно было, а потом вдвоем с адъютантом он перевалил через Кавказский хребет верхами.

Вот так я познакомился с Гришиным-Алмазовым, потом он прибыл на Ясское совещание, а затем, вместе с консулом Энно, переехал в Одессу, где и стал местным диктатором. (Там, в Яссах, пока я лежал в испанке, он познакомился с Энно.)

* * *

Теперь с печалью я хочу поведать о неких темных деяниях Гришина-Алмазова в Одессе.

Он был религиозный человек, набожно говел. И вместе с тем, в то же время, совершал убийства. Именно убийства, а не открытые казни. Он говорил:

— Вдруг находят труп. Кто убил? И кто убийца? Тайна! В этой тайне и таится страх. Никто не гарантирован от смерти. Все трепещут! И устрашаются!

Таких тайных и таинственных убийств было совершено одиннадцать. Опять одиннадцать... роковое число...

Когда мы с ним расставались, он дал мне записку. Сказал:

— Вот номер телефона. 11-29. Если вам будет плохо, позвоните.

Я этим телефоном не воспользовался. Не знаю, что крылось в этих «11-29». Но эти цифры повторились в другом виде. 11 ноября, то есть одиннадцатого месяца, в одиннадцать часов одиннадцать минут вечера умерла моя секретарша. А двадцать девятое? 29 августа — Усекновение главы Иоанна Крестителя. (Это связано с Иродиадой.) А вместе с тем двадцать девятое августа — для меня счастливейший день. Все перепуталось в какой-то мистике, еще не разгаданной.

* * *

Бессудные убийства в Одессе — об этом много писалось, когда большевики завладели ею.

* * *

Расскажу о конце Гришина-Алмазова. Высланный французскими интервентами, он приехал к Деникину. Там ему ничего не предложили. Он решил вернуться в Сибирь и поехал с двенадцатью офицерами. Между прочим, он повез мое письмо к адмиралу Колчаку.

Они, то есть Гришин-Алмазов и его офицеры, добрались до Каспийского моря и плыли на каком-то корабле. Недалеко от берега их догнало советское судно.

Это был конец. Двенадцать человек молодых офицеров бросились в море и поплыли к берегу. Гришин-Алмазов сошел вниз, в каюту. Там сжег какие-то документы, но мое письмо Колчаку уцелело и потом где-то было напечатано. Что в нем было, я не помню.

Затем Гришин-Алмазов приготовил револьвер и ждал. Когда пришли, он выпустил все пули, за исключением одной. Этой последней пулей он застрелился...

Вот и все. Он был красочная фигура своего времени. Смесь доблести и жестокости, для нас даже малопонятной. Быть может, такова природа всех диктаторов...

* * *

Вот, значит, первое — утомление Франции, второе — Германия...

Поэтому французское высшее командование саботировало интервенцию.

И наконец, вмешательство в русские дела иностранцев придало силу московским диктаторам, отстаивавшим независимость России.

Всем «освободителям» всегда нужно помнить, что освобождение действительно только тогда, когда народ сам себя освобождает. В свое время Царь-освободитель Александр II, освободивший от турецкого гнета балканских славян, не был ими понят. В войне 1877—1878 годов сербы и болгары в конце концов увидели только желание России учредить две новые российские губернии. Этого не было в мыслях у Александра II, но это не меняет дела...

* * *

Энно, который хотел и мог... который предполагал, что боевая французская дивизия дойдет до Москвы и посадит там новое правительство в лице Шульгина... он исходил из мечты...

Ну, допустим, дошел бы... посадил бы Шульгина... Немедленно реакция была бы такая: «ставленник Франции», «марионетка», «второй Скоропадский»...

А русских сил не было... Вернее, были, но развратились к 1920 году...

Драгомиров пытался устроить мобилизацию. Мужики явились. Но... господа офицеры не явились...

...У нас был один козырь. Хлебобороб, он органически не сочувствовал рабочим.

Это более менее освещено в «1920 годе», нечего прибавить...

САСШ (Северо-Американские Соединенные Штаты. — *Сост.*) освободили негров, а негры возненавидели американцев... Не улавливаете аналогии? Французские «освободители»...

* * *

Сейчас разбужен русский шовинизм... В Белой армии, пока шла война, его не было... Его проблески начались тогда, когда ясно стало про французскую интервенцию, что она не удастся...

Ко времени Врангеля, когда англичане заявили, что они не будут помогать, появились настроения, что «союзники» предали Добровольческую армию...

«Освободить» нелегко...

У французов сохранилось недоброе отношение, что Россия не демократична... А тут еще «изменила» — отказалась платить по займам...

Если мне пришлось отказаться от них — запретили мою газету, — то гораздо понятней чувства остальных...

Французы требовали от нас подчинения себе. И это подрывало, конечно, идею «освобождения».

Разные французы: французы, сначала примыкавшие к Энно, и Клемансо примкнул, но потом Энно дезавуировали...

Д'Ансельн разговаривал со мной таким тоном, что мне не очень понравилось...

II. Деникин

В августовском совещании в Москве, в Большом театре, под председательством Керенского, как мне помнится, в одной ложе были генералы Алексеев, Корнилов, атаман Каледин и Деникин. Если это так, то тогда Антона Ивановича я увидел впервые. Затем я узнал, значительно позже, что Добровольческая армия где-то пропала, уйдя из Новочеркасска. В то время я уже имел несколько преданных офицеров, под командованием некоего Веди (это я). Я послал их из Киева, чтобы разыскать пропавшую армию, что они и выполнили. После смерти Корнилова, 31 марта 1918 года, командование принял на себя генерал Деникин, с которым я вошел в связь. Я держал его в курсе того, что происходит в Киеве.

Затем в Киеве немцами поставлен был — в качестве гетмана — генерал Скоропадский.

Перед тем как немцы поставили гетмана Скоропадского, ко мне приходит Кочубей, потомок того Кочубея, которого погубил Мазепа. Я сказал потомку:

— Мне кажется странным, что Кочубей приглашает меня на мазепинское дело.

И отказался ставить гетмана.

Главой гетманского правительства был назначен некий Кистяковский... Игорь... Он окончил Вторую Киевскую гимназию, как и я.

В моем нежелании поддерживать гетманшафт Кистяковский усмотрел какую-то опасность. Мне сообщили, будто бы он собирается меня арестовать. Не ожидая этого, на совещании в Святошинском лесу, 11 июля 1918 года, было решено, что мне надо ехать на Дон, то есть к Деникину, что и было выполнено...

В Екатеринодаре я стал издавать газету «Россия». Если память не изменяет, первый номер вышел 15 августа (1918 года).

* * *

В первых номерах были статьи за моей подписью под общим названием «Монархисты».

После этого ко мне явились некоторые офицеры, во главе, если не ошибаюсь, с Кутеповым, которые говорили в таком роде:

— Теперь мы знаем, за что мы боремся!

Но это не понравилось Деникину.

В предыдущий период Деникин писал мне:

«Вы боретесь мужественно. Мы это ценим. Что же касается монархии, то это только форма правления. Возможна конституционная монархия, возможна и толковая республика. Восемьдесят процентов моих офицеров — монархисты. Но казачество, скорее, республиканцы, а казаков — большинство в Добровольческой армии».

* * *

Так вот меня позвали на беседу... с командованием...

В свое время считался командующим генерал Алексеев, бывший главком всей царской армии. Но он был уже стар и слаб, фактически командовал Деникин, у которого был начальником штаба Романовский, а вроде как бы правительством — генерал Драгомиров.

Все эти лица и участвовали в этой беседе... со мной...

Совещание открыл генерал Алексеев:

— Мы желали бы поговорить с вами относительно газеты «Россия». Вот Антон Иванович (Деникин) скажет.

Он начал так:

— Мне кажется неподобающим общий тон газеты. Вы употребили слово «чернь» вместо слова «народ». Кроме того, вы очень выпячиваете монархизм. Конечно, много офицеров-монархистов. Но у вас выходит так, что единственная цель Добровольческой армии — восстановление монархии. Это не так. Ваша газета названа «Россия». Это — правильное название. Попираемую Россию мы и хотим восстановить. А форма правления — это вопрос второго порядка.

Выслушав это, я ответил так:

— Быть может, вы помните, ваше высокопревосходительство Михаил Васильевич, что я был в Новочеркасске у вас примерно год тому назад. Вы жили тогда в железнодорожном вагоне, и в вашем письменном столе, как вы мне сказали, было двадцать тысяч рублей. А численность Добровольческой армии измерялась тем, что я записался в нее двадцать девятым. Теперь дело обстоит иначе. Касса Добровольческой армии несравненно возросла, а численность, которой я не знаю, такова, что во всяком случае, ее можно назвать армией. Это значит, что дело идет успешно. Я приехал сюда исключительно с целью помогать Добровольческой армии, ни в коем случае не мешать... Поэтому я устраниюсь... Я не буду де-

лать скандала, я не стану закрывать только что открывшейся газеты, но я лично больше в ней писать не буду. Будут писать другие... Которые не будут вам мешать, а будут помогать...

Наступила длительная и тяжелая пауза. Затем Драгомиров сказал:

— Мы, военные, знаем, что наилучшая форма борьбы — это наступление. Василий Витальевич Шульгин своей работой в «Киевлянине» подтвердил этот закон. Он всегда наступал смело и имел успех.

Потом заговорил начальник штаба:

— Это невозможно, чтобы вы не писали. А кто же даст должный отпор, например, атаману Краснову? (Краснов в это время начал кокетничать с немцами.) Да и Скоропадскому?

И опять водворилась пауза... на этот раз решающая...

Деникин почувствовал, что сочувствие других генералов на моей стороне. Он махнул решительно рукой и сказал:

— Пишите что хотите! Только поставьте на манжетке, что газета «Россия» — ваше независимое издание.

На этом совещание окончилось.

Это характерно для Деникина. Он либерал был...

* * *

Прошел примерно месяц. Мы встретились с Деникиным где-то на нейтральной почве. Он подошел ко мне и сказал:

— Кубанская Рада заявила, что она закроет «Россию». Я ответил: «Попробуйте!»

Из этих слов мне стало ясно, что позиция газеты «Россия» окрепла. Она стала необходима для Добровольческой армии. Командование поняло, что бесцензурная печать, находящаяся в определенных руках, звучит гораздо убедительнее, чем печать зависимая. Да ведь надо же принять во внимание, что Антон Иванович Деникин был либерал... И по своим убеждениям стоял за «свободу»... Конечно, свобода во время войны — вещь трудная. Все зависит от того, совпадает ли тенденция свободомыслящих с направлением, взятым воюющими... В данном случае это было так.

Деникин не только был либерал, но и стоял за собственность. Как-то он пригласил меня обедать и высказался так:

— Французская революция в свое время объявила собственность священной и неприкосновенной и декретировала смертную казнь тем, кто будет на собственность посягать. А Наполеон говорил: «Если собственность рухнет, то это будет катастрофа. И я со всеми своими пушками не смогу ее восстановить». Я — убежден-

ный собственник, хотя моя собственность ограничивается шинелью и жалованьем. Но в моих мечтах — довести Россию до того, чтобы она могла сделать какое-то волеизъявление. Это определит ее дальнейшую судьбу и форму правления. А я тогда мечтаю уйти в отставку. Получить хуторок, пятнадцать десятин, и буду садить капусту.

Таким был Деникин, мысливший свободно... по-деникински... В прошлом — командир Железной (Одесской) дивизии, затем руководитель Добровольческой армии — не по внутреннему желанию, а потому, что другого не было после смерти Корнилова, — он не имел тщеславия. Хотя его и называли в шутку «царь Антон», если б ему предложили престол, он отказался бы. Чего не сделал бы Врангель... В этом было между ними существенное различие. Поэтому в конце концов власть и выпала из его рук...

К этому прибавлю: когда было нужно, Деникин умел хорошо говорить, но говорить не любил. Он не любил лезть на первое место. И если бы не обстоятельства, охотно был бы вторым. Он доказал это своими поступками. Он написал Великому князю Николаю Николаевичу, находящемуся в Крыму, прося его возглавить Добровольческую армию. Великий князь отказался...

Тогда возникла мысль о подчинении генерала Деникина Колчаку. Особое совещание, которое было окружением Деникина, было против этого. И высказалось в этом направлении... Деникин, выслушав, не согласился с этим и написал Колчаку письмо, что он ему подчиняется.

Из этого ничего не вышло. Потому что Колчак сам не имел реальной власти...

III. Врангель

«Придите володети и княжити над нами!» — это летописец говорит про новгородского мудреца Гостомысла. Это психический тип, к которому принадлежал Антон Иванович Деникин. Он просил Великого князя Николая Николаевича «прийти и володеть» над ним, Деникиным. И с той же просьбой обращался к адмиралу Колчаку.

Рюрик согласился «прийти и володеть» над Гостомыслом. Это психологический тип Врангеля. Когда Деникин просил его «княжити и володети» над Добровольческой армией, Врангель пришел и овладел положением.

Деникин тяготился властью. Врангель был рожден для власти.

* * *

В частности же, размолвка, которая произошла между Деникиным и Врангелем, имела такие причины. Она касалась основной стратегии. Врангель говорил:

— Бьют не растопыренными пальцами, а сжав их в кулак!

Кулак этот он направлял в сторону Москвы.

Деникин же, «растопыря» пальцы, сразу завоевал весь Юг России, от Волги до Днепра.

Были еще и другие обиды. Во время гражданской войны кавалерия вернула себе то значение, которое она потеряла во время мировой войны. Почему так было, мне неясно, но это все равно. И вот образовался по масштабам гражданской войны громадный кулак — из двенадцати тысяч коней. Врангель был кавалерист и, естественно, если бы она была ему вручена. Но ее вручили кому-то другому.. Мамонтову.. Кто был этот Мамонтов, я не знаю... Но кавалерийский кулак дошел до Рязани. А оттуда Мамонтов телеграфировал в Новочеркасск:

«Везем Дону богатые подарки, иконы в драгоценных ризах».

А Деникин послал летчика. Тогда летание было трудная вещь. Но самоотверженный летчик все же нашел передовой отряд и передал письменное приказание возвращаться. Почему это сделал Деникин, я не знаю...

Я вспоминаю, что Врангель, когда я был у него в Царицыне, говорил мне:

— Несколько коней скачут к Москве. Кто будет впереди, неизвестно. Ваша задача в тот момент, когда выяснится, кто впереди, сейчас же переключить все надежды на передового!

Конечно, он думал о себе... И он был прав.

Ну, что еще? Когда уже все разваливалось, Врангеля послали вверх, против течения. Со свойственной ему жестокостью сверхчеловека на железнодорожных станциях он расстреливал железнодорожных служащих, которые вывозили не больных и раненых, а всякую утварь...

Но ничего не помогало... Было поздно...

* * *

В связи со всем этим, но я не помню точно, когда это случилось, стало распространяться открытое письмо Врангеля Деникину. Он упрекал его во всех ошибках.

Это, конечно, был бунт. И Деникин был прав, когда приказал Врангелю покинуть Добровольческую армию. Да, Врангель подчинился и уехал в Константинополь.

* * *

Окончание этой распри людей двух разных пород произошло в Севастополе. Там собрались высшие чины Добровольческой армии, с Драгомировым во главе. Деникин, вполне добровольно, написал приказ из двух пунктов:

«1. Армия потеряла веру в меня, я потерял веру в армию.

2. Назначаю Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России генерала барона Врангеля».

Того самого Врангеля, которого он выслал...

* * *

Приказ был передан Врангелю английским адмиралом, который сказал Врангелю:

— Вас избрали Главнокомандующим Добровольческой армией! Желаю вам успеха, но должен одновременно сказать, что Англия больше не будет вам помогать.

Врангель ответил:

— Если бы вы, адмирал, не оповестили меня о прекращении помощи Англии, то я не принял бы избрания меня главнокомандующим Добровольческой армией. Но при создавшемся положении я обязан это сделать. Прошу вас дать мне контрминоносец.

Контрминоносец вышел в море, имея на борту Врангеля...

* * *

Это было в семнадцатом или восемнадцатом... (В 1918-м. — *Сост.*) Ну, словом, так... В Киеве, в моем скромном домике, появлялось много народу. И люди высокие... высокие в смысле положения и высокие ростом... Однажды появились два очень высоких ростом человека. Один был герцог Лейхтенбергский. Другой — барон Врангель.

Что говорил герцог, я не помню. Но вот что говорил Врангель:

— Я пробовал говорить с немцами. Невозможно! Они предъявляют немыслимые требования. Что вы думаете о белой, Добровольческой армии?

Я дал хорошую оценку.

Врангель:

— Надо будет попробовать.

На этом мы расстались.

Это было первое знакомство с Врангелем. Он искал, куда приложить свои силы.

* * *

Скоро я сам отправился в Добровольческую армию, то есть в Новочеркасск, куда и прибыл благополучно. Вслед за мной или раньше туда поехал Врангель. Ему дали, как кавалеристу, казаков. Тем более что он был «почетный казак»... Это называлось Кавказская армия... Не могу припомнить, какое отношение она имела к Кавказу...

Врангель стал осаждать Царицын и взял его. Там он заболел, и там я с ним виделся.

Он по образованию был инженер. Я не помню, кончил ли он Академию Генерального штаба... Потом он был в каком-то кавалерийском полку... Не знаю... затем командовал казаками...

* * *

Врангель был «почетный казак».

Однажды я сказал ему:

— Казаки — молодцы, доблестные воины. Но ни для кого не секрет, что они грабители. Это у них в крови... Как вам удалось, Петр Николаевич, отучить их от этих вековых навыков?

Он ответил примерно так:

— На войне есть некоторые особенные минуты... Бывает так, что победа одержана, но именно благодаря умению и приказаниям какого-нибудь высокого начальника. Когда это ясно для какой-нибудь части, то этот счастливый начальник может приказать все, что угодно. И вот такая минута была. Победа была одержана благодаря моим приказаниям, и это знали казаки. Вместе с тем мне доносят, что они начинают грабить. Я вскочил в седло и поскакал — сколько мог вынести конь — чтобы лично убедиться в том, что происходит. В каком-то городке мне удалось застать их врасплох... Грабят! Через десять минут восемь казаков было повешено... казаками же... Я был в это время бог! Бог не позволяет грабить! И кончено! Но этого невозможно было бы сделать при другой обстановке. И я такого приказания не дал бы. Потому что если офицер, кто бы он ни был, дал приказание и оно не исполнено, этот офицер уже не офицер... С него сорваны погоны.

* * *

Во время мировой войны состоял под командой генерала Скоропадского... Где-то мы наткнулись на германскую батарею, занявшую военный пункт. Они сделали каре и отбивались на картечь...

От великого разума Скоропадский решил взять пушки в кон-

ном строю. Послал первый эскадрон... Он лег, батареи не взял... вторым эскадроном командовал Врангель. Ему посчастливилось. Он взял батарею, чем прославился...

Кажется, тогда ему дали чин полковника и казачий полк. Но не было дел. Врангель рассказывал мне об этом... не помню когда... Показав на погоны, он спросил меня:

— Вы думаете, это что-нибудь значит?

И сам себе ответил:

— Ну да, в мирное время, при встрече во фронт и так далее. Но в военное время нужно другое... В каждой новой части нужно эти погоны заработать. Что для этого надо? Надо доказать личное мужество. Чтобы солдаты говорили: «Он — герой!» А как его, это геройство, показать, когда нет боев? Тогда это надо сделать искусственно. Мы там пятичасовой чай пили на свежем воздухе, на скамеечках и столиках... Туда нам прислали чай в стаканах. И вот приносят мне стакан чаю. В это время противник: бах! Шрапнель разорвалась неподалеку. Я спрашиваю: «Сколько кусков сахару положил?» — «Так что два, ваше высокоблагородие!» — «Сколько раз я говорил, что пью три... Ступай, принеси сахар!» Шрапнель разорвалась с другой стороны. Солдат побежал, принес сахар. Еще где-то шрапнель... Я пью чай, а денщик потом рассказывал, конечно не без преувеличений: «Он бьет безо всякой пощады, а командир спрашивает: ты сколько сахара положил? Тут смерть, а он — сахар!» И полк стал говорить: «Он — герой!»

* * *

— Итак, начальник должен быть герой. Тогда он заслуживает наново погоны. Кроме того, он должен твердо помнить, если он отдал приказание и приказание не исполнено, он уже не офицер. На нем офицерских погон уже больше нет. Поэтому я десять раз подумаю, прежде чем отдам приказание. Надо понимать, что такое дисциплина. Она должна войти в плоть и в кровь. Мы, Врангели, насквозь военные... В моем роду было пять фельдмаршалов и три адмирала.

* * *

В молодости Петр Николаевич много кутил. Жена его, Ольга Михайловна, очень умная женщина, рассказывала:

— Я никогда его не упрекала... Это только разделило бы нас... Он стал бы жалеть, что женился. Я действовала иначе. Как-то утром он возвращался в восемь утра, я сижу за кофе и подаю ему.

— Зачем ты так рано встала?

- Нет, я не вставала рано.
- Так как же? Сейчас восемь часов.
- Да, восемь... Но я не ложилась...
- Что же ты делала?
- Поджидала тебя!
- Какое безобразие!

На следующий день он пришел на час раньше. А потом еще раньше. И наконец, перестал уходить вечером. И разучился кутить...

Ольга Михайловна очень увлекалась так называемым «блюдечком». Берется большой лист бумаги, рисуется большой круг, и на нем располагается алфавит. Затем берется обыкновенное чайное блюдечко, переворачивается и чернилом наносится метинка. Три раза кладут на блюдечко, кажется, два пальца и держат руки на весу. Нередко из этого ничего не выходит. Блюдечко стоит как мертвое... Или же дамы мошенничают, блюдечко начинает кружиться, останавливаясь метинкой у букв, и говорят какие-то бессмысленные слова.

Надо иметь терпение. Дам мошенничающих удаляют и заменяют честными. Принимают другие меры предосторожности. Завязывают глаза так, чтобы они не видели, какие буквы собирает метинка... Наконец задают вопросы блюдечку мысленно, так что, кроме мыслителя, никто ничего не знает. Если при всех этих условиях блюдечко говорит разумные слова, надо относиться к ним с известным вниманием, чтобы не сказать — с уважением.

Я лично никогда не клал пальцев на блюдечко. Почему? Потому, что под моей рукой оно не пойдет, что было испробовано не раз. А потому я избрал себе роль записывателя.

Врангель никакого уважения к блюдечку не чувствовал. На все упрашивания жены отвечал неизменно:

- Оставьте меня в покое! Все это вздор.
- И продолжал читать какую-нибудь книгу или журнал.
Но однажды он согласился:

- Ну, хорошо.

Бросил журнал и стал за мной, чтобы читать, что я буду записывать. Блюдечко сразу бросилось в ход, закружилось по листу, и метинка указывала буквы. Я записывал и сразу огорчился.

- Чушь пишет!

Но вдруг слышу надо мной голос Врангеля:

- Ах, черт его побери!

Я:

- Чепуха, Петр Николаевич!

Он:

— Нет, не чепуха! Я некогда читал журнал, иностранный, вычитал там новое техническое слово, которое кажется чепухой, а оно совершенно разумно. И вот это блюдечко его воспроизвело.

Ольга Михайловна торжествовала.

* * *

Очень трудно объяснить этот случай. Я предполагаю такое объяснение: Врангель обладал неким даром гипнотизма. Иногда он спорил со мной и приводил разумные доводы ума. Но вместе с тем, одновременно, его стальные глаза давят меня, что-то внушая...

Он бессознательно внушал мне прочитанное в журнале слово. Я его записал... Но ведь дамы-то с завязанными глазами... Это ведь они толкали блюдечко. Они, значит, тоже были загипнотизированы... Но загипнотизированы так, что, не видя алфавита, гонят блюдечко туда, куда надо.

Уж очень сложно!

* * *

Во время гражданской войны Врангель не кутил. Но когда другие веселились, он иногда плясал лезгинку, причем ему все время стреляли из револьвера под ноги. Это тоже было искусственное геройство.

* * *

Обращаясь к выстроенным частям, он не говорил им «братцы» или «ребята», а здоровался так:

— Орлы!

И солдаты, быть может, чувствовали некоторый подъем душевный... от такого обращения.

* * *

Сверх того Врангель до поры до времени был удачлив. Сто один вымпел вышел при врангелевской эвакуации. Корабли были переполнены. Если бы плохая погода, половина погибла бы... Но море было гладко. И все дошли благополучно. Эвакуация была подготовлена давно... под видом десанта на Кубань... Врангель отдал приказ соответствующий, когда, будучи на фронте, он получил телеграмму, что Польша заключила перемирие с Москвой...

Управлять — значит предвидеть.

Вот, знаете, в Константинополе, точнее — на Босфоре, Врангель жил на яхте «Лукулл», принадлежавшей царскому правительству и числившейся в числе дипломатических корабликов. «Лукулл» стоял у берега на якорях. В один прекрасный день большой итальянский корабль ни с того ни с сего свернул с пролива, имеющего ширину несколько километров, навалился всей своей громадой на «Лукулл» и потопил его. Все спаслись. Но вещи погибли, и одна молодая дама послала своего мужа спасти хоть что-нибудь. Он бросился в воду, ничего не спас, но сам утонул.

Врангель переселился в здание русского посольства на Рю-э-Пера. Конечно, он жил там с семьей, с Ольгой Михайловной. Однажды она спускалась по лестнице, а навстречу ей поднималась другая дама, ей незнакомая. На площадке обе дамы сошлись, и другая дама, поклонившись и улыбнувшись, сказала:

— Сыночек.

Ольга Михайловна рассказывала мне, что даже ее муж не знал, что она беременна. А предсказательница была дипломатическая дама по фамилии Тухолка. Известная своим некоторым ясновидением.

Этот сыночек родился благополучно. Это был младший сын Врангеля. Немножко подросток. И ревновал мать ко мне. И говорил смешно:

— Ты опять уйдешь с Шульгином?

Но чаще «с Шульгином» уходил его отец. И мы с ним гуляли. Мне приходилось плохо, трудно. Очень высокий, он делал гигантские шаги, я должен был поспешать. Но беседовали мы довольно интересно. Все это происходило в Сремских-Карловцах. Он говорил, между прочим, что есть только два интересных занятия: война и охота. Впрочем, я знал, что когда он стал диктатором в Крыму, то его интересовала и политика. Что тоже вид войны в своем роде. Он был подготовлен к войне, между прочим, потому что был европеец и держался на равной ноге с французами и англичанами.

В один прекрасный день французы объявили, что им надоело кормить консервами врангелевское войско, находившееся в Галлиполи. Врангель знал, что французы не знают, что делать с этими консервами, а потому никаких расходов не терпят. Он ответил:

— Хорошо, но мои подчиненные начнут голодать. Но они не будут голодать, они вооружены.

— Генерал, мы можем арестовать вас.

— Можете. Но Кутепов очень решительный человек. Узнав, что вы меня арестовали, и узнав, за что, Кутепов поведет своих солдат

освободить меня и добывать консервы. Конечно, вы можете из двенадцатидюймовых пушек с броненосцев остановить нашествие Кутепова, но это не прибавит вам славы, если вы разгромите людей, которые были вашими верными союзниками.

Так на этом дело и кончилось. Консервы продолжали давать, пока наконец галиполийские войска сами не ушли в Сербию и Болгарию.

* * *

У Врангеля или, быть может, у его жены, богатой женщины, была вилла под Брюсселем. Туда Врангель переселился после пребывания некоторое время в Югославии. Там он в конце концов заболел.

Заболел он очень серьезно. Вызвали профессора Алексинского, с которым я потом говорил. В положении Врангеля наступило внезапное и ничем не объяснимое ухудшение, причем он страшно кричал. Алексинский допускал, что ему дали отравленный черный кофе. Отравленный особым ядом: теми же бациллами, которыми он болел. При вскрытии ничего не было обнаружено. Кто мог это сделать? У Врангеля был прежний, очень верный ему денщик. К этому денщику приехал из Советской России его родственник, по профессии фельдшер. Предполагали, что именно этот фельдшер приготовил отравленный кофе.

Но семья Врангеля, его жена и мать, отрицали возможность этого. Так Врангель и умер. (Мать его была, кажется, баронесса Корф. Отец его был не военный.)

А Юсупов дал интервью какой-то газете, говоря, что Врангель умер от огорчения.

Он, Врангель, часто говорил, что не занимается булавочными уколами, то есть без денег немыслима борьба с Советами. Но он узнал, что получит большие деньги от англичан, затем будто бы войдут капиталы, имевшиеся за границей у царской семьи, что сомнительно, таких капиталов как будто нет, и юсуповские сбережения, словом, крупная сумма, — в полное бесконтрольное распоряжение Врангеля. Об этом узнал и Гучков. Он говорил мне об этом. И вдруг все сорвалось. Это так огорчило Врангеля, что, больного, довело его до смерти.

* * *

Его тело перевезли в Югославию, в Белград, и похоронили в русской церкви. Крест из черного мрамора с надписью: «П. Н. Врангель».

Похороны были необычайно торжественны. Через весь Белград тянулись катафалки с венками.

Так он умер. Придет ли он еще когда-нибудь в качестве «аватара», кто знает?

* * *

У него было четверо детей — две девочки, два мальчика. Старшая вышла замуж за какого-то богатого американца, вторая, если не ошибаюсь, стала художницей... Старший мальчик на каком-то модном пляже спас двух погибавших — мужа и жену. Никто не шевельнулся, чтобы подать им помощь. Король Бельгийский наградил его золотой медалью. О младшем мальчике ничего не знаю.

* * *

Врангели были международная семья. В Берлине стоит памятник Врангелю. Они иногда съезжались на военный совет Врангелей. В Полтавском бою (Брокгауз и Ефрон) на стороне шведского короля Карла XII погибло семнадцать Врангелей. Часть была взята в плен и обрусела.

Первые Врангели высадились на балтийский берег в XII веке. В общем, они были истинные варяги. Такие же, как Рюрик.

* * *

Ко мне Врангель Петр Николаевич, в общем, относился хорошо, но несколько насмешливо. Он говорил так:

— Шульгин такой человек. Вот, например, лежит кошка. Лежит себе спокойно. Так Шульгин непременно подойдет и станет ее дразнить.

Я не обижен. Но, ей-Богу, таких талантов за собой не знаю. Кошек очень люблю, и они меня тоже. И вообще я человек мирный, не задорный. Дерусь только тогда, когда иначе невозможно. Не знаю, почему Врангель это выдумал...

* * *

К своим «Запискам» Врангель относился довольно странно. Как бы в извинение их несовершенства, он мне сказал:

— Я не умею описывать природу.

Зачем было ему уметь описывать природу! Вряд ли он ее даже замечал, эту самую природу..

* * *

Однажды я имел с Врангелем интересный разговор... В Париже... Я говорил:

— Что будет, конечно, никто не знает. Возобновится ли еще раз борьба с Советами... кто это может предсказать? Но на этот случай... мы должны же представлять себе, за что мы снова воюем!

Врангель ответил довольно неожиданно:

— Да, должны. Но должен знать только тот, кто эту борьбу будет возглавлять. Он должен скрывать свою программу до тех пор, пока действительно станет во главе России. Если она станет известна раньше, то подвергнется критике со всех сторон и ее развенчают. Всякую программу можно раскритиковать в пух и прах. Она должна стать известной с той минуты, как начнет проводиться в жизнь. Она должна быть неожиданной и свежей, так я думаю...

И я не стал ему возражать, ибо это бесполезно. Разумеется, он думал о себе, когда говорил о «том, кто возглавит Россию». Программа, может быть, уже у него была... А может быть, и нет... Ведь времена меняются, и программа должна была соответствовать изменившимся взглядам.

Кроме Врангеля, я не видел лица, о котором можно бы было хотя бы мечтать, что он сбросит большевиков и возглавит Россию. И поэтому я об этой программе хотя и продолжал думать, но молча, про себя.

* * *

Он говорил:

— Я политикой не занимаюсь. Этим занимается Великий князь Николай Николаевич.

А у Николая Николаевича была программа, которая и была, соответственно, программа, которую ставил себе «Трест» на случай удачи.

Относительно отношения Врангеля к Николаю Николаевичу... Это довольно остро... но можно сказать... Он говорил об этом только очень близким лицам, потому что оно (отношение) было отрицательное.

Он говорил примерно так:

— Думают, что Великий князь Николай Николаевич был человек сильной воли... Но это не так. На престоле он был бы Николай Третий. Он, Великий князь Николай Николаевич, мог быть резок и даже груб. Он мог ударить хлыстом трубача, подавшего неправильный сигнал... Мог оборвать того или иного офицера... Но в решительную минуту он проявил слабость. С Кавказского фронта,

которым он командовал во время Февральской революции, он уехал, чтобы принять главное командование над всем фронтом — пост, который он уже занимал раньше, до того, как Государь занял его лично. На дороге его, Великого князя Николая Николаевича, перехватили двое министров Временного правительства (не помню, кто именно. — *В. Ш.*). Они убеждали его, что лицо, принадлежащее к династии Романовых, в настоящее время не может быть главнокомандующим армией. И убедили...

Я спросил:

— А как надо было поступить?

— Надо было послать к черту этих двух министров, приехать в Ставку, стать во главе кавалерии, которая сохранилась... не была разложена... и навести порядок.

Это то, что я слышал от Врангеля. Кажется, он был прав. Позже, когда Великий князь жил в Крыму, Деникин просил его возглавить Добрармию. Письмо дошло... Его отвезла Принцесса, очень пригодная для такой миссии молодая дама, принадлежавшая к «Азбуке», но... Великий князь прочел... И отказался возглавлять Добрармию... Не помню, сделал ли он это в письменной форме, но, несомненно, сделал.

Послал к черту Принцессу и остался в Крыму со своими черногорками.

* * *

Он, Врангель, говорил о Романовых:

— Я их всех хорошо знаю. Они не могут править, потому что не хотят... Они потеряли вкус к власти...

Что поделаешь?

В значительной степени выродилась и аристократия... Не только Романовы...

* * *

Были ли у Врангеля реальные шансы?

Если бы он победоносно вошел в Москву, несомненно, были бы...

Вспомните, какие ничтожества становились у власти...

*И счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин...*

Меншиков... И Екатерина I... совсем уже...

Но надо было иметь успех...

Был бы Петр IV..

Конечно, неизвестно, удержался ли бы Врангель... Некоторое время, безусловно... Но потом началось бы: «Крымский барон»...

Но судя по тому, как он расправлялся с казаками-грабителями...

Август 1973 года

IV. «Азбука»

Приходится вспоминать то, что было пятьдесят лет тому назад и даже больше. Это не так просто.

Мне кажется, но я не уверен, что «Азбука» возникла после августовского совещания в Москве в Большом театре. Я выступал довольно удачно от имени Киева. Вернувшись к себе, я почувствовал приток всяческих людей, которые искали руководства, а потому могли бы быть толково использованы. Кажется, в это время я разыскал пропавшую Добрармию и стал извещать Деникина кое о чем. И одновременно появились какие-то деньги для поддержания связи с теми или иными политическими друзьями. Но чтобы их информировать, надо было иметь материал. Человек, хорошо разбиравшийся в том, что делается в Киеве, оказался налицо: Анатолий Иванович Савенко (не смешивать с известным Савинковым). Я попросил Анатолия Ивановича Савенко написать о Киеве. Он это выполнил и сказал:

— У вас будут, вероятно, и другие информаторы. Я хотел бы, так сказать, сохранить свою индивидуальность. Я буду работать под каким-нибудь псевдонимом. Ну, скажем, например, Аз.

Так и было. И с этого и пошла «Азбука».

Аз был давнишний сотрудник газеты «Киевлянин» и член Государственной Думы от Киевской губернии.

Итак, появился Аз. Сейчас после этого второй член Государственной Думы кадет Демидов, во время войны как-то приблизившийся ко мне, невидный, но верный ему сотрудник Милюкова, тоже дал мне кое-какую информацию. Я ничего не сказал ему, но обозначил его буквой Буки. Но ведь оба работали для меня. И потому я стал Веди. Затем Глагол попал в Азбуку, сам о том не зная. И так пошло дальше. Азбука быстро росла и обратилась в некую подпольную организацию.

Я — и подполье! Этого еще со мной не бывало.

Но подпольная организация должна была иметь какую-то программу. Она обозначилась четырьмя пунктами:

1. Против большевиков.

2. Против немцев.
3. Против украинствующих.
4. За Добрармию.

Кому это было недостаточно, пояснялось:

— Газету «Киевлянин» читали? Так вот и вся программа.

Затем требовалось обозначить руководителя подпольной организации. Это буква Веди. Потребовался устав. Очень просто. Устав на основе воинской дисциплины.

* * *

И вот мы начали работать. Информацию я получал на пишущей машинке или устную. Чтобы это возможно было послать, потребовалась некоторая техника, получившая название «Папиросы». Информация представляла собой узенькие ленточки, которые в скрученном виде вкладывались в мундштук папиросы. Метод был очень хорош. Очень трудно было заметить, что в обыкновенной папиросе что-то есть. Курьер, который вез информацию, имел при себе коробочку папирос, больше ничего. Бывали случаи, что курьера обыскивали по нескольку раз, но папирос у него не отымали. Однако был случай, когда обыскиваемому пришлось угощать папиросами обыскивающего. Это было на железнодорожной станции. Обыск прошел благополучно, и оба, обыскиваемый и обыскивающий, мирно ходили по платформе, курили эти папиросы и бросали окурки. Но обыскиваемый зорко смотрел, куда окурки бросаются. Улучив минутку, он их подобрал и уложил в другую коробку. И, вынув информацию, переложил ее в другую коробочку папирос.

Позднее вышло усовершенствование. Информация снималась на фотографическую пленку и в таком виде засовывалась в папиросы.

Буквы набирались дальше. Знал их только Веди. Но кроме букв появились новые участники «Азбуки».

Буквам было предоставлено право набирать себе помощников, которые уже не обозначались буквами, а какими-нибудь псевдонимами. Например, у Веди были помощники Паж, Тошнилка, Дарья Васильевна, которая не была Дарьей Васильевной, и так далее. Наконец Азбука исчерпалась, появилась буква Иже, один полковник. Супруга его для смеха называла: «Ижица, розга ближится».

* * *

Работа «Азбуки» не ограничивалась только посылкой информации. Сотрудники некоторых букв внедрялись во враждебные орга-

низации, становились, например, для виду коммунистами, произносили коммунистические речи — словом, ступили на провокационный путь, чего я, впрочем, не знал. Затем — перевозились деньги, предназначенные для Добрармии, затворы пушек, что являлось ценным. Сейчас мне трудно вспомнить все эти подробности.

* * *

Когда пришли немцы (в Киев. — *Сост.*), они заняли лучшую гостиницу «Континенталь». Там, между прочим, шла и карточная игра. Один из участников «Азбуки», не знавший, что он в таковой состоит, но поддерживавший отношения со мною лично, как-то присоединился к карточной игре. Картежники-немцы говорили, между прочим, что через Киев прошло письмо Императора Вильгельма II к отрекшемуся от престола Императору Николаю II. Немецкий Император будто бы предлагал Императору русскому вернуть ему престол в случае, если он подпишет Брестский мир. И будто бы отрекшийся Император сказал:

— Скорее мне отрубят правую руку, чем я это сделаю.

* * *

Затем, в связи с «Азбукой», припоминаю вот что. В Киеве немцы посадили гетмана Скоропадского. Председателем его опереточного правительства был Кистяковский Игорь. Так как я решительно отказался участвовать в гетманшафте, то Кистяковский будто бы решил меня арестовать. 11 июля 1918 года я назначил собрание некоторых старших членов «Азбуки» в лесу под Святошином. Собрание решило, что Веди надо уехать в Добрармию.

Это было выполнено. И, таким образом, центр «Азбуки» перенесся в Екатеринодар. Там за исчерпанием моих средств «Азбуке» стал помогать материально Деникин.

* * *

В это время я испросил согласия Деникина на новое добавление к «Азбуке» славянской азбуки с греческим алфавитом..

Это вот почему. В Крыму в это время находились как Императрица Мария Федоровна, так и Великий князь Николай Николаевич. Они жили там без всякой охраны. Греческий алфавит в числе примерно двадцати человек составил так называемый конвой, который разместили в Крыму. Сначала конвой этот был на месте и вел себя прилично. Но потом он разросся до двухсот человек и стал безобразить.

Вероятно, потому, что у Деникина не было средств кормить такую ораву.

Припоминаю, что с греческим алфавитом поначалу много возился привязанный лично к Веди некий Паж. О нем позже...

* * *

Многое в голове моей путается, но я вспоминаю, что в этой организации переплетались элементы порядочные, но бездарные, с даровитыми, но неразборчивыми в средствах. Произошел конфликт между ними. Я поручил разобраться в этом деле и доложить мне. Они разобрались, но плохо и, кроме того, сверх разбора дела, им порученного, вынесли решение не в пользу даровитого, чего я им не поручал. Тут «Азбука» издала подозрительный скрип. Это было не в порядке воинской дисциплины.

* * *

Этот «даровитый» носил название Летучий Голландец. Он служил когда-то в кавалерийском полку, а по профессии был фельдшер. Оставшись в Одессе, он объявил себя доктором и в качестве такового принимал многих больных. Эти больные были различные участники «Азбуки», делавшие то или другое. Сейчас я не могу вспомнить, но деятельность его была весьма смелая и плодотворная. Разумеется, он в ней не давал отчет никому и обширно применял обман и камуфлирование. Все это было поставлено ему в вину... Попросту ему завидовали...

Он совершенно неожиданно появлялся...

Он был в домике под Екатеринодаром, когда был убит Корнилов, после чего главнокомандующим стал А. И. Деникин... После чего он самовольно присвоил себе чин корнета...

Позднее он умудрился получить крупную сумму, замороженную в Одесском государственном банке. Эту сумму Деникин перевел на мое имя, но я не успел ее всю использовать... И вот корнет умудрился получить деньги.

Возвращаясь несколько назад, припоминаю октябрьские дни в Киеве. После этого юнкерам и к ним присоединившимся пришлось отходить. В январе... 4 января 1918 года ... я получил от корнета телеграмму: «С боем пробрались на Дон».

Ранее, когда я посетил генерала Алексеева в Новочеркасске и записался в Добровольческую армию двадцать девятым, то тридцатым записался корнет. Он мог говорить на митинге и писал грамотные статьи в «Киевлянине». Вдвоем с генералом Бискупским, командовавшим в 1917 году Елисаветградской дивизи-

зией, совершенно не разложившейся, он был избран в Совет солдатских депутатов и приехал в Петербург. Вот Летучий Голландец. Его нельзя было мерить мелкою меркой, потому что он играл крупную игру.

* * *

И вот тут и разыгралось... В Константинополе, в учрежденном Врангелем «Русском совете», начальник штаба докладывает о положении в России, в частности — в Киеве, в том смысле что там целая сеть подпольных организаций. Я слушал это и сказал:

— Разрешите мне отлучиться на минутку.

Я пошел и спросил жену Барцевича и Око:

— Было что-нибудь от Владимира Петровича?

— Ничего.

Я вернулся к Врангелю и сказал:

— Петр Николаевич, вас обманывают. Откуда у вас эти сведения?

— Да как же, от вашего же Барцевича.

* * *

Потом оказалось, что в это время, когда это происходило в Константинополе, в Киеве Барцевич был уже расстрелян, не успев ничего сделать...

* * *

Припоминаю еще вот что. Веди, значит, пропал в 1920 году где-то в Одессе шесть месяцев. Я появился в Севастополе как раз в ту минуту, когда там обсуждалась шестая версия моей гибели. И тут я узнал, что «Азбука», отбросив единоличное начало, установила для управления ею какой-то центр, состоящий из Ока, жены Барцевича (она не знала, что его уже нет в живых) и третьего лица, малозначащего. Я позвал Око и сказал:

— «Азбука» сошла с рельсов. Так дело не пойдет. Она основана на единоличном начале, и я решил ее закрыть.

Так формально кончилась «Азбука».

* * *

Но остались личные связи азбучников. Результаты этого были многозначительны. В 1923 году я жил под Берлином. Неожиданно ко мне явился Око из Югославии и сказал мне, что меня просит

к себе фон Лампе (тоже бывший азбучник) по важному делу. Важное дело состояло в том, что у фон Лампе, куда кроме меня были приглашены бывший сенатор Чебышев и Климович, бывший начальник российских жандармов, ожидали «человека оттуда».

Он явился, и это был глава «Треста», подпольной организации в Москве. Он доложил все, что считал нужным. Когда он кончил и ушел, мы обменялись мнениями. Трое из нас вынесли благоприятное впечатление, но Чебышев сказал:

— Провокатор!

* * *

Кто был прав? Все. В тот день человек оттуда еще не был провокатором, но, вернувшись в Россию, он им стал.

* * *

Я пишу сейчас об «Азбуке». Так вот, «Азбука» каким-то образом стала причастной к «Тресту». «Азбука», то есть остатки «Азбуки», через это свидание у Лампе. Но еще и иначе. «Человек оттуда» в Варшаве посетил одного бывшего русского офицера, еще не будучи провокатором, и говорил:

— Не думайте, что Россия умерла. Кое-кто еще борется.

Офицер варшавский написал об этом визите своему приятелю в Ревеле по почте, некоему Щелкачеву. А этот Щелкачев тоже был бывший азбучник.

Когда «человек оттуда», то есть Якушев, вернулся в Москву, его арестовали. Он твердо отрицал свою вину. Но ему показали факсимиле с письма к Щелкачеву.. И тут Якушев понял, что его поймали. Ему предложили расстрел или службу под руководством чекистов. Он ответил, что против природных русских граждан он работать не будет, но согласен работать против эмигрантов, которые его так подвели.

* * *

Кончая рассказ об «Азбуке», я хочу сказать, что ее остатки переплелись с «Трестом», вызвали мое путешествие в Советскую Россию 1925 года и все то, что из этого последнего произошло.

* * *

Каким образом это письмо попало к московским чекистам? По-видимому, через жену Линского, который жил в Варшаве. Так

думал Око. Я бывал у Линского несколько раз. Молодые супруги, люди, можно сказать, светские, относились ко мне в высшей степени любезно, но я, как бы сверкавшей молнией, видел взаимную их между собою ненависть... Так что Око мог быть и прав... Линский же стал тайным представителем «Треста» в Варшаве. И это он, при помощи своих друзей переправил меня через границу.

* * *

Кто был Око? Он был жандармский полковник Петр Титович Самохвалов, служил в Киеве во время убийства Столыпина. Вот почему в эмиграции некоторые неумные шутники говорили ему:

— А ну-ка, расскажи-ка, Петя, как ты убивал Столыпина!..

Он лично не был причастен... к этой ужасной истории... Но все ж он был из киевских жандармов... Я принял его в «Азбуку». Мне нужны были люди, опытные в конспирации. Он был полезной буквой, но, будучи даровит, вел интригу против Летучего Голландца.

Кончил он свою жизнь плохо.

Когда меня арестовали в Югославии, в городе Сремски-Карловци (в 1944 году. — *Сост.*), Петр Титыч там тоже проживал. Хотя он был председателем колонии и библиотекарем, но его не тронули. Потому ли, что он «убивал» Столыпина, или по другим причинам... Покойная Марья Дмитриевна (жена В. В. Шульгина. — *Сост.*) рассказала мне о его конце. Он переселился в Белград и жил у своей крестницы. Человек он был всегда религиозный и церковный. Но в Белграде перестал ходить в церковь, перестал верить в Бога... И наконец, покончил с собой...

* * *

О Паже могу сказать... Паж отошел от меня, из капитана стал полковником в Великом Войске Донском... А затем совершенно отошел от политики и ударился в мистику... запутавшись в Константинополе в черную магию... С великим трудом я его вытащил из лап некоего Гюрджиева. Его фамилия Виридарский, из черниговских дворян.

* * *

А Дарья Васильевна? О ней надо написать книгу.. Или ничего не писать...

25 июля 1973 года

V. Мария Владиславовна Захарченко-Шульц

Настоящие воспоминания пишутся (диктуются) в 1973 году, то есть примерно через пятьдесят лет после того, как имели место события, в них описанные. Поэтому возможны хронологические неточности.

* * *

Имя «Мария» ничего не говорит. В то время это было одно из самых распространенных имен. Но отчество Владиславовна кое-что объясняет. Отец Марии, Владислав, был поляк или русский из поляков. Потому что чисто русских Владиславов не бывало.

Захарченко? Не знаю, была ли это ее девичья фамилия или фамилия ее первого мужа... Захарченко — фамилия польская или малороссийская.

Что я еще могу сказать о Марии Владиславовне? Она была редкий случай в том смысле, что имела офицерский чин в царской России. Служила где-то в кавалерии на крайнем юге нашем.

Когда я познакомился с ней? Это было, по-моему, в Москве, на вокзале. Я приехал из Киева, кажется... Откуда я еще мог приехать?.. Меня встретил на вокзале человек с очень красивыми и очень грустными глазами. Это был Шульц. Кажется, Шульц. Он отвез меня куда-то, где мне была приготовлена комната у одной вдовы с двумя дочерьми. Там я, кажется, назывался Шварц. Вдове сказали, что меня бросила жена, что я очень огорчен и меня ни о чем не надо спрашивать.

* * *

Вот от этой вдовы я часто ходил в дом неподалеку, где человек с грустными и красивыми глазами познакомил меня со своей женой Марией Владиславовной.

Ей было лет сорок. Была ли она красива? Чувствовалось, что еще несколько лет назад она была хорошенькой. Теперь лицо ее было измято каким-то утомлением, что не мешало ей представляться веселой.

Мы постепенно узнавали друг друга, а пока что невольно должны были слушать, что происходило за тонкой стеной. Там, очевидно, собиралась молодежь. Один голос выделялся особенно громко. Он непрерывно хохотал, начиная с высоких нот и замирая на низких. На него как будто за перегородкой никто не обращал внимания. Это был привычный шум. Остальные развлекались частушками. Например, женский голос пел:

*Разлюбил — так наплевать,
На примете еще пять.
Неужели из пяти
Такой дряни не найти?*

Другой женский голос:

*В зеркало
Себя сама я видела,
Подругу я обидела.*

После этого особенно хохотал сверху донизу привычный шум. Все это гораздо лучше и полнее описано в книге «Три столицы». Ее достать трудно. Говорят, на черном рынке экземпляр стоит сто рублей. Но где его искать, этот черный рынок?

* * *

Расспрашивала меня Мария Владиславовна, что я видел в Киеве, откуда я приехал. Я сказал:

— Вот, например, видел я, не доходя Сенной площади, церковь, у которой был странно позолоченный купол. Позолота как бы представляла цветок с раскрытыми лепестками. Когда я зашел в эту церковь, в которой никого не было, кроме человека, продававшего свечи у прилавка, он сказал:

— Некоторое время тому назад был тут особенно людный базар. Вдруг один еврей закричал пронзительно: «Церковь горит!» Церковь не горела, а вот произошло то, о чем вы спрашиваете, на куполе появилась эта непонятная позолота.

Мария Владиславовна посмотрела на меня веселыми глазами и сказала:

— Всяческие чудеса теперь в моде... А обновление икон вы не видели?

— Видел. В этой самой церкви стоял образ Николая Угодника почти в натуральную величину. Он не вошел в иконостас, а стоял отдельно, на какой-то подставке. Письмо было необычайно ясное. Такое, как будто бы образ был написан вчера и в красках чрезвычайно нежных. Риза Святителя была отделана особо старательно. Человек, продававший свечи, сказал:

— Несколько дней тому назад лик Святителя был почти черный, ну, как бывает на старых иконах, и риза тоже. Это совершилось мгновенно, ночью. Я пришел утром и это увидел. — И прибавил: — Вот там, посмотрите, плащаница. Это работа Прахова. Того, что вместе с другими отделявал наш Владимирский собор. Шитье на плащанице было совершенно тусклое, сейчас оно блестит совершенно как новое.

Мария Владиславовна сказала:

— Как вы это себе объясняете?

— Человеческими переживаниями, страданиями, которых теперь так много. Страдания действуют очищающе.

Мария Владиславовна сказала скептически:

— Ну, знаете...

Я прекратил этот разговор, но запомнил его. Мы говорили о другом. Она рассказывала о своей молодости, когда она еще не была замужем. И, между прочим, нижеследующее:

— Однажды у меня было великое огорчение. Я не спала всю ночь. Вышла в столовую к утреннему кофе. Мама говорит: «Что с тобой? На тебе все золото потемнело. Кольца, браслеты и даже серьги».

Я спросил ее так же, как она меня перед этим:

— Как же вы себе это объясняете?

Она несколько смутилась. А я сказал:

— Человеческие переживания могут изменять внешний вид золота. Но на время...

* * *

И я рассказал ей, а может быть, не рассказал, расскажу сейчас, одну легенду. Это обрывки, находящиеся в книге, которая, кажется, называется «Исторические песни малорусского народа».

* * *

Турецкий султан осадил Киев. Его войско обвело город кольцом. Причем расстояние между турками и стенами города равнялось полету очень дальней стрелы.

Такая стрела вонзилась прямо в борщ султана, который обедал. Борщ был густой, и стрела стала торчком перед носом у султана.

— Это что же?

Придворные ответили:

— Это рыцарь Михайлик со стены стрельнул.

Тогда султан послал сказать киянам (киевлянам):

— Выдайте мне рыцаря Михайлика, и я сниму осаду и уйду.

Кияне уже голодали, и поэтому явилось искушение. В сохранившихся отрывках сказано так:

«Кияне шу-шу да шу-шу, не выдать ли рыцаря Михайлика».

А рыцарь Михайлик сказал:

— Ой вы, кияне, панове, громадяне. Поганая ваша рада. Когда б вы Михайлика не выдавали, горя-несчастья бы не знали.

И он, лыцарь Михайлик, снял с петель киевские Золотые ворота, возложил их себе на плечи и, невидимый, прошел через турецкое войско. И пошел, и пошел. И поставил он их на Святом Афоне. И стоят они там и поныне. И если кто скажет: «Ой вы, Золотые ворота, будете вы еще стоять во Киеве-граде», — и золото сейчас же заблестит, заиграет, зачервонет.

А скажет: «Не стоять вам во Киеве-граде», — и золото темнеет.

* * *

Пусть это все легенда, но совершенно ясно, что нелегendarные события, как обновление церкви на Сенной в Киеве или золото, которое потемнело на Марии Владиславовне, — все это явления одного порядка. И если они труднообъяснимы, то отрицать их все же не следует.

* * *

Не только говорили мы с Марией Владиславовной о метаморфозах золота и такого рода предметах, но говорили и о политике. Она иногда, сбросив маску веселости, высказывалась иначе:

— Я вложила в этот «Трест» свои последние силы. Если и это оборвется, я жить не буду.

И это была не фраза.

* * *

Подходило время мне покинуть Советскую Россию. Я пробыл полтора месяца. Я не узнал то, для чего я совершил это рискованное путешествие в личном плане, то есть я не нашел не только самого моего сына, но даже и следов его.

Но я очень много видел и понял, что происходит в Советской России. Я рассмотрел нэп и его благодетельное действие. Ленин понял, что надо сделать, и после этого умер. Моя книга «Три столицы» при переводе на французский язык была названа «Возрождение России».

Но Мария Владиславовна недостаточно расценивала нэп, и не этого желала ее измученная душа...

* * *

Она стала разочаровываться в Якушеве, находя, что он медлителен. Она увлеклась другим. Его фамилия была Оперпут. Он был, по-видимому, латыш, моложе Якушева, и сходилась с Марией Вла-

диславовой в политическом темпераменте. Политика подействовала и на иной темперамент Марии Владиславовны, о чем я узнал позже.

* * *

То, что совершилось, дошло до меня в таком виде.

В один прекрасный день Оперпут сказал ей, Марии Владиславовне:

— А не довольно ли, дорогая Мария Владиславовна, дурака вальять?

— Что это значит?

— Что вы думаете обо мне? Кто я такой?

— Странный вопрос.

— Нет, странно другое. Странно то, что вы ничего не видите. Кто я? Чекист.

Не буду распространяться, что с ней стало после этого открытия, а буду рассказывать, как мне рассказывали.

Она спросила, цепляясь за надежду:

— А Якушев?

— Тоже.

Она поставила еще несколько вопросов, и ответ был:

— Тоже!

— А мой муж?

— Нет! Он и кутеповские офицеры, которые приехали, перейдя границу собственными усилиями, — не чекисты.

* * *

И затем он сказал будто бы:

— Мне это надоело. Они это чувствуют и они меня убьют. И надо бежать. Мы сможем пройти через границу, пока там ничего не знают.

* * *

Это им удалось. Они бежали в Финляндию. Финские власти поступили так. Оперпута они посадили в крепость, а Марии Владиславовне дали приют в гостинице.

* * *

Все это я узнал от генерала Кутепова в Париже. Он рассказал мне примерно так:

— Я получил одновременно две телеграммы. Одну — от моих офицеров, убежавших из Советской России в районе Вильно. Другую — от Марии Владиславовны, из Финляндии. Содержание одинаковое. «Трест» оказался легендой ЧК.

Легендами назывались организации, которые создавали чекисты с провокационными целями.

Такой легендой оказался и «Трест», но не сразу. Сначала «Трест» был «честной» контрреволюцией. Эта организация была очень смелая. Она имела связи с польским правительством и с англичанами («Интелледженс сервис»). Это мне рассказал значительно позже один советский полковник, меня допрашивавший.

* * *

Возвращаюсь к Кутепову. Он сказал:

— Я поехал в Финляндию, застал Марию Владиславовну в гостинице. Мне позволили посетить Оперпута в крепости. Он сказал: «Понимаю, что вы не можете мне верить. Но я дам доказательства, что я действительно ушел от большевиков. Сейчас позвольте вам вручить две записки, которые я написал здесь, в крепости».

* * *

— Вот они, — сказал Кутепов, подавая мне две тетради. — Я ухожу, а вы читайте.

Я их прочел. В общем, но гораздо подробнее, Оперпут рассказывал в них происшедшее.

* * *

В общем, провал «Треста» был великий скандал для Кутепова, в «Трест» свято верившего, и для меня тоже. Ведь уже вышла в свет моя книга «Три столицы», где я изобразил «Трест» как сильную контрреволюционную организацию.

* * *

Я сказал возвратившемуся Кутепову:

— Вы пока что не пострадали, ведь эмиграция не знает о вашей роли во всем этом деле. Позор падет на мою голову. Но всегда лучше не терять инициативы, предупреждая неизбежное, я хочу рассказать сам в газетах, что произошло.

Но Кутепов не согласился и сказал:

— Я дал вам прочесть эти записки доверительно. Имею право воспользоваться, но имею право требовать от вас, чтобы вы не использовали их для печати.

Пришлось покориться, но из этого ничего не вышло. Парижская русская газета «Общее дело» рассказала всю эту историю, но не так, как это было, а гораздо хуже.

* * *

Я уехал на юг, сказав себе:

— Конец моей политике. Человек, которого можно так обмануть, не может быть политическим деятелем.

Напрасно я говорил себе, что и Петр Великий был обманут Мазепой. Ему это простили, потому что он выиграл Полтавский бой. Я же ничего не выиграл, я все проиграл...

* * *

И все-таки мне не удалось спрятаться. Ко мне на юг приехал Глеб Струве, сын Петра Бернгардовича, от другой парижской, русской газеты с настоятельной просьбой изложить рядом со статьей «Общего дела», которая плохо осведомлена, свой вариант провала «Треста».

Я это сделал. Кажется, эта газета носила название «Россия и славянство», редактировалась Петром Бернгардовичем.

* * *

Когда разразился скандал с «Трестом», я был в Париже. Естественно, что я пошел к Анжелине Васильевне...¹

Я сказал ей:

— Анжелина Васильевна! Я знаю, что вы не любите заниматься политикой...

Она ответила:

— Да, не люблю... Но вам я скажу... В чем дело?

Я дал ей письма от двух лиц: Якушева и Антона (отчество забыл).

Она отодвинула эти письма и сказала:

— Они меня только собьют... Дайте мне вашу руку.

И начала говорить:

¹ Ясновидящая, с которой В. В. Шульгин общался в Париже. См. о ней в очерке «Рассказ о Г. И. Гюржиеве».

— Около вас я вижу Александра... и другое лицо... В ваших мыслях он Антон, на самом деле он — Сергей... Эти двое — ваши друзья. Они сделали все, чтобы вас спасти. Еще я вижу третьего... Его крещеное имя Иоганн. Про этого вы сказали бы: «провокаатор». Он — плохой... На нем кровь... Он лично убивал... И у него очень много денег. Много и разных имен... Он плохой... но не до конца... На него действуют одновременно две женщины. Одна плохо... Это очень красивая еврейка Соня. Быть может, она и причина всего, что случилось... А другая... Мария... Эта Мария вот такая: она не блещит.

Тут Анжелина взяла в руки карандаш и продолжала:

— Вот карандаш. В деревянной оправе простой графит. Но если бы вместо графита там было золото... чистое золото... То это было бы... Это Мария... Она тоже сильно действует на Иоганна. Да... Она его любит... Она с ним живет... Вы этого не знали?

— Мария погибнет... Скоро погибнет... Ее спасти нельзя... Вокруг ее головы я вижу круг... Нимб мученичества...

* * *

В первом сообщении ТАСС говорилось, что Захарченко-Шульц погибла в перестрелке. Во втором, позднейшем, — что она застрелилась. Вернее, конечно, первое.

Роль этой Сони мне неясна... Может быть, разве что Оперпут ей выболтал, что собирался бежать...

Оперпут — латыш. Если это он, кого я видел, то у него вот такие усы, как у Вильгельма...

На прощальном ужине, который устроил мне Якушев... Ужин, на котором было решено, что я напишу книгу, по их просьбе, по просьбе Якушева... Участвовали Якушев, Оперпут, Антон и я. Оперпут не сказал ни слова...

* * *

Возвращаемся к Марии Владиславовне. Она однажды мне сказала:

— Если и «Трест» провалится, я жить не буду.

* * *

Оперпута выпустили на свободу из крепости. Вдвоем с Марией Владиславовной они вновь тайно перешли советскую границу, пробрались в Москву и проникли на Лубянку, в приемную. Там

в это время никого не было. Они бросили бомбу. Бомба была слабая, только перепортила столы и шкафы. Затем они бежали. В процессе бегства они разделились. О том, что произошло дальше, стало известно из сообщения ТАСС, которое примерно гласило:

«Некая Захарченко-Шульц и Оперпут бросили бомбу в приемную на Лубянке. Бежали по разным направлениям. Были настигнуты. Оказали вооруженное сопротивление.

В перестрелке Захарченко-Шульц была убита.

Оперпут тоже убит в другом месте. При нем был найден дневник».

* * *

Таково было сообщение ТАСС немедленно после случившегося, близкое к истине.

Но через много лет, когда опять рассказывалось об этом вопросе, то излагалось иначе.

Бомбочка, испортившая меблировку, выросла в грандиозный снаряд, изготовленный будто бы англичанами. Если бы этот снаряд взорвался, то погибло бы много тысяч заключенных на Лубянке. Так как эти много тысяч заключенных в общем были единомышленники Марии Владиславовны, то она такую бомбу не могла бросить и не бросала. Лубянка здравствует и по сей день.

* * *

Мария Владиславовна оставила по себе светлую память. Пусть это было безумие, ее бомбочка в приемной Лубянки, но в этом безумии было мужество, носившее отпечаток святости. Это был протест против Лубянки, державшей под своей пятой шестую часть света.

Июль 1973 года

О ЛОЗУНГЕ «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Говорят о каком-то «национальном движении». Я лично такого движения не усматриваю. Но я наблюдаю некоторое беспокойство у лиц, ко мне иногда приезжающих из других городов. Они и появляются у меня потому, что их нечто беспокоит. Они хотят узнать, бывало ли уже что-нибудь подобное хотя бы давным-давно. А о давно прошедшем я могу знать по старости лет. Мне девяносто четыре года без трех месяцев.

* * *

«Беспокойные» люди бывали и раньше. Им помогали их современники. Чем же я могу помочь нынешним?

* * *

Я попытался уточнить: какую цель, по мнению ко мне обратившихся, имеет уже обозначившееся национальное движение? Ответ был:

— Возрождение Великой России.

Я понял сразу, что речь идет не о возрождении Великороссии в ущерб Малороссии, а о Великой России в столыпинском смысле: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия».

Я угадал правильно, но спросил самого себя:

— Разве Великая в столыпинском смысле не осуществлена при Советской власти? Шестая часть суши принадлежит России. Население земного шара будем считать три миллиарда, хотя оно больше. Население России четверть миллиарда. Эта четверть миллиарда, то есть одна двадцатая часть населения всего земного шара, обладает одной шестой частью суши. Это значит, что каждый русский имеет вдвое больше суши, чем ему полагается иметь при уравнительной разверстке всей земной суши. Половину «землицы»-то

придется, пожалуй, нам кому-то отдать. Претендентов достаточно, из них Китай не из последних.

* * *

Но этого я не сказал моему собеседнику. Почему? Потому, что тысяча квадратных метров чернозема стоит больше, чем миллион квадратных метров тундры.

Моему собеседнику я сказал только, что величие, заключающееся в выражении «шестая часть суши», Столыпин не употребил, сознавая, вероятно, что в нем таится хвастовство, которое может повернуться против нас.

* * *

Однако в отношении аннексий Советская власть может сказать, что она осуществила на деле столыпинскую мечту о Великой России.

Военное могущество Советской власти, конечно, великодержавно. К сожалению, оно основывается на атомном и термоядерном оружии и скоростных ракетах. А сила этих факторов такова, что порождает вопрос, перед которым самая сильная держава бледнеет в страхе.

Не этого желал Столыпин. Он хотел могущества России такого, чтобы люди могли спать спокойно.

* * *

Я лично слышал в Государственной Думе блестящие, как отполированная сталь, слова Столыпина. Я им радовался и я их воспринимал...

* * *

Однако прошли годы... Посев взошел. И теперь видно, что заключалось в зерне, подхваченном ветром и рассеянном по всей суше земного шара и даже упавшем в глубины океанов и морей.

* * *

Столыпин видел лучше других опасность реваншистских идей в случае Цусимы. А ведь именно желанием смыть позор Цусимы объясняется внесенное в Государственную Думу предложение: ассигновать три миллиарда рублей на боевой флот.

Столыпин пригласил некоторых членов Государственной Думы, в том числе и меня, для совещания по этому делу.

Петр Аркадьевич сказал:

— Моряки постарше убедили Царя в необходимости большой программы, то есть в три миллиарда. Младшие моряки — за малый флот. Это значит полтора миллиарда. Мне удалось склонить Государя согласиться на полтора миллиарда. Но дальше дело не идет. Если Государственная Дума откажет, ее распустят. Это право монарха. Но распустят по очень невыгодной для Думы причине: отказ в средствах на оборону. Не настаивайте!

* * *

Члены фракции русских националистов во главе с П. Н. Балашовым в этом случае поступили так: при голосовании мы «вышли за барьер». Это прием, дающий возможность с очевидностью показать, что мы воздерживаемся от голосования.

* * *

Мы думали, полтора миллиарда — это «тех же щей, да пожиже, влей». Завуалированная подготовка новой Цусимы... Так как место «адмирала Атлантического океана» было уже занято, оставалась должность «адмирала Тихого океана». И именно этого мы не хотели. Как только в Лондоне узнали об «адмирале Атлантического океана», то война Англии с Германией стала неизбежной. «Владычица морей» Англия без боя не уступила бы свой титул.

* * *

Мы хотели Великой России, но не воинствующей. И чтобы стать таковой, нам нужен был не флот, а привести в порядок свои дела на «одной шестой части суши».

На этом океане земли не только не было порядка, а просто творился позорный скандал.

* * *

Вот некоторые цифры.

В Австрии средний урожай на гектар — 75 пудов. В Германии — 100 и 150. В Дании и Англии — 200 пудов.

В России?

В России — 30. Тут надо было кричать аврал! И этим были вызваны совершенно необходимые и неотложные меры Столыпина.

Но и это совершенно законное желание покончить с «Цусимой на суше» вызвало совершенно неожиданные последствия.

* * *

Совместными действиями партии эсеров и киевских жандармов был убит Петр Аркадьевич в 1911 году.

— Что делаем, о россияне? Петра Столыпина погребаем...

* * *

Гибель Столыпина означала: конец мирной, но беспромедлительной эволюции. Россия пойдет по пути Революции. Она и пришла в результате войны с Германией.

Но откуда, с чего разразилась война с Германией? Германия тоже хотела быть Великой. По представлениям немцев, для этого надо было кого-нибудь побить. Кого? Своего восточного соседа — Россию.

И народилось знаменитое стремление на Восток.

Воспользовавшись сараевским убийством, Вилли объявил войну Ники. В результате обе империи рухнули...

* * *

Столыпин был убит 1 сентября 1911 года. Но столыпинская реформа продолжалась. В 1913 году в Россию прибыла комиссия из архиученых немецких экспертов.

Они изучали, как идет дело после кончины Петра Аркадьевича. Пробыли несколько месяцев, штудирова ход реформы на местах и беседуя с русскими учеными. Между прочим, они посетили моего родственника, профессора по кафедре политической экономии в университете Святого Владимира (Киевском) А. Д. Билимовича. Его докторская диссертация была посвящена именно реформе Столыпина.

Вернувшись на родину, немецкие ученые напечатали объемистый том — что они узнали о России.

На последней странице этой книги стояло: «Если реформа Столыпина будет впредь идти таким темпом, как она идет ныне, то через двадцать пять лет Россия будет непобедима».

Германия поверила своим ученым — в том смысле, что сейчас Россию победить еще можно. Поэтому Вильгельм немедленно, то есть в 1914 году, напал на Россию.

* * *

В самом выражении: «Мы желаем Великой России» — было для немцев нечто вызывающее. Каждый судит по себе. У немцев жела-

ние Германии быть Великой означает Drang nach Osten. Они думали, что желание России быть Великой означает Drang nach West, стремление на запад. Они думали угрозу Западу остановить стремлением на Восток.

Последнее же мыслилось в двух вариантах. Конечная цель — желание стать Великой Германией, пробиться к передовым державам. Это можно было осуществить с согласия России или против такового. В последнем случае надо было сначала победить Россию, отняв при этом у нее Украину, Баку с нефтью, Кавказ и Закавказье.

В обоих случаях Drang nach Osten исходил из желания Германии стать Великой прежде всего территориально. Величие другого порядка, величественность, придет вместе с великостью пространства.

* * *

Свою мечту Германия не смогла осуществить. Франция, Англия и Америка не позволили этого. Но погубить три династии честолюбцев Германии удалось.

Из этого мораль: желание стать великими надо увязывать с реальностью, то есть оглядываться на соседей.

* * *

Это я говорил в ответ высказанному мне мнению:

— Наблюдается национальное движение, которое имеет целью Великую Россию.

Я бы сказал:

— Народное движение должно иметь целью «мир во всем мире», ибо благоденствие каждого народа и Вселенной вообще от этого всеобщего мира зависит.

Октябрь 1971 года

ИЗ «АНТОЛОГИИ ТАИНСТВЕННЫХ СЛУЧАЕВ»

Рассказ о Г. И. Гюржиеве¹

— Гюржиева? Конечно, встречал. Могу рассказать, если вам интересно.

Это было в Константинополе, в 1921 году. Встретил я как-то одного давнего знакомого офицера. Будем называть его Максимыч. Кажется, капитан он был. Так вот этот Максимыч, когда прежде я его видел, был совсем не такой... молодой, красивый... ну точь-в-точь молодой любовник из малороссийского театра...

А теперь это был какой-то факир... с горящими глазами... который без конца дергался, держал себя как-то странно, необычно. Я ему говорю:

— Максимыч! Что с вами?

А он отвечает:

— Я теперь учусь «танцу одиннадцати противоречивых движений». Понимаете? Вы, наверное, помните, в гимназии предлагают шутку: вращать под столом ногой и пытаться при этом писать букву Д — и у вас не получается...

— Да, — говорю. — Помню.

— Так вот, — говорит. — Есть такой Гюржиев (вы его не знаете, я вас с ним познакомлю), он открыл специальную школу гармонического развития человека. Он как раз придает большое значение танцу... Да я вас поведу, вы увидите.

Так сказал Максимыч. И он меня действительно повел к Гюржиеву. И вот помню... Это была необыкновенно красивая зала... и впереди сцена. И Гюржиев как раз восседал на подмостках. Максимыч повел меня к нему. Он все так же неподвижно сидел. Помню, белое бешенство охватило меня. «Неужели ты думаешь, что вот ты сидишь... и меня подведут, ты протянешь мне руку.. и я возьму твою («сидящую») руку. Да ни за что не возьму!» Так я поду-

¹ Фамилия Г И Гурджиева дается в авторской транскрипции (Сост.)

мал. И вот, представьте себе, только я это подумал, Гюржиев действительно встал и подал мне руку.

Таково было наше первое астральное столкновение.

Потом мы спустились с Максимычем с этой сцены и смотрели танец. Звучала странная музыка... восточного характера. Какие-то люди танцевали в длинных платьях, причем в шахматном порядке, так что всех было видно. И вот мне запомнилось... Дама именно дама — она особенно привлекла мое внимание... Она танцевала... и на лице у нее было такое выражение... некая смесь... смесь наслаждения... и муки. И я вспомнил, я уже встречал такое смешанное выражение, — у своей машинистки. Когда я слишком быстро говорил и она не успевала записывать — она все-таки все записывала, но это давалось ей ценой большого напряжения... И вот тогда я видел у нее на лице такую смесь: блаженство и мука...

Я, помню, наклонился и шепнул Максимычу:

— Танцующая нестеровщина...

Помните, святые Нестерова... Во Владимирском соборе киевском, в других разных местах... Вот что-то нестеровское было в глазах этой танцующей дамы.

И Максимыч сказал:

— Она танцует «танец одиннадцати противоречивых движений».

Танец кончился. И тут, как у нас когда-то в казарме в Киеве говорили: «Выходи на словесность!» Нас пригласили на хоры. И вот я увидел: на кушетке Гюржиев, у его ног на коврах, по-восточному, ученики — группа из тех, что танцевали, но я заметил, не все, которые танцевали. Вот они расположились такой восточной группой — учитель и ученики, а напротив было поставлено три стула — для новых посетителей. Рядом со мной, помню, был какой-то казачий генерал, третьего не помню... Слушали мы лекцию Гюржиева.

Начал он так:

— Ну, с чего начнем? Все равно, с чего начать — знание одно! Только одно знание!

Говорил он по-русски... Но с заметным акцентом... как бы это сказать... кавказским... По национальности выглядел он скорее всего как армянин. По возрасту — лет сорок, но Максимыч сказал, что «ему двести лет».

Интересно, что глаза... как будто черные горящие алмазы... Не знаю, встречали ли вы, но вот у нас в Киеве... сидели такие в табачных магазинах... Караимы их называют... Вот его глаза похожи были — как у караимов.

Гюржиев оглядел собравшихся.

— Ну, что ж, — сказал, — задавайте вопросы!

Молчат.

— Молчите? Все знаете?

Молчат.

Ну, тут мне это надоело... Я поднимаю руку:

— У меня, — говорю, — вопрос!

— Пожалуйста!

Я говорю:

— Вот тут присутствующие, как и я, все преимущественно русские. А раз русские, это значит — эмигранты, которые много пережили, многое испытали... И я тоже... многое испытал, перенес. И ведь всегда находились силы, достаточно сил, чтобы все это перенести. А вот сейчас на стене лампочка — и она меня ужасно раздражает, и у меня голова болит, и справиться — вроде бы с таким пустяком — не могу...

И только я кончил, Гюржиев довольно воскликнул:

— Вот эта вопрос! Вот эта настоящий вопрос! Я вам на него отвечаю. При больших страданиях бывает всегда так, что рядом со страданием оказывается и лекарство. А при малых страданиях — этого нет. Остается только воля. Если у вас есть воля, вы можете легко подавить страдание. А если ее нет? Как получить волю, когда ее нет? Надо слушаться учителя!

Рядом, у кушетки, стоял столик. И на нем стакан чаю. Гюржиев взглянул на сидевших учеников... Там была молодая, очень красивая девушка, лет восемнадцати, у самых его ног, смотревшая на него с обожанием и восторгом.

Гюржиев ткнул в нее большим пальцем... пренебрежительно... вот так... Сказал:

— Вот она! Эта что? Кофэ? Скажу: кофэ — будет кофэ! Скажу: чай — будет чай! Вот как надо слушаться учителя!

— Конь... Страсти — это конь... Везут, но куда, как? Конем надо уметь управлять. Хорошо, допустим, есть кучер. Кучер умеет править страстями. Но кучер не знает, куда ехать. Кто знает, куда ехать? Знает седок. Но чтобы знать — надо слушаться учителя!

Такая была теория Гюржиева. Интересно то, что он совсем не замечал, что ведь если, как он говорил, так воля человека подменяется полностью волей учителя. Обрести волю — значит отказаться вообще от своей воли. Вот что интересно.

И вот после лекции Гюржиева ко мне подошел человек, который играл на рояле, когда все танцевали. И он мне сказал:

— Вы меня не узнаете, Василий Витальевич?

Я говорю:

— Простите, но я вас не узнаю.

Он говорит:

— Вы знаете, я работал секретарем в Государственной Думе. И я вас очень хорошо знаю. А это — и показывает ту самую даму,

что танцевала в первом ряду, — это моя жена. Вы обязательно к нам заходите.

И тут же рисует адрес. А тогда, знаете, в Константинополе, с адресами было трудно... Ни номеров, ни названий улиц... Так у нас, русских, уж так и велось: адрес — рисовать.

Проходит некоторое время, я решил к ним зайти. Нахожу дом, поднимаюсь по лестнице... Третий или четвертый этаж... Деревянная лестница, кое-каких ступенек не хватает, приходится прыгать через ступеньку. Вот на такой лестнице жить... Ведь если пожар — смерть. Но мы тогда все в Константинополе так жили. И я так жил. Поднимаюсь, стучу...

Открывает она мне дверь. Говорит:

— Заходите. А муж что-то очень хворает... В забытии... Проходите, мне очень хочется с вами поговорить.

Я ей говорю:

— Ваш муж серьезно болен? Неужели же вас это не пугает, не беспокоит?

А она отвечает:

— Да знаете, почти что не беспокоит... Сегодня *он* должен прийти (я понял, что она говорит о Гюржиеве), придет, и тут же все как рукой снимет.

И вот тогда я ей говорю:

— Послушайте, ведь вы, насколько я вижу, петербургская дама. (Она говорит: «Да, я из Петербурга».) Привыкли к светскому обществу. И неужели вам все это не претит? Ведь это же то, что раньше у нас называлось «халды-балды, дюша любэзный». Как это можно так вынести, когда он ткнет пальцем... до такой степени пренебрежительно... «вот она!..» Как можно терпеть такую грубость?

А она говорит:

— Вы ведь его один только первый раз видели. Вы не можете знать, какой он бывает чудесный человек. Ведь если б он захотел, он бы вас за десять минут совершенно очаровал. Но у него правило такое: специально доставлять неприятности тем, кто к нему в первый раз приходит. Такое вроде маленькое испытание: если человек действительно стремится к свету, он эту неприятность преодолет и опять придет. И уж тому, кто к нему все-таки приходит, он очень много дает... Знание дает... свет...

— И он вам дал свет?

— Дал, — быстро ответила она. — Знаете, это очень трудно, когда ни к чему не стремишься, ни во что не веришь... А с тех пор как я его узнала, у меня впечатление такое, что я на лестнице... И иду...

Я спросил:

— Вы помните «лестницу Иакова» в Библии, по которой ангелы подымались вверх-вниз?

Она говорит:

— Помню.

— Так вот, как вы думаете, та лестница, о которой вы говорите, она куда ведет? Вверх?

Она задумалась. Помолчала и ответила:

— Я не знаю.

— А может быть, вниз, в преисподнюю?

Она повторила:

— Я не знаю, может быть... Но знаю только, что я с этой лестницы уже сойти не могу.

Я тогда ушел. Больше я этой женщины уже никогда не видел.

А Гюржиев потом вскоре дал в театре, в Константинополе, публичный спектакль.

Он был из двух отделений.

В первом были танцы... Совсем почти европейские, и музыка европейская, чуть-чуть разве ориентализированная...

А вот второе отделение пошло уже совсем по-другому... Совсем уже «на восточных ногах».

И закончилась эта, вторая, часть концерта сценой «Поклонение дьяволу». Посредине сцены на троне сидел ученик, изображавший дьявола. Из-за правых кулис выходили другие ученики и, совершив поклонение, отходили налево. Эти подходившие люди изображали различные нервные болезни... Один, помню, подходили вроде бы с пляской св. Вита. (Это, знаете, такая болезнь: человек совершенно не стоит на месте, руки-ноги трясутся, бьет руками в грудь...)

И вдруг смотрю, а Максимыч, так тот совсем уже почти на четвереньках, как собака... И с такими, знаете, ужасными увертками... Подползает и зубами на него по-песьи: «щелк-щелк»...

Ну, потом представление окончилось. Максимыч снова подсаживается ко мне. Я ему говорю:

— Вам после таких концертов не чудится запаха серы (ну, то есть присутствия черта)?

Он отвечает:

— Да, совершенно отчетливо чую. Но я ничего тут не могу поделать.

И говорит:

— Василий Витальевич! Вырвите меня отсюда. Вырвите меня отсюда, хоть как-нибудь!

Ну да это все очень долго рассказывать. Я его оттуда все-таки в конце концов вырвал.

Но Максимыч-то оказался неисправим. Встретился я с ним несколько лет спустя в Париже. К Гюржиеву он, конечно, уже не вернулся. Но зато присоединился к другому магическому кружку,

который вел как раз беспощадную совершенно борьбу — астральную, разумеется, борьбу — с кружком Гюржиева. Возглавляла этот враждебный Гюржиеву кружок Анжелина Васильевна, чрезвычайной силы ясновидящая. Она многое сделала чудесного...

Я ведь и где мой сын, через нее узнал. Но это, господа, очень уж долгая история... А вы хоть, я считаю, и наиболее к таким вещам подготовлены, но, если я вам об Анжелине что знаю расскажу, вы мне, господа, — даже вы мне не поверите...

Это надо пережить самому.. Надо пережить самому..

Голицыно, 5 декабря 1968 года

Происшествие в Галиции

...Хочу продиктовать происшествие, которое так и не получило разъяснения ... как бы мистическое... если вам интересно...

Это было во время первой мировой войны. Мы, то есть передовой перевязочно-питательный отряд, пришли в городок Санок... где-то в Галиции... Оставив отряд на площади, я пошел разыскивать место для ночлега. Высмотрел подходящий домик, но на стене его углом было написано «Холера!». В Санке уже был какой-то наш Красный Крест. Я пошел, спросил, как относиться к надписи «Холера». Мне ответили, что это пустяки, холеры нет. Мы заняли дом и тогда убедились, что надпись «Холера» все же сделала свое дело, так как внутренность этой квартиры была совершенно целая, как будто бы хозяйева вчера только ее покинули.

Там было несколько комнат, и поэтому одна из них была предоставлена мне одному. В этой комнате была оттоманка, покрытая бархатом, большой круглый стол, на нем газеты, журналы и великолепная книга... Она называлась «Крулева Ядвига» и была превосходно иллюстрирована. Затем был рояль, на котором я сыграл «Вечернюю звезду» из оперы «Тангейзер». В стеклянном шкафу стояли тома золотом обрезанных книг... все больше юридические... по-видимому, тут жил практикующий адвокат... И были еще часы... стоячие часы... примерно ростом полтора метра... Часы не шли, стрелки показывали «4».

* * *

Поужинав, легли спать. Я один на своей бархатной кушетке.

Я проснулся от какого-то неприятного звука. Это храпели часы... и затем ударили четыре. Было темно и страшно. Но вдруг я ус-

покоился. Почему? Я почувствовал у себя на левом плече нечто теплое и мягкое. Оно тихонько мурлыкало. Я подумал, что это — кошечка этого дома, которая обрадовалась человеку. Я ей тоже обрадовался и заснул.

* * *

Утром я спросил моих медицинских студентов, ночевавших в других комнатах, слышали ли они что-нибудь ночью... например, бой часов...

— Нет, ничего не слышали. Это вам приснилось.

— Может быть...

И мы уехали...

Но через неделю примерно по каким-то делам я вернулся в Санок... один, только с шофером. Конечно, поехали в хорошо знакомый домик.

Увы! Полный разгром... С круглого стола сброшены все книги и журналы, разорванные на части... Выбиты стекла в шкафах, и золотом обрезанные книги — на полу, изорванные, очевидно, на папироски... Бархатное одеяло с кушетки унесено, торчал обезображенный матрас. Хуже всего был рояль. По-видимому, по клавишам бегали в сапогах... Струны — частью лопнули, остальные были расстроены...

Все же мы с шофером — мальчишкой по имени Горбач — не пошли искать другой квартиры. Заночевали. Я лег на обезображенной оттоманке, положив на нее свой спальный мешок. В эту ночь луна светила в комнату... Я заснул. Я проснулся от того, что часы... которые единственные уцелели во всеобщем разгроме... захрипели и ударили четыре раза. В это же мгновение я ощутил на левом плече что-то теплое и нежное... Оно мурлыкало...

При свете месяца я увидел белую кошечку с голубыми глазами. Я сейчас же успокоился и заснул.

Утром спросил Горбача, слышал ли он, как били часы.

— Нет. Ничего не слышал.

Сделав свои дела, я уехал.

Но через неделю вернулся... опять вдвоем с Горбачом... Вошли в дом, но тут нашли новое «превращение» в стиле Овидия. Тут сейчас расположился штаб русской дивизии. Познакомились... Тут все были киевляне, которые обо мне, конечно, знали. Предложили мне ночевать... Но сказали, что ужасно мало места.

— Если у вас есть спальный мешок, то вот тут ложитесь... вот здесь... в этом коридорчике... Мы тут застали полнейший разгром. Сохранились только вот эти часы... Около них и ложитесь.

Я так и сделал. И непонятное повторилось в третий раз. Часы захрипели и ударили четыре раза. Кошечка появилась. Было темно, но я почувствовал ее на своем левом плече... Она мурлыкала...

Я уже не спрашивал, слышал ли кто-нибудь что-нибудь... потому что боялся, что меня сочтут за сумасшедшего... И уехал...

Больше я уже сюда не приезжал. От всего этого инцидента осталась только роскошная книга о «Крулеве Ядвиге». Ее мои студенты украли еще в первый наш приезд и, торжествуя, преподнесли мне в подарок, сказав:

— *Res nullia primo occupanti cedit.* (Вещь, никому не принадлежащая, принадлежит тому, кто первый ею завладел.)

* * *

Все это так никогда и не объяснилось. В конце концов, я думаю, что это был только сон.

«Да, только сон, причудливый и странный...»

Впрочем, кто была та душа, которая посетила меня три раза в виде кошечки, я догадывался...

Одно из его имен было... Хаджи... Вам это ничего не говорит... А мне говорит слишком много...

Лена

(Сон и явь)

Мой младший брат, Дмитрий Дмитриевич Пихно, стал женихом Маруси Меркуловой, чья мать была урожденная княжна Урусова, а бабушка — княжна Кекушева. Обе эти фамилии из татарской знати. Варвара Валерьевна вместе со своими детьми жила на даче. Брат пригласил меня познакомиться с этой семьей. Я приехал.

Семья была довольно оригинальная. Варвара Валерьевна, совершенно беспомощная, но хорошо воспитанная, и дети, совершенно невоспитанные и ее не слушавшие... Она, постоянно воздевая руки к небу, говорила по-французски «*Mon dieux!*» («Мой Бог!»).

Я вошел, поздоровался с нею. Брат привел Марусю. Она подала мне руку и убежала. Затем появилась Лена, младшая. Вошла, подошла ко мне, посмотрела нахально в глаза, руки не подала и убежала. Варвара Валерьевна беспомощно сказала мне: «*Mon dieux! Mon dieux! Vous voyez ...*» («Мой Бог! Мой Бог! Видете...»)

Я провел несколько часов у них, затем нужно было идти на станцию, довольно далеко через лес. Брат пошел меня провожать,

Маруся соизволила идти с нами. Откуда-то выскочила Лена и, не говоря ни слова, пошла с нами.

Итак, мы пошли вчетвером. Когда мы прошли лес, стемнело. Мы подошли к железнодорожной насыпи, и, когда взобрались на рельсы, побежал какой-то свет: это шел поезд. Пришлось поспешно уходить с насыпи, что удалось, но при этом Лена упала и повредила себе ногу. Я взял ее под руку и повел, она слегка прихрамывала. Мы пришли на станцию. Я сел в поезд и уехал в Киев.

Вот весь мой тогдашний контакт с Леной. Но в эту же ночь мне приснился сон, будто бы я иду вроде как бы в какой-то пустыне. Луна за тучами, видно, но свет без теней. Я иду совершенно один и не знаю, зачем я иду. Вдруг я вижу вдалеке какие-то огни. Я пошел на них. И через некоторое время услышал какую-то диковатую музыку, вроде как бы восточную...

Когда я стал приближаться к огням, музыка стихла. Одновременно я увидел одноэтажное длинное здание, как будто бы какой-то барак, где окон не было, но по узким концам горели фонари. Подошел к одному из узких концов, вошел. Передо мной оказался длинный коридор, вроде пульмановских вагонов, достаточно освещенный. Я увидел длинный ряд каких-то отделений вроде купе. В них не было дверей, а входы закрывались коврами. В коридоре никого не было, спросить некого. Но я уже твердо знал, что ищу Лену. Я приподнял ковер первого отделения. И увидел низкое ложе, а на нем женщину в восточном наряде... нечто вроде одалиски... Она стояла на коленях на этом ложе, разукрашенная бусами... Я понял. Это был восточный публичный дом, хотя никакой «публики» не было. Я опустил ковер первого отделения и поднял ковер второго отделения. Там было то же самое: одалиска, которая уставилась на меня своими красивыми восточными глазами. Но это не была Лена, а я знал точно, что ищу Лену.. Опять опустил ковер второго отделения, поднял ковер третьего отделения. И так дошел до конца. Все было одно и то же, и Лены не было.

Я открыл последнее отделение. Я увидел последнюю одалиску. Но она закричала раздирающим голосом:

— Вася! — и обвила руками мою шею.

Голые руки у нее были загорелые, как у цыганки, и на них золотые браслеты.

...И все исчезло, то есть я проснулся. Проснулся, подивился этому сну. Ведь несколько часов тому назад я видел и даже вел под руку четырнадцатилетнюю девочку, правда, дерзкую, но одетую, ни в коем случае не одалиску. Подивился — и заснул. Однако твердо запомнил этот яркий сон.

Это было, то есть снилось мне, в нашем киевском особнячке, в моей комнате...

Когда же это могло быть? Я уже, кажется, кончил университет, брат младше меня на пять лет, ему было девятнадцать. Девятнадцать лет ему когда было — когда мне было сколько? — двадцать четыре. Тысяча девятьсот второй год!

В тысяча девятьсот втором году, скажем.

Нет, это не было в девятьсот втором, в девятьсот втором я уже отбывал воинскую повинность. Значит, в тысяча девятьсот первом...

Прошло много лет. Примерно девятнадцать... Значит, был тысяча девятьсот двадцатый год, лето. Я был в Севастополе. Тогда в Севастополе была большая жилищная теснота, и мне дали место на корабле «Рион», двенадцать тысяч тонн... Он стоял в одной из бухт Севастополя на якорях. Чтобы попасть на него, надо было вызвать плот. Поэтому я подходил обыкновенно ночью и кричал в темноту:

— На «Рионе»!

Отвечали:

— Есть на «Рионе!»

— Подайте плот!

Ответ:

— Есть подать плот!

И начинала дребезжать цепь и плескать вода. Затем Рион... то есть плот... отправлялся обратно, к трапу на корабле. Я кричал с плота:

— Мичман Шульгин.

Ответ:

— Выходите!

Я подымался по трапу, дежурный офицер разрешал мне отыскивать свою кабину. Я шел через деки и всякие спардеки и по лесенке опускался в полный мрак и затем, считая ступеньки, попадал в свой коридор. Там, считая ручки кабин, в полной темноте находил свою кабину. На столике находил свечу, вставленную в бутылку, зажигал ее и при свете убеждался, что крысы съели мой хлеб начисто. Потом ложился на койку, где когда-то был бархат, а теперь грязный матрац. Тушил свет и засыпал, не обращая внимания на то, что крысы бегают по мне.

А они...

Но спал я все-таки чутко. И проснулся оттого, что услышал: кто-то трогает ручки дверей. Этот «кто-то» приближается, и я слышу женский голос. Она неуклонно подходит ближе, трогая дверные ручки, и я слышу, как она говорит:

— Василий Витальевич Шульгин?

Тут я вскочил и зажег свечу. И стоял на коленях на моем ложе. Дверь раскрылась, и вдруг женщина бросилась мне на шею с криком:

— Вася! — и охватила мою шею голыми коричневыми руками. И на этой темной коже блеснули золотые браслеты. Это была Лена.

* * *

Она рыдала:

— Я приехала... из Одессы... мне сказали, что вы тут...

Я спросил ее:

— А Филя?

А кто такой Филя? Ее муж, а мой племянник.

Она зарыдала сильнее:

— Схватили... сидит...

Утешая ее, я сказал ей следующее:

— Я упросил Врангеля телеграфировать по беспроволочному телеграфу в Одессу — с предложением: «В Севастополе сидит видный большевик. Предлагаем мену на Могилевского». Телеграмма была получена, так как дали так называемую «расписку»... Но не ответили. Поэтому я собираюсь с Тендры (с острова Тендра, куда я поплыву через несколько дней) попытаться вернуться в Одессу, собрать человек двадцать, напасть на ЧК и освободить Филю.

План, конечно, был фантастический, но она успокоилась. Рыдала еще, но наконец заснула у меня в объятиях, прижавшись, как к единственному существу, который подал ей какую-то надежду.

Утром она проснулась и ушла, как пришла.

Я действительно попал на Тендру и пытался пробраться в Одессу. Но попал в яростный норд-ост, который швырнул меня на румынский берег. И с этого началось мое принудительное эмигрантство...

С Леной я увиделся снова уже в 1926 году, в Польше. Она приняла католичество и вышла замуж за поляка, который был ее давнишним поклонником...

Мой племянник Филипп погиб...

Наши севастопольские идиоты перед эвакуацией Севастополя расстреляли большевика, которого я предполагал поменять на Филиппа...

(Они должны были его вывезти... И расстреляли моего племянника...)

* * *

Вся эта трагическая история — это фон для моей мысли. Я хотел рассказать, как сон, который я видел в Киеве и запомнил, сбылся через девятнадцать лет...

Это, несомненно, сбывшийся сон, его нельзя не узнать. Однако обстановка как будто совершенно другая.

Во сне — длинный коридор публичного дома, где я ищу Лену. наяву — длинный коридор корабля, где Лена ищет меня.

Однако раздирающий крик: «Вася!» в публичном доме — такой же, как в трюме корабля «Рион»... И голые загорелые руки с золотыми браслетами те же в публичном доме... те же, что в каюте корабля «Рион»...

Вот и все.

Вывод: сон о публичном доме является вещим, ибо он сбылся в трюме корабля «Рион».

28 августа 1971 года

Р. S. Лена стала кокаинисткой. Она вышла замуж за поляка, который был другом когда-то моего Филиппа и ее поклонником...

Ф. М. (из книги «1920») — Филипп Могилевский, талантливый скульптор, но не кончил академию... Он и брат мой женились на двух сестрах из этой совершенно выродившейся семьи... Они были очень красивые, но такие...

(Выродившиеся?..)

ПРИЛОЖЕНИЯ

І. Опыт Столыпина

Что характерно для Государственной Думы третьего созыва? Вот что: большинство, занимавшее центральное положение, принуждено было бороться с левыми и правыми.

Бороться за что?

За мирную Эволюцию.

— Вперед, на легком тормозе, — говорил Петр Аркадьевич Столыпин.

Этот лозунг не подходил ни левым, ни правым.

* * *

Сначала о левых.

Почему они не хотели мирной Эволюции?

Потому, что хотели Революции, причем в этом смысле не признавали никаких тормозов.

Наоборот, они хотели все разрушить немедленно. Огнем и мечом! Под мечом разумелись вооруженные восстания, огонь же понимался буквально. Они стали жечь помещичьи усадьбы, немногочисленные культурные центры в России. Каков характер был этих поджогов, явствует из того, что графиня Софья Андреевна Толстая наняла диких осетин, чтобы охранять Ясную Поляну. Говорят, она ограничилась одним осетином. И что же, он охранил дом, где писался роман «Война и мир»? Охранил. Как же это могло случиться? А как случилось, что другой полуосетин властвовал над целой Россией? Имя ему Джугашвили, иначе Иосиф Виссарионович Сталин.

Профессор Герценштейн, себе на беду, с кафедры Государственной Думы назвал эти роковые поджоги «иллюминациями». За это слово его убили. Кто? Это осталось неизвестным, но можно предположить, что убийцей был один из пострадавших от иллюминации, некий неведомый Дубровский.

*...Итак, все кончено. Судьбой неумолимой
Я осужден быть сиротой.
Еще вчера имел я хлеб и кров родимый,
А завтра встречу с нищетой.
Покинув вас, священные могилы,
Мой дом и память детских лет,
Пойду, бездомный и унылый,
Путем лишения и бед.*

Это — «Дубровский», опера Направника.

Когда эта опера шла в Императорских театрах, слушатели дружно рукоплескали Собинову, исполнявшему вышеприведенную арию. И никто не подумал тогда о том, что стало ясно через несколько лет, а именно: часть бывших в театре состояла из жертв грядущих иллюминаций; другая часть — из тех, кто оным иллюминациям, когда они совершились, рукоплескали.

* * *

Итак, они, революционеры, не признавали никаких тормозов. Мало того, они совершали подвиги самопожертвования, продиктованные фанатизмом.

Четверо молодых людей, переодевшись в форму одного из гвардейских полков, явились на прием к Столыпину. Охрана далась в обман. Мнимые гвардейцы пронесли в своих касках бомбы, и дом взлетел в воздух. При этом, надо думать, погибли и четверо террористов вместе с другими людьми, находившимися в доме, числом в сорок.

Дочь Столыпина была тяжело ранена. Когда девочка пришла в себя после глубокого обморока, она спросила:

— Что это? Сон?

Да, для нее это был сон, и сон счастливый: ее отец, пощаженный на этот раз судьбой, вышел из-под развалин невредимым. Он еще не совершил ему предназначенного, и ангел жизни закрыл его от ангела смерти.

Но в высоком человеке, вышедшем из дымившегося хаоса, как некое белое привидение, сначала не узнали, кто он. С головы до ног он был покрыт неким саваном, как воскресший Лазарь. Но этот плащ, что его покрыл, был не саван, а густой слой известковой пыли.

Ему подали умыться, причем воду принесли прямо из Невы; на берегу ее, на Аптекарском острове, стоял погибший дом. И тут произошло нечто символическое. Сбежавшаяся толпа кричала:

— Врача, врача!

— Я — врач! — отозвался один господин, проезжавший на извозчике.

Поспешив к белому привидению, врач приказал:

— Прежде всего умойтесь!

И когда высокий человек смыл белую пыль с лица, врач подал ему полотенце. И тут они узнали друг друга. Врач понял, что перед ним — глава правительства, а Столыпин разглядел, что врач — доктор Дубровин, председатель «Союза русского народа».

Эволюции не хотели ни слева ни справа. Дубровин был противником Столыпина справа. Левые ответили на Эволюцию бомбами и восстаниями, а правые — ядовитыми стрелами, направленными против лозунга:

— Вперед, на легком тормозе!

Им бы хотелось его подменить формулой:

— Назад, без всяких тормозов!

Этим объясняются слова Столыпина, сказанные Дубровину, когда прогрессивно настроенный премьер узнал главу реакционеров. Вот эти слова:

— А все же им не удастся сорвать реформы!

Это утверждение, надо думать, произнесено было полным голосом, покрывшим рев пожара. Его услышали, и оно побежало по столице.

* * *

Столыпин уцелел, но революционеры продолжали свою деятельность. По счету Пуришкевича, за годы первой революции они убили и искалечили двадцать тысяч человек. На террор снизу Столыпин ответил террором сверху. Тут счет скромнее. Сами революционеры утверждали, что по приговорам военно-полевых судов было расстреляно две с половиной тысячи бомбометателей и иных насильников.

Печальные цифры... Но все относительно. Если сравнить с разгулом смертной казни со времени учреждения ЧК, то дореволюционные цифры покажутся детскими упражнениями недоучившихся палачей.

* * *

Ф. И. Родичев, кадет, взобравшись однажды на кафедру Государственной Думы в несколько возбужденном состоянии, произнес:

— Некогда при Муравьеве, расправлявшемся с польскими повстанцами, говорили «муравьевский воротник». В наши времена надо выражаться «столыпинский галстух».

Оскорбленный премьер вызвал депутата на дуэль. Родичев извинился, и тем дело кончилось.

Конечно, Федор Измайлович не испугался дуэли. Он был мужественным человеком. Я думаю, что ему просто стало стыдно, но не в этом дело.

Спокойный наблюдатель течения времен и событий мог бы теперь сказать примерно нижеследующее:

— Галстух необходимо носить. Галстух есть символ европейского платья. Европа, конечно, далеко не безгрешна, но все же она ведет себя в некоторых случаях много приличнее Азии. Замечено, что когда премьер снимает галстух, он становится... Сталиным, который, как известно, галстука не носил. Другими словами, власти без галстука неизмеримо жесточе. Когда советские правители вновь обрели галстух, они вернулись примерно к столыпинским цифрам. Если посчитать число расстрелянных во время восстания в Венгрии, «беспорядков» в Польше, Чехии, в Восточной Германии, а также во время усмирений, о которых не принято говорить, то число приговоренных министрами, вновь носившими галстух, приблизится, мне кажется, к муравьевскому «воротнику» и столыпинскому «галстуху».

* * *

Столыпин погиб, как говорили, на десятом атентате.

Кроме покушения на Аптекарском острове я могу рассказать о происшествии на Петербургском аэродроме.

В это время авиация переживала еще детские болезни. Летать было небезопасно, летчики считались смелыми людьми. Столыпин приехал на аэродром проверить успехи авиации. К нему тотчас же подошел молодой офицер.

— Ваше высокопревосходительство, не угодно ли вам прокатиться на моем аппарате?

Столыпин не успел ответить, его отозвали в сторону по «безотлагательному делу».

— Ваше высокопревосходительство, ни в коем случае не соглашайтесь. У нас есть определенные сведения об этом офицере. Вам грозит великая опасность.

Выслушав предупреждение, Столыпин вернулся к ожидавшему его офицеру. Пристально и долго посмотрел ему в глаза и сказал:

— Летим...

Они полетели, вдвоем. Тысячи глаз с тревогой следили за этим полетом. Но аппарат, сделав несколько кругов, благополучно спустился на аэродром.

Все сошло хорошо. Но через три дня офицер, прокативший Столыпина, снова летая над аэродромом, без всякой причины выбросился из аппарата. Его хоронили с красными лентами и с пением:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Потому что он был тайным революционером. Ему было поручено убить Столыпина, у него не хватило на это духа. Но под градом упреков со стороны своих товарищей-террористов он покончил с собой.

* * *

К чему же стремились все эти люди, убивавшие и умиравшие?

К Революции. Их средством был террор. Они хотели запугать власть. Они были убеждены, что дрогнувшую власть они свергнут. Так и случилось. Родзянко сказал в первый день Февральской революции:

— Наши министры разбежались так, что с собаками их не сыщешь!

Но пока был жив Столыпин, власть не дрожала.

* * *

Человек этот был воистину бесстрашен. В Саратове он был губернатором, и произошли народные волнения. Ему доложили, что на какой-то площади собралась кому-то угрожающая толпа. Он поехал туда, и без всякой охраны. Подъехав, вышел из экипажа к бунтующему сборищу. От плотной массы толпы отделилось несколько человек. Впереди шел здоровенный парень с дубиной в руках. Увидев его и поняв его намерения, Столыпин повернул прямо на него. И прочел в глазах парня, что он ударит. Но губернатор предупредил его. Он не ударил, но сделал лучше. Он скинул с себя мешавшую ему меховую шинель и бросил ее парню:

— Подержи!

Парень обалдел. Он хотел ударить губернатора дубиной, а тот приказал ему присмотреть за шинелью. Приказал, как другу, как слуге, которому доверяют. И парень, бросив дубину, занялся шинелью.

А Столыпин обратился к взбунтовавшемуся народу со словами увещания. И народ его послушался. Как и тот парень. Почему? Потому, что будущий властитель излучал духовную силу, правителям необходимую. Главная особенность этой особой силы — бесстрашие.

* * *

Во второй Государственной Думе Столыпин изложил перед депутатами обширную программу, главнейшие свои реформы. В ответ на это посыпались угрозы. Угрозы вооруженным восстанием. Выслушав их, во второй раз пошел на кафедру; он шел, как тогда в Саратове на того парня. Но бросил Государственной Думе, поднявшей на него дубину восстания, не меховую шинель, а два слова. Только два слова, но они были тяжелее свинца и тверже стали. Два слова:

— Не запугаете...

Эти два слова пронеслись вихрем по России. Их поняли все: и друзья, и враги.

На помощь шатающемуся трону пришел Диктатор. Столыпин был предшественником Муссолини. И тот и другой подняли над собой лозунг:

— Мирная Эволюция.

* * *

Но на пути Эволюции оказалась Революция. Чтобы Эволюция была возможной, надо было от этого слова — Революция — оторвать первую букву, роковую букву «р». Без этой буквы революция превращается в эволюцию.

* * *

Что же стояло под этим зловещим знаком «р»?

Рабство. Рабство многоликое. Прежде всего рабство мысли и слова.

Незыблемой доктриной в области философии, морали, религии, в науке со всеми ее подразделениями, особенно в вопросах социальных и политических, в спорных взглядах на историю человечества и народов, в искусстве, в литературе — словом, во всем, чем жив мыслящий человек, объявлено было всеобъемлющее и непогрешимое учение Карла Маркса. Всякое отступление от этого учения стало считаться преступлением и каралось с жестокостью религиозных фанатиков.

* * *

В 1905 году, то есть в эпоху первой революции, мало кто понимал ее сущность. Русская общественность в слепоте своей считала царскую власть врагом свободы, и потому движение, направленное

против самодержавия, называла освободительным. И даже когда Государственной Думе было предоставлено говорить что угодно, а печать, воспроизводя речи депутатов и комментируя их, тоже была свободна высказывать свои взгляды, и тогда близорукие политики не поняли, что Царь уже дал свободу, но Революция ее, свободу, начисто отнимет. Только при Сталине началось просветление затемненных умов, по поговорке:

— Русский человек задним умом крепок.

* * *

Рабство мысли и слова, естественно, вызвало рабство политическое.

Революция объявила диктатуру пролетариата. Диктатура в том смысле, какое придавали этому слову его создатели, римляне, обозначала добровольное подчинение Сената одному лицу. Подчинение вызывалось особыми причинами, например, войной, и с окончанием особого положения прекращалось. Диктатура, уже ставшая ненужной, упразднялась. Сенат снова начинал править, как и прежде.

Другой была судьба русской диктатуры, первоначально названной диктатурой пролетариата. Она никогда не была упразднена. Диктатура пролетариата перешла в личную диктатуру.

Хотя все стали пролетариями, то есть все получали зарплату, но они, пролетарии, были отстранены от власти. Вся власть, целиком, перешла в руки Сталина. Последний не пользовался своим Единодержавием для насаждения свободы, что бывало во времена так называемого просвещенного абсолютизма. Наоборот, путем жестокого террора Сталин добился режима, при котором самое слово «гражданин» стало пустым звуком. Сталин правил двумястами миллионами рабов.

После Сталина стали подниматься ростки свободы. Эту эпоху называют диктатурой партии. Над кем же диктаторствует партия? Над беспартийными. Кто же беспартийные? Рабы?

Нет, полу-рабы, четверть-рабы, почти свободные. Но совсем свободные — в тюрьме.

Например, я. Я лицо «без гражданства». Значит, я раб? Нет, я рабом себя не чувствую. Не чувствую потому, что мыслю свободно, не по чужой указке. Но если я захочу своими мыслями поделиться с другими людьми, например, написать книгу, то я должен излагать свои мысли так, чтобы партия могла поставить на них штампель «дозволено цензурой». А этот штампель получается только тогда, если я хвалю партию.

Но так как, по моему мнению, во второй половине XX века партия многое делает правильно, то я ее хвалю. Но если я нахо-

жу, что в том или другом деле партия делает плохо, то мне говорят:

— Это держите про себя. Вслух высказывать осуждение партии нельзя.

Я говорю:

— Но я не хочу вас свергать. Если вас свергнуть, будет еще хуже.

А мне отвечают:

— Если дать свободу вам и таким, как вы, осуждать партию, то вы ее свергнете, как свергли царскую Россию.

* * *

Что на это скажешь? Я не раб, я мыслю свободно. Но я становлюсь рабом, когда хочу что-нибудь сказать вслух. Поэтому надо молчать. Молчать не потому, что меня посадят в тюрьму, — эту даму я знаю. Она терпкая, но совсем свободные люди — там, в заключении.

Я должен молчать потому, что я раб своих собственных убеждений.

Я думаю, что самая плохая власть лучше анархии. Все уничтожающая анархия воцарится во всем мире, если в Советской России начнется гражданская война, и это потому, что будет применено обеими сторонами термоядерное оружие.

Я раб пришедшего в мир атома. Его разложили, но пока что держат в бутылке, как страшнейшего джинна. Если его выпустят, настанет конец мира.

Я не хочу всеобщей гибели. Поэтому я должен беречь всех «стражей бутылки». Как в России, так и вне ее. И пуще всего заботиться, чтобы «стражи бутылки» не перессорились между собой. Если они поссорятся, джинн вырвется из бутылки и будет конец.

* * *

Значит, надо молчать?

И да, и нет.

Быть может, надо прекратить работать над «Воспоминаниями». Я уже написал больше чем двадцать печатных листов, предоставленных мне по договору с издательством «Советская Россия». И наконец убедился в том, что воспоминания неизбежно приводят к сравнениям с нынешней жизнью. Прошлое освещается Настоящим. Выходит, что воспоминания в чистом виде как бы нечисты, лживы.

Правда ведь о настоящем убийственна. А я не хочу убивать «стражей бутылки».

Поэтому «Воспоминания» надо писать, но не для печати.
А для кого же?
Для «стражей бутылки».
Им надо знать прошлое, ибо они ответственны за будущее.

* * *

Итак, я продолжаю о роковой букве «р». О рабстве мысли и слова и о рабстве политическом я уже сказал.

Теперь я хочу говорить о рабстве нищеты.

Но прежде всего надо сказать, что существует, конечно, и свобода нищеты. Это — нищета аскетов, освободившихся от всяких потребностей. Обыкновенный человек — раб житейских забот. Ему нужна вкусная и обильная пища, хорошая одежда, удобное жилище. Для того чтобы все это получить, человек должен тяжело трудиться. Он раб труда. Ежедневного, неумолимого.

Не то — аскет. О нем сказано: взгляните на птиц небесных. Не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Но Господь питает их.

Ту же мысль высказал Пушкин:

*Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает долговечного гнезда.
Целу ночь на ветке дремлет, солнце красное взойдет,
Птичка гласу Бога внемлет,
Встрепенется и поет.*

Блаженство бедности было, есть и будет. Но оно существует для ограниченного числа людей. Христос призывал апостолов к беззаботному аскетизму. Он говорил:

— Прежде всего ищите Царства Небесного. Остальное приложится вам.

«Остальное» — это кров, пища, одежда. Аскеты получали и получают ее даже в Советском государстве — либо в тюрьме, либо в домах инвалидов.

Но вместе с тем Христос всегда подчеркивал, что много званых, но мало избранных. Это значит, что христианское учение доступно только меньшинству людей. Большинство же человечества до конца мира сего будет жить под Моисеевым законом, данным людям по «жестокосердию их».

Моисеев закон требует труда, видя в нем естественное назначение человека. Библия освящает рабство труда.

— В поте лица своего будешь ты добывать хлеб свой, трудясь над землей, а она родит тебе волчцы и тернии.

Так сказал Господь Адаму, изгнав его из Рая.

Моисеев закон утверждает и рабство труда в заповедях.

— Шесть дней работай. Седьмой же Господу Богу твоему.

Карл Маркс в этом смысле последовал за Моисеем, забыв только о... Боге.

— Шесть дней работай, а седьмой посвящай общественной нагрузке.

Если это не сказано буквально у Карла Маркса, то это неуклонно проводится марксистами.

Но что такое общественная нагрузка? Это опять труд, иногда более тяжелый, чем работа будних дней.

Значит, опять у свободы отнят седьмой день. Все дни своей жизни человек должен быть рабом труда, если он живет по системе нынешних коммунистов.

* * *

Вот к какому блаженству звала Революция. Естественно, что те, которые это поняли, восстали против рабства труда.

Достаток — вот свобода, кованная свобода!

* * *

Перейдем к вопросу, как накапливается достаток. Благодетельный достаток, дарующий свободу от труда. Как он приходит к людям?

Косным, тупым трудом достатка не накопишь. Достаток добывается путем размышления, изобретательности, вдохновения.

Когда была изобретена паровая машина, клапан, выпускающий пар, открывался вручную.

Тупые рабочие, истинные рабы труда, сидели часами и целыми днями около машины и дергали клапан.

Но один одаренный мальчишка возмутился духом. Возмутился против рабства труда, бездушного, убивающего. И возмущившийся дух сверг диктатуру рабского труда. Мальчик заметил, что оконечность поршня при своем движении может открывать клапан, если соединить ее с последним. Он привязал веревку куда надо и с тех пор сидел у ручки и мечтал о том, о чем мечтают мальчишки. Он был свободен! Свободен от бессмысленного труда. Но за другими такими же машинами продолжали сидеть косные рабочие и дергать клапан. Рабы труда! Однако они были рабами только потому, что были в плену своей умственной лени. А такие же, как они, косные хозяева машины хвалили их за прилежание и даже называли их труд святым.

Труд, когда он принудителен, никогда не бывает святым. Свят только труд добровольный. Хочу тружусь, хочу нет. Цыганка права:

захочу — полюблю, не захочу — разлюблю, я над сердцем вольна, жизнь на радость нам дана.

Цыганская свобода — идеал, но она недостижима. Однако стремление к ней конструктивно. Достаток не дает полной свободы, но дает свободу относительную.

Пусть человек работает принудительно три дня в неделю, а четыре дня отдает свободе. Как же это сделать?

Надо размышлять. Размышлять над тем клочком материи, которая отдана в распоряжение человека.

Для этого-то и создана собственность. Легче всего человеческая мысль работает над той вещью, которая находится вполне в его власти, над которой он диктатор.

Собственность есть диктатура над материей. Единоличная диктатура дает наилучшие результаты. Это доказано опытом.

Каким опытом?

* * *

Во-первых, опытом всего Запада.

— Дайте собственнику бесплодную скалу, и он превратит ее в цветущий сад.

Такова формула всемирно известного экономиста, вполне подтвержденная жизнью.

*Ты знаешь край, где померанец зреет,
Лимон в садах желтеет круглый год ...*

Этот благословенный край отличается каменистой почвой. Но собственник превратил камни в цветы и плоды.

Но не только камни и бедные пески Германии дают высокий урожай в руках собственника. А черноземы, попадая в руки ущемленной собственности, в тиски русской общины, давали жалкие сборы.

* * *

Русская община была вторым великим опытом в деле земледелия.

В 1861 году Царь, в полном согласии с дальновидными помещиками (Милютин и прочие), провел на путях мирной Эволюции грандиозную реформу: освобождение крестьян и наделение их землей. Этот переворот был сделан тремя волшебными словами:

— Быть по сему...

* * *

*Увижу ль, о друзья! народ освобожденный
И рабство, падшее по манию Царя...*

Да, именно «по манию», то есть по подписи Императора Александра II под манифестом 19 февраля.

Пушкин увидел бы это «русское чудо», если бы не погиб на дуэли. Увидел бы в возрасте шестидесяти двух лет, то есть мог бы оценить величие реформы. И мог бы осознать некоторые преимущества так называемого абсолютизма перед отстающей демократией.

Примерно в то время, когда в России можно было увидеть «рабство, падшее по манию Царя», в Америке шла кровопролитная гражданская война за освобождение негров. Победили северяне, они освободили негров ценой разорения Юга, но не дали им ни клочка земли. Голыми брали негров в рабство, голыми же их выпустили на свободу. Эта демократическая манера благодельствовать людям еще и сейчас дает себя знать.

Если бы сто лет тому назад чернокожим дали землю, то, может быть, в наше время негра называли бы «сеятель наш и кормитель», как помещик Некрасов называл русского мужика.

* * *

Но почему же тот же Некрасов декламировал, а русские студенты распевали, на мотив из итальянской оперы «Лукреция Борджиа», нижеследующее?

*Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель наш и кормитель,
Где бы русский мужик не стонал?*

Некрасов писал во времена крепостного права. Его поэзия была направлена против... рабства, падшего по манию Царя... Значит, когда это рабство пало и русский крестьянин, в противоположность неграм, был обильно наделен землей, он перестал страдать?

Это вопрос по существу, и на него надо ответить прямо и честно.

* * *

Нет, русский мужик не перестал страдать. Но отчего? От того, что

*Порвалась цепь великая.
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим по мужику.*

По барину — это еще понятно. У бар отняли половину земли. Многие не сумели приноровиться к новому положению. Стали беднеть. Беднея, начали продавать землю и уходить в город, где они делались чиновниками.

И продажа помещичьей земли пошла шибко. За пятьдесят лет бывшие баре продали мужикам кроме половины, что отошла при освобождении, еще и еще. В конце концов перед первой мировой войной крестьяне владели восьмьюдесятью процентами всей пахотной земли.

И, можно сказать, сходили на нет помещики в Святой Руси. Оно и понятно: всходила новая Русь, не Святая, — безбожная.

* * *

Но все же почему страдал мужик и после 1861 года, до самой мировой войны? Не всякий мужик страдал. Те, что купили землю, покупали ее именно потому, что они получали землю в единоличную собственность.

Дайте собственнику бесплодную скалу, и он превратит ее в цветущий сад.

Наши крестьяне покупали не камни, а землю. Они не только разводили сады, но и сеяли пшеницу.

*Братья сеяли пшеницу
И возили в град-столицу,
Знать, столица та была
Недалече от села.*

Мысли Ершова в сказке «Конек-Горбунок» обозначают, что подгородные крестьяне легче заимствовали науку о земледелии. И так как они были собственниками, то есть диктаторами над кусочком материи, им от Бога пожалованной, то они могли к своей земле приложить знания, ими полученные из столицы.

Да, из столицы.

* * *

В тюрьме я сидел, между прочим, с двумя крестьянами, которых немцы, разделявшие с нами заключение, называли «наши свя-

тые» за их набожность и христианские чувства. Один из них рассказал мне следующее.

— У меня было двадцать десятин (гектаров) земли. Значит, я был кулак, по-ихнему. Ну, пусть кулак. Я работал много, но, сказать по правде, получал мало. Не умел хозяйничать. Так было, пока ко мне не попала книжечка Столыпина. Может быть, не сам он ее написал, но так ее называли. Там было все рассказано, как надо хозяйничать. И когда я на своей земле завел такой порядок, как надо, то стал я прямо богатеем. Ну, конечно, когда началось то, что вы сами знаете, то у меня все отобрали и выгнали из села в лес. В лесу отвели мне четыре десятины. «Довольно с тебя, кулак!» И вправду, было мне довольно. Всё взяли у меня, всё, всё. Но книжечку Столыпина я унес с собой в лес. И вот прошло несколько годов, я опять все завел по Столыпину и опять был богат, ну, не богат, но достаточен. И опять мне стали завидовать, и опять всё отняли и выгнали, брат меня принял.

Что с ним было дальше, в данную минуту неважно, хотя это — потрясающая повесть. Здесь важно только то, как при Столыпине свет знания проникал в деревню. В это время действительно

*...Столица та была
Недалече от села.*

Столица удалилась от деревни, когда стала теоретизировать или морализировать по Карлу Марксу. Автор «Капитала», по-видимому, не угадал, в чем тайна земледелия.

* * *

Тайна земледелия проста. Она заключается в поговорке: у семи нянек дитя без глазу.

Земля любит одного хозяина. Почему? Потому, что искусство хлебороба примерно наполовину состоит из знаний. Другая половина отдана глазомеру, смекалке.

Конечно, аксиомы признаются всяким коллективом, но таких мало в земледелии. Очень многое спорно. При таком положении, чтобы при коллективном управлении до чего-нибудь договориться, приходится по каждому делу, важному или мелкому, бесконечно спорить. Открываются прения, обсуждают-рассуждают, пока состарится большинство, которое что-то постановит. Именно «что-то», потому что меньшинство все же останется при своем мнении и будет исполнять решенное, так сказать, бездушно, неохотно. Между тем земледелие требует многочисленных и незамедлительных решений. При коллективе выходит такая канитель, что у людей пропадает охота убеждать и спорить.

Образуется психология:

— А ну вас всех в болото!..

Болото, то есть квиетизм, нежелание своей душевной силы тратить на безнадежные споры, очень легко и образуется.

Тогда коллектив, если находится подходящий человек, преобразуется в личную диктатуру над землей, которая, однако, диктатору не принадлежит. Поэтому стоит этого калифа на час сменить, и все его начинания идут насмарку.

Совсем другое дело, когда человек диктаторствует над своей землей, то есть когда он ее, земли, собственник. В этом случае решения, столь необходимые для земледелия, принимаются легко и быстро и исполняются незамедлительно.

И даже в том случае, если решения ошибочны, никто не будет собственника корить за ошибки. Он ответствен только перед самим собой. Это очень способствует успеху дела: собственнику легче признать свои ошибки наедине с самим собой, и на них, ошибках, не настаивать.

Ему легче понять и то, если это так, что он вообще работать на земле не способен. Поняв это, он продаст свою землю, что очень хорошо. Покупщик, быть может, окажется более землеспособным. Удержится надолго земля в руках дельного хлебороба, и сие есть благо.

Земля не терпит тех, кто с нею плохо обращается. Она мстит дурным хозяевам: неподвижная по виду, она все же уходит от недобросовестных властителей.

* * *

Вернемся к реформе 1861 года. Землею тогда крестьян наделили. Но отдали ее не единоличным диктаторам, а вручили ее общине, то есть коллективным полудиктаторам. И это была великая ошибка.

Главная причина этого — заблуждение тогдашней интеллигенции.

Было два направления, давившие на правительство и Царя. Их можно назвать левыми и правыми, но лучше обозначать их социалистами и славянофилами. Эти два лагеря враждовали между собой почти по всем вопросам, но в проблеме земли они сошлись. За общину стояли социалисты, видя в ней какое-то приближение к своим теориям. Поэтому в насмешку противники общины стали называть ее «социализм высочайше утвержденного образца».

А славянофилы видели в общинном владении землей выражение некоей славянской самобытности. Эту самобытность они противопоставляли Европе неславянской.

Исторически это было неверно. Община была и в Европе, только в более ранние периоды. У славян же она просто запоздала, почему общину нельзя считать формой землевладения, свойственной исключительно славянам.

Кроме того, на правительство Александра II действовали еще и фискальные соображения, но это не столь важно.

* * *

Как бы там ни было, но земля в 1861 году была крестьянам передана в общинное владение, а не на праве личной собственности. И поэтому студенты с некоторым основанием продолжали распевать на итальянский мотив произведения русского помещика.

*Я такого угла не видал,
...Где бы русский мужик не страдал.*

Действительно, ведь всюду была община и сопряженное с нею страдание, то есть бедность.

Однако пение студентами стихов Некрасова имело все же только некоторое основание. Вся Западная и Южная Россия, то есть Малороссия и Белоруссия, не знали общины. Реформаторы 1861 года приняли это во внимание и не ввели общины в этих областях насильно.

К сожалению, коммунисты 1917 года не последовали этому благому примеру, они вводили колхозы, совершенно не считаясь с тем, что великоруссы, с одной стороны, малоруссы и белоруссы — с другой, по отношению к земле имеют разную психику.

* * *

А психика имеет значение. Великоруссы были до известной степени подготовлены к коллективному владению землей. Известна старая поговорка:

— Мы — ваши (то есть над нами барская воля), а земля — наша.

В этом слове «наша» ясно чувствуется коллективная собственность. Ведь община существовала задолго до освобождения крестьян.

Однако и эта подготовленность мало помогала общественникам после освобождения. Община была непреодолимой преградой для эволюции крестьянского земледелия. И главным забором в этом отношении были переделы.

Я буду говорить грубо, потому что миндальничанье здесь не к лицу.

Русская баба неумолимо рожала. А увеличение пахотной площади, несмотря на распашку земли и переселения в Сибирь, с той же неумолимостью не поспевало за приростом населения.

Исходя, по-видимому, из этой мысли, реформаторы 1861 года установили переделы земли через каждые двенадцать лет. Другими словами, община по истечении вышеуказанного срока отнимала землю у малосемейных в пользу многосемейных. Таким образом, земля после передела опять распределялась поровну, по признаку наличных ртов. Это был своеобразный налог на воздержанных в брачном смысле супругов и поощрение полового неистовства мужиков.

К этому явлению можно относиться по-разному. Статистики высчитали, что Россия за шестьдесят лет удваивает свое население. Государственные люди полагали, что в этом залог российской мощи.

— Пока русская баба не отказывается рожать, нам не страшны ни войны, ни голод, ни эпидемические болезни или другие массовые бедствия, — словом, «ни град, ни трус, ни нашествие иноплеменников». Всякую убыль населения пополнит, и притом с избытком, непобедимый инстинкт деторождения.

При этом, однако, забывалось, что этот мощный инстинкт деторождения свойствен бедности. Как только население достигает известного достатка, прирост его уменьшается или даже прекращается. Богатые страны, как Англия и Франция, давно уже не имеют прироста населения. Это наблюдение опрокидывает теорию Мальтуса, утверждавшего, что земному шару грозит перенаселение.

Однако эта теория оказала роковое влияние на немцев. Поверив Мальтусу, они испугались собственного прироста. Страх — плохой советчик: со страху немцы бросились на Россию. Главной причиной знаменитого «дранг нах Остен» (стремления на Восток) было соображение: немцы так быстро плодятся, что немецким детям не хватит земли. И вот они решились сделать грандиозный «передел» всего земного шара, на манер русских двенадцатилетних переделов общинной земли.

Эта мысль кругом нелепа. Немцы в период до первой мировой войны стали быстро богатеть. Если бы они продолжали тихо сидеть у себя, то подобно Англии и Франции Германия прекратила бы прирост населения, разбогатев как следует. Для чего же в этом случае им нужно было бы отнимать территорию у России путем кровавейшей войны?

Этот злосчастный Drang (территория) был причиной всех немецких бедствий. Но и сейчас, готовя атомное оружие, они собственными руками куют молот, который их самих расплющит на русской наковальне.

* * *

Вернемся к двенадцатилетним переделам. Итак, каждые двенадцать лет всех снова уравнивали. Если бы за эти двенадцать лет вся крестьянская земля прибавлялась бы в своем плодородии настолько, что хватало бы хлеба и на новые рты, то это было бы еще ничего. Людей больше, но все сыты.

Однако этого не было. Прибавляли хлеба, улучшая свою землю, только некоторые семьи, более трудолюбивые, трезвые и, как говорится, башковитые. Какую же награду эти передовые крестьяне получали за свое новаторство?

Вот какую. Завистники, пьяницы и тунеядцы отличались все же большой наблюдательностью. Они поняли, что хлеба больше у передовых мужиков потому, что за двенадцать лет они улучшили свою землю. И вот эта улучшенная земля, при переделах, в первую голову шла вразделку. Ее по кусочкам раздавали бедноте. А создателям этой богатой земли давали землю обыкновенную, неулучшенную.

— Начинай, передовик, сначала!

Но постаревший на двенадцать лет хлебоборб научался уму-разуму, и он становился в ряды «униженных и оскорбленных». Дальше так трудиться, как он трудился, он не хотел.

— А ну вас всех в болото!

И болото тупых, неспособных мыслить и изобретать засасывает деревню.

И вот приходит новый передел. Недоедание заставляло предаваться половому неистовству, бабы народили детей много, а хлеба стало еще меньше, чем прежде.

— Опускайся, кума, на дно!

Это явление было в свое время отмечено и получило наименование: «Оскудение центра».

* * *

Под центром разумелась Великая Россия, то есть как раз та территория, которая находилась в тисках общины. Малая и Белая Русь имели свои болячки, как-то: принудительное трехполье, сервитуты, но общины в этих областях не было, и оскудения не замечалось.

В 1903 году (проверить!) по инициативе С. Ю. Витте было создано около пятисот совещаний в столице, губерниях и уездах, что-

бы выяснить, отчего же происходит оскудение центра. Главной причиной эти совещания указали общину. Население растет, и потому требуется для его прокормления более интенсивное земледелие. При общинном землевладении этого достигнуть невозможно.

* * *

Вполне естественно, что Витте обратился за советом к людям земли. Он был математиком по образованию, железнодорожником по службе, финансистом по призванию, но земледелия он не знал. Однако сведения, добытые опросом населения, так повлияли на него, что он избрал правильную дорогу.

Затем последовала война с Японией, революция 1905 года, однако мысль об общине как о главном враге России не заглохла. Она обрабатывалась и рассматривалась в разных учреждениях, и наконец Столыпин высочайшим указом от 9 ноября 1905 года декретировал новый порядок в области землеустройства.

* * *

Очень многие в наше время не имеют понятия, в чем состояла реформа Столыпина. Поэтому необходимо в коротких словах изложить главные основания для этого великого перелома в земельной политике.

В 1861 году половина помещичьей пахотной земли была отдана крестьянам не в единоличную собственность, а в собственность крестьянских общин, уже давно существовавших. Но столь же давно существовала малороссийская поговорка: «Гуртова (то есть общая) земля — чертова земля...»

Народная мудрость в данном случае оправдалась, действительно, черт знает что вышло из великорусской земельной общины за пятьдесят лет без малого ее существования. И с этим решено было покончить.

Покончить было просто. Прислать землемеров на места и всю принадлежавшую общинам землю нарезать отдельными участками по числу дворов. Эти участки закрепить за главой семьи на праве единоличной собственности.

Это просто, но не «дюже». Земля редко бывает одинаковой по своему качеству. Поэтому если держаться уравнительности участков, то надо плохое качество земли компенсировать количеством. Теоретически и это легко. Но на деле этого рода уравнительность — великая канитель. Ее легче преодолеть, если сама община желает себя упразднить. Если нет, то нарезка участков будет сопровождаться саботажем, то есть всякими неприятностями.

Поэтому очень решительный Столыпин не решился осуществлять свою реформу, не заботясь о том, желает ли данная община перейти к единоличной собственности или нет. Только после того как община большинством голосов постановит выйти на отруба или хутора и акт об этом составлен, землеустроительные комиссии при помощи землемеров приступали к разверстке полей.

Я остановился на этом вот по какой причине. Может случиться когда-нибудь, что Советская власть, теснимая неудачами в земельной политике, будет принуждена поставить вопрос о ликвидации колхозов.

Нельзя зарекаться. Народная советская мудрость выдумала поговорку:

«Все может быть, все может стать, и ни за что нельзя ручаться...»

* * *

Бегство колхозников из колхозов, кажется, уже никем не оспаривается.

Разумеется, об этом размышляют те, кто некогда вводили колхозы. Их, правда, осталось очень немного, это ведь те, которых называют «самые старые члены партии». Более же молодые партийцы только расхлебывают кашу, заваренную их отцами и дедами. Для них времена введения колхозов

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.*

Я и мои единомышленники не вводили колхозов. Мы не дождемся их ликвидации, если она будет. Для меня будущая судьба колхозов должна быть безразлична. Однако она меня все же волнует, так как не всегда бывает то, что должно быть. Таковы мы, люди.

* * *

Если когда-нибудь придется с колхозами расстаться, то к этому перевороту надо приложить больше размышления, чем это имело место при их введении.

Мне кажется, прежде всего, что великий перелом не надо делать насильно. Однако его надо делать в то время, когда насилье еще возможно. Другими словами, только сильная власть может осуществить такую реформу сравнительно безболезненно. Не от слабости, а от силы надо принимать решения такого масштаба.

А сила будет в том случае, если Советская власть сама придет к твердому решению, что с колхозами плохо. Пока этого сознания нет, необходимо принимать всякие меры к улучшению жизни колхозников. К ликвидации колхозов нужно приступать, только дойдя до конца, то есть убедившись, что паллиативами спасти колхоз, как принцип, невозможно.

* * *

На пути, так сказать, «подпираания» падающего колхоза можно пробовать некоторые меры, которые пригодятся на оба случая: сохранения или ликвидации колхозов. Например, всемерное поощрение скотоводства и коневодства — как колхозного, так и собственного. Надо отказаться от всякого ограничения животноводства. Пусть всякий, кто может, держит скот и коней сколько ему угодно. Ведь навоз пойдет на удобрение земли, а значит, хлеба во всяком случае будет больше. В конце концов, что же важно? Зерно или теория?

Теория завела нас в тупик. На фронте земледелия мы не только не нагоняем так называемые буржуазные страны, а все дальше отстаем от них. Животные удобрения оказались настолько важным фактором, что сбрасывать их со счетов только потому, что человек, у которого будет десять коров, получит некий достаток, — неконструктивно.

Лишаться общенародного богатства из-за принципа уравнительности? Чтобы не было богатых, всем быть бедными? Имеет ли это смысл? Надо стремиться к другому: всем быть сытыми. Это последнее возможно, и иными буржуазными странами уже достигнуто. И это по простой причине: уравнительность в сытости достигается сравнительно легко. Ведь миллиардер не может же съесть больше рабочего, желудки у них одинаковой вместимости. Но режим, при котором не все сыты, должен быть осужден во всяком случае. Даже и в том случае, когда он строго проводит теории Карла Маркса. Всякая теория оправданна, поскольку она дает людям достаток. И Цари ушли после того, как три дня в Петербурге не было хлеба. А большевики удерживались и тогда, когда миллионы людей умирали с голоду. Свидетельствует ли это о достоинствах большевистских теорий? Нет, это свидетельствует только о жестокости большевистских правителей.

Ленин был добрее других. Поэтому он декретировал нэп, чтобы спасти живых людей вопреки мертвящим теориям.

* * *

Словом, всякое поощрение животноводства может почитаться одной из мер, «подпирающих» колхоз. Трактор пашет, сеет и соби-

рает в житницы, то есть в элеваторы, но он только истощает землю. Конь и вол истощаемую землю удобряют, то есть возвращают ей силу. Химические удобрения, видимо, пока что недостаточны. Искусственное орошение из воздуха при помощи самолетов пока только мечта. Заградительные полосы Сталина еще не выросли или просто недостаточны. Целина, как говорят, не выдержала экзамена. Когда тракторы обнажили вековечный растительный покров, ветры стали уносить тонкий слой чернозема. Значит, и там, на целине, недостаточны сталинские заборы. Удобрения нужны и на старом массиве пахотной земли, уже исчерпанной. Все меры против стихийных затруднений пригодятся и колхозам, и личным собственникам, если таковые народятся.

* * *

Есть еще одна мера, необходимая на оба случая. Необходима тесная дружба со странами хлебородящими. Выяснилось, что при настоящем состоянии колхозов какой-нибудь неурожаем нарушает равновесие хлебного баланса. Россия перестала быть автаркией, то есть страной, имеющей все необходимое в своих собственных пределах. Приходится иногда просить хлеба у других держав. При вражде с ними можно нарваться и на отказ со всеми последствиями сего. Эту истину надо бы вырубить на стенах зала, где происходят заседания Центрального Комитета партии:

— Мене, текель, фарес... (Взвешено, измерено, сосчитано...)

Если земля примет диктатуру над собой единоличных собственников, то опасных неурожаев, надо думать, не будет. Хлебные запасы могут быть так велики, что выдержат всякие стихийные испытания. Но если бы реформа в этом смысле началась сегодня, то ее благодетельные результаты сказались бы не раньше чем через десять лет.

В течение всего переходного периода, от колхозов к единоличникам, общенародные урожаи не только не пойдут вперед, а резко попятятся назад. Земельный порядок расстраивается быстро, но восстанавливается крайне медленно.

Сейчас не те времена, когда Ленин декретировал нэп. Тогда еще были и старые запасы, и старые навыки. Теперь нет ни тех, ни других.

Единоличник, неожиданно наделенный участком в несколько гектаров, просто растеряется и не будет знать, что с ним делать. Лошадей нет, тракторов, приспособленных к малым участкам, тоже нет. А если бы они и были? Нынешнего парня ходить за плугом не заставишь. Советские люди, кроме спортсменов, ходят плохо.

Конечно, мыслимо изобрести плуги, за которыми не ходят, а на которых ездят. Я видел, например, дисковые плуги, влекаемые па-

рой лошадей. Пахари сидели на них удобно, но они были хороши только для мелкой вспашки, не глубже трех вершков. Но, может быть, вращающиеся диски можно заменить режущими лемехами? Тогда возможна и глубокая вспашка.

Все же проблема трактора есть серьезный вопрос. Изобретение трактора, пригодного для мелких участков, идет в русле общего движения, то есть стремления заменить механической силой работу мускулов как человека, так и животных. Мотор необходим в мелком хозяйстве, и не только в полеводстве.

Он будет и качать воду из глубоких колодцев, и поднимать ее на вышки, нужные для орошения огородов и садов, а также для водопроводов в домах.

* * *

Таким образом, оставив в стороне идеологию, поскольку она имеет тенденцию обращаться в отживающий кумир, нельзя не видеть, что рациональный размер хозяйственных единиц упирается в технику.

Столыпин, следуя европейскому образцу, искал выхода для заблудившегося крестьянского землевладения в мелкой единоличной собственности. К тому времени средний надел на крестьянский двор был около семи гектаров. Семь гектаров на двор, по оценке Ленина, было существование на границе голода. Так было в России у мужиков, зажатых в когтях общины. Не то — в Германии. Немецкий собственник на семи гектарах жил привольно.

Интересен в этом смысле рассказ одного бойца (солдата), побывавшего в Пруссии во время последней войны.

— Пришли мы в одно место, где все цело стоит, только никого не видать. Ну, и понятно: тут одни помещики, видать, жили, нашего брата-мужика совсем тут не было. Так нам показалось. Стали мы ходить, рассматривать: дома хорошие, красивые, и внутри богато. Кругом сады. Только дом от дома не очень далеко стоит. Ну, мы понимаем. Помещики не очень большие тут были, земли маловато. Еще мы походили туда-сюда, и стал кое-кто выходить из тех, что попрятались. Так как мы ничего худого не делали, то они осмелели. Мы их спрашиваем: были среди нас такие, что по-немецки кое-как могли. И что же оказалось? Ни одного помещика тут как есть не было. Это мужики немецкие так жили. И тут у нас, сказать, мозги перевернулись. Значит, нам все врал, что в Германии мужики будто плохо живут.

Кто видел быт немецких и чешских колонистов, например, на Волыни, тот знает, что не только в Германии на семи гектарах зем-

ли можно хорошо жить. Столыпин, насаждая единоличное мелкое землевладение, базировался и на волынском опыте. Задолго до его реформы, то есть 9 ноября 1906 года, наши волынские крестьяне, подражая немцам и чехам, стали выходить на хутора. И, обжившись, тоже становились вроде маленьких помещиков на участках примерно в семь десятин.

На Волыни не было общины, но было принудительное трехполье (толока), мешавшая переходу к более интенсивному хозяйству. На хуторе землероб становится полным хозяином своей земли, так как и дом его стоит тут же. Это крупное преимущество в сравнении с тем, когда жилище находится в селе. От хаты, в селе находящейся, до нивы — далеко. А это значит, что и вести удобрение на свое поле, и обратно — вести снопы на свой ток для умолота — отнимает очень много сил и времени.

* * *

Сделать из бедняков, влачащих жалкую жизнь в общинах, маленьких помещиков, имеющих и достаток, и досуг, а значит, «кованую свободу» — вот о чем мечтал Столыпин.

Кованая свобода? Это, прежде всего, независимость. Зажиточному мужику нет нужды кому-то кланяться, что-то выпрашивать, кого-то ублажать, перед кем-то ломать шапку. Удивительно, что достаточные немцы и чехи, колонисты в чужой им стране, России, были более независимы, чем русские бедняки на своей собственной родине.

Кованая свобода? Это значит — иметь досуг. Досуг для чего? Чтобы пьянствовать? Были и пьяницы, но не из пьянства же они выращивали богатый колос, в пьянстве они расточили бы добытое трезвостью. Трезвые пользуются досугом прежде всего... для размышлений. Иные, размышляя, бессознательно общаются к некой философии о жизни вообще. Это они, те, что имеют досуг, творят замечательные мысли, отлитые в звонкие поговорки:

Жизнь прожить — не поле перейти.

Кривдою свет пройдешь, да назад не воротишься.

На чужой каравай рта не разевай!

Чужое добро впрок не идет.

Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Не гони коня кнутом, а гони коня овсом.

Добрый хозяин и собаки не выгонит в лютую стужу.

Собака лает — ветер носит.

Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается.

Готовь сани летом, а телегу зимой.

Я не словарь Даля, поговорок не перечислить, не буду утомлять читателя. Но одно можно сказать: народная мудрость творится теми, кто имеет досуг.

1960-е гг.

II. Вяльцева

Говорят, что Вяльцева была киевская швейка. Она будто бы работала приходящей швеей в семье неких Меркуловых. Меркулова была урожденная княжна Урусова, дочь урожденной Кекушевой, — словом, татарская аристократия. Об этой семье писать не буду; это завело бы меня слишком далеко от Вяльцевой.

Начала ли она петь еще в Киеве — не знаю. Я ее слышал, когда она уже стала известна и пленила гвардейского полковника Бискупского. Он на ней женился, выйдя из гвардии.

Кажется, первый романс, которым она прославилась, был:

Гайда, тройка! Снег пушистый...

Много лет спустя я слышал Вяльцеву на пластинке. Должен сказать, что эти пластинки плохо ее передают, может быть, потому, что у Настеньки была удивительная сценическая улыбка. Когда она вот эдак улыбалась, весь чопорный Санкт-Петербург тоже невольно расплывался.

* * *

Я ясно помню ее. Она вышла из-за кулис в каком-то удивительном платье. Оно было длинное, со шлейфом. И на подоле был великолепно вышит шелками павлин с роскошным хвостом. И вот Настенька вышла на сцену, стараясь, чтобы павлин развернулся во всей красе, что ей и удалось. И тут она улыбнулась. И улыбнулся вслед за ней партер и ложи:

*На пути село большое,
Есть и церковь и река,
Красна девица подходит
И целует ямщика.*

И вот тут опять была улыбка, совершенно неотразимая — на слове «целует». И весь зал улыбнулся.

* * *

Недолго была улыбка — то есть счастье этой поначалу балованной судьбой скромной швейки. Выше было сказано, что она

вышла замуж за полковника Бискупского, который, видимо, ее обожал.

Она заболела белокровием, по-нынешнему — раком. Напрасно муж перелил в нее всю свою очень здоровую красную кровь — не помогло.

Умерла улыбчивая Настенька. Те, которые, как я, слышали ее и видели, сохраняют о ней красивую, но печальную память.

Бискупский, говорят, был безутешен. Но в его крови была какая-то польская шикарность, которая его спасла. Он занялся своими военными делами и стал начальником известной в свое время Елисаветградской кавалерийской дивизии. Когда началась Февральская революция и затем дело пошло к Брестскому миру, эта дивизия не только не взбунтовалась, но в полном порядке сдала все имущество, которое у ней было на руках, на базе в Елисаветграде. Предварительно эта дивизия избрала в Совет рабочих и солдатских депутатов генерала Бискупского. Такой же шикарный, как и прежде, он выступал на съезде, рядом с Лоховым, фельдшером этой дивизии, и под псевдонимом — в газете «Киевлянин». Позже этот Лохов работал у меня в тайной организации «Азбука» под кличкой Летучий Голландец.

* * *

Все это диковинно переплетается в моей памяти. Когда я улыбался павлиньему хвосту на платье Настеньки, мог ли я думать о том, что какие-то отдаленные ее следы будут удивлять своими приключениями «Азбуку», которая тоже была приключением не из последних.

Летучий Голландец в Одессе объявил себя врачом, его приемная всегда была полна народу, будто бы больными, на самом деле работавшими в пользу Белой армии...

5 октября 1974 года

III. Вера Чеберячка

В нашумевшем на весь мир процессе Менделя Бейлиса обозначились две тенденции. Одна касалась самого Бейлиса, обвинявшегося в убийстве двенадцатилетнего Андрея Ющинского. Другая не столь интересовалась Бейлисом, сколько хотела доказать ритуал, то есть что убийство Ющинского было не просто убийство садистского пошиба, но убийство религиозного, полумистического характера. Те, которые хотели засудить Бейлиса, проиграли. Суд присяжных его оправдал. Те, кто хотели доказать ритуал, выиграли. Тот же состав присяжных ритуал признал.

Конечно, подлежит большому сомнению, правомочен ли суд присяжных устанавливать некие деяния, если нет подсудимого, ибо с той минуты как Бейлис был оправдан, на скамье подсудимых было пусто. Тем не менее киевские юристы не задавались такими тонкостями, и этот вопрос был поставлен присяжным отдельно от вопроса, виновен ли Бейлис.

Вера Чеберячка оказалась в центре всего дела. Кто она была? Она была женою маленького почтового чиновника, по-видимому, совершенно ничтожного. Но сама она была во главе «малины», то есть занималась ликвидацией краденых вещей. Она стояла во главе воровской шайки. Это было установлено киевским Шерлоком Холмсом Николаем Александровичем Красовским, раскрывшим не одно преступление в Киеве (между прочим, зверское убийство семьи Островских). Он держался того мнения, что покойный мальчик Андрюша состоял при шайке, во главе которой стояла Вера Чеберячка. И будто бы он, Андрюша, поссорившись с другими мальчиками, имел неосторожность сказать, что он донесет полиции о подвигах этой компании. Тогда решено было его убить.

Но вполне естествен вопрос. Ведь мертвые не говорят, независимо от того, какой смертью они умрут. Зачем же убийцы подвергли мальчика жестоким истязаниям? На нем, по заявлению экспертов, нашли сорок колотых ран, которыми вся кровь, находившаяся в теле, была источена. Зачем это? На это лица, утверждавшие, что здесь был совершен ритуал, объясняли, что евреям нужна христианская кровь для окропления священного еврейского хлеба — так называемой мацы.

По мнению Красовского, в уголовном мире были и люди с некоторым развитием. Они знали о ритуальных убийствах и при помощи изуверских операций над Ющинским хотели подделать такое (то есть ритуальное убийство). Этим они хотели отвлечь внимание полиции и властей от себя, а кроме того, надеялись, что раскрытие ритуального убийства евреями русского мальчика вызовет еврейский погром. Во время же погрома всякие воры и грабители, конечно, наживаются. Ведь грабят не только какую-нибудь Димиевку, предместье, где нет больших магазинов. Ограбить можно будет и богатейшие магазины на Крещатике, например, магазин Маршака, где золота и драгоценных камней хватило бы для всей шайки.

Таким образом, у Веры Чеберяк были широкие планы. Все это не удалось, благодаря тому, что если и совершено было какое-то зверское убийство, то не было доказано, что оно сделано евреями.

Привлечь Веру Чеберяк к ответственности за убийство Ющинского не представлялось возможным. Для этого так же не хватало данных, как и для обвинения Бейлиса.

На суде, насколько я помню, Вера Чеберяк не выступала. Вместо нее в качестве свидетельницы была вызвана ее дочь, 12-летняя Людмила Чеберяк. Ее-то показание и было основной уликой против Бейлиса. Она утверждала, что Бейлис на ее глазах схватил мальчика Ющинского и куда-то его унес.

Это утверждение, возможно, было правильным. Дело было так. На кирпичном заводе техника была еще первобытная. Она состояла в том, что лошади, впряженные в так называемые мяло, топтали копытами глину. Мяло представляло из себя некое крестообразное приспособление, в которое были впряжены четыре коня.

Дети, которые вечно толпились около завода, когда мяло было свободно от лошадей, любили кататься на нем. Против этого боролась администрация завода, опасаясь, что дети могут как-нибудь попасть в зубчатку и за это придется отвечать.

Поэтому еврей с черной бородой, то есть Бейлис, то и дело выскакивал из конторы и разгонял детей. Это привело к тому, что катанье на мяле превратилось в еще более веселую игру: дразнить черного жида и с дикими криками разбежаться при его появлении. Это продолжалось до тех пор, пока Бейлису не удалось ухватить Ющинского, — он его куда-то унес, вероятно, в контору, и там нашлепал. Однако после этого никто больше Ющинского не видал, а нашли его мертвое, изуродованное тело в одной из глиняных пещер. На этом и было построено обвинение.

Судебный следователь, которому было поручено дело, Василий Иванович Фененко, сразу понял его слабую сторону. Если М. Бейлис действительно задумал такое убийство, то похищать мальчика среди бела дня и на глазах кучи детей было бы непроходимой глупостью, если не считать, что М. Бейлис в своем изуверстве решил пожертвовать собой для того, чтобы добыть кровь, необходимую для мацы.

Поэтому Фененко прекратил следствие, на что он имел полное право по русским законам. Но старший прокурор палаты Чаплинский уговаривал и грозил Фененко, но он ответил:

— Ваше превосходительство! Я человек не богатый, но и нищий. У меня на Стрелецкой улице есть собственный домик. Я не женат и живу со старухой-няней, которая ведет экономное хозяйство, я как-нибудь проживу и без службы.

В этом домике я у него был, и там он рассказал все это, а няня подавала нам чай с вареньем.

Все это стало известно моему отчиму, Дмитрию Ивановичу Пихно, редактору газеты «Киевлянин» и члену Государственного Совета. Он этим крайне возмущался, видя в поведении Чаплин-

ского падение русского правосудия. Он переживал это болезненно, ибо дело совершалось в Киеве, с которым у газеты «Киевлянин» была полувековая связь, и это, может быть, ускорило его смерть. Он умер 29 июля 1913 года, скоропостижно, от разрыва сердца. Однако ему удалось обнародовать в «Киевлянине» некоторые фактические материалы.

После его скоропостижной смерти «Киевлянин» перешел в мои руки, и тут я разразился статьей, в которой я весьма резко обвинял старшего прокурора палаты Чаплинского в том, что он давил на совесть следователя, а также под разными предлогами упрятал в тюрьму неугодных ему опытных сыщиков — Красовского и др.

За это меня привлекли к ответственности за обнародование «заведомо ложных» обвинений против Чаплинского. Но я обвинял не только Чаплинского. Косвенно я обвинял министра юстиции Щегловитова, который вдохновлял это дело.

Меня судили 20 января 1914 года и приговорили к трехмесячному тюремному заключению. Трехмесячное заключение — сущий пустяк, но не в этом дело.

Кроме того, меня и не могли посадить в тюрьму без согласия Государственной Думы, а я имел основания думать, что такового министр юстиции не получит.

Прошло полгода, разразилась война. Я поступил добровольцем в пехотный полк, был сейчас же ранен под Перемышлем и затем работал в Красном Кресте, точнее — в ЮЗОЗО (Юго-Западная областная земская организация). И вот удивительное совпадение.

А именно.

* * *

20 января, то есть в годовщину моего осуждения, я сидел в глубине Галиции, в удержавшемся среди разрушений помещичьем доме, где мы разместили свой отряд. За окном была вьюга, сквозь которую я увидел, что через метель пробивается автомобиль. В то время автомобилей было мало. И значит, тот, кто в нем ехал, был некто. Притом он, видимо, ясно направлялся к нашему дому, то есть ко мне. Не теряя времени, я сказал затопить примус и сделать горячий чай. Это было правильно, потому что через несколько минут ко мне вошел сильно замерзший полковник. Я согрел его горячим чаем, как полагалось. Тогда он сказал: «Я из военно-судебного ведомства. По закону все дела о лицах, находящихся в армии, переходят к нам. Так и ваше дело. Прочтите». Я прочел. Там было написано: «По докладу министра юстиции о деле Ш. Государю Императору благоугодно было поставить резолюцию: «Почитать дело не бывшим».

* * *

Почитать дело не бывшим... Это не амнистия и не помилование. Это нечто гораздо большее. Греки говорили: «Даже боги не могут сделать бывшее не бывшим». Но русские Цари были сильнее, чем греческие боги. Этим своим правом русский Царь воспользовался в моем случае, убедившись, что суд заблудился. А ведь Царь почитался высшим судьей, и все приговоры начинались словами: «По указу Его Императорского Величества...» Замечательно и то, что эта мера была вызвана докладом того же самого Ивана Григорьевича Щегловитова, который инспирировал мой процесс. Власть заблудилась, но Царь поставил ее на место.

Увы... Было слишком поздно. И Щегловитов, и Николай II в значительной мере испытали свою горькую участь от того, что евреи не могли простить им «кровавого навета».

* * *

Я хотел написать о Вере Чеберяк, но вышло несколько иначе. Она была только возбудителем этой заварухи. Однако и ей пришлось расплачиваться. Где-то я прочел, что над нею совершили самосуд киевские студенты... Какие студенты, можно только догадываться... Словом, ее убили. Поубивали в свое время и всех, кто имел какое-либо касательство к процессу Бейлиса. Этот процесс... как какой-то сатанинский ветер, поднял смерч ненависти, еще и до сих пор не заглохший.

— Эти люди были убиты евреями? — Да, знаете, в те годы ЧК кишело евреями... — А разве Вера не была убита еще до революции? — Нет. После революции... как и другие... — Вас. Вит! Ну а вы лично... Вы верите в ритуал? — Нет, ритуала там не было. Была, словами Красовского, подделка ритуала.

Воскресенье, 11 января 1970 года, 7 вечера

IV. Постскрипtum

к книге «Что нам в них не нравится» (Paris, 1929)

На последней странице этой книги высказано примерно такое мнение:

«В плане как бы мистического антисемитизма нам не нравится, что в евреях мы не чувствуем Благости. Если случится, что когда-нибудь они эту благость приобретут, то, надо думать, они нам понравятся».

* * *

Теперь, в конце 1971 года, произошло ли уже это событие? Ни в коем случае мы не можем ответить на этот вопрос в каком-нибудь массовом масштабе. Но один еврей, с которым пришлось познакомиться в тюрьме в начале 50-х годов, показался нам как бы «смягченным» в своем жестокосердии еврейском до той грани, где начинается Благодать.

* * *

Меня перевели в камеру, где было несколько человек, в том числе старик-еврей по имени Дубин. В первый же день совместного пребывания в камере он предложил мне кусок белого хлеба, что считалось в тюрьме как бы знаком дружественного приветия. На это я сказал:

— Простите меня, я вас совсем не знаю и такой подарок от незнакомого человека принять не могу.

Он ответил:

— Зато я вас очень хорошо знаю. Я пятнадцать лет был членом рижского (ревельского?) парламента, а значит, и политиком. Поэтому-то я вас хорошо знаю. И если вы не примете мой хлеб, то вы меня незаслуженно обидите.

Я сказал:

— Хорошо. В таком случае, давайте.

Так мы вроде бы как бы если еще не подружились, то сблизись.

* * *

Впоследствии я узнал, что этот Дубин — правовернейший из правоверных еврей, очень уважаемый религиозными евреями. Но и до этого, в тюрьме, он предстал передо мной незабываемой фигурой. Он соблюдал до мелочей все нелегкие правила и запрещения, которым подвергают себя правоверные евреи.

В течение целого дня он ничего не ел. Почему? Потому, что еврею невозможно вкушать пищу вместе с гоями, то есть неевреями. К концу дня, когда уже всякие ужины и чаепития были кончены, он садился к столу и ужинал. Его ужин состоял из дневной пайки черного хлеба. Только в субботу он позволял себе... он покупал в ларьке белый хлеб, селедку и сахар. Потому что по закону в «шабаш» еврей обязан есть лучше, чем в обыкновенные дни.

Чтобы покончить с субботой, я расскажу, что он обратился ко мне с просьбой вечером зажигать свечу. Но так как от древних времен, когда разжечь огонь было действительно трудно, эта операция становилась работой, запрещенной в «шабаш». Конечно, в наше

время чиркнуть спичку смешно считать работой. Но еврейские старожены отличаются великим формализмом, и потому даже и чирканье спичкой считается работой. С давних времен для такого рода работ евреи нанимали за деньги или подарки гоев, то есть неевреев, и этих наемных работников они называли «шабес-гой». Я с отменным удовольствием стал шабес-гоем у Дубина и зажигал ему свет. Этим с внутренней улыбкой я оправдывал белый хлеб и сахар, которые от него принимал.

* * *

Попутно он рассказал мне, что раньше был в камере, где, кроме него, были исключительно немцы. Почему его посадили к немцам в те времена, когда Гитлер уничтожал евреев миллионами, сказать трудно. Ведь тогда еще антисемитизма у Советской власти не замечалось. Как же сложились у Дубина отношения с товарищами по камере? Дубин рассказал:

— Мы, евреи, очень хорошо знаем наших родственников, больше, чем это принято у русских. Я насчитал, что немцы убили примерно сто моих родственников. Уцелела только моя родная сестра, убежавшая в Москву. Она и посылает мне деньги, на которые я могу покупать в ларьке... в известных пределах... В законе сказано: «Голодного накорми». Немцы голодали. Я им давал все, что мог...

Тогда мне показалось, что сердце этого жестокосердого еврея смягчилось до Благости, и белый хлеб и сахар, которые он мне давал, я ощутил белыми и сладкими.

* * *

Что делал Дубин в течение целого дня? Он молился... Молился он стоя и не про себя — по-видимому, евреи этого не умеют — и не шепотом. Он бормотал заунывно слова, мне непонятные. Иногда это бормотанье переходило в плач... вроде рыдания... «Плакали евреи на реках вавилонских»... Когда-то я это видел где-то... в Пинске, кажется... как евреи выходили на берег реки Пины и по целым часам там рыдали... Рыдали в какие-то особые их дни. О чем они плачут, конечно, известно из Библии, но я не знаю... О каком-то несчастье... разрушении храма, наверное, которое произошло много веков назад. Это, так сказать, ритуальные плачи. Дубин объяснил мне, что при некоторых молитвах евреи обязаны плакать... по закону.

Но были и неритуальные слезы... И они лились в таком изобилии из глаз Дубина, что на полу образовывались лужи. Пусть читатель не думает, что я преувеличиваю... Действительно — лужицы... Никто не смеялся над ними. Но я спросил как-то Дубина:

— Отчего вы так особенно сильно плачете при некоторых молитвах?

Он ответил... без слез и деловито:

— У меня была мать. Я каждый день навещал ее. Но иногда не навещал. Вы сами, как член Государственной Думы, знаете, как много времени, часто бессмысленно, отнимает парламент... Кроме того, я был крупный лесопромышленник... У меня было до четырех тысяч рабочих... Я о них заботился. Они не были евреями... но я о них заботился, надеясь, что они... когда-нибудь об этом вспомнят... во время еврейских погромов... Действительно, пострадал я не от них... Ну вот, вследствие моих всяких дел и забот, я в некоторые дни не мог посетить мать. И вот об этом я так горько плачу теперь...

* * *

И снова я почувствовал какую-то благодать... в этом раскаянии любящего сына...

* * *

— У меня осталась одна сестра в Москве. Она посылает мне не только деньги, но и книги... Еврейские молитвенные книги... У меня здесь целая библиотека... двадцать томов...

— И вам позволяют их читать?

— Да. По одной дают.

Я подумал: «Ведь это книги о Боге...»

Почему же это разрешается Дубину? Но никто из христиан в тюрьме даже не смел подумать о том, чтобы дали читать Евангелие. В библиотеке тюремной было десять тысяч книг... Но ни Евангелия, ни Корана не было... А Дубину давали его Библию...

Каким образом он этого добился, я так и не узнал. Зато я собственными глазами увидел, как он добился другого.

В тюрьме неумолимо были дни купания. Каждые десять дней... Впрочем, и умолять не приходилось, все охотно шли мыться. Ходил и Дубин. Но когда купальный день пришелся на шабаш (то есть на субботу), он сказал, что закон не позволяет ему мыться в субботу.

— Силой поведем!

И повели. Но он так рыдал, что выругались... матом... и оставили его в покое.

Сила воли, присущая евреям, не обращая внимания на формы, превосходила сопротивление тюремщиков, которые были обязаны купать заключенных, хотя бы насильно.

Тут не было благодати в прямом смысле этого слова. Но поскольку это было хотя бы не правильно, но все же исполнение воли Божией, это тоже был вид благодати...

* * *

Неумело и, может быть, беспомощно... и в совершенно частном случае... я все же изъяснил, как я ощутил это дуновение благодати... И в заключение постскриптума могу сказать:

— Стопроцентный еврей Дубин мне понравился.

* * *

Перейдем дальше.

Например, очень неприятен был мне, как политический противник, Винавер. Однажды в Житомире был созван съезд по поводу первой Государственной Думы. И я на этом съезде сказал:

— Господа! Скажите же, пожалуйста, кто у нас правит страной — Николай II или Винавер I?

Достаточно резко.

А прошли годы, и Винавер, приехавший в Белую армию, в Екатеринодар, подписал вместе со мной какую-то политическую декларацию.

... Если это не благодать, то, во всяком случае, значительный сдвиг.

* * *

Это интересно. Потому что только то интересно, что живо... А все живое меняется...

Теперь о Бикермане.

Я жил в Берлине, когда приехали высланные из Советской России (тогда времена были помягче) философ Н. А. Бердяев, профессор И. А. Ильин, еще кто-то... и еврей Бикерман. Последний сказал:

— Ужасаются еврейским погромам... Да, еврейские погромы, как всякие погромы, ужасны. Но надо принимать во внимание современную обстановку. Была разгромлена династия. Затем — Церковь. Армия. Дворянство. Сословие помещиков. Интеллигенция. Купечество. Промышленный класс. Зажиточное крестьянство — кулаки. Среднее крестьянство... Бедное крестьянство переведено в колхозы... Все эти сословия, группы, классы были по преимуществу русские. Таким образом, произошел грандиозный русский погром. Ответ должен был быть. Ответом

были еврейские погромы. Как они могли не быть? Почему в этом погромном неистовстве должны были быть пощажены евреи? Этот вопрос есть разумный ответ. Остальное — истерика.

* * *

Мне кажется, что если Бикермана нельзя назвать благостью, то все же это есть попытка быть справедливым. А справедливость, по мнению древних, есть добродетель и преддверие благодати.

* * *

Я сознаю, что мои примеры... в общем, личные... не есть массовые наблюдения, а изложение качеств некоторых лиц, с которыми мне приходилось встречаться.

* * *

И еще один пример, тоже личного характера, из времен, когда еврейский вопрос не был таким острым, как позднее, — то есть из времен моей молодости.

Когда я был учеником гимназии, моими большими друзьями были сотоварищи по классу: некто Горовиц, пианист, уже тогда выступавший в концертах, игравший Листа и аккомпанировавший все, что угодно, с листа. Семья Горовицев считалась бедной, хотя бедность эта была относительная, принимая во внимание, что у них была квартира из шести комнат, и они не знали никогда, что такое голод. Были они род очень аристократический, так как происходили из левитов. Поэтому, когда старший брат моего Горовица женился на богатой красавице Бодик, то отец был крайне огорчен.

Относительно Горовица нельзя поднимать вопрос о благости, но это был порядочный мальчик, думавший только об искусстве и даже не искавший славы. Слава пришла к его племяннику, ставшему известным скрипачом.

Из изложенного уже видно, что вопроса об антисемитизме мы совершенно не знали в наши ученические годы. Хотя газета «Киевлянин» считалась антиеврейской, но «Киевлянин» говорил строго с евреями тогда, когда они определенно поддерживали революцию, и говорилось им следующее:

— Всякая революция в России пройдет по еврейским трупам.

Это и сбылось, как известно. Но когда в Киеве разразился погром 1905 года, то «Киевлянин» писал примерно следующее:

«В своем неразумии пострадали бедные евреи. Но мы обращаемся к нашим читателям. Евреи — наши сограждане. Они живут рядом с нами, в непрерывном общении. Они полезны, поскольку они не занимаются политикой, а трудятся для всех, как торговцы, врачи, адвокаты, музыканты и певцы».

Обращаясь к певцам из евреев, нужно сказать, что Киевская опера была переполнена превосходными певцами из евреев, как-то: Тартако, неповторимый «Демон», Медведев, о котором Чайковский сказал: «Я не думал, что можно сделать такого Германа», Давыдов, Камионский и другие. Русская публика их ценила и любила, равным образом и «погромный» «Киевлянин». Был поэт в Киеве, еврей Ратгауз. Он напечатал маленькую книжечку и послал ее наудачу Чайковскому. Композитор выбрал семь стихотворений и написал и издал семь популярных романсов. Например, «Мы сидели с тобой у уснувшей реки», «Снова, как и прежде, один» и другие.

Но до этого ко мне прибежал пятнадцатилетний Горовиц и с блестящими глазами проиграл и напел романс на слова Ратгауза из этой книжечки: «Не зажигай огня». Романс этот не был издан, но, по моему мнению, он был удачным.

Довольно о Горовице, перейдем к Гольденбергу.

* * *

Грешным делом должен сознаться, что в ранней юности мы иногда водили знакомства с дамами, гулявшими вечерами по Крещатику. Но в этих авантюрах никогда не принимал участия Володя Гольденберг. Почему? Он говорил мне по этому поводу то, чего не говорил другим:

- Мать будет меня ждать.
- Ну так что же?
- Она меня спросит: «Где ты был?»
- Ты скажешь: «Гулял с товарищами».
- Нет, матери солгать я не могу.

Кажется, это был единственный из нас, кто никогда не лгал своей матери. Правдивость — это тоже уже какая-то ступенька на лестнице, ведущей к благодати.

В семье Гольденбергов устраивались маленькие спектакли, где играли «Горе от ума», «Женитьбу» Гоголя и прочее. Благодати тут никакой не было, но любовь к русской литературе, несомненно, была в этом доме.

Позднее, в университете, когда разразились так называемые беспорядки, их устраивали главным образом евреи, в форме весьма нахальной. Кучка неевреев остро боролась против этих насиль-

ников. В их числе был и Владимир Гольденберг, получивший золотую медаль за сочинение по политической экономии. Это доставило ему большие неприятности со стороны евреев, отвернувшихся от него, когда он кончил университет. Он уехал в Петербург. Там я однажды посетил его перед русско-японской войной. Он был уже женат на еврейке из Вильно, интеллигентной девушке.

— Друзья моего мужа — мои друзья, — сказала она, знакомясь со мной.

Когда я приехал к ним в Петербург, Володи не было, а принимала меня очень радушно Ольга Борисовна. Она провела меня в кабинет, в приемную, а затем занялась каким-то странным хозяйством, собирала в фартук какие-то бумажки во всех углах. Потом бросила свою добычу на письменный стол и сказала:

— Полюбуйтесь.

Это были скомканные до неузнаваемости деньги: рубли, трешки, пятерки... Она объяснила:

— Он ненавидит деньги. Он, как адвокат, дает советы, юридические советы. Но кто к нему приходит — беднота. Он берет эти несчастные рубли и швыряет во все углы... Я подбираю, конечно. На этом и живем.

... Ну вот, довольно о Гольденбергах. Нет, прибавлю. Его отец служил управляющим всеми делами киевского миллионера, некоего еврея Бродского. Последний платил Гольденбергу тридцать тысяч рублей в год (семнадцать тысяч получали всероссийские министры). Но от этих тридцати тысяч рублей в год ничего не оставалось. Дочерям не было дано никакого приданого, Володе в Петербург присылали маленькие суммы. Все тратилось. На что? На жизнь. Они жили открыто, принимали гостей... Когда Володя получил золотую медаль в университете, Елизавета Давыдовна, мать, устроила банкет в сто человек. Золотую медаль дал за сочинение Володе мой отчим, редактор «погромного» «Киевлянина». Конечно, он был приглашен на банкет, но не пришел. А мне сказал:

— Скажи, что очень занят.

Когда я пришел, Елизавета Давыдовна, по обыкновению, лежала в креслах в жестоком ревматизме. Она сказала мне:

— Конечно, получить золотую медаль и вообще приятно. Но получить ее от профессора Дмитрия Ивановича — это значит, что она была заслужена, эта золотая медаль.

Я вмешался в толпу из ста человек, которые занимались интересным делом. Они передавали из рук в руки чек на один миллион рублей. Это было приданое, которое покровитель семьи Гольденбергов Бродский дал своей дочери, которую он выдал замуж за ба-

рона Гинзбурга, австрийского еврея. (Другой Бродский выдал свою дочь за князя Гагарина.) Все они, эти сто, были евреи, и каждому приятно было подержать в руке «один миллион рублей золотом». Тут благиости уж никакой не было, но была честность: никто не подумал украсть миллион рублей и бежать стремительно; все только любовались драгоценностью прекраснее, чем «Мона Лиза» или «Сикстинская Мадонна».

И даже знаменитый баритон Камионский снисходительно покрутил бумажкой. Наверное, он в это время думал: «Все думают, что я поляк. А я — настоящий малоросс».

Потом он спел: «С какою тайною отрадой тебе всегда внимаю я...» Особенно эффектно звучал конец: «Чаруй меня, чаруй...»

Голос, убедительно едкий, разносился по всем комнатам обширной квартиры, и заслушивались его даже русские... кухарки в кухне (Елизавета Давыдовна была «умная женщина», и, чтобы ее сыновья не шлялись по проституткам, она держала специально вроде шабес-гоек... Во всяком случае, смазливых горничных для своих «мальчиков». В результате ее мудрости сыновья действительно не болели венерическими болезнями...)

Кроме евреев на этом банкете присутствовали я да Миша Кульженко, который говорил про себя:

— Знаешь, у меня бабушка — жидовка...

Когда я вошел в зал, где рассматривали чек, и он меня увидел, он поднял над головой два пальца. Я понял: нас только двое.

Остальные — евреи.

Где же тут антисемитизм? Где же тут погром?

Почему же в Государственной Думе, значительно позднее, мне тогда кричали:

— Погромщик??!

* * *

Кончаю посткриптом.

Я ничего не забыл. Но кое-что прибавил к своим наблюдениям. Если быть к евреям справедливыми, но при этом быть настолько сильными, чтобы в них не нуждаться, от них не зависеть, то они будут друзьями и полезными согражданами.

5 сентября 1971 года

ПОЗДНИЙ ШУЛЬГИН

(Вместо послесловия)

«Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром...» Эти слова из песни Симеона Богоприимца по-особому звучали над гробом многострадального старца, скончавшегося как раз в праздник Сретения Господня, много видевшего и, может быть, слишком много испытавшего в своих земных странствованиях.

Для всех нас, имевших счастье знать его и общаться с ним, Василий Витальевич Шульгин был живым «слышанием» истории, живым «пророчеством» будущего. Как Симеон: «яко видеста очи мои спасение Твое».

Основные вехи его политической и творческой судьбы достаточно известны. Мы остановимся здесь кратко лишь на характеристике творческого наследия «позднего» (или даже «позднейшего») Шульгина. Автор настоящих строк имел счастье знакомства и дружбы с В. В. Шульгиным последние восемь лет его жизни — с 1968 года. Соответственно, в той части шульгинского архива, которая имеется в моем распоряжении, можно выделить следующие категории текстов:

1. Собственно мемуары: авторская редакция книги «Годы» и «Отрывочные воспоминания» 1973 года, о которых подробнее скажу чуть позже.

2. Очерки (или этюды) из «Антологии таинственных случаев»: «Рассказ о Г. И. Гюргиеве», «Лена», «Приключение в Галиции» (из первой мировой войны).

За свою долгую жизнь В. В. общался со многими выдающимися людьми — не только с политиками, диктаторами, военными, журналистами. Ему принадлежат интересные воспоминания о Ф. И. Шаляпине («Шаляпинское счастье»), А. Д. Вяльцевой (см. ниже), Вере Холодной. Всегда романтически настроенный, проявлявший большую заинтересованность в сложных, загадочных явлениях человеческой психики, Шульгин всю жизнь вел «антологию таинственных случаев» — тех, что случались с ним или с его родны-

ми, близкими, знакомыми. Он был знаком со многими видными оккультистами (Георгием Ивановичем Гурджиевым, Анжелиной Васильевной Сакко, Тухолкой и др.), до конца дней увлекался спиритизмом.

О Г. И. Гурджиеве (1874—1949), известном мистике суфийского толка, начинавшем еще в дореволюционные годы, но особенно прославившемся в эмиграции, написано немало. В последние годы ряд книг, его и о нем, издано и на русском языке: Ж. Бержье и Л. Повель. Утро магов (Париж, 1964; М., 1994); Л. Повель. Мсье Гурджиев (М., 1997); «Мистики XX века: Энциклопедический словарь (М., 1995). Рассказ В. В. Шульгина, продиктованный им в подмосковном Голицыне, в писательском Доме творчества, в декабре 1968 года, дополняет общую картину острым и выразительным свидетельством очевидца.

3. Политология: «Опыт Столыпина» (машинопись начала 1960-х годов), статья «О лозунге Великой России» (последний автограф писателя, 1971 года).

Последняя статья содержится в четырех зеленых школьных тетрадках (стандартных, по двенадцать страниц). В. В. в последние годы плохо видел и писал практически вслепую крупным, но трудно читаемым почерком, так что одна страница машинописного текста могла занимать у него целую тетрадь. На первой из названных тетрадей написано: «Без названия, пока что. Начато 14 сентября 1971 г.». Название «О лозунге Великой России» дано составителем. Поводом к написанию статьи стали бурные дискуссии о судьбах России и русского национального сознания, которые велись в присутствии и с участием В. В. Шульгина во время его приезда в Москву летом 1971 года. В тот приезд В. В. жил сначала несколько дней у художника И. С. Глазунова (который и организовал его приезд), затем — у меня, в Красногорске, наконец, у С. С. Хоружего, в его квартире на Фестивальной.

4. Не поддающийся «жанровой» классификации «Посткриптум» к книге «Что нам в них не нравится?», продиктованный в сентябре 1971 года на квартире Сергея Сергеевича Хоружего, любезно предоставленной им Василию Витальевичу и мне с сестрой для двухнедельного гостевания.

А теперь несколько слов о каждом из вошедших в состав книги материалов. Прежде всего — о книге «Годы».

Книга с таким названием должна была стать, по замыслу В. В. Шульгина, «последним барьером» в его жизни. Книга написана блестяще, полна информации, юмора, зрелого размышления. Трагическая история создания и почти детективная история публи-

кации этой книги никому сегодня не известна. Диктовавшаяся В. В. Шульгиным своему сокамернику по Владимирскому централу И. А. Корнееву, она получила окончательную литературную обработку лишь через десять лет после освобождения обоих «соавторов» (к 1966 году), а издана была только в 1979 году, искореженная брежневской цензурой.

Об истории создания книги и о своем соавторе Шульгин подробно пишет в предисловии. Корнеевым действительно была проделана большая работа: именно он работал в библиотеках, восстанавливал и уточнял речи и реплики персонажей по стенографическим отчетам Государственной Думы и по мемуарам, именно он при первом упоминании каждого лица давал о нем точную социологическую справку: кто, что, чем владел, сколькими десятинами и т. п.

И здесь мы встречаемся с одним из недостатков книги: Корнеев внес в текст многие такие (иногда излишние, иногда не очень тактичные) подробности, которых, скорее всего, не внес бы В. В. Шульгин. Первоначально Шульгин планировал вынести имя соавтора и на обложку книги, но издатели отказались от этой мысли.

Но книге не повезло и в таком, «соавторском» виде. Предисловие В. В. Шульгина, написанное, когда книга была уже готова, датировано маем 1966 года. Рукопись, сданная в издательство «Советская Россия», помечена на титульном листе 1967 годом, но затем многократно урезалась и перерабатывалась в сторону большей «проходимости». Отдельные главы из нее были напечатаны в 1966—1967 годах в журнале «История СССР», с предисловием известного историка А. Я. Авреха. Публикаторы надеялись, что это ускорит выход книги. Вопрос обсуждался на самых высоких уровнях, как свидетельствует об этом в своей статье «Страсти по Шульгину» академик Ю. А. Поляков (см. ниже, в библиографии).

В 1971 году рукопись находилась уже в Издательстве АПН (Агентство печати «Новости»), и ее подготовкой занималась известная тогда поэт и журналист Е. В. Шевелева. Но лишь в 1979 году «Годы» — в том же издательстве — увидели свет, когда уже не было в живых ни Ивана Алексеевича Корнеева (умер в 1973 году), ни Василия Витальевича (умер в 1976 году).

Соответственно, ничем не стесняемые, издатели могли себе позволить любые нарушения авторской воли и эдических норм. Они изменили структуру книги, из шести частей сделали четыре, произвольно сливали и разбивали главы, по живому резали и сокращали текст. «Ликвидации» подверглись как целые главы (в том числе, например, глава «Измена», напечатанная ранее в журнале «История СССР»), так и более мелкие разделы и отдельные абза-

цы, даже отдельные не понравившиеся редактору слова и фразы. В целом из книги было выброшено до трети текста, включая такой важнейший — и структурно, и идейно — раздел, как предисловие, содержащее историю создания книги, сведения о ее соавторе и авторскую самооценку.

Переиздание АПН 1990 года еще хуже в эдиционном смысле: произвольно сокращен даже текст 1980 года. При этом нельзя сказать, что редактура и сокращения определялись последовательно цензурно-политическими или литературно-эстетическими критериями. В большинстве случаев они связаны исключительно с произволом и неуважением издателей.

К счастью, сохранившийся экземпляр авторской машинописи 1967 года позволил нам восстановить структуру книги, а для большей части глав — и полный авторский текст. Что касается другой текстологической задачи — реконструкции собственно шульгинского текста с максимальным устранением вставок и вкраплений И. А. Корнеева, — эта задача представляется нам сегодня вполне не разрешимой. Тем более что В. В. Шульгин в последние годы жизни (1966—1976) признавал амальгамированный, так сказать, «шульгинско-корнеевский» текст своим (достойным, во всяком случае, его имени на обложке) и не делал никаких попыток изменить в этом смысле ситуацию. К тому же И. А. Корнеев, умерший на два года ранее Василия Витальевича, весьма ревниво относился к тексту, справедливо видя в предполагавшемся издании возможность, помимо всего прочего, поправить материальное положение своей семьи. К сожалению, ревность эта простиралась до стремления не предъявлять и тем более не давать на руки «соавтору» машинописные копии окончательных вариантов. Неизвестно, сохранились ли какие-либо более ранние варианты рукописи или черновые и вспомогательные материалы к ней у наследников Ивана Алексеевича...

Проще в текстологическом отношении обстоит дело с «малыми» жанрами. Что касается «Отрывочных воспоминаний» 1973 года, автор настоящих строк должен взять на себя «вину» не только за их публикацию, но и за их появление на свет. В. В. Шульгин, в свои девяносто пять, приехав погостить летом 1973-го ко мне в Красногорск, вовсе не предполагал и не собирался возвращаться к воспоминаниям о Гражданской войне и Белом движении. Идея диктовки возникла спонтанно, в домашних, за чаем, разговорах. Воспоминания представляют собой прямую диктовку и включают в оригинале пять практически самостоятельных глав: «Французская интервенция на Юге России», «Деникин», «Врангель», «Азбука» и «Мария Владиславовна Захарченко-Шульц». (Первоначально

Василий Витальевич планировал дать сопоставительную характеристику Деникина и Врангеля, но получилось два отдельных очерка.) Мне казалось необходимым передать, естественно, каждое слово, сказанное при диктовке Василием Витальевичем, буквально так, как оно было сказано.

Все пять глав были мною опубликованы в 1990—1993 годах, благодаря содействию Л. Г. Калининой, главному редактору еженедельника «Московский строитель» (1990) и сменившего его «Домостроя» (1991—1993). «Французская интервенция», «Деникин» и «Врангель» были позже перепечатаны Андреем Кручинным в возобновленном им журнале «Военная быль» в 1993—1994 годах.

Мы включили также в книгу не публиковавшиеся прежде очерки из незаконченной серии «Киевлянки». Два из них — «Вера Чеберяк» и «А. Д. Вяльцева» — были продиктованы Шульгиным в его владимирской квартире — первый в январе 1970 года. Третьим должен был стать очерк «Васнецовское дитя» (о Е. В. Сухомлиновой), но В. В. отказался от этого замысла в связи с тем, что весь материал был уже сполна им использован в соответствующих главах книги «Годы».

Значительное место в диктовках позднего Шульгина занимают стихи. В. В. баловался поэзией смолоду, в думский период (1907—1917) удачно состязался в политическом стихотворстве с В. М. Пуришкевичем, мастером политической пародии и эпиграммы. Эпиграмма Пуришкевича на В. В. Шульгина, почему-то без указания автора, включена даже в вышедшую лет десять назад антологию «Русская эпиграмма»:

*Твой голос тих, и вид твой робок,
Но черт сидит в тебе, Шульгин.
Бикфордов шнур ты тех коробок,
Где заключен пироксилин.*

Стихотворение В. В. Шульгина «Пал богатырь. На пир кровавый» стало поэтическим эпиграфом издававшейся Пуришкевичем «Книги русской скорби».

Из эмигрантских лет В. В. любил вспоминать свою поэтическую переписку с Игорем Северяниным.

*Он повсеградно оэкрашен,
Но он обронзит свой гранит.
Стал южным Игорь Северянин:
Он иго Севера казнит.*

«Обронзит свой гранит» — намек на адриатический загар гранитного лица поэта, они вместе отдыхали в 1925 году в Дубровнике. «Иго Севера», удачно обыгранное с именем «Игорь Северянин», — это, разумеется, «диктатура пролетариата», восторжествовавшая в России.

В таком же, преимущественно ироническом роде стихотворствовал Василий Витальевич и в позднейшие годы:

*Там чудеса. Там Сталин бродит,
Светлана на ветвях сидит, —*

до мрачноватого заключительного: «Там русский дух. Там водкой пахнет».

Шульгин сам признавал с улыбкой, что подавляющая часть этой позднейшей рифмованной продукции — чистая старческая графомания, хотя мелькают в ней изредка блестками и прежнее остроумие, и исповедальный лиризм. Особенно выразительно стихотворение на французском языке «Вершины», открывающее нашу книгу.

Последний, наиболее внушительный, пожалуй, количественно «жанр» позднего Шульгина не имеет, кажется, аналогов в истории литературы. Это — сны. Некоторые из них мы процитировали во вступительной статье, о других, может быть, будет еще случай поговорить. Сны Шульгина легли в основу повести Дмитрия Жукова «Таинственные встречи» и его же романа «Сны».

При чтении всех практически текстов «позднего Шульгина» следует иметь в виду следующие обстоятельства. Шульгин — один из немногих, вероятно, в истории людей, который всю жизнь «вспоминал». Первые его «мемуары» («1920») писались буквально через несколько месяцев после эвакуации врангелевского Крыма, в 1921-м, когда ему было сорок три, последние («Отрывочные воспоминания») — в 1973-м, когда ему было девяносто пять.

Метод работы В. В. включал в большинстве случаев такой необходимый элемент, как первоначальную запись по горячим следам. Так, всем известные «воспоминания» об отречении Государя (в том числе в фильме «Перед судом истории») впервые были опубликованы в газетном варианте еще в марте того же, 1917 года, то есть через несколько дней после события. Так формировались своеобразные «блоки памяти», которые и использовал затем В. В. при записях и диктовках своих воспоминаний в самые разные годы, в самых различных, иногда далеко не подходящих условиях. (Первые главы книги «Годы» надиктовывались, например, как рассказывалось выше, «сокамернику» И. А. Корнееву в камере Владимирской тюрьмы.)

Второй существенный момент состоит в том, что перед нами — не только в данном случае, но и всегда под пером В. В. — не «мемуары» в чистом, собственном виде (впрочем, существуют ли такие?), а особый литературно-публицистический жанр, на грани, а порой и за гранью собственного художественного творчества.

Выработанный В. В. стиль (с его знаменитыми «телеграфными» главками, отточиями, многоточиями, намеками и умолчаниями) практически полностью сохранился в надиктованных летом семьдесят третьего воспоминаниях. Он почти не чувствуется в книге «Годы», но тому есть особые причины, связанные с трудным «рождением» книги. В красногорских диктовках В. В. удалось, как кажется, максимально устранить интерферирующие внешние воздействия и вернуть своему стилю прежние блеск и упругость.

Но, с другой стороны, необходимо помнить, что перед нами все-таки тексты, созданные девяностолетним автором. Всякое творчество имеет, как известно, и возрастные ограничения, и свои возрастные особенности. Многого Шульгин, разумеется, действительно не помнил. О многом он не имел возможности навести каких-либо справок. По состоянию зрения он был лишен возможности повторного редактирования. Наконец, последний, не для всякого взгляда, быть может, извинительный, но неизбежный штрих: «световые пятна», о которых говорит Шульгин, определяя жанр последних воспоминаний, находятся не только стилистически, но и физически на границе с областью «снов», хотя и записанных, но безредактурных порождений могучего писательского инстинкта.

...Редактор «Военной были» в предисловии к одной из публикаций (№ 5), удачно сказал, относительно генерала Туркула и его (с И. Лукашом) книги «Дроздовцы в огне», что это «больше Русская Литература, чем Русская История».

Понимаю, что кому-то то, что я скажу, может показаться почти кощунственным состязанием в афоризмах, но, боюсь, действительно, в каком-то, «онтологическом», что ли, смысле, в самой Гражданской войне и Белом движении было «больше Литературы, чем Истории». Не потому только, что «наши беспроблемные» (как называл Я. Слащев генералов, на погонах которых не было просветов) оказались на поверку сплошь более или менее плодовитыми писателями: Деникин, Врангель, Краснов, Туркул. Даже сам Слащев. И не потому, что лучшими «документами» эпохи остались стихи Цветаевой (или Луговского, с другой стороны окопов) и проза Лукаша и Шмелева (соответственно Шолохова или Лавренева). Но и потому, главное, что

Белое дело в целом (включая попытки позднейшего кутеповского «активизма») было органичной частью и продолжением русского *Серебряного века* (продолжением «другими средствами», по Клаузевицу).

Говоря: «Серебряный век» (это он, ведь, кстати, сам сознал себя «серебряным»), «декаданс», — мы имеем в виду не узко литературоведческие, но культурологические и политологические категории. Это не значит, к примеру, что декаданс не знает героев. Были и герои, и убийцы, и самоубийцы. Иногда в одном лице. Но это состояние — человека, общества, армии — когда «уже ничего нельзя сделать» и сознание такого состояния: цветаевское «добровольчество как добрая воля к смерти».

Эту «добрую волю» и чуял, и *не принимал* — в чем сознательно, в чем бессознательно, но не принимал — Шульгин, говоря и о предфевральской агонии («Дни»), и о предкрымской и крымской («1920»). Отсюда его ядовитый критицизм, отсюда — виденная им и прежде, но присутствующая, в том числе, в воспоминаниях 1973 года, печать обреченности на лицах и событиях, о которых он пишет. Белое дело, как прежде монархия, обречены для него как бы уже биологически: потому что «был класс, да съездился» (о дворянстве), потому что для столыпинских реформ «нужна была железная воля, а ее не было», потому что «Николай II не был великим человеком», вообще «не был рожден для власти». Потому что, наконец, «ничего нельзя было спасти, нужен был опыт Ленина».

Сам будучи не только участником, но и — по исторической вовлеченности и менталитету — человеком «агонии» и «декаданса», Шульгин, как личность и политик, пытался противопоставить «белому лицу Бессилия» («Дни») идеал «сильной личности», Вождя, «предтечи Муссолини». Отсюда неприятие (при принципиальном, так сказать, монархизме) династии и ее эпигонов. Отсюда «поиски человека», «гипнотизм силы» и интерес к непредсказуемым (заведомо трагическим) фигурам от Гришина-Алмазова до «самого» Врангеля.

Но как писатель (точнее, описатель) и мыслитель (точнее, «осмыслитель») происходящего Василий Витальевич отчетливо видел мелкость в конечном счете даже своих так называемых «героев». Точнее, и это важно подчеркнуть, В. В. вообще не видит в «своем стане» крупных, способных править Россией людей ни до Февраля (единственный — Столыпин, убитый в 1911 году и до этого уже обреченный на отставку усилиями правящей и «правой» камарильи), ни после Февраля (единственный — Врангель, «настоящий варяг», по постоянной характеристике Шульгина, с его, однако, «искусственным героизмом» и отсутствием конструктивной программы).

И, наоборот, видит — трагедию любого «освободительства» («освободить себя может только сам народ»), видит — как Белая идея, перейдя линию фронта, создает Красную Армию (1920), видит реальность Советской России (в «Трех столицах»), противостоящую ирреальности его, шульгинских, и кутеповских «азбучных» конспирологий...

Мы не будем останавливаться здесь на историософских воззрениях позднего Шульгина, тоже — как ни странно для человека и мыслителя его возраста — неокончательных и во многом внутренне противоречивых. Мы хотим лишь подчеркнуть, что при чтении воспоминаний В. В. нужно иметь в виду (в качестве общей «рамки» для каких бы то ни было суждений) внутреннюю логичность и определенность его позиции (со времен «Дней» до «Годов» и последних текстов) в смысле:

— критического отношения к правившей династии и окружавшим ее «темным силам»;

— критического отношения к правящей российской элите в целом (не только аристократии, но и дворянству вообще);

— критического отношения сначала к «своему» «правому» и вообще контрреволюционному движению, а затем к Белому делу (которое «начинали белые, а кончили грязные») и его перспективам («на французских штыках»).

Н. Лисовой

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги и публикации В. В. Шульгина

Полный корпус произведений В. В. Шульгина еще не выявлен и тем более не опубликован. Дальнейшие исследования и публикации несомненно обогатят нас и новыми знаниями, и новым пониманием того, что сам Василий Витальевич называл *casus Schulgini* (случай Шульгина). В феврале 1996 года в Москве, в Государственной публичной исторической библиотеке, состоялся вечер, посвященный двадцатилетию со дня кончины В. В. Шульгина. Сотрудниками Отдела русской эмиграции библиотеки А. С. Кручининым и Н. Г. Кирилловой была подготовлена выставка книг и фотографий, а также библиографический список имеющихся в Отделе и библиотеке в целом книг и публикаций В. В. Шульгина. Этот список, с дополнениями и уточнениями, и был положен в основу предлагаемой, заведомо неполной, библиографии.

1. Азбука // Московский строитель. — № 9 (6—13 марта). — С. 12.
2. Аншлюсс и мы. — Белград, 1938. 16 с. Рецензия М. В. Вишняка: Русские записки. 1938. № 8—9.
3. Бейлисиада // Память: Исторический сборник. Вып. 4. — Париж, 1981. С. 7—54.
4. Белые мысли (Под Новый год) // Русская мысль. 1921. Кн. I—II. С. 37—43.
5. Возвращение Одиссея: Второе открытое письмо русским эмигрантам // Известия. 1961. 7 сент. С. 4.
6. Выборное земство в Юго-Западном крае. Киев, 1909. 64 с. (Оттиски из газеты «Киевлянин». 1909. № 94 (6 апр.); № 95 (7 апр.); № 96 (8 апр.); № 97 (9 апр.); № 98 (10 апр.).)
7. Вяльцева // Домострой. 1993. 28 сент. С. 11.
8. Годы. Дни. 1920: Мемуары / Предисл. В. Владимирова. — М.: Новости, 1990. 822 с.
9. Главы из книги «Годы» / Предисл. А. Я. Авреха // История СССР. 1966. № 6. С. 65—91; 1967. № 1. С. 123—159.
10. Годы. Воспоминания члена Государственной Думы. — М.: АПН, 1979.

11. «Да ведают потомки»: Неизданное предисловие к книге «Годы//Домострой. 1993. 12 янв. С. 8—9.
12. Деникин и Врангель/Предисл. Н. Н. Лисового//Московский строитель. 1990. № 7 (20—27 февраля). С. 13—14. Перепеч.: Военная быль. 1994. № 5. С.31—36; 1995. № 6. С. 38—41.
13. Дни//Русская мысль. 1922. № 1—2. С. 136—172.
14. Дни: Записки. Белград: Изд-во М. А. Суворина, 1925. 310 с. Рецензия: Зайцев К.//Возрождение.1925. № 104.
15. Дни: Записки/Вступ. ст., коммент. С. Пионтковского. — Л.: Прибой, 1925. — 223 с.
16. Дни: Записки. — Л.: Прибой, 1926. — 281 с. («Библиотека для всех»).
17. Дни. 1920. Записки/Вступ. ст., коммент. Д. А. Жукова. — М.: Современник, 1989. — 557 с.
18. Контрабандисты: Отрывки из впечатлений//Белое дело. Т. 1. — Берлин, 1926. С. 159—202.
19. Лена: (Сон и явь)//Домострой. 1993. 6 апр. С. 9.
20. Неопубликованная публицистика (1960-е гг.)//Шульгин В. В. Три столицы. — М., 1991. С. 377—397.
21. Нечто фантастическое. — София, 1922.
22. Новое о «Тресте»/Предисл. Г. Струве//Новый журнал. 1976. № 125.
23. Опыт Ленина/Предисл. М. А. Айвазяна; послесл. В. В. Кожина//Наш современник. 1997. № 11.
24. «Оставим святочные темы и перейдем к еврейскому вопросу»: Из переписки В. А. Маклакова и В. В. Шульгина/Публикация, вступ. ст. и примеч. О. В. Будницкого//Евреи и русская революция: Материалы и исследования. — М.; Иерусалим, 1999. С. 374—442.
25. Открытое письмо г. Петлюре//Кубань. 1991. № 9. С. 47—48.
26. Памяти М. В. Алексеева//Трехлетие Общества галлиполийцев. С. 31—34.
27. Писатель/Посвящается В. Г. Короленко. — СПб., 1907. — 16 с.
28. Письма к русским эмигрантам. — М.: Соцэкгиз, 1961. — 95 с.
29. Приключения князя Воронцовского: Исторический роман. Ч. 1: В стране свободы. — Киев, 1914; 2-е изд. — Париж, 1930. Рецензии: Зайцев К.//Россия и Славянство. 1930. 8 фев.; Осоргин М. // Последние новости. 1930. 30 янв.
30. Размышления. Две старые тетради//Неизвестная Россия. XX в.: Архивы, письма, мемуары. Кн. 1. — М., 1992. С. 306—348.
31. Рассказ о Г. И. Гуржиеве/Предисл. Н. Н. Лисового//Московский строитель. 1990. 20—27 нояб. С. 12.
32. Саперный бунт (1905 г.). — Харьков, 1908. Отдельный оттиск из журнала «Мирный труд» за 1908 г.

33. Свидетель: Письма к русским эмигрантам//В мире книг. 1989. № 4. С. 78—85.
34. «Смерть буржуйам» — «бей жидов»: Из кн. «Что нам в них не нравится»//Кубань. 1991. № 3. С. 53—64.
35. Степь (По казацкой думе): Этюд//Киевлянин. 1909. 13—19 марта. № 72—78.
36. Три столицы: Путешествие в Красную Россию. — Берлин, 1925. 462 с. Рецензии: Арцыбашев М. Последние новости. 1927. 15 февр.; Гессен И.//Руль. 1927. 2 февр.; Н. Д. А. (Н. Д. Авксентьев) //Современные записки. 1927. № 31.
37. Три столицы. — М.: Современник, 1991.
38. 1920: Очерки. — София, 1921//Русская мысль. 1921. Кн. 3—11.
39. 1920 год: Очерки/Предисл. Н. Овсянникова. — М.: Госиздат, 1922. 43 с.
40. 1920 год: Очерки /Предисл. и примеч. С. Пионтковского. — Л.: Прибой, 1926. 216 с.
41. 1920 год: Очерки. — Л.: Прибой, 1927. — 292 с.
42. 1917—1919/Предисл. и публ. Р. Г. Красюкова; коммент. Б. И. Колоницкого//Лица: Биографический альманах. Т. 5. М.; СПб., 1994. С. 121—328.
43. Украинский народ. — Ростов-на-Дону, 1919. 24 с. (Записка об отказе В. В. Шульгина от украинского подданства).
44. Украинствующие и мы//Свободное слово Карпатской Руси. 1986. № 9—10.
45. Французская интервенция на юге России в 1918—1919 гг. (Отрывочные воспоминания)/Публ. и предисл. Н. Н. Лисового//Домострой. 1992. 4 февр. С. 12. Перепечатано: Военная быль. 1993. № 3. С. 27—31; № 4. С. 26—30.
46. Четвертая столица (Из газеты «Возрождение»)//Слово: Большая русская национальная газета. — Рига. 1927. № 526.
47. «Что нам в них не нравится». (Об антисемитизме в России). — Париж: Russia Minor, 1929. — 330 с.
48. «Что нам в них не нравится» Предисл. Ю. Морозова. — СПб., 1992. — 286 с.
49. «Что нам в них не нравится». — М., 1994. — 445 с.
50. «Я обязан это сделать» (Открытое письмо к русским эмигрантам) // Известия. 1960. № 298.

О нем:

1. Безбережьев С. Размышления историка о фильме «Операция «Трест»» // Север. 1989. № 6. С. 116—119.
2. Варсонофий (Хайбулин), иеродиакон. «Ныне отпускаеши»: Памяти-Шульгина // Вестник РСХД. 1976. № 117.

3. *Войцеховский С. Л.* Новое о «Тресте»/Примеч. к письмам В. В. Шульгина//Новый журнал. 1976. № 123, 125; 1978. № 132.
4. *Жуков Д. А.* Жизнь и книги В. В. Шульгина//Шульгин В. В. Дни. 1920. — М., 1989. С. 3—72.
5. *Жуков Д. А.* Ключи к «Трем столицам» // Шульгин В. В. Три столицы. М., 1991. С. 398—496.
6. *Жуков Д. А.* «Перед судом истории» и черная шляпа (Из материалов для романа «Сны»)//Жуков Д. А. Таинственные встречи. С. 83—148.
7. *Жуков Д. А.* Таинственные встречи В. В. Шульгина//Жуков Д. А. Таинственные встречи. — М., 1992. — С. 3—82.
8. *Заславский Д. И.* Рыцарь черной сотни В. В. Шульгин. — Л., 1925. 72 с.; 2-е изд. с изм. названием: Рыцарь монархии Шульгин. — Л., 1927. 68 с.
9. К истории осведомительной организации «Азбука»: Из коллекции П. Н. Врангеля (архив Гуверовского института)/Публ. В. Г. Бортовского//Русское прошлое. — СПб., 1993. Кн. 4. С. 160—193.
10. *Лисовой Н.Н.* Последний очевидец: Памяти В. В. Шульгина//Московский строитель. 1990. 15—22 мая. С. 8—9.
11. *Пионтковский С.* Записки Шульгина//Шульгин В. В. Дни. — Л., 1925. С. 3—6.
12. *Поляков Ю. А.* Апрель шестьдесят седьмого: страсти по Шульгину//Вопросы истории. 1994. № 3. С. 118—125.
13. *Яблоновский А.* Случай с В. В. Шульгиным//Сегодня (Рига). — 1927. № 230.

Кроме того, сведения и воспоминания о В. В. Шульгине содержатся в многочисленных мемуарах: Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1—3. — М., 1960; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 4. — Берлин, 1925; Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 1—2. — М., 1990 и др.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Н. Лисовой. Последний очевидец3

ГОДЫ

Воспоминания члена Государственной Думы23

От автора25

Часть I. ВЫБОРЫ

1. Конь32

2. Гнет32

3. Варшава и Киев34

4. Два генерала36

5. План кампании37

6. Батюшки40

7. Помещики45

8. Острог47

9. Житомир51

Часть II. ТРАГЕДИЯ ЭВОЛЮЦИИ

1. День первый60

2. Praesagium66

3. «Не запугаете!»70

4. Небольшое отступление74

5. Бомба76

6. Лукавый Лукашевич	.81
7. «Ныне отпускаеши»	.85
8. Хомяков	.88
9. Князь Волконский	.90
10. «Флот погубит Россию»	.94
11. Смертная казнь	.101
12. Царь, волынцы и другие «верноподданные»	.116
13. Чигиринцы	.127
14. Куриальное земство	.131
15. Граф Витте	.134
16. Принцип	.142
17. Филалет	.144
18. Кризис	.149
19. Граф Олизар	.152
20. Дверницкий	.156
21. Нажим	.167
22. Выстрел в Киеве	.177
23. Эдисон	.183

Часть III. БЕЙЛИСИАДА

1. Вступление	.188
2. Тополь и цыганка	.189
3. Цукроварня	.193
4. Кровавый навет	.199
5. Дело Бейлиса	.206
6. Годовщина	.218
7. Патриарх	.225

Часть IV. ВОЙНА

1. Выстрел в Сараеве	.229
2. Зимний дворец	.236

3. «Как Стах на войну пошел»	.239
4. Бой	.242
5. Исповедь	.260
6. Мерзавцы	.262
7. Радко Дмитриев	.266
8. Стахович	.272
9. Sir Bernard Pares	.283
10. Поход на Тарнов	.287
11. Бушуев	.296
12. Отступление	.299
13. Четыре	.303
14. Голосов	.306

Часть V. СУХОЙ МЛИН

1. Васнецовское дитя	.310
2. Азор	.316
3. Скеттинг-ринг	.320
4. Зазор	.325
5. Мясоедовщина	.330
6. Снаряды	.344
7. Quousque tandem?	.353

Часть VI. КАНУН КРУШЕНИЯ

1. Прогрессивный блок	.365
2. Возвращение в Думу	.371
3. Трагедия борьбы	.377
4. Распутин	.384
5. Роковой человек	.400
6. Измена	.415
7. Конец Думы	.419

САПЕРНЫЙ БУНТ

Воспоминания 1907 года431

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 1973 ГОДА

I. Французская интервенция на юге России в 1918–1919 годах ..465

II. Деникин486

III. Врангель489

IV. «Азбука»501

V. Мария Владиславовна Захарченко-Шульц508

О ЛОЗУНГЕ «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»517

ИЗ «АНТОЛОГИИ ТАИНСТВЕННЫХ СЛУЧАЕВ»

Рассказ о Г. И. Гуржиеве522

Происшествие в Галиции527

Лена (Сон и явь)529

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Опыт Столыпина534

II. Вяльцева558

III. Вера Чеберячка559

IV. Постскрипtum к книге «Что нам в них не нравится?» ...563

Н. Н. Лисовой. Поздний Шульгин (Вместо послесловия)572

Библиография581

Василий Витальевич Шульгин

ПОСЛЕДНИЙ ОЧЕВИДЕЦ

*Мемуары
Очерки
Сны*

Составитель *Н. Лисовой*

*Редактор Т Соколова
Художественный редактор И. Суслов
Технический редактор Л. Бирюкова
Компьютерная верстка Е. Крыловой
Корректор Л. Логунова*

Подписано в печать 25.06.02.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 37,0. Тираж. 5000 экз. Изд. №-02-4564. Заказ № 4928.

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир»
129075, Москва, Звездный бульвар, 23

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16